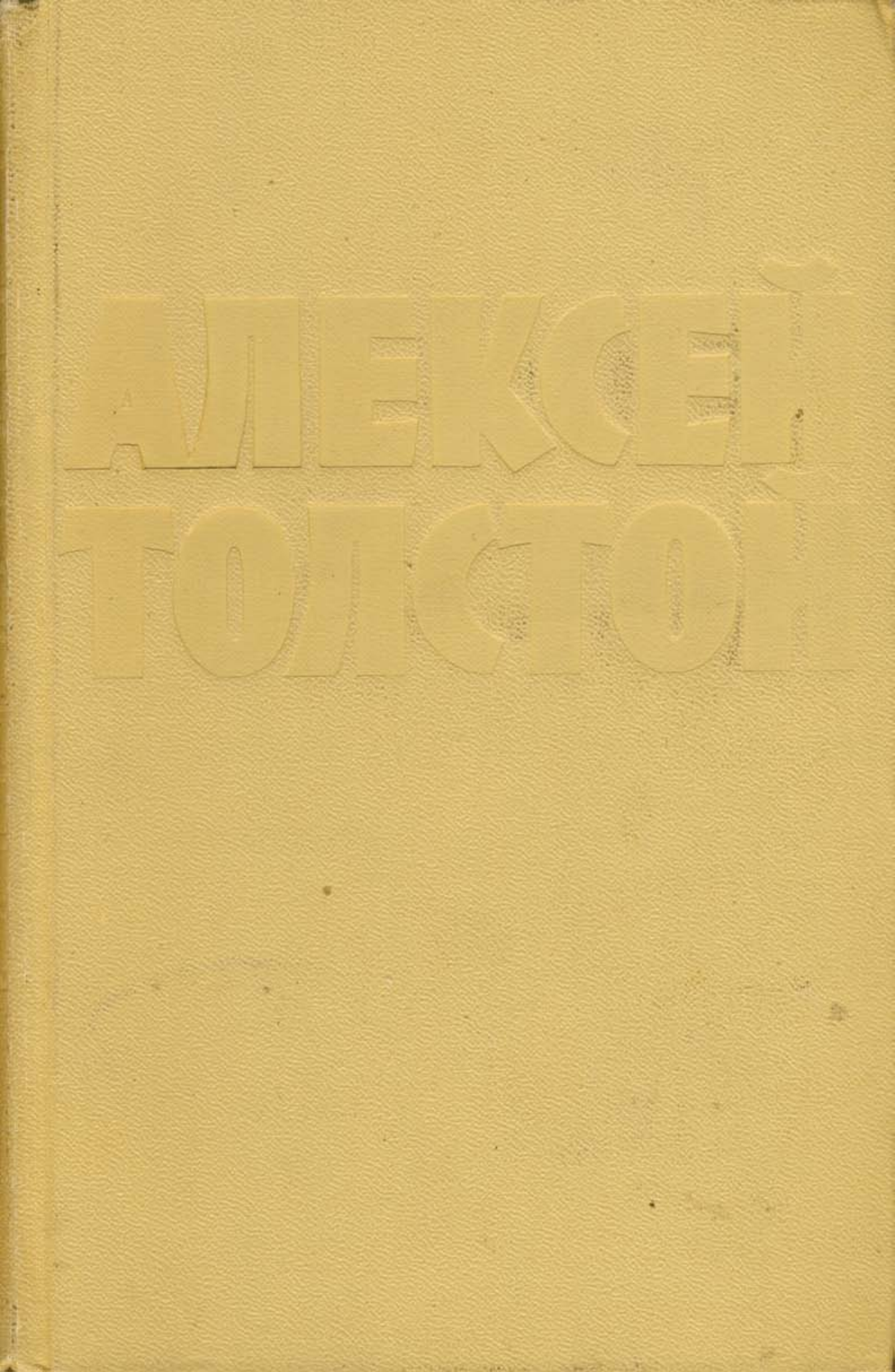

АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

в десяти томах

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1917—1924

АЭЛИТА

Роман

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1958

Под редакцией
А. В. АЛПАТОВА, Ю. А. КРЕСТИНСКОГО,
А. С. МЯСНИКОВА, В. О. ПЕРЦОВА,
Л. И. ТОЛСТОЙ, В. Р. ЩЕРБИНЫ

Подготовка текста *Ю. А. Крестинского*
Примечания *А. В. Алпатова*

Оформление художника
В. МАКСИНА

А. Н. ТОЛСТОЙ

ПОВЕСТИ и РАССКАЗЫ

РАССКАЗ ПРОЕЗЖЕГО ЧЕЛОВЕКА

Падали за окнами на железо капли дождя, и ветер, громыхнув иногда крышей, то принимался насвистывать вокруг дома, на углах карнизов, по каким-то неприметным щелкам, то выл в печную трубу, повсюду засовывая черные, мокрые, лохматые губы.

Среди нас, утомленных суетою дня, газетными ужасами, тяжелыми предчувствиями и в этот вечер забившихся в накуренной теплой комнате, сидел на жестком стуле в углу проезжий. Был он высок и костляв, одет в поношенную форму штабс-капитана и, видимо, тяготился нашей обывательской беседой. Его крупное, худое лицо с большими глазами, оттененными синевой, было сурово и неприятно. Только рот, небольшой и мягкий, улыбался иногда совсем по-детски, но улыбка не шла дальше губ, не освещала ни лица, ни глаз. Забрав под стул ноги в больших сапогах, он, казалось, мог так просидеть до утра, прямо и молча, или вдруг, ни с кем не простившись, уйти.

Беседа наша была похожа на мочалку, которую жевал каждый поочередно: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?» Один уверял, что «вырежут всех и не позже пятницы»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продо-

вольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода». «Ну и умрем,— сказал четвертый,— велика беда, все равно помирать надо когда-нибудь». «Но я не хочу умереть насильственной смертью!» — восклицал пятый. И этому наивному заявлению улыбались. Затем, сморщенный и маленький, с вылезающим воротником, газетный писатель, мгновенно возбудившись, произнес, размахивая папиросой и надвигая пенсне, следующее:

— Самое скверное то, господа, что вся эта мировая потасовка, с пятью миллионами убитых,— ни к чему! Я понимаю страдать, когда впереди светлая и ясная цель! (Он изобразил всем видом своим эту цель, причем воротник его полез на затылок.) Но какая цель во всем этом миротрясении? — я спрашиваю. Мы устали! Дайте нам отдых! Мы не хотим ничего больше! Не верим. Истины изнасилованы! Идеалы заражены сифилисом! И, как некогда погибли Содом и Гоморра, так и мы провалимся в тартарары. Имя нашему времени — возмездие. Не трудитесь в нем искать ничего хорошего...

— Скуууучно...— завыл ветер в печной трубе.

И не успел маленький писатель, очень довольный словами своими, закурить новую папиросочку, влезши поглубже на диван, как внимательно слушавший его штабс-капитан сказал спокойно, не без твердости в суровом и низком голосе:

— Извините, пожалуйста, не знаю вашего имени-отчества, вы говорите ерунду.

Я не стану описывать, как после неловких этих слов начался громкий спор, где три пожилых человека принялись вылезать из себя, доказывая, что война и революция бесцельны, а другие три пожилых человека тоже вылезли из себя, доказывая, что война и революция приведут к цели,— как маленький писатель сначала обиделся, потом разгорячился, потом обессилел. Все было, как тому и быть надлежит. Наконец штабс-капитан, задетый, должно быть, дальнейшим спором, и неожиданно, когда все уже охрипли и по-собачьи только

лязгали друг на друга, встал со стула и, прислонясь спиной к изразцовой печи, проговорил:

— Позвольте мне рассказать случай из жизни, так, я думаю, будет понятнее...

— Прежде, до войны, я занимался живописью, был женат и проживал в Москве. У меня были средства, небольшие, почти удовлетворявшие меня, известность и привычка к постоянной праздности, душевным именинам.

Каждый день должен был приносить что-нибудь приятное, милое удовольствие, иначе день казался потерянным. Поэтому я и любил легко, без осложнений, и легко сходился с друзьями, и без труда расставался; и была у меня особая уловка лавировать между крупными неприятностями и слишком обязывающими страстями. Легкая, приятная, неглупая жизнь. Да, вспоминая, я не вижу на ней пятен, но и не вижу почти и ее саму.

Меня всегда удивляло только одно странное чувство: я никогда до конца не был ни счастлив, ни весел; точно во мне был темный угол, куда никогда не доходило ощущение счастья и веселья. Это можно сравнить с легкой астмой: невозможность до конца, до последнего дна, вдохнуть воздуху.

Иногда казалось, что непременно будет несчастье и оно близко-близко, вот-вот. Но время шло все так же гладко, и не случалось ничего тяжелого, разве только медленный и молчаливо решенный с обеих сторон разрыв с женой. Не расходились мы, в сущности говоря, только потому, что не было повода. Но и не тяготились друг другом. Выставки, дружеские попойки, издательские затеи, поездки, вечера,— как легкий безбольный вихрь уносил нас в круге дней. Осталось от всего ощущение электрического света, женского шелка, запаха духов и грусти.

Кончился сезон, последний в нашей жизни, последний шумный и блестящий сезон в столице. Знакомые потянулись за границу, в усадьбы, в Крым. Поехали в Крым и мы с женой.

Я накупил много красок, но писать не пришлось: на юге было особенно в этот год весело и шумно. Почти тревожно. Многие неожиданно разошлись — мужья с женами, другие внезапно отчаянно влюбились. Происходили странные, почти непонятные ссоры. Точно вихрь окреп и теперь бешено, невидимо, крутился между людьми, туманя сознание, распаляя чувства. Это был тоже последний сезон в Крыму.

В середине лета чувство беспокойства и неутоленности стало болезненным, как надвинувшаяся на мое сознание дурная тень. Я перестал спать. Часто ссорился. Уходил надолго в горы и сидел перед картоном, не кладя ни мазка, глядя на холмы, море, на странные, как горы и дымы, желтоватые облака, поднявшиеся к выцветшему небу. Точно все было не настоящее, не истинное, подернутое призрачной пеленой. Но что под нею? Какая земля? Какая правда? И тоска сдавливала сердце.

Жена, по-своему понимая мое настроение, торопливо, со злобой искала ту, в кого я должен быть влюблен. Однажды всю ночь мы проговорили на песке, у моря. Это давно ожидаемое, такое страшное, болезненное объяснение оказалось скучным и многословным, только между нами не нашлось ни одной ниточки, которую можно бы оторвать с кровью: все уже давно сгнило; мы наговорили лишнего, пошлого; было скучно и утомительно, как надоевшая давно зубная боль.

Это, пожалуй, похуже острого горя. Жена плакала, сидя на песке. Я бросал в море плоские камни, и они подпрыгивали по бликам лунного света.

Мы решили расстаться на время, не хватило страсти сознать, что расстаемся совсем. Жена ушла спать, я собрал чемодан и, еще не зная, куда поеду, сел на террасу, ожидая кофе.

Утро было тихое и жаркое, от зноя выцвели и угол каменной дачи и листья на тополях; гравий, трава и даже небо — все было затянуто полупрозрачной, неподвижной мглой. За невысокой изгородью из путаного кустарника поднимались на высоких стеблях подсолнухи, пять или шесть — шапками, повернутыми к солнцу. За ними — беловатая мгла и в двадцати шагах море,

неподвижное и маслянистое. С низкой террасы казалось, что оно уходит далеко и высоко, и выше его края стояли пять подсолнечных шапок с золотыми лепестками.

Это была странная, единственная минута: тихий, мглистый зной и поднявшиеся из него, как из марева, подсолнухи, неподвижные, слепые, обращенные к солнцу. Все это было какой-то непостижимой чертой, о которую спотыкнулось мое время, непрерывный, не достигающий сознания поток секунд, мгновений, ударов сердца. Я увидел, как от этой черты в глубину побежали печальной рекой мои прошлые дни и как в другую глубину запенился мглистый поток будущих дней.

Так вот чем было это всегдашнее предчувствие беды! Вот когда в темные тайники дошло, наконец, ощущение жизни! Вот когда стало понятно, что счастье — только слепцам, тем, кто из тумана дней поднял слепое лицо! Какое невыразимое одиночество на земле! Какое покорное созерцание смерти. Как печален человек, вдруг выросший, словно грибок, под необъятным солнцем, чтобы на закате и самому склонить головку...

Прислонясь к балюстраде, я заплакал. Все это, конечно, нельзя рассказать словами.

Я уехал в Москву. Там, один в квартире, с замазанными мелом окошками, валялся на диванах, курил, перелистывал журналы или бренчал на пьянино. Хотелось только одного — спать как можно дольше, уткнувшись носом, не вспоминая, не ждя ничего; на все был один ответ: «К чему?»... Всё, всё, всё — только слепые лица перед солнцем, пожирающим землю. А приятель, доктор, сказал: «У тебя, брат ты мой, сильнейшее нервное переутомление, нужны ванны и статическое электричество».

Это было отвратительное время. Душа моя изныла в тоске смерти. Точно я тридцать два года вертел колесо в каторжной тюрьме, и вот вижу, что колесо лишь вделано в стену, не для чего, так. Вот какой была моя жизнь до войны! И вы спросите — с чего это я так огорчался? Почему какие-то тончайшие настроения могли повергать меня в уныние? Бесился с жиру? Да, бесился

от худосочия, от затхлости,— все силы души были замкнуты и гнили в темных подвалах.

Внезапно пришла война. Уж давно крутившийся вихрь теперь сильным студеным сквозняком сорвал и унес все лохмотья, все румяна, всколыхнул оголевшее, пьяное болото по всей России. Вы помните, как потянулись на запад поезда, обозы, серая бородатая запасная Русь; как запели, засвистали солдаты, проходя по переулкам, завыли бабы; и как франты, вчера еще танцевавшие танго, напудренные молодые люди, усталые скептики и прочее, и прочее — все это перекинуло через плечи бинокли, натянуло смазные сапоги и поехало воевать.

Теперь, мне кажется, я понимаю: у всех тогда было нетерпение доказать, что, мол, и мы нация, оправдаться, снять позор. Да, да, я помню по себе — снять позор ленивой, грязной, сонной, хамской жизни. Но, видно, слишком многое нам приходится и доказывать и оправдывать, и мало еще для этого одного геройства, смерти на бранном поле...

Разумеется, я вылез на улицу, кричал и волновался вместе со всеми; встречая на Тверской царя, говорил: «Все-таки, знаете, как-никак, а сейчас это символ»; послал нежнейшее письмо жене, где просил прощения; накупил целый чемодан вещиц военно-походного обихода, записался в несколько мест добровольцем, был призван и в августе попал в Восточную Пруссию, в бои.

Первый грохот пушки! Боже, сердце готово было умчаться туда, за визжащим снарядом! А пожар станции! Какое мрачное великолепие в черных клубах дыма! Это мы, мы подняли огонь и дым до самого неба! Помню, из желтеющего леса (я был в разведке) бесшумно, как дикие животные, выскользнули два всадника в уланках. Передний осадил лошадь и, повернувшись в седле, ломал гроздь рябины. Мой разведчик выстрелил. Лошадь шарахнулась, поскакала по кустам, а улан, торопливо вытаскивая из кобуры карабин, завалился в седле, поднял руки, обхватил ими горло и соскользнул в траву, как мешок. Я обругал солдата (приходилось отступать, не кончив разведки), но все же как ловко свалился улан! Как все здесь ловко, и

сильно, и быстро! И не нужно нанюхиваться кокаином, ни одурять себя какими-то странными запахами, мечтами, дымом, вином, чтобы заиграли все поджилки и распахнулась, запенилась душа. Здесь мы рванулись в азартную игру, где призом была чужая смерть, а своя — битой картой. А красные лужицы, оторванные руки и головы,— черт с ними, не до того! Став убийцами, мы, как звери, почуяли жизнь...

И даже потом, когда отходили из Пруссии, дрались днем и ночью, мокли под ливнями и топли в болотах; когда на свист пули только морщились, зная, что свистнувшая миновала, а ту, что вопьется, не услышишь; когда бросали умирающих и раненых; когда вся грязь казалась липкой от крови,— даже и тогда смерть была лишь неудачей, случайностью, но не тем, о чем стоило думать... Странно, ведь это все же то, перед чем все становится бессмыслицей, и я не раз вспоминал утро с подсолнечниками... Но тогда смерть была иной, тогда я умирал весь, уходил в сумерки. А сейчас я где-нибудь и шлепнусь с разбитой башкой, но это будет эпизод, не больше! Я-то останусь, как — не знаю, но я останусь, верю — не умру.

Затем наступил наш разгром, отход и отчаяние. Мы оцепенели на долгие месяцы, зализывали раны, томились, мечтали о чистоте, о красивых женщинах, о штатском платье. Собираясь, вспоминали, кто кем был в прошлой жизни, какие носил галстуки, и говорили со вздохом: «Хорошо бы теперь посидеть даже не в гостиной, а в чистом, светлом клозете». Это был упадок, тяжелый сон под мокрой, вонючей шинелью. И, как отрывки этого сна, встают воспоминания.

Помню, плюхал дождь, размывая глину, и ветер хлопал парусом на плохо сколоченной двери землянки. Мы играли в карты. Красные от коньяку, опухшие лица товарищей точно плавали в табачном дыму. Между нами был штабс-капитан Т., когда-то видный адвокат, красавец, ценитель искусства; теперь — кривой, обрюзгший человек, бородатый и почесывающий себя под рубашкой. Он выигрывал, хохотал и приговаривал с каждой картой: «Кончилось, мальчики, кончилось сладкое житье, але марше налево!» На днях он уезжал в отпуск

и обещался привезти оттуда «запашо́к дамских рубашечек».

Во время игры, прикрыв блюдечком пачку денег, он вышел на минутку. Мы бросили играть, ожидая. Минут через сорок появляется из-за парусины мокрый денщик и докладывает, что штабс-капитан убит пулей в голову наповал.

Мы убрали карты и легли по койкам. Плюхало, плюхало, плюхало над головой. Доносились редкие выстрелы. Голова у меня болела, и в горле сжималось тошнотой. Повернувшись на бок, я увидел: у стола, беззвучно сотрясаясь красной рожей, сидит, хохочет над картами штабс-капитан, а через него виден чей-то сапог со шпорой.

Слишком, должно быть, выпито было коньяку. И вот тогда-то до очевидности стало ясно, что войну нужно кончать, что мы изжили войну. И предстоит нам что-то еще более огромное, страшное и великое, чем война. Вся армия (мы знали это по «Солдатской газете») томилась в ожидании. Чувствовали, что Россия за нашей спиной корчится, как перед смертью. Ждали, стиснув зубы. И, когда грянула революция, показалось, что налетел пьяный ветер, как лихорадка, и сразу у всех пропала охота убивать.

Заговорили все. Полки, дивизии, весь фронт, хоть волосы рви. Прорвало. И говорили, и голосовали даже, когда в атаку нужно идти. Будто бессловесным дали язык, и все загорячились выговорить, выворотить все, о чем триста лет молчали. Помню — батальон наш выбил австрийцев с речки, пленных взяли и тут же, сообща, устроили митинг, с резолюцией, чтобы немедленно, вот сейчас, был всеобщий мир и братство народов, чтобы ни бедных больше, ни богатых не стало, словом — всеобщая справедливость. Австрийцы же в это время начали поливать митинг шрапнелью и убили председателя, но резолюцию наши все-таки вынесли и даже послали в газету напечатать.

Что это — глупо? Да. Смешно? Конечно. Но когда тысяча неграмотных мужиков, забрав пленных, под шрапнелью болтают еловыми языками о мировой спра-

ведливости,— я не скажу: мы погибли, Россия кончилась. Здесь что-то выше моего понимания. Быть может, я слышу, как «истина глаголет устами младенцев». Быть может, истина устраивает гнуснейшую гримасу: что, мол, съели! Повернули колесо! Перемудрили историю!

В прошлом месяце явился ко мне в роту большевик — мальчишка, хитроглазый, уверенный чрезвычайно — товарищ Сережа. Солдаты облепили его, как мед. И не знаю — за деньги или от глупости он чепуху болтал, только взяло меня зло. Протискался к нему и говорю: «Собственно, какая ваша непосредственная цель, позвольте спросить, и так далее»...

Он мне немедленно, с бойкостью: «Вы, товарищ, контрреволюционер, поэтому я вас формально отвожу». Я развернулся и его в зубы. Заверещал он, нахлобучил шляпу и бежать. Солдаты молчат. А когда я хотел выйти из круга, надвинулись, смяли меня, и, уж не помню как, очутился я в лазарете,— весь перевязанный, лежу и плачу с отчаяния, самого горького. В палатке душно, воняет, больные храпят; и вижу —на койке сидят четыре бородатых мужика, выздоравливающие из моей роты, и вполголоса рассказывают сказки друг другу — про лес, про птиц, курочек каких-то, про светлу да милу, про шорох да шепот, про паучьи мхи... И слова все какие ласковые, непонятные, волнующие... И тут опять у меня в голове все повернулось. Да что же такое, наконец, происходит? Тяжко нам, неуютно, как под дождем на большой дороге, и кажется — вот-вот от России останется одна липкая лужа; и уж сердце замерло, как в последнем часе, а час не последний, и там, в потемках, в паучиных мхах, идут шорохи да шепоты, собирается наша душа.

И я верю, что через муки, унижение и грех,— верю через свою муку и грех,— каким-то несуразным, неуютным образом, именно у нас, облечется в плоть правда, простая, ясная, божеская справедливость. И придут нам поклониться, но, придя, увидят, что сиявшее им издали оказалось корявое и звериное, и не поймут и вновь отвернутся... А мы будем себя терзать и казнить за то,

что не похожи и не милы никому, за то, что вид наш звериный...

Простите меня, господа, что слишком долго утруждал ваше внимание, но я хотел все это рассказать к тому, что увидел у вас мало веры, а если и есть она, то хотите вы не того, что настает, близится. Не будет у нас сейчас ни порядка, ни покоя. Рождается новая Россия, невидимая, единая и белая, как Китеж выходит с озерного дна... А фабрики, заводы, асфальтовые улицы — это потом придет, само собой, сейчас это не важно... И что страшно сейчас — согласен. Страшно и жадно душе. Хорошо.

Штабс-капитан сел опять на стул и закурил трубочку. Мы молчали, смущенные его рассказом. А когда вскоре я вышел на волю, ветер гулял по улице, громыхал железом и насвистывал в телеграфных проволоках, гася на углу газовый фонарь. И казалось мне — это вольный, гулкий, таинственный ветер истории шумит во всех снастях.

Штабс-капитан нагнал меня и пошел рядом, покашливая.

— Знаете, я еще никогда так не чувствовал, что с такой силой могу любить родину,— сказал он, повертываясь боком к порыву ветра.

МИЛОСЕРДИЯ!

1

Когда после супа подали горошек, Софья Ивановна сказала, что больше ничего не будет, и ее припудренный носик, ушедший в щеки, глазки, когда-то хорошенькие, теперь совсем круглые и выцветшие, прядь волос, висящая из прически,— прядь, когда-то непокорная, теперь просто непричесанная,— все это задрожало в негодовании и в страхе непонятного будущего.

Владимир, гимназист, младший, с еще детской кожей, испачканной чернилами, взглянул на мать и покорно взял тарелку.

Николай, старший, тоже гимназист, усмехнулся и дернул костлявым плечом. Его большой нос, уже лоснящийся, и тщательно приглаженный пробор, и жилистые, почти мужские руки, и длинные рыжие глаза выражали полное недоверие и семье и всем вообще пережиткам, еще таящимся в таких затхлых углах, как квартира присяжного поверенного Шевырева, что по Сивцеву-Вражку. Николай взял горох, сказал: «Благодарю, мать», и съел его со вкусом.

Сам Василий Петрович сидел, наморщив большими складками лоб, и, не спеша, с точностью, повертывал в изящных пальцах стеклянную подставочку. От гороха он отказался, задумчиво покачав головой. Ему было все теперь безразлично: и испуганная глупость Софьи

Ивановны, которая, спустя девять месяцев революции, продолжала по всякому поводу восклицать, сжимая полные ручки: «Ужасно, послушайте, это же ужасно!» — словно где-то еще в пространстве маячила смущенная фигура попранной справедливости; безразличны рыжие глаза и самоуверенная усмешечка Николая и вялый и безвольный Володька.

Семья, сидевшая за обеденным столом, между буфетами из мореного дерева, была обломками когда-то хорошо оснащенного суденышка; подхваченное зловещим ветром, оно заплясало на одичавших волнах, потеряло руль и паруса и выкинулось на мель.

Сейчас сидели на мели,— это всем было ясно.

Вне всякой связи с предыдущим, Софья Ивановна покраснела и, отодвинув тарелку, сказала:

— Володенька всегда был плох в орфографии, а с этим новым правописанием просто ужасно!

В ее руках появилась откуда-то снизу тетрадочка; она порывисто перелистала ее. Володя с сожалением видел, что тетрадь помята в судорожной материнской ручке и сейчас будет замазана соусом. Василий Петрович пожал плечами, подумав: «Наплевать». Николай, вычерчивая вилкой на клеенке буквы, сказал:

— То, что тебе кажется ужасно, мать,— через десять лет будет не ужасно. А ужасно то, что мы безо всякого здравого смысла расходуем время и память на пустяки. Это мое мнение.

Василий Петрович быстрее завертел подставочку. Николай бросил вилку и осторожно почесал пробор.

— Люди, переставшие расти физически и умственно, судорожно цепляются за всякий пережиток, хотя бы он был совершенно глупый.

На это Василий Петрович отвечал:

— Ты осел.

Но цели не достиг. Сын сейчас же выговорил с большим удовольствием:

— Благодарю, папа.

— Перестаньте, боже мой, как это ужасно!

— А я говорю, что он уже давно наглый осел!

— Я в этом не виноват, папочка.

— Виноват!

— Колечка, не спорь с отцом. Василий Петрович, Коля сказал только свое мнение...

Выпучив на сына большие глаза, Василий Петрович сильно барабанил пальцами; кровь приливала и отливала от его щек.

Вошла с чашками кофе горничная на таких высоких каблуках, что ноги ее точно не сгибались; поняв, что ссорятся, удовлетворенно поджала пухлые губки. Софья Ивановна сказала поспешно:

— Придется пить с медом. И говорят — меду совсем не будет.

Молча выпили кофе. Обед кончился. Гимназисты ушли: Володя — медленно, точно тянулся на резинке, Николай — решительными шагами, хотя было очевидно, что всего-навсего завалится на диван с книжкой. Софья Ивановна потопотала где-то по комнатам и затихла. Василий Петрович пошел в кабинет, закурил и стал у окна.

Стоял ноябрь тысяча девятьсот семнадцатого года, холодный, страшный. За мутноватыми стеклами неохотно падал редкий снег. Крыши, покатые, длинные, крутые, устланные белым снегом, во множестве уходили до мглистой полоски Воробьевых гор. Тени становились синеватыми, сумерки застилали очертания. Летали галки, прощаясь с белым светом, пронеслись у самого окна плотной стаей и рассыпались, взмыв в вышину, точно их швырнули.

Напротив, на гребень крыши, рядом с трубой, села ворона, такая большая, что казалась почти с трубу, и, перегибаясь, стала кланяться, открывать клюв,— каркала. «Вот разжирела ворона, должно быть ей лет под пятьдесят, не меньше»,— подумал Василий Петрович.

Среди этого угасания, когда на крыши и улицы, на застывающее от тоски сердце неохотно падал снег, хороня и город и землю, как похоронил уже не один город, не одно царство,— в эти сумерки жирная, головастая ворона, похожая на переодетого черта, утешала немного Василия Петровича: все-таки что-то еще осталось от жизни.

Он закурил вторую папироску и стал ходить по ковру. Делать было нечего.

Делать было нечего не по его вине, конечно. Окончательно нечего делать, и за последнее время, с горькою усмешкой, Василий Петрович решил следующее:

— С юности я воспитывал себя для общественной жизни, мечтал стать полезным членом общества. Мои планы рухнули, мои способности и знания не нужны. Я вышвырнут из общественной жизни. Будем жить для себя! Вы этого хотели? Вы этого добились! Превосходно!

Это был вызов. Решительно порвав со старым, Василий Петрович обратился к самому себе, но и тут неожиданно получил щелчок.

Оказалось, что «я» Василия Петровича, некоторая первоначальная сущность, ему одному принадлежащая, пребывающая в его упитанном теле, одетом с утра в синий пиджак и золотые очки,— не признаваемая Дарвином, а тем более всей этой непонятной дьявольщиной, происходящей в стране,— душа Василия Петровича оказалась смятенной и малой до жалости. Не душа, а эмбрион.

Оставленный сам с собою, Василий Петрович растерялся. Действительно было из-за чего: культурный, умный, значительный человек превращался в пар, как снежная баба. Знания, воспитанность, вкусы, идеи, нравственные задачи — все это оказалось ненужно, даже враждебно сегодняшнему дню, даже преступно, так же, как год тому назад казалось преступным и враждебным отсутствие этих качеств.

Это значило, что эти качества относительны,— пар. А сущность, неизменная и вечная, та, что отличает Василия Петровича от всех других людей, была, как уже сказано, в зачаточном, почти полудохлом состоянии.

Его сущности не хватало: зубов и когтей, чтобы защищаться, отваги, чтобы быть безрассудной, и хитрости, чтобы вовремя прекратить безрассудство, мимикрии, чтобы, меняя цвета и форму, прятаться от опасности; не хватало зоркости, ловкости, быстроты и, главное, звериной, непоколебимой, пышащей жаром любви к себе, чтобы жить.

Он стиснул зубы: нужно бороться. Борьба за самого себя! Борьба во имя самого себя!

Он опять остановился у окна. Вдалеке в большом

доме светом заката пылали, точно полные углей, множество стекол. Два купола Христа-спасителя протянули над городом два жарких луча.

И там, и там, между крыш, загорались иголки и луковки церквей.

Скрестив на груди руки, мрачный и нахмуренный, Василий Петрович глядел на город. Отсвет заката, ползя по стене, коснулся его лица, и лицо стало зловещим и багровым. И головастая ворона, казалось, двусмысленно кивала ему в окно с мерзлого сучка.

2

Софья Ивановна, сидя в гостиной на неудобном атласном креслице, под большим кружевным абажуром, штопала белье. Настали такие времена, что приходилось не только штопать, а выгадывать лоскутки, даже самые маленькие. Ее пухлые пальчики проворно втыкали и вытягивали иголку; время от времени она поднимала голову и оглядывалась.

На стене висели эстампы в дорогих рамках, в углу — мраморный бюст Карабчевского, патрона дома, карельская мебель — под старину, с бронзой, рояль, прикрытый занавесом из парчи. Все это было знакомо, дорого, пережито. И все же сейчас было что-то странное во всем, дикое.

Столик с инкрустацией перестал быть просто редким столиком,— он, словно исподтишка, четырьмя своими ножками норовил лягнуть революцию,— в нем было недоброе начало; рояль был слишком богат, занимал много места; в лакированных рамах, бюсте, в люстре было самодовольство, очень опасное по нынешним временам; вещи приобрели новый смысл, в высшей степени им не свойственный: они стали опасны.

И Софья Ивановна чувствовала себя в чем-то виноватой. Покосится на канделябр и сейчас же начнет извиняться мысленно: во-первых, стоил он недорого — по случаю, а главное — все своим горбом нажито, да и вещь-то в конце концов не особенно ценная. Сидеть и шить было жутко и неуютно. Софья Ивановна погру-

жалась в хозяйственные соображения, не менее горестные. Мелькала иголка. За стеной Володя зубрил алгебру, ясно, что плохо ее понимал бедный мальчик. И принесет ли ему счастье в жизни эта алгебра? Нет ли и в ней какого-нибудь тайного и опасного умысла?

Порывшись в кошельке, Софья Ивановна отложила Володе два рубля на кинематограф. Вошел Василий Петрович, тщательно причесанный и в сюртуке: куда-то собрался, на ночь глядя, в такое время.

— Ты что делаешь? — спросил он.— Я ухожу, вернусь поздно, можешь не беспокоиться. Да, вот что: передай, пожалуйста, Николаю, что я на него сердит. Мальчишка слишком возомнил о своем уме. Взял со мною недопустимый тон, как равный. Прощай.

Проходя по коридору мимо двери Николая, Василий Петрович остановился, поморщился, поправил очки, проговорил сухо: «К тебе можно, надеюсь?» —и вошел.

Сын валялся на диване с книжкой; около, на стуле, лежали папиросы и фотографическая карточка; он поспешно перевернул ее лицом вниз и приподнялся на локте. Василий Петрович затеребил бородку, покашлял и чрезвычайно неприятным голосом сказал:

— Ты много куришь, это вредно.

— Я не особенно много курю.

— Вот видишь, Николай, за обедом мы поссорились. Скажи, пожалуйста, откуда ты взял право иронически относиться к матери и ко мне в конце концов? В нас ты нашел что-нибудь смешное? Нелепое?

— Нет, по-моему, в вас ничего нет особенно смешного. Дело в том, что мы разно смотрим на вещи...

— Виноват, твои политические убеждения — просто чушь! Мальчишка в семнадцать лет не имеет права лезть вперед со своими идеями. Побольше бы надо скромности! В наше время решительнее поступали с такими клопами.

— Ты напрасно раздражаешься,— поспешно проговорил Николай,— может быть, мои убеждения и не мои и не умны,— но мне нравится их иметь, вот и все.

— Да, но мне это не нравится!

— Прости, здесь я бессилен. К сожалению, я живу не для того, чтобы тебе нравиться.

С большой быстротой в памяти Василия Петровича прошли все способы отцовского воздействия, но все они были уже неприменимы. Николай зажигалкой закурил папиросу, вытянул ноги по дивану и сказал:

— Если ты внутренно признаешь за мной право быть самостоятельным, то, думаю, что мы будем друзьями. Отчего же.

Василий Петрович спросил тихо:

— Ты, послушай-ка, собственно говоря,— кто?

— Левый эсер, папа.

Василий Петрович развел руками. Семнадцать лет он вбивал в эту голову, с большим носом, просветительные идеи, и вот они привились. Черт знает что такое!

Выпустив из надутых щек воздух, Василий Петрович сказал:

— Да, если так, извини,— удаляюсь.

8

Выйдя из зашитого досками подъезда, охраняемого в этот час членом домового комитета, преподавательницей пения, скрывающей дорогой мех шубы под оренбургским платком, повязанным по-деревенски, буркнув ей: «Благодарствуйте, Анна Ивановна»,— поскользнувшись на обледенелом тротуаре, подхваченный снежным ветром, Василий Петрович оглянулся направо и налево.

В облаках мелькнул зеленоватый свет трамвайной искры. Мирно светились окна высоких домов. Все было тихо, путь свободен, и Василий Петрович побрел посередине улицы, заранее готовый добродушнейшей улыбкой встретить опасность, откуда бы она ни появилась.

На Арбате было людно, шумно. Шли и шли с Брянского вокзала, кучками и в одиночку, бородатые солдаты, согнутые под тяжестью самодельных сундучков и котомок. Иные несли пилы, инструменты. Один тащил несколько ружей, обернутых в тряпки. Солдаты шли по тротуарам, посреди улицы, бежали за трамваями, глазели на Москву, спрашивали дорогу на вокзалы,— грязные, усталые, озабоченные.

Прижавшись к стене, Василий Петрович пропустил мимо себя человек пятьдесят, валивших кучей, и подумал: «Хороший все-таки, добрый народ, эх-хе-хе».

Навстречу ему не спеша прошел военный из писарей, грызя подсолнухи и со скукой рассматривая окна. За военным шла девица, с простуженными щеками, в косынке.

— Сами вы ничего не понимаете,— говорила она плаксиво.— И вовсе она не красивая, а красивые у нее ботинки, и те не красивые, а тонкие.

Вертелся под ногами один из тех особых мальчиков, с опухшим лицом и пронзительным голосом,— они появились с первого года войны,— газетчики. Сбоку тротуара разносчик, засунув рукавицы за кушак, потрясал грушей перед сморщенным личиком какой-то старушки, говорил с досадой:

— Вам не грушу надо, гроб осиновый.

Проходили нагруженные людьми трамваи, с тем же толстомордым мальчишкой сзади, на буфере. Потрясая землю, прокатил военный грузовик. Высоко у электрических шаров крутились белые мухи. Василий Петрович свернул в темный переулок и позвонился у подъезда.

Три мужских лица, принадлежавших членам домового комитета, прильнули к стеклышку, вделанному в дверь. Василий Петрович, доказывая свою благонамеренность, вынул платок и высморкался. Лица посовещались и впустили.

В зеркале лифта он внимательно оглянул свои порозовевшие щеки, стряхнул снежок с усов и бороды и тщательно поправил складки галстука.

4

На турецком диване, среди шелковых подушек, лежала Ольга Андреевна; дымок папиросы поднимался от ее худой, покрытой кольцами руки. Облокотясь, запустив пальцы в сухие, соломенного цвета волосы, Ольга Андреевна читала переводный роман.

Комната, как и все комнаты, где обитает холостая женщина, была чрезмерно переполнена лишними и не-

нужными вещами. В углу горела керосиновая печка, отчего было жарко и сухо, и левкои, стоящие перед зеркальным шкафом, завяли.

Услышав звонок, Ольга Андреевна одернула юбку, подобрала ноги и посмотрела на дверь; затем, потянувшись через весь диван, потушила в пепельнице папироску и, уйдя поглубже в подушки, опять нагнулась над книжкой.

Ей было двадцать семь лет. Муж ее, помощник Василия Петровича, был убит в начале войны. От круппа умер двухгодовалый сын. Ольга Андреевна, сопровождаемая сожалением и слезами знакомых дам, уехала в санитарном поезде на фронт. Время от времени она появлялась в Москве, погрубевшая, в кожаной куртке, смертельно усталая. Помимо сожалений, ее нагружали посылками и письмами, и дамы ездили провожать ее на вокзал. Затем прошел слух, будто она в плену,— пропала без вести.

Осенью жена присяжного поверенного, госпожа Кошке, собственными глазами увидала на сцене, в представлении какой-то восточной пьесы, Ольгу Андреевну: во время пира, в третьем акте, она подносила индийскому владыке большое блюдо, говоря: «Вот дичь».

Дамы, не поверив Кошке, пошли в театр и действительно видели и слышали, как Ольга Андреевна, с голыми плечами и пестрым шарфом, завязанным ниже живота, говорила: «Вот дичь».

Дамы раскололись, и одна часть решила у себя Ольгу Андреевну не принимать. Но она и не появлялась у прежних знакомых. А вскоре исчезла и из театра.

К этому приблизительно времени нужно отнести ее переезд в Арбатский переулок, в комнату у вдовы статского советника, Бабушкиной.

Ольгу Андреевну стали встречать на Арбате, очень похудевшую, в обезьяньей шубке; видели у Сиу, как она задумчиво тянула кофе через соломинку; видели в Литературно-художественном кружке за столом, вместе с каким-то сизым человеком в перстнях.

Присяжные поверенные, оставшиеся в Москве, находили, что Олечка похорошела и появилась у ней особая,

чрезвычайно волнующая черта — прозрачный, равнодушный блеск глаз.

И понемногу доска на двери: «Н. А. Бабушкин, с. с.» — приобрела несколько иной смысл. С ней связывался ряд представлений: гремящая цепочка, черненькое, умильное личико горничной, говорящей: «Пожалуйте, пожалуйте, дома», длинный, дурно пахнущий коридор, красные и пыльные портьеры в столовой, откуда каждый раз выглядывала вдова статского советника, чрезвычайно уродливая; дальше — большие, затхлые гардеробы и, наконец, комната; она называлась «рай»,— комната, пахнущая гиацинтами и еще чем-то очень не домашним.

Здесь забывали о войне, о политике, шутили и остроумничали, точно мир действительно и не перевернулся кверху ногами,— здесь был райский уголок, оставшийся от огромной разрушенной жизни.

Ольга Андреевна всем говорила «ты», принимала, не благодаря, все, что ей дарили, одевалась в черное, не носила корсета, душилась так, что... словом, здесь был рай.

Василий Петрович крепился дольше других. Заходить — заходил, не один, конечно, но держал себя строго, в карты не играл, а больше посиживал в углу, в кресле, со стаканчиком вина в кулаке. Однажды он даже выразился про «салон» Ольги Андреевны так: «Всякое время и всякая жизнь пускает свои пузыри».

За последнюю же неделю почему-то у него из ума не шла светлая Оленькина головка и прозрачные, равнодушные глаза. Он думал: «А давненько я все-таки туда не заглядывал». Затем ему стал представляться длинный, волнующий и проникновенный разговор большой важности, и, наконец, точно осенило: только такая же, как он, бездомная, опустошенная, тоскующая Оленька может сейчас понять его тоску и сказать какое-то необыкновенное слово. Василий Петрович все еще верил в слова.

Когда он осторожно постучал в дверь и вошел, Ольга Андреевна встретила его чуть-чуть изумленным

взглядом. Василий Петрович испытал легкое сердцебиение, поцеловал руку и сел на низенькое плюшевое креслице:

— Вот, забежал на огонек,— принимаете?

5

— Скажите, Ольга Андреевна, вы много читаете, я вижу книжку,— после нескольких покашливаний в руку проговорил Василий Петрович, потянулся и тронул книгу мизинцем.— Это что-нибудь современное,— стихи?

— Нет, роман французский, ерунда какая-то.

— Да, французы умеют писать. Раскрываешь книжку и сразу чувствуешь себя подтянутым, в обществе тонкого и умного собеседника, прежде всего признающего твой ум, твой вкус.

Василий Петрович посмотрел на ногти:

— У нас почему-то принято видеть в читателе идиота или дикаря. Я не могу открыть книги, чтобы меня там не начали учить нравственности или простой порядочности. Кончая книжку, я чувствую себя оплеванным. Позвольте! Я тоже культурный человек... И так во всем: писатель считает меня идиотом, народные комиссары едва терпят мое существование... Для родины я, оказывается, враг... Я —враг!..

Он вдруг задышал носом. Разговор, так ловко заведенный об изящной литературе, сорвался.

— В общем, все — более чем скверно,— проговорил он с гримасой.

Ольга Андреевна вздохнула, опустила глаза и из черепаховой коробочки вынула папиросу.

— Одно время я боялась выходить на улицу. А теперь все стало безразлично.

— Третьего дня я вас встретил, Ольга Андреевна, и кланялся, а вы не заметили.

— Я стала очень рассеянна. Устаю ходить, устаю читать. Устала переживать государственные перевороты. Третьего дня где же я была?

— Вы заходили в перчаточный магазин.

— Какие там перчатки! Москва стала запустелая, грязная, и уехать некуда.

— Да, ехать сейчас некуда. И нет хлеба, сахара. Идет чума.

— Боже мой!

— Надвигается. Курить можно?

Ольга Андреевна протянула ему черепаховую коробочку с душистыми и слабыми папиросами:

— Курите. Вы не были на «Итальяночке» в Новой Комедии? На послезавтра у меня два билета. Говорят,— очень славно. Пойдемте?

— Слушаюсь.

Василий Петрович положил ногу на ногу, прищурясь, потрогал бородку.

— Вам не покажется странным, Ольга Андреевна, если я скажу, для чего пришел? Представьте, что я уменьшился ростом, а платье на мне осталось прежним, на большой рост. Вот так я себя сейчас ощущаю. Какое-то странное состояние... Вернее — совсем себя не чувствую...

Он до невозможности сморщился, стараясь быть понятным. Ольга Андреевна с остановившейся улыбкой глядела на него. Василий Петрович сидел в черном сюртуке, в крахмальной тугой рубашке, красный, серьезный, поблескивал очками.

Тогда она внезапно рассмеялась, даже колени ее вздрогнули под шелковым платьем. Василия Петровича бросило в жар.

— Чрезвычайно трудно выразить это,— пробормотал он,— чувство очень сложное.

Ольга Андреевна спросила:

— Хотите чаю?

— Да, пожалуй. С удовольствием.

— Позвоните три раза.

И когда он, потирая ледяные пальцы, вернулся от двери, она сказала:

— Садитесь рядом. Суньте подушку под спину. Рассказывайте.

И она, подобрав ноги, внимательно, исподлобья, стала разглядывать Василия Петровича, затем сняла пушинку с его рукава:

— Почему же вы все-таки ко мне пришли? Вот этого я не пойму.

— Именно к вам, потому что...

— Взяли и решили броситься в омут головой.

Она опять усмехнулась длинной улыбкой. Василий Петрович не ответил. Отвратительный холодок против воли пополз по спине. Стало совестно своих глаз, всей стороны лица, повернутой к Ольге Андреевне. Впору слезть с дивана и уйти, но все тело грузно, неуклюже сидело, придавив пружины. Ни уйти, ни отвернуться. И всего хуже, конечно, было это молчание, подтверждающее самые гнусные предположения.

— Я не хотела вас обидеть,— Ольга Андреевна коснулась его плеча,— простите, что я засмеялась.

— Нет, пожалуйста, отчего же...

— Не сердитесь на меня, голубчик. Говорите все. Я слушаю вас очень внимательно.

Она даже закрыла глаза. Ее лицо стало точно у спящей. Нежная кожа щеки, тонкий, с горбинкою нос и чуть-чуть приоткрытые для дыхания губы — были совсем рядом, близко и так покойны,— вот взять их в ладони, прижаться поцелуем.

Василий Петрович стиснул челюсти. «Этого еще не хватало! Поцеловать, схватить за плечи, целовать в глаза, в рот, в горлышко... И потом взъерошенным, с кривой улыбочкой, стоять над разрушенной красотой! Утвердить самого себя! Все это бред! Невозможно!»

Упершись кулаками в диван, он поднялся, застегнул сюртук:

— Позвольте откланяться.

— Куда же вы?

Он взглянул на часы:

— У меня заседание. Разрешите зайти как-нибудь в другой раз. Я соберусь с мыслями.

И, не глядя в глаза, он поцеловал руку, извинился несколько раз, обещался зайти в среду — сопровождать Ольгу Андреевну в Новую Комедию, если не помешает какое-нибудь восстание, задел по пути плечом дверь и вышел.

На улице, сдвинув шапку, он долго тер лоб, не в силах прийти в себя от стыда, растерянности, негодования. «Как это все вышло — черт знает как...»

6

Дома, в углу большого кожаного дивана, где когда-то происходили жаркие споры на общественные темы, Василий Петрович устроил все, что нужно человеку: стакан воды, папиросы, Владимира Соловьева, низенькую лампочку. Занавеси на окнах задернул: с утра было ветрено, и в стекла лепил мокрый снег.

Разумеется, на душе скребло: там, за толстыми шторами, содрогается в предсмертной муке Москва, Россия, весь мир. Страдают добрые и злые, сильные и слабые, и те, кто хотят счастья другим, и те, кто хотят счастья только себе. А здесь, наплевав на все, утверждается человек наедине с Владимиром Соловьевым!

Были, были такие мысли. Но Василий Петрович, пофыркивая, покусывая ноготь, гнал их прочь. Нужна цельность, нужна жестокость! Путь добра бесконечно более жестокий и кровавый, чем путь зла,— в этом пришлось теперь убедиться всем. И, кроме того, в противопоставлении себя миру в такое время Василий Петрович находил что-то трагическое, и роковое, и очень острое. Так ему казалось.

Он надел теплую куртку и теплые высокие туфли; у домашних потребовал покоя. Никого не видеть, затвориться, думать! Прочтя несколько страниц, он отложил книгу, откинулся к диванной спинке и закрыл глаза:

— Бессмертие души. Да. Вот стержень всех дум. Если нет бессмертия, я — случайно возникшая частица космоса, вовлеченная в круговорот вещей, чтобы барахтаться и погибнуть так же бесцельно, как и возникла. А если я — бессмертен? Я — божество среди таких же божеств? Мои страдания и вся бессмыслица нужны мне, и я их благословлю. И благословлю еще потому, что не могу уклониться от них. Когда страдания становятся невыносимыми и бессмысленными,— я задумываюсь о бессмертии души; мне нужно во что бы то ни стало, чтобы она была бессмертна.

Василий Петрович тонко усмехнулся: «Нет, голубчик, на мякине не проведешь. Верю в бессмертие? — не знаю. Верю в бессмыслицу? — не знаю. В себя верю? — не знаю. То-то и оно-то...»

Но честность, как и всегда бывает с честностью, не дала нравственного успокоения. Одной ее оказалось мало. Василий Петрович курил папиросы, и ему начинало казаться, что путь размышлений — почтенный, но в нужных случаях жизни — плохой путь.

Далее, несмотря на запрещение, в кабинет проникла Софья Ивановна. Покраснев, она проговорила осторожным голосом:

— Я тебе помешала, прости,— на минутку отвлеку. У меня, Василий Петрович, вышли все деньги. Предлагают в домовом комитете черного мяса. Я уж не знаю, как же...

— У меня денег нет.

— А три тысячи?

— Их невозможно получить, ты же знаешь. Иди, Соня, я занят.

Софья Ивановна ушла. Она уходила совсем неслышно, только раз скрипнула кухонной дверью, чтобы сказать, что домового мяса брать не будем, и где-то села и затихла; и все же Василий Петрович чувствовал через три комнаты, как она покорно моргает ресницами. Он швырнул куртку, оделся и вышел из дому, думая: «Умолял хоть несколько дней покоя. Потом для вас буду вагоны выгружать, лед колоть, в швейцары поступлю».

Проблуждав часа полтора, он занял у присяжного поверенного Кошке пятьсот рублей и вернулся домой к чаю. Все было как всегда. Софья Ивановна вытирала с испуганным видом чашку. Володя со скукой рассматривал искусственных куропаток, что висели по сторонам буфета. Софья Ивановна очень любила этих куропаток и так их из столовой за всю жизнь и не убрала. Николай, конечно, читал книжку. Услышав, что входит отец, шумно перевернул страницу.

Василий Петрович бросил на стол деньги, сел, морщась вытащил из кармана вечернюю газетку, затем, читая, стал приговаривать: «Черт знает что такое! Черт знает что такое!» Словом, после кораблекрушения в этом доме снова начал расцветать быт.

Николай, не поднимая глаз от книги, спросил:

— Кстати, папа, что завтра идет в Новой Комедии?

Василий Петрович медленно опустил газету. Василий Петрович видел, как Николай сунул книжку за ременный пояс, вытер губы и, сказав матери: «Спасибочки», вышел. Через некоторое время Василий Петрович послал Владимира за братом, чтобы привести его в кабинет.

Николай явился одетый, в картузе, с трудом застегивая пуговицу на стареньком гимназическом пальто:

— Ты звал меня, папа?

— Звал. Сядь. Нам нужно объясниться.

— Прости, но я тороплюсь; у меня пленарное заседание. Если ты сердишься — мне очень жаль, но я, честное слово, против тебя ничего не имею. Да, пожалуйста, не забудь, что завтра Ольга Андреевна просила тебя заехать в половине седьмого.

— Откуда ты это знаешь? — свистящим шепотом спросил Василий Петрович.

— Говорил с ней по телефону.

— Зачем?

— А ты зачем был у нее вчера?

— Николай! Она твоя любовница!

— Ну, знаешь, отец, тебе нужно просто принять валерьяны.

Николай вышел, хлопнув дверью. Василий Петрович опустился на диван. У него голова шла кругом... Он повторил в уме все слова, сказанные сыну, его ответы, и,— когда дошло до валерьяны,— Василия Петровича бросило в жар. Забилось сердце. Он расстегнул куртку, взял Соловьева и долго глядел на страницу. На ней появились буквы. Он прочел:

«Если человек как явление есть временный и преходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим».

— Единым и многим,— повторил он, поднимая голову,— боже мой, как я ужасно неумел и несчастен!

7

Пешком вдоль стен, по осклизлым тротуарам, на извозчиках, ныряющих в хлюпкие ухабы, изредка на темных внутри автомобилях, в темноте, под сырой, бьющей с ног непогодой двигались городские обыватели к едва освещенному одною лампочкой подъезду театра, где ветер трепал на двух колоннах мокрые афиши.

В низких тучах мерцал тусклый свет электричества, кое-где зеленоватой каплей светил газовый фонарь. На лесах уже давно брошенного строиться огромного здания еще виднелись облезлые от времени рекламы. Эти изображения беспечного господина в струях дыма, силача, разрывающего шину, красавицы в одном корсете,— были из другого, разрушенного, теперь непонятного мира.

Прохожие пробирались молча. Где-то в стороне Садовой, Трубы и Тверских переулков хлопали одинокие выстрелы. Стреляла ли то стража по ворам, или воры по страже, или отстреливался одинокий пешеход — не все ли равно,— обыватели, не оборачиваясь, упрямо пробирались к темному и грязному театру.

К семи часам скудно освещенная зрительная зала была полна. Несколько полных женщин, одетых с умеренной роскошью, торопливо прошли в первые ряды, капельдинеры в потертых сюртуках запирали боковые двери; осветилась рампа; партер затих, стремительно пробежал инспектор театра и сел где-то, и пыльный занавес, заколебавшись, раздвинулся.

В ненастоящей, ярко раскрашенной комнате, залитой ярким, ненастоящим солнцем, на картонном балкончике итальяночка вытряхивала пеструю юбку. Густо-синее небо, красные крыши вдали, смуглое личико, наклеенные ресницы, платочек пестрый,— все, все это итальянское, веселое, и все, что здесь произойдет и чем кончится, будет весело, легко, ярко.

И пусть там, за стенами театра, настойчивые и свирепые молодые люди совершают государственные перевороты, пусть сдвигаются, как пермские древние пласты, классы, пусть извергаются страсти сокруши-

тельной лавой, пусть завтра будет конец или начало нового мира,— здесь за эти четыре часа итальянского обмана бедное сердце человеческое, могущее вместить волнения и мук не больше, чем отпущено ему, погрузится в туман забвения, отдохнет, отогреется.

Прогремят события, прошумят темные ветры истории, умрут и снова народятся царства, а на озаренных рампою подмостках все так же будут похаживать итальяночки с длинными ресницами и итальянцы с наклеенными бородами, затягивая, заманивая из жизни грубой и тяжкой в свою призрачную, легкую жизнь.

8

Дернув за рукав, Ольга Андреевна спросила:

— Вы купили афишку? Дайте-ка.

Она сидела, слегка закинув высоко причесанную голову, опустив руки на сдвинутые колени; по внимательному, даже нахмуренному, ее лицу скользили отсветы рампы,— улыбки, испуг, ожидание, радость.

Там, на сцене, шла какая-то милая, непонятная чепуха. Но милее и непонятнее было Олечкино лицо. Один раз она обернулась, прошептав сердито:

— Почему вы не смотрите на сцену?

Каким образом Василий Петрович попал в театр и теперь сидит с нею рядом,— разобраться было нельзя, слишком сложно. Еще вчера и мысли не приходило об этом, а если и приходила, то казалась совершенно нелепой. Сегодня в половине шестого он решил уехать в Америку, жить здоровым физическим трудом, начав хотя бы с чистки сапог (эх, если бы не семья), а без четверти шесть спешно брился и сломал ноготь, надевая чистый воротник. Сейчас хотелось только одного: бесконечно длить эти фантастические, долгие минуты.

Там, у пестрой итальяночки, появился одетый в белое растакуэр,— сделал гнусное предложение; итальяночка дала пощечину и бросилась на грудь к другу-красавцу, не имеющему средств, чтобы жить. Занавес задернулся.

В партере поднялись. Ольга Андреевна. вздохнула, повернулась к Василию Петровичу и подала ему карамельку:

— Вы все еще сердитесь, что поехали в театр?

— Я сержусь?

— Почему же все время молчите? Пьеса такая милая. Вот и видно — не любите театра.

Она произнесла первое попавшееся на язык, а глаза равнодушно разглядывали; лоб наморщен, между белыми зубами, хрустя, поворачивалась карамелька.

— Конечно, молчите, меня разглядываете. Ну, какой! А вон, видите, у той толстой дамы вся челюсть вставная. На военного как она смотрит, вот смешная. Так вы не сердитесь на меня? А я вас позвала, сама не знаю зачем, а потом думаю — не хочет идти, и пускай пойдет, и сыну вашему звонила, чтобы напомнил папаше. Батюшки, на деревянной ноге идет! Как я таких жалею! Вам, может быть, курить хочется? Я посижу одна, идите.

Карамелька была съедена; антракт кончился; раздвинулся занавес, и вновь лицо Ольги Андреевны затеплилось, разгладился лоб, расширились подернутые влагой глаза. Василий Петрович, нагнувшись к ее уху, проговорил:

— Мне хорошо с вами.— Она не повернула головы.— Немножко думайте обо мне, прошу вас.

Она, глядя на сцену, ответила:

— Не мешайте слушать.

Итальяночка попадала в скверную историю: растакуэр не побрезговал гнусной клеветой, и вот красавец друг подозревает, и она не может сказать правды, она боится. Друг говорит гневные слова, сверкая подведенными глазами, широко шагает по сцене. Итальяночка прикладывает к носику платочек, дрожит, как птица: «Хорошо, хорошо, друг мой, ты мне не веришь, и я не имею других доказательств, кроме любви». И опять в дверь лезет гнусная рожа растакуэра.

— Господи, какой же он подлый, хоть бы убили его,— шепчет Ольга Андреевна.

Василий Петрович спросил улыбаясь:

— Вам ее жалко?

— Да, да, да.

— Но ведь все хорошо кончится.

— Ах, не в этом дело.

— Вам жалко ее любви?

— Да. Мне жалко всякой любви. Любви нет, понимаете, нет совсем. Ах, не мешайте же мне смотреть.

В антракте Ольга Андреевна сидела сутулая, опустив голову, покусывая губы. Конец пьесы досмотрела без внимания и еще до занавеса поднялась и, когда Василий Петрович подал ей шубку, закуталась вместе с носом в обезьяний воротник; дернув, надвинула на брови шапочку.

При выходе ветер, трепавший афиши, хвосты лошадей, юбки и шубы дам на мокром асфальте, дыхнул подвальной, подземной стужей в лицо Ольге Андреевне. Она сказала:

— Как холодно! Поедемте.

Сели в санки, потащились по булыжникам, по ухабам, по слякоти. Василий Петрович, охватив спину Ольги Андреевны, чувствовал под пальцами ее ребрышки. Они были какие-то совсем плохо приспособленные к ухабам, к непогоде, к тому, чтобы охранять живое, отбивающее секунды жизни, беззащитное сердце. Ребрышки клонились, вздрагивали под пальцами. Все лицо ее до бровей было спрятано в воротник. Василий Петрович чувствовал, как через эти тонкие ребрышки, что двигаются под его пальцами, в холодной темноте, в отсветах задуваемых ветром фонарей, сквозь шубу коснулась, кольнула в сердце грустная жизнь, тепло и жалость. Наклонившись к ее воротнику, он хотел сказать про это, но губы, остуженные непогодой, едва выговорили какие-то жалкие слова. И эта искра внезапной жалости, скудный огонек любви, двигалась вместе с двумя сидящими в санях фигурами по темному, воющему всеми проволоками и простреленными крышами, мрачному городу. Где было ей уцелеть!

У подъезда он говорил:

— Сегодняшний вечер очень знаменательный для меня, Ольга Андреевна. Я давно не чувствовал в себе такой уверенности, что все-таки нужно, нужно жить.

Как ее ни гни, а ведь пробьется она, как озимь. Право, совсем не так плохо. Что-то есть, что-то есть.

Дверь отворили. Он протянул руку. Ольга Андреевна, не замечая протянутой руки, вошла в подъезд, затем обернула голову, ее глаза были строгие.

— Зайдите, ведь еще не поздно.

9

Они сели на диван. Ольга Андреевна положила обе ладони под щеку и совсем ушла в подушечку, был виден только ее открытый широко глаз. На кухне, должно быть, вдова Бабушкина спрашивала у кухарки:

— Кто пришел?

— Да вот этот, шут его знает, в понедельник-то заходил.

— Ах, вот как. В очках?

— Ну, да.

Потом стало тихо. Затикали где-то близко ручные часики.

— Она знает, как вас зовут, сколько у вас детей, все знает,— проговорила Ольга Андреевна.— Очень противная особа.

Опять помолчали. Василий Петрович, улыбаясь, разглядывал пепел папиросы.

— Странно подумать, что отсюда придется идти на улицу, быть опять одному. Бррр...

— Вам не хочется оставаться одному?

— Вообще, быть одному невозможно,— сказал Василий Петрович.— Быть самому с собой — это другое дело. Ну, а теперь самого себя я и не чувствую. Я совершенно один, абсолютно. И вот в такие минуты думаешь: большое чувство к женщине может наполнить эту пустоту, связать с жизнью.

— Какой бедный,— проговорила Ольга Андреевна,— как же мне вас теперь отпустить одного?

Василий Петрович хихикнул и спохватился... Она растормошила подушечки, устроилась половчее.

— Не хочется — и не уходите. Оставайтесь.

Тогда он повернул голову и вдруг густо, так что

очки запотели, побагровел. Ольга Андреевна вытянула руку и худыми пальцами, покрытыми перстнями, взяла его за отворот сюртука:

— Вы такой милый. Вы такой милый были весь вечер. Неуклюжий, неумелый, страшно милый.

— Не шутите со мной, Ольга Андреевна.

— А я не шучу.

Тогда он проговорил не своим, а каким-то итальянским, незнакомым самому себе голосом:

— Дело в том, Ольга Андреевна, что я люблю вас.

— Ну,— сейчас же протянула она,— ну, вот, зачем вы так говорите. Меня вы не любите, сейчас только вам и показалось...

— Клянусь. Вы не знаете, что я переживаю... Эти дни, как помешанный... Я не мог решиться...

Тогда она перебила с досадой:

— Послушайте, Василий Петрович, а я не люблю нечестных людей. Дайте-ка мне носовой платок. Вон там, на туалете.

Он пошел к туалету, опрокинул какую-то жидкость, сказал: «Фу, ты», споткнулся об угол ковра и присел у ног Ольги Андреевны. Было ясно, что он плохо соображает. Она сказала:

— Вот так-то почтенные люди кидаются в омут головой.

— Верьте мне, ради бога.

— Ах, нет. Лучше скажите мне что-нибудь веселое.

— Не мучайте меня.

— Это — я-то мучаю? Изо всех сил стараюсь доставить ему как можно больше удовольствия. Ах, Василий Петрович, Василий Петрович, поймите же: вы весь крахмальный, рубашка на вас крахмальная, сюртук крахмальный, голос крахмальный. И весь вы каким-то коробом топорщитесь.

Она вдруг засмеялась, нагнулась стремительно, схватила Василия Петровича за уши, закинула его голову и поцеловала в нос.

— Пуц,— сквозь смех едва проговорила она.— Пуц из породы глупых. Какой славный!

И сейчас же от смеха опрокинулась на спину. Ва-

силий Петрович просунул руки под ее плечи, усатым ртом искал губ.

Смеясь, царапаясь кольцами, она увернулась, перебралась на другой конец дивана; проговорила, задохнувшись:

— Нет, нет, нельзя.— И, как кошка, стала оправлять платье.— Теперь мне стало весело, и больше нельзя. Поняли? Откройте шкаф и достаньте коньяк.

— Скажите — любите меня? — пробормотал Василий Петрович.

— Нет, совсем не люблю, в том-то и дело.

— Вы издеваетесь!

— Вот неблагодарный человек! Я же предлагала вам остаться.

— Молчите! Я не хочу, чтобы вы глумились над чувством.

— Глумиться над вашим чувством! Над каким? Я вам совершенно добродетельно, из одного доброго расположения, безо всякой выгоды, предложила остаться. А вам, оказывается, мало этого! Я еще должна переживать ваши чувства!

Ее лицо вдруг стало острым и злым.

— Не верю вам, поняли? От ваших переживаний мне скучно и кисло — оскомина. Пошлость!

Она ударила кулаком в подушечку.

— Вы еще в понедельник мне не понравились. Пришел, сидит, сети расставил. Добрый, пресный. Упырь, прямо упырь. Своего-то нет ничего. Пришел напиться. Боже мой, какая тоска! Уйдите, уйдите сию минуту, господин... Не блестите на меня очками... Вы какой-то весь медный.

Она поднесла руку к горлу. Рот ее пересох, глаза ввалились.

— Уходите же, я говорю. Придете в другой раз. И тогда скажете точно и ясно, что вам нужно от меня.

Василий Петрович сидел на другом конце комнаты, спиной к зеркалу; несколько раз он повторил, словно про себя:

— Вы неправы, нет, неправы.

В дверь постучали, Ольга Андреевна не ответила. Вошел Николай.

10

Ольга Андреевна вскрикнула:

— Коленька! — вскочила, взяла его за руки.— Какой же вы славный, что зашли. Дайте поцелую в лобик. Хотите чаю?

Николай сдержанно и нежно отстранил Ольгу Андреевну, сел на стул у стены и покосился на отца, но не усмехнулся, как обычно, взглянул сурово.

— Я предупреждал Ольгу Андреевну, что зайду часам к одиннадцати,— сказал он,— ну что, хорошо было в театре?

Василий Петрович, внимательно разглядывая взятую с туалета брошку — птицу со стрелкой в клюве, подумал: «Вот черт, уйти сейчас — невозможно; ответить — нет, нет; накричать на мальчишку — выйдет глупо»,— и он промолчал, только прищурился, поднеся к свету птичку.

У Ольги Андреевны поблескивали глаза; сидя на краю дивана, она поворачивала голову то к отцу, то к сыну,— слова так и готовы были слететь с ее губ. Николай сказал:

— Холод сильный, а мне жарко. С Нижней Якиманки бежал бегом. На мосту остановили солдаты, хотели в воду бросить. Отругался. Вот так случай.

— А что без вас тут было,— проговорила Ольга Андреевна,— какие странные разговоры. Мы чуть было не поссорились. Говорили все о любви.

Она протянула руки, впустила пальцы в пальцы:

— Любви ему нужно... Видите... Я говорю: Василий Петрович, но мы, женщины, не верим в любовь. У нас, у каждой, было столько своего, окаянного, что любовь никак не получается. Вот вы и рассудите нас с вашим папой. Он сейчас обиженный. А на извозчике мы ехали, шепнул — или мне показалось это, Василий Петрович?— нет — шепнул такое хорошее что-то, нежное. Господи, думаю, неужели забыл человек о себе, на одну секунду почувствовал за другого? Неужели чудо случилось?

Она не спеша вытащила из-за пояса юбки платочек, приложила его к носу, точно актриса, и бросила. Нико-

лай, охватив голову, упершись локтями в колени, глядел в пол. Василий Петрович слушал, как медленно, с силой, ударялось сердце.

— Очень жалею, Василий Петрович... Вы уж простите меня... Коленька знает, что меня не нужно тревожить: у меня целая кладовая мусора женского. Сама бы рада вам весь мусор отдать... Вот Коленьку я за что люблю?— для него я всякая хороша, и то хорошо, что путаюсь черт знает с кем, и что один мерзавец на моторе ко мне ездит, теперь пешком бегает, боится. Со всем мусором мила ему... Правда? И, вы думаете, он жалеет меня? — нет. Коленька мальчик здоровый, у него от бабьей духоты голова болит. А любит меня попросту, как себя любит, как товарища какого-то. И товарищам рассказывает: «Ольга Андреевна — милая, добрая душа, настоящая женщина, без фасонов-фасончиков...»

— Врете, этого я никогда не говорил,— мрачно произнес Николай, не поднимая головы.

— Люблю его за жестокость. Сильный, жестокий мальчик. Чего, в самом деле, бабьей духотой дышать! Открыть форточку — вот и хорошо. А за меня убьет кого угодно. Вот какой!

— Помолчали бы лучше, Ольга Андреевна, до ерунды договоритесь.

— Сейчас кончу. Вы о своем несчастье хлопочете, Василий Петрович, а я о своем. Не знаю уж, как мы сговоримся... Я вот вся — как ящерица раздавленная. Все слезы в одиночку выплакала. По этому дивану каталась. Теперь выпотрошенная,— весело! И поклялась,— что бы ни было,— не любить, не чувствовать. Не могу больше! Не хочу страдать! И вы совсем напрасно ждете от меня... Хотя немножко добились. Вот, глядите, приятно? Нравится?

У нее вдруг покатились крупные слезы. Николай поднялся, одернул кушак:

— В общем, вы все это страшно зря. Перестаньте, Ольга Андреевна. Я уйду.

— Коленька, подождите, не уходите... Замолчу. Мне только страшно. Он молчит. Я кричала ему, чтобы ушел. Нет, сидит. Почем я знаю, что он думает? Мне

показалось одну минуту, что влюбилась в него. Ну, простите, простите меня, знаю — ужасно. Но мне больно от каждой малости, от пустяка, от царапины, так больно...

Николай снял с плеча ее руки, посадил Ольгу Андреевну на стул и, подойдя к отцу, все так же неподвижно сидящему у зеркала, проговорил:

— Папа, ты бы ушел, в самом деле,— видишь, что с ней.

Василий Петрович поглядел на рыжие, злые глаза сына. Николай проговорил трясущимися губами:

— Если ты не способен ничего чувствовать, лучше уйди. У тебя грязное воображение, больше ничего. Мне очень стыдно за тебя, отец... понимаешь?..

Тогда Василий Петрович привстал и неожиданно ударил Николая по лицу. Постоял, сопя, сжимая и разжимая кулаки, нагнул голову и вышел, оставив дверь раскрытой.

11

«Домой? Нет, нет!» — Василий Петрович застегивал крючок шубы; натянул перчатки, глубоко надвинул шапку и продолжал стоять на ступеньке захлопнувшегося за ним подъезда.— «Куда?»

В этот час было совсем тихо,— ни шагов, ни звуков копыт. Тишина. Но вот в воздухе повис унылый свист поезда. Как волновал, бывало, этот протяжный звук! Точно приносил вести издалека,— жизнь казалась долгой, радостной, неизведанной.

Василий Петрович, спрятав подбородок в мех воротника, пошел по переулку. Грязь и вода была под ногами, сырость струилась со стен, над крышами повисло небо, насыщенное ледяной влагой, изредка падающей каплями.

Опять раздался свист. Это поезд, набитый солдатами и мужиками, подходил на разъезженных колесах и взвывал диким воем: хлеба, жизни, милосердия!

Василий Петрович, приподняв голову, слушал. Представились темные, голые, брошенные поля,— огромные пространства, и редко на буграх торчащие, с разметан-

ными ветром крышами, полусгнившие избы, и какая-то высокая фигура в платке, идущая, махая рукой, с бугра на бугор, по полям. Все это ясно представилось глазам, как видение, возникшее из протяжного свиста.

Сзади хлопнула дверь; кто-то, поспешно выйдя, осмотрелся и повернул вслед за Василием Петровичем. Шаги стукали за спиной: тук, тук, тук. И то приближались, то западали. В этот час было закрыто все,— весь город, наглухо запершись на замки, спал. Куда идти? Василий Петрович свернул направо, налево, потом опять направо. Сзади раздавались шаги — топ, топ — в башмаках без калош. Близ Никитских ворот он остановился. Стал и тот неподалеку мутной фигурой.

— Ах, черт,— прошептал Василий Петрович, вглядываясь. Фигура заколебалась, приблизилась и вошла в неясный свет, падающий из окна. Это был Николай. Обе руки его глубоко засунуты в карманы, лицо зеленоватое, худое, незнакомое.

«Мальчик, родной сын,— подумал Василий Петрович,— а ведь был кругленький, теплый».

И он проговорил хриповатым голосом:

— Это ты, ну, хорошо,— и пошел дальше, держась у стены, а Николай — рядом, с другого края тротуара; нога его то и дело соскальзывала в канавку. Затем оба они сразу остановились.

— Я тебе не намерен отдавать никаких отчетов, слышишь! — крикнул Василий Петрович.— Сам виноват! Заслужил. Я давно собирался тебя проучить. И теперь очень рад. Все. Можешь идти домой.

Выкрикивая эти самому себе противные слова, он, не отрываясь, глядел на руки Николая, сунутые в карманы очень узкого пальто.

— Слышишь, вся эта история мне гораздо более противна, чем тебе, быть может. Мне больно, что мой сын... Николай... Слушай... Я тебя повалю... Вынь руки... Не смей!.. Что ты делаешь!

Вздохнув, не то застонав, Николай потянул из кармана правую руку, точно в ней была страшная тяжесть. Василий Петрович быстро зажмурился, втянул голову в плечи. Все тело его ослабло, осело, привалилось к стене. Пронеслась, как искра, мысль: «Только скорее».

Потянулась секунда такого молчания, такой тишины, что слышно было, как упала капля, точно камень. Затем он услышал горячий шепот Николая:

— Отец, папочка, милый, не бойся...

Далеко отведя револьвер, Николай другою рукой что-то выделывал пальцами очень жалобное, бормотал, и лицо его все смеялось плачем, все было мокрое.

— Хорошо, хорошо, Коленька, иди, родной, я сейчас вернусь.

И Василий Петрович, не оборачиваясь, зашагал по лужам. Перешел улицу. Остановился. Перед ним возвышался огромный остов дома. Сквозь пустые, обожженные окна видны были летящие облака. Идти дальше не хватало сил — так дрожали ноги. Василий Петрович облокотился о полуразрушенное окошко, достал папиросу и держал ее незакуренной между стиснутыми зубами.

— Мальчик хотел меня убить, вот история,— и он сдерживал изо всей силы подкатывающий к горлу соленый клубок.— Совсем плохо, значит, совсем дело плохо.

В отверстиях окон подвывал ветер; погромыхивая, скрипели вверху листы железа. Говорят, где-то с той стороны еще курилась с октября тлеющая куча щебня и мусора.

Он стал глядеть на тучи, на трамвайный столб, простерший на тучах сухую перекладину.

Было так трудно, что Василий Петрович опустил голову. Среди посвистывания ветра до слуха его дошел чей-то голос, точно читавший:

«Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана, господи, упокой... Убиенных Марию, Анну, младенца Ивана...»

Он вытянул шею. Говорили неподалеку, за углом. Он пошел на голос. Со стороны бульвара стояла высокая женщина в платке, сложив руки на животе, приговаривала «за убиенных» и кланялась на груду мусора сожженного дома. К подходившему она повернула большое лицо с крупным носом:

— Каждую ночь воют,— нехорошо, очень плохо.

— Кто воет?

— Убиенные... До свиданьица, барин,— торопливо

сказала она, наспех перекрестилась и пошла прочь, и скрылась за углом. По всему видно, что была сумасшедшая.

Василий Петрович во всю грудь захватил воздуху, закашлялся и, уже не сдерживаясь, стал глухо лаять... Слезы полились из-под золотых очков... О ком?.. О сыне Колечке... о сумасшедшей бабе... о замученной Оленьке... о нелюбимой жене, только и умеющей хлопать ресницами в ответ на все непомерные события... И о себе, раздавленном и погибшем, плакал Василий Петрович, спотыкаясь и бредя по трамвайным рельсам в непроглядную тьму бульвара...

ЧЕЛОВЕК В ПЕНСНЕ

Ранней весной на дачном поселке, разбросанном по морскому берегу, две дачи были заняты приезжими почти одновременно. К деревянному с башенкой дому, который звался в поселке «замком», подъехала нагруженная корзинами линейка. Приезжий, худой и невеселый господин, с русой бородкой, в плаще и надвинутой низко широкополой шляпе, взошел на крыльцо и ждал, покуда отворят дверь. Оглядываясь на холодное море, на низкие облака, летящие растерзанными клочьями над серой водой, он поморщился и поправил пенсне. Плащ его надувало ветром, и голые ветви тополя свистели жалобно, как розги.

Затем он вошел в сырую и нетопленную дачу, взглянул на несколько пейзажиков с камнями и лодками, на прошлогодний календарь, пожелтевший на двадцать третьем августа, и, не снимая шляпы, сел на оттоманку, с нее сейчас же поднялась пыль. Немного погодя он сказал:

— Затопите печи!

Дворник-татарин, бухнувший в столовой на пол последнюю корзинку с книгами, ответил: «Хорошо» — и ушел. Приезжий остался один. Подвернув под себя ногу, закурил и принялся глядеть в пыльное окно, за которым качалось голое дерево. Моря не было видно, но глухой шум его наполнял весь дом. Наступали су-

мерки. Папироска между пальцами, лежащими на колене, погасла. Приезжий зевнул холодным, сдержанным зевком так, что чуть-чуть стукнули зубы.

. . . .

Часами тремя раньше в соседнюю одноэтажную дачку въехала молодая женщина с няней и двумя девочками, одетыми в синие полушубки. Часа три продолжалась суета и беготня на даче. Сейчас там был уже зажжен свет, постланы детские постели, в столовой кипело молоко; к девочкам в натопленную детскую явилась старая рыжая собака. Она подавала лапу и криво улыбалась, доказывая новоприезжим бескорыстие и преданность.

Дама, закутав голову и плечи в оренбургский платок, сидела на подветренном балконе. Перед ней за двумя столбиками, глубоко внизу, лежало море, оно было точно в театре,— такое новое, незнакомое, выразительное; дама была уверена, что и завтра, и еще много, много дней будет видеть это море, и в ненастье, и в теплые дни, когда все вокруг зацветет и волны из свинцово-синих станут лазурными.

. . . .

Приезжего звали Николай Иванович Стабесов; он был москвич, холостяк, с некоторыми средствами. Читал в университете необязательный курс. Девятьсот пятый год, недолгая ссылка, затем тревожное, бесстыдное, оголтелое десятилетие, когда, в дурмане роскоши и греха, готовился взрыв мировой ненависти, и, наконец, война — совсем расшатали здоровье Николая Ивановича; он вдруг почувствовал, что бесконечно одинок, затерян, не нужен и точно крепкий, пахнувший ворванью солдатский сапог уже занесен над его теменем. Николай Иванович перестал спать, работать, видеться с друзьями. Доктора послали его в Крым.

Соседка по даче, Екатерина Васильевна Болотова, приехала в Крым из-за младшей девочки, у которой доктора нашли рахит. Госпожа Болотова докторов не любила и боялась, но детей в Крым все-таки повезла и всю дорогу мечтательно радовалась новой перемене жизни. Муж ее умер несколько лет назад. От этой потери осталась большая грусть, но жизнь все-таки не

казалась ни безнадежной, ни одинокой; муж не взволновал ее любви, и она оторвалась от него без ущерба. К тому же была молодость, дети, немного денег, немного свободы и радостная способность мечтать о неопределенном и прекрасном, о море, о зеленых полях, о летней жаре, когда гудят пчелы и вся земля в избытке.

Вот этим двум людям, поселившимся вблизи друг друга почти на пустом побережье, и надлежало встретиться. И здесь, в уединении, они, вероятно, не смогут разминуться так равнодушно, как двое прохожих на улице большого города, где Стабесов и Екатерина Васильевна были, кажется, знакомы и даже разговаривали, но когда и о чем, конечно, никто из них не помнил.

. . . .

Посыпанная серым гравием дорожка прямо от балкона спускалась к морю. Ниже шли ступени с перилами. Здесь, лицом к морю, надвинув шляпу и пенсне, садился Николай Иванович с книгой, а когда «моряк» крепчал и пена, разбиваясь о подводные камни, взлетала пенными хлопьями на пригорок,— пересаживался повыше.

И чем сильнее дул ветер, чем глуше и тревожнее гудели внизу каменья и выше взлетала пена, тем определеннее было чувство у Николая Ивановича, которое он и выражал довольно неясными словами, сказанными сквозь зубы: «Дуй, дуй, голубчик, оба мы «явление природы».

Затем, померзнув, Николай Иванович шел на дачу, ложился на диван, курил, брал в руки книгу, разглядывал корешок, прочитывал последние строки заключительной страницы и, пробормотав что-нибудь вроде: «Ага, вы в этом уверены, завидую, завидую вам»,— бросал томик на окно. К книжкам было чистое отвращение, точно на голодный желудок жевать вату. «Да, пора, пора приступать к изданию своей книжицы»,— говорил он, подойдя к окну и барабаня в стекла. И эта «собственная книжица» и поза у окна были омерзительны. «Экая пошлятина»,— думал Николай Иванович.

И только по ночам, лежа в сыроватой постели, по-

догнув худые ноги (он чувствовал — худые, нужные только мне, мне и никому больше), Стабесов испытывал, пожалуй, единственное честное чувство: жалость к себе. Это была горькая, бесплодная, упоительная жалость к пустой даче, под враждебный шум моря, плюющего пеной до самого балкона. Плевание, равнодушие и утомительный шум, шум, шум — казались основой всего, законом мира.

Однажды ночью, надумавшись и нажалевшись, Николай Иванович захотел есть. Татарин с татаркой спали далеко. Стабесов, со свечой, в кальсонах, наступая на завязки, пошел к буфету, где оказались хлеб, крутые яйца и соль в бумажке. Он вернулся на постель и, сидя, уставясь на огонь свечи, принялся лупить яйцо, держа его в горстке, обмакнул в соль и медленно съел. И вдруг навернулись слезы. Николай Иванович быстро задул свечу, завернулся с головой и, кусая губы, повторял:

— Ах, черт, ах, черт возьми!

. . . .

У Екатерины Васильевны всегда была слабость: гуляя, она любила заглядывать в освещенные окна. Между нею, стоящей на снежном тротуаре, и «теми» людьми была лишь тонкая пелена стекла, заглушавшая звуки, и все же «та» жизнь казалась чем-то неуловимо преображенной. Вот женщина облокотилась о кресло, подперев щеку, и даже не задумалась, а затихла, ее муж, в очках и без воротничка, помуслил палец, чтобы перевернуть страницу, и надолго уставился на зеленый абажур лампы. Вот в полуподвале чистая комната с паркетным полом, и трое мужчин, один — у рояля, другой, зажав между колен виолончель, водит смычком, третий сидит на диванчике, и у него, у третьего, серьезное, почти вдохновленное лицо. Звуков не слышно, движения медленны, неловки, будто люди, сами того не сознавая, застывая на мгновение, прислушиваются к полету времени, уносящему минуты. Печален вид человека, когда он остается самим собой.

Екатерину Васильевну очень тянуло заглянуть в освещенное окно Стабесова, но было неловко. От татарина она узнала подробности жизни Николая Ивановича и думала, что он «страшно гордый».

Однажды, после сумерек, возвращаясь с моря, она все-таки решилась, перебежала дорожку и, поднявшись на цыпочки, заглянула. Стабесов, стоя у стола в одном жилете, пришивал перед свечой пуговицу на пиджаке.

«Господи, вот несчастный!» — подумала Екатерина Васильевна. Гравий под ногами ее захрустел. Стабесов поднял голову и долго еще вглядывался сквозь стекла, покуда Екатерина Васильевна спешила к себе. Вернувшись, она сказала няньке:

— Вот, Марья Капитоновна, ужасно, когда мужчина беспризорный, ничего нет грустнее на свете.

На это почтенная Марья Капитоновна, знавшая, как сама уверяла, мужчин «вдоль и поперек», ответила с неодобрением:

— Чего их жалеть,— жалости не хватит.

В этот вечер Екатерина Васильевна с особенной благодарностью чувствовала, что у нее есть дом, девочки и Марья Капитоновна, «преданная детям, как пес». И несколько раз невольно вздохнула, вспоминая, как Стабесов протыкал иголку вместо наперстка крышкой от чернильницы.

. . . .

На склоне, между корявыми сосенками, зацвел куст рододендрона. Он покрылся за одну ночь, точно весь запылал, жесткими ненастоящими цветами. Стабесов увидал его из окна и вышел в садик. Около, на скамейке, сидела Екатерина Васильевна. Он поклонился, она подала руку и сказала, что они были знакомы; его удивил взгляд ее длинных карих глаз,— внимательный и ласковый, точно она что-то уже знала про него.

Николай Иванович понюхал куст, цветы были без запаха. Екатерина Васильевна заговорила о дурной весне и о море, нашла его прекрасным даже в пасмурную погоду. Стабесов подумал и согласился, и, обернувшись, оба некоторое время смотрели на взлохмаченную массу воды, ходившую на горизонте огромными волнами.

Встреча как встреча. Екатерину Васильевну она немного разочаровала, главное — тон Стабесова: независимый, слишком самостоятельный (а пуговицы?—по-

думала она). Николай же Иванович внезапно почувствовал некоторую теплоту, и наклон мыслей в этот вечер был не так безнадежен. На следующий день ему спешно понадобилась почтовая бумага, и он пошел на дачу госпожи Болотовой и, конечно, был оставлен пить чай.

Екатерина Васильевна рассказывала ему о детях, как им здесь вольно и здорово: за неделю девочки прибавились в весе каждая на полфунта, и щеки у них теперь, как персики (в ее рассказах дети казались вкусными, как персики); плоховато насчет провизии, но она думает купить козу. Похвалилась также Марьей Капитоновной, которая в это время пришла за кипятком и, цедя его из самовара в эмалированную кастрюлю, покосилась на барина и достойно поджала морщинистые губы. «Злющая баба»,— подумал Стабесов. В низкой штукатуренной комнате было тепло. На потолке дрожала тень от самоварного пара и бегала большеногая мухоловка. В детской какие-то совершенные пустяки рассказывали друг другу девочки; Марья Капитоновна, вернувшись в детскую и поварчивая, укладывала их спать. Стабесов звенел ложечкой, кивал, одобрил покупку козы, несколько раз пытался положить ногу на ногу, но мешала доска стола, и думал, что все это очень мило. Екатерина Васильевна проводила его до рододендрона, где была граница их дач; здесь некоторое время постояли, в молчании глядя в темноту земли, выразили предположение, что завтра будет хорошая погода, и разошлись. Остаток вечера и ночь (наполовину бессонная) были проведены Стабесовым недурно — немного томно, немного скучно.

Через день Екатерина Васильевна пришла к Стабесову за «какой-нибудь книжицей почитать». Стабесов пришел в отчаяние, роясь в специальных сочинениях, оттисках, журналах.

— Вот, пожалуй, это еще так-сяк, довольно популярно,— сказал он, подавая ей серенькую брошюрку. Екатерина Васильевна свернула кижечку трубкой (видно, что мало читает книг), села на подоконник и, постукивая туфелькой о стену, принялась болтать.

На ней было синее мягкое платье. Кисти рук и шея

казались удивительно нежными. В этот день солнце то закрывалось плотными облаками, то, выглянув, спешило гнать и без того улепетывающие тени, бросаясь всем своим жаром на мокрую землю, на море, застигнутое врасплох. И каждый раз, когда свет появлялся сбоку окна, волосы Екатерины Васильевны точно наливались старым золотом, и тонкая раковина уха просвечивала.

Вспоминая нашумевшую в Москве пьесу (госпожа Болотова очень любила театр), она подняла руки и долго поправляла на затылке узел волос; рукава, натянувшись, обрисовали локти. И Николай Иванович, плохо понимавший смысл слов, начал чувствовать, как мягкой ткани платья касаются изнутри то плечо, то грудь, то колено.

С каждым мгновением Екатерина Васильевна превращалась во что-то все менее понятное, вернее — она переходила в иное состояние, которое можно усвоить чем-то необычным, неповседневным. Ее улыбки, движения губ, волночки лукавства, пробегающие от углов рта на щеки, движения, голос становились (он вдруг это остро почувствовал) неповторяемыми, единственными. И все эти прелести совершались с глазу на глаз, между ними двоими только.

Это было страшновато, и веселый холодок уже наигрывал в жилах какую-то странную музыку.

Екатерина Васильевна, тоже, должно быть, чувствуя неповседневность, раскраснелась и словно давала понять Николаю Ивановичу — вот это движение, эта улыбка, эта складочка, усмешка — только ваши, и не были ничьи, и никому больше не подарятся.

Николай Иванович тряхнул головой и, усмехнувшись, сказал:

— Я бы мог вам рассказать довольно банальную историю... Не знаю, быть может, вам скучно меня слушать.

Он устроил пренеприятную гримасу, но все же затаил дыхание. Екатерина Васильевна проговорила вдруг очень серьезно:

— Я слушаю вас.

— Все сплошной обман, Екатерина Васильевна,— воскликнул он и засунул пальцы в жилетные карма-

ны,— вы поймите, как мерзко; даже самая прекрасная минута радости мгновенно отравлена: на кой мне черт эта минута, когда я все равно умру. Мне тридцать два года, значит — осталось всего еще лет двадцать,— то есть двадцать минут! Разве так жить можно? Я слышу — время летит, как ветер над крышей. Мне хочется — сесть в кресло, стиснуть зубы и ждать — когда конец. Мне больно от моря, от яркого неба, от цветов, от всего, что хочет притянуть меня к земле. Все это обман, я на эти крючки не клюю. Я смотрю на свою руку, год тому назад она не была такой сморщенной. Вот это настоящая правда. А все остальное — книги, философия, искусство, гуманизм, черт его возьми, все — обман. На мне лежит целая пирамида этого мусора. Я самое несчастное, самое низкое, что есть на земле. Потому что я — понял. И я все еще лезу из-под этой кучи, как дождевой червяк.

Стабесов приостановился и поглядел в немигающие глаза Екатерины Васильевны. Она даже побледнела от внимания. Вся жалость к этому заброшенному человеку словно напиталась его словами. Не сомневаясь, что он так именно чувствует, но ни минуты не веря в безвыходность его отчаяния, едва сдерживая слезы, она схватила Николая Ивановича за руку: его пальцы были совсем холодными; торопливо, почти шепотом она проговорила:

— Вы знаете — все это неправда. Зачем вы так говорите? Вспомните, у меня есть дети, не могу же я на них смотреть как на мертвых...

Он нагнулся к ее руке и поцеловал несколько раз. От прикосновения губы его становились все теплее. Последним поцелуем он прильнул к ее руке надолго.

Она видела его склоненное темя, на котором раздвоенные волосы были совсем редкими, и слишком широкий по шее воротник. «Какой же он дорогой»,— подумала она и прошептала:

— Ну, вот видите.

Разумеется, этими словами она хотела сказать, что ее никакими мертвыми словами нельзя убедить, будто ее ребенок рождается для смерти, и что человек, сохнущий от смертельной тоски,— прав, и что одинокий

ум, не питаемый горячими волнами чувств, не станет под конец жалким и скудным.

Но ничего этого она сказать не умела, и только в чудесном порыве,— сжав его руки, глядя в глаза и еще раз повторив: «Ну, вот видите»,— она словно отдала Николаю Ивановичу весь свой избыток жалости и нежности.

Стабесов во всем этом разобрался только впоследствии, теперь же ему казалось — ужасная пустота наполняется живой и влажной прелестью. Он почувствовал такую слабость, что подошел к дивану и присел.

— Я ни перед кем еще в жизни так не высказывался,— сказал он,— и вот что странно — да, да, да, очевидно — есть какая-то другая правда. А вы — чудесная умница, вы какой-то одной фразой так верно меня опровергли, как не могли сделать тысячи томов.

(Впоследствии ни он, ни она так и не могли припомнить этой странной фразы.)

Николай Иванович закурил улыбаясь; глаза его блестели. Екатерина Васильевна, переволнованная и смущенная, спохватилась наконец, что пора кормить детей, и ушла. Он совсем лег на диванчик и продолжал курить и улыбаться. Так началась их дружба.

. . . .

Дни становились жарче и пленительнее. Зазеленели полосы виноградников на южных склонах; закурчавились клейкой зеленью изгороди; по вечерам пахло цветами и морем.

В небе поднимались из-за гор плотные груды сияющих облаков и неподвижно стояли до заката. В море отражались облака и чайки.

Стабесов и Екатерина Васильевна все время проводили вместе, то на песке, где играли девочки, то поднимались в горы, разыскивая дикую спаржу. Она росла на канавах, между колючими кустами; потом, лежа на разостланном пледе, глядели с высоты на огромное пространство воды, по которой бежали синеватые дорожки от встречных течений, на плотную груду облаков за мысом.

Казалось, там, страшно далеко, стоит жертвенник и над ним клубятся огромные дымы. Это была немного

ненастоящая выдумка, но они повторяли ее каждый раз, глядя на небо.

За несколько дней здоровье Николая Ивановича сильно поправилось. Он был весел, подвижен, остроумен. Рассказывая о своей скудной жизни, приводил цитаты из книг — так тесно переплелось его прошлое с книгами и образами чужих вдохновений. Теперь он говорил:

— Я был обыкновенной библиотечной крысой, «интеллигентом», и до ужаса боялся свежего воздуха. Я даже не мог представить, какое наслаждение — лежать и глядеть на облака... Что-то случилось, что-то случилось...

Екатерина Васильевна, захваченная во всю силу этой близостью, похорошела и была задумчива. Лицо ее покрылось нежным загаром. Она думала о Стабесове все время, с нежностью, со страхом, с недоумением. Иногда, лежа в постели, плакала. Но объяснить, что тревожило, какие предчувствия печалили ее,— Екатерина Васильевна не могла. И чем проще, дружественнее и веселее бывал с нею Николай Иванович, тем в большем смятении оканчивался ее длинный, сияющий, полный волнующих радостей день.

. . . .

В камнях появились крабы, шустрые, как пауки. Девочки, брызгая голыми ножками, бегали за ними по ленивым волнам прибоя, но крабы не давали себя поймать.

Николай Иванович лежал на песке навзничь. Из-под надвинутой шляпы виднелись только кончик носа, рот, раздвинутый в улыбку, и борода. Екатерина Васильевна следила за девочками, сердце ее билось,— так хороши были плеск воды, запах морского ветерка, солнце, тоненькие голоса девочек, одетых в белые платьица до колен.

Краба так и не удалось поймать. Девочки кричали: «Мама, помоги!» Екатерина Васильевна сбросила туфли, полные песку, стянула чулки и, подобрав белое платье, вошла в воду, посмеиваясь от веселого страха. Влага нежной прохладой лизнула ее ноги. Большой краб, вытаращив трагические глаза, притаился за кам-

нем. Она живо протянула руку, он скользнул и исчез в мути песка. Разбрызгивая воду, она пошла дальше и в увлечении охотой замочила подол и рукава. Одного краба, маленького, все-таки удалось схватить, и он топорщился, щекоча ладонь.

— Вот он, смотрите, какой страшный,— сказала она, выходя из воды.

Стабесов, приподнявшись на локте, глядел на нее пристально, как чужой. У нее упало сердце.

«Фу, как неловко, как глупо»,— подумала она, поспешно опуская платье, села на песок, раскрыла зонтик и за его защитой до слез покраснела.

Девочки с крабом убежали далеко вдоль воды. Стабесов поворочался на песке и проговорил, растягивая слова:

— Я глядел на вас и думал: когда-то поэты назвали женщину совершенным созданием природы. Это, конечно, банально, но доля истины есть (он так и выразился: «доля истины»). Когда женщина входит в пейзаж, то природа меняется мгновенно: для зрителя она из чисто созерцательной делается, я бы сказал, игривой, ударяет по нервам, возбуждает иные эмоции.

Он вдруг захохотал, показав в углу рта золотой зуб, и поспешно добавил:

— Я шучу, конечно, милая моя Екатерина Васильевна.

Не отвечая, Екатерина Васильевна с ужасом поспешно поджала под юбку голые ноги. Когда же Стабесов потянул зонтик, чтобы взглянуть на ее лицо, она воскликнула гневно:

— Оставьте меня! — подобрала чулки, башмаки и убежала.

В этот вечер они не виделись. На другой день Стабесов серьезно говорил с Екатериной Васильевной, объясняя вчерашнюю шутку своей косолапостью, смущением и прочее. Кончилось все, конечно, примирением, о размолвке не поминали.

. . . .

Николай Иванович сидел на лестнице, там же, где месяц тому назад с таким неудовольствием морщился от ветра и соленой воды. Теперь море чуть рябило, и

гребень каждой волны отливал синеватым цветом; по всему водному пространству раздробился этот блеск солнца, и казалось, в такой именно час в головокружительном восторге Икар привязал крылья, скрепленные воском, и полетел над морем к истоку жизни, к солнцу.

Сзади подошла Екатерина Васильевна и сказала:

— Смотрите, парус.

Наклонившись слегка, скользя по отблескам черным силуэтом, двигался к берегу баркас под косым татарским парусом. Николай Иванович сказал:

— Можно целыми часами сидеть, и в глаза, в уши, через все поры льется эта вечная жизнь. Я понимаю — «царствие божие на земле»: бессмертие должно осуществиться здесь на земле,— каждая минута станет вечностью в моем переживании.

Екатерина Васильевна села на ступеньку рядом и, облокотясь на колени, опустила подбородок на кулачки. За эти три дня, должно быть, после ловли крабов, у нее появилось новое выражение — строгость, точно она вся была вымыта студеной водицей. Она избегала длинных бесед с Николаем Ивановичем или слушала его рассеянно. Он долго глядел на ее изящный профиль; несколько веснушек делали ее совсем юной.

— Как это ни смешно, а я вас побаиваюсь,— проговорил он,— если бы не было во мне этого смешного страха, я бы сказал вам одну вещь.

Тогда она сердито затрясла головой, продолжая глядеть на приближающийся парус. Николай Иванович усмехнулся:

— Это находится в связи с моим ощущением всей жизни. Все равно я должен сказать, это необыкновенно важно для меня.

Екатерина Васильевна вдруг перебила его, все еще не поворачивая головы:

— Вы эгоист, самый отчаянный, какого я только видела,— ее голос зазвенел,— даже не эгоист, а нелепый книжный человек.

Николай Иванович изумился, спросил, что это значит; не получив ответа, пожал плечами и сидел, притворяясь обиженным,— руки у него понемногу начали

дрожать. Прошло несколько минут, Екатерина Васильевна сказала весело:

— Теперь я знаю, чья это лодка,— брата вашего караульщика, татарина Мамай-хана, хотя он никакой не хан, а просто рыбак. Поедем кататься.

Она быстро поднялась и сбежала вниз к морю. Николай Иванович следил за ее легкой походкой, за батистовым белым платьем, разлетающимся на ветру; она говорила с рыбаком, потом обернулась, подняла руку и помахала. Стабесов проворчал: «Скажите, пожалуйста, то эгоист, а то... Ах ты, господи»,— и полез вниз, придерживаясь за перила.

Мамай-хан осклабился, увидев его, положил доску с кормы на берег и помог обоим взойти на баркас.

Сначала нужно было идти на веслах. Отъехав от берега, поставили парус, лодка наклонилась, и волны, журча, забились о борт.

Мамай-хан, сдвинув на затылок барашковую шапочку, сидел у руля. Ватные, с курдюком, штаны его были закатаны на жилистых ногах до колен, через жилет — пущена медная цепочка с амулетами; изрытое оспой, дочерна загорелое лицо — равнодушно ко всем превратностям; когда ветер покрепче натянул парус и мачта заскрипела, он оскалил белые зубы и цикнул в воду. Говорят, до войны Мамай-хан возил на баркасе контрабанду из Константинополя — табак, шелк, оружие. Он был сыном этой скалистой, омываемой морем, сейчас цветущей и равнодушной к смерти земли, которая в последние дни открылась глазам Стабесова.

Николай Иванович потрогал бороду; было мимолетное чувство горечи, точно его не хотят принять в игру, обозвали эгоистом; но опять близость Екатерины Васильевны перевесила все эти сложности.

Она лежала ничком на носу лодки, скрестив ноги в белых чулках, подперев растрепавшуюся голову, мечтательно глядя на волны. На спине, около шеи, там, где кончался загар, две пуговки платья расстегнулись. Стабесов подумал: «Какое же все-таки у меня распущенное воображение». Затем прилег рядом и сказал: «Ну-с?» Она, конечно, не ответила. Чувство было совершенно точное: нагнуться и поцеловать ее в губы.

С величайшим напряжением он стал придумывать начало хоть какого-нибудь разговора. В голове, из уха в ухо, посвистывал ветерок. Стабесов щипал бороду, опершись о локоть. Пролетела совсем низко чайка; волна, побольше других, плеснувшись о борт, обдала свежей пылью. И казалось — это волна так нежно пахнет, и море, и парус, и ветер пахнут теплой гвоздикой, пропитавшей платье и волосы Екатерины Васильевны.

— Милая, милая женщина,— проговорил Стабесов неестественным голосом.

У Екатерины Васильевны вздрогнули плечи — и только.

Он взял ее руку и коснулся ее холодным носом, потянувшись поцеловать в щеку, тоже пахнувшую гвоздикой. Екатерина Васильевна высвободила руку и молча продолжала глядеть на волны. Он заметил, что ее глаза полны слез.

. . . .

Николай Иванович зажег две свечи в подсвечниках на столе и другие две поставил наверху комода, чтобы было светлее и праздничнее. Опустил шторы и сам накрыл чайный столик свежей простыней, потому что скатерти не оказалось. В чемодане нашлось печенье и мармелад. Татарин принес самовар и прикрыл его заглушкой.

Окинув взглядом комнату, Николай Иванович принялся шагать, останавливаясь, чтобы закурить папиросу; он мерил худыми ногами наискось некрашеные половицы, прислушивался, усмехался, откидывал пальцами прядку волос, лезшую в глаза.

На нем был надет чистый воротник и черный галстук мягким бантом. Пенсне он снял совсем и положил на чернильницу. В близоруких глазах огоньки свечей расплывались желтыми пятнами, как сквозь банный туман. Все же глаза, он знал, были гораздо выразительнее без пенсне.

Давеча, на лодке, после неудачного поцелуя, Стабесов позвал Екатерину Васильевну «выпить чашку чая сегодня вечером». Она ответила коротко: «Приду». И больше ничего существенного не произошло на лодке. Сейчас было уже поздно. Екатерина Васильевна,

очевидно, уложила детей и с минуты на минуту должна постучать в окно.

Цель этого приглашения была: «провести вечерок в дружеской беседе»,— так формулировал Николай Иванович свое приглашение,— может быть, даже допустив мысленно небольшие какие-нибудь вольности, как развитие беседы, но и только. Всякие же «дальнейшие» мысли он сознательно обрывал, потому что «пошляком не был еще никогда» и заманивать женщин при помощи чая с мармеладом считал гнусным.

И все же сейчас было немного противно от всех приготовлений, стыдно и за мармелад и в особенности за то, что снял пенсне. «Но не всегда же быть на высоте»,— подумал он и вымыл руки одеколоном.

У него не было сомнения, что Екатерина Васильевна придет. Вообще Стабесов не представлял ее помимо себя; когда думал о ней, то рядом был он сам; его воображение не удалялось вместе с нею в домик с черепичной крышей; отойдя, она словно исчезала совсем; но зато ее слова, улыбки, движения, запахи, все недосказанные прелести повторялись в памяти утомительно часто, тревожили все новой и новой остротой.

Пробило девять часов. Николай Иванович круто остановился и посмотрел в темноту смежной комнаты, где тикали часы; затем отогнул штору и выглянул в окно. Слышался мягкий шум прибоя, сильно пахло цветами и морем. На ее даче все окна были темны. «Очень странно»,— пробормотал он, чувствуя, как застучало и замерло сердце, надел пенсне и вышел на волю.

Короткий закат давно отгорел, а ночь еще не вся вызвездела, не окрепла. У обрыва, на лестнице, смутно белелась сидящая фигура. Николай Иванович подошел. Она быстро повернула к нему голову, точно затрепетала, или это только показалось.

— Вот вы где,— проговорил он негромко,— а я вас жду, самовар давно остыл.

Вглядываясь в его лицо, она медленно протянула руку к перилам и поднялась. Только что она горько плакала над тем, что Николай Иванович свел всю сложность и тревогу их отношений к чашке чая, и над тем, что она согласилась пойти, и пойдет, и выпьет

эту горькую чашечку, и над тем еще, что сейчас сидит одна у моря, темного и вечного, которое все так же будет шуметь и после ее смерти и после смерти всех людей.

Заслышав шаги, она едва не сорвалась со ступеней, не убежала. Николай Иванович остановился совсем близко и что-то проговорил глуховатым, взволнованным голосом. У нее упало сердце. Она пронзительно вглядывалась в этого человека — его глаза были прикрыты пенсне, в стеклышках отсвечивали звезды... И вдруг ей показалось, что в этом году он умрет — худой, жалкий, одинокий; и то, что он заманивал ее к себе пить чай, показалось очевидной, жалобной хитростью. Настала та минута, когда строгий ангел отходит от дверей... Екатерина Васильевна ждала только хоть скупого слова *любви к себе...* Пусть только он постучится,— хоть негромко, нежно постучится, и дверь ее радостно откроется настежь.

Екатерина Васильевна думала об этом так: «Возьмет сейчас за руку, скажет: «Милая душа моя, люблю тебя»,— и я отдам все, буду верной перед ним, перед собой, перед детьми...»

Она молчала, опустив голову. Ее рука, соскользнув с перил, повисла вдоль бедра. Но Николай Иванович в это время с огромным усилием складывал в уме фразы, в которых хотел выразить чистые намерения. Язык его точно прирос. Молчание было гибелью,— он это чувствовал и не мог двинуться с места, потому что не понимал, что происходит. И минута прошла бесплодной. Внезапно Екатерина Васильевна спросила дрогнувшим, почти суровым голосом:

— Николай Иванович, вы любите меня?

Он подвинулся, задышал и взял ее за кисть руки:

— Как вы можете спрашивать! Я перестал спать, я все время думаю о вас, я болен от этого чувства, сегодня я ждал вас, как сумасшедший... Почему вы так странно держитесь со мной? Я неумел, конечно, но во мне все горит! Вы мучаете меня, не хотите понять...

Она перебила:

— А меня вы любите?

Он выпустил ее руку, упавшую, как плеть, и потер лоб. Екатерина Васильевна тихонько начала смеяться. Николай Иванович пробормотал:

— Вы способны задушить всякое чувство. От вас, точно из погреба, такой холод.

Тогда она взяла его под руку и, увлекая к даче, сказала все с тем же смехом:

— Вот видите, милый друг, трудные разговоры нужно вести всегда в темноте, когда не видно глаз и не стыдно,— тогда люди договариваются до самого главного. Я только спросила — любите ли? Совсем невинный вопрос, а вы рассердились. Мы с вами плохие любовники, а друзья будем хорошие. Теперь пойдемте к вам — пить чай.

. . . .

Войдя в комнату, Екатерина Васильевна рассмеялась совсем уже громко; заметила и свечи на комоде и простыню, все мелочи. Затем села к самовару и принялась хозяйничать, называя Стабесова «холостяк несчастный». Он сидел с застывшей кривой улыбкой и отвечал невпопад. Он был уязвлен, растерян, обижен, взволнован...

Наконец он возмутился:

— Мне приходится понять, что вы считаете меня за ничтожнейшего пошляка,— сказал он, глядя с омерзением на свои худые руки,— так вами истолковано мое поведение... Это ложь и чушь. Вы сбили меня с толку. Так нельзя обращаться с... с...— он мотнул бородой и пришел в ярость,— с тем, кто вас любит. Да. Я вас люблю!

Екатерина Васильевна села к нему на диван, поджала ноги и прикрыла их юбкой.

— Вот так объяснение! Хорошо, если бы я не понимала по-русски,— ответила она и откинула голову на подушки,— давайте лучше молчать.

Стабесов пофыркал носом, вытащил пустую коробку спичек и сейчас же швырнул ее к стенке, одернул жилет, повозился, затих и, наконец, покосился на Екатерину Васильевну. Она сидела с откинутой го-

ловой, красивая и грустная. Ни малейшей усмешки не чудилось на ее нежных губах. После молчания она проговорила чуть слышно:

— Ну, вот и помирились.

Всматриваясь в ее лицо, он снова почувствовал теплый запах гвоздики. Тогда он потихоньку, несмело, коснулся руки Екатерины Васильевны и спросил:

— Ну, что же?

— Как все это грустно,— прошептала она.

— Что именно?

Она не ответила... Тогда он стал думать: «Ну да, я понимаю — тебе нужен красивый зверь, чтобы схватил тебя за эти руки, сломал, измучил... Тебе и грустно, что у меня нет воловьих мускулов...»

— Ах, как это все грустно,— с неожиданным вздохом повторила она, ее губы дрожали...

Тогда Стабесов приподнялся и неловко и больно поцеловал ее в губы. Взор ее изумленных длинных глаз стал вдруг диким.

— Слушай, слушай,— зашептал Стабесов сквозь зубы и обхватил ее за плечи... Ее взволнованный голос смешался с его бормотаньем. Зеленый валик дивана соскользнул и покатился по полу. Екатерина Васильевна оторвала, наконец, от себя его руки, соскочила, подошла к столу... Ее лицо, залитое румянцем, точно мгновенно похудело. Светлые, холодные глаза пристально и зло глядели на Стабесова... Такой прекрасной она еще не была никогда.

— Вы дурак,— сказала она звонким голосом,— вы омерзительны... Я вам этой обиды не прощу...— Она вдруг крепко зажмурилась, из-под ресниц выступили крупные капли слез... Она стремительно подошла к двери и обернулась, уже гневная, горящая:

— Вы запомните, что вы обидели меня?

Стабесов глухо, не слыша себя, проговорил:

— У меня смертельная тоска. Не уходите. Пожалейте меня.

Тогда она даже платье подобрала, кивнула растрепанной головой:

— Теперь я вас ненавижу. Теперь мы не увидимся больше никогда...

И ушла. Он долго слушал, как хрустит гравий. Потом он отыскал пенсне в жилетном кармане и побрел к откосу.

Созвездия пылали по всему небу студеными синими огнями. И далеко, до самого края, отражался в морской темной воде Млечный Путь.

Стабесов сел на ступени и подпер подбородок... Земли, погруженной в темноту, не было видно. Он был здесь совсем один. Земля словно улетела туда, к звездам, и от земли, от жизни, на мгновение только поманившей прелестью и теплотой, отделяло его непостижимое пространство эфира.

НАВАЖДЕНИЕ

Был я в ту пору послушником в Спасском монастыре, пел на клиросе тонким голосом. Зиму пропоешь — ничего, а после великого поста — маета: от плоти кожа останется на костях. Стоишь, стоишь всю ночь на клиросе,— и поплывет душа над свечами, как клуб ладана... И сладко и, знаю, грех. А за окнами березы набухли, ночь звездная,— весна к самому храму подступила. Мочи нет!

На Фоминой уходил из монастыря иеромонах Никанор к печерским святителям за благодатью. С ним я и отпросился. Трое суток у кельи архимандрита на коленях простоял, побои принял и брань; говорю — душа просится, отпусти. Молению моему вняли.

И вышли мы с Никанором из ворот, прямо полем на полдень в степи. В траве и в небе птицы поют. Теплый ветер треплет волосы. Верст пять отошли, разулись и опять побрели вдоль речки. Никанор мне и говорит:

— Вот так-то, Рыбанька, и в раю будет.

Был у нас тогда царем Петр, нынешней государыни родной отец. Чай, слыхали? С великим бережением приходилось идти по дорогам. Бродячих ловили драгуны. Или привяжется на базаре ярыжка, с сомнением — не беглый ли? И тащит в земскую избу, не глядит на духовный сан. Ну, откупались: кому копейку дашь, от кого схоронишься в коноплю.

Добрели мы так до Украйны. Земля широкая. Кое-где дымок виден, чумаки воза отпрягли, кашу варят;

кое-где засеки от татар. Кругом трава, да птицы, да облака за краем, да каменные бабы на курганах.

Чумаки кормили нас кашей и вяленой рыбой, что везли вместе с солью из Перекопа. Везли не спеша: верст десять отъедут и заночуют; разложат костры из сухого навоза, сядут вокруг, поджав по-турецки ноги, глядят на огонь, курят трубки.

И наслушались мы рассказов про Рим и про Крым, про Ясняньски корчмы, и про гетмана, и про такие вещи, которые и вспоминать-то на ночь не совсем хорошо было.

Ближе к Днепру хутора стали попадаться чаще; заходили в них ночевать Христовым именем; пускали всюду. И здесь стало мне много труднее.

Видим — плетень, на нем горшки, рубашки сушатся, за ивами — белая хата, кругом подсолнухи стоят. Прибежит, забрешет собачка, и на голос выглянет из-за угла девица или бабенка, такая лукавая! Богом прошу Никанора:

— Бей меня посохом без пощады!

Зайдем в клеть, рубаху задеру: бей, говорю, бей, а то боюсь, не дойду до Киева, брошу тебя.

И хотя побои принимал великие, но помогали они мало. Так добрались мы до Батурина; постучались ночевать в самую что ни на есть плохонькую избенку, на краю города, у старой старушки. А чуть свет — вышли на базарную площадь, что у земляного вала. Купили калача и тарани. Сели на лавочку и едим. А рыба соленая.

Смотрю — Никанор все на окошко косится. В нем толстый, опухлый шинкарь глаза трет, зевает. Никанор мне и говорит:

— Рыбанька, поди попроси у шинкаря вина на копейку,— так бог велит.

Я подошел к окну, показывая копейку. Шинкарь повертел ее, положил за щеку, вынес нам вина штоф. Мы с молитвой хлебнули, и еда много спорее пошла. Никанор жмурится. Тут солнце встало над степью, и начал народ прибывать. Кто колесо новое катит, кто тащит лагун с дегтем; цыгане проехали на лошадях, до того черные, кудрявые, как черти страшные; в балага-

нах корыта, железо разное, шапки — хороши шапки! — горшки расписанные, дудки, польские пояса,— чего только нет в Батурине! Век бы так просидел, на лавке!

Подходит к нам казак небольшого роста, худощавый: сел рядом на лавку, глядит, ус начал жевать. А вина у нас в склянке еще половина осталась.

— Вы,— спрашивает казак,— не здешние, москали?

Я ему отвечаю тонким голосом, вежливо:

— Совершенно верно; мы из Великой России, странные люди, идем в пещеры, к святителям.

— А вино,— спрашивает казак,— вы почем у шинкаря брали?

Тут ему Никанор отвечает еще слаще:

— На копейку брали, сынок. А ты не томись, откушай с нами.

И подает ему вино и рыбью голову пожевать.

Казак до донышка склянку вытянул, стряхнул капли в траву, рыбью голову пожевал и подсел ближе:

— Вижу я,— доподлинно вы люди духовные, обычай у вас не воровской, не тяжелый. Надо бы вам к нашему атаману зайти. Он до странных людей милостив и подает милостыню.

— Что же, если милостив, можно и зайти к атаману,— говорит Никанор.— Собирай, Рыбанька, крошки в мешок.

И повел нас казак Иван через город на атаманову усадьбу. Подходим не без опаски: у ворот пушки стоят. В траве спит сторож с тесаком. На дворе службам — числа нет, все белые, выбеленные; атаманов дом длинный, низенький, с высокой соломенной крышей, и весь деревьями заслонен. Вдалеке виден храм о пяти главах. Место дивное. Подивились мы и на птиц, что, не боясь, ходили между кур и собак, раскрывали хвосты как лазоревый куст; подивились и на коней,— вывели их жолнеры чистить: ногайские иноходцы, горбоносые скакуны с Дону, рейтарские вороные жеребцы на цепях — таково злы.

Великим богатством владел пан Кочубей, наказной атаман, генеральный судья...

Иван оставил нас у людской, велел ждать, а сам ушел. Спешить некуда,— сели мы на крылечко, Никанор и говорит:

— Про Кочубея сказывал мне наш архимандрит,— он сам из здешних, не то из Диканьки. Думать надо, Кочубей хочет ему письмо послать или поклон.

И стал переобуваться, лапти новые приладил, ношеные спрятал в суму, косицу заплел, и руки вымыл, и мне то же велел сделать.

К вечерне пришел Иван и повел нас через сад в церковь. Что за сад! Густой и прекрасный. Вдоль дорожки стояла сирень, до самой земли легла цветами: такая пышная. От духу ее Никанор носом повел и ткнул меня ногтем в щеку:

— Запомни, запомни сей сад. Когда помирать будешь — оглянись!

И вот уже смерть моя скоро, и я не забыл этих слов и того прекрасного сада.

После вечерни вышла к нам атаманова жена, Любовь, и расспрашивала, и Никанор ей отвечал. И она велела нам идти в дом ужинать. Сели мы в беленой большой кухне за двумя столами. Никанор — к малому столу, под образами, а я — ближе к двери, с челядью, казаками и Кочубеевым сыном. Сидим, еды не касаемся. Вдруг слышу — двери в горницах захлопали, идет человек, по шагам слышно — властный. Я вытянул голову из-за кривого казака, что локтем придавил меня к стене, вижу — вошел Кочубей, приземистый, широкой кости мужчина, горбоносый, и голова не бритая, как у казаков, а курчавый, седой, с седыми же усами ниже плеч.

Вошел, на нас из-под бровей посмотрел и к образам повернулся. Мы поднялись и запели вечернюю молитву и «Отче наш». И я, к слову сказать, глядя на могучий затылок атаманов, соловьем залился,— до того угодить захотелось такому дородному боярину. Отпев, сели. Молодая женка, стряпуха, поднесла каждому по чарке горилки, поставила щей в мисках, и я оскоромился.

Напротив меня сидел молодой казак. Смотрю — потупился и не ест, мосол положил, и кровь у него так и взошла на щеки. Эти дела я очень понимал в то

время. Опять выглянул из-за кривого,— за малым столом сидит Кочубей, рядом с ним Никанор жмется, напротив — Любовь, атаманша, черноватая старуха, к слову сказать, мало похожая на боярыню, а вроде ведьмы, про которую нам чумаки рассказывали, и спиной ко мне, на раскладном стуле,— когда она вошла, сам не знаю,— сидит женщина молодая или девица, на руку облокотилась, голую до локтя, в парчовом платье не нашего крою, перетянутая, с пышными рукавами, и две темные косы у нее вокруг головы окручены. Слышу, говорит ей Любовь:

— Ты нос не вороти от отцовской пищи, для тебя, матушка, отдельного нынче не варили.

Пожевала губами и — Никанору:

— Вот, отец, послал нам господь за грехи горе с дочерью.

Но тут ей Кочубей басом:

— А ты, Любовь, помалкивай; лучше будет, да...— И дочери пододвинул локтем миску с варениками.— Ешь, ешь, Матрена!

Она взяла спицей вареник, вижу — скушала и опять подперлась. Но тут и на наш стол подали вареников шесть мисок, кривой казак засопел, заложил усы за уши и так затеснил меня, что за его спиной я так больше и не увидал красавицы.

Когда все разошлись, Иван позвал нас в горницу. Там сидел Кочубей на подушке, сосал трубку, отдувался.

— Вы,— спросил он,— в Киеве недолго задержитесь? Оттуда прямо домой?

— К жнитву надо быть домой,— отвечал Никанор.

— В Москву заходить не будете?

— Нет, в Москву нам заходить большой крюк.

— Ну, ну,— и полез Кочубей в шаровары,— вот, отец, отнесешь в монастырь два рубля — жертва, а это тебе ефимок, а это товарищу твоему,— и подает мне семь алтын.

Мы благодарить стали, кланяться. Вошла Любовь, тоже с дарами: по холсту нам польского полотна, да по два полотенца, да пирог большой на дорогу. Дары положила на стол. Мы опять благодарим. Она говорит:

— Переночуйте у нас, странные, у нас хат много. Завтра обедню отстоите, пойдете.

А Кочубей все трубку сосет шибко и поглядывает на нас. Потом взял ковер с лавки и прикрыл дары на столе. И нас отпустили.

Тот же Иван отвел нас в пустую хату. Никанор сейчас же заснул, а я не могу. На дворе голоса слышны, смех, песни поют.

Поворочался я под армяком,— тоска, сердце стучит, и вышел, будто по своему делу, из избы на волю. Ночь светлая; у конюшни в траве лежат парни. Один поднялся и побрел, бегом побежал, гляжу — за деревьями девичья рубашка белеется, он — туда, и сели в траву. А мне-то что же делать? Подошел к парням, они спрашивают:

— Что, москаль, не спишь, или блохи заели? — и смеются.

Потоптался около них, побрел к воротам; на лавке сидит казак и с ним женка, та, что нам ужинать собирала. Обернулись ко мне — зубы скалят. Обошел кругом весь двор,— где что зашуршит — так и вздрагиваю, дрожь пробирает. Что за напасть!

Дошел я до церкви, сел на паперти на каменных ступенях и гляжу. Месяц высоко стоит над садом. Все кущи в росе, все кущи темные, пышные. На высоких тополях листы блестят. И тихо, так тихо — слышно, как на реке Семи ухают лягушки.

И во мне,— в душе ли, или, прямо говоря, вот здесь, где дыхание,— музыка началась. Будто слышу я — пение множества голосов и слышу колокольный голос, веселый и частый, и хор то покрывает его, то отходит. Слушаю, и сладко мне, и слезы душат.

И будто пение слышу я из храма. Обернулся — на двери висит большой замок. А что, если это ангелы, как Никанор мне сказывал, заутреню служат?

И так мне стало страшно,— сполз с паперти и побежал по саду. А сирень мокрыми кистями — хлысть, хлысть по лицу!

Опамятовался только около дома. Стою, трясусь, смешно мне, и боязно оглянуться, и от радости зубы стучат. Раздвинул кусты, а за ними — окошко и в нем

сидит женщина и смотрит на меня, в лунном свету, вся белая, только брови темны, да глаза — как две тени. Узнал ее — Кочубеева дочь, Матрена.

Она спрашивает тихим голосом:

— Кто это?

Я молчу.

— Подойди ближе.

Я пододвинулся.

— Хорошо ты давеча пел, монашек, наградила бы я тебя, да нечем; сама, как пленная, у батюшки живу.

Лицо у нее строгое, брови темные, монашеские, а губы как у дитя. И все ее точно прядка волос щекочет — проводит пальцами по щеке.

— Ты зачем к нам в сад забрался? — она говорит.— Вот пожалуюсь батюшке —запорют тебя казаки плетями.

И сама усмехается. Я гляжу на ее красоту, и в дыхании моем все затихло: как ночь стало.

— Как тебя зовут? — она спрашивает.

— Трефилием.

— А в миру как звали?

— Тишкой.

— А не грех тебе по ночам с девками разговаривать? Ведь девка такого наскажет,— потом на коленках не замолишь.

И опять засмеялась:

— Ушел бы ты от греха, право. А то и тебе грех и мне грешно. Кабы ты был монах старый. Уйдешь или нет? — Тут она вздохнула.— Скажи, Тихон, зачем по ночам свет светит? Зачем спать не дает? Скажи —большие нам будут муки или все здесь на земле простится? Подойди ближе.

И я совсем уже рядом стою, чувствую, какая она сидит горячая, усмехается. А глаза темные, мрачные, не на меня глядит... Вот грешная!.. Вот грех-то!.. И говорю ей:

— Отпусти. Я уйду.

— Монашек,— она говорит,— кабы не бог — кто бы тебя привел под мое окошко... А ты бежишь...— Положила руку мне на плечо, и чувствую на затылке ее пальцы. И клонюсь, покуда лицо к ее лицу не подо-

шло... Губы ее, вижу,— дрогнули, раскрылись... Отвернулась она немного и говорит:

— Помоги мне. Спаси меня. Погибаю. Приведи мне коня. У коновязи всю ночь оседланные кони стоят... Отвяжи двух, приведи к церкви и жди... Приведешь?.. Не сробеешь?..

Нагнулась быстро и губами тронула меня, как углем... Соскочила с подоконника и шепчет из темной горницы:

— Иди, иди... Торопись...

Тут взял меня такой озноб, такая радость... Ничего не понимаю,— одно: коней привести...

— Ладно, жди!— говорю, и побежал.

На дворе все спать полегли; месяц закатывается, виден над самой крышей; тихо: только за воротами сторож колотит в колотушку.

Я крадусь от дерева, вижу — коновязь, кони хрустят сеном. Только вышел на открытое место —один повел глазом, обернул ко мне морду и заржал звонко, протяжно.

И я сел в траву, пуще всего оттого, что был как во сне, в наваждении. Крещусь, бормочу: «Да воскреснет бог...» И слов не слышу, одно чувствую — на шее пальцы Матрены, точно в печь огненную тянет она меня.

Понемногу обошелся, отпрукал коней, кинулся животом на одного, сел в седло, другого взял за повод и тронул рысью. А сзади— как заржет конь в другой раз, и собака завыла.

Я доскакал до сада и только свернул на дорожку,— навстречу бежит человек, раскрыл руки и крикнул:

— Трефилий!

Гляжу — Никанор. И сила во мне вся опустилась. Он подбегает, ухватил за ногу, тащит с седла:

— Слезай, вор! Слезай, погубитель! Убью заживо!

А на дворе уж голоса слышны, погоня, конский топот.

Никанор поволок меня через кусты в сад, в самую глушь, повалил лицом в землю.

— Молчи,— говорит,— молчи! Найдут — живыми не быть! Ах, вор! Ах, небитый!

И таскал меня за волосы, однако не делая большого шума.

А когда погоня затихла, привел обходами в избу, толкнул перед образом на колени и начал допытывать. Я молчу. Он опять за свое — за волосы таскать.

Я молчу, он передохнул да как урежет посохом меня по крыльям: «Сыну, говорит, желай добра — ломай ребра».

Тут сердце во мне закипело и отошло: разжал зубы, залился слезами и рассказал все, не утаил ни крошки.

Никанор испугался:

— Вот беда, сынок! То-то в народе говорят недоброе про Кочубееву дочь. Ах, ах! Да знаешь ли, куда она скакать-то хотела с тобой? Уходить нужно отсюда. Бог с ними, с дарами!

Этой же ночью мы тайно ушли со двора. На рассвете добрались до реки Семи и сели на бережку, дожидаемся перевоза, молчим.

Утро ясное. Над рекой, в камышах, туман курится. Свистят кулички. Небо просторное. Земля широкая и вьется Семь синей водой далеко по степи.

Я лежу на спине, и будто не мое это тело, не моя душа. Уйду, думаю, либо на Дон к казакам, либо за море, награблю золота у татар или у персов, вернусь к Матрене как жених. На что мне душа, если нет ей погибели?

Вдруг видим, скачет верховой и нам колпаком машет. Никанор мне тотчас скороговоркой:

— Рыбанька, если что,— отрекайся и отрекайся, будто мы — и не мы, знать ничего не знаем.

Подъезжает казак Иван и начал нам выговаривать — зачем ушли, и даров не взяли, и не прощались. А про давешнее не упомянул. Хлестнул плетью по оводу.

— Атаман,— говорит,— честью вас просит вернуться, а невежества не потерпит.

Делать нечего. Вернулись мы на усадьбу. Никанор к обедне ушел, а меня запер в избе, велел читать Исусову молитву и углем отмечать, сколько раз прочитаю.

В избе сухо, жарко, сверчки трещат. Я стою на глиняном полу, на коленях, повторяю: «Господи Исусе Христе, сыне божий, помилуй меня, грешного»,— и чир-

каю угольком по стене. И не то, что греха своего не чувствую, не понимаю святых слов — более того: все, что было и что помню,— степи, и чумаков, и степных птиц, и хутора над Днепром, и Кочубеев сад, и храм, полный ангелов, и ангелы, как птицы над куполами, и Матрену в окошке, и губы ее, и дикие глаза, и белая рука у меня на затылке, и конь ржущий,— все это закружилось перед глазами. И точно ветер прошел сквозь мое тело. Такая радость — свет божий! Слава тебе за жизнь и за свет, за тело и за дыхание. И слаще всей радости одолел меня сладкий сон. Заснул прямо на полу. Потом слышу голос:

— Трефилий, а Трефилий, будет спать-то!

Смотрю —у стола сидит Никанор. Перед ним лежат дары.

— Вставай, беда случилась.

— Какая беда, батюшка?

— Извет. Государю нашему донос. Кочубей сказал за собой слово на гетмана Мазепу.

И Никанор стал рассказывать, что было. После обедни подходит к нему казак Иван и говорит тайно: «Кочубей-де велел тебе быть в светлице. Когда увидишь, что у светлицы его людей не будет, иди в горницы, и двери за собой затворяй, и затворы накладывай, и так дойдешь до светлицы, где атаман живет». И Никанор пошел, и двери за собой затворял, и накладывал крючки. В светлице с голландской печью, с коврами и седлами на стенах, встретил его Кочубей и спросил Никанора, какой он породы, и спросил, можно ли ему верить в тайном слове. И Никанор сказал — верь! И целовал крест наперсный. В то же время вошла Любовь, принесла благословляющий крест, деревянный, с мощами. И они дали Никанору тот крест целовать, и целовали сами. И Любовь сказала: «Гетман Мазепа, Иван Степанович, вор и беззаконник,— дочь нашу родную, Матрену, свою крестную дочь, хотел взять замуж. И они ее не отдали, потому что она ему крестная дочь. Он же зазвал ее хитростью в гости и испортил, и она теперь женщина, и живет как безумная и порченая, едва силой удерживают, чтобы не бежала к нему, к Мазепе. За это Мазепа на них зол и грозится головы

оторвать, оговаривает, будто они с мужем тайно переписываются с Крымом». Кочубей в это время ходил по горницам, смотрел — крепко ли затворены двери, нет ли кого из челяди, и, вернувшись, сказал:

— Гетман, Иван Степанович Мазепа, хочет государю нашему изменить, отложиться к ляхам и пленить Украйну и государевы города.

И велел Кочубей идти Никанору в Москву — донести об этом боярину Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, не теряя времени, чтобы успеть гетмана захватить в Киеве.

Шутка ли — идти в Москву с доносом! Хлебнешь горя на допросах, не поверят — пытка, а поверят — все равно на цепи целый год будут держать.

Измучился я, слушая Никанора. Вспомню вчерашнюю ночь, и так злобой и зальет меня, — горло бы перегрыз старому погубителю, распутнику, вору! Надвинул колпак и говорю Никанору:

— И думать нам нечего. Хоть умереть, а государя известим об измене. Идем в Москву.

И пошли. И промаялись мы всю осень и зиму до великого поста. Таскали нас по приказам. Возили в кандалах в Смоленск. Никанору ноги поморозили, — совсем старичок ума решился. А я терпел. Как тогда окаменело сердце — так и лежало камнем. Пытки принимал без крика. Многое передумал, лежа в подвалах на гнилой соломе. Так и положил — быть греху с одной Матреной, а не быть — замучаю сам себя. Молод был, горяч и обет свой монашеский не нарушал.

Государевым приказом дело велено было прекратить. Выдали нам пачпорта — отпустили на четыре стороны. До весны прожили мы в Москве за рекой Яузой, у стрелецкой вдовы, а чуть стало теплее — поклонился я Никанору в землю, попросил благословения и ушел по Курской дороге. Шел — все песни пел.

Около Курска меня поймали драгуны как бродягу и забрили в солдаты. Сначала бегал, конечно, — ловили и пороли сильно. Только от злости и жив остался. Потом попривык и научился грамоте. В то время можно было из простых в люди выходить, и я первую нашивку

получил в баталии, когда били мы генерала Левенгаупта.

А месяца за три до этого послан я был в Борщаговку в гетманский обоз за порохом. Подъезжаю на вечерней заре. Смотрю — за селением на поле стоит высокий помост, кругом — в две шеренги солдаты при оружии и с барабаном. За ними казаки, бабы, простой народ. На помост вводят двоих, развязали им руки, они крестятся.

Я лезу с конем прямо на народ, вглядываюсь... Господи, Кочубей!.. Старый, седой, бородой оброс, голова трясется. Палач схватил его за курчавые волосы, пригнул к плахе и ударил топором по шее, как мясо рубят...

У меня глаза закатились, закачался в седле. Народ валит назад, расходится... И мимо меня на вороном жеребце едет шагом худой, носатый старик в белом кафтане, лицо землистое, глаза наполовину закрыты, на шапке дрожит, сверкает алмазное перо. Проехал, и вином от него сильно запахло.

Да... знать бы тогда мне в лицо гетмана Мазепу,— не разговаривал бы с вами сейчас!

А Матрену, говорят, казаки в обозе задушили попонами в ту же ночь.

ДЕНЬ ПЕТРА

В темной и низкой комнате был слышен храп, густой, трудный, с присвистами, с клокотанием.

Пахло табаком, винным перегаром и жарко натопленной печью.

Внезапно храпевший стал забирать ниже, хрипче и оборвал; зачмокал губами, забормотал, и начался кашель, табачный, перепойный. Откашлявшись, плюнул. И на заскрипевшей кровати сел человек.

В едва забрезжившем утреннем свете, сквозь длинное и узкое окошко с частым переплетом, можно было рассмотреть обрюзгшее, большое лицо в колпаке, пряди темных сальных волос и мятую рубаху, расстегнутую на груди.

Потирая потную грудь, сидящий зевнул; пошарив туфли, сунул в них ноги и обернул голову к изразцовой, далеко выдвинутой вперед, огромной печи. На лежанке ее ворочался, почесываясь во сне, солдат в сюртуке, в больших сапогах. Неспешно сидящий позвал густым басом:

— Мишка!

И солдата точно сдунуло с лежанки. Не успев еще разлепить веки, он уже стоял перед кроватью. Качнулся было, но, дернув носом, вытянулся, выпятил грудь, подобрал губы.

— Долго на рожу твою мне смотреть, сукин сын,— тем же неспешным баском проговорил сидящий. Мишка сделал полный оборот и, выбрасывая по-фронтовому ноги, вышел. И сейчас же за дверью, сквозь которую проник на минуту желтый свет свечей, зашепталось несколько голосов.

Сидящий натянул штаны, шерстяные, пахнущие потом чулки, кряхтя поднялся, застегнул на животе вязаный жилет красной шерсти, вздел в рукава байковую коричневую куртку, швырнул колпак на постель, пригладил пальцами темные волосы и подошел к двери, ступая косолапо и тяжело.

В комнате соседней, более высокой и просторной, с дубовыми балками на потолке, с обшитыми свежим дубом стенами, с небольшим и тяжелым столом, заваленным бумагами, свитками карт, инструментами, отливками железа, чугуна, меди, засыпанным табаком и прожженным, с глобусом и подзорной трубой в углах, с книгами, переплетенными в телячью кожу и валяющимися повсюду,— на подоконнике, стульях и полу,— в рабочем этом кабинете царя Петра, где ярко пылала изразцовая печь, стояло семь человек. Одни в военных зеленых сюртуках, жмущих под мышками, другие — в бархатных камзолах. И сюртуки и камзолы, неряшливые, залитые вином, топорщились, сидели мешками. Огромные парики были всклокочены, надеты, как шапки,— криво, из-под черных буклей торчали собственные волосы — рыжеватые, русые, славянские. В свете сырого утра и наплывших светилен лица придворных казались зеленоватыми, обрюзгшими, с резкими морщинами — следами бессонных ночей и водки.

Дверь распахнулась, вошел Петр, и перед ним склонилось низко семь париков. Кивнув, он сел у стола, резко сдвинул в сторону бумаги, опростав для руки место, забарабанил пальцами, и на присутствующих уставились круглые его черные глаза, словно горевшие безумием.

Такова была его манера смотреть. Взгляд впитывал, постигал, проникал пронзительно, мог быть насмешливым, издевательским, гневным. Упаси бог стоять перед разгневанным его взором! Говорят, курфюрстина Евге-

ния опрокинулась в обморок, когда Петр, громко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр — антихрист, не человек.

Васька-денщик, дворянский сын Сукин, принес на подносе водки, огурцов и хлеб. Петр принял заскорузлыми пальцами стакан, медленно выпил водку, вытер губы ладонью и стал грызть огурец.

Это был его завтрак. Морщины на лбу разошлись, и рот, красивый, но обезображенный постоянным усилием сдержать гримасу, усмехнулся. Петр сильно втянул воздух через ноздри и стал набивать канупер в почерневшую трубочку. Денщик подал фитиль. Захрипев чубуком, Петр сказал:

— Поди разбуди, выпусти,— и подал ключ от шкафов, куда запирались на ночь остальные три денщика. Шкафы эти устроены были недавно, после того как обнаружилось, что, несмотря на угрозы и битье, денщики удирают через слуховое окошко к «девкам сверху» — фрейлинам.

Затем царь прищурился, сморщился и с гримасой проговорил:

— Светлейший князь Меншиков, чай, со вчерашнего дебоширства да поминания Ивашки Хмельницкого головой гораздо оглупел. Поди, поди. Послушаем, как ты врешь с перепою.

Потянув со стола листы с цифрами, он выпустил густой клуб дыма в длинное, перекошенное страхом лицо светлейшего. Но улыбка обманула. Крупный пот выступил на высоком, побагровевшем от гнева лбу Петра. Присутствующие опустили глаза. Не дышали. Господи, пронеси!

— Селитры на сорок рублев, шесть алтын и две деньги. Где селитра? — спрашивал Петр.— Овес, по алтыну четыре деньги, двенадцать тысяч мер. Где овес? Деньги здесь, а овес где?

— Во Пскове, на боярском подворье, в кулях по сей день,— пробормотал светлейший.

— Врешь!

Храни Никола кого-нибудь шевельнуться! Голову Петра пригнуло к плечу. Рот, щеку, даже глаз перекосило. Князь неосмотрительно, охраняя холеное свое лицо, норовил повернуться спиной, хоть плечиком, но не успел: сорвавшись со стола, огромный царский кулак ударил ему в рот, разбил губы, и из сладких глаз светлейшего брызнувшие слезы смешались с кровью. Он дрожал, не вытираясь. И у всех отлегло от сердца. Толстой завертел даже табакерку в костлявых пальцах. Шаховской издал некий звук губами. Грозу пронесло пустяком.

Так началось утро, обычный, буднишний питербурхский денек.

А дела было много. Покончить с воровскими счетами князя Меншикова; написать в Москву его величеству князю-кесарю Ромодановскому, чтобы гнал из Орла, Тулы и Галича в Питербурх плотников и дроворубов, «понеже прибывшие в феврале людишки все перемерли, и гнать паче всего молодых, чтобы на живот и ноги не ссылались, не мерли напрасно»; да написать в Лодийное Поле, «что на недели сам буду на верфи»; да написать в Варшаву Долгорукому, да в Ревель купцу Якову Дилю, чтобы прислал полпива доброго дюжины три, да чесноку связку, да шпику. Окончив занятия, письма, приказы, регламент — ехать надо на новую верфь, где строится двухпалубный линейный корабль; побывать на пушечном заводе и на канатном; завернуть по пути к сапожнику Матеусу, окрестить дочь, выпить чарку перцовой, закусив пирогом с морковью, сунуть под подушку роженице-куме рубль серебром; избить до смерти дьяка-вора на соляной заставе; походить по постройкам на набережных и на острове; в двенадцать часов — обед, и сон — до трех; отдохнув, ехать в Тайную канцелярию, где Толстой, Петр Андреевич, Ушаков да Писарев допытывают с пристрастием слово и дело государево. А вечером — ассамблея по царскому приказу. «Быть всем, скакать под музыку вольно, пить и курить табак, а буди кто не явится — царский гнев лютый».

Дела было много.

Сырой ветер гнал сильный туман с моря; шумел поредевший ельник на Васильевских болотах; гнулись высокие сосны, кое-где еще торчавшие по городу; сдувало гнилую солому с изб и клетей, завывало в холодных печных трубах, хлопало дверями: много в то время пустело домов, потому что народ мер до последней степени от язвы, туманов и голода. Лихое, невеселое было житье в Питербурхе.

Вздувшаяся река била в бревенчатые набережные; качались, трещали крутобокие барки; снег и косой дождь наплюхивал целые озера на площадях и улицах, где для проезда брошены были поперек бревна, доски, чурбаны.

На черном пожарище выгоревшего в прошлый четверг гостиного двора, что на Троицкой площади, торчали четыре виселицы, и ветер раскачивал в тумане четырех воров, повешенных здесь на боязнь и великое страхование впредь. По берегам реки, вдоль Невской Перспективы, уже обсаженной с обеих сторон чахлыми деревцами, стучали топоры, тянулись тачки с песком, тележки с известью, булыжником, кирпичами. В грязи, в желтом тумане, на забиваемых в болотный ил сваях возникали каждый день все новые амбары, длинные бараки, гошпитали, частные дома переселяемых бояр. Понемногу все меньше становилось мазаных, из ивняка и глины, избенок, где еще недавно жили Головин, Остерман, Шафиров. Только проворный светлейший уже давно успел выкатить себе деревянные палаты с башней, как у кирки, и присматривал местечко для каменного дворца.

Многие тысячи народа, со всех концов России — все языки,— трудились день и ночь над постройкой города. Наводнения смывали работу, опустошал ее пожар; голод и язва косили народ, и снова тянулись по топким дорогам, по лесным тропам партии каменщиков, дроворубов, бочкарей, кожемяк. Иных ковали в железо, чтобы не разбежались, иных засекали насмерть у верстовых столбов, у тиунской избы; пощады не знали конвоиры-драгуны, бритые, как коты, в заморских зеленых кафтанах.

Строился царский город на краю земли, в болотах, у

самой неметчины. Кому он был нужен, для какой муки еще новой надо было обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами,— народ не знал. Но от податей, оброков, дорожных и войсковых повинностей стоном стонала земля. А если кто и заикался от накипевшего сердца: «Ныне-де спрашивают с крестьян наших подводы, и так мы от подвод, от поборов и от податей разорились, а ныне еще и сухарей спрашивают; государь свою землю разорил и выпустошил; только моим сухарем он, государь, подавится»,— тех неосторожных, заковав руки и ноги в железо, везли в Тайную канцелярию или в Преображенский Приказ, и счастье было, кому просто рубили голову: иных терзали зубьями, или протыкали колом железным насквозь, или коптили живьем. Страшные казни грозили всякому, кто хоть тайно, хоть наедине или во хмелю задумался бы: к добру ли ведет нас царь, и не напрасны ли все эти муки, не приведут ли они к мукам злейшим на многие сотни лет?

Но думать, даже чувствовать что-либо, кроме покорности, было воспрещено. Так царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю. Епископ или боярин, тяглый человек, школяр или родства непомнящий бродяга слова не мог сказать против этой воли: услышит чье-нибудь вострое ухо, добежит до приказной избы и крикнет за собой: «слово и дело». Повсюду сновали комиссары, фискалы, доносчики; летели с грохотом по дорогам телеги с колодниками; робостью и ужасом охвачено было все государство.

Пустели города и села; разбегался народ на Дон, на Волгу, в Брянские, Муромские, Пермские леса. Кого перехватывали драгуны, кого воры забивали дубинами на дорогах, кого резали волки, драли медведи. Порастали бурьяном поля, дичало, пустело крестьянство, грабили воеводы и комиссары.

Что была Россия ему, царю, хозяину, загоревшемуся досадой и ревностью: как это — двор его и скот, батраки и все хозяйство хуже, глупее соседского? С перекошенным от гнева и нетерпения лицом прискакал хозяин из Голландии в Москву, в старый, ленивый, православный город, с колокольным тихим звоном, с повалив-

шимися заборами, с калинами и девками у ворот, с китайскими, индийскими, персидскими купцами у кремлевской стены, с коровами и драными попами на площадях, с премудрыми боярами, со стрельцовской вольницей.

Налетел с досадой,— ишь угодье какое досталось в удел, не то, что у курфюрста бранденбургского, у голландского штатгальтера. Сейчас же, в этот же день, все перевернуть, перекроить, обстричь бороды, надеть всем голландский кафтан, поумнеть, думать начать по-иному.

И при малом сопротивлении — лишь заикнулись только, что, мол, не голландские мы, а русские, избыли, мол, и хозарское иго, и половецкое, и татарское, не раз кровью и боками своими восстановляли родную землю, не можем голландцами быть, смилуйся,— куда тут! Разъярилась царская душа на такую непробудность, и полетели стрелецкие головы.

Днем и ночью при свете горящего смолья, на брошенных в грязь бревнах, рубили головы. Сам светлейший, тогда еще Алексашка, лихо, не кладя наземь человека, с налету саблей смахивал голову, хвалился. Пили много в те дни крепкой водки, дочерна настоенной на султанском перце. Сам царь слез с коня у Лубянских ворот, отпихнул палача, за волосы пригнул к бревну стрелецкого сотника и с такой силой ударил его по шее, что топор, зазвенев, до половины ушел в дерево. Выругался царь матерно, вскочил на коня, поскакал в Кремль.

Спать не могли в те ночи. Пили, курили голландские трубки. Помещику одному, Лаптеву, засунули концом внутрь свечу, положили его на стол, зажгли свечу, смеялись гораздо много.

В нагольном полушубке, в оленьем, надвинутом на уши колпаке, обмотав горло вязаным шарфом, Петр взлез на двухколесную таратайку, взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, жавшегося сбочку, выехал со двора.

Смирный карий мерин, привыкший к любой непогоде, не спеша зачмокал копытами; скоро ехать было

нельзя: таратайку сильно подбрасывало на бревенчатой, уже разъезженной мостовой, валило в рытвины, полные грязи.

Сильный ветер дул в лицо, гоня нескончаемые, разорванные в клочья облака. Солнце висело низко и то заслонялось серыми пеленами, то выплывало из них, багровое, несветлое, северное, и клубился, клубился повсюду, на земле и меж облаками, желтоватый, промозглый туман.

Вот так погода! Хороша погода! Морская, крепкая, сквозняк! С удовольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый, сырой ветер, гнавший где-то по морю торговые, полные товаров суда, многопушечные корабли, выдувавший изо всех закоулков залежалый дух российский.

И пусть топор царя прорубал окно в самых костях и мясе народном, пусть гибли в великом сквозняке смирные мужики, не знавшие даже — зачем и кому нужна их жизнь; пусть треснула сверху донизу вся непробудность,— окно все же было прорублено, и свежий ветер ворвался в ветхие терема, согнал с теплых печурок заспанных обывателей, и закопошились, поползли к раздвинутым границам русские люди — делать общее, государственное дело.

Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде — рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены.

Через Троицкую площадь шли семеновцы с медными киками на головах, в промокших кафтанах. Солдаты лихо месили по грязи и разом взяли на караул, выкатывая глаза в сторону государя. Чиновники, спешившие по своим делам, пробираясь по настланным вдоль лавок и домишек мосткам, низко снимали шляпы, и ветер трепал букли их париков. Простой народ, в зипунах и овчинах, иные совсем босые, валились на колени прямо в лужи,

хотя и был приказ: «Ниц перед государем, идя по его государевой надобности, не падать, а снять шляпу, и, стоя, где остановился, быть в пристойном виде, покуда он, государь, пройти не изволит».

Один только толстый булочник, ганноверец, в полосатых штанах, в чистом фартуке, стоя у дверцы булочной, где на ставнях были нарисованы какие-то смешные носатые старички, весело усмехнулся и крикнул, махнув трубкой:

— Гут морген, герр Питер!

И Петр, повернув к нему багровое, круглое лицо, ответил хрипло:

— Гут морген, герр Мюллер!

На набережной, между бунтами досок, бревен и бочек с известью, толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах, с лотком пирожков, мальчишка, покрытый рогожей. А с того берега на веслах и парусе подходил полицейский баркас, кренился, зарывался в волны носом, и на носу его ругательски ругался обер-полицеймейстер. Все это обличало явный непорядок.

А непорядок был вот в чем: посредине народа, в страхе великом обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый человек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами на плечи; горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоких морщинах; глаза провалились и горели люто; узкая бороденка металась по голой груди; ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дыры подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном знамении, он кричал пронзительно дурным голосом:

— Православные, ныне привезли знаки на трех кораблях. А те знаки — чем людей клеймить, и сам государь по них ездил, и привезены на Котлин остров, но токмо никому не кажут и за крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бессменно...

— Верно... верно...— зароптала толпа.— Сами слыхали... Клейма привезены... Вот такой же кричал намедни.

Сзади два усатых сержанта уже принялись расталкивать, гнать народ. Иные отошли, другие теснее, как

овцы, сдвинулись к бочонку... Рваный же человек растопырил руку и, суя в нее пальцем, кричал:

— Вот здесь, между большим и средним пальцем, царь будет пятнать, и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушайте... В Москве мясо всех уж заставили есть в сырную неделю и в великий пост. И на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахов учить мясо есть. И весь народ мужеска и женска пола будет государь печатать, а у помещиков и у крестьян всякий хлеб описывать, и каждому будут давать самое малое число, а из остального отписного хлеба будут давать только тем людям, которые запечатаны, а на которых печатей нет, тем хлеба давать не станут. Бойтесь этих печатей, православные. Бегите, скрывайтесь. Последнее время настало... Антихрист пришел. Антихрист...

Крестясь и отплевываясь, пятились мужики. Иные побежали. Закликали бабы... Смяли мальчишку в рогоже, опрокинули с пирожками лоток. Человек двадцать солдат лупили палками по головам и спинам. Рваный слез с бочки и пошел, наклонив голову. Перед ним расступились, и он скрылся за бунтами леса.

Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту происшествия, солдаты уже разогнали рабочих, и только обер-полицеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского, какого-то хилого мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, растопырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем направлениям, куда таскало его начальство; Ивашин же с ужасом косился на подходившего царя: дело было нешуточное — бунт и его, полицеймейстера, недоглядка.

«Пропал, пропал, пришибет на месте»,— торопливо думал он, крутя за виски покорную голову.

— Что? Кто? Почему? — отрывисто, дергая щекой, спросил Петр, и сам, схватив сзади за полушубок вятского мужика, приблизил его тощее, с провалившимися щеками, смиренно-готовое к неминучей смерти лицо к безумным своим глазам. Приблизил, впился и проник, точно выпил всю его нехитрую мужицкую правду.

«Господи Иисусе»,— посиневшими губами пролепетал вятский. Но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину:

— Причину нарушения работ, господин обер-полицеймейстер, извольте рапортовать.

Бритое, рябое лицо Ивашина подернулось серым налетом. Вытянувшись до последней жилы, он отрапортовал:

— Пирожник пироги принес, народишко начал хватать безобразно, началась драка и безобразие, пирожника едва не задавили, пироги все потоптали.

Соврал, соврал Ивашин, и сам потом много дивился, как он так ловко вывернулся из скверной истории,— гораздо хорошо соврал, глядя честно и прямо в царские глаза. Петр спросил спокойнее:

— С чем пироги?

— С грибами, ваше величество.

Придерживая шпагу, Ивашин живо присел и, подняв из грязи, подал царю пирожок. Петр разломил, понюхал и бросил.

— А этот, ваше величество,— Ивашин сапогом пихнул вятского мужичка в ноги,— всем им, ворам, зачинщик, крикун и вор.

— Батогов! — Петр повернулся и зашагал косолапой, но стремительной поступью вдоль набережной к работам. Ивашин рысью, придерживая треугольную шляпу и шпагу, поспевал за ним.

Вдоль топкого берега, куда били, расползаясь, черно-ледяные волны, копошились до трехсот человеческих фигур: орловцы и туляки в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как кибитки, шапках, с меховыми ушами, одетые в оленьи кофты поморы, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто обмотанный тряпками, кто просто прикрытый рогожей.

— Оглядывайся... Оглядывайся... Оглядывайся...— пошли негромкие голоса по всему берегу. Не жалея ни рук, ни спин, подгоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, все эти изнуренные, цинготные, покрытые лишаями и сыпью строители великого города «бодро и весело», как сказано в регламенте работ, били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, пилили, накатывали; человек пятьдесят, стоя по пояс в воде, обтесывали торцы. Едко пахло мокрым деревом, дегтем и дымом от обжигаемых свай.

Все эти люди были, как духи земли, вызваны из небытия, чтобы, не ропща и не уставая, строить стены, укрепления, дворцы, овладевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем.

Одного слова, движения бровей было достаточно, чтобы поднять на сажень берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые кольца, воздвигнуть вон там, поправее трех ощипанных елей, огромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким шпилем, на золоте которого загорится северное солнце.

Грызя ноготь, Петр исподлобья посматривал на то место, где назначалось быть адмиралтейству. Там, на низком берегу, стояли длинные бараки с дегтем, пенькой, чугунными отливками; кругом строились леса, тянулись тележки по гребням выкидываемой из каналов зеленоватой земли, и сколько еще нужно было гнева и нетерпения, чтобы поднялся из болот и тумана дивный город!

А тут еще пирожки какие-то мешают.

В конце стройки Петр свернул на мостки, сквозь доски которых под его шагами зачмокала вода. Здесь он вынул часы, отколупнул черным ногтем крышку — было ровно половина одиннадцатого — и шагнул в качавшийся и скрипевший о сваи одномачтовый бот.

Скуластый матрос, в короткой стеганой куртке и в падающих из-под нее складками широких коричневых штанах, весело взглянул на Петра Алексеевича, сунул в карман фарфоровую трубочку и, живо перебирая руками, поднял парус. Тотчас лодка, бессильно до этого качавшаяся, точно напрягла мускулы, накренилась, мачта, заскрипев, согнулась под крепким ветром. Петр снял руку с поручни мостков, положил руль, и лодка скользнула, взлетела на гребень и пошла через Неву.

Петр проговорил сквозь зубы:

— Ветерок, Степан, а?

Осклабясь, матрос прищурился на ветер, сплюнул.

— Был норд на рассвете, ободняло,— ишь на норд-вест повернул.

— Врешь, норд-вест-вест.

На это Степан усмехнулся, качнул головой, но не ответил: хотя с Петром Алексеевичем были они и давниш-

ними приятелями-мореходами, все-таки много спорить с ним не приходилось.

У строящегося адмиралтейства, где была уже вытянута сажен на полтораста высокая, из крепких бревен, пахнущая смолой набережная, Петр выскочил из лодки и, все так же спеша и на ходу махая руками, пошел к пеньковым складам.

Матросы, чиновники, рабочие и солдаты издалече заслышали косолапые и тяжелые шаги царя и, заслышав, низко нагнулись над бумагами и книгами, засуетились каждый по своему делу.

Неяркое, как пузырь, солнце повисело полдня за еловой пусторослью и закатилось. Темно-красный свет разлился на все небо; как уголья, пылали края свинцовых туч, заваливших закат на тысячу верст; в вышину поднялись оттуда клубы черно-красного тумана; багровая, мрачная, текла Нева; лужи на площади, колеи, слюдяные окошки домиков и стволы сосен — все отдавало этим пыланием; и не яркими, бледными казались сыплющие искрами большие костры, разложенные на местах работ.

Но вот яркой иголкой блеснула пушка на крепостном валу, ударил и далеко покатился выстрел, затрещали барабаны, и длинные партии рабочих потянулись к баракам.

У бревенчатых длинных и низких строений с высокими крышами дымились котлы, охраняемые солдатами; в подходившей толпе, несмотря на строгий приказ, вертелись сбитенщики с крепким сбитнем, воры, офени и лихие люди, предлагавшие поиграть в зернь, в кости, покурить табачку; гнусили калеки и бродяжки; толокся всякий людишко, норовивший пограбить, поживиться, погреться. Давали, конечно, по шеям, да всем не надаешь — пропускали.

Во втором васильевском бараке, так же как и повсюду, усталые и продрогшие рабочие обступили котел, просовывая каждый свою чашку усатому унтеру, говорившему поминутно:

— Легче, ребята, осаживай!

Получивший порцию брел в барак, садился на нары и ел, помалкивая: пищу-де хаить нельзя — государева. Хлеб покупали на свои деньги, говорили, что в царский подмешивают конский навоз.

С двух концов горящие над парашами лучины едва освещали нары, тянущиеся в три яруса, щелястые, нетесаные стены и множество грязного тряпья, развешанного под потолком на мочальных веревках. Набив брюхо, кряхтя и крестясь, полз народ на нары, наваливал на себя тулупы, рогожи, тряпье и засыпал до утреннего барабана. У дверей всю ночь шагал солдат в кивере, с перевязью, с большой алебардой, покашливал для страху и время от времени вставлял новую лучину. Строго было заказано — не баловать, а пуще всего зря языком не трепать.

Но без греха не проживешь, и солдату можно дать копейку, чтобы не слушал, чего не надо, и в барак пробирался лихой человек — Монтатон, не русский, залезал под самую крышу и там, разложив на платке все свое хозяйство: склянку с вином, зернь, табак и кости, начинал скрести ногтем — скрр, скрр, здесь, мол, дожидаемся.

Каждую ночь сползались к нему Семен Заяц, да Митрофан тоже Заяц, да Семен Куцый, да Антон из Черкас, шепотом вели беседу, кидали кости, звенели копейками и осторожно, чтобы не было великого шуму, заезжали в ухо Монтатону за плутовство. Проводили время.

Да и не все ли было равно — ну, застанут и засекут: на царевой работе никто еще больше трех лет не вытягивал.

Так было и сегодня. Собралась кумпания, запалили огарочек сальный, достали зернь, начали резаться. Солдат шагал у лучины, зевал от скуки. Вдруг слышит, где-то внизу на нарах шепчут:

— Отец Варлаам, а как же он нас печатать станет?

— Промеж середнего и большого пальца, тебе говорят, дура.

— Отец Варлаам, верно это?

— Верно,— отвечал давешний вопленный голос,—

клейма те железные, раскалят и приложат, и на них крест, только не наш, не христианский.

— Господи, что же делать-то? А если я не дамся?

— А прежде зельем будут опаивать, табаком окуривать, для прелести скакать в машкерах круг тебя, и на бочках ездить, и баб без одежи будут казать.

— Верно, верно, ребята, на прошлую масленицу сам видел,— на бочках ездили и бабы скакали.

— А что же я вам говорю!

Солдат, видя, что не Монтатонова это кумпания подает голос и разговор идет самый воровской, подошел, опустил алебарду и сказал, заглянув под темные нары:

— Эй, кто там бормочет, черти? Не спите!

Голоса затихли сразу: кто-то ноги босые поджал. Солдат постоял, нюхнул табачку и сказал еще:

— Сволочи, спать другим не даете. Разве не знаете государя нашего приказ строгий: в рабочих помещениях не разговаривать, только для ради пищу попросить, али иглу, али соли. Ныне строго.

И только он приноровился запустить вторую понюшку под усы в обе ноздри, как вопленный голос закричал на все темное помещение:

— Врешь! Государя нашего у немцев подменили, а этот не государь, давеча сам видел,— у него лица нет, а лицо у него не человеческое, и он голову дергает и глазами вертит, и его земля не держит, гнется. Беда, беда всей земле русской! Обманули нас, православные!..

Но тут солдат, бросив рожок с табаком и алебарду, закричал «караул!» — и побежал к выходу, расталкивая лезущий вниз с нар перепуганный народ. Зашумели голоса. Взвизгнула баба где-то под рогожей; другая, выскочив к лучине, забилась, заквакала. «Бейте его!» — кричали одни. «Да кого бить-то?», «Давют, батюшки!» Монтатон, побросав свой инструмент, ужом лез к выходу; поймали его, вырвали полголовы волос.

И ввалился, наконец, караул, с факелами и оружием наголо. Все стихло. Рослый, крепколицый офицер, оглядывая мужиков со всклокоченными волосами, с разинутыми ртами, двинул треугольную шляпу на лоб и, полуобернувшись к команде, приказал четко и резко:

— Арестовать всех. В Тайную канцелярию.

Тайная канцелярия занимала довольно большую площадь, огороженную высоким частоколом. Главный корпус построен из кирпича, а все пристройки — тюрьмы, клети, казематы — бревенчатые, и все время пристраивались, так как не хватало места для привозимых отовсюду государственных преступников.

В главном корпусе, низком, красном здании, крытом черепицей, с толстыми стенами и небольшими, высоко от земли, решетчатыми окошками, помещались: прямо — низкая комната с дубовыми, вдоль стен, лавками для дожидающихся под караулом, направо — комната дьяков, налево — кабинет начальника Тайной канцелярии, и оттуда кованная железом дверь вела в застенок, сводчатое помещение с коридорами и камерами. Сзади во дворике валялись — разный инструмент, нужный и ненужный: рогожи, связки прутьев, ржавые кандалы, кожи, гробы; и стояли «спицы» — самое страшное орудие пытки, редко применяемое.

Все комнаты были оштукатуренные и уже грязные от пятен сырости, прикосновения рук и спин. Везде каменный, захоженный грязью пол, крепкие дубовые столы и лавки.

Место было суровое, только в кабинете начальника день и ночь пылал камин, потому что Толстой был зябок и часто, чиня допрос, придвигал стул к огню и закрывал глаза, слушая, как путается обвиняемый да дьяк скрипит гусиным пером.

В восемь часов бухнула наружная дверь, и в комнату, где у стен сидели вперемежку колодники и солдаты, вошел Петр; прищурился на то место, где в густых испарениях плавал свет сального огарка, неясно освещая лысину нагнувшегося над бумагой дьяка и бледные лица вскочивших в испуге колодников, приложил пальцы к ноздрям, шумно высморкался, вытер нос полою мокрого полушубка и, нагнувшись, шагнул в кабинет председателя.

— Ну, ну, сиди,— проворчал царь в сторону Толстого и, сев перед камином, протянул к огню красные, в жилах, руки и огромные подошвы сапог.— Паршивый народ, не умеет простой штуки — стропила связать, дурачье,— продолжал он, явно желая похвастаться.—

Шафиров инженера выписал из Риги, хвастун и глупец к тому же. Я на крышу влез и показал ему, как вяжут стропила. Запищал инженерик: «Дас ист унмеглих, герр гот». А я сгреб его под париком за виски: это, говорю, меглих, это тебе меглих?..

Ухмыляясь, он вынул короткую изгрызанную трубочку, пальцами схватил уголек из очага, покидал его на ладони и сунул в трубку. Толстой сказал:

— Ваше величество, дело пономаря Гультяева, что в прошедшем месяце у Троицы на колокольне кикимору видел и говорил: «Питербурху быть пусту», разобрано, свидетели все допрошены, остается вашему величеству резолюцию положить.

— Знаю, помню,— ответил Петр, пуская клуб дыма.— Гультяева, глупых чтобы слов не болтал, бить кнутом и на каторгу на год.

— Слушаю,— нагнувшись над бумагами, проговорил Толстой.— А свидетели?

— Свидетели? — Петр широко зевнул, согревшись у огня.— Выдай им пачпорта, отошли по жительству под расписку.

В это время стукнули в дверь. Толстой строго посмотрел через очки и сказал, поджав губы:

— Войди.

Появился давешний крепколицый офицер; выкатив грудь, держа руку у шпаги, другую у мокрой треуголки, отрапортовал, что по государеву слову и делу арестовано им девяносто восемь человек мужска и женска пола, приведено за частокол, прошу-де дальнейших распоряжений.

Толстой, прищурясь, пожевал ртом: большой лоб его, с необыкновенными бровями — черными и косматыми, покрылся морщинами.

— На кого же ты слово государево говоришь? На кого именно? — спросил он.— На всех девяносто восемь человек говоришь, так ли я понимаю?

Рука офицера задрожала у шляпы, он молчал, стоя статуей. Царь, вытянув ноги, глядел круглыми глазами в огонь, время от времени туда сплевывая. На цыпочках вошел приказный дьяк, поклонился царскому креслу и сейчас же, присев у своего столика, записал, водя

кривым носом над бумагой. Толстой, выйдя на средину комнаты, с наслаждением нюхнул из золотой табакерки, склонил к плечу хитрое, ленивое лицо, оглядывая оторопелого офицера, и сказал в нос:

— Большое дело ты затеял: девяносто восемь человек обвиняешь, а со свидетелями и вся тысяча наберется. Добрый полк. Сколько же я кож бычьих на кнуты изведу? Сколько бумаги исписать придется? И, боже мой, вот задал работу! Чего же ты молчишь, друг мой, али испужался?

И при этом с улыбкой покосился на царя и захихикал, отряхивая тонкими пальцами с кафтана табак. Офицер срывающимся, взволнованным голосом пробормотал:

— Ваше превосходительство, в бараке втором, васильевском, поносные слова на государя говорены, и говорил их вор и бродяга Варлаам с товарищи...

И, не кончив, офицер дрогнул и попятился: с такою силой отшвырнул Петр тяжелое кресло от огня и, поднявшись во весь рост, засопел, багровый и искаженный, сыпля горящий пепел из трубки:

— Ну, веди его сюда...

Изменился в лице и Толстой, точно весь высох в минуту, заговорил торопливо:

— Веди его, веди одного пока, да не сюда, а прямо в застенок. Товарищей препроводить в казарму, держать под караулом крепко... Головой отвечаешь! — пронзительно крикнул он, подскакивая к офицеру, который, сделав полный оборот, быстро вышел.

Петр расстегнул медный крючок полушубка на шее и сказал, криво усмехаясь:

— Говорил я вам, ваше превосходительство,— Варлаам в Питербурхе. Вы не верили.

— Ваше величество...

— Молчи! Дурак! Смотри, Толстой, как бы и твоя голова не слетела.

Петр с силой толкнул железную дверь и, нагибаясь, пошел по узкому проходу в правежную. Толстой же постоял минуту в неподвижности, затем, поднеся холодную, сухонькую ладонь ко лбу, потер его и, уже тороп-

ливо захватив под мышку бумаги и семеня, вышел вслед за государем.

Так началось огромное и страшное дело о проповеднике антихриста, занявшее много месяцев. И много людей сложило головы на нем, и молва об этом деле далеко прокатилась по России.

Варлаам уже сорок минут висел на дыбе. Вывернутые в лопатках, связанные над головою руки его были подтянуты к перекладине ремнем; голова опущена, спутанные пряди волос закрывали все лицо, мешались с длинной бородой; обнаженное, с выдающимися ребрами, вытянутое и грязное тело его было в пятнах копоти, и сбоку стекал сгусток крови: Варлааму только что дали тридцать пять ударов кнутом, а спереди попалили вениками. Грязные ноги его, с поджатыми судорожно пальцами, были охвачены хомутом и привязаны к бревну, на котором, вытягивая все его тело, стоял дюжий мужик в коротком тулупчике — палач.

Напротив, у стола, при двух свечах, озаряющих кирпичные своды, сидели: Петр, развалясь и закинув голову, с надутой жилами шеей, посредине — Толстой и направо от него — огромный, похожий красным лицом на льва, угрюмый человек — Ушаков; он был без парика, в лисьей шапке и бархатной, с косматым воротником, шубе.

— Не снять ли его, кабы не кончился? — проговорил Толстой, просматривая только что записанное показание. Ушаков, глядя неподвижно на висящего и свистя заложенным от табаку и простуды горлом, сказал:

— Дать водки, очухается.

Толстой поднял глаза на царя. Петр кивнул. Палач шепотом сказал в темноту за столбы:

— Вась, Вась, поправее, в уголышке там склянка.

Из темноты вышел круглолицый, с женственным ртом, кудрявый парень, бережно неся четырехгранную склянку с водкой. Вдвоем они запрокинули голову висящему, покопошились и отошли. Варлаам застонал негромко, почмокал, затем закрутил головой... И на Петра опять, как и давеча, уставились черные глаза

его, блестевшие сквозь пряди волос. Толстой вслух стал читать запись дознания. Вдруг Варлаам проговорил слабым, но ясным голосом:

— Бейте и мучайте меня, за господа нашего Иисуса Христа готов отвечать перед мучителями...

— Ну, ну,— цыкнул было Ушаков, но Петр схватил его за руку и перегнулся на столе, вслушиваясь.

— Отвечаю за весь народ православный. Царь, и лютей тебя цари были, не убоюсь лютости! — с передышками, как читая трудную книгу, продолжал Варлаам.— Тело мое возьмешь, а я уйду от тебя, царь. На лапах на четырех заставишь ходить, в рот мне удила вложишь, и язык мой отнимешь, и землю мою не моей землей назовешь, а я уйду от тебя. Высоко сидишь, и корона твоя как солнце, и не прельстишь. Я знаю тебя. Век твой недолгий. Корону твою сорву, и вся прелесть твоя объявится дымом смрадным.

Петр проговорил, разлепив губы:

— Товаришей, товарищей назови.

— Нет у меня товарищей, ни подсобников, токмо вся Расея товарищи мои.

Страшно перекосило рот у царя, запрыгала щека, и голову пригнуло; с шумным дыханием, стиснув зубы, он сдерживал и поборол судорогу. Ушаков и Толстой не шевелились в креслах. Палач всей силой навалился на бревно, и Варлаам закинул голову. Слышно было, как трещали свечи. Петр поднялся наконец, подошел к висящему и долго стоял перед ним, точно в раздумье.

— Варлаам! — проговорил он, и все вздрогнули. Парень с женским ртом, вытянув шею, глядел из-за столба нежными голубыми глазами на царя.

— Варлаам! — повторил Петр.

Висящий не шевелился. Царь положил ладонь ему на грудь у сердца.

— Снять,— сказал он,— ввернуть руки. На завтра приготовить спицы.

У светлейшего в только что отделанной приемной зале, с еще волглыми стенами, высокими, невиданными окнами, при свете двухсот свечей, танцевали грос-фа-

тер. Четыре музыканта — скрипка, флейта, фанфары и контрбас — дудели и пилили, обливаясь потом.

Боярыни и боярышни, хотя и в немецких, но по-русскому тяжелых — до пуда весом — платьях, без украшений,— драгоценности в то время были запрещены,— но нарумяненные, как яблоки, и с густо насурмленными в одну линию черными бровями, неловко держась за своих кавалеров, скакали и высоко подпрыгивали по вощеному полу, в общем кругу танцующих.

Посредине круга стоял герой мод и кутежей — Франц Лефорт, дебошан французский. Бритое, тонкое лицо его с пьяными глазами было обрамлено огромным рыжим париком; букли его доходили почти до пояса. Золотой кафтан горой поднимался на бедрах. Помахивая рукой, с падающими из-за обшлага кружевами, он напевал в такт, топал красным башмачком.

Мимо него проносились, подпрыгивая, и перепуганный, потный прапорщик гвардии, с дворянскими мясами, натуго перетянутыми суконным сюртуком, и долговязый, презрительный остзеец, с рыбьим взором, впалой грудью и в огромных ботфортах, и пьяный с утра, наглый государев денщик, и боярин древнего рода, не знающий хорошо, где он: в пьяном кружале, в аду, или только дурной это сон...

Струи дыма ползли в залу из низкой комнаты, где за длинными столами играли в шахматы, курили трубки, пили вино и хлопали друг друга по дюжим спинам птенцы Петровы.

И повсюду меж танцующими и пьяными похаживал с козлиною бородкой сухонький человек, одетый в дьяконский парчовый стихарь и с картонной золотой митрой на лысой голове — князь Шаховской, «человек ума немалого и читатель книг, но самый злой сосуд и пьяный», второй архидьякон всепьянейшего собора и царский шут.

Веселье было великое. Музыка, и взрывы смеха, и топот ног по вощеному полу. В залу вошел Петр. Он был головою выше всех. Коротким кивком отвечая на низкие поклоны, прямо прошел к столам, сел с краю и на парчовую скатерть положил стиснутые кулаки.

Лицо его было бледно и презрительно, черные волосы прилипли ко лбу.

Косясь на царя, гости продолжали веселиться, чтобы не нажить беды. Один Шаховской смело подошел к нему со спины и, выпятив губу, проговорил гнусаво:

— Ну как, брат Пахом-Пихай, что пить-то будем?

Вздрогнул Петр, оскалясь обернулся и с кривой усмешкой сказал:

— Тройной перцовой, ваше святейшество.

Не шутка — варево адское была тройная перцовая. Человека валила в пятнадцать минут, будь он хоть каменный, и его святейшество сразу понял, что не для шутки потребовал Петр этого зелья, а со зла. И, поняв, немедля определил и свое поведение: подобрал высоко стихарь, на затылок сдвинул митру и побежал по гостям, крича в лицо каждому:

— Слюни распустил, венгерское попиваешь? Сам за себя, противник-черт, боишься. Сыч, сыч, насупился, о чем думаешь, а я не знаю. А может, ты Хмельницким гнушаешься, в собор к нам ходить не хочешь, от питья морду воротишь? А может, у тебя противные мысли?

И, отскочив, тыкал распухшим в суставах, старческим пальцем в побледневшее от таких намеков лицо придворного, и смеялся визгливо, и бежал к другим, приседая, кривляясь и нет-нет да закидывая глазок в сторону государя.

Перед царем поставили жбан, полный бурого зелья. Светлейший, с припухшим ртом, но улыбающийся сладко, надушенный, в кружевах, в шелковом парике, обсыпанном золотыми блесками, наливал тройную перцовую в чарки изрядной вместимости и посылал гостям, спешившим, хоть притворно да поскорее, освинеть во хмелю на потеху государю.

Петр, щурясь сквозь табачный дым, загребал пальцами с блюда то, что ему подкладывали, громко жевал, суя в рот большие куски хлеба, и в промежутки глотал водку, с трудом насыщаясь и с бо́льшим еще трудом хмелея. Есть он мог много,— всегда, было бы что под рукой.

Гости ожидали, когда царь, откушав, начнет шутить, что бывало иной раз покрепче перцовой. Но красное, с толстыми, круглыми щеками лицо его не прояснялось. Он уже отсунул блюдо и, положив локти на стол, грыз янтарный чубук,— по-прежнему выпуклые глаза царя были точно стеклянные, невидящие. И страх стал одолевать гостей: уж не прискакал ли курьер из Варшавы с недобрыми вестями? Или в Москве опять неспокойно? Или кто-нибудь здесь из сидящих провинился?

Вынув изо рта чубук, Петр сплюнул под стол и проговорил, морщась от подперевшей отрыжки:

— Ну-ка, архидьякон, подь сюда.

Князь Шаховской, надувшись индюком, отставляя посох, приблизился.

— Во имя отца моего Бахуса и Венерки, шленды, девки греческой, вопиющий ко мне насытится, и зовущий меня упьется,— загнусил он, закрывая голые, желтоватые глаза.

— Я с тобою не шучу,— перебил Петр, и внезапно вздулась жила у него поперек лба; остекленевшими глазами он оглядел гостей, чуть подольше задержавшись на столе, где сидели прусские офицеры.— Я тебя в шуты не нанимал, сам просился.

Он фыркнул носом и стал совать палец в трубку.

— Что-то чересчур стараешься! Перестарался, перестарался. Вот что! Боюсь, про нас с тобой говорить станут лишнее. Скажут, пожалуй — царский шут...

Он не докончил, как часто бывало, свою мысль и стиснул зубы, скрипнул ими, сдерживая гримасу.

— Боюсь твоим стараньем, да, да... стараньем черезмерным, как бы на меня твой колпак не надели бы, часом... С рогами... Собираются... Знаю... Ведь говорят, говорят, слышал небось... Рогатый колпак небось пригожее мне, чем корона...

И опять повернул голову направо, налево, пронзительно всматриваясь. Его несвязные, пьяные слова, темный их смысл усугубили страх между гостями. Похоже было на то, что царь опять напал на какой-то заговор, и каждый испуганно оглянулся, отодвинулся от приятеля. Меньше других смутились светлейший, привык-

ший ко всячинке, да Шаховской. Его притворно пьяные, теперь умные, щелками, глаза напряженно следили за каждым из порывистых движений царя. Он понимал, какие тайные мысли жгли государя, и, внезапно пододвинувшись, сказал с растяжкой, по-мужицки:

— Брось, Пахом, вот осерчал из-за какой дряни. На, возьми, не жалко,— и с громким, слезливым вздохом снял с себя митру и подал царю.

Петр усмехнулся дико и вдруг с коротким, как кашель, хохотом надвинул на голову картонный колпак.

— Архидьякон,— закричал он,— князю земли кланяйся, поклонись, аминь.

Взял за бороду Шаховского у самого подбородка, нагнул три раза к себе, запрокинул его лицо, схватил со стола жбан с водкой и стал лить ее князю в разинутый рот.

Шаховской, булькая, пил. Оторвался; собачьими, страдающими глазами взглянул на государя и снова прильнул. Наконец коленки его начали дрожать часто, мелко, руки в широких рукавах поднялись, бессильно шевеля пальцами; тройная перцовая лилась мимо рта по стихарю.

— Будя,— прошептал он и зашатался. Видно было, что и царю сильно ударил хмель. Бросив Шаховского, он вышел в залу и крикнул музыкантам:

— Чаще, чаще! — подхватил боярыню какую-то, обнял ее спину, притиснул полную, голую грудь к осыпанному пеплом кафтану и принялся отбивать дробь тяжелыми ботфортами, кружиться и сигать по всей зале, увлекая и кружа едва поспевающую за ним, взмокшую боярыню — княгиню Троекурову.

Светлейший тем временем быстро пораскинул умом и, два раза, для совета, добежав до княгинюшки, приготовил все, что на потребу Купидону, и ждал только минутки. Когда Петр угомонился, прислонясь к колонне и вытираясь рукавом, Меншиков подбежал на цыпочках и шепнул ему что-то. Слышали, как Петр воскликнул с пьяным весельем:

— Ну, ну, идем,— и, широко шагая и махая руками, проследовал впереди светлейшего во внутренние покои.

Светлейший, в одном камзоле, придерживая руку у горла и кланяясь, провожал государя на крыльце, благодарил за милость.

— Иди, иди к гостям, без тебя уеду,— закашлявшись от ветра, проворчал Петр и обсунул на полушубке ременный пояс. Ночь была темная, секло косой изморозью. Перед крыльцом, над замерзшими колеями грязи, покачивались фонари в руках конюхов. Вдалеке, с фонарем же, проходили человек семь в тулупах — ночной караул, тускло поблескивая торчащими во все стороны алебардами.

Светлейшего пришлось силой втолкнуть в дверь, дабы притворным своим ласканьем не надоедал чрезмерно; за окнами все еще играла музыка; свистел ветер в обглоданной сосне близ дома; роптала и билась о сваи ледяная, невидимая сейчас Нева; только желтели на ней и качались корабельные фонари; фыркали, смутно серея поблизости, выездные и верховые лошади; а Петр все еще стоял на крыльце, надвинув до бровей шапку.

Сытый, и пьяный, и утешенный всем человеческим, царь точно прислушивался, как из этой сытости снова, не вовремя, когда спать просто надо, поднимается жадная, лихая душа, неуспокоенная, голодная.

Никаким вином не оглушить ее, ни едой, ни весельем, ни бабьей сыростью. Ни покоя, ни отдыха. И не от этой ли бессонной тревоги зиму и лето скачет Петр в телегах и дилижанах, верхом и в рогожных кибитках, с Азова в Архангельск, с Демидовских чугуннолитейных заводов под Выборг, в Берлин, на Олонецкие целебные воды? И строит, приказывает, судит, казнит, водит полки и видит: коротки дни, мало одной жизни...

— Лошадь! — сказал Петр.

Конюха с фонарями шарахнулись. Подъехала давешняя двуколка с рябым, скрюченным от холода солдатом... Петр грузно влез в сиденье. Застоявшийся вороной жеребец, сменивший давешнего старичка каракового, перебирая ногами, начал было приседать, подкидывать передом.

— Шалишь! — крикнул Петр, рванул вожжами и стегнул жеребца, махнувшего раза три в оглоблях и затем размашистой, легкой рысью понесшего валкую

двуколку в темноту. На дороге испуганно посторонился ночной караул и далеко вдогонку крикнул: «Смирно». А потом солдатики шепотом рассказывали в шинке:

«Вот было страха ночью! Идем мы, значит, всемером, а он на вороной лошадищи как дунет мимо нас вихрем, лошадища огромная, а сам сидит как копна. Разве человеку мыслимо в таком виде ездить: уж больно велик, темен».

У Тайной канцелярии Петр бросил вожжи, скользя и спотыкаясь, подошел к воротам, цыкнул на караульных: «Глаза протри, не видишь кто...» — и, перебежав дворик, сильно хлопнул наружной дверью.

Варлаама привели и оставили с глазу на глаз с государем. На углу стола плавал в плошке огонек. Шипели, с трудом разгораясь, дрова в очаге. Петр, в шубе и шапке, сидел глубоко в кресле, облокотясь о поручни, подперев обеими руками голову, словно вдруг и смертельно уставший. Варлаам, выставив бороду, глядел на царя.

— Кто тебе велел слова про меня говорить? — спросил Петр негромко, почти спокойно.

Варлаам вздохнул, переступил босыми ногами. Царь протянул ему раскрытую ладонь:

— На, возьми руку, пощупай,— человек, не дьявол.

Варлаам пододвинулся, но ладони не коснулся.

— Рук не могу поднять, свернуты,— сказал он.

— Много вас, Варлаам? Скажи, пытать сейчас не стану, скажи так.

— Много.

Петр опять помолчал.

— Старинные книги читаете, двуперстным крестом спастись хотите? Что же в книгах у вас написано? Скажи.

Варлаам еще пододвинулся. Запекшийся рот его под спутанными усами раскрылся несколько раз, как у рыбы. Он смолчал. Петр повторил:

— Говори, что же ты.

И Варлаам, кашлянув, как перед чтением, и прикрыв воспаленными веками глаза, начал говорить о

том, что в книге Кирилла сказано, что «во имя Симона Петра имеет быть гордый князь мира сего — антихрист», и что на генеральном дворе у спасителя не нарисована рука благословляющая, и у образа пресвятыя богородицы младенца не написано, и что попам-де служить на пяти просфорах больше не велено, и что скорописные новые требники, где пропущено «и духа святого», те попы рвут и топчут ногами, и в мирянах великая смута и прелесть, и что у графа Головкина у сына красная щека, да у Федора Чемоданова, у сына ж его, пятно черное на щеке, и на том пятне волосы, и что такие люди, сказано, будут во время антихристово.

Петр, казалось, не слушал, подперев кулаками щеку. Когда Варлаам кончил и замолк, он повторил несколько раз в раздумье:

— Не пойму, не пойму. Лихая беда действительно. Эка — наплели... Тьма непролазная.

И долго глядел на разгоревшиеся поленья. Затем поднялся и стоял, огромный и добрый, перед Варлаамом, который вдруг зашептал, точно смеясь всем сморщенным, обтянутым лицом своим:

— Эх ты, батюшка мой...

Тогда царь стремительно нагнулся к нему, взял за уши и, словно поцеловать желая, обдал жарким табачным и винным дыханием, глубоко заглянул в глаза, проворчал что-то, отвернулся, глубоко надвинул шапку, кашлянул:

— Ну, Варлаам, видно мы не договорились до хорошего. Завтра мучить приду. Прощай.

— Прощай, батюшка!

Варлаам потянулся, как к родному, как к отцу обретенному, как к обреченному на еще большие муки брату своему, но Петр, уже не оборачиваясь, пошел к двери, почти заслонив ее всю широкой спиной.

За воротами, взявшись за скобку двуколки и на минуту замедлив садиться, он подумал, что день кончен — трудовой, трудный, хмельной. И бремя этого дня и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: одного за всех.

ПРОСТАЯ ДУША

1

Катю, портниху, не знали? Очень хорошая была портниха и брала недорого. А уж наговорит, бывало, во время примерки, пока с булавками во рту ползает по полу,— прикладывает, одергивает,— узнаете все, что случилось захватывающего на Малой Молчановке. А если начнете бранить,— отчего обещала и не принесла платье,— заморгает глазами:

— Верю, верю, мадам, вы совершенно вправе сердиться.

Вывески у Кати не было, жила на Малой Молчановке, в низку, на углу, против Николы на Курьих Ножках, когда войдете в ворота,— направо ее дверь.

Катя весь день сидела у окошка, откусывала нитки, встряхивала кудрями,— кудри свои, не подвитые. Помощница, веснушчатая девочка, наметывала платье на манекене. В комнате две клетки с птицами, картонки, свертки повсюду, перед зеркальцем бумажные розы и карточки на стене.

Госпожа Бондарева, докторша, всегда — пойдет гулять — остановится у окошка, разговаривает:

— Катя, опять вы меня обманули, не принесли платья. Вы, Катя, бессовестная.

— Извиняюсь, мадам, здравствуйте. Я вас вполне понимаю, что вы окончательно вправе сердиться.

Катя небольшого роста, в шелковых чулках, в башмачках с большими бантами, в синей юбке, до того короткой и легкой, что — бежит по улице с картонками, все на нее косятся: премиленькая фигурка. И всегда, выходя со двора, накидывала синюю же душегрейку с мехом,— будь хоть июль месяц,— пекло: мех Кате к глазам.

А глаза очень были недурны: ясные, иногда чуть-чуть припухшие, не то от слез, не то от бессонной ночи.

Но судить ее никто не смел. Катя была девушка холостая, одинокая, сама на себя работала, а если и влюблена была постоянно, в особенности по осени и в осенний сезон, то, может быть, и сама не рада была своему такому характеру и делала это совсем не для того, чтобы досаждать заказчицам.

2

Давно это было,— летом. Работала Катя домашней портнихой у докторши Бондаревой в Серебряном Бору, на даче «Ландыш».

С утра вертит машинку, улыбается полотняным строчкам, пожимает плечиками, потом облокотится и глядит в окно. Ах! Воспоминания!

За окном жара, стонут куры, скрипит гамак, маются между сосен барышни, сестры Бондаревы. За кустами, за забором — дзынь, дзынь — прошел кавалерист. Труба заиграла в Фанагорийском полку. Ах! Воспоминания!

Быстро, быстро крутит Катя машинку. Зовут обедать. Она садится к столу аккуратно,— руки сложила, губы поджала,— все, как полагается девушке с самолюбием. Бондарев извиняется перед ней, что в подтяжках, пьет водку, отдуваясь, глядит в суп. Барышни томятся, не хотят кушать, мальчишки Бондаревы, недоступные никакому воспитанию, крошат хлеб, щиплются под столом, от докторши пахнет валерьяном, одна Катя сидит в мечте. На вопрос: «Еще, Катя, супу?» — вздрагивает.

— Мерси. Аппетиту нет.

Какая там еда! В шесть часов Катя складывает шитье, отряхивает юбку от ниток и бежит на террасу, зовет Капитолину, горничную,— она в полном подчинении у Кати и тоже в мечте.

— Капитолина, идите брать урок танцев.

Капитолина появляется из-за погребицы, на ходу вытирает руки, бросает фартук в акацию. Катя говорит:

— Станьте в позицию. Па-де-катр. Слушайте музыку: «Мамаша, купите мне пушку, я буду стрелять» (так подпевали юнкера на балах). Легче, легче, Капитолина. Воздушней. Не так, не так. Боже мой!

Отстраняет Капитолину и, подобрав юбку, летает по балкону.

— И-ах! И-ах! И-ах!

А вечером, не загаснет еще заря, не высыпят еще звезды над высокими соснами, над Ходынским полем,— уж несутся издалека звуки вальса. Ту... ту... ту...— трубят фанагорийцы в медные трубы на берегу Москвы-реки, на кругу, за лесом.

Катя в газовом шарфе, а с ней Капитолина — бегут на круг,— по дороге появляется из темноты высокий юнкер, расставляет ноги, подхватывает под руку бегущую девушку.

— Прошу на вальс.

Ну, как не закружиться голове? И возвращаются Катя с Капитолиной на рассвете, когда догорели в листьях фонарики, затихли шаги, упала роса на траву, на листья.

Перелезут через плетень. Ложатся в постель. Катя закинет руки, глядит в бревенчатый потолок.

— Капитолина, Капитолина, никто не может понять моих чувств.

В то лето фанагорийцы ушли на войну. Утром рано заиграли трубы в лагерях, и барышни, швейки, горничные, кто в туфлях на босу ногу, кто в накинутой на рубашку шали, простоволосые, иные заплаканные, и все — печальные — собрались на поле.

Медленно, длинной пылящей колонной уходили фанагорийцы. На спинах до самого затылка навьючен

скарб, штыки торчат щетиной, топают тяжелые сапоги, лица строгие, разве крикнет с края кто помоложе: «Эй вы, голубки, прощайте!»

Верхом на смирной кобыле — командир, усатый с подусниками, сидит бодро, глаз не видно из-под бровей. У стремени его шагает командирша, загорелая женщина с мальчиком на руках.

Вдруг высокий голос запел: «Взвейтесь, соколы, орлами»,— и густая, тысячеголосая грудь подхватила песню. Заплакали женщины, побежали дети вслед. И колонна потонула вдали, в пыли.

Ушли,— и назад не вернулся ни один.

Катя стояла у дороги, и слезы текли у нее из глаз.

— Капа, Капа, жить неохота,— повторяла Катя и медленно вместе с женщинами и детьми вернулась в опустевший Серебряный Бор.

Заколачивали дачи. Поутру солнце всходило бледное, осеннее. И птицы пели по-иному. Катя купила географическую карту и воткнула булавку в то место, где кровь проливает знакомый юнкер.

А потом булавочка затерялась, карту засидели мухи. Чуть-чуть не полюбила было с горя близорукого какого-то студента, но сама его бросила. Хотела пойти в милосердные сестры и раздумала,— побоялась своего характера.

В домах, где прежде шила, везде горе. Какое уж шитье! Тогда-то Катя переехала на Малую Молчановку, взяла в ученицы веснушчатую девочку Саньку и в комнате над окном повесила двух птиц — снегиря и перепела: один пел поутру хорошо, другой к вечеру — скуку развевали.

Грустное житье. Улицы пустые. На женщинах траур. Галантерейные приказчики стали злые, как собаки. Дороговизна. Проходит зима и лето. Года проходят. И все еще воюют, поделить не могут чего-то. А народу, народу бьют!

Троих Катя проводила на вокзал за это время. Невеселая была любовь ни с одним, больше от жалости бегала видаться, а ночью не спала, вздыхала, бранила Саньку, чтобы не сопела, не будила птиц.

Проводит, поскучает, потом прочтет в газетах: убит на поле славы.

Шьет у окна Катя, мелькает иголкой и думает: «Где это поле славы, где столько народу побито? Посидела бы у этого поля, поплакала».

3

Однажды Катя пришла великим постом к докторше Бондаревой и только набрала в рот булавок, приготовилась разговаривать,— в прихожей зазвонил телефон, и сам Бондарев визгливым голосом спрашивает, чуть не лает в трубку:

— Что? Быть этого не может! Невероятно! Батенька мой, поздравляю!

Вбежал в комнату, красный, бороду захватил и в рот сует.

— Ну, Катя,— говорит,— поздравляю, Катерина Николаевна. Теперь вы свободная гражданка, позвольте пожать руку.

Потом кинулся к себе в кабинет, двери настежь и видно — на электрическом кресле сидит пациент, и Бондарев водит по нему железными щетками, не столько водит, сколько в лицо сует.— пускает искры, кричит:

— Дожили, батенька мой, до красного денечка!

На другой день побежала Катя на Красную площадь глядеть, как пушки возят, как сдаются в Кремле запасные солдаты, как по Никольской ведут приставов без шапок, с порванными погонами, как вешают красный флаг на Минина, как на кучу талого снега взлезла барышня в сбитой шляпке и с саблей и все повторяет тонким голосом: «Товарищи, товарищи...» А что «товарищи»,— за шумом не было слышно.

Забилось у Кати сердце от всего этого, точно лед растаял. И влюбилась она в университете на митинге в студента. Он стоял у колонны, глядел исподлобья, личико бледное, суровое, а глаза — как у женщины, палец заложил за мундир, причесан на пробор, чистенький весь и на Катю решительно не обратил никакого внимания.

Катя на другой день опять в университет побежала,— его нет. Обегала за две недели все митинги. Досада ее брала — самолюбие, а едва заметит студенческую фуражку,— сердце в колени валится. Заказчицам на все упреки отвечала: «Вы совершенно вправе, мадам, сердиться».

Наконец на Тверском бульваре видит, сидит он. Газету от себя отстранил, думает. Катя села на ту же скамью и дух едва переводит...

— Извините,— говорит,— что я к вам обращаюсь, я ваше лицо на митинге видела, давно хотела спросить...

Покраснела, хоть плачь: что хотела спросить—сама не знает, как дура...

— Так уж я и подумала,— встречу, спрошу, какие мне книжки почитать. Говорят, теперь всем приказано книжки читать, а какие — не сказывают. Так я к вам, извините...

Он спросил, кто она, как зовут, спрятал газету в карман.

— Приходите ко мне на Бронную.— Простился вежливо и пошел.

Жил он в комнате одиноко. У стола на полочке — книги, за ширмой — чистая кровать. На рукомойнике — душистое мыло. Светло, опрятно. Звали его Сергей Сергеевичем.

Катя в первый же день рассказала ему свою жизнь, плакала. Сергей Сергеевич предложил читать вслух историю французской революции. Бывало, сядет в кресле, наденет очки, перевернет страницу и посмотрит строго. Катя сидит напротив. Так бы и умерла около него. За чтением разговаривали:

— Катя, вам нравится Марат?

— Что вы, такой кровожадный...

— А что вы думаете, Катя, о современных событиях?

— Так что же, Сергей Сергеевич, думать-то,— свободу дали. Теперь все стали сознательные.. Я вот давно вас спросить собираюсь — за какой список подавать? Намедни ко мне в мастерскую заходил один, все повто-

рял: «Гражданка, мы в ваших руках...»— за него, что ли? Ах, теперь только и жить...

— Нет, Катя, из нас мало кто останется в живых...

— Ох!

— У меня, Катя, предчувствия очень тяжелые...

— О-ох!

В то время над Москвой стояла ясная луна. В ее свете по сырым бульварам бродили парами солдаты с дамами, грызли подсолнухи, целовались. Из темных подвалов выходили швейцары томиться на свет. Подвальные жители высовывались в окошки над тротуарами, глядели вверх неподвижно. По всему городу цвели липы.

Сергей Сергеевич сидел на окошке. Он был в кителе и качал ногой, затем поднял и опустил плечи.

— Какая глупая ночь, Катюша,— сказал он.— Оказывается, и во время революции светит луна, пахнут липы.

Катя стояла близко около него и подумала: «Неужели начинается чудный роман?»

И прошептала:

— Прекрасный запах.

Тогда Сергей Сергеевич опустил руку, и Катя заметила, что рука его ползет и вдруг коснулась ее локтя. Катя негромко вздохнула. Он спросил, усмехаясь:

— Вы на луну смотрите?

— Не знаю.

— Вы сегодня странная. (Она смолчала, сердце начало колотиться.) Вы любите музыку?

Действительно, внизу играли на рояле,— томилась от луны и революции еще чья-то душа.

Катя не ответила. Он спрыгнул с окна и стал рядом, так же как и она,— облокотился. Внизу лежали, поблескивающие с одной стороны от лунного света и темные с другой, крыши,— множество крыш.

Сергей Сергеевич осторожно повернулся к Кате. И она повернулась, взглянула в глаза без улыбки, раскрыла губы.

Тогда между их лицами зазвенел комар, появился золотистой точкой. Сергей Сергеевич усмехнулся и поцеловал Катю в рот. Она, не отрываясь, подняла руки, обхватила ими его шею и закрыла глаза.

После этой ночи Сергей Сергеевич перестал читать историю французской революции. Его пальцы теперь были в чернилах. Однажды он, покраснев до пота на лбу, прочел ей стихотворение:

И вот любовь рукою смуглой
Опять стучится в дверь мою.
. . . .

Но все это неожиданно кончилось, оборвалось. Из Рязани пришла телеграмма. Сергей Сергеевич уехал, не успел даже проститься, оставил только записочку: «Случилось страшное несчастье. Прощай. Нежно целую тебя, Катя. Спасибо, милая, за дружбу. Наш дом и все, все сожжено. Что с мамой и сестрами,— не знаю».

У Кати остались только листочки со стихами, она носила их под рубашкой. Мурлыкала целый день, сидя за работой, «Пускай могила меня накажет»— и вела себя очень строго... Это была любовь, как в книжке, и если бы не дороги материи, сшила бы себе траур,— так было грустно ей на душе и сладко.

4

А жить становилось все страшней. Начались безобразия по ночам. Ограбили мадам Кошке на Малой Молчановке,— забрались десять человек в масках, самого Кошке связали, избили, мадам от страха впала в столбняк, ее раздели дочиста. Потом ночью у подъезда ограбили председателя домового комитета, проломили голову. Что ни ночь, то на Малой Молчановке — шалости и грабежи.

Катя догадывалась, чьих рук это дело, но пока молчала. К ней повадился шляться под окошко Петька (отец его держал обойную мастерскую), хвастался, показывал золотые часы. Приходил в сумерки с гармоникой, садился с улицы на подоконник, играл «двусцеп»,— никак отвязаться было нельзя.

Потом стал предлагать подарки. Хвалился засыпать деньгами. Катя отказывалась, гнала его с окошка.

В осеннюю ветреную ночь Катя увидела сон, будто входит к ней Сергей Сергеевич, держится рукой за лоб. Сел на стул, наклонился, белый, как полотно, и кровь у него сочится между пальцами.

Катя закричала, перепугала Саньку и так начала плакать, будто душа в слезах уходила.

— Саня, Санечка, тоска смертная. Жить плохо. Поди, дай мне водицы. Никого на свете нет у меня, Санька,— и стучала о стакан зубами,— закопают меня на кладбище, один ветер меня пожалеет.

На другой день, чуть свет, проснулась она от частой далекой стрельбы. Санька бегала за угол, вернулась такая, что все веснушки проступили.

— На Воздвиженке всех режут, девушка,— и полезла головой под подушку.

Катя пошла на Арбат. Там стоял народ кучками на углах, слушали, посмеивались, никто ничего не знал.

Стреляли пушки. Тукали часто, гулко пулеметы. Пролетали пульки с пением. Прогремел грузовик, полный солдат и ружей, за ним побежал студент и влез. Ждали каких-то казаков.

Худая старуха, вздохнув, сказала Кате:

— Большаки под колокольню подкоп ведут. Тысячи народу перебили.

К вечеру появились патрули и разогнали праздный народ по домам.

Катя не зажигала огня, сидела впотьмах и слушала. Прошли медленно двое за окном, один проговорил: «Застали на чердаке и прикололи, а интеллигентный был человек». Мелькнула искорка, и неподалеку хлестнуло, как кнутом. Вдруг зачавкало железом, проезжал извозчик. Грубый голос крикнул: «Кто едет?» Стук подков сразу замолк. Катя ждала — убьют или нет. Но подковы опять зазвякали. Катя сидела, покачиваясь, и задремала понемногу.

Легкий стук в окно разбудил ее.

Санька зашептала:

— Девушка, лезут к нам, боюся.

Катя соскочила с постели, подбежала к окну. За ним стоял смутной тенью человек, солдат, с ружьем,

один. Он опять постучал осторожно. Катя раскрыла форточку.

— Что вам нужно? Спать не даете. Уходите от окна...

— Катя,— сказал солдат насмешливо и повторил ласковее:— Катюша.

Катя до того испугалась этого голоса, так трястись начали коленки,— вцепилась в занавеску.

— Сергей Сергеевич, миленький, вы ли?

Он проговорил все так же тихо:

— Нет ли чаю горячего? Мы очень продрогли. Здравствуй, Катюша.

От стены отделились еще двое. Стали рядом, оперлись на ружья.

— Вот бы чайку теперь. Спасибо сказали бы.

Катя в кухне собрала чай. Осторожно, скрипнув калиткой, прошли все трое, в серых шинелях, в тяжелых грязных сапогах, сели к столу, ружья поставили между колен, повесили картузы на штыки, стали дуть в блюдечки, покрякивать. У всех троих повыше локтя черная нашивка — углом.

Сергея Сергеевича узнать было нельзя,— раздался в плечах, обветрил, оброс кустиками, только лоб остался прежний, белый, чистый. Катя даже сесть около него не смела,— взглядывала украдкой.

И не успела налить по второму стакану,— послышался с улицы свист. Они вскочили, поправили пояса, сумки и вышли.

В сенях Сергей Сергеевич обернулся, взял Катю за плечи, взглянул в лицо строго и, не целуя, прижал к себе. Никогда Катя не могла забыть запаха солдатской его шинели, ремней, табаку. Не сдержалась, заплакала. Он сказал: «Ну, ну, перестань», поправил картуз, перекинул винтовку и вышел.

Катя прождала весь следующий день. К вечеру пришел юнкер с запиской от Сергея Сергеевича, попросил кипятку, хлеба и папирос, и, сколько ни отговаривал Катю, она собрала все, что было съестного, и побежала к Никитским воротам.

Далеко вокруг, озаряя кривые переулки, пылал огромный гагаринский дом. Грохотали залпы. Со всех

чердаков, из окон, из-за деревьев выскакивали длинные огненные иглы выстрелов. Иногда темная фигура перебегала от дерева к дереву. На песке бульвара, красном от зарева, поблескивающем корками льда, валялись, как мешки с поклажей, пять-шесть убитых. Катю не хотели пускать, она отвечала:

— Найду и найду его, хоть убивайте меня. Приказал чаю принести, и принесу. Пустите.

Спотыкаясь, скользя по ледяному бульвару, Катя добралась до канавы, вырытой поперек проезда. В ней лежали люди в шинелях. Стреляли из канавы, и с Никитской, и с переулка,— отовсюду.

Катя стояла за деревом, глядела на страшный дом. Там в окнах закручивалось пламя и появлялись какие-то люди, точно хотели броситься вниз. Одна фигура застряла в окне, растопырив руки.

Катя охнула, закричала:

— Сергей Сергеевич, где вы?

Ее не захотели слушать, прогнали, и вдогонку хриплый голос из канавы крикнул:

— Не туда идешь, дура, он — около Чичкина лежит.

Сергей Сергеевич лежал около лавки Чичкина, у самой стены. Шинель на нем коробилась, как неживая, пыльная. Голова закинута навзничь, рот приоткрыт, из темени по асфальту растекалась темная лужа.

Катя присела около него и долго, долго глядела в лицо. Оно было не то — любимое,— не его лицо. Прах оскаленный. Потом она взяла чайник и пошла обратно. Сняла с плеч, накинула на голову платок, опустила его на глаза.

Вечером на седьмые сутки Москва погрузилась в желтоватый туман. Затихли выстрелы. Провыл последний снаряд из тумана. И кончилось сражение.

Утром Катя вышла купить молока. На перекрестке стоял бородатый решительный мужчина в шляпе, рослый, с черными от пороха руками,— выдавал пропуска. Госпожа Бондарева,— за эту неделю сморщилась, как гриб,— подошла к Кате, шепнула:

— Смотрите, милая моя, какой стоит с бородищей,— как же нам жить-то теперь?..

ГРАФ КАЛИОСТРО

1

В Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба Белый ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озерца, и островки, и фонтаны.

Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью на цоколе: «Присядь под нею и подумай — сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Белого ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге.

Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился, тихо и уединенно, в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федяшевой. Нрава он был тихого и мечтательного и еще очень молод,— ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с

радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок и бывало колотье в сердце.

С тихой радостью Алексей Алексеевич предался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом смотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дуплистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усердно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по коридору, скрипя половицами, проходил старичок истопник и мешал печи.

Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом,— так она звала Алексея Алексеевича,— творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что:

— Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями, да и жениться, не век же в самом деле на меня, старого гриба, смотреть, так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться...

Куда тут! Алексис даже ногой топнул:

— Довольно, тетушка... Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет с гостями... На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел послушать?

— У Шахматова-князя пять дочерей,— сказала тетушка,— все девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать дочерей... Да у Свиньиных — Сашенька, Машенька, Варенька...

— Ах, тетушка, тетушка, отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но лишь подумать,— вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой перчатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта бегает с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать...

— Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис? Да и хотя бы лапшу,— что в ней плохого?..

— Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тетушка... Но женщины, способной на это, нет на земле...

Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет красавицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма.

Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то поняла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она проговорила:

— Если ты человек,— люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости господи...

Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теленок и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из березового леска, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду,— лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, распугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привез Федосье Ивановне письмо, а барину — пачку книг.

Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла, в двадцать восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причинах ипохондрии. «Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и

продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении; человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не чает, ищет уединения, погружается отчасу в глубочайшую печаль, покуда, наконец, нервы желудка и кишек его не придут в изнеможение...»

Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Итак, его ожидает ипохондрия: страсти, сжигающей его душу, нет выхода.

2

Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Как сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозный закат. По холодеющим полям уже закурилась поземка. Древняя ворона, каркая, снялась с убранной инеем березы и осыпала снегом Алексея Алексеевича, идущего в лисьем тулупчике по дорожке, только что расчищенной в снегу вдоль берега.

На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду; подняла ведра на коромысло и пошла, оглядываясь на барина, круглолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигался кое-где свет по замерзшим окошечкам; слышался скрип ворот да ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина.

Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо старого дома, велел отбить дверь и вошел в комнаты. Здесь все было покрыто пылью, ветхо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фонарем то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели. Большая крыса перебежала комнату. Все ценное, очевидно, было унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но заглянул в низкое пустое зальце и на стене увидел висевший косо, большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок поднял фонарь. Полотно было подернуто пылью, но краски свежи, и Алексей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко

причесанные пудреные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее до половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, держала указательным и большим пальцем розу.

Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной княгини Прасковьи Павловны Тулуповой, его троюродной сестры, которую он видал только будучи ребенком. Портрет сейчас же был унесен в дом и повешен в библиотеке.

Много дней Алексей Алексеевич видел перед собой этот портрет. Читал ли книгу,— он очень любил описания путешествий по диким странам,— или делал заметки в тетради, куря трубку, или просто бродя в бисерных туфлях по навощенному паркету, Алексей Алексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он понемногу наградил это изображение всеми прекрасными качествами доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Прасковью Павловну подругой одиноких часов и вдохновительницей своих мечтаний.

Однажды он увидел ее во сне такою же, как на портрете,— неподвижной и надменной, лишь роза в ее руке была живой, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алексеевич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. С этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ Прасковьи Павловны овладел его воображением.

3

Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала:

— Павел Петрович мне пишет...

— Какой Павел Петрович, тетушка?

— Да ты что, Алексис, батюшка мой,— Павел Петрович Федяшев, секунд-майор... Так он пишет разные разности, а вот — для тебя: «...Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или,

как его называют,— Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха; Костичу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума стронулась... Словом, всех чудес не перечесть... Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное приключение: князь Потемкин воспылал свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешке,— сам я ее не видел, но рассказывают — красотка. Потемкин передавал графу много денег, и ковров, и вещиц; увидав же, что деньгами от него не откупишься, замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет...»

Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах.

— Все эти чудеса — проявление непонятной магнетической силы,— сказал он.— Если бы мне встретиться с этим человеком... О, если бы только встретиться...— Он заходил по комнате, издавая восклицания.— Я бы нашел слова умолить его... Пусть бы он произвел на мне этот опыт... Пусть воплотил всю мечту мою... Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развеется, как туман. Не пожалею о ней.

Федосья Ивановна со страхом круглыми выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно, было чего испугаться: Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов, не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому, по меже между хлебов, закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц на придорожной березе.

4

Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях,— все застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры; на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке, у земли, был темный, глухой и жестокий.

В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломотья в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков своего имени, написать ничего не мог.

Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и портрет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице ее сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарыдает, если еще продолжится это состояние необыкновенной отчетливости и грубости всего окружающего. Душа его изнывала от тоски.

Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раздались испуганные голоса. Алексей Алексеевич подошел к окну. Огромная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми полями, ползла на усадьбу. Вода в реке посинела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камыши. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окно, завыл в трубах. В туче появился свет и пробежал извилистыми, ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине.

Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал его длинные волосы и развевал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй, более ужасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тяжелые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и запенился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно.

— Алексис,— тетушка все еще тяжело дышала, набравшись страха,— говорю тебе: гости к нам приехали.

— Гости? Кто такие?

— Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы боятся, просятся переночевать.

— Просить, конечно.

— Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты сам-то пошел бы оделся.

Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиотеки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная девка, простоволосая, в облипшем сарафане:

— Матушка, барыня, приезжие-то, провалиться мне,— один из них черный, как дьявол.

5

Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь свечи. Настала тишина. Растворили окна и двери в сад, а там в темноте падал несильный, теплый и отвесный дождь, тихо шумя о листья.

Алексей Алексеевич, в шелковом кафтане, в камзоле, тканном по палевому полю незабудками, при шпаге, завитой и напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужайке, в тех местах, где падал свет, казалась седой. Пахло сыростью и цветами.

Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна правого крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там, в окнах, на спущенных белых занавесах появлялись тени: то мужская, в огромном парике, то женская — изящная, то высокая тень в тюрбане — слуги.

Это и были приезжие. Они давно уже и переоде-

лись, и отдохнули, и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алексей Алексеевич с нетерпением следил за движением теней на занавеске. От запаха ночного дождя, цветов и воска горящих свечей кружилась голова.

Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась и исчезла, и в доме послышались ровные шаги. Алексей Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошел большого роста, совершенно черный человек с глазами, как яичные белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясанном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он сказал по-французски, ломанно:

— Господин приветствует вас, сударь, и просит передать, что с отменным удовольствием принимает приглашение отужинать с вами.

Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко подойдя к нему:

— Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему барину.

Слуга со вздохом наклонил голову:

— Не знаю.

— То есть как — не знаешь?

— Его имя скрыто от меня.

— Э, братец, да ты, я вижу,— плут. Ну, а тебя по крайней мере как зовут?

— Маргадон.

— Ты что же — эфиоп?

— Я был рожден в Нубии,— ответил Маргадон, спокойно, сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича,— при фараоне Аменхозирисе взят в плен и продан моему господину.

Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови:

— Что ты мне рассказываешь?.. Сколько же тебе лет?

— Более трех тысяч...

— А вот я скажу твоему барину, чтобы тебя высекли покрепче,— воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем.— Пошел вон!

Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся.

Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представление.

Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали брильянты, и на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня.

Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича.

— Графиня,— наш хозяин. Сударь,— моя жена.

После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу.

Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печальной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо ребенка, чем женщины, казалось прозрачным,— так была нежна и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, изящный рот немного приоткрыт,— должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада.

У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъяснялась плохо, приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому занимать их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, что они

едут из Петербурга в Варшаву на долгих и в дороге уже вторую неделю.

— Прошу великодушно простить меня,— сказал Алексей Алексеевич,— знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя.

— Граф Феникс,— отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в курячью ногу.

Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел, стал белее салфетки.

6

— Так вы и есть знаменитый Калиостро, о чудесах ваших говорит весь свет? — спросил Алексей Алексеевич.

Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло, не глотая.

— Да, я Калиостро,— сказал он, с удовольствием причмокнув большими губами,— весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий природы, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций природы, то есть — твердого, жидкого, мягкого и летучего; сил природы: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов природы, коих тридцать шесть, и, наконец, энергий природы: электрической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчинено трем началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь,— при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку и, вынув из камзольного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах.

Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой.

Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, задумавшись. Ее

руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья.

— Мой друг, доктор философии, умерший в Нюренберге, в тысячу четыреста... вот проклятая память,— пробормотал Калиостро, стуча пальцами по табакерке,— мой друг доктор Бомбаст Теофраст Парацельзиус не раз говаривал мне: жуй, жуй, жуй,— сие есть первая заповедь мудрого: жуй...

Алексей Алексеевич дико взглянул на графа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении, лишь слегка закружилась голова, но это сейчас же прошло.

— Я также не раз слыхал, ваше сиятельство,— проговорил Алексей Алексеевич,— что хорошее пищеварение вселяет веселые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины...

— Несомненно,— сказал Калиостро, опуская брови.

— Осмелюсь взять хотя бы в пример себя... Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета...

Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза.

Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции (об этом он узнал от тетушки), и то, как нашел его в старом дому, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии.

Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексеевич, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул:

— Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там,— хотя бы это стоило мне жизни...

При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас, она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь.

— Материализация чувственных идей,— progово-

рил Калиостро, зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями,— одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки... Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни... Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать.

7

Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете он накинул халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом воду, она была как парная, но в глубине — студена. После купанья, одетый и завитой, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад,— мысли его были возбуждены, и голова горела.

Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом с полуспущенными фонтанами, в голубоватой мгле, в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь.

Дорожки были влажные и вымытые, и на одной из них Алексей Алексеевич заметил следы женских ног. Он пошел по их направлению, и на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали очертания круглой беседки и по сторонам ее — огромных осокорей, он увидел графиню. Она стояла на мостике и, опустив руки, слушала, как в роще куковала кукушка.

Когда Алексей Алексеевич подошел ближе,— у него забилось сердце: по лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее вздрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексеевича, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими руками пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. Ее лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли слезы. Она быстро вытерла их платочком и улыбнулась виновато.

— Я испугал вас, простите,— воскликнул Алексей Алексеевич.

— Нет, нет,— она спрятала на груди платочек и сделала реверанс; Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно.— Утро так хорошо, кукушка так славно кричала: мне стало грустно, а вы меня не испугали.— Она пошла рядом с Алексеем Алексеевичем по берегу озерца.— Разве вам не бывает грустно, когда вы видите, как хороша природа? Знаете,— я думала о вашем вчерашнем рассказе Жить в таком изобилии, одному, молодому... И все-таки почему, почему нет счастья?..

Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич ответил первое, что вошло в голову,— о грубости жизни и невозможности счастья. При этом он широко улыбнулся, улыбка так и осталась на его губах.

Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собою только синие глаза — они словно были насыщены утренней прелестью; в ушах его раздавался голос молодой женщины и отдаленный немолчный крик кукушки.

Графиня рассказывала, что родилась в деревне, близ Праги, что она круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее Мария, что она вот уже три года путешествует с мужем по свету и столько видела,— другому бы хватило на всю жизнь,— и что сейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, и она расплакалась.

— Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созрело,— сказала она и опять ласково и пристально взглянула на Алексея Алексеевича.— Я вас не знаю, но почему-то верю вам так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню?..

Он взял ее руку и, нагнувшись, поцеловал несколько раз, и, когда целовал в последний, ее рука перевернулась ладонью к его губам, легко сжала их и выскользнула.

— Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то? — проговорила Мария задрожавшим от волнения голосом.— Вы неопытны и наивны... Вы не знаете — какой ужас ваша мечта...

Она подошла к каменной скамье и села, Алексей Алексеевич опустился рядом с нею.

— Почему же ужас,— спросил он,— что грешного, если я мечтаю о том, чего в жизни нет?

— Тем более... В такое утро — нельзя, нельзя мечтать о том, чего быть не может,— повторила она, и глаза ее снова налились слезами.

Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее за руку:

— Я чувствую — вы несчастны...

Она молча поспешно закивала головой. Она была взволнована и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощущал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя его мысли и чувства. Стало горячо сердцу,— словно ветер, наклоняющий травы и листья, прошла по нему нежность к этой женщине.

— Кто заставляет вас страдать? — спросил он шепотом.

И Мария ответила торопясь, точно в страхе потерять минуту этого разговора:

— Я боюсь... я ненавижу моего мужа... Он — чудовище, каких не видал еще свет... Он мучает меня... О, если бы вы знали... Во всем свете нет близкого мне человека... Многие добивались моей любви,— что мне в том... Но ни один участливо не спросил — хорошо ли мне жить... Мы с вами не успели встретиться — и расстанемся, но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спросили.— У нее задрожали губы, видимо, она делала большое усилие, преодолевая застенчивость, и вдруг залилась румянцем.— Едва я увидала вас, мне сердце сказало: доверься...

— Ради бога... этого нельзя вынести... Я убью его! — воскликнул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги.

И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мария воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и между стволов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубе и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину страу-

совыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщился, собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалось лиловым,— так было полнокровно и смугло.

Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел в упор на этого дивного человека. Тогда Калиостро, раздумав чихать, протянул табакерку:

— Угощайтесь.

Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, но сейчас же вновь схватился за рукоять.

— А не хотите нюхать, так и не надо,— сказал Калиостро.— Графиня, я вас искал по всему саду, мой чемодан уложен, но ваших вещей я не касался.— И он обратился к Алексею Алексеевичу: — Итак, если наш экипаж починен,— мы едем.

Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии; она покорно, не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились по дорожке между густых трав к дому.

Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустился на скамью.

8

Так он просидел долгое время в оцепенении, не слыша ни свиста птиц, ни плеска пущенных садовником фонтанов. Он глядел под ноги на песок, где ползали козявки. Это были те самые плоские красные козявки, у которых на спине, у каждой, нарисована рожица. Одни ползали, сцепившись,— рожица к рожице,— другие то вползали в трещину на плотно убитой дорожке, то вылезали оттуда безо всякой видимой надобности.

Алексей Алексеевич думал о том, что очарование сегодняшнего утра разбило его жизнь. Ему не вернуться более к уютным и безнадежным мечтам об идеальной любви: синие глаза Марии, два синих луча, проникли ему в сердце и разбудили его. Но что ему в том: Мария уезжает, они не встретятся никогда. И сон и явь его разбиты,— каких очарований ждать еще от жизни?

И вдруг он вспомнил, как Калиостро протягивал ему табакерку и усмехался криво, и им овладело бешенство. Алексей Алексеевич вскочил и, еще не зная, что он сделает, но сделает что-то решительное, надвинул шляпу на глаза и зашагал к дому.

У дверей его встретила Федосья Ивановна.

— Алексис,— воскликнула она взволнованно,— сейчас был кузнец и сказал, мошенник, что раньше как через два дня графский экипаж не починит.

9

Известие, что гости остаются, смешало все мысли Алексея Алексеевича, у него начался озноб и дрожание рук. Он вошел с тетушкой в дом и присел на канапе. Федосья Ивановна, не понимая хода его мыслей, спросила — не послать ли в таком случае в соседнее село за кузнецами?

— Ни под каким видом,— крикнул он,— ни за какими кузнецами посылать не смейте! — И вдруг усмехнулся: — Нет, Федосья Ивановна, пусть гости поживут у нас два дня... А вот, тетушка, вы, чай, и не разобрали, кто таков наш гость.

— Фенин какой-то.

— В том-то и дело, что не Фенин, а граф Феникс,— сам Калиостро.

Федосья Ивановна широко раскрыла глаза и всплеснула пухлыми руками. Но Федосья Ивановна была русская женщина, и поэтому известие, что в доме их — знаменитый колдун, поразило ее с иной стороны: тетушка вдруг плюнула.

— Бусурман, нехристь, прости господи,— сказала она с омерзением,— всю посуду теперь святой водой мыть придется и комнаты святить заново... Вот, не было заботы... Она тоже волшебница?

— Да, тетушка. Графиня — волшебница.

— Так ведь им, проклятым, чай, пища другая совсем нужна... Ах, Алексис... Ведь они, может, нашего и

не едят, а ты не догадался... Поди спроси,— чего они желают к завтраку...

Алексей Алексеевич рассмеялся и пошел в библиотеку. Там, закурив трубку, он начал расхаживать и вдруг так стиснул конец чубука зубами, что янтарь хрустнул.

«Вызвать графа на дуэль, убить и бежать с Марией за границу,— подумал он и швырнул трубку на подоконник.— Но повод к дуэли?.. Э, не все ли равно...»

Алексей Алексеевич вытащил шпагу из ножен и начал осматривать лезвие. «Но можно ли драться с гостем?» В это время в глубине комнаты, там, где была арка с задернутым малиновым занавесом, скрипнула половица. Алексей Алексеевич быстро поднял голову, но сейчас же забыл про скрип,— мысли вихрем летели у него в голове. «Нет, придется подождать, когда они отъедут, догнать их за речкой и там уж завязать ссору». Он остановился у окна и, слушая, как стучит сердце, проследил взглядом весь путь, пройденный им давеча с Марией, от беседки, вдоль озера, и до скамьи. «О милая»,— прошептал он.

Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой прихода гостей. Когда послышались их шаги, у него потемнело в глазах. Вошла Мария с опущенными ресницами, сделала тетушке глубокий реверанс и села к столу. Лицо ее было бледно и припудрено, точно весь огонь души ее погас. Калиостро, развертывая салфетку, молча покосился на Алексея Алексеевича и сидел весь завтрак надувшись и неприятно, громко жуя. Федосья Ивановна шепотом отдавала распоряжения Фимке и сама не ела.

Напрасно Алексей Алексеевич горячими взглядами старался вызвать краску, хотя бы едва заметное движение на лице Марии: она была как восковая, а взгляды его каждый раз встречались с ответными взглядами мужа, внимательными и твердыми. И Алексей Алексеевич со свойственной ему внезапностью впал в отчаяние.

Завтрак кончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, выразил желание выкурить трубку в библиотеке.

Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывал из-под косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, и вдруг громко и повелительно сказал:

— Я обдумал и решил,— сегодня вечером я исполню ваше желание: я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой.

Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищелкивая языком и посапывая.

Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтер с него пыль тряпкой, поставил у стены, разостлал перед ним ковер. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи, на окнах опущены занавесы. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи, ни питья.

Алексей Алексеевич повиновался всему, чего от него требовали. Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. В восемь, одетый в просторное и легкое платье, он вошел вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.

10

— Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зевоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит.

Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в низкое и покойное кресло перед портретом. По красному лицу его с прыгающими бровями, из-под буклей парика, текли капли пота. Двигаясь и не переста-

вая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону.

Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери.

В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг.

— Повторяю,— говорил он,— вы должны напрячь все воображение и представить эту особу,— он ткнул мелом в сторону портрета,— без покровов, то есть нагую... От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения... Я помню,— в тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз просил меня материализировать мадам де Севиньяк, умершую от желудка... Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым соломою мешком... Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив со всею тщательностью сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячась, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была неодетая и возбуждала удивление... Маргадон,— позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы,— поди и позови графиню.

Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошел в круг.

— Вы будете иметь совершенный образец моего искусства,— сказал он важно,— способность речи, пище-

варение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины.

Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздались легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застонал, делая последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза.

— Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям... Я начинаю,— повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом — окаменело.

За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн.

— Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю,— нараспев, медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро.— О духи воздуха, Сильфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слово Эша... Делайте ваше дело...

Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-желтым, как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его.

Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебался, по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос:

— Духи земли, Гномусы, вас призываю именем

Невыразимого, которое выговаривается как слог Эл. Делайте ваше дело.

Он поднял стилет и опустил его, и будто от подземного толчка весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкафа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Калиостро продолжал:

— Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как звук Ра... Придите и делайте ваше дело...

При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми...

— Духи огня, Саламандры,— громовым уже голосом говорил Калиостро,— могущественные и своевольные, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как буква Иод. Духи огня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело...— Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении.— Делайте ваше дело согласно законам натуры, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения...

И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели, и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошли ослепительные лучи. Вспыхнули травы в медном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича.

Но она не успела окончить песни,— Алексей Алексеевич вскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы.

— Дайте мне руку,— проговорила она тонким, холодным и злым голосом.

В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как засопел Калиостро.

— Дайте же мне руку, я освобожусь,— повторила голова Прасковьи Павловны.

— Руку ей, руку дайте! — воскликнул Калиостро.

Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя рука Прасковьи Павловны и сжала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и спрыгнула на ковер.

Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вертясь и оправляя волосы, заговорила:

— Удивляюсь... Спала я, что ли?.. Что за цвет лица... И платье все помято... И фасон чудной,— жмет в груди... Ах, что-то я не могу припомнить... Забыла...— Она поднесла пальцы к глазам.— Забыла, все забыла...

Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошлась, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть.

— Вы так странно на меня смотрите,— я страшусь,— проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери.— Нам нужно объясниться.

11

Когда они вышли, Калиостро положил руки под шубою на поясницу и рассмеялся.

— Отменный получился кадавр,— проговорил он, трясясь всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха стал глядеть на Марию.— Плачете?— Она поспешно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову.— Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли? — Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением.— А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами...

Мария ответила тихо и твердо:

— Вы ответите на Страшном суде за чародейство.

Тогда Калиостро побагровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью:

— Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению.

— Над любовью моей вы все равно не властны,— поспешно ответила Мария,— не заставите вас полюбить.

— Нет, заставлю.— На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же налились кровью.— Я вас в пузырек посажу, сударыня, в кармане буду носить.

— Все равно,— повторила она,— власти над любовью нет у вас. Жива буду — другому отдам, не вам.

— На этот раз вы замолчите,— пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарычав, левой рукой ударил Маргадона в лицо,— арап зажмурился,— он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.

12

Алексей Алексеевич и то, что было подобно женщине и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Ее седой свет озарял всю широкую поляну. Отсвечивала кое-где паутина, уже протянутая пауками в густо-синей траве. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения серебристым сиянием.

Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными грудами рощи светлый шар луны, говорила не переставая...

— Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам.

Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшечками, и невыносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо, в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с большими тенями в глазных впадинах, казалось ему столь же бесплотным, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с упрямством: «Насладись же, насладись ею, ощути...» — он не мог преодолеть в себе отвращения.

Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села.

— Алексис,— прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару,— Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать — сколь приятна женщине дерзость.

Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы:

— Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать этих упреков.

— Упреки? — Она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшечками.— Упреки... Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя бы обняли меня.

Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правою рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левой взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь, с чуть проступающими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к ее лицу, стараясь уловить ее прелесть.

— Мечта моя,— сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему — поблескивающими лунными точками, прозрачными глазами.— Я, как во сне, с вами, Прасковья,— наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит.

— Обнимите покрепче,— сказала она.

Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой жадностью, что он сейчас же откинулся: омерзением, гадливостью, страхом стиснуло ему горло.

После некоторого молчания она проговорила, сладко потягиваясь:

— Мне сыро, есть хочу.

Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому, когда же услышал за собой шелест платья, прибавил шагу, даже побежал, но Прасковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке.

— Алексис, у вас претяжелый характер.

— Слушайте,— крикнул он, останавливаясь,— не лучше ли нам расстаться!..

— Нет, совсем не лучше,— она перегнулась и заглянула ему в лицо,— мне с вами приятно.

— Но вы омерзительны мне, поймите! — Он дернул руку и побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинке.

— Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша...

— Все-таки вы отвяжитесь от меня!

— Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь...

Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился в кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядела весело.

— Много, много, мой милый, придется над вами потрудиться, чтобы обуздать ваш характер... Вы себялюбец.— Она сложила веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу.— Дружок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить... А то будто вода бежит по моему телу...

Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, потянул за большую бисерную кисть звонка.

— Вам принесут еду, питье, все, что хотите,— успокойтесь.

Далеко в доме брякнул колокольчик, и послышались мягкие шаги Федосьи Ивановны.

13

Алексей Алексеевич, загораживая собой полуоткрытую дверь, сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку какой-нибудь еды. Федосья Ивановна внимательно и странно взглянула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, вошла в комнату и сейчас же увидела тощую,— как она потом рассказывала,— черноватую женщину, даже и не женщину, а моль дохлую,— стоит, вертит веером и смотрит пронзительно.

Тетушка немедленно же разинула рот и «села на ноги».

— Федоси,— пискливым голосом сказала ей та, черноватая,— не узнаешь меня, моя милая?..

Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пустую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизилась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знаменьем...

— Ну, чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень просто,— с досадою сказал Алексей Алексеевич,— эта дама — плод чародейства графа Феникса: идите и распорядитесь насчет еды...

Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, оперся локтем о притолоку и стал глядеть на полянку, залитую лунным светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, сорвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась испуганная беготня и шепот. Но он не оборачивался и с тоскливой мукой глядел на освещенные окна флигеля.

В комнате зазвенела посуда,— это Фимка накрывала столик, расставляла судки и тарелки и, втягивая голову в плечи, с ужасом все время косилась через плечо.

Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке:

— Раба, что в этом судке?

— Сморчки, матушка барыня.

— Положи.

Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв

передником рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши.

— Дурно служишь,— сказала она, принимая тарелку.— Хоть ты и девка деревенская, а служить должна жеманно.

— Буду стараться, матушка барыня.

— Приседай, говоря с госпожою! — Прасковья Павловна впилась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу.— Раба, присядь!.. Ногу правую подворачивай... На стороны, на спину не вались... Подол держи... Улыбайся... Слащавее...

Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену.

— Оставьте девку в покое,— наконец сказал он.— Фимка, убирайся.

Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением оглянулась на него, дернула плечиком:

— Алексис, мой друг, не вы, я здесь госпожа. Эту же девку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку...

Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад.

14

Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзола, шел по поляне,— росой замочило ему чулки до колен, в голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопиться? Убить ее? Убить графа? Убиться самому?.. Но мысли, вспыхнув, пресекались,— он чувствовал, что погиб; проклятое существо впилось в него, как паук, и, кто знает, какой еще страшной властью обладает оно?

— Сам, сам накликал,— бормотал он,— вызвал из небытия мечту, плод бессонной ночи... Гнусным чародейством построили ей тело. Горячечное воображение не придумает подобной пакости...

Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба... «А вдруг это только сон? Ущипну себя и проснусь в чистой постели свежим утром... Увижу лужок, гусей, простую девку с граблями...»

В тоске он замотал головой, поднял глаза. Луна высоко стояла над садом, и мглистые облачка скрадывали ее свет. С речки доносилось унылое уханье лягушек...

В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос Прасковьи Павловны, она звала: «Алексис!» Не отвечая, он только топнул ногой; идти на зов — нельзя, бежать было постыдно. Он увидал приближающиеся к нему три фигуры: Маргадона, Калиостро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно:

— Все знаю, голубчик! Я-то думала — вид рассеянный и дерзкие слова — от любовной причуды. А у вас другая на уме. Слышите, другой около себя не потерплю!.

— Ай-ай-ай! — проговорил Калиостро, приближаясь.— Я-то старался до седьмого пота, а вы, сударь, нос от нее воротите.

— Любовник перекидчивый,—взвизгнула Прасковья Павловна,— на цепь вас велю посадить в подполье.

— Нет, сударыня, на цепь его сажать не годится,— ответил Калиостро,— а вы, сударь, не упрямьтесь, домой нужно идти,— барыня спать хочет, и одной ей ложиться в кровать прискорбно.

Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем, он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал: «Мария!» Но сзади его подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и запер стеклянную дверь.

Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно пелена спала у него с глаз: он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьей Павловной наедине, он закурил трубку, сел на книжную лесенку и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозилась сгноить его на цепи, кричала, что весь дом против нее и завтра же она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет Фимке волосы, перепорет всю дворню, наведет свои порядки...

Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нее злости не убавлялось. Он слушал ее и не

слышал,— сердце его часто билось. Он решил действовать. Выколотил трубку и — встал, потянулся.

— Все это мелочи,— проговорил он, зевая,— идемте спать.

Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумленно, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднес горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнем.

— Пожар! — не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швыряя канделябр, и побежал по длинной галерее, загибающей к флигелю, где были гости.

Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий занавес. Когда в дали галереи послышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише.

15

Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развевающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой длинной рубахе и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь со стороны галереи, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию, стоявшую на пороге. Она была в белой шали, накинутой поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галереи в сад и подбежал к молодой женщине.

— Мария,— проговорил он, складывая руки на груди,— скажите одно только слово... Подождите... Если — нет, я погиб... Если — да, я жив, жив вечно... Скажите — любите вы меня?

У нее вырвался легкий короткий крик, она подняла руки, обвила ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с льющимися слезами, глядя сквозь слезы в глаза ему, проговорила взволнованно:

— Люблю вас.

И когда она сказала эти слова, с него спали чары: сердце растопилось, горячие волны крови зашумели по жилам, радостно вдохнул он воздух ночи и благоухание юного тела Марии, взял в ладони ее заплаканное лицо и поцеловал в глаза.

— Мария, бегите этой аллеей до пруда, ждите меня в беседке. Не забудьте — когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и он поднимется... Там вы будете в безопасности...

Мария кивнула головой в знак того, что все поняла, и, придерживая платье, быстро пошла по указанному направлению, обернулась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи.

Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся в дом через балконные двери.

Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, повисшую было на его руке, растолкав перепуганную челядь, он вбежал в библиотеку. Комната была полна дыма. Пять свечей второго канделябра едва-едва коптяще-красными язычками освещали разбросанные по всему полу книги из повалившегося шкафа, Маргадона, который топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле скорченное, с темными ребрами, существо, едва прикрытое лохмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, вскрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно, с воплем отчаяния и злобы, отшатнулось от устремленного на него лезвия, кинулось в глубь комнаты и исчезло за книжными шкафами.

В то же время Калиостро, загородившись креслом, делал Маргадону знаки. Эфиоп оставил топтать ковер и стал сбоку приближаться к Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился вперед с вытянутой рукою, и лезвие шпаги до половины вонзилось Маргадону в плечо. Эфиоп крякнул и, хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевича креслом и, загораживаясь предметами и бросая их, вертелся по комнате с необыкновенным для его лет и туч-

ности проворством. Алексей Алексеевич гонялся за ним, стараясь ударить шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галерею, откуда он выпрыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, задирая голые ноги, побежал к прудам.

Алексей Алексеевич настиг его лишь у мостика, ведущего к беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. Калиостро, зарычав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть его поднята,— взмахнул руками и с тяжелым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыбь по поверхности пруда, и низко над травой, с длинным свистом, полетела испуганная птичка. И снова стало тихо: ни звука ни на пруду, ни в темных древесных чащах.

Алексей Алексеевич, всматриваясь, взошел на мостик и наклонился у края разъятой его части. И вдруг у самой сваи, у воды, увидел глаза,— они медленно мигнули. Он различил поднятое лицо, щетинистый череп и торчащие уши Калиостро.

— Наверх вы все равно не подниметесь,— сказал ему Алексей Алексеевич,— свая склизкая, и я предупреждаю: если вы только опять начнете свои фокусы, я вас заколю,— вы негодяй.— Он фыркнул носом.— Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат.— Он приложил ладони ко рту и закричал: — Эй, люди, сюда! — И скоро вдали раздались голоса людей, и начали подбегать мальчишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубиной,— все были спросонок и встрепанные.

Алексей Алексеевич приказал принести веревок, связать Калиостро и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостиком, между сваями, началась возня.

— Алексей Алексеевич, он, пропасти на него нет, царапается,— кричали оттуда.

— За щеки его хватай, тяни из воды,— кричали с мостика.

Наконец Калиостро скрутили веревками и вытащили на берег. Он более не сопротивлялся и, в облипшей ру-

башке, опустив голову и постукивая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому.

Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала тихо, потом все громче, испуганнее. Она не отвечала. Он обежал пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, переехал на островок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алексеевич обхватил ее, приподнял, прислонил к себе ее бессильно клонившуюся голову и, целуя ее лицо, едва не плакал от жалости и любви к ней. Наконец он почувствовал, как ее тело стало легче, поднялась и опустилась ее грудь и светловолосая голова ее легла удобнее на его плечо. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышно:

— Не покидайте меня.

16

Пожар удалось потушить. Выгорела лишь библиотечная комната,— водою и огнем в ней попорчено было много книг и вещей,— и дотла сгорело полотно на портрете Прасковьи Павловны.

На рассвете к крыльцу подали телегу, в нее на свежее сено положили вещи гостей и посадили Маргадона,— он был совсем плох: весь серый, земляного цвета, с отвисшим ртом и с головою, закутанной в два теплых платка. Народ, стоявший у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старика,— все-таки человек подневольный, слуга, пропадает не по своей охоте. Скотница дала ему на дорогу каленое яичко. Зато, когда вывели все еще связанного Калиостро, в нахлобученном кое-как парике и в шляпе с растрепанными перьями, в накинутой поверх ночной рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали, бабы начали плеваться, а подслеповатый мужик, Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его оттащили. Калиостро сам влез в телегу, насупленный, с нависшими бровями. Мордатый парень, славившийся в деревне силой и отчаянностью, весело прыгнул на нахлестки, замотал веревочными вожжами,

сивая кобыленка влезла в хомут, и телега тронулась под свист и улюлюканье дворни.

— Федька,— закричал Алексей Алексеевич с крыльца,— повезешь их прямо в Смоленск и там сдай городничему.

— Будьте покойны, Алексей Алексеевич,— уже издали ответил Федька,— доставим в полном порядке, не впервой.

17

После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо именитых гостей. Над кроватью полуоткинули балдахин, на окнах спустили шторы, и Мария забылась сном. Так она проспала до полудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, услышала ее бормотанье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко-румяная и не переставая говорит про себя тихим голосом. У нее началась горячка и держала ее между жизнью и смертью более месяца.

Алексей Алексеевич едва не сошел с ума от беспокойства и в тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему привозили на телеге двух каких-то иностранцев, городничий их сначала арестовал, а затем с большим почетом отправил по Варшавскому шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух: либо горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое.

Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно исхудал,— его лицо возмужало, стали влажными глаза; в каштановых волосах появилась белая прядь.

Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавеси солнце протянуло длинные лучи с танцующими пылинками; билась сонная муха о стекло; Алексей Алексеевич, разлепляя веки, поглядывал на пылинки в луче, на муху.

Каминные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И вот сквозь дремоту Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то перемену во всем, заворочался, обернулся к кровати и увидел раскрытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешно морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он опустился на колени у кровати. Мария проговорила:

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? — Алексей Алексеевич, не в силах от волнения говорить, осторожно взял ее руку и прижался к ней губами.— Я давно смотрю, как вы дремлете,— продолжала Мария,— у вас такое грустное лицо, как у родного,— она опять сморщилась, но сейчас же бросила вспоминать.— Вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо...

Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и вместе с теплым и душистым воздухом сада в спальню влетел веселый шум птичьего свиста и пения. У Марии появился румянец. Улыбаясь, она слушала, и вот издалека три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза Марии налились слезами, Алексей Алексеевич наклонился к ней, она прошептала:

— Спасибо вам за все...

Вскоре она уснула крепко и надолго. Началось ее выздоровление, и с этого дня Алексей Алексеевич не проводил уже более ночей в ее спальне.

Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала только одна Федосья Ивановна: ни минуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали: Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершенно неудобных для человека положениях.

Когда однажды тетушка заговорила с ним:

— Как же ты все-таки, Алексис, прости меня за нескромность, думаешь поступить с Машенькой? К мужу ее отправишь или еще как? — он пришел в ярость:

— Мария не жена своему мужу. Ее дом здесь. А если она меня видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, подставлю грудь пулям.

Ночи он проводил скверно: его мучили кошмары, наваливались на грудь, давили горло. Он вставал поутру

разбитый и до пробуждения Марии бродил мрачный и злой по дому, но, едва только раздавался ее голос, он сразу успокаивался, шел к ней и глядел на нее запавшими сухими глазами.

Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчисленные звезды, облачным светом белел Млечный Путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетели птицы.

В одну из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели в ее спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, догорало полено. И вот, в полутьме, в глубине комнаты, из-за полога выдвинулась тень. Алексей Алексеевич, вздрогнув, всмотрелся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом:

— Я не отдам тебя... Я не отдам тебя...

В эту минуту все разделявшее их, все измышленное и сложное — разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечное, быть может, грустное — кто измерил его? — счастье живой любви.

Моему сыну
Никите Алексеевичу Толстому
с глубоким уважением посвящаю

Автор

ДЕТСТВО НИКИТЫ

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Никита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:

— Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь,— садись и поезжай.

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так:

В каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных, пахучих стружек Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего края — с носа — срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки точеные; в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе,— после этого она делалась, как зеркало, к верхней доске привязывалась веревочка — возить скамейку, и когда едешь с горы, то править.

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек: «Если, говорит, что я сказал — закон, сделаю».

Никита сел на край кровати и прислушался — в доме было тихо, никто еще, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор. А со двора — на речку. Там на крутых берегах намело сугробы,— садись и лети...

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу...

В это время дверь приотворилась, и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала:

— Встаешь, разбойник?

АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло и, когда оно стало прозрачное,— поправил очки и поглядел на двор.

— У крыльца стоит,— сказал он,— замечательная скамейка.

Никита промолчал и насупился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала.

— Хорошо спал, Никита?

Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково:

— А вы как спали, Аркадий Иванович?

— Спать-то я спал хорошо,— ответил он, улыбаясь непонятно чему, в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахару, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки.

Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо»,— значит, это нужно понимать: «А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий, а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома».

Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда, но зато Никите все время приходилось держать ухо востро.

За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях замерзла вода в кадке и когда пойдут гулять, то Никите нужно надеть башлык.

— Мама, честное слово, страшная жара,— сказал Никита.

— Прошу тебя надеть башлык.

— Щеки колет и душит, я, мама, хуже простужусь в башлыке.

Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту, голос у нее дрогнул:

— Я не знаю, в кого ты стал неслухом.

— Идем заниматься,— сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто бы на свете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.

В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол, весь в чернильных пятнах и нарисованных рожицах. Аркадий Иванович раскрыл задачник.

— Ну-с,— сказал он бодро,— на чем остановились? — И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.

«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна...» — прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, предста-

вился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лавочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куска сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и глядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту.

— Ну, что же ты думаешь, Никита? — спросил Аркадий Иванович.— Всего купец продал восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?

Никита сморщился, купец совсем расплющился, оба куска сукна вошли в стену, завернулись пылью...

Аркадий Иванович сказал: «Ай-ай!» — и начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножения — «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумаги в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А солнце искрилось в двух морозных окошках классной, выманивало: «Пойдем на речку».

Наконец с арифметикой было покончено, начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым, сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать:

— «...Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен...»

Высунув кончик языка, Никита писал, перо скрипело и брызгало.

Вдруг в доме хлопнула дверь и послышалось, как по коридору идут в мерзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку:

— Что, почту привезли?

Никита совсем опустил голову в тетрадку,— так и подмывало засмеяться.

— Послушен и прилежен,— повторил он нараспев,— «прилежен» я написал.

Аркадий Иванович поправил очки.

— Итак, все животные, какие есть на земле, послуш-

ны и прилежны... Чего ты смеешься?.. Кляксу посадил?.. Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв.

Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки:

— Александра Леонтьевна, что — письмеца мне нет?

Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел короткий полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо.

СУГРОБЫ

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем глубокие человечьи и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сараи и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стеклянные, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбежал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел — сделано прочно, попробовал — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем,— каждая веточка была точно из снега.

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам, в тех же местах, где снег был нетронутый, чистый,— Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу.

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс — и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налево, над самой кручей, чернели

избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие высокие дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели — мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг, там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то невдалеке, на снежном поле, увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая,— снег так и резался лопатой. Вырыв пещерку, Никита влез в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладываться комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет,— было уютно и приятно.

Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезывать на верхней доске имя — «Вевит».

— Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

— Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

— Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал, Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

— Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары... Впрочем, прощай, я ухожу...

— Какое письмо? — спросил Никита.

— Ага! Значит, ты все-таки здесь.

— Скажите, от кого письмо?

— Письмо насчет приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки высунулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся.

ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО

За обедом матушка прочла, наконец, это письмо. Оно было от отца.

— «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили.— При этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать.— Вещь эта довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводу. А вот и еще новость,— на праздники к нам собирается Анна Аполлосовна Бабкина с детьми...»

— Дальше не интересно,— сказала матушка и на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой:

— Ничего не знаю.

Аркадий Иванович тоже молчал, разводил руками: «Ничего не знаю». Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал невпопад и нет-нет — да и вытаскивал из кармана какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайна.

В сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три

раза. Через минуту появился его главный приятель, Мишка Коряшонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутом полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из города.

Мишка Коряшонок, постукивая зубами от холода, сказал:

— Непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза. Я побегу, холодно. Слушай-ка,— завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?

— Ладно.

Никита вернулся домой и сел читать «Всадника без головы».

За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович. За большою печью — тр-тр, тр-тр — пилил деревяшечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица.

Всадник без головы мчался по прерии, хлестала высокая трава, всходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся — за черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги:

— Ветер поднялся к ночи, будет буран.

СОН

Никита увидел сон,— он снился ему уже несколько раз, все один и тот же.

Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна — большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит:

Вот напротив, у белой, как мел, стены, качается круглый маятник в высоком футляре часов, качается, отсвечивает лунным светом. Над часами, на стене, в раме висит строгий старичок с трубкой, сбоку от него — старушка, в чепце и шали, и смотрит, поджав гу-

бы. От часов до угла, вдоль стены, вытянули руки, присели, на четырех ногах каждое, широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся.

Из-под дивана, из-под бахромы, вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресла, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой.

Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевельнуть,— не шевелится,— и страшно, страшно,— вот-вот будет беда...

Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает,— если тронет он лапой — маятник остановится, и в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и, как пыль, исчезнет, не станет ни зала, ни лунного света.

От страха у Никиты звенят в голове острые стеклышечки, сыплется песок мурашками по всему телу... Собрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол! И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате — два морозные окна, сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. На полу стоит горшок, валяются сапоги.

«Господи, слава тебе, господи!» — Никита наспех перекрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами.

Но не успел он зажмурить глаза, видит — опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрят старичок со старушкой. И опять из-под дивана вылезает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полетел, не

то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Близко у самого носа был виден лепной карниз, на нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте, потом — старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами.

Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. На верху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке, на дне, лежало что-то — не рассмотреть. И вдруг Никите точно сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит».

Никита подлетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза.

Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил:

— Вставай, вставай, девять часов.

Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки.

— Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем.

— Почему?

— Потому, что потому оканчивается на у. Две недели можешь бегать, высуня язык. Вставай.

Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу:

— Рождественские каникулы! — Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие две недели. Приплясывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое: именно — свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».

СТАРЫЙ ДОМ

На Никиту свалилось четырнадцать его собственных дней,— делай, что хочешь. Стало даже скучно немного.

За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья тюрю и так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное, во весь самовар, уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку,— что-нибудь ковырять.

Матушка, наконец, сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле».

Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было пять летних, наполовину пустых комнат, с залом посредине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю, хрустальные люстры висели, окутанные марлей, на полу в зале лежала куча яблок,— гниловатый сладкий запах их наполнял всю летнюю половину.

Никита с трудом приоткрыл дубовую двустворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на черта. Никита постучал пальцем в стекло, ворона шарахнулась боком и полетела, сбивая крыльями снег с ветвей.

Никита дошел до крайней угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкафы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и

рукою в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами.

Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее подолгу. Из-за нее,— он не раз это слышал от матери,— с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же над книжным шкафом,— тощий востроносый старичок с запавшими глазами; рукою в перстнях он придерживал на груди халат; сбоку лежали полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок.

Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал,— гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали в трещотки, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеда были совсем плачевны.

Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду,— искали целую неделю, так он и пропал. А спустя лет пять его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо: «Искал покоя в мудрости, нашел забвение среди природы».

Причиною всех этих странных явлений была дама в амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением.

За окном опять появилась ворона, осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор.

У КОЛОДЦА

Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и истоптанный, Никита нашел Мишку Коряшонка. Мишка сидел на краю колодца и

макал в воду кончик голицы — кожаной рукавицы, надетой на руку.

Никита спросил, зачем он это делает. Мишка Коряшонок ответил:

— Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет,— страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?

— А когда?

— Вот пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори.

— Мама отпустила, только не велела драться.

— Как не велела драться? А если на тебя наскочат? Знаешь, кто на тебя наскочит,— Степка Карнаушкин. Он тебе даст, ты — брык.

— Ну, со Степкой-то я справлюсь,— сказал Никита,— я его на один мизинец пущу.— И он показал Мишке палец.

Коряшонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом:

— У Степки Карнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой, там ему кулак заговаривали, лопни глаза — не вру.

Никита задумался,— конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет — трус.

— А как же ему кулак заговаривали? — спросил он.

Мишка опять сплюнул:

— Пустое дело. Перво-наперво возьми сажи и руки вымажи и три раза скажи: «Тани-бани, что под нами под железными столбами?» Вот тебе и все...

Никита с большим уважением глядел на Коряшонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы,— стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочками тонкий ледок, пили и кашляли. Баран, грязный и длинношерстый, уставился на Мишку белыми, пегими глазами, топнул ножкой, Мишка сказал ему: «Бездельник»,— и баран бросился на него, но Мишка успел перескочить через колоду.

Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял:

— Саааами безде-е-е-ельники.

Когда Никиту с черного крыльца стали кричать — идти обедать, Мишка Коряшонок сказал:

— Смотри, не обмани, пойдем на деревню-то.

БИТВА

Никита и Мишка Коряшонок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой»,— со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.

— Смотри, никому про это не говори,— сказал Мишка,— мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю — огромаднеющая, целый день будет гореть.

Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню.

В эту зиму нанесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш.

Избенку бобыля, дурачка Савоськи, завалило совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня Савоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттаскали за виски — за глупость.

На деревне было пусто и тихо, из труб кое-где курился дымок. Невысоко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне,— до того был силен и сердит, и в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородищу Артамона,— он сидел у стола и хлебал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, Артамоновы сыновья: Семка, Ленька и Артамошка-меньшой.

Мишка, подойдя к избе, свистнул, Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подпоясывая кушаками полушубки.

— Эх, вы,— сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо,— эх, вы — девчонки... Дома сидите,— забоялись.

— Ничего мы не боимся,— ответил один из конопатых, Семка.

— Тятька не велит валенки трепать,— сказал Ленька.

— Давеча я ходил, кричал кончанским, они не обижаются,— сказал Артамошка-меньшой.

Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно:

— Идем дражнить. Мы им покажем.

Конопатые ответили: «ладно», и все вместе полезли на большой сугроб, лежавший поперек улицы,— отсюда за Артамоновой избой начинался другой конец деревни.

Никита думал, что на кончанской стороне кишмякишит мальчишками, но там было пусто и тихо, только две девочки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатились через улицу мимо амбарушки и — дальше по крутому берегу на речной лед.

Мишка, а за ним конопатые мальчики и Никита начали кричать с сугроба:

— Эй, кончанские!

— Вот мы вас!

— Попрятались, боятся!

— Выходите, мы вас побьем!

— Выходите на одну руку, эй, кончанские! — кричал Мишка, хлопая рукавицами.

На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать:

— Очень вас боимся!

— Сейчас испугались!

— Лягушки, лягушата, ква-ква!

С этой стороны на сугроб влезли товарищи — Алешка, Нил, Ванька Черные Уши, Петрушка — бобылев племянник и еще совсем маленький мальчик с большим животом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчиков пять-шесть. Они кричали:

— Эй, вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!

— Кузнецы косоглазые, мышь подковали! — кричал с этой стороны Мишка Коряшонок.

— Лягушки, лягушата!

Набралось с обеих сторон до сорока мальчишек. Но начинать — не начинали, было боязно. Кидались снегом, показывали носы. С той стороны кричали: «Лягушки, лягушата!», с этой: «Кузнецы косоглазые!» То и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста, широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, с развальцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул:

— Лягушата, выходи, один на один!

Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком.

Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли насупясь. Алеша и Ванька Черные Уши подались назад, маленький мальчик в мамином платке таращил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать реву, Мишка Коряшонок ворчал, оттягивая кушак под живот:

— Не таких укладывал, тоже — невидаль. Начинать неохота, а то — рассержусь, я ему так дам — шапка на две сажени взовьется.

Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим:

— Вали, ребята!

И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба.

Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька Черные Уши и, наконец, все мальчики, побежал и Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел.

Наши пробежали Артамонов двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и пять наших,— кто упал, кто лег сам со страха,— лежачего бить было нельзя.

Никите стало,— хоть плачь,— обидно и стыдно: струсили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, большеротого, с вихром из-под бараньей шапки.

Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку и сел в снег.

— Эх, ты,— сказал он,— будя...

Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту, с криком: «Наша берет!» — всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побежали. Их гнали дворов пять, покуда все они не полегли.

Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Карнаушкин. Никита подошел, Степка глядел на него исподлобья.

— Ты здорово мне дал,— сказал он,— хочешь дружиться?

— Конечно, хочу,— поспешно ответил Никита.

Мальчики, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал:

— Давай поменяемся.

— Давай.

Никита подумал, что бы отдать ему самое лучшее,

и дал Степке перочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку — бабку, налитую свинцом:

— На. Не потеряй, дорого стоит.

ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР

Вечером Никита рассматривал картинки в «Ниве» и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало.

Вот нарисовано: стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками; в волосах у нее — цветы, на плече и у ног — голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами.

Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять — для чего она нарисована. В объяснении сказано:

«Кто из вас не видал домашних голубей, этих истинных друзей человека? (Далее про голубей Никита пропустил.) Кто поутру не любил бросать зернышки этим птицам? Талантливый немецкий художник, Ганс Вурст, изобразил один из таких моментов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите — один сел на ее плечо, другие клюют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любуется украдкой на эту картину».

Никите представилось, что эта Эльза покормит, покормит голубей и делать ей больше нечего — скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнатке — сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит, да так и пойдет, оскалясь, по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое и свет солнца — серый.

Никита помуслил карандаш и нарисовал дочери пастора усы.

Следующая картинка изображала вид города Бузулука: верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке — дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи.

Никита зевнул, закрыл «Ниву» и, подпершись, стал слушать.

Наверху, на чердаке, посвистывало, подвывало протяжно. Вот затянуло басом — «ууууууууууу»,— тянет, хмурится, надув губы. Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилось в бас и надуло губы.

Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору,— должно быть, истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики.

Матушка склонила голову над книгой, волосы у нее пепельные, тонкие и вьются на виске, где родинка, как просяное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка — в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф, все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное: читать такую книжку — точно кирпич тереть.

На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж — Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выспавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы.

Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот, на чердаке, старался, насвистывал: «юу-юу-юу-юу-ю».

— Мама, кто это свистит? — спросил Никита.

Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линовавший тетрадку, немедленно, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой:

— Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употреблять местоимение что.

«Бууууууууу»,— гудело на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Еж, проснувшись, задышал носом сердито.

Тогда Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями,

валяются старые, продранные, с оголенными пружинами стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице, у печной трубы, сидит «Ветер»: мохнатый, весь в пыли, в паутине. Сидит смирно и, подперев щеки, воет: «Скуууучно». Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и воет.

Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову:

— Не пора ли тебе спать, мальчик?

— Нет, еще полчасика, пожалуйста.

Никита прислонился головой к матушкину плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька,— хвост кверху, весь вид — кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки:

— По какому делу явился, Василий Васильевич?

Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными, с узкой щелью, притворными глазами и мяукнул громче. Еж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать.

Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Ахилка, хрюкнув, покатился с колен.

Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул:

— Приехали!

— Боже мой! — проговорила матушка взволнованно.— Неужели это Анна Аполлосовна?.. В такой буран...

Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик, с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместо усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову

на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое.

Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом:

— Александра Леонтьевна, принимай гостей,— и, подняв руки, начала раскутывать платок.— Не подходи, не подходи, застужу. Ну и дороги у вас, должна я сказать — прескверные... У самого дома в какие-то кусты заехали.

Это была матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел исподлобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор,— из-под него сейчас же рассыпались светлые, золотистые волосы,— и поцеловала ее.

— Лилечка, приехали.

Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь.

ВИКТОР И ЛИЛЯ

Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь глядели друг на друга.

— Я тебя помню,— сказал Никита.

— И я тебя отлично помню,— сейчас же ответил Виктор,— ты у нас в Самаре был один раз, ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали.

— Ну, этого что-то не помню.

— А я помню.

Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно:

— У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил ученьем. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса.

Виктор усмехнулся.

— Я учусь в гимназии, во втором классе. Вот у нас так строго: меня постоянно без обеда оставляют.

— Ну, это что,— сказал Никита.

— Нет, это тебе не что. Хотя я могу тысячу дней ничего не есть.

— Эх,— сказал Никита.— Ты пробовал?

— Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет.

Никита зевнул, потянулся:

— А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил.

— Это кто Степка Карнаушкин?

— Первый силач. Я ему как дал, он — брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне — свинчатку,— я тебе потом покажу.

Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться.

— А я одной рукой Макарова словарь поднимаю,— дрожащим от досады голосом проговорил Виктор, но было ясно, что он уже сдается. Никита подошел к изразцовой печи с лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и спрыгнул на одной ноге на пол.

— Если быстро, быстро перебирать ногами,— можно летать,— сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору.

— Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают.

Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидели матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка, лет девяти, сестра Виктора, Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполлосовна гудела басом: «Дайте мне полотенце».

Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки.

Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно:

— Здравствуйте, мальчик.

Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась.

Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза — синие и

ярче ленты, а длинные ресницы — как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, согнувшись над чашкой,— тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо, тогда томным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шепотом:

— Тебе нравится моя сестра?

Никита не ответил и залился румянцем.

— Ты с ней осторожнее,— прошептал Виктор,— девчонка постоянно матери жалуется.

Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, не спеша слезла со стула и, подойдя к Александре Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно:

— Благодарю вас, тетя Саша.

Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное коричневое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иголками и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локона и между ними двигающийся кончик чуть-чуть высунутого языка,— им Лиля помогает себе шить.

У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы, а матушка сказала:

— Дети, идите шуметь на двор.

Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. В саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскалясь и захлебываясь, очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицей, тогда они, кашляя от злобы, вставали на дыбки и дра-

лись так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того чтобы караулить дом, спали под каретником.

— Что же мы будем делать? — спросил Виктор.

Никита глядел на косматую недовольную ворону, летевшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было, непонятно почему, грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал:

— Эх ты, я вижу, тебе с девчонками только играть.

— Почему? — спросил Никита краснея.

— Да уж потому, сам знаешь, почему.

— Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу.

Мальчики пошли к колодцу, куда из отворенных ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка Коряшонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал:

— Баян, Баян, берегись, Никита!

Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами.

«Му-у»,— отрывисто замычал Баян и ударил хвостом себя по боку.

— Виктор, беги! — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому.

Бык рысью тронулся за мальчиками. «Му-ууу!»

Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде:

— Пошел, пошел!

Бык стал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка Коряшонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно — третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг

улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул:

— Виктор, идем с гор кататься, скорее!

Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и «бесясь», Никита краешком мыслей думал:

«Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна,— оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь».

ЕЛОЧНАЯ КОРОБОЧКА

За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя, если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Аполлосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стекляшки под лампой.

— Нет и нет, Александра Леонтьевна,— гудела она,— учи сына дома. В гимназии такие безобразные беспорядки, что взяла бы директора своими руками да и выгнала за дверь... Виктор,— вдруг воскликнула она,— нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых, ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей,— олухи царя небесного. Один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?

— Синичкин.

— А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову... Виктор, как ты держишь вилку и нож?.. Не чавкай... Придвинься ближе к столу... Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотела сказать тебе?.. Да: привезла я целый чемодан разной дребедени для елки... Завтра надо заставить детей клеить.

— А по-моему,— сказала матушка,— надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем.

— Ну, делайте, как хотите. А я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед.

Анна Аполлосовна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма, но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон.

С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так: из углового шкафчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки две холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась кашица. Тогда матушка налила в кашицу из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой, крахмал стал прозрачный, как желе,— получился отличный клей.

Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги, бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька,— с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопушками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными слюдяными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга.

— Там еще есть хорошие вещи,— сказала матушка, опуская руки в чемодан,— но их мы пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить.

Виктор взялся клеить цепи, Никита — фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом:

— Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?

— Клей, милая, что хочешь.

Дети начали работать молча, дыша носами, выти-

рая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили,— она сама это видела,— настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.

Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин десять разноцветных цепей на стульях.

— Что вы клеите? — спросил Никита.

Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.

— Вам для чего эта коробочка? — вполголоса спросил Никита.

— Это коробочка для кукольных перчаток,— ответила Лиля серьезно,— вы мальчик, вы этого не поймете.— Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами.

Он начал краснеть все гуще и жарче и, наконец, побагровел.

— Какой вы красный,— сказала Лиля,— как свекла.

И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом, так, точно теперь между ними была какая-то тайна и они об ней говорили:

— Вам нравится эта коробочка?

Никита ответил:

— Да. Нравится.

— Мне она тоже очень нравится,— проговорила она и покачала головой, отчего закачались у нее и бант и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это вре-

мя подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой:

— Какая коробочка, где коробочка?.. Ну, ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю.

— Виктор, я, честное слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь клеить,— проговорила Лиля дрожащим голосом. Взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола.

Виктор подмигнул Никите.

— Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее: ябеда.

Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом:

— Виктор, ты спишь?

— Нет еще... Не знаю... А что?

— Слушай, Виктор... Я должен тебе сказать страшную тайну... Виктор... Да ты не спи... Виктор, слушай...

— Угум — фюю,— ответил Виктор.

ТО, ЧТО БЫЛО ПРИВЕЗЕНО НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДВОДЕ

Еще на рассвете, сквозь сон, Никита слышал, как по дому мешали в печах и хлопала в конце дверь,— это истопник вносил вязанки дров и кизяку.

Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное.

Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал,— куда? — и побежал к Аркадию Ивановичу.

Аркадий Иванович только еще проснулся и, лежа, читал все то же самое, тридцать раз им читанное, письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал:

— Необыкновенный случай! Встал раньше всех!

— Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший.

— День, братец ты мой, замечательный.

— Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить,— Никита поковырял пальцем притолоку,— вам очень нравятся Бабкины?

— Кто именно из Бабкиных?

— Дети.

— Так, так... А кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?

Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор.

Над людской, над баней в овраге и дальше за белым полем надо всей деревней стояли столбами синие дымы. За ночь на деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокори над прудом совсем свесили снежные ветви, отчетливо видные на сине-мерзлом небе. Снег сиял и хрустел. Щипало в носу, и слипались ресницы.

У крыльца на слегка дымившейся куче золы Шарок и Каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, прямиком через двор к Никите шел Мишка Коряшонок с дубинкой,— собирался гонять котяши на льду. А на дороге в это время правее деревни появились воза. Один за другим они выползли из овражка и плелись, низкие и темные на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине.

Мишка Коряшонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал:

— Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли.

Воза шли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей.

Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Весте. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были в инее. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным, крепким голосом крикнул задним возам:

— Эй, заворачивай к амбарам. Слухай! Последний воз к дому.

Всего в обозе было шестнадцать саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским пóтом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял над обозом.

Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленое, с длинной красной полосой. У Никиты забилось сердце. На санях, с припряжёнными сзади вторыми салазками, лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саней торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце.

Так вот что был за подарок, обещанный в таинственном письме.

ЕЛКА

В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево, наконец, подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слежавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распушились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесть клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой дети просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола.

Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные защипочки. Когда все было готово, матушка сказала:

— А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать.

В этот день обедали поздно и наспех,— дети ели только сладкое — шарлотку. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали —

скоро ли настанет вечер? Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и коробом стоявшую накрахмаленную рубашку, не знал, что ему делать,— ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери.

Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилалось мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела идти одеваться. Никита нашел у себя на постели синюю шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой поясок с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригладила ему гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Неужели это был он?

— Ах, Никита, Никита,— проговорила матушка, целуя его в голову,— если бы ты всегда был таким мальчиком.

Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, и шесть пышных локонов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.

— Ты что думал — это привидение,— сказала она,— чего испугался? — и прошла в кабинет и села там с ногами на диван.

Никита тоже вошел за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкафами.

Лиля сидела не двигаясь. Было чудесно, когда светом печи освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать.

Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом, в гостиной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разворачивали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались вполголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой.

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни. Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиля проговорила тоненьким голосом:

— Звезда взошла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчики и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги
Не нашли пути, дороги...

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи, в синих глазах ее, в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли не двигаясь.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчиков и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развевались. Бегая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лилю, Виктора, и, наконец, все дети закружились хороводом вокруг елки.

Уж я золото хороню, хороню,
Уж я серебро хороню, хороню...—

запели деревенские.

Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее, в ней оказался колпак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопушечным порохом, зашуршали колпаки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, посматривая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчиков и девочек, завернутые в разноцветные платки. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился,— устроил цепь и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятишек, побежал обходом через коридор в столовую.

В прихожей Лиля оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лиля спросила:

— Ты чего смеешься?

— Это ты смеешься,— ответил Никита.

— А ты чего на меня смотришь?

Никита покраснел, но пододвинулся ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой:

— Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет.— Повернулась и убежала в столовую.

После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем маленький маль-

чик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал громко плакать.

Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз.

Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в неимоверную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

НЕУДАЧА ВИКТОРА

Виктор подружился в эти дни с Мишкой Коряшонком и ходил с ним на нижний пруд зажигать «кошки». Одну «кошку» они запалили такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве, за прудом, они построили крепость — башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмо.

«Вы, кончанские, кузнецы косоглазые, мышь подковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дожидаемся в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин».

Письмо это прибили к палке, Мишка Коряшонок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленька и Артамошка-меньшой, Алешка, Ванька Черные Уши и Петрушка, бобылев племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским, кидали на их сторону котяши и потом пошли с Мишкой Коряшонком и сели с ним в крепость.

Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать.

Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы:

— Никто к вам не придет, крепость ваша никуда не годится, я с вами играть не буду, пойду домой.

— С девчонкой связался,— крикнул ему Виктор со стены,— кавалер!

Артамоновы сыновья громко засмеялись, Ванька Черные Уши засвистал в согнутый палец.

Никита сказал:

— Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью, рук не стоит марать,— показал Виктору язык и пошел через пруд к дому.

Вслед ему полетели комья снегу,— он даже не обернулся.

В крепости ждали недолго: из-за занесенных ометов, со стороны деревни, показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек пятнадцать.

Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости, иные сели на снег. Приплелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степка Карнаушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал:

— Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши снегом натрем...

Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в него глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Карнаушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька Черные Уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завыли, завизжали, засвистали, пошли на приступ...

Стена была проломлена, защитники крепости побежали через камыши по льду пруда.

Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила:

— Мамочка, дайте мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы, Валентины, разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье.

Никита остановился и снова, как во все дни, почувствовал счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек.

Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были как из зачарованного царства,— оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке.

Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение:

Уж ты лес, ты мой лес,
Ты волшебный мой лес,
Полный птиц и зверей
И веселых дикарей...
Я люблю тебя, лес...
Так люблю тебя, лес...

Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю.

Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в восемь раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стишок.

В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна Аполлосовна всплеснула руками:

— Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту.

— Ни с кем я не дрался, просто нос сам распух,— мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать.

К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголочкой, несколько звезд. Никита сказал:

— Хочешь, я тебе один стишок прочту, про лес?

Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати:

— Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи,— пусть он мне лучше не попадается.

— Знаешь,— сказал Никита,— в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидать, но все про него знают... Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь что, но хорошее,— проснешься и никак не можешь вспомнить... Понимаешь?

— Нет, не понимаю,— ответил Виктор,— и стихов твоих не хочу слушать.

Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горящей печью, против печи, на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь.

Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода.

— Давайте с вами разговаривать,— задумчиво проговорила Лиля,— расскажите мне что-нибудь интересное.

— Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?

— Да, про сон расскажите, пожалуйста.

Никита начал рассказывать сон про кота, про оживrшие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс.

Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему, глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом:

— Что же было в вазочке?

— Не знаю.

— Наверное, там было что-нибудь интересное.

— Но ведь это я во сне видел.

— Ах, все равно,— надо было посмотреть. Вы — мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?

— Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у дедушки стоят, сломанные.

— Пойдемте посмотрим.

— Там темно.

— Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста.

Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую.

Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запушены окна, на них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Никита, вы ничего не боитесь?

Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам.

На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу — диван раскорякой. У Никиты закружилась голова,— точно такою он уже видел однажды эту комнату.

— Они смотрят,— прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене—на старичка и старушку.

Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкафов и золото на переплетах. Над очагом, вся в свету, глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно.

— Кто это? — спросила Лиля, придвигаясь к Никите.

Он ответил шепотом:

— Это она.

Лиля кивнула головой и вдруг, оглядываясь, вскрикнула:

— Вазочка, смотрите же, Никита, вазочка!

Действительно,— в глубине кабинета, на верху старинных, красного дерева, часов с неподвижным диском маятника стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка со львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал: это была вазочка из его сна.

Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на цыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.

— Нашел! — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и спрыгнул на пол.

В это время из-за шкафа фыркнуло на него,— блеснули лиловые глаза, выскочил кот, Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке.

Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита,— точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно. Перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала:

— Ну?

Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками.

— Колечко!

— Это волшебное,— сказал Никита.

— Слушайте, что мы с ним будем делать?

Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала:

— Нет, почему же мне,— посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его.

Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил:

— Это тоже вам,— вытащил из кармана смятую, сложенную в восемь раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле.

Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво:

— Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Анной Аполлосовной и пожимала плечами. Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так, будто режьте его,— он все равно не скажет ни слова. Анна Аполлосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую руку, ладонью вниз, и сказала густым голосом:

— Нет, и нет, и нет, мать моя, Александра Леонтьевна. Я сказала,— значит, ножом отрезано; хорошенького понемножку. Вот что, дети,— она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился,— завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра чуть свет мы уезжаем.

Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застлало глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича.

Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуря глаза. Коту

было не скучно и не весело, торопиться некуда,— «завтра,— думал он,— у вас, у людей,— будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался,— мне и завтра будет хорошо».

Виктор и Лиля кончили пить чай. Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой. Анна Аполлосовна крикнула вдогонку:

— Виктор!

— Что, мама?

— Как ты идешь!

— А что?

— Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь — вот она. Выпрямись... На что ты будешь годен в жизни, не понимаю!

Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал:

— Вы летом к нам приедете?

— Это зависит от моей мамы,— тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз.

— Будете мне писать?

— Да, я вам буду писать письма, Никита.

— Ну, прощайте.

— Прощайте, Никита.

Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь; пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный характер»,— как говорила про нее Анна Аполлосовна.

Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик,— Никита не сказал ни слова; быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает.

Ему казалось, что всему на свете — конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь

не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов. «А, ты все еще спишь»,— крикнула она громовым голосом.

Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и похлопывал себя по кончику носа карандашом.

— Вставай, вставай, разбойник.

РАЗЛУКА

В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо.

«...Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша,— выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами...»

Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила:

— Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей; всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца.

Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трещали деревья и громко, так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых воробьев. Матушка легонько вытерла глаза платком.

— Да, разлука, разлука,— проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке,— его рука потянулась в карман за письмом.

Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки,— сегодня с матушкой было долгое объяснение, она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером вместо глупых картинок,— сказала она,— будешь у меня рисовать Южную Америку».

Никита рисовал Америку и думал,— неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца — темная борода на две стороны, громкий похохатывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься,— говорил он матушке, смеявшейся до слез над этими рассказами,— а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, покуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти, и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон — никакого виду». Матушка только расплакалась; за эти три месяца не заплачено до сих пор жалованья Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы... От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка — улучшать сель-

ское хозяйство,— тоже беда: выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит: «Черти окаянные, осторожнее!»

По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца:

— Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?

— А что?— отец барабанит в окно пальцами.— Великолепная машина.

— Я видела,— она стоит в сарае.

Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко:

— Она уже сломана?

— Эти болваны американцы,— фыркнув, говорит отец,— выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем.

Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна,— матушка напрасно сказала, что он его забыл.

Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязанье. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что читает, на самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича: бедняк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской учительнице. Вот она, разлука-то!

Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лиля, и сейчас ее нет. Какая грусть,— была, и нет. А вот — пятно на столе, где она пролила гуммиарабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. «Пролетели счастливые дни». У Никиты защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой: «Пролетели счастливые дни» — и, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону,— через Парагвай и Уругвай к Огненной Земле.

— Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы: этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию

Безенчук,— спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделывает с картой Никита.

БУДНИ

Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало иней с деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому иззябшие и голодные волки, в одиночку и по двое, подходили по ночам к самой усадьбе.

Чуя волчий дух, Шарок и Каток от тоски начинали скулить, подвывать, лезли под каретник и выли оттуда тонкими, тошными голосами — у-у-у-у-у...

Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу,— выше, выше, пронзительнее...

От этих волчьих воплей Шарок и Каток зарывались мордой в солому, лежали без чувств под каретником. На людской плотник Пахом ворочался на печи под овчинным тулупом и бормотал спросонок:

— О господи, господи, грехи наши тяжкие.

В доме были будни. Вставали все очень рано, когда за синевато-черными окнами проступали и разливались пунцовые полосы утренней зари и пушистые стекла светлели понемногу, синели вверху.

В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки,— кривобокенькая, рябенькая Соня, с выщербленным от постоянного перегрызания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем вполголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья

была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкафом,— ее нашли, почистили немного и посадили шить.

Аркадий Иванович за эти дни craned на занятия и сделал,— как он любил выражаться,— скачок: начал проходить алгебру — предмет в высшей степени сухой.

Уча арифметику, по крайней мере можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавленных, с дохлыми мышами бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то, в клеенчатом сюртуке, с длинным носом, вечным «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем, да, когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин.

Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиною к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая бородка и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в Суассоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью.

— Ты должен себе усвоить,— говорил он Никите,— что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано, они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот,— он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем,— до сих пор они служат нам примером...

После обеда. обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу:

— Если сегодня опять двадцать градусов — Никита гулять не пойдет.

Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник.

— Двадцать один с половиной, Александра Леонтьевна.

— Ну, вот, я так и знала,— говорила матушка,— поди, Никита, займись чем-нибудь.

Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван, поближе к печке, и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера.

В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера; потом, насупившись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад и над ним — предводителя гуронов — индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях гигантского дерева, на камне сидит он сам — Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь — в поисках Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилю на бешеном мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте; Никита похищал и спасал и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю.

Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой Коряшонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты — в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.

Никита подходил к колодцу и вспоминал: вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток раскопали под снегом дохлую галку,— это была та самая галка: присев около нее, Лиля гово-

рила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите — мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребицу и закопал в сугробе.

Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать,— какое было счастье. А сейчас: колючий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках,— Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом.

Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле,— пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба порошило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню.

Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и «закатить ему», как очень неумно выразился Аркадий Иванович,— касторки.

Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели: сильный сырой ветер, с с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками.

ГРАЧИ

В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Коряшонок, Лекся-подпасок и Артем — огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бобыль, безлошадный, весь век

в батраках, и все хотел жениться, а девки за него не шли. На днях от стал приглядываться к Дуняше, румяной красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на погребицу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от нее всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то казалось, — на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был,— вез ли с гумна мякину, или чистил овцам ясли,— завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся:

— Здравствуй, Дуня.

— Здравствуй.— Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот.

— Все насчет молока бегаешь, Дуня?

Тогда Дуняша приседала,— сил не было, смешно,— подхватывала ведра и по обледенелой тропке в снегу летела на погребицу, бухала ведра на пол, говорила скороговоркой ключнице Василисе: «Верблюд опять просит, чтобы за него замуж идти, вот, матушки мои, умру!»— и так звонко смеялась,— по всему двору было слышно.

Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов, хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снегу. У печи на лавке сидел Пахом, черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище: осторожно шилом протыкал кожу, отнеся голову, щурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы, протыкал и, зажав голенище между колен, тянул дратву за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей,— очень был сердит: сегодня поругался со стряпухой,— она повесила сушить и прожгла его портянки.

У стола сидели игроки в чистых, по воскресному делу, рубашках, с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесаный: некому за ним было присмотреть, простирать рубашки.

Игроки сильно щелкали липкими, пахучими картами, приговаривая:

— Замирил, да под тебя — десять.

— Замирил, да под тебя еще полсотни.

— А вот это видел?

— А ты это видел?

— Хлюст.

— Эх!

— Ну, Артем, держись!

— Как так я держись? — говорил Артем, удивленно глядя в карты.— Неправильно, ошибка.

— Подставляй нос.

Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза.

Василий, рабочий, тремя картами начинал бить с оттяжкой по Артемину длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы, сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался.

Никита сел играть и сейчас же проиграл,— ему всыпали пятнадцать носов. В это время Пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово:

— Иные бы уж от обедни вернулись, а эти,— лба не перекрестили,— в карты. Только и глядят скоромное жрать... Степанида,— закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику,— собирай обедать!

На кухне Степанида, стряпуха, с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол, к бумажной, в тараканьих следах, иконке, стал креститься.

Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами; от них, застилая отвороченное лицо стряпухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов.

Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи, на лавку. Стряпуха принесла ему горячей картошки и деревянную солоницу. Он ел постное.

— Портянки,— сказал ей Пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль,— портянки сожгла, опять-таки ты баба, опять-таки — дура. Вот что...

Никита вышел на двор. День был мглистый. Дул мокрый, тяжелый ветер. На сером, крупичатом, как соль, снегу желтел проступивший навоз. Навозная, в лужах, заворачивающая к плотине, санная дорога была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашеный дом — все это было серое, черное, четкое.

Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.

Никита стоял, задрав голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном,— у Никиты захватывало дыхание, билось сердце.

Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.

ДОМИК НА КОЛЕСАХ

Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголилась черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона,— лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клети, рядом с конюшней. Без тол-

ку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребицей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тревожным шумом. Над плотиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.

У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими,— стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться,— непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.

Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.

Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.

Никита подошел к стоящей невдалеке от гумна, в поле, плугарской будке — дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвисты-

вал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете — мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы,— один на всем свете, в пустой будке...

— Господи,— проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки,— дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича... Чтобы вышло солнце, выросла трава... Чтобы не кричали грачи так страшно... Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян... Господи, дай, чтобы мне было опять легко...

Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа,— ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.

Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни,— внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:

— Ну, что, набегался? Хочешь чаю?

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА

Ночью, наконец, хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал улыбаясь.

Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи»,— торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополя перед домом.

Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо»,— думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.

К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул

в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.

За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.

— Пятый день нет почты,— сказала она Аркадию Ивановичу,— я ничего не понимаю... Вот — дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели... Такое легкомыслие, ужасно!

Никита понял, что матушка говорила про отца,— его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком,— нельзя ли послать за почтой верхового? — но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:

— Господа, что делается!.. Идите слушать,— воды шумят.

Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канавам и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.

Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи, синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми, без дна, лужи на дворе, обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях и текущие овраги снопами света отразили солнце.

— Боже, какой воздух,— проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете.

Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупичатые сугробы,— они ухали и садились под ногами. Куда ни сунься,— всюду вода: усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провядшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, текла снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился.

Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега: это называлось «наслус»,— не дай бог попасть с лошадью в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды: вот хорошо бы поплыть по этим вешним водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра.

На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачиваясь, что-то, видимо, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки, за оврагами. Это было очень странно,— скачущие без дороги по полой воде мужики.

Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели ветлы, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь.

На плотине, между корявыми стволами, появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Карнаушкин,— он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам; комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт.

Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, карнаушкинская лошаденка,— она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза — побелевшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку, из другой двери, выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору.

— Скорее, скорее,— крикнула она, распахивая дверь на кухню,— Степанида, Дуня, бегите в людскую!.. Василий Никитьевич около Хомяковки тонет...

Самое страшное было то, что «около Хомяковки». Свет потемнел в глазах у Никиты: в коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату.

— Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый,— повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя.— Ну что, ну что, ну что?.. Василий Никитьевич сейчас приедет... Очевидно,— просто попал в канаву, вымок... А маму твою балбес Степка напугал... Честное даю слово, я ему уши надеру...

Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были как точки.

В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого, сильного жеребца Негра в санки без подрезов; ловили на конском загоне верховых лошадей; кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок; Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке:

— Расстарайтесь, Александра Леонтьевна, пошлите Дуньку на деревню за водкой. Как привезем, ему сейчас — водки...

— Пахом, я сама с вами поеду.

— Никак нет, домой идите, застудитесь.

Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под уздцы

жеребца. Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу.

Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом — ветлы Хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку...

— Бог даст, Никитушка, нас минует беда,— проговорила матушка тихо и раздельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты.

Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправлял очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть: не едут ли? — и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту.

Свет дня уже лиловел перед закатом, оконные стекла внизу, у самой рамы, подернулись тоненькими елочками: к ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились: Негр с мыльной мордой, Пахом — бочком на облучке санок, и в санках, под ворохом тулупа, дохи и кошмы,— багровое, среди бараньего меха, улыбающееся лицо Василия Никитьевича, с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь,— лицо ее задрожало.

— Жив! — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз.

КАК Я ТОНУЛ

В столовой, в придвинутом к круглому столу огромном кожаном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутый в чесаные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны, красное веселое лицо отражалось в самоваре, самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки.

Василий Никитьевич щурился от удовольствия, от выпитой водки, белые зубы его блестели. Матушка хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа,— никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, чего-то хватала, приносила, таращилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки «скороспелки», и они шипели маслом, стоя на столе,— объеденье! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, терся об него и спиной, и боком, и затылком — урлы-мурлы,— неестественно громко мурлыкая. Еж Ахилка глядел свиной мордой из-под буфета, иголки у него пригладились со лба на спину: значит, тоже был доволен.

Отец с удовольствием съел горячую лепешку,— ай да Степанида! — съел, свернув трубочкой, вторую лепешку,— ай да Степанида! — отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз.

— Ну,— сказал он,— теперь слушайте, как я тонул.— И он стал рассказывать.— Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша,— он на минуточку сделался серьезным,— что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка: пристал ко мне Поздюнин,— купи да купи у него каракового жеребца Лорда Байрона. Зачем, говорю, мне твой жеребец? «Поди, говорит, посмотри только». Увидел я жеребца и влюбился. Красавец. Умница. Косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит — купи. А Поздюнин пристает,— купи и купи у него также и сани и сбрую... Саша, ты не сердишься на меня за эту покупку? — отец взял руку матушки.— Ну, прости.— Матушка даже глаза закрыла: разве сегодня она могла сердиться, хотя бы он купил самого председателя земской управы Поздюнина.— Ну, так вот,— велел я отвести к себе на двор Лорда Байрона и думаю: что делать? Не хочется мне лошадь одну

оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки,— отец хитро прищурил один глаз,— на рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развезло дорогу,— жеребец мой весь в мыле,— с тела начал спадать. Решил я заночевать в Колдыбани, у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой,— умопомраченье! Ну, хорошо. Поп мне говорит: «Василий Никитьевич, не доедешь, увидишь — непременно ночью овраги тронутся». А я во что бы то ни стало — ехать. Так проспорили мы с попом до полночи. Какой он угостил меня наливкой из черной смородины! Честное слово,— если привезти такую наливку в Париж,— французы с ума сойдут... Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада: сидеть в двадцати верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду... Бог с ним и с попом и с наливкой...

— Василий,— перебила матушка и строго стала глядеть на него,— я серьезно тебя прошу больше никогда так не рисковать...

— Даю тебе честное слово,— не задумываясь, ответил Василий Никитьевич.— Так вот... Утром дождик перестал, поп пошел к обедне, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые!.. Одна вода кругом. Но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колено в воде, по озерам... Красота... Солнце, ветерок... Сани мои плывут. Ноги промочены. Необыкновенно хорошо! Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать — где бы легче перебраться через реку... Ах, подлец! — Василий Никитьевич ударил кулаком по ручке кресла.— Покажу я этому Поздюнину, где мосты нужно строить! Пришлось мне подняться версты три за Хомяковку, и там переехали речку вброд. Молодец Лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Ну, думаю, речку-то мы переехали, а впереди три оврага,— пострашнее. А податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша: вровень с берегами идет вода со снегом. Овражище,— сама знаешь,— сажени три глубины.

— Ужас,— побледнев, проговорила матушка.

— Я выпряг жеребца, снял хомут и седелку, положил их в сани, не догадался снять дохи,— вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом,— господи благослови! Жеребец сначала уперся. Я его огладил. Он нюхает воду, фыркает. Попятился, да и махнул в овраг, в наслус. И ушел по самую шею, бьется и — ни с места. Я слез с него и тоже ушел,— одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно — не покидай! — и стал биться и сигать за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна. Счастье, что доха была расстегнута, и когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, в овраге... Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше растопыркой, как лягушка, и слышу — что-то булькает. Оглянулся,— у жеребца полморды под водой,— пузыри пускает: он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались больше, должно быть, часу в этом наслусе. Чувствую — нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время — смотрю — жеребец перестал сигать,— его повернуло и понесло: значит, выбились мы все-таки на чистую воду. В воде легче было плыть, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я — за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом,— оба качаемся. А впереди — еще два оврага. Но тут я увидал — скачут мужики...

Василий Никитьевич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мелко и часто постукивали.

— Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара,— сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

У него начался озноб. Его уложили в постель, и он понес чепуху...

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Отец пролежал три дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил,— жив ли Лорд Байрон? Красавец жеребец был в добром здоровье.

Живой и веселый нрав Василия Никитьевича скоро поднял его на ноги: валяться было не время. Начиналась весенняя суета перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перековывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей и поднимая облака пыли. Под навесом шумела веялка. В дому шла большая чистка: вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую.

Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами; Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры — получались яйца желтые, заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом — яйца пестренькие с рисуночками, красили лаком «жук», золотили и серебрили.

В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном,— начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже лежало, отдыхая под чистыми полотенцами, штук десять высоких баб и приземистых куличей.

Всю эту неделю дни стояли неровные,— то нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба, из синей бездны, лился прохладный весенний свет, то лепила мокрая снежная буря. По ночам подмораживало лужи.

В субботу усадьба опустела: половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцовку, в село за семь верст,— стоять великую заутреню.

Матушка в этот день чувствовала себя плохо — умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни письма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон.

Никите было предложено: если он хочет ехать к заутрене, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту, она кована на все четыре ноги. Выехать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитьевича, державшего в Колокольцовке бакалейную лавку, Петра Петровича Девятова. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно»,— сказала матушка.

На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал: «Но, милая, выручай»,— и старая, с провислой шеей, широкозадая Афродита пошла рысцой.

Проехали двор, миновали кузницу, переехали овраг в черной воде по ступицу. Афродита для чего-то все время поглядывала через оглоблю назад, на Артема.

Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивало таратайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос,— думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката, в зеленом небе, теплилась чистая, как льдинка, звезда.

ДЕТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчиками, лежали Никита и шесть сыновей Петра Петровича — Володя, Коля, Лешка, Ленька-нытик и двое маленьких,— имена их было знать неинтересно.

Старшие мальчики вполголоса рассказывали истории, Леньке-нытику попадало,— то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину.

Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты,— веснушчатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смеха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей:

— Анна, не лезь,— вот я встану...

Анна так же неслышно исчезала. В доме было тихо.

Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь.

Марья Мироновна, жена его, сказала детям:

— Пошумите, пошумите,— все затылки вам отобью...

И прилегла отдохнуть перед заутреней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, вихрастый, без передних зубов, рассказывал:

— В прошлую пасху в подкучки играли, так я двести яйц наиграл. Ел, ел, потом живот во — раздуло.

Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке:

— Неправдычка. Вы ему не верьте.

— Ей-богу, сейчас встану,— пригрозил Лешка.

За дверью стало тихо.

Володя, старший, смуглый курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги, на перине, сказал Никите:

— Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить,— вся колокольня трясется. Левой рукой в мелкие колокола — дирлинь, дирлинь, а этой рукой в большущий — бум. А в нем — сто тысяч пудов.

— Неправдычка,— прошептали за дверью.

Володя быстро, так, что кудри отлетели, обернулся.

— Анна!.. А вот папаша наш страшно сильный,— сказал он,— папаша может лошадь за передние ноги поднимать... Я еще, конечно, не могу, но зато, лето придет, приезжайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд — шесть верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой — в воду.

— А я могу,— сказал Лешка,— под водой вовсе не дышать и все вижу. В прошлое лето купались, у меня в голове червяки и блохи завелись и жуки — во какие...

— Неправдычка,— едва слышно вздохнули за дверью.

— Анна, за косу!..

— Противная какая девчонка уродилась,— сказал Володя с досадой,— к нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная, потом матери жалуется, что ее бьют.

За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смирное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами.

— А вы плавать умеете? — спросил его Никита.

Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно:

— Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше: на крыше — шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учиться. А я пойду по хозяйственной части. А Лешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с нытиком,— он дернул Леньку за петушиный вихор на макушке,— такой постылый мальчишка. Папаша говорит — у него глисты.

— Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные,— сказал Лешка,— потому что я лопухи ем и стрючки с акации ем, я могу головастиков есть.

— Неправдычка,— опять простонали за дверью.

— Ну, Анна, теперь держись,— и Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полетели, — Анны, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: — К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня: я ей полну голову репьев набью.

— Оставь ее, Алеша,— проговорил Коля,— ну что к ней привязался?

Тогда Алешка, Володя и даже Ленька-нытик накинулись на него:

— Как это мы к ней привязываемся! Она к нам привязывается. Уйди хоть за тысячу верст, оглянись,

она обязательно сзади треплется... И все ей не терпится,— что неправду говорят, делают, что не велено...

Лешка сказал:

— Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видать,— всего пиявки съели.

Володя сказал:

— Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: «Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане». А мне, может, эта мышь дороже всего.

Ленька-нытик сказал:

— Постоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь.

Жалуясь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутреней. Вдруг издалека послышался густой, угрожающий голос Марьи Мироновны:

— Тыща раз мне вам повторять...

Мальчики сейчас же затихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу.

Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шали с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери.

Ночь была звездная. Пахло землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди: бабы, мужики, дети. Вдалеке, на базарной площади, в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса, один ниже другого, горели плошки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки.

ТВЕРДОСТЬ ДУХА

После заутрени вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розаны. Попискивала в окне, в клетке, канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович, в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские усики,— такая у него была

привычка,— налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Мироновна, не снимая шали, сидела усталая,— не могла даже разговляться, только и ждала, когда, наконец, орава,— так она звала детей,— угомонится.

Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества свечей перед сусальными ризами и сквозь синеватые клубы ладана, вверху, под церковным, в золотых звездах, синим куполом,— голубя, простершего крылья. За решетчатыми окнами — ночь, а голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, огни свечей отражаются в тысяче глаз, отворяются западные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого,— все простилось в эту ночь. С веснушчатым носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Анна тянется к братьям целоваться...

Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил благовест во все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару на сухой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчишки играли в чижика, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых, растопорщенных платьях. У каждой в руке — платочек с семечками, с изюмом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются.

С краю, на бревнах, вытянул наборные сапоги, развалился, ни на кого не глядит хахаль Петька — старостин, перебирает лады гармони, да вдруг как растянет ее: «Эх, что ты, что ты, что ты!»

У другой стены стоит кружок, играют в орлянку, у каждого игрока в ладони столбиком слипшиеся семишники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и мечет высоко: орел или решка?

Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под которой лезет куриная слепота, сели девки, играют в

подкучки: прячут в мякинные кучки по два яица, половина кучек пустая,— угадывай.

Никита подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо, но сейчас же сзади, над самым ухом, Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему:

— Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обыграют.

Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха, глазами и шмыгнула веснушчатым носиком. Никита пошел к мальчикам, игравшим в чушки, но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала:

— С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слышала.

Куда бы Никита ни пошел,— Анна летела за ним, как лист, и нашептывала на ухо. Никита не понимал,— зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно, он видел, как мальчики уже начали посмеиваться, поглядывая на него, один крикнул:

— С девчонкой связался!

Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глинистым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи...

— Слушайте, знаете что,— опять зашептала за спиной Анна,— я знаю, где суслик живет, хотите, пойдем его посмотрим?

Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала:

— Ей-боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?

— Не пойду.

— Ну, хотите,— куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно.

— Не хочу.

— Значит, вы играть со мной не хотите?..

Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду, ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу, острый кончик веснушчатого носика ее покраснел, глаза налились слезами, она мигнула. И сейчас Никита все понял: Анна бегала за ним все утро потому, что у нее было то же самое, что у него с Лилей.

Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним,— он бы прыгнул в пруд, так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой — это уж было предательство и стыдно.

— Это вам на меня мальчишки наговорили,— сказала Анна,— ужо мамыньке на всех нажалуюсь... Одна буду играть... Не очень надо... Я знаю, где одна вещь лежит... И эта вещь очень интересная...

Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно.

ВЕСНА

На солнце нельзя было теперь взглянуть,— лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами.

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду, из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава, весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях,— суетясь, свистела медовым голосом.

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, хрипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем,— пересмешничали, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок.

И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка: печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червяков:

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу ни при чем, ку-ку...

Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкона,— все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.

Однажды Никита сидел на гребне канавы, у дороги, и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерины, опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами; кобылы оборачивали головы, посматривая — здесь ли жеребенок; жеребята на длинных, слабых, толстых в коленках ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить, то и дело били матери под пах, пили молоко, отставляли хвост; хорошо было напиться молока в этот весенний день.

Кобылы-трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, взвизгивали, носились по выгону, брыкаясь, мотая мордой, иная начинала валяться, иная, ощерясь, визжа, норовила хватить зубами.

По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитьевич в парусиновом пальто. Бороду его отдувало набок, глаза были весело прищурены, на щеке — лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул вожжи и сказал:

— Какая из табуна больше всего тебе по душе?

— А что?

— Безо всякого «а что»!

Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темно-рыжего меринка Клопика,— он ему уже давно приглянулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой.

— Вот этот.

— Ну и отлично, пускай нравится.

Василий Никитьевич крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вслед отцу: нет, этот разговор неспроста.

ПОДНЯТИЕ ФЛАГА

Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит иволга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада послышался голос Аркадия Ивановича:

— Адмирал, скоро глаза продерете?

— Встаю!— крикнул Никита и с минуту еще полежал: до того было хорошо, проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья.

Сегодня был день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита не спеша — не хотелось, чтобы скоро уходило время, — оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чертовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве — выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы.

В столовой, на снежной свежей скатерти, стоял большой букет ландышей, вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал:

— Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям грегорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось десять лет, во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять.

После чая пошли на пруд. Василий Никитьевич, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш.

Матушка ужасно этому смеялась,— подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече.

На берегу огромного, с извилинами, пруда, у купальни, был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели — водяные жуки, личинки, крошечные головастики. Бегали по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз грачихи.

Василий Никитьевич привязал к нижнему концу бечевы личный адмиральский штандарт,— на зеленом поле красная, на задних лапах, лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бечеву, штандарт побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялись грачи, тревожно крича.

Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила между небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков,— они толклись и летели за лодкой.

— Полный ход, самый полный! — кричал с берега Василий Никитьевич.

Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла, и из зеленых, еще низких камышей с кряканьем, в ужасе, полулетом по воде побежали две утки.

— На абордаж, лягушиный адмирал. Урррра! — закричал Василий Никитьевич.

ЖЕЛТУХИН

Желтухин сидел на кустике травы, на припеке, в углу, между крыльцом и стеной дома, и с ужасом глядел на подходившего Никиту.

Голова у Желтухина была закинута на спину, клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом зобу.

Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец,— попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика.

У Желтухина отчаянно билось сердце: «Ахнуть не успеешь,— думал он,— сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц.

Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом: значит, был сыт и решил съесть Желтухина немного погодя.

Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку.

— Совсем еще маленький, бедняжка,— сказала она,— какой желторотый, Желтухин.

Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь.

Снаружи, за белым дымком марли, шелестели листья, дрались на кусту презренные воробьи — воры, обидчики. С другой стороны, тоже из-за марли, глядел Никита, глаза у него были большие, двигающиеся, непонятные, очаровывающие. «Пропал, пропал»,— думал Желтухин.

Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. «Откармливают,— думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка,— он, как змей, извивался перед самым носом.— Не стану его есть, червяк не настоящий, обман».

Солнце опустилось за листья. Серый, сонный свет затягивал глаза,— все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перья.

Нахохлившись сердито — на всякий случай, Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул.

Разбудили его воробьи — безобразничали, дрались на сиреневой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет — есть хочется, даже тошнит»,— подумал Желтухин и увидал червяка, до половины залезшего в щелку подоконника, подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил: «Ничего себе, червяк был вкусный».

Свет становился синее. Запели птицы. И вот сквозь листья на Желтухина упал теплый яркий луч солнца. «Поживем еще»,— подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.

В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю, и на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, переливающиеся глаза.

Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать: «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».

Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого, с драным затылком, и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать: фюють, чилик-чилик, фюють. Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину,— ткнулся в марлю. «Что, достал, вот то-то»,— подумал Желтухин и вразвалку заходил по подоконнику.

Затем снова появился Никита, просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул, изо всей силы клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: ха-ха-ха.

Так прошел день,— бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием.

Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить,— набирал воду в носик, закидывал головку и глотал,— по горлу катился шарик.

День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подраться с галкой, и она так его тюкнула,— он камешком нырнул в листья, глядел оттуда ощетинясь.

Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, суетилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала.

Долго, нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые кашки,— Желтухин даже загрустил, а у самого так и клокотало в горлышке, хотелось запеть,— но где, не на окошке же, за сеткой!..

Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот... Господи... во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки... Кот ударил короткой лапой, рванул марлю... У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья... Но в это время — совсем вовремя — появился Никита, схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост.

«Сильнее Никиты нет зверя»,— думал после этого случая Желтухин, и, когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост.

Кончился и этот день. Наутро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез на-

ружу, прыгнул в текучий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом.

В дверях он поднялся и во второй комнате, у круглого стола, увидел четырех людей. Они ели,— брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного, на всем лету, поворота,— упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками.

Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки.

Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика — темно, он прыгнул туда, поворочался и заснул.

А тою же ночью, в чулане, кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей,— сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно.

Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и, когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув головку, и выговаривал певучим голоском: «Саша»,— и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный.

Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду,

но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник.

В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и, когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин — чуть зорька — улетел с перелетными птицами за море, в Африку.

КЛОПИК

Весенние полевые работы были закончены, фруктовый сад перекопан и полит,— настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом, на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман и огромные одинокие осокори, казалось, росли из мглистого воздуха,— висели над землей.

При табуне конюшонком состоял Мишка Коряшонок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев в стремена босые ноги, заваливался и болтал локтями.

Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобыленкой, Мишка кричал: «Азат!» — и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая удилами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковицы камыша и камышовые корни, черные и длинные, как змеи; луковички были кисленькие и хрустящие, а корни — мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот.

Никита на весь день уходил за пруд к Мишке Коряшонку и обучался у него верховой езде.

Влезать в седло было нетрудно: старый сивый, в гречку, мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но, усевшись, взяв поводья и пустив сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов тридцать, сразу останавливался и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеп-

лялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно.

Мишка говорил:

— Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай и руками избави тебя бог за землю хвататься,— вались кубарем. Вот я тебе покажу, как без седла, без узды — вскочил и лети.

Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать:

— Хлеба, хлеба, хлеба...

К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла Звезда, караковая в яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой — было приятно, и чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо.

Мишка огладил ее, провел ладонью вдоль атласной спины,— Звезда тревожно переступила,— он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная, Звезда шарахнулась вбок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвилась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна.

Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом, Мишка клубком покатился в траву. Вернулся он к Никите прихрамывая, вытирая с исцарапанной щеки кровь.

— Прямо в хворост скинула проклятая кобылешка,— сказал он,— а ты так не можешь, в тебе жиру много.

Никита промолчал. Подумал: «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки».

За обедом он рассказал про Звезду, матушка разволновалась.

— Слышишь,— сказала она,— я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям,— и она с мольбой взглянула на Василия Никитьевича.— Вася, поддержи хоть ты меня... Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги...

— Вот и отлично,— сказал на это Василий Никитьевич,— запрети ему ездить верхом, запрети ходить пеш-

ком,— тоже ведь может нос разбить,— посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей...

— Я так и знала,— ответила матушка,— я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя...

— Саша, пойми, что мальчику десять лет.

— Ах, все равно...

— Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный Слюнтяй Макаронович.

— Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить Клопика.

— Во-первых, на Клопике может ездить грудной ребенок.

— Он кованый.

— Нет, я его велел расковать.

— Ах, в таком случае делайте все, что хотите, садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы,— у матушки налились слезами глаза, она быстро встала из-за стола и ушла в спальню.

Василий Никитьевич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шепотом:

— Да, брат, плохо твое дело.

— Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать... Честное слово, что я...

— Терпение, выдержка и твердость характера,— Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос,— эти три качества важны также для умения хорошо ездить верхом...

В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел: «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны...» — «Где, где они самостоятельны?» — отчаянным голосом спрашивала матушка... «В Америке они самостоятельны...» — «Это неправда...» — «А я тебе говорю, что в Америке десятилетний мальчишка так же самостоятелен, как я, например».— «Боже мой, но мы не в Америке...»

Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью погля-

дывала на Никиту, как на подлежащего на слом, надеялась только, что сохранит он хоть голову.

Никита за эту неделю старательно учился за прудом верховой езде,— Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку — прыгать на лошадь с разбегу, сзади, как в чехарду.

— Она тебя сроду брыкнуть не успеет, брыкнет, а ты уже у ней на холке.

Наконец за утренним чаем, на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом:

— Ты знаешь, тебе уже десять лет и ты должен быть самостоятелен, в твои годы другие мальчики вполне, вполне...— У нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца.— Словом, папа прав, что ты уже не ребенок.— Василий Никитьевич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола.— Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на Клопике... Я только прошу, прошу тебя...

— Мамочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится,— и Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнущие ягодами руки.

Назавтра, после раннего обеда, Василий Никитьевич велел Никите взять седло — английское, из серой замши, подаренное на рождество,— и говорил, шагая по траве к конюшням:

— Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды — вываживать... Лошадь должна быть в холе, в чистоте, тогда ты — хороший кавалерист.

В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович, в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе,— шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы,— выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема:

— Куда ты ей под грудь ремень суешь, невежа! Ведь эта упряжь выездная. Оставь супонь, не касайся. Тебе кота запрягать в лукошко.

— Я безлошадный.

— То-то за тебя и девки не идут, что ты — невежа. Подай мне новые вожжи.

Коренник Лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз удила, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему челку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите:

— Сами желаете седлать?

Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его.

Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбатенький, плотный меринок, в чулках, с темным густым хвостом и темной же гривой. Большая челка закрывала ему глаза, и он поматывал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок.

— Конь добрый,— сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду — вода текла у него с серых губ.

Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и взнуздал. Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее — седло и стал затягивать подпруги,— дело было нелегкое.

— Надувается,— сказал Сергей Иванович,— хитрое животное, брюхо надувает,— и он шлепнул ладонью Клопику по животу; мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги.

Подошел Василий Никитьевич и начал командовать:

— В левую руку поводья, заходи спереди лошади, с левого плеча. Садись. Бери ее в шенкеля. Не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки.

Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул, и Клопик рысью пошел прямо в конюшню.

Василий Никитьевич закричал:

— Стой! стой! Работай правым поводом, разиня!..

В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меринку:

— Свинья, настоящая свинья, дурак несчастный!..

Клопик весело кивал челкой. Сергей Иванович сказал, подходя:

— Садитесь, я его проведу. Меринишка какой хитрящий. Не хочется ему работать, а хочется в холодке стоять.

Наконец Клопика обуздали, и Никита гарцевал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов.

Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово:

— Пускай!

Артем, державший под уздцы Лорда Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидая свежими комьями с копыт пристяжных, заливаясь подобранными бубенцами,— описала по зеленому двору полукруг и стала у дома.

С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на гарцевавшего вдалеке Никиту. Отец подсадил матушку в коляску, вскочил сам.

— Пошел!

Сергей Иванович приподнял вожжи. Караковые великолепные звери, просясь на тугих удилах, легко понесли коляску, простучали по мостику, пристяжные пошли в галоп, завились. Лорд Байрон, зная, что все это — шутки, прядал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья, во весь мах догонял тройку.

Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это — лишнее, и когда поравнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону: все это он считал излишним,— ехать, так ехать по дороге, зря не задираться.

Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило, от Клопиной рыси перебултыхался живот.

— Хочешь в коляску?

Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу:

— Дай ходу!

Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами, пристяжные разостлались над травой, Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, скакал теперь что было силы — старался ужасно.

Отвратительное ощущение ровной рыси прошло, Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах, сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба, невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки... Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера.

Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца.

— Хорошо, Никита?

— Чудесно... Клопик — удивительная лошадь...

В КУПАЛЬНЕ

Рано поутру Василий Никитьевич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке, в сизой от росы траве, на пруд — купаться.

Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне, над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками, толклись легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаще сада ворковал дикий голубь,— закрыв глаза, надув грудку, печально, сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет.

Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитьевич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил:

— Хорошо, отлично!

Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остынув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню,— вода была ему по грудь,— и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая:

—Хорошо, отлично.

Вверху, над купальней, в солнечном синем свете, стояли мушки. Залетело коромысло, трепеща глядело изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитьевича и уносилось боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался — не видит ли его кто-нибудь с берега,— басом говорил: «Ну-с, хорошо-с»,— и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с ветел испуганные грачи, а он плыл саженками, вилял под синеватой водой худым рыжеволосым телом.

Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище: «Ух-брррр...»

Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитьевич клал на лесенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза — мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный, это так и называлось: «Делать несчастного Васю».

— Ну, поплыли,— говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по-лягушиному, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде.

Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит: за это лето Никита ловко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чагре,— умел боком, и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шепотом:

— Аркадия топить.

Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на саженках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высовываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги,— он больше всего на свете боялся щекотки. Но поймать его было нелегко,— чаще всего он уходил, и, когда Василий Никитьевич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом:

— Плавать, плавать надо учиться, господа.

Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила:

— Чай накрыт в саду, под липой. Садитесь, не ждите меня,— булочки остынут.

СТРЕЛКА БАРОМЕТРА

Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногтями по барометру и шепотом чертыхался,— стрелка стояла: «сухо, очень сухо». За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над горизонтом, висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях, и сколько Василий Никитьевич ни стучал в стекло барометра,— стрелка упорно показывала: «сухо, очень сухо».

Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде,— лица у отца и матушки были озабоченные; Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина: Васса Ниловна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что «прикована к постели больной матери» и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре.

Никита так и представлял эту Вассу Ниловну: сидит длинная унылая женщина в серой кофточке, со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы, душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены, у железной кровати.

За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал:

— Если завтра не будет дождя,— урожай погиб.

Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как, точно в бреду, звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром.

— Неужели — опять голодный год,— проговорила матушка,— боже, как ужасно!

— Да, вот так: сиди и жди казни,— отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучовых панталон,— еще один день этого окаянного пекла, и — вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети... Непостижимо.

Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню — считать белье, Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь.

В комнатах, в полуденной зловещей тишине, только звенели мухи, все вещи были словно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо. Под мглистым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих,— все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове.

Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка, грачи засидели ее белыми пятнами.

Никита побрел домой и прилег на пахнущий мышами диванчик. Посредине зала стоял оголенный от скатерти со множеством противных тонких ножек обе-

денный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка,— чистит, должно быть, толченым кирпичом, ножи и воет, воет вполголоса от смертной тоски.

Но вот в полураскрытом окне, на подоконнике, появился Желтухин, клюв у него был раскрыт,— до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко,— ущипнул и опять заглянул в глаза.

— Отстань, пожалуйста, убирайся,— сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко.

Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселел и полетел искать места, где бы отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра.

— Фюить,— нежным голосом сказал Желтухин,— фюить, бурря.

— Что ты говоришь? — спросил Никита и подошел к барометру.

Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал что-то по-птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между «переменчиво» и «бурей».

Никита забарабанил пальцами в стекло,— стрелка еще передвинулась на деление к «буре». Никита побежал в библиотеку, где спал отец. Постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно:

— А, что? Что такое?..

— Папа, поди — посмотри барометр...

— Не мешай, Никита, я сплю.

— Посмотри, что с барометром делается, папа...

В библиотеке было тихо,— очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги, повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась всклоченная борода:

— Зачем меня разбудил?.. Что случилось?..

— Барометр показывает бурю.

— Врешь,— испуганным шепотом проговорил отец и побежал в залу и сейчас же оттуда закричал на весь дом: — Саша, Саша, буря!.. Ура!.. Спасены!

Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно — ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала — «буря». Все домашние собрались и сидели у круглого сороконожечного стола. Говорили шепотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери.

И вот в мертвенной тишине первыми, глухо и важно, зашумели ветлы на пруду, долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон, в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и, наконец, сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитьевич, рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот — бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь, на мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья. И — снова тьма. И грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь — сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях,— глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал.

ПИСЬМЕЦО

Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в селе Утевке на базарной площади.

За открытой загородкой сидел всклокоченный, с опухшим лицом, почтмейстер и жег на свечке сургуч.

Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!»

— Меня папа прислал за почтой,— сказал Никита.

Почтмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять.

— Почему я должен знать — кто такой папа? — проговорил он крайне недоброжелательно.— Тут каждый — папа, тут все — папы...

— Что вы говорите?

— Что у вас тысячу пап — говорю,— почтмейстер даже плюнул под стол.— Фамилия, фамилия, спрашиваю, этому папе-то как? — Он швырнул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем.

Никита положил их в сумку, спросил робко:

— А журналов, газет разве нет?

Почтмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

У почтового столба Клопик топал ногой и обхлестывал себя хвостом,— до того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасною гущей мальчика, с льняными волосами, глядели на лошадь.

— Посторонись! — крикнул им Никита, садясь в седло.

Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почтмейстера опять пылал сургуч.

Выехав из села в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов, пустив Клопика идти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту.

Одно из писем было маленькое в светло-лиловом конвертике, надписанное большими буквами — «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения, Никита прочел:

«Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люблю. Мы живем на даче. И наша дача очень хорошенькая. Хотя Виктор очень пристает, не дает мне жить. Он отбился у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые еще не поспели. А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я еще не потеряла. До свидания. Лиля».

Несколько раз перечел Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки, зашуршали елочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля... Под лампой, у круглого стола, снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок... Колдовство!..

Никита привстал на стременах, взмахнул плетью,— Клопик от неожиданности шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми, кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки — плавал орел. В лощине, у солончакового озерца, кричали чибисы — жалобно, пустынно. «Скачи, скачи, скачи! — думал Никита. Сердце его радостно, сильно билось.— Свисти, свисти, ветер!.. Лети, лети, птица орел!.. Кричи, кричи, чибис,— я счастливее тебя. Ветер да я, ветер да я...»

ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ

Третий день Василий Никитьевич и матушка ссорились: отцу очень хотелось поехать на ярмарку в Пестравку, матушка же была решительно против этой поездки:

— В Пестравке прекрасно, мой друг, и без тебя обойдутся.

— Странно,— отвечал отец, захватывая всею горстью бороду, кусая ее и пожимая плечами,— это очень странно!

— Ну пусть, мой друг, тебе странно.

— Нет, это в высшей степени странно!

— А я еще раз повторяю,— говорила матушка,— что нам новые лошади не нужны: слава богу, выездных — полна конюшня.

— Пойми наконец, что я еду, чтобы продать эту проклятую кобылу Заремку.

— Напрасно, Заремка — прекрасная кобыла.

— Что ты мне говоришь! — Отец расставлял ноги и выпучивал глаза.— Заремка кусается и бьет задом.

— Нет,— твердо отвечала матушка,— Заремка не кусается и не бьет задом.

— В таком случае,— отец даже расшаркивался,— я прямо заявляю: или эта проклятая кобыла в хозяйстве, или я!

В конце концов матушка, как и догадывался Никита, предпочла отца. Спор кончился примирением и уступками: кобылу решено было продать, отец же дал честное слово «не тратить сумасшедших денег на ярмарке».

Чтобы не тратить денег, Василий Никитьевич придумал послать в Пестравку два воза яблок — падалицы — и продать их в развес.

Никита отпросился ехать на возах вместе с Мишкой Коряшонком.

С утра начались препятствия. Оказалось, что лошади не были приготовлены, и Мишка Коряшонок залился на пристяжной в табун, который едва виднелся на дымящейся утренним паром низине за прудами. Затем, когда из конюшни вывели рыжую в чулках За-

ремку и начали чистить ее скребницей, кобыла хватила зубами Сергея Ивановича,— едва не заела. Отец увидел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню:

— Ага, кусается!.. Что, говорил я вам, черти окаянные!..

Заремка начала пятиться, садиться, тащила Сергея Ивановича за недоуздок, завизжала, вырвалась и, опустив морду и брыкаясь так, что комья с копыт ее полетели выше каретника, поскакала к табуну. Затем пропал Артем, который должен был ехать с возами. Кинулись искать — оказалось, что он еще со вчерашнего вечера сидит при волостной избе, в клоповке: подошло время платить недоимки, а их у Артема набралось лет за пять неплаченных, поэтому,— где бы он ни находился,— начальство брало его и сажало в клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит.

Василий Никитьевич послал к старосте верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать воза, очень веселый. Воза запрягли; к задней телеге в распялах привязали Заремку. Никита и Мишка Коряшонок сели на переднюю телегу. Артем замахал концами вожжей, воза тронулись... «Чокушка, чокушка»,— нарочно, для смеху, закричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, осмотрел,— чокушки были в порядке. Почесался, покачал головой... Наконец выехали.

Ехать было очень славно. Подувал ветерок, пахнущий полынью и пшеничной соломой, раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших, куда хватал глаз, на ровной степи, поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок — это у плугарской будки варили кашу.

Доехав до стана — домика на колесах, Артем остановил лошадь, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к возам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой:

— Яблочки продавать везете? — Никита подал ему яблоко.— Нет, юнкер, мне жевать нечем.

Отъехав от стана, встретили четыре цабана; за быками, покачивающимися в ярмах, тащились перевернутые вверх лемехами плуги, шли лохматые, в заскорузлых рубахах плугари — есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал — какой будет поворот на Пестравку.

К полдню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующей синеве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то корабль без мачт. Воза шли. Трещали кузнечики. И вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплясала бочком в коновязи, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув:

— Наш пылит!

Скоро мимо возов пролетела тройка с увалистой рысью Лорда Байрона, задиравшего морду, с вислозадыми пристяжными, грызущими землю от злости. В коляске сидел отец в чесучовой поддевке, подбоченясь; борода его летела на две стороны по ветру; поведя веселыми глазами, он крикнул Никите:

— Хочешь ко мне? — И тройка умчалась.

Наконец из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви, журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши, и за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой открылось все село Пестравка, а за ним на выгоне — парусиновые балаганы и темные пятна табунов.

Воза рысью проехали по зыбкому, над самой водою, мосту, миновали церковную площадь, где в розовом дому, в крайнем окошке, играл толстый поп на скрипке, завернули по выгону к балаганам и стали близ горшечного ряда.

Никита стоял на телеге и видел: вот заросший от самых глаз черной бородой цыган, в раскрытом на голой груди синем кафтане с серебряными пуговицами, глядит в зубы больной лошаденке, а хилый мужичок, ее хозяин, с удивлением глядит на цыгана. Вот хитрый старичок уговаривает испуганную бабу купить горшок, расписанный травками,— стучит по нему ногтем. «Да мне, батюшка, горшок не такой нужен»,— гово-

рит баба. «Ты, красотка, такого горшка — обыщи весь свет — не найдешь». Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит: «Какое это яйцо? Разве это яйцо,— это яйцо щуплое. Вот у нас в Колдыбани — яйцо, у нас в Колдыбани куры по шею в зерне ходят». Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватают проходящих: «К нам, к нам, у нас покупали...» Пыль, крик, лошадиное ржанье над ярмаркой. Свистят глиняные свистульки. Повсюду торчат поднятые оглобли возов. Вот, колеся ногами, толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубахе и растягивает со всей силой гармонь: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня!..»

Артем отпряг лошадей и начал расшпиливать воза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке, с шашкой на ременной портупее, поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел и снял шапку.

— Вот ты мне когда попался, бродяга,— сказал усатый человек,— безусловно, я тебя сгною теперь.

— Воля ваша,— ответил Артем.

Усатый человек взял его под локоть и потащил. Вслед им засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка Коряшонок озабоченно зашептал Никите:

— Сбегай, найди отца, скажи — Артема урядник в клоповку взял, а я воза посторожу.

Никита выбрался из толчеи и побежал по утоптанному ковыльному полю к конским загонам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец, очень веселый, стоял у одного из загонов, заложив руки в карманы поддевки. Никита начал было рассказывать о происшествии с Артемом, но Василий Никитьевич сейчас же перебил:

— Видишь гнедого жеребчика... Ах, жеребчик, ах, шельма!..

По загону между лошадей ходили три башкира в вылинявших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жереб-

чика. Но он, прикладывая уши, показывая зубы, шарахался, увертывался от аркана и то кидался в гущу табуна, то выбегал на просторное место. Вдруг он опустился на колени, пролез под жердь загороди, приподнял ее, вскочил уже по той стороне и веселым галопом помчался в ковыльную степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал ногами от удовольствия.

Башкиры, переваливаясь косолапо, побежали к верховым лошадям, косматым и низкорослым, легко ввалились в высокие седла и поскакали — двое в угон за караковым жеребчиком, третий — с арканом — наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз наперерез ему выскакивал башкир, визжа по-звериному. Жеребчик заметался, и тут-то ему накинули аркан на шею. Он взвился, но его с боков стали хлестать плетями, душить арканом. Жеребчик зашатался и упал. Его привели к загону, дрожащего, в мыле. Сморщенный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитьевичу:

— Купи жеребца, бачка.

Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема.

— Ах, досада,— воскликнул отец,— в самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что,— возьми двугривенный, купи калач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на возах.... А Заремку я, знаешь, продал Медведеву,— недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду.

Но «сейчас» оказалось очень долгим временем. Большое бледно-оранжевое солнце повисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой. Зазвонили к вечерне. И только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное.

— Совершенно случайно купил партию верблюдов,— сказал он, не глядя Никите в глаза,— страшно недорого... А что, за кобылой еще не прислали? Странно. Ну, а яблок вы много продали? На шестьдесят пять копеек? Странно. Так вот что: черт с ними, с этими яблоками,— я Медведеву сказал, что продаю их ему в придачу к кобыле... Пойдем выручать Артема...

Василий Никитьевич обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке, между возов, от которых в сумерки пахло сеном, дегтем и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким тающим в степи подголоском. Ржала лошадь.

— А знаешь,— отец остановился, глаза его лукаво блеснули,— достанется мне дома на орехи... Ну, да ничего. Завтра пойдем тройку одну смотреть — серые, в яблоках... Все равно — один ответ.

НА ВОЗУ

Вечером, на возу свежей пшеничной соломы, Никита возвращался с молотьбы. Узкая полоса заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами — следами прошедших здесь в незапамятные времена кочевников.

В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана, и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачивалась телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гудела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день...

...Четыре пары сильных кобыл ходят в круге молотильного привода. Посредине, на шкворне, на сиденьице медленно крутится Мишка Коряшонок, покрикивает, пощелкивает кнутом.

С деревянного маховика, хлопая, убегает бесконечный ремень к красной, большой, как дом, молотилке, бешено трясущейся соломотрясами и решетами. Воет, западая, ухает, свирепо ревет барабан, далеко слышный в степи,— жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные недра молотилки солому и зерно. Задает сам Василий Никитьевич, в глухих очках, в голицах по локоть, в прилипшей к мокрой спине рубашке,— весь пыльный, с мякинной бородой, с черным ртом. Подъезжают скрипучие воза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилкою парень, захватив огромный ворох соломы,

становится на доску и рысью волочит солому к ометам. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами. Кончаются заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с возов снопы на полати молотилки, девки поймали между телег, защекотали,— он боялся щекотки,— повалив, набили его под одеждой мякиной. Вот было смеху!..

...Никита открыл глаза. Покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры.

«Все это — мое,— думал он,— когда-нибудь сяду на воздушный карабль и улечу...» И он стал представлять летучий корабль с крыльями, как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты,— серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате.

Воз стал спускаться под горку. Забрехали вдалеке собаки. Потянуло сыростью с прудов. Въехали во двор. Теплый уютный свет лился из окон дома, из столовой.

ОТЪЕЗД

Пришла осень, земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало, не греющее, старое,— ему уже дела не было до земли. Улетели птицы. Опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку,— положили в сарай кверху днищем.

По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инеем. По инею, по осенне-зеленой траве хаживали гуси на пруд,— гуси разжирели, переваливались, как комья снега. Двенадцать девок из деревни рубили капусту в большой ко-

лоде около людской,— пели песни, стучали тяпками на весь двор. С погребицы, где пахтали масло, прибегала Дуняша, грызла кочерыжки,— еще больше расхорошелась за осень, так и заливалась румянцем, и все знали, что бегает она к людской не затем, чтобы грызть кочерыжки и смеяться с девками, а затем, чтобы видел ее из окошка молодой рабочий Василий, то же самое — кровь с молоком. Артем совсем нос повесил — чинил в людской хомуты.

Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме затопили печи. Еж Ахилка натаскал тряпок и бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку,— Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает: ясно — человек задумал жениться.

Василий Никитьевич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма.

Через неделю Василий Никитьевич писал:

«Хлеб я продал, представь — удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собою, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы — это для нашей городской квартиры; только страх, что ты рассердишься, удерживает пока меня от покупки».

Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитьевича больших денег и в особенности опасность покупки им никому на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, бочонки с засолом и живность

матушка отправляла с обозом. Сама же налегке, на двух тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой выехала вперед. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусцой. В Колдыбани заночевали на постоялом дворе. На другой день, к обеду, из-за плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала: не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку. Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчичники; вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки,— усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади — разномастные, деревенские,— хоть бы своротить с главной улицы! Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан.

— Сергей Иванович, что вы так едете, поскорее,— сказал Никита...

— И так доедем.

Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцой. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитьевича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное.

Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашеном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала, в арке с белыми

колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платьице. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черный бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурились. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские тарантасы.

— Письмо мое получили? — спросила она. Никита кивнул ей.— Где оно? Отдайте сию минуту.

Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза...

— Я хотел ответить, но...— пробормотал Никита.

— Где оно?

— В чемодане.

— Если вы его сегодня же не отдадите,— между нами все кончено... Я очень раскаиваюсь, что написала вам... Теперь я поступила в первый класс гимназии.

Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался: на лиловенькое письмо он ведь не ответил... Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола... Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек — носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись.

— Простите меня,— проговорил Никита,— я ужасно, ужасно... Это все лошади, жнитво, молотьба, Мишка Коряшонок...

Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение, вроде как к коровьей лепешке. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполлосовны, раздались приветствия, поцелуи, застучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы... Лиля сердито, быстро прошептала:

— Нас видят... Вы невозможны... Примите веселый вид... может быть, я вас прощу на этот раз...

И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвенел ее тоненький голос:

— Здравствуйте, тетя Саша, с приездом!

Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья — семь тесноватых, необжитых комнат, за окном — громыхающие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе,— летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату,— расставляли мебель и книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор, прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуммиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел «к одному товарищу,— ты его не знаешь»,— играть в перышки.

В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же — деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим — точь-в-точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке, в руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.

— Я ухожу, вернусь часам к девяти.

— Вы куда уходите?

— Туда, где меня еще нет.— Он хохотнул.— Что, брат, как тебя Лиля-то приняла,— прямо в вилы... Ничего, обтешешься. И даже это отчасти хорошо — деревенского жирку спустить...— Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком.

Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово:

— Вот ваше письмо, возьмите.

Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отсвечивающему полу и говорит Лиле:

— Возьмите ваше письмо.

У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются...

Он просыпался, оглядывался,— странный свет уличного фонаря лежал на стене... И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку...

Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НИКИТЫ РОЩИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Моему сыну четыре года, у него — светлые, как лен, волосы и темные глаза. Он бы совсем походил на рафаэлевского ангела, если бы не пристрастие рисовать карандашом на стенах.

Когда я задумал писать эту историю, я купил стопу бумаги и бутылку чернил. Сын, увидев на столе такое большое количество бумаги и чернил, спросил меня, что я намерен с ними делать. Я ответил, что думаю написать роман из жизни одного мальчика, который совсем не был виноват в том, что с ним произошло. Тогда он взглянул на меня строгими глазами и сказал:

— Послушайте, послушайте (у него есть привычка по два раза повторять некоторые слова), это же в самом деле глупо,— вы мне не позволяете рисовать на стене, а сами хотите испортить столько хорошей бумаги. Отдайте мне бумагу, а сами пишите, пишите коротенькую историю.

Я еще раз взглянул в его черные глаза, отдал ему почти всю бумагу, и вот — перед вами самый маленький из романов, какой только был написан.

ПРОЛОГ

В просторной светлой комнате у письменного стола сидел человек с чудесной бородой, расчесанной на две стороны. Ногтем мизинца он старательно отбирал на листе бумаги зерна пшеницы от зернышек сорных трав. Глаз его был сощурен, потому что в углу рта его торчал камышовый мундштук с дымящейся толстой папиросой.

Второй человек, очень маленького роста, лежал на животе на полу и глядел под буфетный шкаф. А из-под шкафа глядело на него в свою очередь блестящими, черными глазками поросячье рыло старого, умного ежа. Человек у стола сказал, не оборачиваясь:

— Привяжи на нитку кусочек сала, положи ему под нос и потихоньку тяни,— он вылезет.

Мальчик, лежавший на полу, был Никита Рощин; бородатый человек у стола — его отец, Алексей Алексеевич Рощин, а еж под буфетным шкафом был диким и упрямым животным, не желавшим ни под каким видом вылезать из-под буфета иначе, как ночью, когда он, стуча ногтями, бегал по комнатам и пофыркивал носом в мышиные норы.

Никита привязал на нитку кусок сахару, но еж с презрением смотрел на эти уловки. Он так и не вылез из-под буфетного шкафа.

Еж не вылез ни на следующий, ни еще через день. На усадьбе Сосновке, в старом доме, стоявшем среди темного сада, кроме неприятности с ежом, ничего особенно важного не случилось за все лето. В саду свистали зеленые иволги, под деревьями бегали озабоченные скворцы, утром в осыпанных росою листьях медовым голосом ворковал дикий голубь, на вечерней заре в пруду под ветлами плескалась рыба и так ухали, охали и стонали лягушки, что казалось, будто в пруду случилось большое горе.

И горе действительно случилось, но не с обитателями пруда, а с Никитой: осенью отец объявил ему, что переезжает в Москву, в дом к тетке, к той самой тетке, которая ходит в мужской шляпе и не дает никому спуску.

Никита будет отдан в школу, потому что ему уже десять лет, и пора подумать о более серьезных вещах, чем ежи и лягушки. Прости, прости, счастливое детство!

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Я не стану упоминать о всех неприятностях, которыми отныне была наполнена жизнь Никиты Рощина,— упомяну лишь о существенных. Тетка, не дававшая никому спуску, Варвара Африкановна, заставляла Никиту мыться ежедневно с ног до головы, стричь ногти, чистить платье, целый час молча сидеть за завтраком и за обедом. Кроме того, за окнами лил мелкий дождь, громыхали телеги и брызгали грязью экипажи с поднятыми верхами. В доме было темновато, пустынно и все стояло на своем месте, и в любой час повсюду появлялась Варвара Африкановна и не давала спуску.

Никита изучал множество наук и, кроме того, русскую грамматику, замечательную тем, что в ней все состояло из исключений, все глаголы были неправильные, а спряжения, наклонения, роды и виды этих сумасшедших глаголов закручивались в такую темную пучину, что в ней с головой тонула даже тетушка, когда к ней обращались за помощью.

Никите было запрещено свистать в согнутый палец, стрелять из стеклянной трубочки жеваной бумагой в старого теткиного кота, который при этом, лежа на своем месте, на диване, обиженно мигал ушами, запрещено было приносить с улицы всевозможных животных, запрещено с разбега кататься на подошвах по паркету в зале,— словом, под давлением всех неприятностей Никита стал обдумывать план побега из дома и соединения с одним из диких кочующих племен.

Но этому плану помешала революция.

РЕВОЛЮЦИЯ

Революция началась в тот день, когда за завтраком была подана вареная свинина, которую не брал ножик. Вместо сладкого подали такую удивительную,

без сахара, рисовую кашу, что ее нельзя было стащить с ложки, когда же ее спихивали вилкой, она прилипала и к вилке. Тетушка сказала отцу:

— Можешь радоваться, Алексей, на твою революцию,— кушай на здоровье это собачье месиво.

Варвара Африкановна поднялась, затрясла подбородком, взглянула в упор лакею Петру в лоб, смерила взглядом все его два аршина двенадцать вершков роста, после чего Петр должен был, как понимал это Никита, уменьшиться, сморщиться и, к удивлению и радости всех домашних, исчезнуть так, чтобы не осталось мокрого места; но этого не случилось, и Петр даже усмехнулся, правда очень глупо,— у тетушки задрожали лиловые губы, и она выплыла из комнаты. Отец остался сидеть у стола, захватывая горстью бороду и кусая ее; глаза его блестели.

Следующим шагом революции было появление в городе необыкновенного количества мальчишек, которые пронзительно свистали в согнутый палец. Когда взрослые огромными толпами, с флагами и надписями, двигались посреди улиц, мальчишки эти, чтобы увеличить общий беспорядок, залезали на крыши и фонари, свистели оттуда и всем кричали — «Долой!» Когда же взрослые начали днем и ночью разговаривать, собираясь кучами на перекрестках и под памятниками, мальчишкам запрещено было свистать,— их щелкали по затылкам и вытаскивали за уши из толпы. Но зато никто уже теперь не мог запрещать висеть сзади на трамваях, прицепляться к автомобилям и извозчикам, лазать на все башни и колокольни, сиживать верхом на пушках в Кремле и купаться в Москве-реке прямо с набережных.

От этой непрерывной деятельности мальчишки за лето пообносились и одичали. Варвара Африкановна уже более не пыталась не давать Никите спуску,— она только говорила, что все записывает в своем сердце и за все сразу, когда придет время, даст спуск.

Отец носил бороду теперь прямо, клином наперед, приезжал домой худой и веселый и шумно разговаривал.

Но всему бывает конец. Осенью взрослые, выяснив на перекрестках все вопросы, начали — одни стрелять из винтовок и пулеметов вдоль улиц, другие — заваливать окна в домах тюфяками и книгами. Мальчишки, по причине изношенной одежды и худых башмаков, тоже попрятались по домам. Было холодно, неуютно и скучно.

Вот тут Варвара Африкановна от всего записанного у нее на сердце и сказала отцу:

— Ты не слушал меня, Алексей, вовремя,— теперь поди, кусай себе локоть.

Никита пошел за отцом посмотреть, как он будет кусать локоть, но отец вместо этого намылил себе щеки и сбрил бороду. Это было самое страшное, что видел Никита за все время революции: у отца оказались безо всякой причины усмехающиеся губы и несерьезный, маленький подбородок. С этого дня между Никитой и отцом установились более взрослые отношения: отец стал будто моложе, Никита — постарше.

На следующий вечер Никита и Алексей Алексеевич, спрятавший лицо в воротник, ехали на извозчике на вокзал. На коленях у отца лежал маленький чемодан — все их имущество. Так они бежали из Москвы на юг.

НОВЫЙ ДРУГ

Ехать было не совсем удобно, но весело. В купе вагона, кроме отца, сидело еще пятнадцать бородатых мужиков с винтовками — возвращались с фронта по домам. У одного, рыжего, лежал на коленях небольшой пулемет.

— Я его на огороде поставлю,— говорил рыжий,— я эту штуковину давно собирался завести.

Никита помещался наверху, в сетке из-под чемоданов. Мужики кормили его солдатскими сухарями; один, всю дорогу певший тонким голосом: «Ночка темная,— боюся. Проводи меня, Маруся»,— до того зажалел Никиту наверху, в сетке, что подарил ему ручную гранату:

— С ней нужно аккуратно обращаться, не дай господи лопнет, ничего от тебя, мальчуган, не останется.

Другой солдат, лысый, с бородой, точно запутанной домовым в косицы, говорил Никите:

— Ты его не слушай, поедем лучше ко мне, я тебя на пчельник пристрою,— мне грамотный мальчишка страсть как нужен.

Дорога была долгая. В вагоне — духота, ни лечь, ни пройти. Мужики стали друг к другу придираться. Рыжего с пулеметом выбили, наконец, из купе,— занимал много места. Потом начали придираться и к Алексею Алексеевичу,— кто он такой, а может быть, он буржуй? К удивлению Никиты, отец начал вдруг так лгать, что мужики только рты разинули.

В конце пути в вагоне стало просторнее, можно было выходить в коридор, и там-то Никита и встретил будущего своего друга, Ваську Тыркина.

Этот замечательный мальчик, лет четырнадцати, спал в коридоре прямо на полу, засунув голову в жестяное ведро для того, чтобы проходящие не наступали ему на щеки.

Одет он был в солдатскую шинель с подвернутыми рукавами и весь — крест-накрест и поперек туловища — обмотан пулеметными лентами. К поясу у него были привязаны ручные гранаты, обвязанные тряпицами, под рукою лежала винтовка с примкнутым штыком. Кроме того, на нем были огромные рваные сапоги и шпоры на цепочках.

Никита с уважением разглядывал столь сильно вооруженного мальчика,— не удержался и потрогал колесики на шпорах. Тогда мальчик вытащил голову из ведра, взялся за гранаты, поддерживая их, с громом и звоном сел на полу, зевнул и сказал Никите лениво:

— Вот я тебя выкину в окошко,— будешь на меня пялиться.

Затем полез в карман за табаком, но табаку не нашел, сдвинул папаху на затылок и опять поднял курносый нос, уставился на Никиту круглыми, светло-голубыми, как у галки, глазами:

— Угости папиросой.

— У меня только шоколад с собой,— сказал

Никита, краснея от того, что из-за шоколада вооруженный мальчик будет теперь презирать его всю жизнь. Мальчик, не презирая, съел шоколадную плитку с необыкновенной быстротой.

— Знаешь, кто я такой? — спросил он.— Вот то-то, что не знаешь, а суешься со мной разговаривать. Я Василий Тыркин, махновец, слыхал?

— Еще бы,— поспешно ответил Никита.

— Дай мне другую плитку,— приказал Василий Тыркин,— этот самый шоколад у нас в ударном батальоне мы нипочем не считаем.

— Вы сейчас в отпуск едете?

— Наш отряд погиб геройской смертью под Екатеринодаром. Я один ушел,— ну, уж зато сколько я врагов переколотил,— сосчитать нельзя. Гляди,— шинель дырявая, сунь палец в дыру,— это все пули, штыковые удары.

— Что же вы теперь хотите делать?

— Тебя это не касается, что я стану делать. Я план обдумываю. Какие у нас города на пути?

— Скоро Лозовая будет.

— Лозовая так Лозовая... Вот надо собрать человек с полсотни, да и занять ее с боем. Хочешь ко мне под начальство?

Мурашки зашевелились у Никиты на спине под курткой. Но с видимой бодростью он согласился идти под начало. Василий Тыркин обещался его не бить: «Ныне это оставлено,— буду к тебе применять нравственное воздействие». Но, покончив с третьей плиткой, он раздумал брать Лозовую.

— Одна беда,— возни потом полон рот: республику надо объявлять, властей ставить на места, а этого я страсть не люблю,— я человек военный.

У Никиты отлегло от сердца: несмотря на присутствие духа, ему все же было страшновато брать с боем город. Повертевшись некоторое время около опасного мальчика, он пробрался в купе к отцу и сидел тихо. Но скоро послышался гром и звон оружия, в купе вошел Василий Тыркин, сел рядом с Никитой и спросил:

— А ты сам-то куда едешь?

— Мы с папой едем на Кавказ.

— В таком случае и я с вами на Кавказ поеду,— мне все равно деваться некуда. И вам спокойнее будет с военным человеком, и мне спокойнее. Дай-ка еще шоколаду. Я, признаться тебе, три дня ничего не ел. Это, значит, твой отец сидит? Очень славно. А у меня, брат, ни отца, ни матери...

С этого дня Василий Тыркин, вместе со своими бомбами, пулеметными лентами, шпорами и винтовкой, более не отставал от Рощиных, а к Никите относился хотя и с презрением, но дружески, даже горячо.

На двенадцатые сутки все трое приехали в город Н., где Алексей Алексеевич взял лошадей и отправился вместе с мальчиками в горы, в именье одного из своих друзей, называвшееся «Кизилы».

СТРАШНОЕ МЕСТО

Прошлым летом местные разбойники сожгли в этом именье дом. Сторож,— единственный теперь обитатель «Кизилов»,— старичок, вывезенный из Тульской губернии, по фамилии Заверткин, до того боялся этих разбойников, что, когда на дороге показывались какие-нибудь всадники, он выходил из сакли, снимал шапку и низко кланялся, говоря:

— Счастливый путь, красавцы. Дай, господи, вам удачи, добрые люди!

Завидев подъезжающих Алексея Алексеевича с мальчиками, Заверткин точно так же вышел кланяться. Когда же из арбы вылез Василий Тыркин, старичок начал креститься. Его успокоили, и он захлопотал, засуетился, устраивая приезжих.

В низенькой белой сакле, с земляным полом и маленькими окошечками, постланы были три тюфяка, набитые сухими листьями. Привезенную из города провизию поместили в чулане при сакле. В очаге разожгли огонь, повесили чайник, на сковородке поджарили колбасу, выпустили туда яйца, и ужин на столе, устроенном из старой двери, был неописуемо вкусен и

сладок. Василий Тыркин, наевшись, разоружился и даже снял шинель. Никита с отцом вышли посидеть на бревне за порогом сакли. Ночной воздух был мягок. Внизу сонно шумел поток. Никите тоже хотелось спать, и он таращил глаза на большие звезды, переливающиеся чистым светом над смутным очертанием гор.

Заверткин, присев у бревна на пятки, посапывал пахучей трубочкой и рассказывал про свое житье-бытье в «Кизилах».

— Живому человеку здесь жить невозможно,— говорил он деликатным голосом,— сколько горя наберешься, слез одних прольешь,— и-и-и, батюшка, Алексей Алексеевич. Первое дело — медведи кровожадные, весь лес изломали, ничего не боятся, только и смотрят — кого задрать. Второе дело — шакалы... Слышите, как он заливается...

Никита прислушался,— в тишине, далеко в лесу, тявкал кто-то, подвывал, начинал рыдать сдавленным воплем. Никита поджал ноги и придвинулся к отцу.

— Так он и заладит вечить, скулить на всю ночь,— продолжал Заверткин.— А что ему надо, о чем тоскует? Видно, так господь его сотворил уродом. Третье дело — змея, желтобрюх, ужасная, длинная,— сколько я от них бегал. У нас в Тульской губернии змейка аккуратненькая, а этот, злодей, сам из пещеры на баранов кидается. Отвратительная здесь природа. Одна пчела хорошо водится, и в потоке рыбы — хоть руками лови... И еще забота — разбойнички. Это ведь самое воровское место — Кавказ. Пятнадцать лет здесь живу — не могу привыкнуть... Нет, это место страшное, здесь жить нельзя.

Звезды, на которые смотрел Никита, становились все больше над горой, все пушистее и вдруг погасли. Чей-то родной голос проговорил над ухом: «Э, братец мой, да ты спишь». Чьи-то руки взяли и понесли, и положили на что-то удивительно мягкое, пахнущее листьями. Потом это мягкое провалилось...

...Потом из камина вылез медведь, сел за стол, подпер лапой щеку и сказал человеческим голосом: «Нет, братец мой, это место страшное...»

ЯШКА

Никита проснулся от голосов на дворе. Сакля была пуста. В раскрытой двери, за которой — синее-синее небо, стоял низкорослый козел с бородой до земли и глядел на Никиту стеклянными глазами. Когда Никита протянул к нему руку и позвал: «Бяшка»,— козел бешено топнул копытцем. Никита бросил в него подушкой,— козел исчез.

На дворе Василий Тыркин уже мастерил сачок из своей рубашки, которая только и годилась для рыбной ловли. Заверткин колол чурки, растапливая помятый, вычищенный самоварчик.

— Я уж как просил разбойников,— говорил он Алексею Алексеевичу, сидевшему на бревне,— все берите, грабьте, благодетели, самовар мой не грабьте. Атаман мне говорит: «Счастье твое, старый черт, что на хороших людей напал, революция не нуждается в твоем самоваре»,— и пхнул в него ножкой. Вот самоварчик с тех пор и течет.

Никита сел рядом с отцом. Горы, казавшиеся вчера ночью далекими и огромными, были совсем близко и не так высоки. Зеленая лужайка недалеко от сакли уходила вниз, и там, в утреннем тумане, шумел, тише, чем ночью, поток. На той стороне его, еще неясные, проступали из тумана деревья. А из-за угла сакли высовывалась рогатая голова козла, и он опять непонятно уставился на Никиту.

— Сказать трудно — сколько я от него горя хлебнул,— говорил Заверткин,— и бил я его и в лес водил, чтобы его там звери задрали,— он все свое: только и заботушки,— кого ему забодать. Яшка, Яшка, поди сюда.— Козел подошел.— Видите, как он на мальчика смотрит. Ему, значит, интересно — напугать, с ног сбить. Когда у нас разбойники-то были — он так на атамана накинулся,— тот от него по двору без памяти бегал... Ну, пошел, пошел.— И Заверткин кинул в козла чуркой.

Напившись чаю, Алексей Алексеевич ушел за двенадцать верст в город — «выяснить политическую обстановку» и, если попадется, купить для нужд хозяйства мерина. Мальчики пошли ловить рыбу.

Поток прыгал и пенился глубоко в узком и туманном ущелье. Мальчики спустились к нему по выступам скал, хватаясь за полусгнившие лианы. Внизу было сыро, пахло гнилью, и грозно шумела седая вода. Василий Тыркин пробрался по мокрым, покрытым плесенью камням до середины потока и начал заводить сачок.

— Есть! — вдруг крикнул он, вытаскивая бьющуюся голубую пеструшку.

И сейчас же за спиной Никиты кто-то ответил: «Бе!» Никита обернулся. За его спиной стоял козел, и, едва только мальчик обернулся, Яшка ударил его в спину рогами. Никита вытянул руки и полетел в поток,— вода подхватила его, протащила по каменистому дну. Отплевываясь, он ухватился за камень, вылез и сейчас же начал искать булыжник — запустить в козла.

Но Яшка уже стоял наверху, на скале, и, нагнув голову, глядел оттуда белыми глазами на Никиту. Мальчики полезли за ним — ловить. Яшка исчез, точно его никогда и не было. И только вечером Заверткин привел его из лесу, привязал за рога к дереву и, стегая хворостиной, учил:

— Будешь бодаться, будешь бодаться, иродова образина.

Козел помалкивал.

ЗИМА

Теплые дни стояли с неделю, потом подул резкий ветер, оголились, потемнели голые леса, и мрачный шум их заглушал ворчание потока. По вершинам гор клубились серые облака, цеплялись за лесистые склоны и, наконец, заволокли все небо. Выпала крупа. Потом пошли дожди со снегом.

Весь день приходилось сидеть в сакле. Алексей Алексеевич часто уезжал на купленном за «бешеные» деньги мерине Пузанке в город на заседания «Комитета восстановления государственного порядка». Никита, чтобы не отбиваться от чтения и за неимением

иных книг, читал «Молоховца», поваренную книгу, и на ней же решал арифметические задачи. Василий Тыркин вырезал деревянные ложки,— этому его научили в ударном батальоне.

Ложились спать рано. Вставали с восходом солнца. В сакле было хорошо, покуда горел очаг, завелись даже сверчки и мыши, но за ночь сильно выдувало.

Однажды на рассвете Никита проснулся от холода. На столе горела свеча, воткнутая в бутылку. Отец, уже одетый, сидел на корточках перед очагом и дул под охапку хвороста в угли. Никите стало очень жалко отца, сидящего на корточках, и он сказал:

— Папочка, холодно,— правда?

— А вот я сейчас огонь раздую,— ответил отец негромко, взял свечу и вышел в сенцы и оттуда уже громко проговорил: — Никита, снегу-то сколько выпало за ночь!

Никита накинул пальто и выбежал в сенцы. В раскрытую дверь была видна поляна, покрытая белым, чуть голубоватым снегом. Пахло зимним, чистым холодком. За горами, в мутном небе, проступали красные полосы зари. Отец обнял Никиту за плечи и сказал странным голосом:

— А что теперь у нас в Москве делается, а?

Снег этот держался долго, хотя дни стояли мягкие, с задернутым мглою солнцем. Василий Тыркин еще до рассвета теперь начал уходить в лес, пропадал там целыми днями. «Время, парень, строгое,— говорил он Никите,— самое теперь время красного зверя бить». Иногда он брал с собою и Никиту.

Однажды мальчики забрели далеко в горы и обходили овраг, где, по расчетам, должен был лежать медведь. Никита шел с опаской, осторожно раздвигая сучья, ронявшие снег. Василий Тыркин посвистывал иногда, саженях в ста по той стороне оврага.

Вдруг неподалеку послышался хруст дерева. Никита остановился,— ясно было слышно, как кто-то ломает сухие ветки. У него стало пусто в коленках. «Ну, нет, не струшу»,— повторил он несколько раз и ползком начал спускаться в овраг.

На склоне оказались следы, точно кто-то хотел подняться и съехал,— из-под снега зеленела мерзлая трава. Никита поднялся, чтобы обогнуть кусты, и сейчас же увидел трех людей, сидевших с поджатыми ногами на снегу вокруг кучи хвороста, приготовленного для костра. Все трое были в папахах и бурках, усатые и черные, и мрачно глядели на хворост.

Но вот ближайший начал поворачивать голову и впился в Никиту круглыми темными глазами... Вскочил на ноги и выхватил из-под бурки кинжал. Товарищи его тоже поднялись, вынули кинжалы. Затем первый подошел к Никите, взял его, как филин, жесткими пальцами за руку и дернул вниз, поставил около костра.

— Ты кто такой? Ты зачем здесь? — спросил он свирепо. Его товарищ схватил Никиту за подбородок и сказал: ««Ва!» Другой щелкнул очень больно Никиту в нос и сказал: «Ха, ха!»

— Пожалуйста, не щелкайте меня по носу,— проговорил Никита неожиданно шепотом, и сейчас же, чтобы не показать, будто он трусит, он выдернул руку и толкнул в живот того, кто сказал «ха-ха». Человек этот подскочил, ударил в ладоши и сел на корточки,— коричневая рожа его была осклаблена, выпученные глаза — желтые, как от табаку.

— Не смейте меня трогать, а то мы с вами расправимся,— насупившись, пробурчал Никита. Тогда первый опять взял его за руку и прохрипел:

— Спички у тебя есть?

Никита подал ему коробочку со спичками. Все трое закричали: «Га! ва! ха-ха!» — и подожгли костер,— повалил дым, затрещали сучья. Никита сказал, что ему бы нужно теперь идти. Ему на это ответили:

— Мы тебе руки свяжем, уведем в горы. Нам за тебя денег дадут.

— Вы разбойники? — спросил Никита, кусая ноготь.

— Кто — мы? Конечно — разбойники. Мы дома жжем, людей режем, деньги себе берем. Мы абреки.

Разбойники опять вынули кинжалы, и каждый начал резать на мелкие кусочки мерзлую баранину, ле-

жавшую тут же на снегу, насаживать кусочки на хворостинку.

«Бах!» — вдруг раскатился по лесу выстрел. Разбойники, как на пружинах, вскочили, оглядываясь, ощерясь. «Бах! Бах! Бах!» — один за другим хлестнули и гулко покатились по лесу три выстрела. Никита увидел в шагах пятидесяти Василия Тыркина, стрелявшего с колена по разбойникам. Никита сейчас же бросился в гору и лег. «Бах! Бах!»

Затем все затихло. Только очень далеко трещали сучья,— улепетывали разбойники. И скоро послышался тревожный голос Василия Тыркина:

— Никита? А Никита? Куда ты провалился?

— Здесь я,— ответил Никита, размазывая ладонью вдруг полившиеся слезы.

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

В феврале опять подул ветер, хлынули дожди, вздулся и сердито заревел поток, и уже по-весеннему зашумели влажные леса.

А когда выглянуло солнце, на коньке сакли свистнул протяжно скворец и, задирая к солнцу черную головку, залился на разные чудесные голоса. Заверткин вынес было из погреба колоды с пчелами. Но радость весны прервалась неожиданным событием.

Однажды ночью все проснулись от далекого грохота, похожего на гром. Это стреляли пушки. Василий Тыркин нацепил гранаты под шинель и, озабоченно пошмыгивая, ушел на разведку. Отец то выходил из сакли и слушал раскаты канонады, то присаживался к столу и хрустел пальцами. Заверткин взял самовар и унес его в лес: «от греха подальше». Никита сидел на тюфяке,— у него ослабели ноги и было тоскливо.

В конце дня пушки стали затихать, и опять нежным голосом запел скворец на сакле. К вечеру явился Василий Тыркин с исцарапанной щекой и без гранат, бросил картуз об землю и сказал:

— Наши все пропали.

Алексей Алексеевич опустился к столу и закрыл лицо руками. Потом он позвал Никиту, поставил его между колен и, глядя серьезно в лицо ему, сказал:

— Нам нужно бежать, Никитушка.

— Куда?

— Не знаю, подумаю.

Он подошел к двери, долго глядел на горы, потом махнул рукой:

— Вот, нам уж и нет больше места на родине.

Весь этот вечер отец и Василий Тыркин совещались и не переставая курили табак. Было решено пробраться в Гагры,— на Пузанка навьючить багаж, самим же идти пешком. Отъезд назначили на послезавтра. Рано утром отец, бросавший в огонь очага какие-то письма и бумаги, сказал Никите:

— Поди, пожалуйста, в лес и нарежь побольше хворостинок, нам нужно сплести корзины для вьюка.

На дворе Василий Тыркин, мастеривший вьюки, крикнул Никите:

— Ты не ленись, добеги до оврага, где мы разбойников стреляли,— там хворостины хороши.

Утро было теплое. Нежно зеленели деревья, на иных набухшие почки были точно помазаны смолой. Трещали, летали между ветвей сивоворонки. В лесу, насыщенном запахом весеннего сока, было весело от свиста птиц и бегающих пятен солнца. Нельзя было понять — почему на родине нет больше места жить.

В знакомом овраге, заросшем орешником, Никита услышал такой треск и сопение, что сейчас же счел за нужное влезть на дерево. Было похоже, будто по кустам изо всей силы таскают какую-то тушу,— кустарник так и валился во все стороны. И, наконец, Никита увидел животное, ростом с человека, покрытое драной, бурой, в клочках шерстью. Оно ехало на заду, забирая под себя что попало передними лапами, терлось и валялось, и недовольно поревывало, мотая широколобой мордой, разевало маленький свинячий рот. Это был только что поднявшийся из берлоги медведь,— он линял и выкидывал пробку.

Никита свистнул. Медведь ахнул по-человечьи и

тотчас косматым шаром выкатился из орешника и затопотал, затрещал по лесу.

Никита спрыгнул на землю и стал резать орешники, драть с них легко сходящую сладкую кору. К полудню он нарезал большую вязанку, взвалил на спину и понес домой.

Идти было жарко. Ломило плечи. Несколько раз Никита присаживался и видел дятла, который со страха поднял красный гребешок и пестреньким платочком пролетел сквозь листву, видел, как муравьи тащили сосновые иглы и дохлых мух к себе в муравейник, запустил шишкой в белочку, прильнувшую на растопыренных ножках к стволу дерева, спугнул из кустов огненного фазана и, наконец, приплелся домой.

Еще подходя, он заметил неладное,— у порога валялся разодранный тюфяк. Никита вбежал в саклю,— там все было перевернуто, на полу разбросаны книги, белье, листья из распоротых тюфяков. Никита стал звать отца, но никто не ответил. Не было ни отца, ни Василия Тыркина, ни Заверткина, пропал даже Яшка-козел.

ПОИСКИ

Никита обежал весь двор, заглядывал повсюду, спустился к потоку, кричал, свистал и в сумерки вернулся к опустевшей сакле, сел у порога на бревно, подперся и сидел неподвижно, покуда над очертанием гор не проступили большие звезды, дрожащие от влажности и чистоты.

Никита вспомнил, как в день приезда отец говорил ему, указывая на эти звезды: «В древности люди думали, что у каждого человека есть своя звезда. Теперь не верят этому. Но, если хочешь, я могу тебе подарить вон ту, которая переливается».

Как и тогда, звезды начали расплываться. Никита подышал носом, покусал губы и сдержался: плакать было нельзя. Над лужайкой беззвучно летали две мыши, ясно различимые в звездном небе. Трещала деревянным язычком древесница. От тихого дуновения шелестели листья на тополе.

Вдруг из-под склона лужайки, из темноты, поднялась голова с рогами, выросла, приблизилась, потом поднялась вторая голова, выросла и приблизилась,— это были Яшка и Заверткин. Никита кинулся к старику, спрашивая, где отец. Заверткин, державший в руках самовар, поставил его на землю и рукавом вытер глаза:

— Увели отца и Ваську увели.

И он рассказал, как из города приходило двенадцать человек с пулеметом, и эти люди схватили Алексея Алексеевича и Василия Тыркина, хотели было тут же их и расстрелять, но они отругались,— крик и ругань была великая... Тюфяки распороли, вещи все покидали, побили,— искали писем каких-то и денег.

Никита хотел сейчас же бежать в город искать отца, но Заверткин уговорил его не ходить ночью; поставил самоварчик, положил в него пучочки сухой травы и попоил Никиту горьковатым и пахучим настоем шалфея. Никита уснул не раздеваясь. На рассвете Заверткин разбудил его, сунул в карман луковицу и ломоть хлеба и вывел на городскую дорогу.

Никита довольно долго бежал по узкому шоссе, вьющемуся с холма на холм белой полоской. Из-за гор поднялось бледное солнце, и внизу, в котловине, в туманной мгле и дыму догоравшего пожарища, Никита увидел вылинявшие кровли города.

Оттуда по шоссе шли две рослые бабы, тяжело ступая под тяжестью узлов. Одна, рябая, с усмешкой оглянула Никиту, остановилась и спросила:

— Куда, барчук, идешь?

— В город.

— Не ходи, милый, зарежут.

И бабы пошли дальше, смеясь о чем-то. Никита со злобой глядел им вслед: «Хотели напугать!.. Зарежут так зарежут!..»

И он еще быстрее побежал по пыльной дороге к городу. Навстречу попадались бабы и мужики с узлами и вещами. У одного на голове была надета граммофонная труба.

Наконец сбоку дороги Никита увидел остатки по-

жарища — обугленные столбы и дымящиеся кучи мусора. Дальше шоссе было изрыто взрывами снарядов; заборы повалены и разбиты; на телеграфных столбах — обрывки проволок; мостовая усыпана битыми стеклами; посреди улицы лежала убитая лошадь с задранной ногой. Наконец стали попадаться солдаты в расстегнутых шинелях, с заломленными картузами, с винтовками, перекинутыми дулом вниз через плечо. С треском, в облаке пыли, промчался мотоциклет, от которого в стороны отскакивали пешеходы. На площади, на перекладине трамвайного столба, высоко над землей покручивался какой-то человек в чулках.

Никита свернул на улицу, полную народа. Скуластый солдат штыком преградил ему дорогу.

— Назад, проходу нет!

— Я ищу отца,— сказал Никита.

— Назад, тебе говорю! — Скуластый замахнулся прикладом. Никита попятился, и в это время другой солдат, пахнущий хлебом и овчиной, положил руку сзади ему на шею:

— Кого ищешь, парень?

Никита, задыхаясь, рассказал ему о пропаже отца. Солдат, пахнущий хлебом и овчиной, проговорил:

— Ах ты, таракан запечный, плохо твое дело... Ну, иди за мной, я уж тебе, так и быть, покажу, где твой батька сидит...

Он привел Никиту к низкому каменному дому, где у крыльца стояли два пулемета и расхаживали солдаты с винтовками дулом вниз. Никита хотел было войти в дом, но его отогнали. Солдат, пахнущий хлебом и овчиной, затерялся. Никита стал смотреть в окна, но на них висели шторы. Время от времени к крыльцу подкатывали мотоциклетки, с них слезали молодые люди в кожаных куртках и, дребезжа по ступенькам шпорами, вбегали в дом. Затем провели несколько арестованных человек,— бледных, полураздетых и без шапок,— и за ними захлопнулась дверь низкого дома с занавешенными окнами.

У Никиты кружилась голова от голода и усталости, но он упрямо стоял и ждал. Вдруг за его спиной кто-то проговорил шепотом:

— Не оборачивайся, иди за мной...

И сейчас же мимо прошел Василий Тыркин в заломленном картузе,— руки в карманы,— свернул в переулок и там только обернулся:

— Никита, отца надо выручать.

— Папа жив?

— До утра будет жив.

И Василий Тыркин рассказал, как их арестовали, привезли на двор низкого дома, где было уже человек двести арестованных, как люди, которые привезли их, ушли, и он тогда выпустил из-под козырька вихор и начал «ловчиться» поближе к воротам. Потом видит,— около отхожего места стоит винтовка, он ее взял, потолкался еще немного по двору, для вида, и, посвистывая, вышел прямо через ворота на улицу.

— У них там такая бестолочь — что хочешь делай... Слушай, вот я что придумал...

ПОБЕГ

Никита и Василий Тыркин пошли на край города, где вчера был рукопашный бой. Домишки здесь стояли с выбитыми стеклами, в дырках от пуль, с отскочившей штукатуркой. На тротуарах виднелись темные пятна. Убитые были уже убраны, но по дворам еще много валялось винтовок, картузов и патронных сумок.

Василий Тыркин подыскал Никите простреленный картуз по голове, сумку и ружье. Свою винтовку, взятую давеча на дворе, он переменил на кавалерийский карабин. Затем мальчики начали обходить разграбленные дома, покуда в одном не нашли то, что им было нужно: в углу на божнице — пузырек с чернилами и перо.

Василий Тыркин велел Никите пристроиться писать на подоконнике, вынул из-за обшлага бланк «Удельного Ведомства Виноделия», найденный им среди мусора, и сказал:

— Пиши: Российская Федеративная Республика...

— А тут напечатано — «Виноделие». Его зачеркнуть? — спросил Никита.

— Нет, не зачеркивай, они с виноделием хуже спутаются. Пиши: «Спешно, совершенно секретно. Во исполнение приказа товарища Главкомброд...»

— Это что же значит?

— А черт его знает... Пиши непонятнее: «Приказано — главного агента гидры контрреволюции, кровавого буржуя, Алексея Рошина, перевести в городскую тюрьму. При попытке к бегству расстрелять на месте. Поручение исполнить товарищам Василию Тыркину и...» как тебя прописать?

— Как-нибудь пострашнее.

— Пиши: «и товарищу Никите Выпусти Кишки...»

Когда замечательная бумага эта была написана, мальчики пошли на базар, купили молока и вяленой рыбы и поели. Никиту прогрело солнце, он лег ничком на чахлой травке, растущей вокруг собора, и сквозь сон слышал то людские голоса, то грохот колес, то острый свист стрижей, летающих как ни в чем не бывало над куполом колокольни.

В сумерки Василий Тыркин растолкал Никиту, мальчики зарядили винтовки и пошли к низкому дому. Переходя площадь, они встретили рослого парня-солдата,— хмуро опустив голову, он брел, загребал пыль огромными сапожищами. Василий Тыркин окликнул его:

— Какого полка?

— Интернационального,— ленивым языком едва выговорил парень.

— Иди за нами.

— Это почему я должен за вами идти?

— Молчать, товарищ! — крикнул Василий Тыркин, задирая к нему нос.— Читай приказ,— и он сунул в лицо ему бумагой. Парень поглядел, поправил винтовку на плече и сказал уже смирно:

— Ладно, идемте, товарищи.

К воротам низкого дома едва можно было протолкаться: люди всякого сброда орали, требовали выдачи пайков и табаку, грозились устроить «вахрамееву ночь» в городе, с руганью лезли на крыльцо и шара-

хались в темноту. Трещали, как бешеные, мотоциклетки. Два прожектора ползали пыльными лучами по темным окнам домов на площади, выхватывали из мрака отдельные бегущие фигуры.

Василий Тыркин пробился к воротам, где стоял часовой — усатый человек в широкополой, очевидно дамской, шляпе, и сказал ему сурово:

— Отворяй ворота.

— По чьему приказу?

— Российская Федеративная Республика. Спешно, совершенно секретно... Читай, тебе говорят... Мне некогда.

Мрачный человек в дамской шляпе посмотрел на бумагу, поводил по ней усами и, все еще нехотя, отворил калитку в воротах. Василий Тыркин, Никита и парень — их спутник — вошли во двор.

— Эй, где дневальный? — закричал Василий Тыркин.— Что за порядки!

— Здесь,— откликнулся из темноты бодрый голос.

— Выдать по ордеру Алексея Рощина, буржуя... Живо, товарищ, не теряйте революционного времени!

— Рощин... Алексей Рощин,— пошли голоса в глубине темного двора.

Никита, вглядываясь, различал сидящие на земле унылые фигуры. Вдруг, точно иглой прокололо ему сердце,— от стены медленно отделился и подходил отец в накинутом на плечи пальто. Голова его была забинтована тряпкой.

— Я здесь,— проговорил он тихо и глухо.— За мной пришли?

— Молчать, кровавая гидра! — закричал Василий Тыркин, замахиваясь на него прикладом. Алексей Алексеевич вздрогнул, всмотрелся и прикрыл низ лица воротником.

— Ведите,— отрывисто сказал он.

Василий Тыркин и ленивый парень поволокли его под руки к воротам, но здесь вышла заминка: часовой в дамской шляпе, приотворив после сильного стука калитку, сказал, что сейчас было распоряжение — никого со двора не выпускать. Василий Тыркин опять показал бумагу, часовой замотал усами,— не могу.

К спорящим придвинулись люди с той стороны ворот, раздались голоса:

— Какие это порядки,— мы ловим, а они уводят... Кто им дал разрешение?.. Покажи пропуск... Комиссара надо позвать... Товарищ, беги за комиссаром...

Во время этой толкотни Никита отыскал страшно задрожавшую, холодную, как лед, руку отца и прижался к ней губами. Василий Тыркин пытался, перекрикивая голоса, читать бумагу, но чья-то рука вырвала ее. Тогда он, ощетинясь от злости, сорвал с плеча карабин, прикладом ударил усатого человека по дамской шляпе и выскочил за ворота. Ленивый парень толкнул туда же Алексея Алексеевича и закричал вдруг исступленным голосом:

— Расступись, убью!..

Толпа подалась, несколько человек шарахнулось с дороги. Зазвякали ружейные затворы, но Никита и Алексей Алексеевич, держась за руки, уже далеко бежали по темной площади. Позади ударили выстрелы.

Отец сильнее сжал руку Никиты. Вдруг впереди бегущих вывернулся Василий Тыркин, крикнул: «Налево, в переулок, к речке!» — повернулся, припал на колено и выпустил в преследующих всю пачку.

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

Заслоняя огромною тенью звезды, высоко над палубой, на рее висела распяленная туша быка. Большая Медведица опрокинулась золотым ковшиком над черным и выпуклым морем. Темный дым из пароходной трубы отходил в сторону и далеко был виден на звездном небе. Высокие мачты, перекладины рей и туша быка были неподвижны, звездное же небо едва покачивалось.

Никита лежал на открытой палубе. Рядом с ним похрапывал отец, завернувшись в одеяло, по другую сторону спал Василий Тыркин. На свертке канатов сидел, мучась бессонницей, босой старичок, бывший очень важным когда-то человеком. По всей палубе,

пропахшей вареными бобами и салом, лежало множество спящих тел. Вот кто-то приподнялся, оглядываясь дико, и опять с сонным рычанием повалился на подстилку. Наверху, между лодок, желтел свет сквозь жалюзи капитанской каюты. В ней открылась дверь, вышел коренастый человек в белом — капитан, и стоял неподвижно, глядя на усыпанное звездами небо, на Млечный Путь. Эти звезды, и Млечный Путь, и Большая Медведица были наверху и внизу, в черной бездне. Огромный пароход, полный спящих, бездомных людей, казалось, летел в звездном пространстве.

Босой старичок, сидевший неподвижно на канатах, пошевелился, поднял голову от колен и проговорил громко, но, очевидно, сам для себя:

— Глаза бы мои тебя не видали...

И сейчас же за его спиной поднялась голова в очках, без усов, с остроконечной бородкой. Поднялась осторожно и стала слушать. Это был агент контрразведки.

— Ах, Африка, Африка,— проговорил старичок.

Никита понял, что старичку ужасно трудно,— не по годам,— ехать босиком в Африку, куда вот уже седьмые сутки шел пароход. Никита положил руки под голову и стал думать об Африке:

О крокодилах, которые хватают детей за ноги.

О львах, стоящих целыми часами неподвижно за бугром песка, подняв хвост.

О страусах с перьями от шляп на хвосте, до того прожорливых, что им можно дать проглотить ручную гранату.

О мухах цеце.

О голых, раскрашенных дикарях, плывущих, размахивая копьями, в остроносой пироге по светлой и дивной реке...

Река эта понемногу покрылась туманом, поднималась к нему и разлилась среди звезд в Млечный Путь.

Покойной ночи, Никита!

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

(Из рукописной книги князя Туренева)

На седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: руки, ноги опухли, образ божий — лицо сделалось безобразное, как бабы говорят — решетом не покроешь. Одолели смертные мысли, взял страх,— волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с лежанки, пал под образа и положил зарок — потрудиться, чем бог меня вразумит.

Как вешним водам сойти,— послал я нарочного в Москву, к знакомцу, к дьяку Щелкалову, с подарками: два десятка гусей копченых, полбочонка меду да бочонок яблок моченых, кислых, чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бумаги доброй и чернил — чем писать.

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю все, что видели грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомненного выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А как стал припоминать, вначале-то,— господи боже. Плюнул, положил тетрадь за образ заступницы: дрянь люди, хуже зверя лесного. Злодейству их нет сытости. Тьфу...

Но, отойдя и поразмыслив, положил я все же начать труд грешный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии блаженного Нифонта. Его еще и по сию пору помнят в нашем краю.

. . . .

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, уроженец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних летах умер. Наума взял к себе матернин дядя его, дьякон Гремячев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал псалтырь, и был в дьячках, и через небольшое время посвящен в городе Коломне, при церкви Николая-чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел в первый раз.

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туреневых, осадный двор, куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого поля шел крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не было другой, как между Донцом и Ворсклой,— либо на Серпухов, либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в городах — береговые полки. Ока так и звалась тогда — Непрелазной стеной.

Старики говорили,— велик при царе Иване был город Коломна, а я его помню,— уж запустел: в последний раз крымский хан перелезал Оку через Быстрый брод,— с тех пор лет двадцать о крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегаться из города,— кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь — воровать. Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да на осадных дворах — дворники, да на посаде среди пуста — заколоченных лавок, бурьяна на огородах — жило стрельцов с полсотни, сторожа Гуляй-города да казенные ямщики.

В пустом городе — скука. Одни галки да голуби ворошатся на гнилой кровле, на деревянной городской стене.

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета земля не родила. Скот весь съели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, кто на север, где рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое множество народа брело в Москву,— дикие звери белым днем драли на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился.

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наш сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили в Коломне за стеной.

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце на солнцепеке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей рваной шубе, и говорит:

— Наступает кончание веку, матушка княгиня: иду я сейчас через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и все они драные, нечесаные, и бранятся матерно, а иные борются и на кулачки дерутся. Я их срамить. А один мне поп, Наум, нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу продал, знается с колдунами и службы не стоит, и быть нам под Борисом нельзя,— мы все, попы, уйдем в Дикую степь к казакам, к атаману Ворону Носу. Вы еще нас попомните».

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером поп Наум подошел к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда его не впустили.

Наум сел на лавку в избе, где мы ужинали, сам худой, борода спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрясника полбока выдрано,— тело видно. И стал он говорить дерзко:

— Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на торгу все слышали — скачут кони, а ни коней, ни верховых не видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместный, протопоп мне по шее дал: «Николай-чудотворец, говорит, и без тебя обойдется». Дайте мне нагольный полушубок да шапку баранью,— я уйду в степь — воровать. А не дадите мне шапку да полушубок — наложу на вас епитимью,— я еще не расстриженный,— или еще чего-нибудь сделаю. Все равно теперь пропадать. Мы, русские люди, все проклятые. У нас дна нет.

Сейчас же дали полушубок, и шапку, и пирогов на дорогу. Наум всех нас благословил: «В остатный, говорит, раз». Глаза кулаком вытер крепко и ушел — бухнул дверью. И слышим — засвистел в темноте, на улице, из слободы ему безместные попы откликнулись. Матушка заплакала,— так стало нам всем страшно.

Прошло с тех пор более года. Голод, слава богу,

кончился, но в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберется торг на площади у пустого гостиного двора, и пойдут разговоры: никому не до торга. Собьются в круг и слушают рассказы: про то, как знающие бабы вынимают человеческий след, и след тот сушат в печи, и толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из Волыни колдуны, разбрелись по русской земле,— напускают порчи, засушье, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а выйти тем колдунам велел польский король, и про то, как по деревням шатаются лихие люди — скоморохи и домрачеи,— бренчат, скачут, крутятся, на дудках дудят, а придут на деревню — раскинут рогожную палатку, поставят в ней «Египетские врата» и заманивают народ глядеть: пятерых за копейку. Ну, как не пойти, не поглядеть! А посмотришь в «Египетские врата», засосет, затянет — закружится голова, и летит человек через те врата в место без дна, в пропасть, где ни земли, ни солнца, ни звезд — бездна. Так все село и выведут лихие люди.

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили, и били на площади кнутом, и пол-языка ему резали. Рухлядишку его, что была на возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города.

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Димитрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими, и увезен в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе — идти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.

Помню — великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая-чудотворца,— звонили хорошо, унывно. Денек,— тоже помню,— был серый. За рекой галки летали: поднимались под небо и тучей падали вниз, на черные избы,— птиц этих было видимо-невидимо. Думаю: «К чему бы столько птиц над слободой?»

В это время проходит мимо нашего двора странный человек, в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий,

румяный. Идет, руками болтает,— прямо к площади, где толчется народ на навозе у возов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц:

— Глядите,— кричит,— воронья-то, воронья... Не простые птицы — вороны... Народ православный! — шапку с себя, войлочный колпак, содрал,— народ православный!.. Кто в бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!..

Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту — в полполотенца, внизу на ней печать, и другая печать — на шнуре. Народ побросал воза, лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константинов стал читать:

— «Во имя отца и сына и святого духа. Не погиб я воровским промыслом злодея Годунова, ангел божий отвел руку убийцы, зарезали иного отрока, не меня. Ныне я собрал несчетные полки... После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за истинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет — бегите к казакам на Дон».

Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича Димитрия. В народе закричали: «Постоим, не выдадим!» — и шапки кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают — жуть.

В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велит стрельцам народ разогнать. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ знай лезет к воеводиному коню. «Говори, кричат, правду: кто истинный царь — Годунов или Димитрий?.. Животы хотим положить за истинного царя».

Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топтунками, и волокли по навозу,— хотели топить в полынье под мостом. Воевода воровства не унял,— ни с чем уехал на свой двор, велел затворить ворота.

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забил

набат. Говорили потом — колокола сами звонили на колокольнях.

Весь город проснулся, вышел на стены. Видели — снег был красный, как кровь. Птицы — вороны — тучей поднялись над пожарищем, над великим огнем. И еще видели в небе, над дымом, над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у нее торчали дыбом, на руке держала она мертвого младенца.

В ту же ночь стрельцы разбили воеводины ворота и бегали по двору, ругаясь матерно, искали воеводу убить и, не найдя, сорвали замок в подклети, выкатили бочку вина, и пили сами, и поили земских людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень.

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый человек, подкинувший на торгу прелестную грамоту. На другой день коломенские спохватились, что этот человек был всем ведомый Наум, безместный поп. А его и след простыл, ушел и увел с собой холостых стрельцов, пропойного дьячка Константинова и немало слободских ребят. Ушли они на телегах, взяли с собой наряд — единорог — и двухфунтовую пушку, пушечного зелья и рухлядишки, что успели награбить.

Еще минуло более году. Всех бед и не запомнишь. Царь Борис умер: сел ужинать, и лопнула у него утроба, изо рта потекла грязь. Воевода Басманов со всем войском передался на сторону царевича Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев и Пушкин, читали перед народом грамоту,— сулили великие милости. Народ взял тех послов, повел на Красную площадь, и там они читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Иванович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе поповский сын. Народ закричал: «Сыты мы Годуновыми!» Ударили в набат. Кинулись в Кремль, побили кольями стрельцов у Красного крыльца, ворвались в палаты, схватили царя Федора с царицей и поволокли через крыльца и переходы в старый годуновский дом. Скинули царя.

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красной площади. Грабили лавки на Варварке, и на Ильинке, на Маросейке. На пловучем мосту через Москву-реку

резали купчишек, кидали в воду. Из боярских дворов, из-за ворот, стреляли из пищалей. Много было разбито кабаков, выпито вина. И такие последние людишки скакали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы,— московский народ только крестился, плевался, дивился много: ну, и нечисть!

На другой день приехали от царевича князья Голицын и Масальский с товарищами, и убили они царя Федора и царицу-мать, и народ выкрикнул царем Димитрия.

Мы с матушкой тогда все еще жили в Коломне. Приезжие из Москвы говорили, будто в Москве — смутно, и в народе шатость: сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь Димитрий своих людей сторонится и знается больше с поляками. В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню стоит не бережно. Ноги у него короткие, правая рука короче левой руки, а нос длинный, и на нем большая бородавка, волосы носит торчком, бороду недавно только запустил, да и та у него растет скудно. На самое Крещенье, на Москве-реке, на льду, построили потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сделана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из пищалей. А когда докатили ее до ледяной крепости, царь Димитрий выскочил из башни и закричал не по-русски: «Виват!»

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царем посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глумится над русской землей?

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Ее надоумили протопоп от Николая-чудотворца и толстая попадья — бить государю челом на деревнишке,— просить землишки, черных людишек и животов и просить — сколько даст.

Собрали мы десять подвод — птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна беленого. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись.

Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.

Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний,— смотрю,— Наум, я сразу его узнал, в черном добром кафтане, о сабле, и сам красный, злой, пьяный,— едва сидит в седле.

— Эй, дьявол! — кричит Наум.— Хозяин, пива...

Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улыбается.

— Можно, казачки,— отвечает,— можно, любезные, пиво у меня студеное, сытное, кому и пить, как не вам.

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и слез с коня,— сел на бревнышко у крыльца.

— Из Димитриевых али за истинного царя? — спросил он у хозяина со злобой.

Баулин усмехается, поглаживает бороду.

— Мы люди посадские,— отвечает,— мы — как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.

— Ах ты сума переметная, сукин ты сын! — говорит ему Наум.— Да разве Димитрий царь: расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мел. Я-то уж знаю,— я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я знамя взял... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушел он в степь,— конь под ним был добрый, ах, конь... Князя три раза я бил саблей по железному колпаку,— всего окровавил... Господи прости, сколько мы русских людей побили... А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли... Пороху, свинца нам продавать не велят... Придешь в кабак, из-за стола тебя выбивают вон... Ну, погоди...

Наум стащил с себя шапку, бросил ее под ноги и стал топтать.

— Мы знаем, за кем пойдем. Мы за веру постоим... Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!

— Будет тебе, Наум, нехорошо,— сказал ему Баулин,— поди на сеновал, отоспись.

— Нет, я не пьяный... А — пьян, не от твоего вина... Подожди, подожди,— ужотка вам запустим ерша...

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулся в сторону. Наум поскакал за ним на одной ноге, повалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьевым горам,— только пыль да куры полетели в стороны.

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли к Шуйскому на двор,— кланяться, просить заступиться перед царем за нас — сирот: не дадут ли землишки.

Боярин-князь Василий Иванович Шуйский вышел к нам на крыльцо, и матушка кланялась ему в пояс, а я — в землю, хотя и невдомек нам было, что уже не князь — плотный, низенький старичок в собольей зеленой шубе — стоит перед нами, а без двух дней царь. Борода у него была редкая, мужицкая, лицо одутловатое, щекой дергает, а глаза — щелками — большого ума, не давал только в них взглянуть.

Сказал нам боярин-князь тонким голосом, со вздохом:

— Заступлюсь перед кем нужно за твое сиротство, матушка княгиня, но обожди, обожди, ох, обожди. Ныне все мы под богом ходим... А мужа твоего, князя Леонтия Туренева, помню хорошо,— при царе Федоре он на три места ниже меня сидел: я, да князь Мстиславский, да князь Голицын, да Тверской князь, Патрикеева рода, а после него место Туреневу, и ему воеводой место в сторожевом полку, а в большом полку — третьим воеводой. Мальчику-то вели это заучить.

Князь погладил меня по голове и отпустил нас.

На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой на Красную площадь, на торг. Куда там —

не протолкаться. Народ так и лезет стеной,— боярские дети, стрельцы, персюки, татары — в пестрых халатах, поляки — в голубых, в белых кафтанах, иные с крыльями, а наши — в зеленой, в коричневой,— все в темной одеже.

По бревнам громыхают телеги. Или проскачет боярин в медной греческой шапке с гребешком,— впереди него стремянные расчищают плетьми дорогу,— опять давка.

У кремлевской стены стоят писцы, кричат: «Вот, напишу за копейку!» Попы стоят, дожидаются натощак — кого хоронить или венчать, и показывают калач, кричат: «Смотри, закушу». Кричат сбитенщики, калачники. Дудят на дудках слепцы. Между ног ползают безногие, безносые, за полы хватают. А в палатках понавешано товару,— так и горит. Из-за прилавков купчишки высовываются, кричат: «К нам, к нам, боярин у нас покупал!» Пойдешь к прилавку,— вцепится в тебя купец, в глаза прыгает, а захочешь уйти ни с чем, начинает ругать и бьет тебя куском полотна, чтобы купил. Подале, на Ильинке, на улице, сидят на лавках люди, на головах у них надеты глиняные горшки, и цыгане стригут им волосы,— Ильинка полна волос, как кошма.

От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось трясение в ногах. Вернулись мы на подворье и рано легли спать. Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей». На столе горит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, шепчет: «Хозяин прибегал, велел схорониться: говорит, чье-то войско на Москву идет, уже в город входят».

И мы слышим — топот множества ног и скрип телег многих, а голосов не слышно,— входят молча. Вдруг застучали в ворота,— отворяй. Матушка меня схватила, спрятались мы на сеновале и до утра слушали,— нет-нет, да и ломятся к нам на двор.

А утром узнали: в Москву вошло восемнадцать тысяч войска с князем Голицыным, и в Кремле уж бунт — стрельцы жалованья просят за три месяца вперед и грозят перекинуться от царя к Голицыну, и Шуйский будто сказался больным, а иные говорят,— видели его ночью у Арбатских ворот на коне.

В самый завтрак к нам на подворье забежал божий человек, голый, в одних драных портках, на шее у него, на цепи, висят замки, подковы и крест чугунный. Матушка взглянула на него,— вся в лице переменилась и положила ложку. А божий человек смеется, морщится, шею вытянул — и начал топтаться, как гусь, забормотал:

— В Угличе-то кого зарезали, а? Знаете?.. Его же, и ныне его зарезали, сам, сам видал,— вот она.— И протягивает тряпочку, всю в крови.— Понюхайте, не жалко, царская кровушка медом пахнет... А когда еще раз, в третий раз, резать-то его станете, опять меня позовите...

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалилась на скамейку. Спрыснули ее с уголька, она вскинулась.

— Царя убили! — кричит.— А вы тут ложками стучите... Идем, идем скорее,— и тащит меня за руку из-за стола, и мы побежали в город.

В Боровицкие ворота нас не пустили,— в воротах и у моста через Неглинную стояли казацкие воза, кони у коновязей, кипели котлы на кострах, казаки кричали с того берега:

— Поляки причастие из Успенского собора выкинули... Из Чудова монастыря мощи выкинули... Весь народ будут в польскую веру перегонять...

Вдоль Неглинной бежали люди,— крик, давка, визг бабий... Смотрим,— сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи поляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той стороны казаки бьют по нему из ружей.

Добежали мы до Красной площади, и здесь толпа понесла нас вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зеленые, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, гудел Иван Великий.

В толпе докатились мы до пригорка,— Лобного места,— кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам

прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно,— на лицо надета овечья сушеная морда — личина.

— Кто это лежит, кто лежит? — спрашивает матушка.

Ей отвечают многие голоса:

— Царь.

— Русский православный царь лежит.

— Не царь, а расстрига, вор...

— Нет, это не он, ребята, лежит.

— Господи, помилуй!

— Он много тощее, а этот — плотный...

— А он где же?

— Он ушел...

Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мертвому телу,— гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и щека в крови, волоса — растерзаны.

— Вот вам крест святой,— закричал Наум и перекрестился на румяные главы храма,— этот на лавке лежит: царь Димитрий, расстрига, вор... Мне верьте... Я кровь за него проливал, будь он проклят... Его мало мучили... Надо еще мучить...

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, крашеная, и он вставил дудочку мертвецу в руки... Вставил, всплеснул ладонями, разинул разбитый рот,— хотел, видно, засмеяться,— но пошатнулся, повалился навзничь...

Народ зашумел, закликали бабы дурными голосами. А в это время ударили с кремлевской стены из пушки, зазвонил благовест, отворились ворота, и выехали бояре,— впереди всех Василий Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, затоптали, кое уже как пробились мы к Москве-реке. На той стороне по Замоскворечью шла стрельба,— казаки и посадские резали поляков, разбивали их осадные дворы.

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое началось житье. Тяглые и черные людишки с нашей вотчины почти все разбежались — иных сманивали казаки, иные от поборов, от кормовых, от государева тягла разбредались розно — куда глаза глядят.

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царем Василия Ивановича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицыных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест не целовали, а мы крест целовали Димитрию, он тогда из Москвы ушел в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню».

Так и вышло. Осенью князь Шаховской, сосланный Шуйским на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а воевода Телятевский поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из лесов шиши. Двинулась мордва на Нижний-Новгород. Взбунтовался в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты были под Тулой и под Рязанью. Началась смута.

А к Покрову дню и объявился Димитрий живой. Шел он из литовской украины с казаками. За ним из Рязани двинулось ополчение с воеводой Прокопием Ляпуновым, а из Тулы вышел Истома Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с названным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском.

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного Димитрия, кричал:

— Дьявол вас мутит, мужичье недотепанное! Царя Димитрия зарезали. А нынешний Димитрий — вор, я его знаю. Зовут его Болотниковым. Он в холопах был у князя Телятевского, и бежал, и попал в плен к татарам, а татары продали его туркам, и работал у них на галерах. А от турок бежал в Венецию-город, а оттуда пробрался на Русь, будь он проклят... И ныне кидает по городам воровские письма.

Болотникова прелестные письма протопоп показывал на торгу и читал их:

— «Во имя отца и сына и святого духа... Велим мы вам, холопам и тяглым людям, побивать своих бояр, и жен их, и вотчины их и поместья брать на себя. И велим вам, слободским тяглым и черным людям, гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабить, и жен их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, всем безыменным людям, хотим давати боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество...»

На святки ночью ворвались в Коломну воры на ста двадцати санях. Матушка услыхала набат, оделась,

одела меня, сняла образа, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был лютый, луна высокая, ясная. Мимо, по улице, скакали сани, полные воров. На ворах шубы, на иных ризы. Хлещут по лошадям, ноги задирают, орут — все пьяные... У Николая-чудотворца часто-часто страшно били в большой колокол. Воры доскакали до площади и сбились у воеводина двора,— стучат в ворота, ломают ставни. Мы с матушкой вернулись в избу.

В избе даже нашей было слышно, как начал кричать человек на площади. Ах, душегубы... Толстая попадья нам потом рассказывала,— сама видела, как вытащили воры воеводу из избы на снег, однорядку, рубаху содрали и ножами резали у него из спины ремни,— допытывались, где казна зарыта.

Ворота мы так и не заперли,— все равно воры выломают. Матушка поставила на стол образ заступницы, зажгла перед ней свечечку. Мы сидим на лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел снег,— идут!

— Прощай, сыночек, голубчик, прости меня Христа ради,— сказала матушка, перекрестила и прижала меня к себе.

В дверь ударили ногой, в избу вошли воры. Впереди — Наум. Шапки не снял, не помолился и говорит застуженным голосом:

— Ну, поели нашего хлеба досыта,— ступайте...

— Наум,— спрашивает матушка со слезами,— ты ли это?

— Звали Наумом... Ныне я вам голова... Бери щенка своего, уходи куда глаза глядят... Счастье твое, что я здесь.

Так мы с матушкой захватили узел с благословленными иконами и вышли из своего дома на трескучий мороз.

На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по колено. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долго нас не впускали, потом, глядим,— над воротами высовывается растрепанная голова. Это был сам протопоп,— узнал нас и впустил.

С той поры жили мы у протопопа в черной подклети. От горя, от дыма горького, от черствого хлеба столько слез пролили,— на всю жизнь хватило.

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе с самозванным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда объявлялось по всей земле: был и Ерошка-царевич, и царевич Гаврилка, и царевич Мартынка,— погуляли, потешились в свое время.

Шуйский осадил Тулу, затопил город. В Москве вздохнули, стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и целовальников — править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. Кто был тот вор,— никто не знал, знали только, что сидел одно время в остроге, в Пропойске, за разбой. Однако в Стародубе на воскресном торгу его признали за царевича, помогли деньгами, пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, окопался земляным валом, загородился частоколом.

Поначалу вор хотел с боем овладеть Москвой,— подбивали его к тому поляки. Дрались они с москвичами на реке Химке у деревни Иваньково, дрались на Яузе, на Ходынском поле, захватили у москвичей Гуляйгород, а Москвы взять не смогли. Тогда тушинские стали грабить кругом деревни. Лисовский осадил Троицу. Сапега разбил Ивана Шуйского и открыл дорогу на север — грабить северные города.

В Москве опять начался голод, а в Тушине — раздолье. И стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за простыми потянулись служилые и дворяне — просить у вора деревнишек. Кланялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, и Хворостин, и Плещеев, и Вельяминов. Вор жаловал — иным вотчины, иным окольничество, а иным и боярство.

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушино, кланяться вору на деревнишке:

— Вот всю землю раздаст, останешься ты с дитем, как обкошенный куст.

А ехать было страшно. Как тогда, весной, Болотникова разбили,— Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь шалил в окрестностях, хвалился, что скоро будет с Волги атаман Баловень,— тогда они сделают пустоту.

Так мы и прождали до осени. А осенью вор поругался с поляками, зажег Тушино, и бежал в Калугу, и там стал набирать новое ополчение. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали боярина Салтыкова с товарищами к польскому королю — просить королевича Владислава на Московское царство. А царь Шуйский послал брата, Димитрия, с большим войском под Смоленск — бить поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушином и пошли на Москву помогать тушинским полякам. А вор из Калуги тоже пошел на Москву и стал в селе Коломенском. Такая поднялась смута — разобрать ничего было нельзя.

На Фоминой неделе в Коломну прилетел польский полковник с гусарами, дворы, что остались целы, выграбил, много народа порубил, посек и порохом взорвал городскую стену. Мы в погребе отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гусары увели с собой. Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли по мешку и пошли куда глаза глядят,— Христовым именем.

Помню,— поутру вышли мы из лесочка и увидели: внизу, под горой, вьется лазоревая река, и на реке, на зеленых холмах, стоят храмы, белые и златоглавые, три стены идут кругом города, за стенами — сады и улицы, изба к избе, высокие, бревенчатые. Матушка глядит на Москву, молчит, и слезы у нее полились.

К полудню мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у ворот, у Земляного вала толпился народ, казаки, стрельцы, а посреди них на возу стоял смуглый, как цыган, человек в черной однорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, лицо гордое, с кудрявой бородкой, на шее жилы надуты. На весь народ человек этот кричал сиповатым голосом:

— Под Клушином лучшие русские люди побиты. Долго еще нам терпеть?.. У царя Шуйского нет счастья. Шуйского надо ссадить. Нам царь нужен молодой,—

простой царь. Чтоб он лучших людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за тем царем за веру православную, за русскую землю души наши положить. Храмы наши поруганы. Поляки животы наши последние грабят, жен наших себе берут. Опустела русская земля...

— Ссадить, ссадить Шуйского! — загудел народ.

Матушка спрашивает у одного посадского,— кто таков человек — кричит на возу?

— Да ты разве не видишь,— отвечает,— Прокопий Ляпунов.

В тот же день,— мы узнали,— народ ссадил Шуйского. Ссадили, и пошла резня. Черные люди хотели вора на царство, Ляпуновы со стрельцами и торговые люди — Михаила Романова, бояре — королевича Владислава. А вор из села Коломенского подскакивал уже к самой Москве.

Чаяли все тогда,— скоро смута кончится. А она только еще разгоралась. Опять начался голод. Пахать, сеять — и думать было нечего. От розни, от нищеты народ вконец отупел,— рукой махнули: хоть черта царем.

Матушка в то время занемогла, и нас приютили в Замоскворечье добрые люди. Мы видели, как вошел в Москву гетман Жолкевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала русская земля. Одни бояре терпели срам, а народ затаился, закаменел лютой ненавистью, ждал срока. Видели мы, как подошло из Нижнего и северных городов мужицкое ополчение с князем Пожарским,— осадили Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечья остались пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребах, по ямам, обросли коростой. Теперь руками разводишь,— как на семя-то осталось русского народа.

Но, видимо, наступал предел муки человеческой. Помощи ждать было неоткуда. Не в кого верить, не на что надеяться. Ожесточились сердца. И русские люди взяли, наконец, Москву и вошли в опоганенный Кремль. Я сам видел, как со стены скидывали в Москву-реку бочки с человечьей солониной. А когда в храмы вошли — только рукой махнули, заплакали. Смута кончи-

лась. Но радости было мало: кругом, куда ни поезжай,— ни сел, ни городов — пустыня, погост.

И еще помню я, как в осеннюю ростепель, в ветреный, серый денек, вышел народ на московские заставы в поле и стоял без шапок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По черной, топкой дороге ехал возок. Тянули его две пары разнопегих лошадок в веревочной сбруе, с подвязанными хвостами. За возком ехали бояре, гости и выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драный, угрюмый народ глядел худенький отрок с опухшими глазками. Боязно было принимать венец Михаилу Романову, тяжко, уныло.

Вдруг к возку кинулся человек в рубище,— упал в грязь на колени и грудь себе ногтями рвет... Вижу,— опять это Наум. Возок проехал, и Наум побежал за возком, не отставал от него до самого Кремля. Бежал, выл,— юродствовал.

С Романовыми были мы в дальнем свойстве, матушка била молодому царю челом на деревнишке, и царь пожаловал нам сельцо Архангельское, что близ Каргополя. А ехать туда было, как на верную смерть: по всему северному краю бродил разбойничий атаман Баловень с черкасами, литовскими и русскими ворами, никому не давал пощады: поймает человека, набьет ему порохом рот и уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олонцу и всех истребили на заонежских погостах, самого Баловня привезли в Москву, повесили за ребро.

Так до времени и жили мы с матушкой в Кремле, при царском дворе, в баньке.

В день архистратига Михаила, после обедни, позвали меня к царскому столу,— в то время было мне лет семнадцать, и я сидел с детьми дворянскими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем.

Царь — худощавый отрок — вышел к нам в ризах и в бармах, сел к столу, снял венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь кушал мало, все больше на руку облокачивался. Волосы у него были светлые, тонкие, реденькие, над губой пушок, лицо усталое. Борис Салтыков наклонялся и шептал ему, царь поднимал лазоре-

вые глаза и улыбался,— и то одному боярину, то другому посылал чашу.

Зато бояре ели сытно,— наголодались, захудели: иной был в нагольную шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скоморохов и дудошников.

Привели скоморохов. Они робеют, жмутся в дверях близ нашего стола. И я смотрю,— один, в бабьем сарафане, с лукошком на голове, вместо кики,— Наум: сытый, и борода расчесана, а глаза мутные, снулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит:

— Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас пожалует — кого петлей, кого кнутом, кого столбом с перекладиной.

Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил вперед, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить:

— Вот я и здесь. Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок никто замуж не берет, развелось их как тараканов, а мужиков мало, все побиты. Только я невеста богатая. Хочешь — бери, хочешь — не надо. За мной приданого: восемь дворов крестьянских, промеж Лебедяни, на старой Казани, да восемь дворов бобыльих, в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое в бедах. А хоромного строения — два столба вбито в землю, третьим прикрыто. Да с тех дворов сходится на всякий год насыпного хлеба восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет. Да с тех же дворов сходится на всякий год запасу — по сорока шестов собачьих хвостов да по сорока кадушек соленых лягушек...

Дальше ничего нельзя было разобрать, так загромыхали бояре,— тряслись на лавках.

Вдруг один дворянин встает и говорит злобно:

— Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В прошлый год он меня на Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил даже до смерти... Он — шиш, воровской атаман.

Царь встал, сложил руки, оглядывается на Салтыковых.

— Ну, хорошо, хорошо,— говорит,— мы его возьмем... Я сам дело разберу.— И он опять засмеялся.— Ведь дурак правду сказал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве — всего богатству...

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел его сослать в Преображенскую пустынь. Там Наум постригся и принял имя Нифонта. Прошли с той поры многие годы.

Я женился, родил семерых детей и похоронил матушку. Жили мы большой семьей в орловской вотчине. Царь Михаил умер. Начались опять войны: воевали и со счастьем и без счастья. Отстраивали Москву, укрепляли стены, строили кремлевские башни и палаты, заводили новые порядки. Москва богатела, но в государстве не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять стали бежать на Дон и на Волгу,— искали воли. Царь искал крепости, бояре и служилые люди — богатства и чести, а народ — своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять неспокойно,— шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так — зря — болтают.

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по пути, говорили нам:

— Сходите, Христа ради, в Преображенскую пустынь, поклонитесь блаженному Нифонту.

Мы говорили богомольцам:

— Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть,— расскажите нам про его подвиги.

Прохожие рассказывали:

— Был он великий душегуб и злодей. В пустыни принял великий постриг, и лег в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы скорее умереть — преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. Раз ночью вся пустынь всполошилась: слышат — Нифонт кричит дурным голосом. Зашли к нему и увидели: Нифонт сидит в гробу, и хулит Христа и божью матерь, и ругается черно, и скрипит зубами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в колокол. Собрались в храм и молились всю ночь. А Нифонт ходил круг церкви и тряс дверь,— не

мог ее выломать, кидался к окнам, к решеткам и кричал простые слова. А к утру затих.

В полдень его нашли в роще, в болоте: Нифонт лежал навзничь, голый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с ним говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лег по другой край болота, и гнусы опять облепили его.

Игумен велел принести ему хлеба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал есть малую толику, чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Все тело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошел к игумену и просил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую тяжелую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь год не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто овес не взойдет на Нифонтовом клину. Но овес взошел и всколосился,— буйный вышел овес. Нифонт собрал его и повеселел. Но уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать лет. Теперь стал стар и светел. Часто приносят ему богомольцы детей, он берет их на руки, и целует, и глядит, и глядит им в глаза, и детям оттого легче.

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В прошлый петровский пост я с семьей пошел на богомолье. Посетили мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь — на речном берегу, в березовом лесу, за высокой белой стеной,— покой и тишина.

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Нифонта. Блаженный шел из березовой рощи, был худ, высок и прям, в черной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шел легко. Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой земли жильца, блаженными глазами.

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошел, будто травы не касаясь ногами.

НА ОСТРОВЕ ХАЛКИ.

Подполковник Изюмов сидел у окна, посасывая янтарь кальяна, и сквозь засиженные мухами стекла глядел на улицу. Дым вливался в грудь легким дурманом. По доскам стола, в чашке с кофейной гущей ползали мухи. В глубине кофейни, на клеенчатой лавке, похрапывал жирный грек. Улица за пыльным окном была залита полдневным солнцем. На старых плитах мостовой валялись отбросы овощей, рыбьи кишки. Спали собаки. На перекрестке, откинувшись к стенке, дремал с разинутым ртом чистильщик сапог у медного ящичка, блестевшего нестерпимо. Наискосок, за окном, тоже пыльным и засиженным мухами, чахоточный цирюльник стриг волосы медно-красному толстяку,— и все лицо его, шея, простыня были засыпаны остриженными волосами. Надо было совсем уже сойти с ума от скуки, чтобы в такой зной пойти стричься.

Между деревянными домиками, у каменных глыб развалившейся набережной, стояли лодки, прозрачная вода под ними была как воздух — зеленовато-голубая. На дне ржавели жестянки от консервов, шевелились волокна плесени.

Подполковник Изюмов сидел, не вытирая капель пота,— они выступили на лбу его, на мясистом носу. А на той стороне пустынной улицы чахоточный цирюль-

ник все стриг, все стриг. Подполковник Изюмов чувствовал, как у него самого под мокрой рубашкой колются стриженые волосы.

«Мерзавец, кефалик проклятый, «пачколя»,— думал он про цирюльника мутной, тяжелой думой и сосал чубук,— кальян хрипел и булькал. Собака на улице, зевнув, щелкнула муху. В этот час городок на острове будто вымер. — Ох, скука, прости господи... Ударить бы кулаком в чью-нибудь морду,— вдрызг...» В мутной памяти подполковника стали возникать различные морды, которые было бы недурно разбить. Но их было так много, что он только вспотел, затонув в этой неизвестной пучине,— морды, хари, рыла человеческие.

В то же время посредине улицы появился рослый молодой человек в матросской белой рубахе, в штанах клешем, из-под морского белого картуза падали волной, наискосок лба, блестяще-черные волосы. Юношеское бритое лицо его было очень бледно и по-женски красиво, только нос, большой и крепкий, придавал ему мужество и нахальство. Он шел косолапо, засунув руки в карманы черных штанов.

Подполковник Изюмов постучал ногтями в стекло. Юноша остановился, обернулся. Подполковник, прищурясь, собрав веки добрейшими морщинками, показал пальцем на чашку: «Санди, заходи, угощу». Юноша кивнул в сторону моря и скрылся в переулке. На лице подполковника появилось хитрое и недоброе оживление,— он бросил на стол пиастры и, выйдя на улицу, горячую, как печь, пошел следом за Санди, или, по эвакуационным спискам,— Александром Казанковым, 26 лет, занятие — литератор, призывался в 1914 году, в 1916-м был контужен, в 1917-м освобожден, в 1918 году проживал в Киеве без определенных занятий, эвакуировался из Одессы пароходом «Кавказ».

Санди вышел на открытый берег, свернул к длинным, на сваях, деревянным мосткам, и у дальнего их края, повисшего над голубой, прозрачной водой, лег животом на горячие доски, раскинул ноги, подпер кулаком щеки и, видимо, приготовился надолго лежать

и глядеть на солнечную, сияющую дорогу в лазурной пустыне Мраморного моря.

— Ну и жарища, черт ее побери,— сказал подполковник Изюмов, подходя по мосткам к Санди, сел сбоку него, поджав ноги.— Препаршивая, я вам скажу, здешняя природа. Кричат — юг, юг, а про клопов небось не кричат. Эгэ! Давеча вытаскиваю платок — в нем клоп. Вытаскиваю портсигар — клоп. На этом острове клопы на вас с потолка кидаются. Византия, будь она проклята,— клопы и жулики. Эхе-хе! А кровушки сколько русской пролито за эту самую Византию. Одним словом,— опять все та же русская глупость. Пришел Олег, прибил щит,— ладно, и успокойся. Нет, без Царьграда жить не можем,— двуглавого орла к себе перетащили. Знаем мы этого орла. Вот он, сукин сын, у меня за воротником — орел ползает.— Подполковник раздавил клопа, вытер о штаны палец, затем понюхал его.— Эх, Россия, Россия! Вы, чай, думаете, я монархист. Между нами,— конечно, не для распространения,— я социалист. Увлекаюсь, знаете ли, Марксом. Я по натуре — культуртрегер.

Санди не отвечал и не шевелился. Из лопнувшего башмака у него торчала грязная пятка. Подполковник плюнул в воду:

— Вчера дуру какую-то хоронили, гречанку. Пошел смотреть. Впереди мальчишки несут деревянных крашеных амуров,— поют, гнусят. За ними — поп, рожа гнусная, черномазая,— я бы этого,— где-нибудь на Лозовой мне попался,— в нужнике бы расстрелял. За попом несут упокойницу — головой кверху, сама в новых ботинках. Гроб плоский — ящиком. Мертвечиха — нарумяненная, в модной прическе, голова мотается... Тьфу... Сволочь ужасная... Ветер, юбки летят... Видали?

Санди, не оборачиваясь, пожал плечами. Подполковник закурил папиросу и обоженную спичку растер между пальцами.

— Нынче утром в цейхгаузе ободранных кошек выдавали,— сказал он спокойно,— бывшим гражданам Российской империи союзнички выдают кошек,— лопайте... Полковник Лихошерстов говорит, что это

австралийские кролики, а по-моему — кошки. Ладно, мы это все припомним. Три года вас спасали, а теперь мы — жри кошек. Хорошо. И мясо консервное — это обезьянье мясо, австралийской человекоподобной обезьяны. Ух, тудыть твою в душу, отзовется когда-нибудь Антанте эта обезьяна. Я, знаете ли,— тут подполковник понизил голос,— думаю, что нам не за Антанту бы надо держаться... У вас, писателей, ум, так сказать, разносторонний,— понимаете, за кого надо держаться, а?

Санди продолжал глядеть на море. Подполковник вдруг громко расхохотался.

— Давеча в общежитии лежу, читаю какую-то брошюрку, и названия-то ее не знаю,— заглавие оторвано. Подходит ко мне полковник Тетькин, заглядывает — что читаю, вырывает книжку,— «ты, говорит, откуда ее взял... ты, говорит, большевик, сукин сын». Это я-то большевик. И начинается форменное дознание. Где взял книжку? Взял,— на окне лежала. Кто ее на окно положил? Это не первый, мол, случай,— брошюры агитационного содержания подбрасывают. Стали мы перебирать всех стрюков — на кого подозрение. А ведь с нами тыловой сволочи эвакуировалось шестьсот пятьдесят душ. Поручик Москалев указал даже на вас. Я говорю: господа офицеры, нельзя же сплеча рубить,— кого, кого, а Санди — литератор, честнейшая личность... Должен вас предупредить — уж очень наши ребята озлоблены, особенно поручик Москалев. Контужен, два ранения в грудь, нога разворочена осколком, жена расстреляна в Екатеринославе, сам — после расстрела из общей могилы вылез... Во сне вскрикивает, вскакивает. Кровь душит... Так я к тому говорю, что если у вас что-нибудь валяется в чемодане... Голубчик, знаю, что у вас нет ничего, но ведь — литератор, наверное, прихватили листовки какие-нибудь на память... Интересуетесь тем и сем... Если имеется что-нибудь предосудительное, выбросьте, дружески предупреждаю.

Подполковник поохал, помолчал и опять засмеялся, негромко:

— Я большевик,— не угодно ли... Нет, я, знаете ли,— искатель... Правды ищу... Интересуюсь тем и сем... Э-хе-хе,— он закрутил головой и бросил окурок в море.— Где она, правда? Вот вы скажите мне... Где она, русская правда-матка? Неужели же — у красных, а? Ведь обидно как-то, а? С другой стороны,— видите, мы уже на острове сидим, кошек кушаем. Может быть, это так нужно, а? Как у вас в литературных-то кругах об этом думают? — вот что важно. Кстати, это из ваших же литературных нравов,— рассказывали мне жестокую историю. Боже мой... Кто-кто, а молодежь больше всех страдает от российской-то заварушки... Вы, наверно, слыхали про Верочку Лукашевич — актриска из вашего литературного кабаре? Странно, как это вы не слыхали. Хорошенькая была девочка... Бывало, сидишь вечером в номере, на улице стрельба, возня какая-то,— словом, российская действительность. И вдруг станет перед глазами лакомая мордочка, блондиночка. Схватил фуражку, и — в кабаре. Я, как видите, красотой не отличаюсь, даже скорее наоборот, человек в высшей степени скромный, но, признаюсь, был один вечерок, воспользовался благосклонностью Верочки. Ах, девулька, девулька... Появился у нее друг сердца, из вашей братии. Это — в то время, когда Киев опять заняли большевики. Закрутила Верочка с этим поэтом любовь, сами понимаете. И он, мерзавец, переехал к ней в комнату, стал учить ее нюхать кокаин. Сам с. утра до ночи ничего не делает, морда — гладкая, лаковые башмаки завел. Верочка на него работает, халтурит—по театрам, в концертах, в кабаре, и все это, конечно, под кокаином. Исхудала, глаза провалились, и в своем сукином сыне души не чает. Один раз его за эти лаковые башмаки едва не вывели в расход. Выручила. Ах, была девочка! Нежненькая. Ей бы в холе жить, за кисейными занавесочками. А знаете — чем кончила? Прелюбопытно. Утром как-то забежала к ней подруга (она-то мне все и рассказала). Входит в комнату, видит — Верочка лежит в креслице перед зеркалом: лицо вот так наискось разрезано, горло надрезано, и под грудкой рана в сердце, на полу валяется германский штык —

орудие самоубийства. Врач осмотрел: картина, говорит, ясна,— самоубийца в таком количестве нанюхалась кокаину, что вся омертвела, и резала себя, видимо, сначала из любопытства, а потом уж слишком погано стало,— и добралась до сердца: штык уперла в подзеркальный столик,— на столике след остался,— и вонзила. Вот вам настроение современной молодежи: кокаинисты и кокаинеточки... А друг ее сердца, поэт этот, сквозь землю ушел после этой истории. Вы его не знавали, Санди, а?

На этот вопрос Санди тоже не ответил, не пошевелился, не дал даже знака, что уже было ошибкой: подполковник даже весь вытянулся, замер, глядя ему на затылок—подбритый, загорелый и грязный. По морю бесшумно катился стеклянный вал, дошел до мостков, взлизнул на сваи и с шорохом разбился о зернистый песок. Подполковник лег на мостки навзничь, заслонил глаза рукою.

— Хорошо бы сейчас холодной ботвиньи с осетриной,— сказал он,— под водочку с зеленым лучком, с ядреным квасом. Люблю в еде поэзию... Вы, молодежь, ни черта в этом не понимаете... Вам бы все революцию, столпотворение вавилонское, ломай, жги, дым в небо... А у самих — глаза сумасшедшие, зрачок во весь глаз, без кокаина дышать не можете. В двадцать шесть лет — вот вы и старичок... Санди, хотите сорок пиастров на кокаин, а?

Санди быстро пожал плечами, но подполковник лежал прикрывшись и не заметил его движения.

— Вкуса к жизни у вас нет, вот что. Не в крови дело, мы все понюхали это кровушку-то... Не она у вас вкус отшибла,— а то, что вы все головастики, у вас голова распухла, и фантазия как в горячке; от этого у вас ни вкуса, ни чутья нет,— нос холодный... Нелегкая вещь революции устраивать. Так-то... Поколение надо специальное подготовить, а нам — трудно. Случайно с собой захватил номерок «Южного красноармейца», с вашими стишками, Санди... Слабые стишки...

Подполковник положил локоть на глаза, так пекло солнце, и замолчал надолго. Санди осторожно повернул к нему голову,— подполковник спал. Лицо Санди

исказилось болью, страхом, злобой,— от резкого света выступили морщины у припухших век, у рта. Санди бесшумно поднялся, прошел на цыпочках по мосткам, опять обернулся на подполковника — и вдруг побежал, нагнув голову, держась за фуражку.

Он обежал скалу у моря. Запыхавшись, пошел шагом по краю заливчика и, дойдя до второго скалистого мыса, еще раз оглянулся — мостки были пусты: подполковник исчез.

Тогда Санди изо всей силы побежал по берегу, вскарабкался на скалу и, цепляясь за кусты, обдирая колени, потеряв фуражку, стал взбираться по крутому склону.

Наверху стоял сосновый голубоватый лесок, сильно пахнувший смолою. Низкорослые древние сосенки мягко посвистывали хвоей,— будто шумя, с печальным шорохом, пролетали над ними века. Санди упал лицом в горячий мох и обхватил голову. Сердце дрябло, порывисто рванулось в пустой груди. Красные пятна застилали глаза. Над головой сосны не спеша повествовали друг другу о приключениях Одиссея, отдыхавшего некогда на этом мху, над лазурным, как вечность, морем.

Тем временем подполковник вернулся в кофейню и сел опять у окна. На улице появились люди: гречанки в черных платьях и черных шалях, жирнозадые левантийцы в фесках, офицеры из Крыма, барыни с измученными лицами. Подполковник пил мастику — греческое вино. В кофейню вошел широкоплечий, костлявый офицер и сел за его стол. Глаза у него были серые — мутные, нечистые. Прямой рот подергивался. Положив локти на стол, он спросил хриповато:

— Что нового?

— Ты где напился, Москалев?

— Дузик пили, сволочь страшная,— изжога. Денег нет, вот что. Шпалер хочу продать.

— Погоди, пригодится револьверчик, пригодится.

Подполковник проговорил это так странновато, что Москалев, запнувшись, быстро взглянул ему в глаза. Зрачки его отбежали.

— Ты о чем? — спросил он и, нагнув голову, стис-

нув пальцы, стал сдерживать мучительную гримасу лица.

— Все о том же.

— Говорил?

— Выяснил. Он самый.

— Осведомитель?

— Я тебе говорю, что он — тот самый, киевский.

— Ну, тогда — ладно. Закопаем.

Лицо подполковника начало сереть, стало серым. Короткие пальцы, совавшие в мундштук папиросу, затрепетали,— папироса сломалась.

— Прошу тебя без глупостей,— он с усилием усмехнулся,— я сам доложу командиру.

— Дерьмо, кашевар,— сказал Москалев и с наслаждением сверхъестественными словами стал ругать подполковника, сыпал пепел в рюмку с мастикой.

Санди пролежал в лесу до вечера. На тихое море легли глянцевитые, оранжевые отблески. Вылиняли и пропали. Еще не погас закат, а уже появились звезды. В лощинке блеяла коза, жалобно звала кого-то.

Санди был голоден. Давешний страх прошел немного. Он поднялся с земли, отряхнулся и стал спускаться к дороге, ведущей к городку. Дорога, огибавшая кругом остров, висела в этом месте над высоким и крутым обрывом. Спустившись, он пошел, опустив голову, засунув руки в карманы. Над обрывом остановился и поднял глаза. Теплое, лиловое небо усыпали крупные звезды — путеводители Одиссея. Глубоко внизу — звезды мерцали в Мраморном море. Санди глядел на вселенную. Потом он прошептал:

— Как это нелепо, как глупо,— и снова зашагал по дороге.

Когда он вошел в черную тень деревьев, стало неприятно спине. Он поморщился и пошел быстрее. Спине было все так же неприятно,— но с какой стати оборачиваться. На завороте дороги он все же обернулся. Следом за ним шел высокий, широкоплечий человек, так же, как и Санди, заложив руки в карманы.

Санди посторонился, чтобы пропустить его... Человек подошел. Это был поручик Москалев. Можно было

разглядеть, как лицо его подергивалось, не то от смеха, не то от боли. Это было очень страшно.

Неожиданно, хриповатым голосом он сказал:

— Покажи документы.

Санди поднес руки к груди. Тогда Москалев бросился на него, схватил его ледяными пальцами за горло, повалил на дорогу. Сильно дыша, работая плечами, он задушил его. За эту минуту не было произнесено ни звука, только яростно скрипел песок.

Затем Москалев поднял труп Санди, пошатываясь под его тяжестью, понес к обрыву и сбросил. Труп покатился колесом, ударился о выступ скалы, и внизу зарябили отражения звезд.

Через несколько дней волны прибили труп к острову. В кармане Санди было найдено: несколько пиастров, коробочка с кокаином и записная книжечка,— видимо, дневник, попорченный водою. Все же можно было разобрать несколько слов:

«...Как бы я хотел не жить... страшно... исчезнуть без боли... Боюсь... непонятно... меня здесь принимают за большевистского шпиона... Бежать...»

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Вранье и сплетни. Я счастлив... Вот настал тихий час: сижу дома, под чудеснейшей лампой,— ты знаешь эти шелковые, как юбочка балерины, уютные абажуры? Угля — много, целый ящик. За спиной горит камин. Есть и табак,— превосходнейшие египетские папиросы. Плевать, что ветер рвет железные жалюзи на двери. На мне — легче пуха, теплее шубы — халат из пиренейской шерсти. Соскучусь, подойду к стеклянной двери,— Париж, Париж!

Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней. Во мгле висит солнце. Воздух влажен и нежен: сладкий, пахнущий ванилью, деревянными мостовыми, дымком жаровен и каминных труб, бензином и духами — особенный воздух древней цивилизации. Этого, братец мой, никогда не забыть,— хоть раз вдохнешь — во сне припомнится.

Пишу тебе и наслаждаюсь. Беру папиросу, закуриваю, откидываюсь в кресле. Как славно ветер рвет жалюзи, пощелкивают в камине угли. До сладострастия приятно,— вот так, в тишине,— вызвать из памяти залежи прошлого.

Не вообрази себе, что я собрался каяться. Ненавижу, о, ненавижу рассейское, исступленное сладострастие: бить себя в расхлыстанную грудь, выворачивать срам, вопить кликушечьим голосом... «Гляди, православные, вот весь я — сырой, срамной. Плюй мне в харю, бей по глазам, по сраму!..» О, харя губастая, хитрые, исступленные глазки... Всего ей мало,— чавкает в грязи, в кровище, не сыта, и — вот последняя сладость: повалиться в пыль, расхлыстаться на перекрестке, завопить: «Каюсь!..» Тьфу!

Нет, я давно уже содрал с себя позорную кожу. Паспорт — русский, к сожалению. Но я — просто обитатель земли, житель без отечества и временно, надеюсь, в стесненных обстоятельствах. Хотя у меня даже есть преимущество: свобода, голубчик. Никому я ничем не обязан. Вот солнце, вот я,— закурил папиросу и — дым под солнце. Идеальное состояние. Я — человек, руководствующийся исключительно сводом гражданских и уголовных законов: вот — мое отечество, моя мораль, мои традиции. Я дьявольски лойялен. Попробуй мне растолковать, что я живу дурно, не нравственно. Виноват, а свод законов? Зачем же вы его тогда писали? Что вы еще от меня хотите? Добра? А что это такое? Это можно кушать? Или вы требуете от меня любви к людям? А в четырнадцатом году, в августе месяце — о чем вы думали? Ага! Шалуны, милашки! За время войны я уничтожил людей и вещей ровно столько, сколько мне было положено для доказательства любви к людям и отечеству. Со стороны любви — я чист. Или вы хотите от меня чести? Старо, голубчики. Ни георгиевских крестов, ни почетных легионов не принимаю. За честь деньги надо платить, тогда честь — честь. А ленточки — это дешевка,— мы не дети.

Удивительно, живешь и все больше убеждаешься,— какая сволочь люди,— унылое дурачье. Я уж не говорю про — извините за выражение — Рассею. На какой-то узловой станции был обычай расстреливать жидов и большевиков в нужнике. Этот самый нужник — вся Рассея. Вымрет, разбежится, будет пустое место. Сто лет на ней, проклятой, никто не станет селиться.

А помнишь Петербург? Морозное утро, дымы над городом. Весь город — из серебра. Завывают, как вьюга, флейты, скрипит снег,— идут семеновцы во дворец. Пар клубится, иней на киверах, морды гладкие, красные. Смирн-а-а! Красота, силища. О, мужичье проклятое! Предатели! Шомполами, шомполами!.. Ну, да к черту...

Французишки тоже хороши: салатники,— покажешь ему франк, скалит гнилые зубы. А попроси помочь, попробуй,— оглянет тебя, как будто сроду такого сукина сына не видел, и в лице у него изображается оскорбленная национальная гордость. А кто вас на Марне спас, бульонные ноги, лизоблюдники? Да, да, к черту...

. . . .

А в участках у них городовые — ажаны — первым делом бьют тебя в ребра и в голову сапогами, это у них называется «пропускать через табак». Не умру, дождусь, заложу я когда-нибудь динамитную шашку под Триумфальную арку. Все их долги у меня в книжечке записаны...

. . . .

Вот, полюбуйся: прошло больше часу, как я пишу это письмо, а она за стойкой хоть бы пошевелилась. Бабища, налита вся красным винищем, выпивает четыре литра в день, плечи — могучие, корсетом до того перетянута, что внизу — пышность непомерная, а за грудь — отдай царство: мадам Давид. От этого корсета она так и зла. Идолище. Черноволосая, профиль как у Медеи. Каждые два су гвоздем приколачивает к вечности. Вот — перемыла стаканы, взяла свинцовую лейку, налила пинар[1] во все бутылки и — опять — каменные руки сложила и глядит из-за прилавка на улицу. Это ее бистро называется «Золотая улитка». У самой двери, из-под железной крышки бьет вода, течет ручеек вдоль грязненького тротуарчика. Уличка узенькая, вонючая, вся — в салатных, капустных листьях. Но — местечко старое. Пахнет жареной картошкой, шляются оборванцы. Здесь не морщатся на

[1] Пинар — дешевое вино.

твои дырявые башмаки. Эту уличку — сними-ка шляпу — мостил еще король-Солнце. По квадратным плиточкам мимо этого кабачишки возили в тележках возлюбленных тобою французов,— Дантона возили и Робеспьера возили — головушки им рубить. И такая же идолица, Медея, глядела из-за этого прилавка, не сморгнув глазом...

. . . .

На чем бишь остановился? Да,— мадам Давид изволила, наконец, перевести провансальские очи в мою сторону: «Ни, ни, cher ami, ни капли больше вина, заплатите сначала должок». О прелестница, идол моей души, откуда же я возьму тебе франки? Любви — залежи у меня в растерзанном славянском сердце, а франков нет... Делаю сладенькие улыбочки,— дрогнешь, Медея, выставишь еще бутыльмент...

. . . .

...Это все, разумеется, поэтическое отступление. Сижу я, дружище, в своем роскошном кабинете. Курю. Кофе и ликер мне принесли снизу, из ресторана. Чудно пахнет духами,— давеча у меня целые сутки провела одна прелестная женщина,— как ее, черта, забыл имя,— из театра Водевиль. Это, братец, не ваша собачья Ресефесерия. Здесь культура утонченного наслаждения, в центре — женщина, как драгоценность в кружевном футляре. Здесь паршивая девчонка из универсального магазина и та ногти себе на ногах полирует. Так-то. Прочихайся со своей революцией у себя на Собачьей площадке...

Зачем я все-таки тебе пишу? Глупо. Какая-то нелепая отрыжка старого,— будто мне нужно чье-то оправдание... Плевать! Вот чокаюсь с бутылкой. Человек должен в начале начал сам себе наплевать в душу: вынесет, тогда — владыка, шагай по согнутым спинам!.. Нужно мне, пойми ты, славянский кисель, чудовищно нужно мне привести себя самого в систему, в порядок. Нужно свести счеты с одним человечком, с другом моим...

(Здесь, в рукописи, следовало чернильное пятно и от него широкая полоса с загогулиной,— видимо, писавший эти строки размазывал чернила пальцем.

Затем было написано: «Ложь, погано, гнусно». Слова эти замараны чертой. Далее нарисована женская головка и голые ножки — отдельно. После этого продолжалась рукопись.)

. . . .

...Абажур, египетские папироски, тишина, кофеек, покой. Смешно, да? Врете вы все до одного... Все вы лакомки, всем вам только бы дорваться до халата... А врете вы от пошлости, с жиру и страху... Лопнул ваш гуманизм вонью на весь мир и сдох. Высшее, что есть в жизни,— покойно заснуть, покойно проснуться и покойно плюнуть с пятого этажа на мир. Полюбуйся: вот висит мое пальто; в левом кармане — чистые носки и воротничок,— берегу их на особенный случай, в правом — карточка покойного отца в камер-юнкерском мундире, расческа и бритва... Весь мой багаж. Легко необычайно, ни прачек, ни забот. Остается последний шаг: прочно упереться носом в бистро мадам Давид, поглядывать на нее слезящимися глазами, слушать, как звенит, звенит в голове,— пить и сморкаться. Нет! К свиньям собачьим! Мне — тридцать четыре года. Я умен, талантлив... В Готском альманахе записан мой род. Имею свирепое право на жизнь. Будет у меня и абажур, и тишина, и камин. Вот тогда я посмеюсь. Будет и будет!.. Ну, ладно...

. . . .

...Друг мой, Михаил Михайлович,— я знаю,— часа уже три бегает по Парижу, пряменький, страшненький, с добренькой улыбочкой (о, пропитая душа, актер, эгоист), забегает во все щели, высматривает меня невидящими глазами... Ку-ку, Миша,— этого бистро вы не знаете. А вдруг — зыбкой походочкой прибежит по капустным листьям и, не глядя на меня, прямо ко мне — зыбкой походочкой, и сядет рядом на соломенный стул, беззвучно примется смеяться, трястись?.. Кошмар сумасшедший!..

Вот тебе портрет этого человека, самого близкого мне, самого ненавистного. Притворный, скользкий, опустошенный, как привидение. Ну, ладно...

Сошлись мы с ним в ноябре шестнадцатого года, в Париже. Воевал я недолго, ты знаешь. Дорогое

отечество требовало во что бы то ни стало моей жизни. Но тетушка Епанчина села на своих больших рысаков и устроила меня при артиллерийском ведомстве. Когда, летом, нас, военных чиновников, потянули на фронт, тетушка Епанчина опять села на своих больших рысаков, и я очутился в Париже, при военной миссии.

Русская дивизия, брошенная из хвастовства в бессмысленные и кошмарные бои, потеряла в Шампани свыше половины состава и была отведена в тыл. Тогда-то и настало время чудо-богатырских кутежей у Паяра, в Кафе де Пари, у Максима. Русское командование показало широту натуры. За нами шатался постоянный табунок девчонок. В это как раз время я и сошелся с Михаилом Михайловичем Поморцевым.

Он каким-то особенным образом,— даже нехорошо,— любил музыку, приходил от нее в тихое неистовство. Бывало — заберемся в кабак. Под утро, в дыму (девчонки полураздеты), сажусь я к роялю (у нас был излюбленный инструмент у Паяра) и играю «трясогузку», полечку из веселого дома,— научил ей меня в Симбирске протопоп. Смотрю — у Михаила Михайловича лицо собирается в страдальческие морщины. Девчонки довольны, задирают ноги на стол. Тогда я начинаю играть Град Китеж. Михаил Михайлович садится у рояла на ковер, расстегивает мундир,— в руках бутылка с коньяком и рюмка,— слушает и раскачивается, припухшее лицо его — бритое и красное — все смеется, залитое слезами.

Помнишь это место в Китеже: над темным полем летит умученный князь, мертвый жених. Его шаги налетают, как топот коней,— надрывающий, мертвый топот. В сердце Февронии запевают похоронные лики лесных скитов, голосит исступленная вера... Преобразись, неправедная земля!.. И вот ударили колокола Града Китежа, раздались дивным звоном, гремящим солнечным светом... Михаил Михайлович раскачивается, пьяный, замученный... Черт его знает, что было в душе у него — не знаю, хотя и прикован к нему, как каторжник к каторжнику... Вчитайся, пойми,— все это важно.

Его род — не древний, от опричины. Предок его, насурмленный, нарумяненный, валялся в походных шатрах, на персидских подушках: был воеводой в сторожевом полку. От великой нежности ходил щепетной походкой, гремел серьгами, кольцами. Любил слушать богословские споры,— зазывал в шатер попов, монахов, изуверов. Слушая, разгорался яростью, таскал за волосья святых отцов, скликал дудочников и скоморохов,— и начинался пир, крики, пляски. Тащили в круг пленного татарина, сдирали с него кожу. Прогуляв ночь, кидался он из шатра на аргамака,— как был — в шелковой рубашке, в сафьяновых сапожках,— и летел впереди полка в дикую степь, завизжав, кидался в сечу. Погиб он на безрассудном деле,— плененный татарами, замучен в Карасубазаре.

Такой, да не совсем такой, его потомок, мой друг Михаил Михайлович. Неистовый, но немощный и даже тихий. Вырос в Царскосельском дворце девственником, а выйдя из корпуса в полк, кинулся в такой разврат, что всех удивил, многие стали им брезговать. Затем, так же неожиданно, вызвался в Москву на усмирение мятежа — громил Пресню, устроил побоище на Москве-реке и с тихой яростью, с женственной улыбочкой пытал и расстреливал бунтовщиков. Я уж чувствую, понимаю: когда играешь ему Китеж — он как в бане моется, дрянь из него выходит,— хлещет себя веником, поддает квасу на каменку. Затем он ушел в запас, стал слушать лекции в духовной академии, будто бы хотел принять сан. И, конечно, сорвался на бабе, замучил ее и себя. Бабенка эта убежала от него, в одной юбчонке, с хлеботорговцем в Нижний-Новгород. От тоски и неряшества Михаил Михайлович стрелялся. Началась война. Говорят — он дрался лихо, получил золотое оружие и кресты, но после катастрофы пятнадцатого года стал подаваться в тыл. Как весьма отличившегося офицера послали его в Париж в военную агентуру. О России, среди своих, он говорил со злобой и брезгливостью. Но с французами держал себя высокомерно. В нем была изорвана, как гнилая нить, линия жизни. Вот все, что я о нем знаю.

Надобности у меня в его дружбе ровно никакой не было. Я получал две с половиной тысячи франков жалованья, жил в гарсоньерке, у Булонского леса. Из магазина Самаритэн ходила ко мне «курочка», напудренная от носика до пальчиков на ногах,— премило болтала пустяки и к женским обязанностям относилась деловито и энергично, как парижанка. Я занимался музыкой. Много бывал один. Париж, друг ты мой,— город одиночества. Идешь в сумерках — дома, как синие тени, затихает шум, к десяти часам весь город спит. Воздух теплый, влажный,— сладость и печаль. За деревьями, сбоку, идет какой-нибудь старичок, прихрамывает от подагры, в кармане газета и трубка,— одинокий старичок. И чувствуешь, как через этот город, по старым камням, под этим облачным небом, течет непереставаемый поток существ. А город стоит торжественный, печальный, равнодушный и прекрасный, все помнит — и голоса счастья и стоны смерти,— все сберегает — суету сует, и мудрость, и преступление, и несбывшиеся мечтания,— все запечатлевает в линиях, в очертаниях, в запахах, в растворенной повсюду спокойной печали.

. . . .

Все пошло к черту! Я пьян, грязен, гнусен! Что мне осталось от одиночества? — Только самоуслада гнусностью и грязью... Это он растлил меня, будь он проклят!.. Сыграл ему по пьяному делу Град Китеж,— с этого и началась омерзительная душевная каша: пьянство, девчонки, скандалы, швырянье денег и поливание всего этого кошмарным соусом с кровушкой,— переживание под музыку. За четыре месяца я задолжал ему около тридцати тысяч франков, и сам уже без ежедневных кошмарчиков жить больше не мог: пресно. Временами Париж глухо гудел от канонады: там, в семидесяти километрах, на востоке, ударялись щитами,— медь о медь,— древняя, романская и молодая, но уже порочная, германская цивилизация. Убитые были в каждом доме, в каждой семье. А мы с Михаилом Михайловичем переживали с величайшей самоутвер-

жденностью хлыстовскую, сатанински-порочную славянщину.

В войну были три разряда людей. Первые — самые неостроумные — воевали (начиная от старичка, утром, на бульваре с газетой, глотающего бешеную слюну, кончая «моим дорогим, маленьким Жаком», от которого торчали одни гнилые ноги среди ржавой проволоки, из жидкой глины). Вторые — остроумные — занимались спекуляцией, для каковой цели в Америке были построены даже особые машины, в одну минуту показывающие в цифрах, какие деньги и вещи в какой стране нужно немедленно покупать и в какой стране немедленно продавать деньги и вещи. Третий разряд — это люди, настроенные апокалиптически, то есть: «Ну, что, дождались, соколики? А не хотите ли теперь полечку-трясогузочку? То-то: все валится к чертовой матери, в черную дыру и провалится,— от Европы останется одна Эйфелева башня торчать, загаженная вороньем. А нам, мудрым и косоглазым, наплевать на вашу Европу, мы даже премило настроены, желаем жить, как божьи звери... Гаф!»

Вот что тянуло меня к Михаилу Михайловичу: он с упрямой сосредоточенностью, с блаженной, кривенькой улыбочной изживал самого себя, горел в собственном чаду. Огонек был странненький — шипел и чадил, но Михаил Михайлович иного наслаждения не знал. Он весь был озабочен подходом к этим минуткам самовозгорания. Кроме того, началась моя ужасная денежная от него зависимость.

Мы виделись каждый день. Я приходил к нему утром, перед службой, отдергивал занавеску на стеклянной двери, на балкончике, висящем над парком Трокадеро, садился на кровать. Михаил Михайлович, хихикнув, приподымался на подушке и говорил: «Дорогой, позвони». Снизу, из бистро, нам приносили сифон содовой и коньяку для Михаила Михайловича, а для меня — содовой и пикону. Мы курили и пили,— с утра становилось наплевать на все. Разговаривали очень странно: скажем два, три слова из нами же сочиненной какой-нибудь историйки и хохочем, дымим, глотаем содовую с коньяком и пиконом. Михаил

Михайлович, смеясь, дергался под одеялом. В эти веселые минутки обычно мне удавалось призанять у него деньжонок. Завтракать мы сходились у Фукьеца, на Елисейских полях. Михаил Михайлович ел ужасно мало,— больше выпивал, разговаривал сбивчиво, по каким-то ломаным углам, ни на секунду не в состоянии затихнуть хотя бы над великолепным филеем,— насладиться мясом и вином. Да, черт,— хороши были завтраки у Фукьеца!

Так тогда казалось: время стало, будущего никакого нет,— дыра. Доживай остатки. Блаженство наше кончилось внезапно в одно весеннее, теплое утро, когда вдруг лопнули почки на деревьях и зазеленели авеню и бульвары. По пути к Михаилу Михайловичу я нарочно свернул на Елисейские поля. Только что прошел теплый, легкий дождичек, и стояло марево. Сквозь голубоватую дымку проступали полукруглые крыши, прозрачные клубы аллей. Вниз уходила вся залитая потоками солнца, точно стеклянная, широкая дорога бессмертия. Почему я подумал «бессмертия»? Я остановился и глядел,— блаженно билось сердце. Падающая и вдали, к садам Тюильри, снова поднимающаяся, среди весенней зелени, среди облачных домов,— в маркизах, в балкончиках, в крылатых конях,— непомерно широкая дорога Елисейских полей уходила в марево, в какую-то на мгновение осуществленную красоту. Мимо меня по торцовой мостовой проехали гуськом механические кресла с безногими солдатиками. Идиоты! Бездарные, жалкие дураки! Я купил газету и побежал к Михаилу Михайловичу.

Мы выпили коньячку, закурили. Он развернул газету и вдруг начал дергаться под одеялом. «Так, так,— и зарылся носом в подушку.— Так, так,— подскочил и перевернулся на спину.— Лопнула! Хи, хи. Поехала!»

Это была первая телеграмма о революции в Петрограде. Меня точно кирпичом ударило. А Михаил Михайлович хихикал и дрыгался, как гальванизированный лягушонок: «Вот тебе Византия! Хи, хи. Полезли воевать чудо-богатыри! Бац по сонной роже! Спряталась! Хи, хи. Еще хуже — духоты напустила. Бум!—

колокол Града Китежа. Полезли покойнички. Встали покойнички от Куликова поля до Мазурских озер, до самых Карпат. Ухватили рожу. Вот ты когда нам попалась? Хи, хи».

Черт его знает, что с ним тогда происходило: он скрипел зубами, корчился, омерзительно хихикал. Когда пришла весть об отречении царя, Михаил Михайлович сказал: «Сегодня кончилась история России. Шабаш». Он заставил меня играть Вагнера «Гибель богов» и с блаженной улыбкой, зажмурясь, сидел на полу, помахивая рюмочкой. Мы ужасно напились в тот день.

Париж был в тревоге и недоумении. Французы ходили со строгими «романскими» глазами, топорщили усы. Было от чего топорщиться: русская задница подпирала их прочно и вдруг — поехала, расползлась. У меня, например, в эти дни было чувство ужаса. Подумай, я твердо стоял обеими ногами на земле: за спиной — 185 миллионов *мужепесов,* империя, закон и прочее, вплоть до тетушки Епанчиной с большими рысаками. Все это я мог поносить и предавать под пьяную руку, но я был твердо влит в скалу. И вдруг за спиной — холодок и пустота. Земля уходит! Ужас! Мираж! Бред! Дым! Ох, это было страшно!

Из любопытства я бегал на вокзал встречать «представителя Временного правительства». Официально встречал его начальник военной миссии, граф Пахомин, огромный мужчина, не дававший спуска,— красавец и чудо-богатырь. Он стоял на перроне, перекинув через руку букет красных роз, и,— какой уж там спуск,— даже ко мне вдруг ринулся: «Ну, как, Александр Васильевич, счастливы, а? Дождались мы Красного солнышка!»

Личность, символически изображавшая Красное солнышко, вылезла в драповом пальто из вагона и оказалась помощником присяжного поверенного Кулышкиным, кругленьким и самоуверенным, в велосипедном картузе и в очках, вросших в жирные скулы. Граф Пахомин даже подался несколько назад, но оказалось, что подался для разбегу, и, загремев шпорами, вручил букет. С широкой русской улыбкой (как же

русскому человеку не улыбаться в такие дни) изъяснил он обуревавшие в его лице чувства высших и низших воинских чинов и священную их радость. Комиссар строго глядел на него, задрав голову, так как был низкого роста, затем произнес речь: «Я счастлив на этих камнях Парижа, где впервые были провозглашены права человека, поздравить вас, гражданин граф Пахомин, с величайшим историческим событием: Россия свободна... Вы — свободный гражданин свободной страны... В общем порыве нам остается дружно протянуть друг другу руки...»

Граф Пахомин зажмурился и, подняв саженные плечи, замотал щеками, изображая этим нахлынувшее на него чувство свободы. Затем он посадил комиссара в автомобиль и повез завтракать.

Ежедневно Эйфелева башня получала уверения в том, что русская революция верна и преданна и исполнена священного порыва воевать до победного конца. Париж, наконец, успокоился. Начались банкеты. Комиссар Кулышкин тряхнул старинкой, помянул Дантона и Мирабо, доказал, «что у нас точка в точку, как было у вас». Насчет Дантона французы отмолчались, зато ужасно красиво говорили о священной верности и о том, что, конечно, теперь свободный русский мужичок широким жестом пошлет своих сынов умирать за свободу торговли на суше и на воде. Кулышкин сказал, что «пошлем непременно». Он носился с банкетов на фронт и в тыл к русским частям и всюду произносил речи.

Но жить все же было можно: жалованье платили, война продолжалась. Русских солдатиков, сдуру пожелавших кончать войну, французы иных расстреляли, других посадили за колючую проволоку. Я носил в петлице красную гвоздику и на службе ставил ее перед собой в стакан с водою.

Но вот рано утром, когда я еще спал, появился около моей постели Михаил Михайлович. Он был в пиджачке, в надвинутом на глаза котелке и в лимонных перчатках. «Ты будешь присягать Временному правительству?» — спросил он ледяным голосом. Меня пробрала дрожь. Он стоял, опираясь на тоненькую

тросточку, глядел мне в глаза свинцовым взглядом убийцы. Что я мог сказать? Сказал, что если он не будет присягать, то и я не буду. Он сел на кровать и молчал, покуда я одевался. Мы пошли в кафе и оттуда отправили по начальству два наглейших прошения об отпуске по болезни. Михаил Михайлович показал мне чековую книжку и копии телеграмм, посланных в Россию с приказом продать имение и дома. «Можешь быть покоен, два, три года я тебя содержу». Я полез целоваться, у меня выступили слезы. С этого дня началось головокружительное падение в бистро мадам Давид.

Мы уехали в Ниццу. Чего вспоминать! Было волшебно. Лазурное, парное море, ленивый шорох прибоя, запах цветов, идущий с гор, запах вымытых в море женщин, женщины, лениво глядящие туда, где море неразличимо переходит в небесную лазурь. Женщин, как птиц, согнал сюда грохот войны. Их было много здесь,— царство женщин. Нарядные, миленькие, с печальной иронией глядели они, как по эспланаде ковыляли безногие и безрукие воины, катились в креслицах человеческие обрубки, тащились безлицые, безглазые... Все они, еще так недавно, были пылкими любовниками.

У Михаила Михайловича немедленно начался сложный роман с фантастической американкой, не то птицей, не то ребенком. Я же, из соображений практических, искал знакомства с девушками из народа. Там-то я и сошелся с моей дорогой Ренэ. Бедняжка!

Как и надо было ожидать, наше лазурное времяпровождение окончилось ужаснейшим скандалом. Американка дотла проигралась в Монте-Карло, куда мы неизменно с вечерней зарей лупили на автомобиле над багровым морем. Михаил Михайлович посылал в Петербург бешеные телеграммы. Мы задолжали в гостинице, в ресторанах, шоферам и прочее. Наконец пришел ответ: «Имение захвачено крестьянами, усадьба сожжена, петербургский дом ликвидировать невозможно». Мы оставили чемоданы и платья в гостинице и в тот же день удрали в Париж. Я запустил бороду и переменил квартиру.

Месяца четыре жили мы в кредит; приходилось вести весьма широкий образ жизни, действуя на воображение кредиторов сверхчеловеческими кутежами. Я посоветовал Михаилу Михайловичу взять на содержание какую-нибудь знаменитую женщину и свел его с прогремевшей на обоих полушариях мадемуазель Сальмон,— шикарной и уродливой, как черт. Она была зла, дралась, предавалась всем существующим порокам и накручивала такие счета, что это поддержало наш кредит еще на месяц.

Я перестал спать по ночам,— кровать была полна раскаленных угольев. Мы сидели на динамитном погребе с подсунутым фитилем. Но Михаил Михайлович ко всему относился как-то сонно: не поднимешь его — проваляется весь день, толкнешь — пойдет. Когда мадемуазель Сальмон визжала, швыряла вещами и дралась, он находил это вполне естественным. Он просыпался лишь на секундочку и тогда начинал бешено хохотать, топал ногами и чихал. В эти секундочки творилось непоправимое.

Революция,— я это ясно видел,— кончалась. Временное правительство выбалтывалось, машина разваливалась, как гнилая баржа на мели, армия превратилась в стадо,— немцы, разумеется, с величайшей бережностью относились к этому пятнадцатимиллионному сброду. Дождалась заветного, взяла свое — Рассея — расползлась великим киселем. Эх, шарахнуть бы немцам тогда шрапнелью да шомполами,— была бы у нас великолепная неметчина! В Москве на Красной площади я бы перед немецким шуцманом на колени стал и сапожки бы его омыл светлым восторгом... А Рассею — загнать в тайгу, в тундры, кормить комаров: чешись, сукина дочь! Революции захотела! Нет, с ума сошел мир. Ведь все это понимали: не немцам с французами друг другу бока ломать, а союзно, всем европейским, римским миром навалиться на дикую стерву. Опоздали, с ума сошли, сами виноваты... Четверти века не пройдет,— увидишь,— хлынут косоглазые на римский мир, погуляет по Европе лапоть... Господи, только бы не дожить! Только бы хватило на мой век,— да, да, именно,— абажура, кофейку, тишины... Отними

у меня эту надежду — в ту же секунду рассыплюсь вонючей землей, не сходя со стула. Вот, на, получай: из бистро мадам Давид показываю вам, всему миру — кукиш! Ну, ладно...

Дождались! Ахнул октябрьский переворот, и завертелись мы все, как отравленные крысы. Уголка не было в Париже, где бы в тебя не плюнули. По всему Парижу шел скрип зубов: «Как? Изменить союзу? Предать Францию? Ну, запомним!» А когда большевики объявили, что долгов платить не станут,— французы даже растерялись: такой сумасшедшей наглости не было с рождества Христова. Комиссар Кулышкин ушел сквозь землю со своей велосипедной шапочкой. По-русски говорить было нельзя,— били.

Помню,— стоял я на бульваре, читал газету: руки ходуном ходят, в глазах — муть, зелень, тьма... «Всем... всем... всем... Долой мировой капитализм!.. Смерть мировому империализму!.. Товарищи, протягивайте руки через головы кровавых тиранов...» Что это такое? Мировой пузырь лопнул? Клочья какие-то летят по всему свету!.. Земля шатается... За что ухватиться? Мираж! Ощупываю самого себя... Вдруг из-за плеча высовывается голова,— старичок какой-то смотрит в мою газету, и начинает у него играть вставная челюсть. Подхватил он ее, пошуршал зубами и говорит (по-французски): «Все мое состояние — в русских военных займах; ваше мнение по этому поводу, молодой человек?..» И опять у него челюсть выскочила... Тут я — гениальнейшим, молниеносным прозрением — вдруг отрекся от самого себя: оказалось — зовут меня Шарль Арну, я инвалид, пою в кабачках военные песенки и вот вчера избил брабантским приемом,— то есть горлышком разбитой бутылки,— одного русского, Сашку Епанчина, и что этот негодяй, крапюль, очевидно, уже сдох, и что со всех русских нужно драть кожу... Клянусь тебе, это было мистическое перерождение. Уходил с бульвара уже не я, не Сашка Епанчин, а Шарль Арну.

Я скрылся. В два дня переменил несколько гостиниц и окончательно замел след в квартале Сен-Дени, в одной из старинных уличек, населенных проститут-

ками, сочинителями уличных песенок, певцами, мелкими ремесленниками. Отличное местечко. Население в сущности жило на улице среди лотков, тележек с овощами, жаровен, где пеклись каштаны и картошка, в бистро и кабачках. Из окон торчали полосатые перины для проветривания любовной влаги. Изо всех окон перекликались девчонки, полураздетые молодые люди,— пели, пищали, хохотали, ссорились. Котлом кипела беспечная, пустяковая жизнь,— даже война с трудом могла омрачить ее.

Я кинулся разыскивать Ренэ — ту маленькую певичку, которая после Ниццы долгое время писала мне нежные записочки. Я нашел ее на чердаке, в крошечной комнате с покатым окошком в небо. Это было рано утром. Ренэ спала в старой деревянной кровати, под ситцевой периной. Сквозь покатое окошко падал свет на ее худенькое и кроткое лицо, у рта — две нерадостные морщинки, на подушечке — крошки хлеба, над кроватью — фотография какого-то смазливого солдата в могильном веночке из сухих цветов: Ренэ была свободна. Но, боже,— какая нищета! Даже дверь из общего коридора в ее комнату не была заперта. Ренэ вздохнула, открыла глаза,— в них появились испуг и изумление. Я бросился на колени перед кроватью, схватил руку Ренэ и,— честное слово,— облил ее слезами.

Я не стал лгать Ренэ,— я лишь сочинил ей ту историю, какая могла быть понятна ее простенькому сердцу. Но суть оставалась одна и та же. Я рассказал, что революция убила мою незабвенную старушку мать: толпа большевиков, от самых глаз заросших бородами, кинулась, держа в зубах ножи, на дом моей матушки, вытащила ее на мостовую и с хохотом разорвала в клочья, сожгла дом и прибила доску с надписью: «Так расправляются с друзьями империалистической Франции».

Ренэ, прижимая руки к груди, шептала: «О, боже, боже!» Тогда, придвинувшись, я шепотом сообщил ей, что совершил уголовное преступление: вчера на набережной встретил тайного агента большевиков, одного из убийц моей матушки, задушил его и бросил в Сену. Полиция меня ищет, но я переменил имя и скрыл-

ся. Ренэ схватила мою голову и прижала к голой груди,— глаза ее потемнели, я слышал, как романтически затрепетало ее сердце. Она предложила мне жизнь, комнату и половину постели. Я вытащил из карманов все свое имущество, захваченное при бегстве из дома: триста франков, гребенку, бритву и карточку отца. Так началась наша семейная жизнь.

Мы просыпались от яркого света сквозь потолочное окошко и, лежа под ситцевой периной, строили планы обогащения. У Ренэ был фальшивый и миленький голосок, я должен был писать ей музыку и куплеты. Мы решили обслуживать тыловые города. Ренэ, наморщив лобик, напевала, я изображал оркестр. Затем вылезали из-под перины и одевались. Туалет Ренэ был скор и упрощен. Я также выбросил сначала воротничок, затем рубашку и стал надевать пиджак прямо на фуфайку. Мы спускались в бистро пить кофе, затем шли к дядюшке Писанли, усатому старичку в черной шапочке,— он держал прокат разбитых, как тарантасы, пианино и продавал листочки с нотами и куплетами. В лавчонке дядюшки Писанли мы вдохновенно работали. Так как Ренэ пела всегда на половину тона ниже и не брала ни верхних, ни нижних нот, то особых затруднений с сочинением музыки не оказалось. Но где было найти слова? Дядюшка Писанли, прослушав стишки моего сочинения, сказал, что «после первого же куплета публика разобьет ваши кофейники и тебе и Ренэ». Он послал нас на Монмартр к знаменитому Мишелю Виду. Мы пошли на Монмартр, влезли на самый верх, где, как ласточкино гнездо под крутым обрывом, стоял со времени еще Империи крошечный кабачок «Веселый кролик». Там, в комнатке, увешанной потемневшими карикатурами и обломками пыльных скульптур, на бочонке у деревянного стола сидел огромный, тучный, бородатый человек в шляпе грибом и курил длинную глиняную трубку. На нем были широчайшие бархатные штаны, рукава рубашки закатаны по локоть, лицо багровое и прокуренное, как чубук. Это и был последний представитель племени монмартрской богемы Мишель Виду. Он мог неограниченное время курить трубку и молчать.

Ренэ трогательно объяснила ему нашу просьбу — дать для музыки и пения веселые куплетцы. Мишель Виду вынул изо рта трубку, захватил горстью бороду, понюхал ее и опять сунул трубку в огромный рот. Покурив и помолчав около часа, он достал из кармана штанов донельзя грязную бумажку со стишками и через плечо протянул ее Ренэ. В стишках говорилось о том, что «хорошо бы взорвать динамитом Париж, повесить на фонарях полицейских и депутатов Бурбонского дворца и после того мирно сидеть и курить трубку в кабачке «Веселого кролика». Ренэ была в восторге. Я затратил неделю, чтобы отговорить ее петь эти стишки.

Ренэ выступила в маленьком кафе с песенками Мистангет, но успех был средний. Тогда на семейном совете было решено создать «характерный номер». Под присмотром дядюшки Писанли мы разрабатывали его и репетировали. Выступили мы в Медоне, где стояла бригада негров.

В кафе, битком набитом добродушнейшими неграми, на крошечную эстраду вышла Ренэ, в красной юбочке и в железной каске. Взмахнув шпагой, она запела «Мадлон»[1]. Разумеется, негры сейчас же подхватили песню, скалясь и топая пудовыми башмаками. Но вот позади Ренэ появился я, в привязанной рыжей, как веник, бороде, с ножиком в зубах. Я хрипел и ругался по-русски. По кафе пронесся ропот одобрения. Я старался напасть на Ренэ, вырвал у нее шпагу, скрипел зубами и скакал, как обезьяна. Музыка играла бешеную «польку-трясогузку». Негры завыли от удовольствия. Наконец Ренэ развернула трехцветное знамя, я перекувырнулся и упал. Ренэ наступила мне на спину и, размахивая знаменем, с большим подъемом спела последний куплет «Мадлон». Успех был огромный. Я взял шлем и пошел между столиками. Негры хохотали, дергали меня за бороду и бросали в шлем монеты. Мы заработали двести франков.

---

[1] Военная песня, которую вся Франция пела так же, как 125 лет тому назад марсельезу.

После этого мы уехали в провинцию, затем вернулись в Париж, подготовили второй номер и опять поехали по тыловым городкам. Зарабатывали мы не ровно, но и не плохо. Ренэ нежно любила меня. Обычно, покуда я еще спал, она бегала на рынок и возвращалась с корзиночкой, полной вкусных вещей. Суетилась и болтала, как птичка. В ней было очарование простого, беззлобного сердца: живем — покуда живем, а маленькое счастье всегда при нас. Странно, изо всей сложной жизни я вспоминаю,— как вспоминают какое-то единственное залитое солнцем утро,— эти десять месяцев кочевой жизни на чердаках, в дешевых гостиницах, в солдатских кофейных. Ей-богу,— человеку нужно немного!.. Да, да,— видишь — чернила расплылись: плачу... Что же из того,— плачу, вспоминаю наше окошко над кроватью, свист стрижей, торопливые шаги Ренэ, запах ванили от ее платья. Было крошечное счастье, коротенькое и грустное... Все кануло в синюю бездну времени... Снова на моем пути появился Михаил Михайлович, и все запуталось, смешалось, полетело к черту. Какое мне было дело, что где-то на востоке бушевала революция, сдвигались вековые пласты!.. Счастье, птичье счастье было у меня, когда высоко над Парижем, под самым небом, в старенькой постели, положив мне голову на плечо, кротко спала Ренэ. В углу стоял глиняный рукомойник, на стене, исписанной углем, на гвоздике висели привязная борода, красная юбочка и трехцветный флаг, да в корзиночке — остатки еды с вечера.

Летом Париж снова начал дрожать от грохота пушек. С неба валились гигантские бомбы «Берты». Город пустел. Армия напрягала последние усилия, но уже отчаяние овладевало французами. Железным тараном немцы били и били в прекрасную Францию, хотя уже было ясно, что никакими победами не оправдать пустыни, покрытой деревянными крестами. Дела наши были плачевны. Мы бродили из кафе в кафе, распевая «Мадлон» перед столиками. В это голодное время еще глубже раскрылась нежность ко мне Ренэ.

И вдруг все изменилось. Во французские гавани вошли заокеанские многотысячетонные корабли. В ту-

чах дыма загрохотали подъемные краны и пошли выгружать на берег поезда, паровозы, рельсы, пушки, хлеб и мясо, проволоку, горы снарядов, ящики и бочки и сотни тысяч широкоплечих, веселых американских молодцов.

Американцы сказали: «Воевать надо широко»,— и от гаваней к фронту бросили рельсы, двинули собственные поезда, размотали колючую проволоку, поставили пушки и танки и ударили по немцам миллионами бомб, миллиардами долларов,— пошли на прорыв узкой кишкой от самого Ламанша. А из-за океана шли новые, дымили на полнеба корабли, груженные войсками.

И хрустнула немецкая грудь. Внезапно,— так же, как и нашло,— развеялось помрачение войны. Мир, мир, мир,— зашептали сердца. И вслед уже потянуло тревожным ветром с востока,— бунт, бунт! И пошло трещать по всей Европе... Эх, да что вспоминать,— сам все знаешь. Жил зверь покорно и смирно, вертел жернов,— кинули ему сырого мяса, прижгли каленым железом, а потом за голову схватились. Умнее, видимо, ничего не могли придумать с вашей культурой.

Помню — я проходил по Новому мосту,— на нем еще Генрих IV, в бытность свою наваррским королем, дрался по ночам из-за девчонок. Солнце садилось в полымя за лесистыми холмами Сен-Клу. Багровый закат пыльным сиянием пылал в узкой реке, отражались арки мостов, старые платаны, железные баржи с песком, сияли мрачным золотом крылатые кони Александра III, торчала унылым скелетом умершего века Эйфелева башня. Было жарко и душно. Я сел на каменную скамью в полукруглой нише моста. За спиной мрачный свет заката лежал на островерхих тюремных башнях Консьержери.

Я почувствовал вдруг такую усталость, что не только смерть, показалось — десять раз умирая, не отдохну. Все дороги, проклятые петли, мостовые, лестницы, которые я исколесил и облазил, все усилия, хитрости, подлости,— вся эта бессмыслица — только для того, чтобы вот притащиться на этот мост. Душно, темно... Стопудовая тяжесть так и вдавила меня в

каменную скамью. Так неужто с этим грузом снова встать и тащиться, путаясь по мостовым, лестницам, переулкам? Я закрыл глаза и снова открыл их. Багровые сумерки были насыщены присутствием чего-то неуловимого. Остро, едко, пыльно пахли старые камни. Я стал различать не то шум моей крови, не то шорох и ропот шагов и голосов. В спокойном отчаянии я понял, что это проходят все мгновения, бывшие в этот час сумерек в этом месте: все, что мы считаем ушедшим и мертвым, не ушло и не умерло, но все, проходившие по мосту, проходят снова и вечно,— мелькают кони, всадники, кареты, пешеходы... Закрыв лицо, я видел сквозь толщу век и рук скользящие тени... Какая бесплодность усилий, какая невыносимая печаль! Режущий, долгий вопль прорезал красноватую тьму. Это кричат на острове Сите́ рыцари, сжигаемые заживо... Это гибнут под ножами отступники церкви... Это безумная Териен жжет пучками соломы распятую на дворе тюрьмы прекрасную цветочницу!.. Нет! Это визжал трамвай на набережной. Лицо мое было залито слезами. Боже, какое ничтожество!.. Я — лишь пылинка, жалкая тень в куцем пиджачке, осужденная на веки веков в какой-то свой час в сумерки проходить с папиросочкой по мосту...

— Вот, видишь, мы и встретились.

Я вскрикнул. Вскочил. Передо мной стоял Михаил Михайлович, пряменький, в котелке, и беззвучно смеялся, покачивался.

— Выпьем, Саша? Пойдем.

— Не хочу.

Он опять залился беззвучным смехом, схватил меня под руку и потащил. Я не пытался ни оттолкнуть его, ни убежать. Ноги стали мягкими, во всем теле загудела какая-то безвольная, расхлыстанная пустота. Мы свернули на левый берег и на узенькой, древней уличке Святых Отцов зашли в полутемную щель, где продавались уголь и вино.

Сели за стол друг против друга. Михаил Михайлович был похож на веселого покойничка,— бритое лицо шелушилось, глаза выпученные, остекленевшие,

рука, наливая вино, дрожала, вся в раздутых жилах, пиджачок на нем был в пятнах, белье — грязное.

— Сбежал, сбежал! — повторял он и гладил мою руку, и, едва я начинал лгать о том — почему и как скрылся,— прерывал со смехом: — Саша, не ври. Все это мелочи. Я тоже хвостом след замел. Предъявили мне расписочек на триста тысяч. Ай, ай! А я на них святым зверем,— гаф!.. Взвыл, и в одном пиджачке вниз головой — мырь. Очутился за заставой, два месяца ночевал на природе. В аптекарском магазине коробочки клеил. Подружился с Гастоном Утиный Нос,— воровали кур и кроликов на Версальской дороге. Все это мелочи. Теперь у меня — покровитель, скоро буду дьявольски богат. Обеспечу тебя на три года. Не веришь? Сказать? Продаю англичанам нефтяные участки в Азербайджане... Старые связи... Конечно, я — подлец. Но все это мелочи... Погляди, ощупай меня... Другой?.. Правда? Во мне все поет. Помнишь — «преобразилась неправедная земля!» и бум,— колокола Града Китежа... Тогда были только слезы, у Паяра — голые девчонки, слезы,— не преобразится никогда, нет... А теперь, слышишь,— поднялись покойнички: земля больше не принимает, такая мука... Поднялись, ухватились за веревку, раскачали и — бум. «Преобразись, неправедная земля!..»

Я слушал,— и не понимаю, жутко,— с ума он сошел:

— Миша, о чем ты говоришь? Какой к черту Град Китеж? Это Интернационал-то?

— Молчи... В тебе никогда не было восторга. Ты микроскопическая дрянь. Тебе в бочке надо жить, в тухлой воде. Ах, не понимаешь... В России знаешь что? В России в масках скачут... А под масками лица — в слезах, в слезах, и — восторг! Берите, все берите, рвите грудь! Мир всему миру! В крещенский мороз идут женихи в бой, одна красная лента через грудь,— голые. По снегам кровь хлещет сорокаведерными бочками. Чума, мор, голод! В Сибири вехи стоят из мороженых мужиков. Горят леса, города, стога в степи. Гуляют кони. Сабельки помахивают. А колокола под землей — бумм, бумм, бумм! Преобразись, неправедная земля! Австрия летит к черту. В Италии выбили

русскую медаль, продают в портах. Берлин трещит. В Париже Гастон Утиный Нос ходит — руки в штанах — наточил ножик. В Лондоне джентльмены в цилиндрах, в моноклях, лорды и герцоги — грузят багаж на вокзалах... Слушай, Саша, слушай,— это воет человек, рвет с себя звериную маску.

Михаил Михайлович весь дрожал в лихорадке, вцепился ледяными пальцами мне в руку.

— Саша, я — пьян, убог, гнусен. Но ведь он на зеленых лугах, на шелковом ковре мед пил из золотой чаши... Знаешь — с усмешечкой, глаза мечтательные, сердце — яростное, надменное... А ты говоришь: «Молчи, живи в тухлой воде...» Я тоже пить хочу из золотого ковша... Завтра пойду нефтяное прошеньице строчить, разбогатею. Гастона Утиный Нос облагодетельствую, а тебе — шиш! Ты в бочку смотришь. Ах, Саша... Сел бы я на коня,— крикнуть бы, завизжать!.. Четыре столетия во мне этот крик. Да — не могу. В жизни не мог закричать,— только писк мышиный... Я в вине утоплюсь!.. Порода наша кончена. Теперь богатыри нужны, а я — пищу. Теперь — ногу в стремя, проснись, душа!.. А у меня, видишь, ка́к руки трясутся... Саша, милый, живу я в таком восторге... Так упоительно себя ненавижу... Ведь хоть в этом богатырство мое...

...Одним словом, ничего из разговора с Михаилом Михайловичем хорошего не вышло. Теперь уже не я, как прежде, а он по утрам стал ко мне шататься. Ренэ устраивала нам ранние завтраки: салат, жареные ракушки, сыр, вино. Мы сидели в облаках дыма и бредили.

Морщась от глотка коньяку, ковыряя булавкой ракушку, Михаил Михайлович перестраивал всемирную историю. Выходило у него так:

Запад, наследник Рима, продолжал унылое дело великой империи, покрывал землю крепостями и замками, весь уходил в вещи, в камни, в букву. Он ненавидел человека, свободу, солнце и землю, счастье и созерцание. Его разум и воля были направлены к познанию разложения материи и к созданию из разложе-

ния мертвой вещи. Он упрямо строил каменную гробницу всему человечеству.

И вот на востоке, в полынных степях, на плоскогорьях Памира, родился великий гнев и блаженная мечта: идти на запад, к берегам лазурного океана, и там, среди развалин храмов, пасти стада под звездами. И вот — заскрипели телеги, заревели стада, двинулись на запад пастухи, табунщики, степные богатыри. Столетие за столетием набегали и крепли кочевые волны. Родился Чингисхан. Недобро вглядывался он в далекий край, откуда тянуло тлением. Затрещали твердыни Запада под ударами хана. Могучие восточные царства охватили объятиями Европу, проникли к ее сердцу, насытили ее благовониями розы. Но не настали еще сроки, и не сокрушился Запад. На рубеже его возникла Московская военно-мужицкая держава, куда перенесли бунчук, походное знамя хана,— конский хвост. Москва была коварна и лукава. На долгие столетия готовилась она к борьбе,— частоколами, засеками, сторожевыми городами, подкупом, лестью, вероломством продвигалась на Запад. Разбиваемая и униженная — возникала вновь, как трава после пожара,— крепла и ширилась. И попытала, наконец, удачи,— прорвалась степная конница, потоптала подковами древние виноградники, свистнула таинственным посвистом романским девушкам, но, дойдя до океана, ушла степным обычаем назад, на равнины, махнула оттуда колпаком,— воротимся! Не пришли еще сроки. И вот теперь снова, сожженная, разбитая и униженная, тряхнула ханским бунчуком и — посвистывает, запевает странные песни, напускает морока, нависает ужасом над древней Европой. Воротимся!..

Михаил Михайлович пил и бредил, а я пил и слушал развесив уши. Не будет на земле покоя, покуда, как чертополох, не выдернут с корнем русскую заразу: бред, мечту, высокомерие, непомерность. Особую конференцию нужно создать для уничтожения русской литературы, музыки,— запретить самый язык русский. Действительно, жили,— Ренэ и я,— безобидные, как во-

робьи, пришел потомок Чингиса, напустил морока, ударил копытом в наше счастье, и вот — кручусь, как в дымном столбе.

От этих разговоров, пьянства и обормотства Ренэ день ото дня становилась грустнее, но молчала. Где ей было вставить словечко, когда мы, опрокидывая в глотки пинар, тараща друг на друга глаза, дымили, ревели, топтали победными подковами наследие Рима. Работать я бросил и запретил Ренэ выступать в кабаках: довольно ломали дурака перед мещанами. Михаил Михайлович рванул у покровителя тысячи три франков и однажды привел к нам завтракать друга-приятеля — Гастона Утиный Нос. Это был небольшого роста, весьма решительный человек, с татуировкой на руках и блестящими стекловидными глазами, какие бывают у людей с перешибленным носом. Он резал хлеб и мясо своим ножом — *навахой,* выпил одну рюмку коньяку — и то после еды,— от кофе отказался, говоря, что это его *нервит,* и по поводу перестройки всемирной истории сказал: «Панмонголизм такая же глупость, как и Третья республика: променять одну паршивую кошку на другую; над человечеством должна быть произведена капитальная операция (он подбросил наваху и вонзил ее в стол); вы, русские, хорошие ребята, но наивны, как зяблики,— устроили неплохую революцию, но взнуздали ее законом; есть один закон на свете: это — чтобы не было никаких законов и — поменьше дураков». Он вылил из стакана последнюю каплю на ноготь, недокуренную папиросу сунул за ухо и собрался уходить, но Михаил Михайлович подскочил к нему, как тарантул:

— Знаю я ваш анархизм. Вместе кур воровали на Версальской дороге. Вы — просто опустошенное чучело, Гастон Утиный Нос. Весь ваш анархизм — от несварения кишек. Ножиком мне перед носом не вертите. Скоро вам правительство субсидию назначит,— анархисты! Особые колпаки с черепом и костями будут выдавать из цейхгауза на предмет усиления притока иностранцев в Париж. Чушь! Мусор! Старье! Все ваше откровение — жареный каплун да бутылка бургундского. Чмокать любите, милый друг...

Михаил Михайлович наговорил лишнего. Гастон Утиный Нос булькал горлом, щурил стеклянные глаза, бледнел. Я отошел за спинку кровати и — вовремя: Гастон Утиный Нос гортанно вскрикнул, отпрянул в коридор, и оттуда, как зайчик света, со свистом пролетела наваха. Михаил Михайлович схватился за разрезанное ухо. Утиный Нос исчез навсегда.

Такая полировка крови пришлась Михаилу Михайловичу по вкусу. Им овладела жажда деятельности и движения. В рабочих кабачках, близ площади Республики, в притонах предместья Монруж он собирал слушателей, ставил им литр водки и произносил речи о приближающейся гибели цивилизации, об идущей на человечество огромной ночи, *где будут мерцать лишь костры кочевников,* о восторге отказа от себя, о пробудившихся человеческих массах, о массовой воле, об *урагане времени,* о русской революции, сеющей на закате мира семена нового завета. Он показывал разрезанное ухо и ругал верблюдом, грязной коровой и сволочью Гастона Утиный Нос и весь его анархизм.

Но время для апокалипсиса было неудачное. В Париже начались танцы: где бы только ни заиграла музыка — в кабачке, на перекрестке, на тротуаре,— появлялись пары, тесно прижавшись, глядя сонно в глаза друг другу, кружились, сгибали колени, раскачивались, танцевали, танцевали, как загипнотизированные. Не было в этих танцах ни веселья, ни страсти, но какая-то сосредоточенная решимость — нагнать потерянное время, забыть в сонной вертячке моря крови, все еще мерцавшие в каждых глазах.

К этому веселью прибавилась еще и надежда на получение процентов по русским займам. Колчак перелезал через Урал. Деникин подходил к Москве. В Париж слетались русские стаями, как птицы, общипанные и полусумасшедшие. Созывались политические совещания, открывались кредиты, шли непрерывные заседания. Грузились аэропланы и танки. Роковым басом ревела Эйфелева башня о неминуемом,— через три недели,— конце большевиков! В квартале Пасси появились общественные деятели с бородами, безвинно поседевшими, с портфелями, набитыми за-

писками о спасении родины. Вынырнул Кулышкин в велосипедной шапочке. Русских узнавали за сто шагов по сумасшедшим глазам, по безотчетному забеганию в магазины.

Моя душа, окутанная апокалиптическим бредом, раскалывалась,— чуяла налетающий топот рысаков тетушки Епанчиной. Но я таился, хотя и бросало то в озноб, то в жар. Я часто ловил на себе тревожные и любопытные взоры Ренэ. Должно быть, действительно тогда я слегка спятил, потерял натуральное чутье, ту звериную тропу, которая привела к единственному живому уголку в моей жизни — под ситцевую перину к Ренэ. Бедняжка Ренэ грустила, терпеливо сносила грубость и неизвестно почему пришпорившее меня высокомерие, торопливо бегала за вином и едой, тихонько спала на краешке постели, покорно ждала развязки. Я наглел с каждым днем. Еще бы: одолеет Деникин — тогда я опять барин, одолеют большевики — все равно я — скиф, попиратель Европы, бич божий. Разумеется, развязка наступила очень скоро. Случилось это в день праздника Разоружения.

С утра огромные толпы повалили со всего Парижа к Звездной площади. Было знойно и душно. В мареве над городом плавали монопланы. Солнце пылало над кишащими народом бульварами, над сожженной листвой каштанов, над пыльными крышами и точно покрытыми пеплом домами. Тряпками висели флаги. В горле закипала металлическая пыль. Пот грязными каплями полз по измученным лицам.

Ренэ пожелала непременно видеть парад войскам, и мы втроем пошли толкаться в человеческой каше. Со стен Дома инвалидов палили пушки,— казалось, словно свет солнца разрывался стальным скрежетом. На тротуарах в людских потоках сидели, ухватившись за столики, обыватели,— пялились одурело, глотали ледяную воду. Это был день, когда ЧЕЛОВЕК бросил винтовку и рукавом вытер пот и кровь с лица своего, но солнце продолжало жечь, раскаляло горло, раздувало жилы,— не было ни пощады, ни прощения.

Ренэ настойчиво восхищалась флагами, вензелями на окнах и парящими монопланами. Щеки ее горели.

Держа меня за руку, она ловко проталкивалась в толпе. Михаил Михайлович тащился за нами, зеленый и прищуренный. Так мы добрались до площади Согласия. В угловом доме, в раскрытых окнах, лежали американские солдаты, показывали что-то пальцами, хохотали, хлопали друг друга по здоровенным спинам. Вот внизу, расталкивая толпу, появились бегущие, как в котильоне, растрепанные девчонки и молодые люди с испитыми лицами, в похабных пиджачках... Задирая головы, они все кричали: «Папирос, папирос!» — и американцы, хохоча в окнах, швыряли вниз коробки с папиросами. В толпе крутились, дрались, визжали. Помню — на секунду мелькнуло седоусое лицо высокого, худого француза: с горечью, изумлением, гневом смотрел он на эту новую Францию, подбиравшую в пыли американские папиросы.

Ренэ дергала меня за руку: «Кричи же, кричи, это страшно весело»,— и сама завизжала: «Папирос, папирос!» Я выдернул руку из ее руки. Лютая ненависть к папиросам, к толпе, к Ренэ, к этому празднику винтом скорчила меня. Мы с Михаилом Михайловичем стали протискиваться к площади. На ней от вершины Люксорского обелиска к статуям двенадцати городов Франции были протянуты веревки, усаженные огромными коричневыми цветами из бумаги. Кругом площади лежали горы сваленных немецких пушек. Повсюду, как высохший лес, торчали высокие, тонкие шесты, обвитые лентами, украшенные бумажными цветами. Эти непонятные шесты и деревянные арки с намалеванными, как на кинематографических рекламах, транспорантами тянулись вдоль Елисейских полей. Солнце пылало в душном мареве над шестами и арками, над бумажными цветами, заржавленными пушками, над этим страшным праздником умерщвленных.

Ренэ догнала нас и опять хотела взять меня под руку. Но я закашлялся пылью, закричал: «Оставь меня... убирайся к черту!» Я не видел ее лица. Она, как тень, качнулась в толпу, ее заслонили бегущие подростки.

Михаил Михайлович с остервенением работал лок-

тями. Около часа мы пробивались к левому берегу: головы, головы, пыльные лица, запекшиеся рты. Нестерпимо хрипели свистульки. И вот снова раскололся свет, ударили пушки от Инвалидов. По морю голов полетели крики, замахали шляпы, платки. Михаил Михайлович вскочил на подножку пустого автомобиля — весь перекошенный, пряменький — и начал выкрикивать лающим голосом:

— ...Это ваш праздник?.. с ума сошли?.. разве не видите... ведь это — *негритянский рай...* Так этим вы кончили войну?.. для этого четыре года тряслась земля?.. чтоб — цветы из оберточной бумаги?.. Обманули!.. Проснитесь... сегодня праздник мертвецов... президента — на фонарь!.. депутатов — в Сену!.. К черту «Мадлон»!.. *Карманьолу...* Жечь дворцы!.. плясать на трупах!.. водку — с порохом!.. Только этим... этим...

Ему не дали говорить. Толпа зарычала, надвинулась. Множество рук потянулось к нему. Какой-то багровый усач в крошечном котелке схватил его слоновой ладонью за лицо. Михаил Михайлович, сорванный с подножки автомобиля, исчез под машущими кулаками. Я рванулся сначала к нему, затем — бежать... Но и меня сбили с ног. Помню лишь вонючий башмак, носком залезавший мне в рот...

. . . .

...Ага... Ты все еще ждешь развязки? Прости, совсем забыл. Читай, мой дорогой: исписано здесь бумаги на двадцать четыре су, и не безрезультатно. Пишу — третий день. Понимаешь: это — в третий день. Смешно? — хи, хи, как смеялся дорогой Миша... Я ведь и сам не ожидал такой развязки. Скажи мне, судья праведный, человечество должно защищать себя от бешеных зверей? Если в комнату к тебе входит зверь, если в душу твою входит бес? — крестом его, поленом, каблуками, а потом — ножки вытри о половичок. Во имя чего? Во имя самого себя-с. Желаю покойно сидеть под абажуром у камина, желаю ноги мои, опозоренные мелкой беготней, целованные некогда матерью моей, худые ноги мои, протянуть к огню. Достаточное основание? Когда в смертный час скрипну зубами — во мне исчезнет вселенная: плевать, будто бы она суще-

ствует сама по себе,— не желаю верить, не докажешь. Я есть я, единственная материальная точка. Вокруг меня кружатся потухшие и пылающие солнца. Распоряжаюсь ими, как хочу. Заживо желаю с блаженством вытянуться,— потухай, мир, черт с тобой. Прищурюсь на Сириус,— ну-ка, лопни. Трах-тара-рах,— летит Сириус в клочки, звездный переполох, и — пустая дыра в пространстве. Так-то...

. . . .

...В моем письме как будто незаметно перерыва... Нет, дружище, перерыв есть... Весьма даже существенный перерыв. Отлучка была. И даже место писания переменилось. И бумага, как видишь, другая. На этот раз *беседую с тобой из бистро мадам Давид...* Ах, чудесная вещь литература! Вот в тебе кишмя кишит адское варево... Начни писать: пей красное вино, кури и пиши,— пей, думай и пиши. Потянутся ниточки, встанут стройные линии. И — смотришь — возник очаровательный мостик над хаосом. Веди меня по этим аркам, Вергилий...

...Вот что случилось... Но по порядку. После избиения на площади Согласия меня и Михаила Михайловича сволокли в участок и там «пропустили через табак», после чего Миша и я, харкая кровью, пролежали три месяца в сводчатом подвале на железных с дырочками койках. За эти три месяца я с божественной ясностью понял, что кочевые костры — не что иное, как сумасшедший бред, и весьма опасный, что Михаил Михайлович придумал эти костры от неистовой гордости и высокомерия, а вот обитый гвоздями полицейский башмак, когда он проезжается по твоим ребрам,— дневная, ясная, отменная действительность, и по ней только, по этому курсу держи компас.

Лежа рядом с Мишей на койке, все это я понял и затаил и возненавидел друга моего радостной даже какой-то ненавистью. Нам грозили неприятности, но кое-кто вступился, помогла также розетка ордена Почетного легиона, найденная в жилетном кармане у Михаила Михайловича. Нас молча и сурово выпустили из участка. Была осень, дожди. Дверь на чердак Ренэ я нашел запертой, комната была пуста. Соседи

сказали, что Ренэ давным-давно уехала в деревню к тетке. Я кинулся к дядюшке Писанли и взял у него кое-какую работишку,— переписывал ноты, ходил играть фокстрот в публичный дом. Я честно зарабатывал хлеб. Поселился я в старой нашей комнатке. Печально, одиноко было лежать под холодной периной, слушать, как барабанит дождь в косое окошко. Во сне мне часто снилась Ренэ. Как плакал я, обнимая подушку!

От встреч с Михаилом Михайловичем старался уклоняться... Заметь это... Он оставлял мне малопонятные записочки,— я бросал их в поганое ведро не читая... Однажды прочел... Заметь,— он сам, сам во всем виноват... Я прочел в записке: «Саша, дорогой, приходи немедленно, у меня много денег...» В этот вечер лил потоп. С протекавшего потолка падали капли в глиняный таз. Комната моя и освещалась и согревалась одной свечой. В кармане — три липкие медяка по два су. Помню, я долго глядел на тень от гвоздя, на котором когда-то висела юбочка Ренэ. Подвернул брюки и пошел по указанному в записочке *новому* адресу. Боже, какой был дождь!

Михаил Михайлович сидел у пылающего камина, под лампой с оранжевым кружевным абажуром: развалился в шелковой пижаме — светленькой, в полосочку, в какой баб принимают,— и тянул коньячок. Меня даже лихорадка ударила: в чем дело? откуда все это? Присел у огня. От одежи пошел пар, пахну псиной и чувствую — сейчас завою от обиды.

Мишенька хихикал, дрыгал коленками. Оказывается, нефтяные дела его покровителя пошли неожиданно в гору: англичане купили на Кавказе участок, и Михаилу Михайловичу перепали крохи. Отсюда и бонбоньерочная квартирка и коньячок. Он мне сказал: «Я, дружочек, решил отложить закат Европы на некоторое время, насладиться жизнью, хи, хи...»

Мы пили до утра. Но ничем я не мог погасить в себе ледяной дрожи. Кончилась ночь следующим разговорчиком. Я сказал:

— Ты знаешь, что ты исковеркал, растоптал мою жизнь?

— Ну что же, Сашура, если растоптал, значит — лучшего она и не стоила... Ты только представь: ты — жучок, и подожми лапки.

— Врешь. Я лучше тебя. Из меня мог бы выйти замечательный музыкант.

— Жалко, жалко, что из тебя не вышел замечательный музыкант.

— Ты сумасшедший... Тебя убить нужно.

— Подожди, поживу еще немножко. Смотри, как у меня уютно.

— Я тебя убью все-таки.

— Чем?

— А вот этим. (Я вынул наваху, брошенную Гастоном Утиный Нос. Клянусь тебе, я не помнил, с каких пор она завелась у меня в кармане. Михаил Михайлович пощупал лезвее.)

— Нарочно ее захватил?

— Не твое дело.

— Это когда мы на койках лежали, ты решил?

— Да, тогда.

Он вдруг перегнулся через стол, оловянными, без просвета, глазами отыскал мои зрачки:

— Саша, знаешь,— ведь убить ты меня не можешь... Я ведь не существую сам по себе... Тебе это никогда не казалось? Изловчишься, пырнешь меня, а ножик-то, оказывается, у тебя в горле. А меня-то и нет совсем... ку-ку...

Он зажмурился, засмеялся беззвучно. Я пошел к двери. Он догнал меня, сунул в руку сто франков, обнял, заговорил по-старому, но я ушел. Я провалялся много дней в лихорадке на чердаке. Думал: околею, но только не видеть его. Ненависть, ненависть, трепет, ужас были во мне,— будто я — поджавший ноги жучок, будто Миша, застилая полсвета, пауком подбирается ко мне. Денег не было. Он щедро мне отваливал по двести, по триста франков. Забегал чуть не каждый день. За всем тем — пришлось бывать у него. Появилось пианино. И опять я играл Град Китеж, и он с рюмочкой на ковре заходился от восторга...

Третьего дня, в понедельник, Михаил Михайлович поехал в банк получать сто тысяч франков. Сегодня,

в четверг, он должен был передать эти деньги своему покровителю, возвращающемуся из Лондона. *В понедельник же утром я сел писать тебе письмо.* Деньги были все это время у Михаила Михайловича. Я не выходил из бистро мадам Давид. Писал и пил красный «пиф». В среду, вчера вечером, в двадцать минут седьмого, писать я больше уже не мог. Потребовал тройной крепости кальвадосу. Лихорадка трепала меня на стуле. Я поднял воротник и пошел к нему. Михаил Михайлович как раз выходил из подъезда: коротенькое пальто, через плечо перекинута тросточка,— пряменький, хохотливо весел. Я понял сразу: все эти дни деньги он носит при себе. Обрадовался мне чрезвычайно. Мы отправились в кабак, оттуда к девкам,— старая программа. В четыре часа утра мы шли по древнейшей уличке близ Севастопольского бульвара. Михаил Михайлович пожелал скушать лукового супу на рынках... Мы спокойно шли есть луковый суп. Было только одно: несколько раз он спросил: «Что ты отстаешь? У тебя гвоздь в башмаке?» — и близко всматривался мне в лицо помертвевшими глазами. На улице было пустынно. Проехала огромная телега с морковью и цветной капустой, прогрохотала саженными колесами и скрылась за поворотом. Я отстал на шаг, мягко раскрыл наваху и вонзил ее Михаилу Михайловичу сзади в шею...

. . . .

И вот... прощай... Ухожу вслед за ним...

УБИЙСТВО АНТУАНА РИВÓ

Антуан Ривó повесил на крючок шляпу и трость, поджимая живот, кряхтя пролез к окну и хлопнул ладонью по мраморному столику. Вот уже пятнадцать лет в один и тот же час он появлялся в этом кафе и садился на одно и то же место.

Когда-то у Антуана Риво были пышные усы, молодцеватое выражение лица. Теперь щеки обвисли, и прежний румянец проступал лишь пятнами, в виде красных жилок на носу и скулах. Время сокрушало Антуана Риво (рантье, холостяк, улица Прентаньер, 11). Но он все же твердо стоял на своих привычках, хотя накопленный за тридцать лет упорного труда капитал в 400 тысяч франков далеко теперь не стоил четырехсот тысяч: франк падал, жизнь дорожала, с трудом приходилось подводить баланс каждому месяцу, учитывая лишнюю рюмку, лишнее блюдо, лишнюю папиросу, предложенную уличной девчонке в кафе. К счастью, для Антуана Риво расход на женщин был почти сведен к нулю.

Итак, Антуан Риво хлопнул ладонью по столику. Подошел Шарль, гарсон, похожий на всех гарсонов Парижа: бриллиантиновый пробор, галльский лоб, какая-то недохватка с носом, кривоватые ноги, короткая курточка, белый фартук. Шарль подал Антуану Риво руку и спросил скороговоркой:

— Как дела?

— Не плохо,— ответил Антуан Риво, изобразив вытянутыми губами, безнадежными морщинами, движением плечей, что дела в сущности так себе.

Шарль махнул салфеткой по столику, ушел и сейчас же вернулся со стаканом и бутылкой «Дюбоннэ». Налил, придвинул графин с водою и льдом, заложил руки за спину и стал глядеть в окно.

— Да, да,— сокрушенно вздохнул Антуан Риво, подбавляя воды в «Дюбоннэ». Вздохнул и Шарль. За окном, под каштановыми деревьями, с которых время от времени падал увядший лист, некрасивая женщина везла детскую колясочку; прошел в парусиновом халате, без шляпы, провизор Марсель Леви из местной аптеки; прошли два солдата в красных эполетах и в медных касках с конскими хвостами. Некрасивая женщина с тоской поглядела им вслед. Вертя бедрами, прошмыгнул с папиросной послевоенный тип,— молодой человек в пиджачке с подложенными грудями и боками,— поскользнулся в собачий след и запрыгал, осматривая подошву.

— Жизнь дорога,— уверенно сказал Шарль.

— Да, да.

— Страна нищает, налоги увеличиваются, проклятые *боши* не хотят платить...

В ответ на это Антуан Риво побагровел и стукнул уже не ладонью, а кулаком по столу, но не сильно, так как знал меру:

— Мы их заставим платить, черт меня возьми с кишками! Я выплачиваю нашему правительству немецкие репарации из собственного кармана,— как это вам понравится! Налоги, налоги! А немцы потирают руки: платят не они — Антуан Риво. Дерьмо! Довольно! Я требую: занять Рейн!

— Боши хотят новой войны — они ее получат,— сказал Шарль ледяным голосом и выпятил подбородок.

Так они поговорили о политике. Затем Антуан Риво сообщил то, что с самого утра нарушало правильное действие его организма, влияло на желудок: племянник его, Мишель Риво, демобилизованный в де-

вятнадцатом году, опять прислал пневматическое письмо с дерзкой просьбой ста пятидесяти франков. Бездельник и мот! Денег он ему, разумеется, не даст,— довольно мальчишка сидел на шее,— но боится, как бы Мишель не пронюхал, что он после катастрофы с Китайским банком вынул часть вкладов — шестьдесят пять тысяч франков,— и деньги эти теперь держит дома.

— Но это совсем уж глупо, купите аргентинские...— начал было Шарль, но его позвали в другой конец кафе.

Антуан Риво допил аперитив, свернул из черного табака папиросу и выкурил ее, пуская дым сквозь усы. Посидев еще некоторое время, нужное для выделения желудочного сока, он вылез из-за стола, сделал несколько привычных движений, оправляя взлезшие брюки и жилет, и крикнул Шарлю:

— До завтра!

— Добрый вечер, мосье Риво, до завтра.

Ни Шарль, ни Риво не могли, разумеется, знать, что не только завтра, но никогда уже больше Антуан Риво не придет в кафе.

В четверть двенадцатого Шарль снял фартук и курточку, надел котелок и пиджак, подлез под полуопущенную железную штору на двери и вышел на бульвар. Со скамьи навстречу ему поднялась Нинет, девушка из универсального магазина «Прекрасная цветочница». У Нинет было неправильное личико с большим ртом, мигающими глазами. Она пришепетывала, что особенно нравилось в ней Шарлю. Темперамент Нинет дремал, еще не раскрывшись.

Она подставила щеку для поцелуя. Шарль взял ее за средний палец руки, и они пошли молча по бульвару, в сыроватой темноте каштановой аллеи. Кое-где сквозь стволы ложился свет уличного фонаря, быстро, веером, проползали огни автомобиля. На одной из скамеек сидели, обнявшись, давешняя некрасивая женщина и совсем еще молодой человек с голыми коленками.

Шарль молчал,— устал за день. Приятно было думать о том, что дома, в грязненькой, старенькой гостинице под названием «Отель магистратуры и высшего духовенства», в пропахшей каминной пылью ветхой комнатке с огромной деревянной постелью, ждут его паштет, бутылка вина, не разбавленного водой, и добросовестные ласки Нинет. Он раскачивал за палец руку девушки и устало улыбался.

Нинет тоже молчала. За много месяцев их связи однообразие этих вечерних встреч с Шарлем утомило ее. Все было заранее известно, вплоть до той минуты, когда Шарль, опрокинув в горло последний стакан вина и щелкнув языком, скажет бодро:

— А теперь, малютка, в постель.

Нинет была рассудительная девушка: порывать старую, прочную связь казалось ей неблагоразумным. Она терпеливо ждала.

Молча дошли они до отеля «Магистратуры и высшего духовенства», поднялись по деревянной винтовой лестнице в третий этаж. Шарль отомкнул дверь в свою комнату, зажег пыльную, под потолком, электрическую лампочку, сбросил пиджак и стал привычно и ловко накрывать на стол.

Нинет села на край постели, сняла шляпу и согнулась, облокотившись о колени. Коричневые обои, тусклый свет, Шарль в подтяжках — все было знакомо.

— К столу! — наконец крикнул Шарль и шибко потер ладонь о ладонь. Паштет оказался выше похвал. Утолив первый голод, Шарль пересел ближе к Нинет и левой рукой обхватил ее пониже талии: точно так,— он знал,— поступали шикарные парижане с шикарными парижанками в кабинетах. Он поднял стакан вина и выпил за женщин.

Нинет лениво жевала. Ее губы разгорелись от вина, лицо стало белее и тоньше, глаза перестали моргать. Она глядела на стену. Шарль был уверен, что она уже чувствует к нему прилив страсти. Он похлопал ее по спине и покусал за плечо. Нинет прозрачными глазами глядела на потрескавшиеся обои. Но Шарль хотел длить удовольствие и принялся было рассказывать все,

что слышал за день от посетителей кафе. Нинет нетерпеливо передернула плечами и расстегнула черную шелковую кофточку.

Тогда Шарль, понимая, что настала именно та минута, из-за которой многие, даже знаменитые французы жертвовали жизнью,— бросился на Нинет, поднял ее на руки и, протащив три шага, положил на постель. И эти синематографические поступки также были Нинет знакомы. Она опрятно разделась и залезла под одеяло.

— О, какая женщина, какая женщина! — свистящим шепотом воскликнул Шарль. Затем за темным окном на церковной башне пробило час ночи. Шарль подоткнул одеяло и продолжал прерванный разговор о посетителях кафе.

— Вот, подумай, какой дурак, старый гага̀, этот Антуан Риво...

— Кто, ты сказал? — внезапно, быстро перебила Нинет, даже села в постели.

Эта быстрота ее вопроса была так неожиданна, что Шарль внимательно вгляделся. Глаза Нинет смотрели прямо ему в глаза. Какая-то была в них загадка, но нет,— девушка честна, и Шарль продолжал:

— Этот Риво до того напугался крахом с Китайским банком, что вынул часть вкладов,— шестьдесят пять тысяч,— и держит их теперь у себя в комнате под ковром...

Шарль захохотал, скручивая папироску. Нинет отодвинулась от него. Неправильное личико ее стало озабоченное, почти тревожное, глаза потемнели. Вдруг она перелезла через Шарля, соскочила на вытертый коврик и быстро начала одеваться.

— Куда, Нинет?

— Ах, мне стало плохо, я пойду домой.

Шарль зевнул, улыбаясь:

— Ну, крошка, если хочешь — иди. Не забудь только внизу захлопнуть дверь. До завтра. Будет цыпленок с трюфелями.

Нинет поцеловала в голову Шарля и убежала. Через минуту за окном быстро-быстро,— что-то уже слишком быстро,— промчались ее каблучки.

Ночь была темна и тепла. Неподвижно стояли огромные каштаны, едва тронутые светом с далекой площади. Очертания домов растворялись в темноте неба. С листьев падали теплые капли.

Нинет перебежала аллею, взобралась, задыхаясь, на травянистый крепостной вал и подняла голову.

За деревьями высоко горело небольшое окно теплым светом. Нельзя было различить ни глухой стены многоэтажного дома, ни крыш,— окно было раскрыто прямо в небе над деревьями парка Мон-Сури.

Нинет прислушалась, вглядываясь в темноту между стволами. Поднялась на цыпочки и позвала вполголоса, ясно:

— Мишель!

Сейчас же хрустнула ветка,— Нинет прижалась к дереву. В другой стороне тихо-тихо свистнули. Послышалось шуршание, точно что-то мягкое потащили по прелым листьям. Сердце Нинет билось, как у мыши. Она знала дурную славу парка Мон-Сури. Но все стихло. Нинет опять поглядела на окно:

— Мишель!

В окне появился по пояс человек в ночной рубашке,— маленькая голова, прямые плечи. Он перегнулся, всматриваясь:

— Алло?

Это был Мишель Риво. У Нинет высохло во рту. Но вот из-за спины Мишеля выдвинулась в окне вторая фигура,— взбитые волосы вороньим гнездом, голые руки. Прикрывая грудь рубашкой, женщина эта спросила сонным голосом:

— Ты что вскочил?

— Кто-то позвал: «Мишель».

— Ах, мало Мишелей в Париже! Иди в постель, я хочу спать.

Они говорили вполголоса, но было слышно каждое слово. Нинет прижала руки ко рту, прислонилась к дереву, кора впилась ей в плечо.

Воронье гнездо в окне качнулось и исчезло. Мишель, раздумывая, постоял еще с минутку. Зевнул и пропал. Окно погасло, исчезло в черном небе.

Нинет, все еще зажимая рот, тряслась от слез. Спо-

тыкаясь о корни, она пошла,— побежала с травянистого откоса.

На площади Нинет обернулась в сторону дома, где погасло окно, и часто-часто закивала головой, потом изо всей силы кулаком вытерла глаза.

Утреннее солнце сияло в ручьях, бегуших из водопроводных труб, сверкали капли на листьях овощей, на охапках роз. В корзинах, придавленные камнями, шевелились черные крабы. По влажным торцовым мостовым катились двухколесные телеги, запряженные чудовищными першеронами в хомутах, покрытых бараньими шкурами. Щелкали бичи. Проносились автомобили. Бензином, ванилью, овощами, рыбой, пудрой пахла узенькая и шумная улица. Простоволосые, в фартучках, в домашних туфлях, говорливые парижанки озабоченно готовились к священному часу завтрака.

Мишель Риво шел по теневой стороне тротуара. Он был зол и спокоен. Недокуренная папироска торчала у него за ухом. Каштановые волосы, по моде, зачесаны назад. Галстук — бабочкой. Узкий пиджачок, брюки по щиколотку, шелковые носки, измятая рубашка были неряшливы, но надеты с «шиком». Он видел,— почти у каждой встречной женщины, точно от толчка, раскрывались глаза, и зрачки внимательно касались его зрачков.

Foutre de camp! В кармане зловеще, как могильщик лопатой, звякали две монеты по два су. Пусть бы заговорил с ним кто-нибудь сейчас о моральных устоях. Люди — сволочь, жизнь — дерьмо! Стоило воевать, чтобы шататься с двумя су в час завтрака...

Мишель Риво свернул к универсальному магазину «Прекрасная цветочница» и остановился напротив подъезда, у газетного киоска. По другую сторону его стоял толстый человек в золотых очках и в дорогом жилете. Шея у него была мокрая и дряблая. Развернув газету, он поглядывал из-за нее на подъезд, из которого обычно выходили продавщицы.

Мишель Риво со спокойной ненавистью оглядел от лба до лакированных башмаков толстого человека и обратился к газетчику, старичку:

— Алло, старина,— неужели вы берете по три су за газету? Берите по сорок су, не меньше,— бульвардье заплатят, чтобы только постоять у вашего киоска.

Газетчик с усилием сосал трубку, хлюпая никотином. Мутные глаза его были полны склерозной влаги. Мишель криво усмехнулся:

— Покуда мы воевали,— буржуа, проклятые нувориши, наживались на военных поставках. Они лакомились нашими девочками... О, буржуа! Мы разгромили бошей, вернулись домой. Наши места заняты жирными скотами! К девочкам нельзя подступиться: они требуют туалетов от «Мадлен и Мадлен» и «Колло». Их научили швырять деньгами. А в это время мы, как шакалы, щелкали зубами в окопах. Буржуа вышвыривают нас на улицу! Спасителей отечества заставляют протягивать руку! Ха, ха! Мы хорошо теперь знаем, как входит железо в жирный живот,— легко, как в сливочное масло! Мы многому научились в траншеях. Мы еще посмотрим, кому пить шампанское и целовать девчонок...

У толстяка запотели очки. Он поспешно свернул газету и отошел от киоска. Крепкого разговора наладить не удалось. Мишель Риво даже осунулся от злости.

Из магазина начали выходить продавщицы. Гляделись в зеркальца, мизинцем подмазывали губы, хохоча сбегали на тротуар,— от смеха глаза блестели ярче, розовели щеки, трепались стриженые кудряшки. Толстяк, вытянув дряблую шею, пожирал эту стаю болтливых девушек, высыпавшую из отделений женского белья, кружев и духов.

Появилась Нинет. Ее глаза были красные, припухшие. Мишель Риво взял ее за локоть:

— Вчера ночью вы были у меня под окном?

Нинет ахнула, отшатнулась, подняла мутноватые от слез глаза на Мишеля и быстро пошла через улицу. Он догнал ее:

— Нинет, мне было досадно вчера. Маленькая, пойдем завтракать!

Нинет нагнула голову, быстрее побежала. У нее были, черт ее возьми, ужасно миленькие ножки. Мишель Риво засвистал военную песенку. Нинет запыхалась, пошла тише. Пришлось остановиться перед проезжавшей телегой с винными бочонками.

— Зайдем вон в то бистро, Нинет! Там подают отличное рагу.

Нинет одними губами ответила: «Хорошо». Завтрак примиряет даже врагов. Мишель Риво и Нинет сели рядом на клеенчатый диван, заказали луковый суп, рагу, два литра вина и много хлеба. Нинет оттянула платье, чтобы Мишель глядел ей на голое плечо. Голова у нее кружилась: значит — желает ее, если прибежал после вчерашнего.

— Никогда тебе не есть такого рагу, какое мы едали под Верденом,— говорил Мишель,— мы приготовляли его из мороженых австралийских баранов. После ночи ураганного огня, искрошив в куски тысяч пятьдесят проклятых бошей, хочется жрать, как людоеду,— жрать и спать. Хорошее было время. Мы пили цельное вино. А какой мы курили табак! Спи, ешь, дерись. Это — жизнь!

Мишель выпил залпом стакан красного «пойла», чмокнул, вытер ладонью усы.

— Эта вчерашняя женщина — моя старая, еще военная связь. Привязалась, бог мой! Скучна и однообразна в любовных развлечениях. Овца! Тяготит меня, как ядро, прикованное к ноге. Да, Нинет, да. У меня нет прочной связи. Я одинок. Моя матушка умерла в год войны...

Мишель горестно покачал головой и корочкой стал подбирать с тарелки бараний соус.

— Что мы возьмем на десерт? Мирабели? Алло, гарсон, два раза мирабель, два кофе и коньяк. Маленькая, ты придешь ко мне сегодня?

Сердце Нинет медленно и отчетливо застучало. Она спросила чуть слышно:

— Мишель, тебе все так же трудно с деньгами?

— То есть как так трудно? Гарсон, счет.

Мишель хлопнул себя по пиджаку. Поджал губы,

заморгал. Вскочил, принялся бешено шарить по карманам. Выругался, сел, отер лоб.

— Забыл дома кошелек, чтобы тебе сдохнуть!

— Я заплачу, Мишель...

— Но, крошка, я не позволю...

— Мишель, я приходила вчера сообщить очень важную новость. Антуан Риво взял из банка шестьдесят пять тысяч франков...

— Тише говори...

Мишель быстро оглянул почти пустое бистро и нагнулся ко рту Нинет. Она с жадностью вдохнула запах его волос, облизнула губы:

— Как только я узнала про это — побежала тебе сказать... Бедняк, ты так страдаешь.

(Мишель стиснул рукой ее колено.)

— Антуан держит деньги под ковром, так мне сказали...

(Мишель кашлянул, прочищая горло.)

— Пойди к Антуану, проси у него денег.

— А если он не даст?

Губы Нинет посинели, руки замерзли до локтей.

— Я только хотела тебя предупредить... Я думала... Мы могли бы поехать к морю на месяц... Мы были бы скромны.. Собирать креветок, танцевать с тобой шимми. Я так мечтаю об этом, Мишель.

Глаза ее налились слезами. Мишель, наконец, выдохнул из себя воздух. Отодвинулся.

— Плати! Идем.

В шесть часов вечера Антуан Риво не пришел в кафе. В семь часов гарсон Шарль остановился перед стенными часами и карандашом сильно прижал себе кончик носа.

— Странно.

Шарлю, разумеется, не было никакого дела до Антуана Риво. Но то, что он в первый раз за пятнадцать лет не пришел именного сегодня, это каким-то образом стояло в связи с чем-то ужасно неприятным... Гм... Что-то произошло вчера пустяковое, но неприятное, и это стояло в связи... Гм... Словом, если бы Ан-

туан Риво появился у окна, Шарль сразу бы успокоился...

В четверть двенадцатого Шарль надел пиджак и котелок, подлез под полуопущенную на двери штору и вышел на бульвар. Нинет на скамейке не оказалось. Шарль дошел до конца бульвара. Вернулся... Сдвинул котелок на затылок. Фу ты, черт! Что же случилось? Он был действительно встревожен. Но почему между отсутствием Антуана Риво и Нинет чудилась ему связь? Видел он что-то и забыл, чувствовал и не мог понять.

Шарль в раздумье шел к отелю «Магистратуры и высшего духовенства». На другой стороне улицы приоткрылась дверь одного из подъездов, выскользнула узкая, как тень, незнакомая женщина в шляпе, надвинутой так глубоко, что был виден только острый, белый, как алебастр, подбородок. Быстро-быстро каблучки ее простучали по тротуару.

Шарль сразу остановился, надвинул котелок на глаза. Повернулся и почти побежал. Он вспомнил смятую кровать, сонную Нинет... И то, как вдруг, при имени Антуана Риво, заблестели ее глаза, как она, точно чужая, перелезла через Шарля, торопливо оделась и убежала. Простучали за окном каблучки...

Через десять минут Шарль остановился в узкой уличке, у невысокого дома. Три нижние окна его, закрытые железными жалюзи, выходили на пустырь с огородами, кучами угля и фабричной постройкой, разрушенной в тысяча девятьсот восемнадцатом году гигантской бомбой «Берты».

За тремя ставнями в нижнем этаже было жилище Антуана Риво с отдельным входом: гарсоньерка. Наружная дверь оказалась приоткрытой. У Шарля стукнули зубы. Все же он осторожно отворил дверь и вошел в темную комнату с кислым, стариковским запахом. Он споткнулся о поваленный стул. Потер ушибленное колено. Пошарил в карманах, нашел восковую спичку, чиркнул ее о штаны. Огонек ярко разгорелся... На ковре у камина лежал большой, раздутый мешок. Шарль наклонился к нему. Мешок оказался животом Антуана Риво. Короткие ноги его, в подштанниках, были раз-

двинуты, как ножницы. Лицо куда-то делось. Вместо лица — черное, вспухшее, напрочь перерезанное горло.

Спичка погасла, уголек упал и зашипел. Шарль опомнился за дверью. Притворил ее и пошел, на цыпочках, вдоль мрачного пустыря.

Вереницы автомобильных огней катились по сырым аллеям Булонского леса. Асфальтовые шоссе, маслянистые и зеркальные, отражали силуэты машин и длинные ветви деревьев, застилающих звездное небо. В низко ударяющих столбах света возникали пешеходы, лакированные зады автомобилей, бледные лица женщин за блеснувшими стеклами. Автомобили и пешеходы двигались в дальнюю часть леса, к парку Багатель.

Граф д'Артуа, брат Людовика XVI, просил однажды королеву о любовном свидании. Мария Антуанетта сказала: «Да». Осенью, во время охоты, в уединенном месте, она отдаст ему час любви. Граф д'Артуа выбрал на берегу Сены, в лесу, уединенное место, где росли столетние дубы и по лужайкам бежал ключ. Здесь он разбил английский парк, перекинул мостики через ручей и на открытой поляне построил дворец, а рядом — отель для свиты. Кругом он приказал посадить миллионы роз. Постройка была окончена в три месяца. Мария Антуанетта сдержала слово. Во время охоты лошадь ее взбесилась и унесла королеву в замок любовной прихоти — Багатель. Прошло много лет. Королева была казнена, граф д'Артуа бежал из Франции. Теперь в Багатели цветут поля роз. Чудесные розы покрывают лужайки, оплетают старые стены ограды, свешиваются с ползучих арок. Сегодня в Багатели герцогиня д'Юзез, по бабушке из рода Рюриковичей, давала Парижу праздник в пользу жертв русской революции.

Мишель Риво бросил кассиру смятую бумажку в сто франков и вместе с Нинет вошел через железные ворота в парк. С правой стороны из-за леса, из дымных облаков, подымалась луна мутным, огромным шаром. На сырые поляны, посеребренные ее светом, ложились тени от одиноких дубов. Было прохладно, недавно прошел дождь.

Налево, на длинной и покатой поляне перед озером, стояло множество стульев и скамей. Окаймляющие поляну пышные платаны были покрыты бумажными фонарями, расположенными как гроздья винограда. В воде озера отражались огни и звезды.

Съезд начался. Группы зрителей шли в свете луны и светящихся лиловых гроздей. Здесь был весь блестящий Париж, собравшийся ко дню розыгрыша большого приза.

Мишель Риво стоял, заложив палец за борт пиджака, опираясь о тросточку. Нинет держала его под руку,— ей казалось, что все это — сон. Лицо Мишеля было болезненно-бледно, ноздри раздуты. Мимо, по мокрой траве, шагали высокие англичане в вечерних, до пят, черных пальто, в мягких шляпах; проходили горбоносые, с маленькими головами, французы в шелковых цилиндрах, в плащах, перекинутых через руку, во фраках, обливающих их длинные фигуры; маленькие, смуглые, мерцающие жемчужными запонками южные американцы; японцы с лицами-масками, в очках, в просторных фраках. Пышно, как по ковру, проходили по мокрой траве полуобнаженные женщины, неведомо чьею фантазией порожденные на земле. Их тонкие руки, грудь, спины глубоко — до поясницы — были обнажены, лишь две нити придерживали черные, пышные газовые юбки, их волосы убраны просто, гладко — узлом на затылке. Таков был вкус после войны: женщина захотела раздеться перед всеми. Она сняла драгоценности, причесала волосы просто и прикрыла траурной легкой материей лишь то, что было некрасиво оставить открытым. Послевоенная эстетика требовала простоты и много прекрасного тела.

Мишель Риво сказал, не разжимая зубов:

— Оставь мою руку.

Нинет торопливо выдернула руку из-под его локтя. Места перед озером наполнились. На эстраде над водой зажглись среди стволов ртутные лампы. В первые ряды не спеша прошли индусы в черных халатах, в белых чалмах. Они окружали раджу, с лицом ястреба. От

него шли лучи драгоценных камней, сверкало золото одежды.

Заиграл оркестр под сводами листвы, сильнее осветилась эстрада, на ней, отраженная в воде озера, тонкая, сильная, в белых пачках, появилась Анна Павлова.

Мишель Риво повернулся и пошел к одиноко стоящему на седой поляне дворцу Багатель, залитому лунным светом. Мишелю хотелось пить. Горло горело. У буфетного стола, перед дворцом, он спросил коньяку. Нинет с ужасом глядела, как Мишель выпил пять больших рюмок. Вытирая усы, он развернул грязный носовой платок, вдруг дернул головой, точно от удара, сунул платок в карман и отошел от стола.

— Какого черта ты меня сюда привела!

Часто-часто моргая, Нинет сказала:

— Я не знала, что здесь так все дорого.

— Ты — дура! Заплатить сто франков, чтобы пялить глаза на этих скотов, которым давно надо перерезать глотки...

Он стукнул зубами, сунул руки в карманы штанов и зашагал по поляне. Нинет в тоске поглядела на тучку, находившую на луну. Вчера после завтрака они с Мишелем ласково расстались. Мишель ушел просить денег. Сегодня, в сумерки, они встретились около Лувра. Мишель, усмехаясь, показал пачку кредиток: «Старик Антуан раскошелился». Они стояли на мосту, обсуждая, что делать вечером. За садом Тюильри разливался багрово-пыльный свет заката. Его отблески скользили по воде, ложились на графитовые крыши Лувра. Мишель осунулся, папироска у него повисла, приклеившись к губе. «Мишель,— сказала Нинет жалобно,— пойдем куда-нибудь в шикарное место, раз в жизни!» И она вспомнила, что сегодня праздник в Багатели. И вот они здесь. «Ах, лучше было бы просто поужинать в бистро, посидеть часок на диванчике и пойти спать, чем водить Мишеля глядеть на красивых женщин».

Вдали между деревьями вспыхнул круг прожектора, и ослепительный столб света потянулся над зазеленевшей, как яд, травой. Неподалеку зашипел и протянулся второй столб. Издалека — третий. Бродя по

поляне, столбы скрестились в одной точке,— осветили кучку людей в огненно-красных сюртуках, в красных шапках. Они держали медные рога и вдруг затрубили, печально и протяжно, древнюю охотничью песню — сбор по оленю. Это был антракт. Мишель вздрогнул, втянул голову в плечи. В глазах его появился нестерпимый ужас. Но столбы вдруг погасли; пропали красные трубачи. И снова над поляной, над разбросанными по ней дубами кое-как стала светить незатейливая луна.

С озера шли зрители. Ни Мишель, ни Нинет не знали, конечно, что вот этот изящный, презрительный, с худым лицом молодой человек открыл первый начало великой восточной трагедии, убив у себя на дому полумифического мужика. А вот этот — курносый, с собачьим лицом, с глазами-щелками — знаменит на весь мир не менее: командир волчьей сотни, пролетевший, по колено в крови, по Кавказу и Дону. Вот этот, скромный и разочарованный, похожий на учителя математики, недавно еще был могущественнее турецкого султана... Вот эта полная, рослая, в голубом сарафане и кокошнике — сама герцогиня д'Юзез; рядом с ней — скучающий человек с темными усами, в шелковом цилиндре, слегка набекрень — русский император, напечатавший в Ницце листок с просьбою вернуть ему империю и подданных...

Мишель пристально глядел мимо идущих, на кусты, по ту сторону дорожки, где, полускрытые листьями, поблескивали пуговицы на двух полицейских мундирах. Мишель негромко спросил Нинет:

— Ты никому не сказала, что мы пойдем в Багатель?

— Нет, я сказала только моей консьержке.

Мишель осторожно пошел в тени деревьев. Там стояла вторая пара полицейских. Мишель отвернулся. Так, спокойным шагом, он дошел до опушки. Здесь вдруг схватился обеими руками за шляпу и побежал, сгибаясь под ветвями. Нинет ахнула. Крикнула жалобно: «Мишель!» Сейчас же справа и слева наклонились к ней два длинноусых, каменных лица — сержанты полиции. Один спросил ее имя, другой сказал:

— Вы арестованы, мадемуазель.

На допросе у следователя Нинет дана была очная ставка с гарсоном Шарлем, который еще в ночь убийства рассказал в полицейском участке о страшной находке и о всех своих сомнениях.

Увидев у следователя молодую девушку, Шарль закрыл рукой глаза и воскликнул: «О, это та, которую я любил!»

В кабинете следователя сидели хроникеры из бульварных газет. Нинет держалась мужественно. «Этот человек,— сказала она, кивая подбородком на Шарля,— этот овернец отравлял мою жизнь скверными паштетами и убийственным однообразием своей любви... (Нинет знала, что в эту минуту говорит для Франции.) Я парижанка, мосье, я женщина,— я была несчастна. Я любила Мишеля Риво, но он был беден. Мне оставалось только покориться своей судьбе». Нинет разрыдалась. Виновность Мишеля она решительно отрицала. Шарль в первый раз видел ее такою...«Черт возьми,— пробормотал он,— черт возьми, вот это женщина».

Портреты Шарля, Мишеля и Нинет появились в газетах. Слова Нинет о том, что она — парижанка и женщина — принуждена довольствоваться скверными паштетами и однообразной любовью, эти замечательные слова облетели всю Францию. Кафе, где в продолжение пятнадцати лет Антуан Риво пил аперитив, стало знаменитым. Хозяин поставил лавры у входа и место Риво у окна покрыл флером. Шарлю приходилось рассказывать каждому посетителю про свой разговор с Антуаном Риво накануне убийства, про ночную беседу с Нинет, про свою тревогу вечером следующего дня и, наконец,— посещение жилища добряка Риво и ужасное зрелище — труп с перерезанным горлом. «Вы понимаете, мосье,— заканчивал Шарль,— какой опасности я подвергался, когда засыпал после дня, полного трудов, и эта женщина, лежа рядом со мной, обдумывала план убийства. Она имела обыкновение кусать себе ногти, когда лежала в постели».— «О?» — испуганно восклицал посетитель... «Да, да, мосье, кусала ногти».

Так прошла неделя, но убийца, Мишель Риво, все еще не был арестован...

В центре Парижа, в стороне от многолюдных больших бульваров, есть узенькая улица XV века, «Улица Венеции». Она не шире четырех аршин. Дома, построенные уступами, сходятся вверху, оставляя узкую щель неба. У входа в улицу видны остатки цепей времен средневековья. Пыльные окна затянуты паутиной, которую ткали пауки еще при христианнейших королях. К наружным стенам, прямо на улице, прилеплены писсуары, так как внутри домов отхожих мест нет. Мостовая покрыта остатками овощей, куриными внутренностями и еще черт знает чем. Опухшие лица выглядывают из темных лавчонок, из низких входов, из ветхих окон, перекликаются нечеловечески-хриплыми голосами или на воровском жаргоне принимаются ругать случайного прохожего, запускают в спину гнилым апельсином. Эта отвратительная щель населена теми, кого на языке науки называют деклассированным элементом. Полиция заглядывает сюда только днем. Время здесь остановилось и загнило.

Седьмой день Мишель Риво ночевал на этой улице, в комнате Заячьей Губы — проститутки, которую знавал еще до войны. В шестнадцатом году, работая в государственном публичном доме на фронте, Заячья Губа заболела дурной болезнью. Ей пришлось деклассироваться. Она занялась перепродажей краденого.

Днем Мишель Риво бродил по большим бульварам и покупал мелкие, бесполезные предметы, а к часу обеда подавался в рабочие кварталы. Он ел без вкуса, поспешно, иногда прямо на улице. Желудок его был не в порядке. В газетах он прочел интервью с инспектором полиции и понял, что сыщики на ногах — обыскивают Париж кварталами.

Он был в том состоянии спокойного бешенства, когда можно подойти к любому благоустроенному, довольному собой прохожему и перегрызть ему горло.

В сумерки Мишель Риво нырнул в низкую щель лавочки Заячьей Губы «Уголь, вино», помещавшейся на уровне земли. За лавочкой, в сводчатом полуподвале, имелся ход в подземелья древних каменоломен под ста-

рым Парижем. Мишель вошел в эту комнату и увидел худощавого незнакомца: положив локти на стол, он курил папироску, пил вино и щурился на свет керосиновой коптилки.

Мишель подался к двери. Незнакомец не спеша сказал:

— Можете спокойно оставаться. Я — вор. Хотите вина?

Из-за двери крикнула Заячья Губа:

— Не опасайся, Мишель, этот человек знаменит, как Виктор Гюго...

Мишель сел на соломенный стул, взял стакан с вином. Коптилка освещала снизу доверху лицо вора хорошей породы и отменного благородства: блестящие, в пышных ресницах, глаза, подстриженные по-английски усы, тонкая сеть мускулов, двигающихся на скулах под матовой кожей, ловко надетая шляпа, черный галстук, полотняное белье...

— Это вы пришили старика Антуана? — спросил вор.

— Да, я, мосье.

— Чем?

— Солдатским ножом.

— Вы дилетант, мой друг. Старика надо было потрошить сухим методом, покуда он пьет аперитив в кафе... Вы погорячились... Жаль, жаль... Вашей голове придется, видимо, сыграть партию в кегли.

Так же, как все эти дни, тяжелый ком подвалил под живот Мишелю Риво. Лицо его стало серым. Вор сказал:

— Расскажите подробности...

— Я вошел, старик читал газету в кресле... Я был взбешен, да, но спокоен. Старик, ничего не спрашивая, скомкал газету и заорал: «Вон!» Тогда я затворил дверь и потребовал тысячу франков...

— Вы затворили дверь, — спросил вор, — намеренно?

— Говорю вам, что я был взбешен... Я отогнул ковер, под которым лежали деньги. Старик завизжал и кинулся животом на отогнутый ковер. Он уронил очки,

шапочку и туфли... Он испустил отвратительное зловоние...

Вор с удовольствием щелкнул пальцами:

— Это очень нервит, я знаю... Затем он вас укусил?

— Он меня укусил. Он ухвали меня за ноги, чтобы повалить... Тогда я его зарезал. Он покатился, перевернулся и зашипел, как коробка с гнилыми консервами...

— Мой дорогой друг, можете смело считать себя обезглавленным,— сказал вор.— Полиция не прощает подобного дилетантства. А жаль...

Мишель Риво облизнул губы и жадно выпил стакан вина. Вор ногтем мизинца погнал по столу кусочек пробки.

— Вас можно было бы еще спасти, а?

— Я слушаю, мосье.

— Ваша вина в том, дорогой друг, что вы совершили поступок в состоянии запальчивости. Если бы путем спокойного размышления пришли к заключению, что старика действительно нужно убрать... Тогда — браво, браво!.. У вас недисциплинированная воля. Да. Война испортила человеческий механизм. Стоит хаос, как после тайфуна. Революции! Какой запоздалый романтизм! Игра для детей среднего возраста! Коммунисты, фашисты... Ку-клукс-клан. Скучно. Жизнь потеряла магнетическую силу. Война убила вкус: девчонки стали холодны, как рыбы, вино — кисло, в кабаках зеваешь до слез. Перестали даже писать занимательные книги. А? Вы не следите за литературой? Единственное учреждение, которое еще на высоте, это — полиция. От всей великой культуры остались полицейские корпуса. Говорят еще — идет новая сила: это концерны тяжелой промышленности. Они захватывают жизнь по вертикали. Но это пахнет социализмом наизнанку. Здесь нам, последним индивидуалистам, рыцарям маски и потайного фонаря, делать нечего.

Вор ногтем мизинца смахнул пепел с лацкана серого пиджака.

— Итак, в сфере нашего интереса остается полиция. Кстати, вы уверены, что я не полицейский сыщик? Поставьте стакан, вы проливаете вино... Итак, вы — уверены. Это указывает на вашу прозорливость. Я при-

шел сюда именно за тем, чтобы предложить вам убрать одного господина, который таскается за моими пятками, как легавый кобель. Вам придется обойтись с ним примерно так же, как с дядюшкой Антуаном. После этого я постараюсь переправить вас в Южную Америку. За это — тридцать шансов против ста. Без меня у вас — все сто попасть под нож гильотины...

— Согласен! — неожиданно громко крикнул Мишель Риво.— Эй, Заячья Губа, еще два литра красного...

Этой же ночью Мишель Риво стоял в темной нише ворот на старой улице Фобур Монмартр. Луна поднималась из-за мансард. Изредка в гору проезжал автомобиль с гуляками.

Раздались шаги. Мишель сжал зубы. Но нет,— это прошел пьяненький старик газетчик, похожий на Рабиндраната Тагора, спотыкаясь, бормотал названия газет. Опять — шаги. Прошла усталой походкой девушка в повисшем на голых плечах шелковом плаще. Обернулась, нашла в темноте глаза Мишеля. Усмехнулась, прошла.

Было тихо. Париж засыпал. Париж, Париж! Каждый камень здесь враждебен Мишелю. Родина! Проклятие!

Опять раздались шаги. Мимо ворот быстро прошел вор и, как было условлено, щелкнул пальцами. Мишель пригнулся для прыжка. Сейчас же следом за вором появился человек в сером коротком пальто. Мишель кинулся на него и ножом ударил ему в бок — глубоко и твердо... Человек упал со стоном. Мишель быстро пошел вниз к бульварам. Он перегнал пьяненького газетчика и девушку,— она опять, взглянув на него, усмехнулась криво. В глазах Мишеля все еще плыл красный свет...

На углу его окликнули. Стоял закрытый автомобиль. Мишель влез в него, откинулся на подушки, зажмурился и оборвал пуговки на вороте мягкой рубашки.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ

В семейном пансионе вдовы коммерции советника фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд событие: за столом появился новый пансионер — плотный, большого роста, громогласный человек.

Он шумно ел, выпил шесть полубутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фрейлейн Хильде пресмешные «вицы», во рту у него блестели два ряда крепких зубов из чистого золота.

Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах: черный цвет, короткую юбку — долой, носят только полосатое, черное с красным. (У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки.)

Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Павлом Павловичем Убейко, полковником, о хороших делах с печатной бумагой.

Он налил две рюмочки ликеру «Кюрасао Канторовиц» и выпил с напротив сидящим японцем Котомарой за самую твердую из валют — японскую иену. (Котомара открыл желтые, в беспорядке торчащие зубы и сощурился под круглыми очками.)

Он обещался выпить полдюжины шампанского в кабаре «Забубенная головушка», где служил сидевший рядом с японцем озлобленный актер Семенов-второй.

Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина: «Вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком, господин Картошин». (Это вогнало Картошина в густую краску; потупившись, он принялся наливать себе пива, у него покраснела даже рука.)

Он обратился бы также и к другим пансионерам фрау Штуле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в два пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер.

После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркою от столовой. Там, за кофе и ликером, Адольф Задер рассказал Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне свою первую автобиографию.

— Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине,— так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи,— мои почтенные родители прочили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг.

Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек, он видит—я, как дикий конь, грызу удила, он сказал: «Ну, что же, Адольф, поезжай в Мюнхен».

В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал! Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо... но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц двести марок. (Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами.) Да, это были золотые марки.

(Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликеру и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм.)

Ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господа,— зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист? Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей: как белка в колесе. Тяжело. Но — я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги (волнение среди слушателей),— на что мне одному столько денег? Я закушу удила. Я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю,— где поселиться: здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен? Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете — теперь лучше? Ах, оставьте! Кавардак! Сегодня доллар — три тысячи марок, а завтра полторы, а после завтра пять. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. (Соня тревожно оглянулась на мать, Анна Осиповна поправила пенсне.)

Извините, медам, заболтался, еду в банк...

ПИСАТЕЛЬ КАРТОШИН

После обеда Картошин и жена его, Мура, пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штуле: «Сволочь вонючая, немка».

Они вошли к себе в комнатку с одним, во двор, окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал, длинный, худой, с большими ступнями, с вялым носом,— курил папиросу.

Такое времяпровождение можно было объяснить только отсутствием денег. Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью.

В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По.

Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы. Хотя, за неимением иного, не плохое было и это занятие.

Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посасывая немецкие папироски, воняющие прелыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону, так что сердце трепетало, как мышь в кулаке, и писал.

Мура сама носила продавать его рассказы, торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза, она не смотрела ими, а всасывалась. Она исступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда, среди ночи, он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз, на угол, где всю ночь стоял бойкий малый с медной кухонкой, окруженный продрогшими и голодными девушками.

Она покупала четыре горячих сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку-шриппе и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами, тощие лица проституток. «Которая,— думала она,— которая — смертный враг?»

Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати.

— Мура!

— Что тебе нужно?

— А этот с деньгами, с золотыми-то зубами. Хорошо бы подбить его на издательство. (Мура неопределенно передернула плечами.) Ты бы с ним поговорила как-нибудь. А? Взяла бы аванс. Знаешь,— я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на десять. Психологический роман. (Картошин зевнул.) По-моему, его подбить можно. Мурка!

— Что тебе?

— Сбегай за папиросами.

— Не хочу.

— Почему?

— Скучно.

— А ты не гляди в окошко. Мура, а Мура! Он сказал,— у него два вагона бумаги куплено здесь. Надо ему объяснить, черту,— гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы ярко-антисоветское издательство. Купили бы типографию. При ней — журнал. А потом, глядишь, через год — переносим дело в Москву.

Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности. Мура молчала, потому что, точка в точку, эти разговоры повторялись каждый день. Наконец лежать без папирос надоело, Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу.

В этот час на Фридрихштрассе проститутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй, старой романтики все еще привлекали сизобритых господ в котелках, с тросточками, и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками,— они появлялись на перекрестках, у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами.

Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся. Плечистая и костлявая женщина лет сорока глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать,— прельщала. Картошин попятился, людской поток увлек его.

У ювелирного магазина другая женщина, полная, под вуалью, в упор сказала ему: «Алло, я очень развратна». Картошин миновал и это обольщение. Он зашел купить папирос.

Он долго выбирал,— «Маноли», «Мурати», «Бочари» — все это была одинаковая труха из липовых ли-

стьев,— купил десять папирос и сигару почернее, для работы. Затем вошел в пассаж — посмотреть на пенковые трубки. Давно уже было решено,— как только получит аванс, купить пенковую трубку.

Пассаж, построенный еще в восьмидесятых годах, когда-то был бойким местом развлечения берлинцев. Здесь находился знаменитый паноптикум, лавки «парижского шика» и модные кафе. Счастливое, полное надежд было время. Крыша блестела, яркие фонари освещали нарядных людей, построивших прочную жизнь на долгие века. Эти люди верили в добро, в любовь и в безгрешность золотой марки, когда в длинных сюртуках, с баками, с брелоками на цепочках, пробегали по пассажу поглядеть на модную новинку.

Надежды обманули. Мир оказался изменчивым и непрочным. Плодились злые поколения. Беспечность и радость жизни отошли в туман прошлого вместе с сюртуками, баками и брелоками. Пассаж обветшал, тускло горели фонари под грязной крышей. Пыль легла на окна и карнизы. Истлела материя на куклах в паноптикуме, моль источила их волосы. И только мрачный юноша, иностранец, да иззябшая девка приходили сюда погреться, не веря ни в бюст президента Карно, ни в каску Бисмарка, ни в дремлющих в банках спирта раздутоголовых младенцев.

Все же, когда Картошин вошел в пассаж, множество молчаливых людей брело мимо окон, где выставлена дрянь и дребедень. Пыльный свет был холоден, лица — серые, унылые. Шли, глядели на никому в этот час не нужный хлам, зевали...

Картошин прилип к окну с трубками. В это время его хлопнули по плечу, и хохотливый голос прокричал:

— Трубочки? Это — навоз. Я вам привезу трубочку из Голландии. Идет?

Это говорил в свете витрины Адольф Задер. От золотых зубов его шли лучи. Картошин крепко пожал ему руку и сейчас же пожал еще раз,— так ему показалась заманчивой эта встреча.

— Идемте, я хочу угостить вас хорошим вином,— сказал Адольф Задер и покрутил тростью.

«Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет...»

Мура металась по комнате, не зажигая света. Ледяными пальцами сжимала то горло, то лицо. Прижималась лбом к ледяной печке и тогда видела:

...Гнусный свет газа... Картошин сидит,— красный, взволнованный... На коленях у него — женщина в черном модном корсете. Волосы взбиты, шея в жилах, нос — туфлей, в пудре... Оба хохочут, курят, целуются...

Мура стонала, металась, прижималась лбом к зеленым изразцам печки и слышала...

— Картошин. Ты чудная, ты моя мечта, целуй меня, целуй...

Она *(хохочет)*. Ужасно приятный мужчина...

Он. А вот у меня дома так — драная кошка.

Она. Жена твоя? Ха-ха-ха. Почему она драная кошка?!

Он. Нервная, волосы висят. Никакого влечения. Не женщина, а понедельник...

Она. Какая она странная. Как я ее жалею... Хи-хи...

Он. Давай над ней смеяться. Хо-хо-хо, она думает, я за папиросами пошел. Ха-ха-ха...

(Целуются, смеются, она гордится красотой, бельем, он — красный, счастливый — обещает ей книгу с надписью.)

Она. Твоя жена бумазейное белье носит, конечно?

Он. Бумазейное. Ху-ху-ху.

Она. Чулки сваливаются?

Он. Английскими булавками прикалывает. Хм-хм-хм.

Она. Из корсета кости торчат? Рубашка желтая?

Он. У, ты, моя радость, счастье!

Она. А ты жену брось, брось, брось...

Мура кидалась на кровать, ничком. Кусала подушку. Кабы дома быть, в России,— в прислуги бы пошла. А здесь — некуда, никому не нужна, все — чужие, каменные. Мечись по комнатешке. Весь твой мир — кро-

вать, печка, диван, стол... За окном — ночь, дождь, немцы.

Мура соскочила с кровати, вплотную придвинулась к зеркалу, всасывалась в свое отражение и не видела ничего, как слепая.

ВТОРАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

В это время Картошин и Адольф Задер сидели у «Траубе», ели шницель по-гамбургски и пили мозельское вино. Адольф Задер говорил:

— Уж если я поведу,— будьте спокойны: напою и накормлю. Я кутил во всех городах Европы.

— Я сразу понял, Адольф Адольфович, когда увидел вас за обедом,— вот, думаю, человек, который умеет жить...

— Живем, хлеб жуем, как говорится. Вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Оставьте. Я взглянул на роскошные плечи Сони Зайцевой, и мне точно кто-то сразу продиктовал мою биографию. Эти плечи нужно целовать! Чего она ждет, о чем думает ее мамаша? Чокнемся. Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца — вы, наверно, слыхали: знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись». Широкая, русская душа. Но я презирал деньги, я был и я умру идеалистом. Чокнемся. В гимназии я — первый ученик, я — танцор, я — ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо! У меня был лучший друг, князь Абамелек, не Лазарев, а другой, его отец — осетинский магнат. Половина Кавказа — это все его. Эльбрус — тоже его. Дворец-рококо в диких горах. Я там гостил каждое лето. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, газыри, кинжал,— удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках носил. «Адольф, Адольф, ты должен служить в

конвое его величества». Поди спорь со стариком. Так и зачислили меня в конвой. А там — Петербург, салоны, приемы... Николай Второй постоянно говорил среди придворных: «У меня в Петербурге две кутилки — Грицко Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился (после дуэли на Крестовском из-за одной аристократки). Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне опротивел,— дегенераты. Чуркин — ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательства, журналы, газеты, Маркс, Терещенко, Гаккебуш со своей «Биржевкой»... Наконец между нами — Суворин... Я организую, я даю деньги, я всюду, но я — инкогнито... Бывало, Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай: не выпускают из кабака». Пошлешь ему двадцать пять рублей. Великий князь Константин Константинович... Но об этом я буду писать в своих мемуарах... Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк... Сейчас я приехал в Берлин — осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств... Что вы на это скажете?

У Картошина вспотели даже глаза. Он отставил стакан с вином и, царапая скатерть, стал развивать план небольшого, но красивого издательства, с ярко-антисоветским направлением. Адольф Задер, не слушая, барабанил ногтями...

— Бросьте,— сказал он,— это мелочь. Мы будем издавать учебники. Не вытягивайте физиономии. Я поставлю дело на миллионный оборот. А вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть черта, дьявола, но чтобы это было нарядно, денег не пожалею...

— Я бы мог начать писать роман, захватывающая тема...

— Я вижу — вы хотите аванс. Вы не знаете Адольфа Задера. Обер, чернила и бумагу. Пишите,— вы продаете мне роман... Условия...— поставьте цифру сами, я погляжу после того, как подпишу... Обер, еще вина... Можете этим мозельвейном вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского. Картошин, скажите прямо — сколько

вам нужно на ближайшие два дня? Возьмите двести долларов. Проглотите вашу расписку. Ну, идем, я хочу спать.

Адольф Задер, отдуваясь, повалился в автомобиль. Картошин, растерянно и блаженно улыбаясь, сел рядом с этим чудо-человеком. Всю дорогу он говорил об организации дела, но Адольф Задер не слушал. Он сразу заснул на ветру, шляпа сползла ему на нос.

КИПУЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Адольф Задер проснулся от треска будильника в без четверти девять. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые носки и лакированные штиблеты, сопя пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды.

Затем со спущенными подтяжками сел пить кофе, но, отхлебнув глоток, погрузился в чтение каких-то цифр на бумажке. Пошел к двери и крикнул: «Эмилия, мои газеты!» Взял протянутую в щель пачку газет, вернулся к кофе, отхлебнул еще и развернул биржевые бюллетени. Повторяя: «А! а! а!» — сильно ладонью потер череп, пошел к зеркалу, и в это время ему удалось пристегнуть одну из половинок подтяжек. Шепча ругательства, надел воротник и галстук,— синий с золотыми диагоналями. Вернулся к газетам... И так далее, до половины десятого, Адольф Задер непрерывно боролся с закоренелой неврастенией.

К десяти ему удалось привести себя в волевое состояние. Он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу, где крикнул автомобиль.

Шофер повез его на биржу и ждал его там два часа, затем ждал около банкирской конторы, около парикмахерской, затем повез его за Александерплац и ждал около прокопченного кирпичного здания, от первого до пятого этажа занятого типографиями и складами бумаги; затем Адольф Задер приказал повернуть к Моабиту и ехать не шибко, причем опустил окно автомобиля и все время оглядывал проезжие унылые улицы, точно

что-то выискивал. Затем крикнул адрес пансиона. Но по пути вдруг застучал в стекло, выскочил из автомобиля, взял под руку какого-то прохожего с морщинистым, прокисшим лицом, зашел с ним в кафе. Шофер видел через окно, как прокисший человек развернул крошечный узелок и Адольф Задер рассматривал, щурясь от дыма сигары, камни и перстни, надел два кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, посвистывая.

В пансионе Адольф Задер появился в час, когда ударил гонг к обеду. За столом все уже знали, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще, видимо, швыряет деньги.

Фрау Штуле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольчиком покойного коммерции советника. Фрейлейн Хильда вышла к обеду в цыплячье-желтом джемпере. Полковник Убейко, мрачный человек, похожий на льва с коробки спичек, не сводил во все время обеда с Адольфа Задера выпуклых фронтовых глаз,— взял его на прицел, с силой разглаживал на две стороны черную бороду. Картошины счастливо и растерянно улыбались, ели бессознательно. Вчерашнюю замученность Мура постаралась скрыть под пудрой, которая сыпалась ей на платье. Соня Зайцева поминутно вставала из-за стола к телефону,— ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату.

После обеда Анна Осиповна подошла к Адольфу Задеру и предложила выпить у себя чашечку кофе. Картошин сказал Муре сквозь зубы: «Иди к себе», взял газету и сел в прихожей в плетеное кресло, откуда была видна дверь Зайцевых. Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная раздвоенная борода полковника, выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серебристый хохоток Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и — голову в руки, а густой голос за дверью говорил, говорил, вытачивая, как песок, у Картошина всю душу.

Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейко.

— Помещение для редакции найдено? Что же вы все утро дремлете? — сказал он, таща с вешалки пальто... У Картошина мелко зазвенело в голове.— Обегайте весь город, две комнаты под контору, третья под склад, завтра я хочу иметь редакцию.

Он пошел к двери. Убейко осторожно преградил дорогу:

— Беру на себя смелость спросить: могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно.

— Шесть часов, кафе «Кёнигин».

Адольф Задер вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, не здороваясь, сказал:

— Я готов, если вы настаиваете.

Адольф Задер щелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он видел, как на верху автобуса проехал в незастегнутом пальто и криво надетой шляпе Картошин. Он прищуривался на чудовищные, с иголочки, автомобили,— целые потоки этих новеньких машин летели по зеркальному асфальту. Он бросил мелочь слепому, с изорванным ртом солдату, который шел через улицу, держась за ременную лямку большой собаки с эмалевым красным крестом,— она подвела слепого к углу и лаяла на проходящих, протягивала им лапу, просила милостыню. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне.

Адольф Задер остановился около русского книжного магазина и презрительно произнес: «Пф, мы им покажем». Непроизвольно сами ноги поднесли его к другой, блестящей витрине, куда глядела шикарная женщина: мягкое платье, черный длинный обезьяний мех на шее и подоле, под мышкой — ручка зонтика из слоновой кости толщиной в полено, маленькая шляпа парижской соломки — на семьдесят пять долларов без обману, и — роскошь форм, любовно колышущихся под чудным платьем.

Мутно взглянул было Адольф Задер на эту носительницу прелестей, но попятился и сейчас же перешел улицу; он не был охотник до сорокапятилетних женщин, да еще жен знакомых дельцов.

На углу к нему подошел молодой человек, одетый, как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом:

— Я согласен, если вам нужно.

— Завтра на этом углу,— коротко ответил Адольф Задер и вошел в универсальный магазин. Выбрал две шелковых пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь и прошел в салон-парикмахерскую. Здесь он уселся в квадратное кожаное кресло и положил большие свои руки на подушку барышне-блондинке с потасканным личиком. Барышня проворно принялась за маникюр. Беседа с ней была содержательнее знакомства с вечерней газетой. Адольф Задер вынул из жилетного кармана серебряную коробочку и угостил барышню карамелькой. Затем не спеша он пошел в «Кёнигин» — небольшое модное кафе, все в зеркалах рококо, шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще пар десять танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задер сел подальше от музыки, спросил кофе. Почти сейчас же подошел Убейко.

— Садитесь. Я вас слушаю,— сказал Адольф Задер, придвинув золоченый стульчик, протянул ноги, засунул пальцы в жилетные карманчики и, закусив сигару, прищурился на двух купидонов на потолке...

ЧТО МОЖНО РАССКАЗАТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ

— Положение крайне тяжелое,— отчетливо сказал Убейко, сложил короткие пальцы на потертом жилете, уперся выпученными глазами в стол и сидел прямо. Львиное лицо его было красное, измятый воротничок врезался в шею, заросшую жестким волосом.— Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в шестнадцати боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал.

— Мой принцип,— сказал Адольф Задер,— никогда не оказывать единовременной помощи.

— Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В тридцати километрах от Берлина у меня семья,— супруга и четыре дочки, младшей шесть месяцев, старшая слабосильна, в чахотке, две следующие хороши собой, в настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья питается продуктами своих рук, как-то — картофелем и овощами. Духовной пищи никакой,— девчонки малограмотны.

Адольф Задер потянулся в карман за спичками; полковник молниеносно выхватил бензиновую зажигалку и подал прикурить. И снова сел прямо.

— Все мои сверстники, однополчане — в генеральских чинах. В Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему довольствию. На мою судьбу выпало — строй, строй и строй. В гражданской войне только слыхал о тыловой жизни,— видеть, повеселиться не пришлось: бои, поход, эвакуация; сапоги снимать на ночь научился только за границей. Обманут кругом. В Константинополе варил халву, состоял букмекером при тараканьих бегах. В Болгарии варил халву. В Берлине варил тянучки. В настоящее время занимаюсь комиссионной деятельностью, преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре в «Забубенной головушке». Вчера смотрю — в зале сидит генерал Белов; в училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское. Заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь: «Любим, любим, никогда мы не забудем». Обидно.

— Ваши политические убеждения? — спросил Адольф Задер.

— В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать,— и сразу собьешься. Кругом неправда. Злая судьба.

— Работать не отказываетесь?

— При условии ночного отдыха в три с половиной часа и час на еду, остальное в вашем распоряжении.

На потолке в это время погасили лампочки. Отравленные табачным дымом купидоны ушли в тень. Музыканты укладывали в футляры свои инструменты. Адольф Задер поднялся.

— Вы меня растрогали. Пойдемте и поговорим за бутылкой доброго вина.

ТРЕТЬЯ АВТОБИОГРАФИЯ

— Вы знаете — приятно делать добро,— сказал Адольф Задер, сидя напротив Убейко в уютном, отделанном резным дубом, уголку в старом, готическом ресторанчике. Кончали третью бутылку вина.

— Несомненно, Адольф Адольфович, приятное чувство.

— Когда я могу помочь человеку, у меня слезы навертываются на глазах. На что мне деньги? — как сказал поэт. Ну, хорошо — заработай я в десять раз больше Моргана — оттяну я мою смерть на четверть минуты? Скажите, полковник?

— Никак нет, не оттянете.

— То-то. Четыре раза я был богат. Все раскидал. Я философ. Я люблю человечество. Хотя люди — сволочь. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они — сволочь? Полковник,— скажите,— виноваты?

— Никак нет, Адольф Адольфович, не виноваты.

— Вы умный человек. Вы меня понимаете. Сколько раз бывало: придет дамочка, плачет и все врет. Ну, хорошо,— я ее выгоню, а что из этого? Лучше я ей дам денег,— и мне приятно, и ей приятно... Надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно,— вы ничего не догадываетесь? Ну, тогда не будем об этом. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование,— плюньте на этого человека. С двенадцати лет я — на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, с чего я начал,— не стыжусь. Я мазал себе лицо патентованной ваксой и на улице мылся щеткой и мылом. Собиралась толпа, я не плохо торго-

вал. Тут был, конечно, маленький обман, хотя вакса как вакса, ничего особенного. Но у меня по лицу пошли прыщи. Ой! Я подумал и сделался журналистом. Я писал громовые статьи. Вот где паршивая сволочь — это газеты! Я узнал людей. Тянул лямку два года, плюнул, поехал в Техас. Я мог бы стать недурным ковбоем, но меня расшибла лошадь, выбила все зубы. Это остатки варварства — человеку ездить на животных,— мы не кентавры. В это время началась русско-японская война. Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке полтора миллиона долларов.

— Полтора миллиона,— задумчиво повторил Убейко.

— Во второй раз я занялся поставками во время болгаро-турецкой войны. Я скупал кукурузу. Продолжись эта война еще полгода — я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Затем — война на Балканах,— я опять поправил дела. Вам может показаться странным, что в четырнадцатом году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, разнообразные шалости устраивает с нами онкольный счет. Я изображал характерных стариков,— находили, что талант. Но началась война. Я взял поставку прессованного сена. В шестнадцатом году я организовал в Москве бюро всероссийской антрепризы с капиталом в два миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шаляпин звонит: «Адольф, что ты там?..» Я собирался купить все газеты в европейской и азиатской России. Это — власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я законтрактовал сто двадцать театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лекторы должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось. После Октябрьского переворота меня искали с броневиками и пулеметами, меня хотели схватить и расстрелять, как пареного цыпленка. Я спрятался в дровяном подвале, я жил на чердаке, я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся, мои агенты не дремали,— за две недели я совершил купчие крепости на двадцать четыре дома в

Москве и на тридцать девять домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я перешёл финляндскую границу. Я хохотал.

— Удивительная энергия,— пробормотал Убейко.

— Европейская война испортила мне печенку,— сказал Адольф Задер, закуривая новую сигару,— я заскучал... Не надо мне ни денег, ни товаров, ни людей. Деньги — бумага, товары — дрянь, а люди, а женщины — мышеедина, как говорится. В Берлине, бывало, идет немец,— семь футов ростом, румяный, штаны белые, того и гляди тебя на дуэль вызовет — такой гордый. К такому человеку попасть в дом — сто пудов земли выроешь лапами, раньше чем придешь к нему в гости. А сейчас какой-нибудь граф,— мелкий, лицо нездоровое, в глазах — сок, слеза, и он сам норовит с тобой познакомиться, прибежит к тебе в пансион. Скучно. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий,— пускай вокруг них кормятся люди. Издательское дело. Типографское дело. Хочу купить газету, побороться с большевиками. На днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать?

— Не за страх, а за совесть, Адольф Адольфович, готов работать.

— У меня есть идея. Вам известно, что средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту,— один, два, пять долларов. Настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Я хочу пойти навстречу мелкому обывателю, рабочему, бедному чиновнику: зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую ссуду. Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов. Понятно? Я открою ряд маленьких ссудных контор. Мы не будем вешать вывески,— зачем нам эта официальность? Но нужно заслужить доверие населения. Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в лавчонке, вы познакомитесь с кварталом, вы будете ходить на рынок, говорить, внушать... К вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли?..

— Но если недоразумения с полицией?

— Вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями,— вы продаете дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население, как липку. Мы будем

бороться с государственным ажиотажем. Помяните мои слова: Шейдеман вгонит немцев в гроб. Ну, идем, я должен ехать выручить одну аристократку из тяжелого положения.

С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

В какие-нибудь две недели пансион фрау Штуле нельзя было узнать. Куда девались сон и уныние за столом, бутылочки желудочной воды, патентованные пилюли, подвязанные зубы, мучные супчики, кремы брюле, дождливые окна в столовой, низкие серые облака над улицей, где под деревьями присаживаются знаменитые берлинские собаки да по асфальту катаются на колесиках золотушные мальчики, бледные от голода.

Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов. Пили в изобилии пиво и ликер «Кюрасао Канторовиц». Золотые зубы Адольфа Задера, как прожектором, освещали повеселевшие лица.

Полковник Убейко завел новый галстук и ел и пил за троих, катая глаза в сторону Адольфа Задера; дела в Моабите шли неплохо. Картошин постукивал о пивной бокал золотым перстнем с печаткой, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. Семенов-второй рассказывал курьезы из жизни актеров в провинции. У него уже был разговор с Адольфом Задером по поводу расширения дела с «Забубенной головушкой». Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задером. Она душилась парижскими духами «Безумная девственница» и вся была пропитана грозовым беспокойством этих духов. Фрейлейн Хильда похудела, как москит, стала прозрачной.

Часто приходили с улицы бойкие шикарно одетые знакомцы Адольфа Задера. Всем чудились между слов грандиозные планы этого человека. Фрау Штуле подняла цены на пансион, и это было принято без ропота.

Адольф Задер слегка располнел за это время. От

него никто не уходил с отказом. Дел было по горло. Но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял из одного конца города в другой на собственном теперь автомобиле, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Дела были в периоде организации и разбега.

Убейко начал уже ежевечерне приносить выручку,— вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но его работа облечена была тайной.

После трудового дня Адольф Задер водил сотрудников освежаться в кафе. Шли пешком. После дождя пахло бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары лился свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах, в кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навевая жуткие мечты. Длинной тенью с пылающим глазом проносился автомобиль, вереницы автомобилей. Выше — сыро шумели липы бульвара. Еще выше — в разорванные облачка, в летящий никому не нужный месяц падали две готические башни церкви. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырывались оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми, проеденные тайными болезнями. Это была сторона, куда не забредали немцы.

Хотя немцы попадались. У выхода из театрика сидел на тротуаре человек,— бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке — крест. Подняв лицо, он выл глухим, диким голосом песню,— протягивал к проходящим алюминиевые руки.

НОЧНЫЕ БЕЗУМСТВА

— А, Картошин, ну как?

— То есть что — как?

— Говорят — вы стали гордый. Скоро журнал?

— Выходит через две недели.

— Пальто это новое сшили? Ишь, хорошую палочку завел. Настоящая слоновая кость?

— Кажется.

— Так через две недели? Напишем. А издательство?

— В печати два сборника моих рассказов. Собираю материал для альманаха. Талантливого мало.

— Вот повезло человеку. Ну, пока.

Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел далее, постукивая тросточкой. На нем было новое пальто в обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу — круглые роговые очки (немцы надевали такие очки лишь по воскресным дням)..Он шел в учетный банк к Адольфу Задеру,— назавтра предстояли платежи.

— Картошин, здравствуйте. Я к вам заходил.

— Я принимаю в редакции от трех до пяти.

— Загляну. Я только что написал повесть, замечательно любопытную. Сочно, густо... В центре — любовь. Петербург, вывески с буквами ять. Треуголки лицеистов. Гранит. Она любит мужа. Революция, чрезвычайки, расстрелы. Муж пропадает без вести. Она бежит с другим, сходится. Берлин. Радость от белого хлеба,— вспоминайте. Кружка холодного пива! Вдруг муж появляется. Психологический клубок. Два листа. Мне уже предлагали в нескольких местах по восьми долларов за лист.

— Хорошо, принесите, я прочту.

Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльный зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задер, сбросил пыльник и вбежал в банк.

Картошина словно укололо в сердце. Но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел. Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задер стоял у кассы, как тигр, ощерив зубы.

Картошин долго протискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Он обернулся, но не увидел Картошина. Когда же тот сказал: «Я за деньгами, Адольф Адольфович, завтра платить,— мы уже условились»,— Адольф Задер проговорил быстро: «К черту, к черту!» Картошин обиделся и ушел.

Он прождал весь день, сначала в редакции, затем — дома,— Адольф Задер к обеду не появился. У Картошина начало пусто звенеть в голове. Он лег на кровать. Мура сидела с расширенными глазами на диванчике, затем разрыдалась. Картошин вскочил, принялся швырять на пол книжки и кричал, что его «сводят с ума бабьей истерикой», что он «не может писать крупных вещей, когда у него под ухом — бабья истерика». Он схватил было знаменитую трость, чтобы сломать, но Мура отняла.

Раздался стук. В комнату вошел Адольф Задер. Он был красён, потрепан, но весел.

— Чепуха,— сказал он, сдвигая шляпу на затылок,— ничего не случилось. В чем дело? Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу и уверяют, что надо покупать марки. Идиоты. Испугались доллара... В общем, сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннига. Едем кутить, я хочу жрать.

В ресторан поехали, кроме Задера, супруги Картошины, Убейко и Семенов-второй. У всех камень свалился с души,— Адольф Задер был цел, весел и полон бурных планов. Пили водку и французское вино. Чувствовалось, что этот вечер кончить просто нельзя.

В ресторане просидели до закрытия, затем взяли автомобиль и поехали на угол Иоахимсталерштрассе и Курфюрстендамм. Картошин, сидевший с шофером, поманил пальцем стоящего под липой человека в котелке. Тот подбежал и шепотом вступил в разговор.

— Только неделю тому назад открыт, останетесь довольны.

— Девочки будут?

— Первые красавицы. Абсолютно голые. Роскошный оркестр. Посетители исключительно американцы и русские.

— Едем.

Незнакомец встал на подножку. Автомобиль свернул в боковую улицу, в другую и остановился на углу. Все вышли. На пустынном тротуаре (немцы все уже спали, наевшись картошки) появился второй незнакомец в котелке. Первый указал на него:

— Не шумите. Спокойно. Он вас доведет.

Подошли к воротам, над которыми была надпись: «Воскресная школа». Второй незнакомец прошептал: «Тсс!» — и открыл под воротами дверку в темное помещение, где Семенов-второй споткнулся о пустые бутылки. Здесь разделись, светя карманным фонариком. Затем поднялись в длинную, оклеенную грязно-зелеными обоями комнату. У стен стояли столы и детские парты, под потолком — лампочки, обернутые розовой бумагой. На стене — карта обоих полушарий. У изразцовой печки сидел старичок гитарист, перед ним сизый скрипач в смокинге — человек с провалившимися щеками,— они играли полечку так тихо, как во сне.

Когда компания Задера разместилась за столом, украшенным бумажным цветком и двумя пепельницами с надписью: «Пиво. Берлинер Киндл»,— с одной из детских парт поднялись две женщины и, не производя шума, принялись танцевать, ходить под едва слышные синкопы фокстрота. Их черные кисейные шляпы покачивались. Гитарист сонно трогал басы, скрипач поворачивал за танцующими мертвенно-бледное лицо.

Подскочивший к Адольфу Задеру хозяин сказал с польским акцентом:

— У нас художественная постановка дела, посмотрите до конца, сейчас начнется съезд, я выпущу лучших девушек Берлина...

Действительно, внизу послышались голоса, и в воскресной школе появилась новая компания — знакомцы Адольфа Задера. Сдвинули столы. Спросили шампанского. Появились новые девушки, без шляп, сели ближе к гостям. Хозяин говорил:

— Вы не думайте, что это какие-нибудь проститутки, это девицы из лучших домов.

— А голые,— скоро голые? — крикнул Картошин.

— Тсс, пожалуйста, говорите немножко тише... Голые женщины с половины третьего...

Появилась третья компания — тоже знакомцы,— они привели знаменитую московскую цыганку, от песен которой плакал еще Лев Толстой. Адольф Задер, багровый, в каплях пота, поднялся навстречу:

— Вошло солнце красное!

Он целовал у цыганки жесткие руки в кольцах, спросил про Льва Толстого и начал было рассказывать четвертую автобиографию, но вскочил, плеснул ладошами:

— Давайте петь. Чем мы не цыгане! Гей, Кавказ ты наш родимый!..

Цыганка сделала сонные глаза и запела про Кавказ. Адольф Задер, а за ним все гости подхватили припев, плеща в ладоши... Хозяин обмер от страха. Но ему крикнули: «Дюжину Матеус Мюллер!» А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый, Адольф Адольфович дорогой». Начали славить. Картошин поставил бокал на ладонь и подал его Задеру. «Пей до дна, пей до дна»,— ревели гости. Барышни из лучших домов липли к столу, как мухи.

— Чем не Яр! — закричал Адольф Задер.— А знаете, у меня у Яра был собственный кабинет. Отделывали лучшие художники. Ха-ха! Бывало — генерал-губернатор, командующий войсками, вся знать у меня. Два хора цыган... Всем подарки — золотые портсигары, брошки с каратами, кому деньги... Эх, матушка Москва!..

Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам. Пахло мышами. Надо было пройти еще небольшой темный коридорчик. Адольф Задер вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, заскрипел зубами. Но все же вошел в коридорчик. У двери в уборную явственно невидимый голос проговорил: «Продавай доллары». Адольф Задер сейчас же прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонялись. Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу. Ужасна была опускающаяся на глаза пыль.

Когда Адольф Задер вернулся в залу, томный и мутный,— около стола танцевала голая женщина, делала разные движения руками и ногами.

У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени — синие. Музыка еле-еле слышно наигрывала вальс «На волнах Рейна». Все глядели на девственный живот этой женщины. Она поднимала и опускала ру-

ки, переступала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему-то голодным, зазябшим, набитым непереваренным картофелем.

Адольф Задер сел спиною к ней, уронил щеки в ладони:

— Уберите от меня эту — с кишками!

Появилась вторая танцовщица,— полненькая, с перевязанными зеленой лентой соломенными волосами; она тоже была голая, две медные чашки прикрывали ее грудь, как у валькирии. Музыка заиграла «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» (из уважения к русским гостям). Голая женщина села на пол и принялась кувыркаться, показывая наиболее красивую часть тела. Так она докувыркалась до ног Адольфа Задера. Он повернулся и долго глядел, как внизу, на полу перекатывались — соломенная голова, медные чашки, толстые коленки и пышный зад. На лице Адольфа Задера вдруг изобразился ужас,— губы перекривились, запрыгали.

— Зачем? — закричал он.— Не хочу! Не надо!

Он стал пить из бутылки шампанское, покачнулся на стуле и потянул за собой скатерть. Мура закричала, мелко закудахтала, слезы хлынули у нее по морщинкам напудренных щек. (Тоже напилась.) Надо было кончать веселье.

ПОХМЕЛЬЕ

Адольфа Задера втащили под руки в пансион фрау Штуле. К обеду никто из участников кутежа не вышел. Начали выползать только к трем часам — на угол, через улицу, в кафе Майер — пить содовую и шорли-морли. Выяснилось, что утром приходило много народа — спрашивали Адольфа Задера, звонили из типографии, из банка. Но он даже не поинтересовался — кто звонил, о чем спрашивали. На него нашло странное оцепенение.

Так игрок, пойдя по банку, где сейчас — вся его жизнь,— вдруг положит заледеневшие пальцы на две карты... Судьба уже выкинута: вот они — синий и красный крап... Лица их повернуты к сукну. Но приподнять уголок,— рука застыла, сердце стиснуто...

Адольф Задер пил шорли-морли за плюшевой стеной на террасе у Майера. Не хватало решимости купить вечернюю газету, заглянуть в биржевой бюллетень. Пришел Картошин; прихлебывая пиво, счел долгом понести чушь про издательство, журнал, альманахи. Он напомнил о платежах. «Завтра»,— сквозь золотые зубы пропустил Адольф Задер. Он взял автомобиль и поехал за город в Зеленый лес.

В рот ему дул сильный ветер. Природа, видимо, существовала как-то сама по себе. Под соснами сидели немки в нижних юбках. Дети собирали сучочки и еловые шишки. Промчался поезд по высокой насыпи...

«Очнись, опасность, очнись, Адольф Задер... Но разве я знаю — что нужно: покупать или продавать?.. Я потерял след... Это началось... Это началось... Не помню, не знаю... Это началось около уборной, мне кто-то сказал... Нет, раньше, вчера... Когда я вбежал в банк, у дверей стояла женщина в смешной шляпке пирожком, худая, старая... Да, да, тогда я подумал: это одна из клиенток Убейко... У нее тряслась голова... Вот и все... Нет, не то, не она...»

— Шофер, какой сегодня день?

— Четверг.

— Как, завтра — пятница?.. Вы с ума сошли!

— Что поделаешь, господин Задер, пятница день действительно тяжелый, да зато другие шесть легкие...

Адольф Задер вернулся в пансион за полчаса до обеда. В прихожей дверь в комнату Зайцевых была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задер вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик.

— Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение? (Она только мигнула медленно три раза.) Мне нужен друг. Ах, эти все мои друзья,— пошатнись я,— разбегутся как паршивые собаки. Я не жалуюсь. Я только смотрю правде в лицо. Соня, мне нужен друг.

Он говорил очень серьезно и тихо, но Соне почему-то стало смешно, она быстро повернулась к окну. Он не понял ее движения.

— Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением, не считайте меня за нахала. Сейчас я пройду

к себе. Когда вернется ваша мамаша, я сделаю вам формальное предложение.

За ужином Зайцевых не было. Адольф Задер после второго блюда пошел к ним. У Сони было заплаканное, припудренное лицо. У Анны Осиповны из-под пенсне текли жидкие слезы. Адольф Задер поклонился и вполголоса, как говорят у постели больного, сделал предложение. Соня подошла и холодными губами поцеловала его в череп.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

На следующий день, в полдень, Картошин, сидевший у себя за столом в редакции, взял телефонную трубку. Послышался голос Убейко, торопливый, срывающийся:

— Где Задер? У вас?

— Нет. А что?

— Разве ничего не знаете?

— Нет. А что?

— На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это — Черная Пятница.

— Какая пятница?.. Не понимаю...

— Сегодня пятница, тринадцатого. Бегу его искать. Приезжайте на биржу.

Этот голос из черной гуттаперчевой трубки был так страшен, что Картошин на несколько минут ослеп. Он ушел из редакции без трости и черепаховых очков. За квартал до биржи был слышен шум голосов, напоминавший дни революции.

На верху широкой лестницы кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном возникали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один, тучный, в визитке, сел на ступенях и закрыл лицо. Другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой, застывшей улыбкой.

Наконец из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задер. Голова его была опущена, в руке — обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов.

— Скажите-ка, шофер, это хорошая машина?

Шофер усмехнулся, вскочил с сиденья, завел мотор, сел, бросил окурок:

— Машина новая, хорошая, сами знаете.

— Новая, хорошая,— закричал тонким голосом Адольф Задер,— так берите ее себе... Я вам ее дарю... Поняли вы, дурень...

Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать,— Адольф Задер вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобусы, автомобили заслонили дорогу, и Картошин еще раз только увидел его в окне трамвая: он, гримасничая, нахлобучивал шляпу.

А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались,— стаскивали стоящих за ноги. Рысью подъехала карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого с мотающейся головой. Зеленые полицейские проходили попарно по площади, удовлетворенно улыбаясь.

За завтраком у фрау Штуле к столу явились только японец да студенты-португальцы. Все уже знали о биржевой грозе, разразившейся над Берлином. Даже в прихожей пахло валериановыми каплями. В комнате Зайцевых было, как в могиле. У телефонной будки шепотом совещались, курили, курили Картошин и Убейко. Несколько раз в прихожей появлялась Мура, умоляюще глядела на мужа, точно хотела сказать: «Пока я тебя люблю — ничего не бойся». Но он гневно отворачивался.

В пятом часу позвонили в парадной. Вошел Адольф Задер, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейко рванулись к нему. Он ответил спокойно:

— Сейчас я ложусь спать. Это самое лучшее.

Слышали, как он затворил дверь на ключ и опустил шторы.

Убейко побледнел, покрылся землей:

— Если он пошел спать,— значит скверно. Он крупно играл. На онкольном счету были не его деньги.

Спустя некоторое время вдруг яростно протопали

каблуки, щелкнул ключ, и голос Задера спросил с ужасной тревогой в пустоту коридора:

— Никто не звонил? Что?

Подождал. Дыхнул. Запер дверь. Каблуки заходили, заходили. Стали. Убейко мгновенно вытянул шею, прислушиваясь. В комнате Задера полетели на пол башмаки. Заскрипела кровать. Картошин, с отвисшей губой, с прилипшей к губе папироской, сказал:

— В Прагу надо уезжать. Зовут. Говорят, там возрождается литература.

Он несколько раз пересчитал деньги в бумажнике.

— Пойдемте пиво пить.

Не получив ответа, он ушел, едва волоча ноги, как от желтой лихорадки. Убейко остался один в прихожей. Глаза у него горели от сухости и табаку. В столовой часы пробили половину десятого. Сейчас же в комнате Задера грузно соскочили с постели, голыми пятками подошли к двери, задыхающийся, шамкающий, не похожий на Задера голос спросил:

— Не звонили? Никто мне не звонил?

Убейко лег головой в руки на камышовый столик перед зеркалом. Ему показалось, будто в комнате Задера поспешно, шепотом спорят, бормочут. Он думал о четырех своих дочерях, не знающих грамоты, о жене. Чтобы подавить жалость — кусал большой палец. Когда часы окончили бить десять — в комнате Адольфа Задера раздался револьверный выстрел. Сейчас же у Зайцевых закричали пронзительно, упали на пол. Изо всех дверей выскочили жильцы. Один Убейко остался спокоен и звонил уже в комендатуру.

Явилась полиция. Взломали дверь. Адольф Задер, в ночном белье, лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике, под электрическим ночником, сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все тридцать два зуба,— все, что от него осталось.

МИРАЖ

За окном вагона плыла кочковатая равнина, бежали кустарники, дальние — медленно, ближние — вперегонку. Мой сосед сидел, засунув пальцы в пальцы. Глядел в окно.

Глаза у него были серые, навыкате. Он жмурил их, когда курил папиросу, до половины покрывал веками, когда глядел на кочки и кустарники. Казалось — он устал от своих глаз, видавших многое.

За час до границы он стал глядеть на лежавший в сетке чемодан, весь облепленный багажными наклейками, и заговорил тихим, глухим голосом. . . . .

. . . .

.....Я болтался на юге по холодным, опустевшим, неподметенным городам, по кофейням с лопнувшими стеклами, где продавались, покупались последние лохмотья империи. Писал в газетах. Ночью играл в карты. Я пил не слишком много, кокаина не нюхал. Зато я хорошо научился угадывать дни эвакуации по выстрелам на ночных улицах, по тону военных сводок, по особому предсмертному веселью в кабаках. Вовремя уносил ноги.

Я не был ни красным, ни белым. Грязь, тоска, безнадежность. Это было ужасно. Я так брезговал людьми, что научился не видеть человеческих лиц.

Наконец мне все надоело. Я погрузился в трюм на грязный пароход, набитый сумасшедшими, и уехал

в Европу. Не важно — где я странствовал, как добывал средства на жизнь. Не важно. Жил скверно. Может быть, даже воровал. Все было бессмысленно, растленно... Пятнадцать миллионов трупов гнили на полях Европы, заражали смрадом.

Под конец — покойно, с любопытством даже — я стал ждать часа, когда омерзение к самому себе пересилит привычку — пить, есть, курить табак, ходить, добывать деньги и прочее...

Помню, одиннадцатого мая, утром я начал, как обычно, бриться и — швырнул бритву на умывальник. Час мой стукнул: не желаю. Я вышел на улицу и в ювелирном магазине продал часы и кольцо,— все, что у меня было. Затем я сел на улице под лавровым деревцом, выпил кофе, спросил у гарсона пачку юмористических журналов. Прежде чем их читать, я быстро решил: кончу сегодня, на рассвете, на мосту Инвалидов. Первый раз за много лет кофе казался так вкусен и журналы так забавны. Я развлекался, как мог, весь день. Вечером пошел играть в клуб на улице Лафайет.

. . . .

В четыре часа пополуночи я вышел из клуба. Я был в выигрыше — сорок семь тысяч франков. Во мне все тряслось, как на морозе. Утро было теплое, влажное. Я ощупывал в кармане толстую пачку денег,— это были какие-то новые возможности. Это изменило мое решение идти топиться с моста Инвалидов.

Я остановился около огромного окна трансатлантической компании, где была выставлена рельефная, с лесами и горами, синяя и зеленая карта. От материков к материкам тянулись красные нити. По ним шли пароходики со спичечную коробку. На них блестели окошечки из фольги. Я стоял и глядел, дрожа от волнения. . . . .

. . . .

Пятнадцатого мая я сел в Гавре на «Аквитанию». Шесть дней пролежал в лонгшезе на верхней палубе, среди шумящих на морском ветру пальм и розовых кустов. Двадцать второго я сошел с парохода на набережной Нью-Йорка. У меня было непереставаемое, восторженное сердцебиение: новый мир, новая жизнь,—

Россия и Европа, войны и революции были прочитанной книгой.

У подъезда отеля мои чемоданы схватил негритенок в ярко-голубой куртке. Из зеркального лифта скалил зубы, как клавиши, другой негритенок в ярко-малиновой куртке. На двенадцатом этаже я вошел в лакированную штофную комнату. Я утонул в сафьяновом кресле и закурил зеленовато-влажную двухдолларовую сигару.

Я сидел и повторял про себя: «Ты — в математическом центре культуры индивидуализма, черт тебя задави». От движения мизинца растворяются двери, негры с четырьмя рядами золотых пуговиц на куртках мгновенно исполняют желания из сказок Шехеразады. Вот три телефона — я могу соединиться с магазином, с рестораном, с биржей, с любым городом. Я могу приказать: «Купите Тихоокеанскую железную дорогу». Через тридцать секунд маклер ответит: «Сделано».

Я грыз ногти. Сказка про сотворение земли несомненно была придумана в нищей Европе жалкими пастухами... Здесь, в сафьяновом кресле, у человека в миллион раз больше возможностей, чем у самого Саваофа.

Обкусав ногти, я спустился в парикмахерскую. Меня приняли в благоухающий халат, опустили лицо в паровую ванну, обложили щеки горячими полотенцами, душили, расчесывали, затем — предложили мороженое с персиками, затем — побрили.

Я пошел завтракать в колонный зал такой величины, что внутри его мог бы поместиться уездный городишко вместе с пожарной каланчой.

Какие там я видел цветы, ковры, люстры! Какие женщины завтракали в зале! Женщины чудовищной красоты: широко расставленные огромные глаза, крошечные рты, фарфоровые, равнодушные личики... Такой фантазии не увидеть и в сыпнотифозном жару. Куда тут соваться с моими франками!..

После завтрака я сидел в холле у камина, курил черную сигару. Разумеется, я думал о том, что буду иметь сто миллионов долларов, чего бы это мне ни

стоило. Нужно только желание, желание и желание... Я добуду эту роскошную груду долларов... Всю их употреблю на одного себя, до последнего цента... Моя личность слишком долго была закупорена... я хочу, наконец,— черт всех задави,— стать личностью с большой буквы, написанной золотом. Каждый волосок на моей голове будет священен... Драгоценнейший — Я. Обожаемый всеми сегодняшними красавицами — Я. Мои слова, обсосок сигары, огрызок ногтя, слюна из моего рта — благоговейны... Напрасно, господа, заставляли меня шесть недель валяться на константинопольском тротуаре перед бывшим российским посольством... К черту Европу, войны и революции... Мое отечество — это,— здесь, у огня,— кожаное кресло... Сытый желудок, дым сигары, восторг абсолютной свободы.

. . . .

Напротив меня, в кресле, сидел кислый, костлявый человек, видимо страдающий несварением желудка. После некоторого наблюдения надо мной он сказал:

— Вот уж семнадцать минут вы разговариваете вслух. Во-первых, я вижу, что вы — русский, во-вторых, что вы намерены заняться биржевой игрой. Меня зовут Сайдер. Я могу сделать вам солидные предложения. Вы хорошо сделаете, если не будете мне доверять, но я представлю гарантии. Хотите видеть Джипи Моргана?..

...Наш разговор у камина продолжался два часа сорок минут. Я понял, что нужно играть на понижение,— только на понижение: в этом была историческая, социальная, даже геологическая правда. «Сама земля играет на понижение,— говорил Сайдер с кислым лицом,— там землетрясение, и там землетрясение, там засуха, тут ураган... Вы послушайте,— даже климат играет на понижение: когда нужно холодно, то — тепло, а когда нужно тепло, то — холодно»....

. . . .

Утром на следующий день я внес все мои деньги в банкирскую контору, мы с Сайдером пошли смотреть на Джипи Моргана. У гранитного подъезда банка стояло человек пятьдесят биржевых воротил. Они мол-

чали мрачно, или брезгливо, или коротко лаяли сквозь зубы. У всех выдавались вперед каменные подбородки. Сайдер тоже выпятил подбородок, стал еще кислее. Ровно в одиннадцать из-за угла вынырнул чудовищный автомобиль. В нем сидел щуплый человек с кривоватым носом, с узким, сонным лицом, в котелке, надвинутом на глаза... Это был Джипи Морган.

Все пятьдесят биржевых воротил стали пронзительно глядеть на сигару Джипи Моргана,— в каком углу рта сигара у Джипи (если в левом — Джипи играет на понижение, если в правом — Джипи играет на повышение). Сигара была в левом углу. Сайдер шепнул мне: «В левом, чтоб мне так жить!..» Автомобиль стал. Джипи распахнул дверцу и перекатил сигару в правый угол. Биржевые воротилы зарычали, сбитые с толку. Всё же они тесно сдвинулись к автомобилю и низко сняли шляпы. Джипи приложил палец к котелку, прорычал что-то через сигару и прошел в гранитный подъезд. . . . .

. . . .

По совету Сайдера я продал на июнь «Нефтяные Южно-Техасские», которых у меня не было, конечно. Я был в восторженной уверенности, что к июню в южном Техасе будет либо землетрясение, либо сгорят все нефтяные прииски, и я положу в карман разницу. В июне в Техасе было благополучнее, чем когда-либо, и разницу положил в карман Сайдер. Тогда я сыграл на «бесс» на австралийском хлопке, и опять разницу положил в карман Сайдер. Восемнадцатого июля, в два часа и семь минут пополудни, я в кровь разбил ему кислую рожу у подъезда гостиницы, из которой уходил навсегда, оставив в номере чемоданы. . . .

. . . .

Теперь и в голову не приходило, например,— махнуть с Бруклинского моста в воду. У меня начал расти каменный подбородок. Я еще свирепо верил в право моей личности на сто миллионов долларов.

Полтора месяца я чистил башмаки на улицах, продавал газеты, стоял в полосатом фраке у входа в кино и золотой тростью показывал на огненную вывеску, и так далее... Скучно рассказывать. Я ждал удачи, пи-

сал письма, бегал по адресам... Наконец повезло. Я чистил чьи-то башмаки, поднял голову, и владелец башмаков оказался старым знакомцем: он держал контору и ввязывался торговать с Москвой.

В этот день я прыгнул с тротуара на двадцать восьмой этаж небоскреба в контору — в две комнаты — «Экспорт-импорт, Гарри и Воробей, Компани». Я сел за дубовую конторку, раскрыл книгу входящих и исходящих, и абсолютно свободная личность моя уложилась в двадцати семи долларах в неделю. Все мое остальное оказалось вне котировки — непригодным для «Экспорт-компани». . . . .

. . . .

Шесть дней в неделе были таковы. В половине восьмого утра я судорожно схватываю трещащий будильник и не больше минуты сижу с вытаращенными глазами. Одеванье, бритье, чашка шоколада — десять минут. Лифт вниз, сто двадцать два шага до подземной дороги, лифт под землю, семь станций под землей, два лифта наверх, на улицу, сто четыре шага через улицу и площадь, затем лифт-экспресс до тридцатого этажа, затем два марша пешком вниз по лестнице,— на все это — семнадцать минут. Ровно в восемь я сажусь за конторку, сморкаюсь.

До часу дня я пишу, режу ножницами, вклеиваю. Мой хозяин, Воробей (Гарри вообще никакого нет), читает вылезающую из телеграфного аппарата ленту. Экспорта, импорта у нас, конечно, тоже никакого нет (если не считать ящика с гуттаперчевыми манишками и воротниками для русских крестьян). Воробей, поставив одну ногу на стул, стоит у телеграфного аппарата и крутит пуговицы на жилете. Я отвечаю на письма. Вся остальная деятельность конторы для меня — тайна.

В. час я срываюсь с конторского стула и — в лифт, вниз — через улицу, в ресторан. Воробью всегда кажется, что — отвернись он, и непременно пропустит какую-то счастливую котировку каких-то бумаг,— он остается в конторе у аппарата, ест сандвичи, тащит ленту.

В ресторане — длинном изразцовом коридоре — я, проходя, схватываю контрольную карточку и поднос. Бегу к прилавку,— на нем дымятся несколько сот блюд на тарелках. Указываю на ближайшие. Повар швыряет их мне на поднос. Юркая барышня ловко пропечатывает карточку. Бегу с блюдами к свободному столику. Лакей стремительно ставит предо мной графин с ледяной водой, хлеб и шевырюшки масла. Ем. Пихаю в живот рыбу, говядину, соуса, пудинги.

Вдоль изразцовой стены пятьсот конторских служащих, рабочих, шоферов и так далее делают то же, что и я. На всю еду — пятнадцать минут. Вскакиваю. Плачу по карточке. Ровно в два я — за конторкой. Воробей продолжает читать колонки цифр на телеграфной ленте. Весь жилет у него обсыпан крошками, на губах — запекшийся сигарный сок.

Так до шести идет максимальное напряжение трудового дня, не потеряно ни секунды. Воробью удается обычно рвануть с ленты несколько цифр и по телефону продать их, либо купить,— получить разницу: пятьдесят, сто долларов. День кончен.

В шесть я захлопываю книги, надеваю пиджак, рычу Воробью: «Добрый вечер» — и еду домой. В голове трещат, грохочут колеса. Во рту сухо. Под кожей дрожат все жилочки.

В половине седьмого я беру горячую ванну, бреюсь, надеваю шелковую рубашку (я не хам), смокинг и выхожу на улицу наслаждаться жизнью.

Я абсолютно свободен. Обедаю — медленнее, чем днем. Выкуриваю сигару. Обдумываю, куда мне деться. Понемногу я начинаю понимать, что меня, несмотря на шелковую рубашку и смокинг, никто сегодня вечером не ждет, никуда не звали, ни одному человеку из этих десяти миллионов я не нужен. Иду в синематограф.

На экране кино суета еще больше, чем в жизни, но зато беззвучно,— это хорошо. В антракте ем мороженое. Курю. Затем — иду домой по улицам, полным таких же, как я, личностей в смокингах. Толкаюсь,

глохну от гама и треска, задыхаюсь от человеческих испарений и бензиновой вони, слепну от огненных реклам, пылающих на крышах и облаках.

В двенадцать я — дома. Лежу и курю приторные папиросы. Сна нет. Сердце стучит, как мотор мотоциклетки. Курю, чтобы одуреть. Мозг весь высох. Все чудовищно бессмысленно . . . .

. . . .

Воробей решил продавать советской России лампочки для карманных фонариков и послал меня на завод за браком.

Я ехал в купе один. Глядел в окно. Был ветреный весенний день. Мне было тревожно. В купе кто-то вошел, сел напротив, щелкнул замочком. Затем солнечный зайчик от зеркала скользнул мне по лицу. Я взглянул. Передо мной сидела чудесной красоты девушка из породы тех, кого я видел в первый день приезда. Детское озабоченное личико, поднятые наверх небрежные светлые волосы, и синие, широко расставленные глаза.

Я не остерегся. Я стал глядеть в эти глаза, синие, как ветреное небо.

Какая уж там прежняя самоуверенность,— у меня даже мысли не было и заговорить с девушкой... Глядел ей в глаза, как чахлая птица из подвала на весенний день... Уверяю вас,— в такой день такие глаза у женщины кажутся родиной. Глядишь и чувствуешь, что ты — бродяга, бродил бездомно,— пора на родину. Я был взволнован, растревожен, несчастен.

На остановке девушка вышла. Я вздрогнул,— так сердито она оглянулась на меня... Через минуту она вернулась с жандармом, указала на меня кружевным зонтиком и сказала:

«Этот господин намеревался лишить меня чести. Я готова дать показания».

Меня отвели в комендатуру. Составили протокол на основании показаний синеглазой красавицы. По законам Америки этого было достаточно. Меня отвели в тюрьму. Через двадцать четыре часа был суд. Я чистосердечно все рассказал. Красавица была ужасно удивлена,— она была неплохая девушка, к тому же,

видимо, ей польстили мои слова об ее глазах. Она отказалась от преследования. Я заплатил пени и вернулся в Нью-Йорке без лампочек. . . . .

. . . .

Воробей меня выгнал: в субботу я получил свой обычный чек на двадцать семь долларов и записочку: «Благодарю вас». Я снова очутился на тротуаре. Но теперь мне не было охоты наживать сто миллионов долларов. Не для того меня родила мать, чтобы я из последних сил помогал Воробью выколачивать разницу. Не хочу больше всей этой бессмыслицы, не принимаю. Мираж... Мираж... Я не сумасшедший. Назад, домой, на родину. . . . .

. . . .

У границы поезд медленно проходил сквозь деревянные ворота в Россию. На кочковатом поле, у полотна, стоял рослый красноармеец в шишаке, с винтовкой за спиной, и равнодушно глядел на окна вагонов. Ветер отдувал полы его шинели, видавшей виды.

За спиной его — холмы, леса, поля на многие тысячи верст. Грядами не спеша плывут серые облака.

В СНЕГАХ

Ночью наверху снежного холма появился человек в собачьей дохе, взглянул на открытый, залитый лунным светом, крутой косогор, поправил за спиной винтовку и шибко побежал вниз на широких лыжах,— закутался снежной пылью.

За ним появился на гребне второй человек, и — еще, и — еще,— в подпоясанных дохах. Один за другим,— откинувшись, раздвинув ноги,— слетали они вниз, где на снегу лежали синие тени от сосен. Скатились и пропали в лесу.

Спустя небольшое время на ту же гору вышел волк, за ним — стая. Волк сел. Иные волки легли, положили морды на лапы,— слушали, глядели туда, где под горой за лесом блестели две морозных полосы рельсов.

Волки были гладкие. Они давно шли следом за партизанами. Партизаны, через сопки и леса, забегали глубоко в тыл отступавшим остаткам войск несчастного правителя. На тысячи верст поднялись на хуторах и деревнях сибирские мужики,— бросились в погоню за несметными, уходившими на восток сокровищами правителя.

Тою же ночью, невдалеке от этих мест, тащился на восток закутанный дымом товарный поезд. Дымило, валило искрами из каждой теплушки. В иных горели печки, жаровни, а где и костры посреди вагона.

У огня сидели странные люди — закопченные, с голодными, страшными глазами, в рваных шинелях, в тулупах, кто просто в бабьей шубе, с отмороженными носами, ногами, обмотанными в тряпье.

Люди глядели на огонь. Шутки были давно все перешучены, было не до шуток. Ехали третью неделю от самой Москвы в погоню за сокровищем,— оно, окруженное остатками войск правителя, все дальше уходило на восток.

Вдруг загремели цепи, заскрипели буфера, стали вагоны. Двери — настежь. Вылезай!

Повыскакали из вагонов. Повалил пар. От крепкого мороза ломило дух. Кругом луны — семь радужных кругов. Из снега торчали обгорелые столбы станции. Охриплыми голосами кричали командиры.

Бойцы пошли редкой цепью по снежной равнине, куда — неизвестно, края не видно. Шли, ложились в цепи. Поднимались, опять брели по жесткому, волнистому снегу, спотыкались о наметенные гребни.

Несколько человек в эту ночь видели такое, что потом, когда после боя вернулись в теплушки,— сразу не могли рассказать: стучали зубами. Видели,— стоят на равнине голые мужики, один от другого саженях в пятнадцати. Мужики, для крепости политые водой, и рука поднятая указывает дорогу. Говорят, правитель наставил много таких вех на дорогах.

Бой в эту ночь был легкий, неприятель к себе не подпустил, скрылся. Так и не разобрали — с кем дрались: с правителем, с чехами, с атаманами.

Сели в теплушки, поехали глубже на восток в погоне за сокровищем.

Сокровище — двадцать тысяч пудов золота — ползло в двадцати вагонах по снежным пустыням на восток. За вагонами тянулся кровавый след. Поезд пробирался вперед, как зверь, окруженный волкодавами.

Невидимые, пронзительные лучи шли от этого золота, затерянного в снегах. Кружились головы, из

стран в страны летели шифрованные депеши. Произносились парламентские речи о походе на Москву. Подписывались кредиты на покупку оружия. Снаряжались войска.

Двадцать тысяч пудов золота двигалось на восток, все ближе, ближе к открытому морю. Еще усилие, и — казалось — золото будет вырвано из пределов сумасшедшей России, и тогда — конец ее безумствам.

Но, стиснутая до пределов княжения великого князя Ивана Третьего, советская Россия отчаянно билась на четыре стороны,— пробивалась к хлебу, к морю, к золоту.

В ту же ночь, в Париже, после совещания, уполномоченный правителя спустился в огромный, крытый стеклом вестибюль русского посольства и, натягивая тесные перчатки, смеясь, говорил генералу, уполномоченному от южной армии:

— Уверяю вас: мы либералы, мы истинные республиканцы. После вашего доклада, генерал, наши старики полезли под стол. Что вы натворили, ваше превосходительство?

Генерал злыми, мутными глазами глядел на уполномоченного: лицо — румяное, отличная борода, веселые глаза, качается на каблуках, дородный, рослый. Схватил генерала за руку, с хохотком потянул вниз.

— Ваше превосходительство, четыре су не дадут французы под ваш доклад. Зачем эти ганнибаловы сражения? Мы должны идти с развернутыми знаменами, население восторженно нас приветствует, красные полки радостно переходят на нашу сторону... Уверяю вас,— французам надоели военные события, они жаждут идеального. Например: золотой поезд — это вещь. С каждым днем он приближается к Владивостоку,— с каждым днем французы становятся уступчивее в кредитах. А у вас все — горы трупов. Идеально,— если бы вы ухитрились дойти до Москвы без выстрела.

— Вы смеетесь? — спросил генерал, посмотрел себе под ноги, повел усами, надел дешевый котелок, летнее пальто и вышел. Февральский ветер подхватил его на подъезде, пронизал до костей.

Уполномоченный, придерживая мягкую шляпу, выскочил из такси, перебежал хлещущий дождем тротуар, сбросил пальто на руки швейцару, спросил: «Меня ждут?» Швейцар, сочувствуя любовному похождению, ответил: «Мадемуазель только что пришла». После этого уполномоченный поднялся во второй этаж ресторана, чувствуя особенную легкость от вечерней одежды, от музыки, от света.

В кабинете горел камин, пахло углем и горьковатыми духами. На диване сидела в черном платьице мадемуазель Бюшар, закрыв кошачьей муфтой низ лица.

У камина стоял ее брат, молодой человек, чрезвычайно приличный, с усами. Он поклонился и остался очень серьезен. Мадемуазель Бюшар, не отнимая муфты от подбородка, подала голую до плеча, красивую руку.

Уполномоченный, вздохнув, поцеловал ее пальцы, сел на диван, вытянул огромные ноги к огню, улыбнулся во весь зубастый рот:

— В такую погоду хорошо у огня...

Брат мадемаузель Бюшар сделал несколько веских замечаний относительно парижского климата, затем похвалил климат России, о котором где-то читал.

Метрдотель, за ним лакей и метр погреба внесли еду и вино. Метрдотель строго оглянул стол, носком башмака поправил уголь в камине и, пятясь, вышел.

Мадемуазель Бюшар, молоденькая актриса из театра Жимье, положила муфту на диван и ясно улыбнулась уполномоченному. У нее была широкая во лбу, с остреньким подбородком, хорошенькая мордочка, вздернутый нос и детские глаза. Она пила и ела, как носильщик тяжестей. После второго блюда брат мадемуазель Бюшар счел долгом рассказать несколько анекдотов, вычитанных из вечерней газеты. Мадемуазель, раскрасневшись от вина и каминного жара, отчаянно хохотала.

Уполномоченный сам сегодня читал эти анекдоты, и, хотя он знал, что брат мадемуазель Бюшар — ника-

кой не ее брат, а всего вернее — любовник, и что мадемуазель твердо решила не предоставлять уполномоченному своих прелестей иначе, как обеспечив себя контрактом,— все же ему было и весело сегодня и беспечно.

Поглядывая на голую до поясницы, худенькую спину мадемуазель Бюшар, на все убогие ухищрения ее платьица, посмеиваясь, он повторял про себя:

«Дурочка, дурочка, не обману, не бойся, все равно кормить тебя буду не хуже, а лучше, рахитик тебе поправим, а когда в твоем квартале узнают про золотой поезд,— будешь самым знаменитым котенком в квартале...»

После шампанского брат мадемуазель Бюшар сильно наморщил лоб и, глядя на снежную скатерть, сказал глуховато:

— Дурные вести с восточного фронта, надеюсь, не подтверждаются?

— Какие вести?

— Час тому назад курьер нашего департамента показывал мне радио...

Брат мадемуазель Бюшар обернулся к камину, бросая в огонь окурок. Мадемуазель Бюшар,— что было совсем странно и жутко даже,— не детскими, но внимательными, умными глазами взглянула на уполномоченного. Ротик ее твердо сжался.

— Золотой поезд правителя — так мне сказал курьер — захвачен большевиками...

— Чушь! — Уполномоченный поднялся, толкнулся три шага по кабинету, почти весь заслонил его собою. Чушь, провокация из Москвы...

— А! Тем лучше.

Брат мадемуазель Бюшар принялся за кофе и коньяк. Она взяла муфту и зевнула в кошачий мех. Уполномоченный заговорил о неизбежном крушении большевиков, о близком братском слиянии Франции и возрожденной России, но вдруг почувствовал, что забыл половину французских слов. Он насупился и щипцами принялся ковырять угли в камине. Ужин был испорчен.

В ту же ночь, покуда волки глядели с вершины горы, лыжники-партизаны подошли к железнодорожному полотну. Иные рассыпались между стволами, другие вытащили из-за пояса топоры,— и зазвенели, как стекло о стекло, топоры о морозные деревья.

Мачтовая сосна покачнулась в небе снежной вершиной, заскрипела и повалилась на блестевшие под луною рельсы.

Звонко стучали топоры. И вдруг чудовищный вой разодрал морозную ночь. Задрожало железнодорожное полотно. Багровыми очертаниями выступили одинокие сосны на косогорах.

Из-за поворота, из горной выемки, появился огромный поезд с двумя пышащими жаром паровозами, с блиндированными вагонами и платформами, с тускло отсвечивающими жерлами пушек.

Вылетели ослепительные огни. Отсветы вспыхнули на снежных вершинах. Рявкнули орудия, затактакали пулеметы, отдаваясь эхом.

Поезд налетел на поваленные деревья и стал.

Из темного леса, из-за каждого ствола, чиркал огонек винтовочного выстрела, как горохом, пули колотились о стальные блиндажи... Выли два паровоза, окутанные паром...

Этой же ночью эшелон, идущий из Москвы, выгрузился на полустанке среди разбитых вагонов, околевших лошадей, среди тысяч орущих красноармейцев.

Мороз был лютый. Семь радуг — вокруг луны. Пар валил от людей, от костров. За лесистой горой мерцало зарево,— там горели склады правителя.

По снежной равнине уходили цепи. Визжа полозьями, уходили сани с пулеметами и орудиями.

Вдали, куда уходили цепи, лунное марево вздрагивало от двойных ударов,— это золотой поезд правителя, попавший в засаду, отбивался от партизан.

Поезд кругом в огне. Спереди и сзади завалили путь. Разбирают рельсы. Наседают голодные, в попонах, в коврах, в бабьих шубах, прокопченные, со страшными глазами.

Все теснее их круг. Броневые орудия на платформах замолкают одно за другим. Люди поднимаются из снега, карабкаются на железнодорожную насыпь,— сотни, сотни,— облепляют вагоны.

В ту же ночь поезд с золотым сокровищем двинулся обратно на запад. Исходящие из него невидимые лучи произвели фантастический протуберанец в зимней атмосфере,— у многих погибли надежды, лопнули планы, безнадежно поникло много эмигрантских голов...

Уполномоченный правителя, вернувшись из ресторана, до утра, сжимая в кулаке телеграмму, просидел на кровати,— раскачивался, как от зубной боли.

Стучал железными ставнями гнилой ветер. Барабанил дождь по стеклам. Ледяная тоска сжимала сердце.

— Ужасно,— повторял он,— ужасно... Все как карточный домик... Ужасно...

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

КНИГА ПЕРВАЯ

Давным-давно, еще накануне Великой войны, Семен Иванович Невзоров, сидя как-то с приятелем в трактире «Северный полюс», рассказал историю:

— Шел я к тетеньке на Петровский остров в совершенно трезвом виде, заметьте. Не доходя до моста, слышу — стучат кузнецы. Гляжу — табор. Сидят цыгане, бородатые, страшные, куют котлы. Цыганята бегают, грязные — смотреть страшно. Взять такого цыганенка, помыть его мылом, и он тут же помирает, не может вытерпеть чистоты.

Подходит ко мне старая, жирная цыганка: «Дай, погадаю, богатый будешь,— и — хвать за руку: — Положи золото на ладонь».

В совершенно трезвом виде вынимаю из кошелечка пятирублевый золотой, кладу себе на ладонь, и он тут же пропал, как его и не было. Я — цыганке: «Сейчас позову городового, отдай деньги». Она, проклятая, тащит меня за шиворот, и я иду в гипнотизме, воли моей нет, хотя и в трезвом виде. «Баринок, баринок,— она говорит,— не серчай, а то вот что тебе станет,— и указательными пальцами показывает мне отвратительные крючки.— А добрый будешь, золотой

будешь — всегда будет так»,— задирает юбку и моей рукой гладит себя по паскудной ляжке, вытаскивает груди, скрипит клыками.

Я заробел,— и денег жалко, и крючков ее боюся, не ухожу. И цыганка мне нагадала, что ждет меня судьба, полная разнообразных приключений, буду знаменит и богат. Этому предсказанию верю,— время мое придет, не смейтесь.

Приятели Семена Ивановича ржали, крутили головами. Действительно: кого, кого — только не Семена Ивановича ждет слава и богатство. «Хо-хо! Разнообразные приключения! Выпьем. Человек, еще графинчик и полпорции шнельклопса, да побольше хрену».

Семен Иванович,— нужно предварить читателя,— служил в транспортной конторе. Рост средний, лицо миловидное, грудь узкая, лобик наморщенный. Носит длинные волосы и часто встряхивает ими. Ни блондин, ни шатен, а так — со второго двора, с Мещанской улицы.

— А я верю, что меня ждет необыкновенная судьба,— повторял Семен Иванович и хохотал вслед за другими. Ему сыпали перец в водку. «Хо-хо, необыкновенная судьба! Ну и дурак же ты, Семен Невзоров,— сил нет...»

Дни шли за днями. На Мещанской улице моросил дождь, расстилался туман. Пахло на лестницах постными пирогами. Желтые стены второго двора стояли, как и сейчас стоят.

Семен Иванович служил без прогулов, добросовестно, как природный петербуржец. В субботние дни посещал трактир. Носил каракулевую шапку и пальто с каракулевым воротником. На улице его часто смешивали с кем-нибудь другим, и в этих случаях он предупредительно заявлял:

— Виноват, вы обмишурились, я — Невзоров.

По вечерам иногда к Семену Ивановичу приходила любовница, по прозванию Кнопка. После баловства она обыкновенно спорила, обижалась, шуршала, чтобы он на ней женился. Жить бы ему да жить: шесть дней будней, седьмой — праздничек. Протекло бы годов,

сколько положено, опустевшую его комнату, с круглой печкой, с железной кроватью, с комодиком, на котором тикал будильник, занял бы другой жилец. И снова помчались бы года над вторым двором.

Так нет же,— судьба именно такому человеку готовила беспокойный и странный жребий. Недаром же Семен Иванович заплатил за гаданье маленький золотой. В цыганкины слова он верил, хотя правду надо сказать,— пальцем не пошевелил, чтобы изменить течение жизни.

Однажды он купил на Аничковом мосту у мальчишки за пятак «полную колоду гадальных карт девицы Ленорман, предсказавшей судьбу Наполеона». Дома, после вечернего чая, разложил карты, и вышла глупость: «Символ смерти, или говорящий череп Ибикус». Семен Иванович пожалел о затраченном пятаке, запер колоду в комод. Но, бывало, выпьет с приятелями, и открывается ему в трактирном чаду какая-то перспектива.

Эти предчувствия, а может быть какие-нибудь природные свойства, а может быть самый климат — туманный, петербургский, раздражающий воображение,— привели Семена Ивановича к одной слабости: читать в газетах про аристократов.

Бывало, купит «Петербургскую газету» и прочтет от доски до доски описание балов, раутов и благотворительных базаров. «У графа такого-то на чашке чая парми присутствующих: княгиня Белосельская-Белозерская, графиня Бобринская, князь и княгиня Лобановы-Ростовские, светлейший князь Салтыков, князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон...»

Графини представлялись ему с черными бровями, среднего роста, в кружевных платьях. Княгини — длинные, блондинки, в платьях электрик. Баронессы — рыжеватые и в теле. Граф — непременно с орлиными глазами. Князь — помягче, с бородкой. Светлейшие — как бы мало доступные созерцанию.

Так Семен Иванович сиживал у окошка; на втором дворе капало; туман застилал крыши... А на зеркальных паркетах звенели шпоры, шуршали шлейфы. Разговоры вполголоса... Духи, ароматы... Происходил

файфоклок. Лакеи вносят торты разных видов, сахарные печенья, вазы с вареньем. Ни графини, ни княгини даже не притрагиваются к еде. Разве какая высунет из кружев пальчики, отщипнет крошку. Только ножками перебирают на скамеечках.

В сумерки приходила Кнопка. Носик торчком, и тот весь заплаканный,— просит, чтобы женился. Семен Иванович встряхивал волосами, отвечал неопределенно.

Многие события, большие дела произошли с той поры: заехали в пропасть, перевернулись кверху колесами,— война. Но Семена Ивановича эти дела мало коснулись. По причине слабости груди его на фронт не взяли. Один год проходил он в защитной форме, а потом опять надел пиджачок. «Северный полюс» закрылся.

Жить стало скучнее. Спиртные напитки запретили. Познакомишься с приятным человеком,— хвать-похвать, он уже на фронте, он уже убит. Никакой ни у кого прочности. Кнопку увез на фронт драгунский полк, проходивший через Петроград. Все семь дней теперь стали буднями.

Попались Семену Ивановичу как-то, при разборке комода, гадательные карты девицы Ленорман. Усмехнулся, раскинул. И опять вышел череп Ибикус. Что бы это обстоятельство могло значить?

Одно время Ибикус привязался по ночам сниться: огромный, сухой, стоял в углу, скалил зубы. Нападала тоска во сне. А наутро противно было думать, что опять он приснится. Семен Иванович раздобыл бутылку ханжи, очищенной нашатырем. Выпил, одиноко сидя у мокрого окошка в сумерках, и будто бы снова померещилось ему какое-то счастье... Но защемило сердце. Нет. Обманула цыганка.

И вдруг стукнула судьба.

Семен Иванович кушал утренний кофе из желудей, без сахару, с кусочком мякинного хлеба. За окном февральский туман моросил несказанной гнилью.

Вдруг — дзынь! Резко звякнуло оконное стекло и сейчас же — дзынь! — зазвенело, посыпалось зеркальце, висевшее сбоку постели.

Семен Иванович подавился куском, ухватился за стол, выкатил глаза. Внутреннее оконное стекло треснуло мысом, в наружном была круглая дырочка от пули. Из прокисшего тумана булькали выстрелы.

Семен Иванович, наконец, осмелился выйти на двор. У ворот стояла куча людей. Женщина в ситцевом платье громко плакала. Ее обступили, слушали. Дворник объяснил:

— Испугалась. Два раза по ней стреляли.

Чей-то бойкий голос проговорил:

— На Невском страшный бой, горы трупов.

Женщина ударилась плакать громче. Опять сказал бойкий голос:

— Так и следует. Давно бы этого царя по шапке. Вампир.

И пошли разговоры у стоящих под воротами — про войну, про измену, про сахар, про хлеб с навозом. У Семена Ивановича дрожали руки, подгибались колени. Он пошел в дворницкую и сел у горячей печки.

Напротив на лавке сидела дворничихина дочка в платке и валенках. Как только Семен Иванович пошевелится, девочка принималась шептать: «Боюсь, боюсь». Он рассердился и опять вышел на двор. В это время послышался крик. Посредине двора какой-то бритый, плотный человек с крашеными баками кричал удушенным голосом:

— На Екатерингофском канале лавошники околодошного жарят заживо.

Это было до того страшно, что из подъездов раздались женские взвизги. Под воротами замахали руками. Человек с баками скрылся. А из тумана бухало, хлопало, тактактакало.

Семен Иванович вернулся домой и сел на стул. Наступал конец света. Шатался имперский столп. Страшное слово — Революция — взъерошенной птицей летало по улицам и дворам. Вот, это оно опять поднимало крик под воротами. Оно, не угомонясь, гулко стукало из тумана.

Мрачно было на душе у Семена Ивановича. Иногда он вставал, хрустел пальцами и опять садился. В наружную оконную дырочку свистал ветер, насвистывал: «Я тебе надую, надую пустоту, выдую тебя из жилища».

В глухие сумерки кто-то стал трогать ручку входной двери. Коротко позвонили. Семен Иванович, ужаснувшись, отворил парадное. Перед ним, освещенная из прихожей, стояла женщина удивительной красоты — темноглазая, бледная, в шелковой шубке, в белом оренбургском платке. Она сейчас же проскользнула в дверь и прошептала поспешно:

— Затворите... На крючок...

На лестнице послышались шаги, грубые голоса. Навалились снаружи, бухнули кулаком в дверь. «Брось, идем...» — «Здесь она».— «Брось, идем, ну ее к черту...» — «Ну, так она на другой лестнице...» — «Брось, идем...» Шаги застучали вниз, голоса затихли.

Незнакомка стояла лицом к стене, в углу. Когда все затихло, она схватила Семена Ивановича за руку, глаза ее с каким-то сумасшедшим юмором приблизились:

— Я останусь... Не прогоните?

— Помилуйте. Прошу.

Она быстро прошла в комнату, села на кровать.

— Какой ужас!— сказала она и стащила с головы платок.— Не расспрашивайте меня ни о чем. Обещайте. Ну?

Семен Иванович растерянно обещал не расспрашивать. Она опять уставилась на него,— глаза черные, с припухшими веками, с азиатчинкой:

— На краю гибели, понимаете? Два раза вырвалась. Какие негодяи! Куда теперь денусь? Я домой не вернусь. Боже, какой мрак!

Она затопала ногами и упала в подушку. Семен Иванович проговорил несколько ободрительных слов. Она выпрямилась, сунула руки между колен:

— Вы кто такой? (Он вкратце объяснил.) Я останусь на всю ночь. Вы, может быть, думаете,— меня можно на улицу выкинуть? Я не кошка.

— Простите, сударыня, я по обхождению, по одеже вижу, что вы аристократка.

— Вы так думаете? Может статься. А вы не нахальный. Это хорошо. Странно — почему я к вам забежала. Бегу по двору без памяти, гляжу — окошко светится. Умираю, устала.

Семен Иванович постелил гостье на диване. Предложил было чаю. Она мотнула головой так, что разлетелись каштановые волосы. Он понес свой матрац на кухню. Незнакомка крикнула:

— Ни за что! Боюсь. Ложитесь здесь же. С ума сойду, несите назад тюфяк.

Семен Иванович погасил свет. Лег и слышал, как на диване — ррррр — разлетелись кнопки платья, упали туфельки. В комнате запахло духами. У него побежали мурашки по спинному хребту, кровь стала приливать и отливать, как в океане. Гостья ворочалась под шелковой шубой.

— Мученье, зажгите свет. Холодно. (Семен Иванович включил одинокую лампочку под потолком.) Небось лежите и черт знает что думаете.— Она проворно повернулась лицом в подушку.— Одна только революция меня сюда и загнала... Не очень-то гордитесь. Потушите свет.

Семен Иванович растерялся. Не осмелился снять даже башмаков. Но лег, и опять — мурашки, и кровь то обожжет, до дернет морозом.

— Да не слышите разве, я плачу? Бесчувственный,— проговорила гостья в подушку,— у другого бы сердце разорвалось в клочки — глядеть на такую трагедию. Зажгите свет.

Он опять включил лампочку и увидел на диване на подушке рассыпанные волосы и из-под черно-бурого меха — голое плечо. Стиснул зубы. Лег. Тонким голосом незнакомка начала плакать, опять-таки в подушку.

— Сударыня, разрешите — чаю вскипячу.

— Ножки, ножки замерзли,— комариным голосом проплакала она,— вовек теперь не успокоюсь. В двадцать два года на улицу выгнали. По чужим людям. Свет потушитеееее.

Семен Иванович схватил свое одеяло и прикрыл ей

ноги и, прикрыв, так и остался на диване. Она перестала плакать. Разъятые ноздри его чувствовали теплоту, идущую из-под шубки. Но он робел ужасно, не зная, как обходиться с аристократками. За спиной, в углу, в темноте,— он не видел, но почувствовал это,— возник и стоял голый череп Ибикус.

— Завтра, наверно, буду лежать, раскинув рученьки на снегу,— ужасно жалобно проговорила гостья,— а тут еще царство погибает.

— Я всей душой готов утешить. Если не зябко — разрешите, ручку поцелую.

— Чересчур смело.

Она повернулась на спину. Смеющимся пятном белело ее лицо в темноте. Семен Иванович подсел ближе и вдруг рискнул — стал целовать это лицо.

Утром незнакомка убежала, даже не поблагодарила. Тщетно Семен Иванович поджидал ее возвращения — неделю, другую, месяц. В комоде, вместе с картами девицы Ленорман, лежала часть туалета, забытая чудесной гостьей. Часто теперь по ночам Семен Иванович метался в постели, приподнимаясь — дико глядел на пустой диван. Ему представлялось, что в ту ночь, под свист ветра в оконную дырочку, он рискнул — прыгнул в дикую пустоту. Порвались связи его со вторым двором, с плаксивым окошком, с коробкой с табаком и гильзами на подоконнике.

В свободное от службы время он теперь бродил по улицам, тоже диким и встревоженным. Город шумел невиданной жизнью. Собирались толпы, говорили от утра до поздней ночи. Флаги, знамена, лозунги, взбесившиеся мотоциклетки. На перекрестке, где стаивал грузный, с подусниками, пристав,— болтался теперь студент в кривом пенсне, бандиты и жулики просто подходили к нему прикурить. На бульварах пудами грызли семечки. Мужики в шинелях влезали на памятники, били себя в грудь: «За что мы кровь проливаем?» На балконе дворца играл талией временный правитель в черных перчатках.

Семен Иванович с тоненькой усмешечкой ходил, прислушивался, приглядывался. Великие князья, сол-

даты, жулики, хорошенькие барышни, генералы, бумажные деньги, короны,— все это плыло, крутилось, не задерживаясь, как в половодье.

«Тут-то и ловить счастье,— раздумывал Семен Иванович и кусал ноготь,— голыми руками, за бесценок — бери любое. Не плошать, не дремать».

Продутый насквозь весенним ветром, голодный, жилистый, двуличный — толкался он по городу, испытывал расширенным сердцем восторг несказанных возможностей.

Сутулый господин в бархатном картузе был прижат к стене троими в солдатских шинелях. Они кричали:

— У меня вшей — тысячи под рубашкой, я понимаю — как воевать!

— Кровь мою пьете, гражданин, это вы должны почувствовать, если вы не бессовестный!

— Землица-то, землица—чья она?—кричал третий.

Господин таращил глаза. Длинный, извилистый рот его посинел. Семен Иванович, подойдя на этот крик, сказал твердо:

— Видите, граждане, он ни жида по-русски не понимает, а привязались.

Солдаты плюнули, ушли спорить в другое место. Господин в бархатном картузе (действительно на плохом русском языке) поблагодарил Семена Ивановича. Они пошли по Невскому, разговорились. Господин оказался антикваром, приезжим, город знал плохо. И тут-то Семен Иванович заговорил, прорвало его потоком:

— Пойдите на Сергиевскую, Гагаринскую, на Моховую, вот где найдете мебель, бронзу, кружева... Столовое серебро десятками пудов выносят на файфоклоках. А посмотрели бы вы на туалеты. Сказка! Бывало, стоишь с чашкой кофею около баронессы, княгини,— дух захватит. Клянусь богом — видать, как у нее сердце просвечивает сквозь кожу. С ума сойти! Одни глаза видны, а кругом страусовые перья. Я не кавалергард — камер-юнкер, но роптать нечего — пользовался у аристократок успехом. Бывало, прямо

со службы, не поевши, бежишь на чашку чая. Вот еще недавно одна прибегала ночью, оставила на память — и смех и грех — часть туалета из стариннейших кружевцев. Цены нет. А теперь — усадьбы у них пожгли, есть нечего. Если взяться умеючи,— вагонами можно вывозить обстановки.

Господин в бархатном картузе крайне заинтересовался сообщениями Семена Ивановича и просил его заглядывать в антикварную лавку.

Чего только не было в антикварной лавке! Павловские черные диваны с золотыми лебедиными шеями. Екатерининские пышные портреты. Александровское красное дерево с восхитительными пропорциями, в которых наполеоновская классика преодолена российским уютом наполненных горниц. Здесь была краса русского столярного искусства — карельская береза, согнутые коробом кресла, диваны корытами, низенькие бюро с потайными ящиками.

Господин в бархатном картузе показывал Семену Ивановичу лавку, любовно притрагивался к пыльным полированным плоскостям, мудрено вытягивал извилистые губы. Полизав пыльный палец, говорил:

— Это искусство умерло, этого уже не делают на всем свете. Этот лес сушился по сотне лет. Вот — кресло. Можете полировку ошпарить кипятком. Полировано тонко, как зеркало. А вы чувствуете выгиб спинки? А эта парча? Мастер ткал в сутки только одну десятую дюйма. Вы, русские, никогда не умели ценить вашу мебель. Между тем в России были высокие художники-столяры. Русский столяр чувствовал человеческое тело, когда он выгибал спинку у кресла. Он умел разговаривать с деревом. Надо понимать, любить, уважать человеческий зад, чтобы сделать хорошее кресло.

Между разговором антиквар предложил Семену Ивановичу комиссионные в случае нахождения им добрых вещей. Семен Иванович стал часто заходить в лавку, исполнял кое-какие поручения. Но серьезно заняться делом мешало ему ужасное возбуждение всех мыслей. Над городом плыли весенние дни. Все бродило. Мимо, близко, у самого рта, скользили такие

соблазны, что кружилась голова у Семена Ивановича, захватывало дух: а упущу, а прозеваю, а прогляжу счастье?

Однажды он застал антиквара, низко нагнувшегося над какой-то вещицей, и около — седую, высокую даму с горьким лицом. Антиквар выделывал сложные гримасы губами.

— Ах, вы ждете денег,— сказал он рассеянно и стал шарить рукой сбоку карельского бюро.

Семен Иванович отчетливо видел его пыльные, слабые пальцы,— средним он надавил на незаметную щеколдочку, крышка отскочила, рука антиквара влезла в ящичек и вытащила оттуда пачку кредитных билетов. Семен Иванович только тогда перевел дыхание.

Его мысли в этот день получили иное несколько направление: появилась ясность, ближайшая цель — достать несколько сот тысяч рублей, бросить службу и уехать из Петрограда. Довольно войны, революции! Жить, жить! Он ясно видел себя в сереньком костюме с иголочки, на руке — трость с серебряным крючком, он подходит к чистильщику сапог и ставит ногу на ящичек, сверкающий южным солнцем. Гуляют роскошные женщины. Так бы и зарыться в эту толпу. И всюду — окорока, колбасы, белые калачи, бутылки со спиртом.

До поздней ночи Семен Иванович бродил по улицам. В весеннем небе слышались гудки паровозов. Это прибывали истерзанные поезда со скупым хлебом, с обезумевшими людьми в солдатских шинелях, прожженных и простреленных. Паровозы кричали в звездное небо: «Умираааааем». Семен Иванович, насквозь пронизанный этими звуками, ночной свежестью, голодный и легкий, повторял про себя: «Первое — достать деньги, первое — деньги».

Незаметно для себя он очутился близ знакомой антикварной лавки. Стал, усмехнулся, покачал головой: «С бухты-барахты — нельзя. Придется обдумать». Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович вгляделся, подошел к лавке; странно — дверь оказалась приоткрытой, внутри — свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул.

Бюро, диваны, кресла, вазы,— все это было опрокинуто, торчало кверху ножками, валялось в обломках, на полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, заложил ее на щеколду.

Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно, на весь магазин, что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под опрокинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «ооооо» под диваном. Семен Иванович схватил ковер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф. Кинулся к бюро. Нажал щеколду. Крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег.

Шесть недель Семен Иванович скрывал деньги, то в печной трубе, то опускал их на веревке в вентилятор. Страшно бывало по ночам: вдруг — обыск. Боязно и днем, на службе: вдруг на квартиру налет? (Из предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору.) Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семен Иванович вдруг рассмеялся: «Какая чепуха,— Александровскую колонну унести, и то никто не заметит». Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать.

Чем дальше он считал — тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей да мелочью тысяч на десять. Семен Иванович встал со стула и, как был, в тиковых подштанниках и носках — принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук.

Весь этот день Семен Иванович провел на Невском — купил пиджачный костюм, пальто, котелок и желтые башмаки. Приобрел в табачном магазине ян-

тарный мундштук и коробку гаванских сигар — «боливаро». Купил две перемены шелкового белья, бритву «Жилет» и тросточку. В сумерки привез на извозчике все это домой, разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги. Подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стола. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто. Поехал на Невский. Здесь он стал ходить жилистыми, мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек — где живет, здорова ли, не хипесница ли?

А рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора, яснее проступали бумажки на тротуарах,— миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш,— остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке, на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер с судорожно зажатыми в кулаке гвоздиками.

«И это — жизнь,— раздумывал Семен Иванович,— бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях... Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости».

На следующий день Семен Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго, и с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголочки. Семен Иванович испытывал острое наслаждение.

Семен Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но — все та же, непонятная ему, отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений — газеты, афиши, бюллетени, споры.

Он часто заходил в кафе «Бом» на Тверской, где сиживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе «Бом» стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело,— видимо, у этих людей ни гроша не было за душой: с утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками! «Хорошо бы,— думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными,— нанять огромный кабинет в ресторане, пригласить эту компанию, напоить. Шум, хохот. Девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете, господа!»

Жаль — не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык — как мороженый, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал — необходимо шагнуть еще на одну ступень.

Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом, нечесаный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит, согнувшись, курит лениво. Веки полузакрыты, бледная, под глазами тени. Ее спросят,— не оборачиваясь, усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженая, темноволосая. Но как с ней познакомиться?

Тогда Семен Иванович решился, наконец, на давно уже им обдуманное. Рядом с кафе «Бом» в скоропечатне заказал он себе визитные карточки, небольшого размера, под мрамор: «Симеон Иоаннович граф Невзоров». В скоропечатне приняли заказ, даже не удивились.

Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал: «Ваши карточки готовы, граф», когда он прочел напечатанное,— охватила дикая радость, сильнее, чем в купе международного вагона.

Из скоропечатни граф Невзоров вышел как по воздуху. На углу, оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел: «Ваше сясь, я вас ката...» Трудно было смотреть прохожим в глаза,— еще не привык. Граф про-

шелся по Тверской, завернул в кафе «Бом», сел за свой столик и спросил вазу с пирожными.

На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пенсне и прочел афишу. На ней стояло:

«Вечер-буф молодецкого разгула футуро-творчества. Выступление четырех гениев. Стихи. Речи. Парадоксы. Открытия. Возможности. Качания. Засада гениев. Ливень идей. Хохот. Рычание. Политика. В заключение — всеобщая вакханалия».

Здесь же в кафе граф приобрел билет на этот вечер.

«Вечер-буф» происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями,— как это понял Семен Иванович,— но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные, американские. «Здесь и бумажник выдернут — не успеешь моргнуть»,— подумал граф Невзоров.

Неподалеку от него сидела девица с голыми руками, при ней находился кавалер — косматый, с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами,— вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки... Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал:

— Эту словесность каждый день даром слышу.

Девица подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку.

— Позвольте представиться.

Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударило в жаркий пот. Но нет,— смех был не зловредный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девицы, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девица спросила:

— Кто вы такой?

— Я недавно прибыл в Москву, видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу.

— Вы не писатель?

— Нет, видите ли, я просто богатый человек, аристократ.

Девица опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине.

Граф Невзоров спросил крюшону покрепче — то есть из чистого коньяку — и, держа папиросной лорнеточкой папироску, нагнувшись к девице, принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девица тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась.

На эстраде какой-то человек лаял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других, за его спиной, подхватывали припев: «Хо-хо, хо-хо! дзым дзам вирли, хо-хо!» Это жеребячье ржание сбивало графа, он встряхивал волосами и подливал коньяку.

Девицу звали Алла Григорьевна. От коньяку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась,— уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился.

— Едемте ко мне,— неожиданно сказала она. Граф оробел. Но пятиться было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику:

— Это что еще такое? — и ударила кулачком по столу.— Что хочу — то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий!..

У косматого задрожал подбородок, он совсем прикрылся рукой, коричневой от табаку.

— Ненавижу,— прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав.

Вышли, сели на извозчика. Алла Григорьевна непонятно топорщилась в пролетке, подставляла локти. Вдруг крикнула: «Стой, стой!» — выскочила и забежала в еще открытую аптеку. Он пошел за нею, но она уже сунула что-то в сумочку.

Граф, весьма всему этому изумляясь, заплатил аптекарю сто двадцать рублей. Поехали на Кисловку.

Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату,— граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась:

— Нет, этого совсем не нужно.

Она слегка толкнула Невзорова на плюшевую оттоманку. В комнате был чудовищный беспорядок,— книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки валялись где придется, кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике.

Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула в ручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать.

Опять оробел Семен Иванович. Но она захватила на зубочистку порошку и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще — втянула в другую. С облегчением, глубоко вздохнула, откинулась, полузакрыла глаза:

— Нюхайте, граф.

Тогда и он запустил в ноздри две понюшки. Пожевал яблоко. Еще нюхал. Нос стал деревенеть. В голове яснело. Сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку.

— Мы, графы Невзоровы,— начал он металлическим (как ему показалось), удивительной красоты голосом,— мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови,— и переворот готов. Отчетливо вижу: в тронной зале собираются чины и духовенство, меня, конечно, под руки — на трон... Я с трона: «Вот что, генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка, у меня — чтобы никаких революций!.. Бунтовать не дозволяется, поняли, сукины дети?» И пошел, и пошел.

Все навзрыд: «Виноваты, больше не допустим». Из залы я, тем же порядком, направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждой — только мигни, сейчас платье долой. Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подают торт, ставят на стол...

Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе, набекрень — корона. Борода, усы... «Чья это голова, такая знакомая?.. Да это же моя голова!»

У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не Ибикус ли, проклятый, прикинулся его головой?.. Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна.

Несколько недель (точно он не запомнил сколько) граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчетливость Семена Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, а то просто небольшую сумму денег.

В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. Наутро Семен Иванович только сморкался, вялый, как червь. «Бросить это надо, погибну»,— бормотал он, не в силах вылезти из постели. А кончался день,— неизменно тянуло его к злодейке.

На одном и том же углу, в продолжение нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей, с ярко-рыжей, жесткой, греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза — заплаканные, полузакрытые. Рот — резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах. Все лицо напоминало трагическую маску.

— Опять он стоит, тьфу,— бормотал Невзоров и из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-

маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями крутившихся над Москвой.

Наступили холода. По обледенелой мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека-маску. Неожиданно она ответила:

— Ну, и пусть, все равно недолго осталось жить.

В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко — пусто, раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, не с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику.

В полночь в дверь постучали, голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом,— встревоженно шумели, рассказывали, будто в городе образовался Комитет Общественного спасения и еще другой — Революционный комитет, что стреляют по всему городу, но кто и в кого — неизвестно. Из накуренной передней истошный голос проговорил: «Господа, в Петербурге второй день резня!» — «Прошу не волновать дам!»—кричал председатель, Человеков, стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слова, с обиженным красным лицом надрывался: «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала: «Господа, только что мне звонили: Викжель всецело на нашей стороне».— «Не Викжель, а Викжедор [1], и не за нас, а против, не понимаете, а вносите панику»,— басили из-за печки. «Господа,— надрывался Человеков,— прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику».

Наконец постановили: собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару, с тем чтобы он в случае на-

[1] Викжедор — Всероссийский исполнительный комитет железных дорог.

падения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился.

На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непроспавшиеся дамы и старичок с двуствольным ружьем сказали:

— Если дорожите жизнью,— советуем не выходить.

Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице, в мерзлом тумане, проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки: ух — ах,— и каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом.

Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена.

— Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм. Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю,— сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день.

В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали:

— Гасите свет. Нас обстреливает артиллерия с Воробьевых гор.

Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки. Говорили шепотом. Человеков ходил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая читала растрепанную книжку.

Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожарища,— врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров.

Ночь была наполнена звуками. Вдали, между темных очертаний крыш, ярко светилось одинокое окошко.

Поширкивали в воздухе снаряды. Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда:

— Слушайте, граф, разве возможна нормальная жизнь в такой стране?

За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло к Алле Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно, там, на улицах, решили не шутить.

Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали. Газ плохо горел. В окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол, начался переполох. Оказалось: у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, проносился броневик. Шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.

Всю ночь Алла Григорьевна проплакала, завернув голову в пуховой платок. Семен Иванович приподнимался спросонок: «Ну, что вам еще не хватает, спите», и мгновенно засыпал. За эти дни в нем собиралась колючая злоба, видимо — он всходил еще на одну ступень.

Рано поутру Алла Григорьевна оделась,— не напудрилась, не подмазалась,— положила в сумочку деньги и пошла из комнаты. Граф схватил ее за подол:

— Куда? Вы с ума сошли, Алла Григорьевна!

— Оставьте юбку. Я вас презираю, Семен Иванович. Лучше помалкивайте. Прощайте.

Она ушла. Рассказывали, что сам Человеков не пускал ее, хватаясь за голову, но Алла Григорьевна сказала: «Иду к сестре за Москву-реку»,— и ушла через черный ход.

За дверью хриповатый веселый голос спросил:

— Аллочка дома?

Вошел рослый человек в грязном полушубке. Снял папаху,— череп его был совсем голый, лицо бритое, обветренное, с большим носом. Он оглянул комнату сверкающими, глубоко сидящими глазами. Невзоров поднялся с дивана и объяснил, что Алла Григорьевна два часа тому назад ушла к тетке, за Москву-реку.

— Черт! Жаль! Девчонку ухлопают по дороге,— сказал веселый человек, расстегивая бараний полушубок,— ну, давайте знакомиться: Ртищев,— он подал большую руку с перстнем, где сверкал карбункул,— а в Москве-то что творится, пятак твою распротак! Я только что с Кавказа. Продирался две недели. Прогорел начисто, это я-то, на Минеральных Водах, да, да. Я — игрок, извольте осведомиться. А жаль — Аллочка улетела. Я ее старинный приятель. С утра сегодня, прямо с вокзала, бегаю по подворотням, пятак твою распротак! Видите, полушубок прострелен. Решил — к Аллочке под крыло. Ну, ничего не поделаешь, выпьем без хозяйки. Жрать хотите небось?

Он вытащил из огромных карманов полушубка кусок мяса, жареную курицу, десяток печеных яиц и бутылку со спиртом. Большой рукой указал Семену Ивановичу на стул. Выпили спирту, принялись за еду. Чокнувшись по третьей, Ртищев сказал:

— Граф Невзоров, если не ошибаюсь? (Семен Иванович подтвердил.) Ну, так вы врете, вы не граф.

— Позвольте, что это за разговор!

— Таких графов сроду и не было. Вы — авантюрист. Не подскакивайте. Я ведь тоже не Ртищев. Очень просто, пятак твою распротак. А плохи наши дела, граф.

— Виноват, как вы со мной обращаетесь!

Ртищев только весело подмигнул ему на это:

— Уже когда по Москве начали пушками крыть, это значит — четыре сбоку, ваших нет. Надо подаваться в Одессу, граф. Деньги есть? (Семен Иванович пожал плечами.) Ну, ладно, поговорим вечером.

Ртищев выпил последнюю, снял полушубок и, повалившись на постель, сейчас же заснул под буханье пу-

щек, дребезжанье стекол. Семен Иванович с изумлением, с уважением рассматривал этого чудесного человека. «Вот он — ловец, смельчак, этот возьмет свое».

В сумерки Ртищев заворочался на скрипящих пружинах, откашлялся и начал рассказывать о своих неудачах в Кисловодске, где он держал игорный дом. Дела шли блестяще, курортная публика играла как накануне Страшного суда. Но проклятые чеченцы с гор шестнадцать раз брали игорный дом в конном строю. Увозили деньги в тороках. Пришлось свернуться.

— Стране нужна твердая власть, иначе я отказываюсь работать. А эти буржуи, как индюшки,— только: чувик, чувик, никакого сопротивления. Ну, а вы по какой линии? — спросил он у Невзорова. Тот ответил, что просто живет в свое удовольствие.— Э, бросьте, малютка, не шутите со мной. По политике, да?

— Может быть.

— И это занятие. Изо всего можно сделать себе занятие — был бы царь в голове. А то у нас на Минеральных Водах объявился один, тоже по политике; намекал, будто он по боковой линии наследник престола. Но глупышка, видите ли, надумал играть в железку с накладкой; это при Пушкине играли с накладкой,— люди были доверчивые, возвышенно настроенные. Бросьте политику, граф!

Невзоров сердито топнул ногой. Ртищев захохотал, накинул полушубок, подсел к столу:

— Давайте в картишки. Честно, как порядочные люди, пятак твою распротак!

Ртищев и граф Невзоров сели играть в карты и проиграли ночь, весь следующий день и еще ночь. Ртищев выиграл свыше ста тысяч. Но Семен Иванович почти что и не жалел о проигрыше: за картами многое было переговорено, перспективы раздвигались. Ртищев представлялся ему опытным и надежным товарищем.

На седьмые сутки выстрелы в городе затихли. Население робко вылезало на улицы, обезображенные борьбой. Невзоров и Ртищев переехали в гостиницу «Люкс» на Тверскую.

Разница в характерах способствовала успеху общего дела. Ртищев был шумлив, кипуч и легкомыслен. Невзоров — подозрительный, расчетливый, всегда мрачный. Один дополнял другого. Они разыскали большую квартиру на Солянке и открыли литературно-художественный клуб «Белая хризантема». Юноши из кафе «Бом» читали там стихи за небольшое вознаграждение. Устраивались диспуты об искусстве. Там можно было получать чай с сахаром и пирожными. В тайных задних комнатах резались в железку.

Тревожное время, неизвестность, крутые декреты нового правительства, тоска замерзающего, голодного города погнали игроков в «Белую хризантему». Там бывали дельцы, сбитые с толку революцией. Темные личности, торгующие деньгами, иссиня-бритые, с воспаленными, изрытыми лицами. Заходили метнуть награбленное взломщики и бандиты — осторожные юноши с быстрыми глазами. Бывали завсегдатаи скачек в еще изящных пиджаках, сохранивших запах английских духов. Два-три озлобленных писателя с голодной тревогой следили за течением миллионов по зеленому сукну. Здесь можно было свободно спросить вино, спирт, шампанское.

Дела дома шли превосходно. Ртищев обычно под утро напивался пьян и сам садился играть по крупной. Семен Иванович ставил себе задачей вовремя отбирать у него деньги: он покупал валюту и держал ее на груди в замшевом мешочке. Однажды в игорной комнате появился косматый человек — бывший спутник Аллы Григорьевны. Невзоров спросил о судьбе девушки. Косматый, не вынимая трубки, усмехнулся кривым ртом:

— Убита на улице в октябре месяце.

Настала весна. Пошли тревожные слухи с юга, с Украины. Грозовой тучей надвигался террор. Граф Невзоров настоятельно предупреждал товарища:

— Надо кончать с предприятием. Пора. Лавочку хлопнут. В конце концов это дело не по мне. Я не буфетчик.

На это Ртищев кричал ему пьяный:

— Граф, в тебе нет широты. Ты мещанин, ты на Невском сиги продавал!

Опасения оказались резонными. Однажды ночью «Белая хризантема» была оцеплена солдатами, и все гости и Ртищев отведены в район. Невзорову удалось ускользнуть от ареста,— он выскочил через окно в уборной, унося в мешочке полугодовой доход игорного дома. Надо было бежать из Москвы.

Ехать пришлось уже не в бархатном купе с горшочком. Семен Иванович три дня простоял в проходе вагона, набитого пассажирами сверх всякой возможности. Весь поезд ругался и грозился. В ночной темноте от него, как от черного кота, сыпались искры.

Пролетали ободранные железнодорожные станции с разбитыми окнами, угрюмые села, запустевшие поля, ободранные мужики, пустынные курские степи. Даже в сереньком небе все еще чудилось неразвеянное, кровавое уныние несчастной войны.

«Паршивая, нищая страна,— думал Семен Иванович, с отвращением поглядывая сквозь разбитое окошко вагона на плывущие мимо будничные пейзажи,— туда же — бунтовать. Вшей бить не умеете. Что такое русский человек? — свинья и свинья. Тьфу, раз и навсегда. Отрекусь, наплюю, самое происхождение забуду. Например: Симон де Незор — вполне подходит». Семен Иванович тайно ощупывал на груди мешочек с валютой и погружался в изучение самоучителя французского языка.

Одет он был в гимнастерку, в обмотки, в картузишко с изорванным козырьком — вид вполне защитный для перехода через украинскую границу. Кроме того, при паспорте имелось удостоверение,— приобретенное на Сухаревке,— в том, что он, С. И. Невзоров,— артист Государственных театров. Все же переход через границу требовал большой осторожности.

В Курске пришлось около суток сидеть на вокзале, где среди пассажиров передавались жуткие россказни. Здесь Семен Иванович спрятал мешочек с валютой на нижней части живота, вполне укромно. Выехали на границу ночью, в теплушках. На каждой станции подолгу дергались, иногда принимались ехать назад, к Курску,

причем в теплушках начиналась тихая паника. Наконец на рассвете остановились на границе.

Семен Иванович осторожненько вышел из вагона. Место было голое, пустынное. Бледный свет зари падал на меловые холмы, источенные морщинами водомоен. На путях стоял одинокий вагон, где сейчас спал пограничный комиссар. Несколько телег и мужики стояли поодаль, дожидаясь седоков, чтобы перевезти их через нейтральную полосу к немцам.

Из теплушек вытаскивали детей, чемоданы, узлы. Выскочил кругленький, улыбающийся господин и помог вылезти обессиленной барыне в спустившихся шелковых чулках. Барыня, господин и няньки с детьми раскрыли складные стульчики и сели под открытым небом, среди огромного количества кожаных чемоданов.

Наконец в комиссаровом вагоне опустили окошко: проснулся. На вагонную площадку вышел молодой человек, в ситцевой рубашке распояской, и веничком стал подметать пол. Подмел и сел на ступеньках, подперев кулаком подбородок. Это и был сам комиссар, про которого шепотом говорили еще в Курске,— человек необыкновенной твердости характера. Глаза у него были совсем белые.

— Подойдите-ка сюда, товарищ,— поманил он пальцем кругленького господина. Тот сорвался со стульчика, благожелательная, радостная улыбка растянула его щеки.— Что это у вас там?

— Это моя семья, товарищ комиссар. Видите ли, мы возвращаемся в Харьков.

— Как?

— Видите ли, мы — харьковские. Мы гостили в Москве у тети и возвращаемся.

— Я спрашиваю — это все — это ваш багаж?

— Видите ли, пока мы гостили у тети,— у нас родилось несколько детей.

Господин говорил искренне и честно, улыбался добродушно и открыто. Комиссар медленно полез в карман за кисетом, свернул, закурил и решительно сплюнул.

— Не пропущу,— сказал он, пуская дым из ноздрей.

Господин улыбался совсем уже по-детски.

— Я только про одно: мы детей простудим под от-

крытым небом, товарищ комиссар, а вернуться уже нельзя,— тетя в Москве уплотнена.

— Я не знаю, кто вы такой, я обязан обыскать багаж.

— Кто я такой? Взгляните на меня,— господин стал совсем как ясное солнце,— хотите взглянуть, что я везу? — Он крикнул жене: — Соня, котик, принеси мой чемодан. Я не расстаюсь с этими реликвиями моей молодости: портреты Герцена, Бакунина и Кропоткина. Меня с малых лет готовили к революционной работе, но — появились дети, опустился, каюсь. Для ответственной работы не гожусь, но, как знать, в Республике каждый человек пригодится, верно я говорю? Кстати, я не собираюсь бежать: устрою детей в Харькове и через недельку вернусь...

Комиссар насупился, глядел в сторону, уши у него начали краснеть:

— А вот я вас арестую, тогда увидим, кто вы такой на самом деле.

Господин восторженно подскочил к нему:

— Именно, нельзя верить на слово, именно такого ответа я и ждал...

Семен Иванович, внимательно слушавший весь этот разговор, счел за лучшее отойти подальше. Он побродил по станции. Всюду было пусто, запустело, окна разбиты. За ним никто не следил. Он вышел в поле и лег в траву. Полежав около часа, пополз и опять лег. Послышались голоса: невдалеке прошли два солдата, и между ними — человек в парусиновом пальто, с узлом за спиной.

Обождав небольшое время, Семен Иванович пополз среди репейников и полыни к оврагу, пролегавшему у подножия меловых холмов. Осторожно скатился в сухой овраг и пошел по его дну в западном направлении.

Когда солнце поднялось высоко, Семен Иванович вылез наверх. Станции и комиссаровского вагона уже не было видно. Перед ним невдалеке лежало железнодорожное полотно, за ним — пустынная красноватая степь с вьющейся пыльной дорогой.

Под вечер с востока на дороге показались телеги. Семен Иванович оглянулся,— спрятаться было негде. Тогда он снял гимнастерку, надорвал карманы и под-

мышки, вывалял ее в пыли, надел опять, сел у дороги и принял самый жалкий вид, какой только возможен. Телеги подъезжали на рысях. Он потащился навстречу, протягивая руки и крича: «Помогите, помогите». Передняя телега остановилась. В ней сидел, радостный и беззаботный, кругленький господин и обессиленная барыня. На задних помещались няньки с детьми и горы сундуков.

Семен Иванович, трясясь всеми членами, рассказал, что его избили и ограбили до нитки. Он показал удостоверение артиста Государственных театров. «Э, садитесь на заднюю телегу, трогай!» — крикнул кругленький.

На закате из-за степи поднялись вершины тополей и соломенные крыши хутора. Жерлами на дорогу — к большевикам — стояли две немецкие пушки.

С новыми спутниками Семен Иванович доехал до Харькова. На вокзале обессиленная дама, подбежав к буфету, воскликнула со слезами: «Белые булочки, булочки! Глядите, дети,— булочки!» Она обняла мужа, детей. Даже Семен Иванович прослезился.

Он переложил деньги из потайного места в карман и на лихаче запустил в лучшую гостиницу. В тот же день он приобрел отличный костюм синего шевиота и пил шампанское. Харьков опьянил его. По улицам ходили — тяжело, вразвалку — колонны немецких солдат в стальных шлемах. На лихачах проносились потомки древних украинских родов в червонных папахах. Множество дельцов, военной формации, в синих шевиотовых костюмах, толпились по кофейням, из воздуха делали деньги, гоняли из конца в конец Украины вагоны с аспирином, касторкой, смазочными маслами. В сумерки озарялись ртутным светом облупленные двери кабаре и кино. Гремела музыка из городского сада, на берегу заросшей ряскою реки Нетечи, где кишели, орали, ухали жабы и лягушки, вились туманными змейками двенадцать лихорадок.

Семен Иванович гулял по городскому саду. Гремел оркестр, шипели фонари среди неестественной листвы под черным небом. Семен Иванович присмотрел двух дам: одна — черноглазая блондинка в берете и в шелко-

вом платье, сшитом из занавеси; другая — сухонькая — в огромной шляпе с перьями. «Аристократки»,— решил он и, по-столичному приподняв соломенный картузик, сказал: — Все один да один. Позвольте представиться: конт Симон де Незор. Не откажитесь вместе поужинать.

Аристократки не выразили ни удивления, ни сомнения и сейчас же пошли вместе с Симоном де Незором в кабинет. Дощатые стены его были исписаны надписями самого решительного и непристойного содержания. Де Незор потребовал водки с закуской и шампанского. Было очень непринужденно. Вспоминали столичную жизнь. «Ах, Петроград!» — повторяли дамы... Де Незор кричал: «Будь я проклят, сударыни, если через месяц мы не вернемся в Петроград с карательной экспедицией».

Водка шла птицей под чудные воспоминания. Били бокалы. Затягивали несколько раз гимн. Уже дощатые стены стали зыбкими. В табачном дыму, непонятно как, за столом появился четвертый собеседник — тощий, подержанный господин с унылым носом и раздвоенной русой бородкой. Он с чрезвычайным удовольствием занялся икрой и шампанским.

«Неужели опять — Ибикус, фу, черт его возьми!» — пьяными мозгами подумал де Незор.

— А все-таки, ваше сиятельство, рановато нам умирать, еще попрыгаем,— картавя, говорил ему незнакомец. Дамы называли его Платон Платонович. Одна из дам, в шляпе,— видимо, хорошо его зная,— попыталась сесть ему на колени. «Оставьте, мне жарко»,— сказал Платон Платонович, спихивая ее локтем.

— Вы, ваше сиятельство, думаете здесь обосноваться?

— Не знаю... Подумаю...

— Сильно пострадали от революции?

— Особняк разграблен вдребезги... Конюшни сожжены. Моему лучшему жеребцу выкололи глаза... Я понимаю — выколи мне... Но при чем мой жеребец?..

— Лошадям выкалывать глаза! Вот вам социалисты! Вот вам проклятые либералы! Это все от Льва Толстого пошло! — говорил Платон Платонович.— Так вы любитель лошадей, граф?

— Странный вопрос.

— Ну, тогда и говорить нечего, вы должны купить землю в Малороссии. Раз в тысячу лет подобный случай, можете приобрести цензовый участок даром, за гроши. Чего далеко идти,— я вам продам именье: «Скреголовка», чудесные виды, стариннейший дом графов Разумовских... Милейший граф, кончится эта проклятая завирушка — на будущий год мы вас в уездные предводители проведем.

— Меня в предводители? Почему именно меня?

Так граф де Незор был оглушен этой новой возможностью. Приоткрывалась роскошная перспектива. «Меня в предводители дворянства,— ну, что ж, я готов»,— бормотал он, и плыли стены, шляпы, длинные носы, покрытые потом, валились со стола бутылки. Был уже день, когда его, поддерживая под руки, посадили на лихача. Дальнейшее расплылось.

Граф де Незор проснулся в сумерки. Затылочные кости трещали от боли. На стуле перед постелью сидел Платон Платонович и покойно покуривал.

— Поздненько,— сказал он,— не опоздать бы на поезд.

Усадьба, куда Платон Платонович привез Невзорова, была действительно прекрасно расположена среди холмов, невдалеке от речки. Дом был с колоннами и даже с двумя львами на кирпичных столбах; Семен Иванович нет-нет да и поглядывал на них: «Собственные львы, неужто возможно?» В нижнем этаже все окна выбиты. Платон Платонович, обратив внимание на этот ущерб, ударил себя по коленкам: «Третьего дня градом выхлестало». Он очень вежливо поклонился двум немецким солдатам, которые лежали на траве около кухни. Проходя мимо, захлопнул ворота каретника (хотя Невзоров успел заметить, что в каретнике ничего, кроме старого колеса, не находилось). Не задерживаясь с осмотром служб, провел графа прямо в сад. Тополя, липы, акации стояли пышно среди густой травы. Платон Платонович долго смотрел, задрав голову, на пустое грушевое дерево: «Гм,сволочи»,— сказал он и повел показывать старинный бельведер. Это была облупленная бе-

седочка, на полу ее, еще издали, виднелось то, что остается от человека, когда он посидит. «Гм»,— повторил Платон Платонович. Пошли в дом. Внизу было пусто и намусорено, двери сорваны. В окно шарахнулась ворона. Платон Платонович только крякнул с досадой: «Здесь — зала, там бильярдная, а там летняя столовая. Уберем, вставим стекла, не наглядитесь. Зато наверху у меня — уют». Он потащил графа на скрипучую винтовую лестницу. Верхние комнаты были действительно меблированы, и висели даже занавеси и картины, но все это представляло странное зрелище: как будто всю обстановку вытащили отсюда, ободрали, переломали, перемешали и опять расставили кое-как.

— Мужики у нас добродушнейшие,— говорил Платон Платонович,— прошу, граф, в кресло. Представьте: полгода в деревне сидел большевик, уговаривал разграбить мою усадьбу. Так они, только чтобы от него отвязаться, пришли, плачут: «Грабить приказано». Я их сам уговаривал: «Берите, берите, мужички». Ну, разумеется, потом все принесли обратно. У нас самые сердечные отношения. Монархисты все отчаянные.

Семен Иванович поглядывал в окно на львов. Казалось, среди вихря и праха этих дней одни только эти каменные морды покойно и брезгливо глядели в вечность. На что-то ужасно знакомое они походили... «А кто поручится; может быть, я действительно граф де Незор»,— подумал он, и холодок мурашками пошел по спине.

— Дорого мне будет стоить ремонт, выгоды не вижу,— сказал он сухо,— но, хорошо, я покупаю вашу усадьбу.

Платон Платонович сейчас же моргнул и стал глядеть на висевший косо портрет какого-то усатого толстяка, в халате и с трубкой. Видимо, Платон Платонович испытывал значительное волнение. «Вот, и это уже все ваше, граф». Он еще раз моргнул, и слеза поползла у него по большому мешку под глазом.

Удача настолько сопутствовала Семену Ивановичу, что он не только по очень сходной цене купил «Скрегеловку», но купил ее на имя графа де Незора,— паспорт

и документы были приобретены им в Харькове у специалиста-гравера.

Честолюбивые перспективы раскрывались все ослепительнее. Он ездил в Киев и был представлен гетману Скоропадскому, который строго намекнул ему о священных обязанностях в такое тяжелое для молодого отечества время. Он спешно начал учиться мове — украинскому языку. Несколько ночей удачной игры в клубе пополнили убыль в деньгах. Была куплена роскошная обстановка для деревенского дома, ковры, вазы, экипажи... Ремонт в «Скрегеловке» шел полным ходом. Чего было еще желать? Выборов в уездные предводители? Чушь: Семен Иванович был уверен: пожелай он гетманской короны,— судьба шутя швырнет его и на эту высоту. «Да уж не сон ли все, что со мной?» — думалось ему иногда. Нет, наморщенные морды львов у ворот были из камня, не во сне, и новые ворота сочились смолой, и румянцем пылало закатное солнце во вставленных окнах невзоровского дома...

И вдруг, среди удач и честолюбивых мечтаний,— судьба перемешала карты, и Семен Иванович очутился снова на пути необыкновенных приключений.

Платон Платонович скрыл, как потом оказалось, одно важное обстоятельство: из 270 десятин скрегеловской земли 250 лежало под крестьянской запашкой, и мужики эту землю считали своей. Граф де Незор написал в личную канцелярию гетмана, прося принять меры к возвращению ему законной земли. Из канцелярии ответили в общих выражениях, туманно — советовали главным образом обождать до полного поражения большевиков и восстановления порядка и законности. Графу де Незору оставалось действовать собственными силами. Он решил оттягивать землю исподволь и для этого ходил в деревню и беседовал с мужичками. Они охотно снимали шапки, завидев графа, но, когда разговор заходил о землице,— странно переглядывались, отвечали мирно, но двусмысленно.

Вечерком, когда уже прошло стадо и улеглась пыль, отскрипели колодцы, загнали домашнюю птицу и свиней,

когда над ракитами и грушами, над соломенными кровлями принялся летать козодой, грустно покрикивая: «сплю, сплю», когда степенные мужики, отужинав, вышли посидеть на бревнах, покурить тертых корешков,— в один из таких вечеров Семен Иванович завел политический разговор:

— Вот хотя бы немцы,— есть у них чему поучиться. Весь мир их не может победить. А почему? — порядок, закон. Что мое, то мое, что твое — твое. У них насчет собственности — священно.

— Это верно,— отвечали мужики.— Немцу дано.

Голос из густой травы сказал:

— Немцы акурат шестого июня разложили нашу деревню и всыпали по ж... Мужикам по тридцати пяти, бабам по двадцати — прутьями. Вот — почесались.

Сидевший рядом с графом старичок проговорил:

— А что ж хорошего: растащили весь барский дом, барину и сесть негде.

Чей-то, с краю бревен, незнакомый Семену Ивановичу, бойкий голос заговорил весело:

— Барин четыре службы в городе имеет, захотел — деньги в карты за одну ночь проиграл. На что ему земля? Нет, мы десять лет станем бунтовать, с голыми руками пойдем, ружья отнимем, а свое возьмем. Это все пока малые бунты, а вот все крестьянство поднимется — вот будет беда.— Он засмеялся. Мужики молчали.— Десять лет будем воевать, вот штука-то! А ты — немцы.

Разговор этот не понравился графу де Незору. Он до времени прекратил прогулки на деревню. Не нравились ему и какие-то незнакомые личности, часто появлявшиеся на дворе,— солдатский картуз — на ухо, руки в карманах, идет мимо барского дома—посмеивается в усы.

Однажды, рано утром, граф проснулся от хлесткого выстрела за окнами. Сейчас же раздались злые крики. Он подбежал к окошку: толпа мужиков с вилами, топорами, ружьями обступила немецкого солдата, коловшего во все стороны штыком. Другой немец, из живших в усадьбе, лежал около кухни в луже крови. Семен Иванович, захватив одежду, бумажник, кинулся в сад и залез в глушь, в кусты, где кое-как оделся. Отсюда он

слышал звон разбиваемых стекол и удары топоров. Продолжалось это очень долго. Затем было слышно только потрескивание. Он осмелел, разобрал кусты, выглянул: из-под крыши валил черный дым, в окнах плясало пламя. Он увидел также льва на кирпичном столбе,— старая морда его равнодушно глядела пустыми глазами на эту иллюминацию.

Пешком, проселочными дорогами пришлось добираться до станции. Ночью видны были зарева за холмами. Доносились далекие выстрелы. Однажды по тракту, по ту сторону канавы, где притаился Семен Иванович, пронеслись вскачь телеги,— свист, гиканье, крики... После этого видения он лежал некоторое время в полуобморочном состоянии.

В другом месте он увидел толпу немецких солдат,— они мрачно шагали с винтовками за плечами, у многих были забинтованы головы, повязаны руки. С ума можно было сойти: что случилось? В одну ночь взбунтовался весь край, запылали зарева.

Добравшись, наконец, до станции, ободранный и полуживой, Семен Иванович узнал причину: император Вильгельм был свергнут с престола, немцы уходили из Украины, на Харьков надвигались большевики. Семен Иванович немедленно переменил маршрут и бросился на юг.

Черт знает, с какими затруднениями пришлось ему ехать — преимущественно на крышах вагонов. У теплушек загорались оси. На подъемах отрывалась половина поездного состава и сваливалась под откос. Неизвестные личности отцепляли паровозы и угоняли их с нечеловеческими проклятиями. На станциях шла непрестаемая стрельба. Начальники станций прятались по ямам и погребам. По пути из кустов стреляли в окошки. На одном перегоне поезд стал в чистом поле. В вагон вошли рослые казаки в червонных папахах, в синих свитках:

— Которые жиды — выходите.

Произвели личный осмотр. Отобрали с десяток животрепетных душ, повели их в поле, к стогу сена. Когда поезд тронулся — раздались выстрелы, дикие крики.

Меняя поезда, Семен Иванович заехал в захолустный степной городишко, в глухой тупик. Населения там было очень мало,— одни говорили, что разбежалось, другие — что вырезано. Но все же на базар у заколоченных лавок выезжали торговать телеги с калачами, салом, вяленой рыбой. Семен Иванович ночевал на вокзале, днем бродил по городу. То увидит ощеренную, околевшую собаку и подолгу глядит, покуда не плюнет. То остановится поговорить с бабой, едва прикрытой ветошью. За городом в степи целыми днями стояли дымы, в сумерках мерцали далекие зарева. Ужасная скука.

Однажды, купив на базаре вяленого леща и калач, Семен Иванович шел по широкой улице к одному из крайних, у самой степи, домиков, где можно было достать самогону. С испуганными криками дорогу перебежали мальчишки. Из ворот выскочила простоволосая женщина, стала запирать ставни. Приготовления казались знакомыми, но откуда в этой пустыне могла прийти опасность? Семен Иванович дошел до знакомого домика, где продавался самогон, и увидел самого хозяина: положив руки на поясницу, он с усмешкой глядел на степь, выставив туда же рыжую пыльную бороду.

— Опять, пожалуйте, гости дорогие,— сказал он, покачав головой. На широкой степной дороге поднималась пыль.— Непременно это он. Никому другому не быть. (Семен Иванович спросил: «Да кто же?») — Как кто? Атаман Ангел. Зайди, дружок, в избу, кабы чего не вышло.

В окошко Семен Иванович увидал, как из пыльного облака бешено выскочили тройки, запряженные в небольшие телеги — тачанки; троек более пятидесяти. На передней (рыжие, лысые, донские жеребцы), на развевающемся с боков телеги персидском ковре стояло золоченое кресло-рококо. В нем сидел, руки упирая в колени, приземистый, широкоскулый человек, лицо коричневое, бритое, как камень. Одет в плюшевый, с разводами, френч, в серую каскетку. Это и был сам атаман Ангел. За его креслом стояли два молодых, с вихрами из-под картузов, атаманца — держали винтовки наизготовку. С заливными колокольцами промчалась тройка.

За ней на других тачанках, свесив ноги, сидели атаманцы в шинелях, в тулупах, с пулеметами, поднятыми бомбами, револьверами. Великий был шум от конского топота, гиканья, звона бубенцов.

— Вот так и гоняют по степи, озорничают, атаманы-разбойнички,— сказал вполголоса самогонщик,— деревнями к ним мужики уходят, отбою нет, да, слышь, не всех берут в разбойники-то. Сейчас они генерала Деникина добровольцев бьют, а встретят большевиков — и с большевиками бьются.

В ворота бухнули. Самогонщик перекрестился, пошел отворять. Вернулся он с двумя атаманцами, черными от пыли,— только блестели глаза у них и зубы.

— Шесть ведер самогону, посуда наша,— сказал один, другой кинул на стол деньги.— А ты что за человек? — спросил он Невзорова.

— Я бухгалтер.

— Это как так — бухгалтер?

Семен Иванович поспешно объяснил. Сказал, что бежал от большевиков, а к деникинцам идти не хочет — против совести. Поэтому прозябает здесь, в городишке.

— Эге,— сказал первый,— давно атаман горюет, что нет у нас счетовода-казначея. Иди за мной.

Семена Ивановича повели на улицу, куда самогонщик выносил посудины с самогоном, поставили его перед атаманом. Тот тяжело повернулся в кресле, нагнулся низко к Семену Ивановичу, впился в него запавшими, тусклыми глазами:

— Ты что умеешь? Считать умеешь? (Семен Иванович только слабо крякнул в ответ, закивал.) Ладно. Заводи счетную книгу, казна великая. Проворуешься али тягу дашь,— в два счета голову шашкой прочь — понял, чертов сын?

Понять это было нетрудно: Семен Иванович сделался бухгалтером при разбойничьей казне. В тот же день его посадили на тачанку, рядом с двумя дюжими казаками и кованым сундуком, набитым деньгами и золотом, и опять — атаман в кресле на ковре впереди, за ним пятьдесят троек — залились в степь.

Атаман шел на Елизаветград. На тройках была вся

его сила — и пехота, и кавалерия, и пулеметы, и пушки, и обоз. Передвигался он с чрезвычайной скоростью,— даже на тачанках, на каждой, сзади дегтем написано было: «Хрен догонишь». Часто, заняв деревню или городок, он посылал в стороны летучие отряды, которые возвращались с мясом, водкой, овсом, сахаром. Иногда все колесное войско устремлялось за сизый горизонт степи, на месте оставался лишь Семен Иванович с казной да охрана.

Нередко ночевали в степи, а время было осеннее, студеное. Ставили тачанки в круг старинным казацким обычаем, распрягали коней, высылали дозоры. У телег зажигали костры, вешали в котлах варить кур, баранину, кашу. Цедили самогон из бочонков.

Дико, непривычно было Семену Ивановичу глядеть, как атаманцы, рослые, широкие, прочерневшие от непогоды и спирта,— в тех самых шинелях и картузах, в которых еще так недавно угрюмо шагали по Невскому под вой флейт,— шли на фронт, на убой,— те самые, знакомые, бородатые, сидят теперь у телег на войлочных кошмах под осенними звездами. Режутся в карты, в девятку, кидают толстыми пачками деньги. Вот один встал, цедит из бочонка огненный спирт и опять валится у костра. А там затянули песню, степную, с подголосками... Певали ее еще в годы, когда вот так же бродили по ковылям с тмутараканским князем. А вон — бросили карты, вскочили, полетели шапки, вцепились в волосы: «Бей».

Но, как из-под земли, вырастал атаман, и утихала ссора. Ангел много не говорил, но взглянет мутно из глазных впадин — и хмель соскочит у казака. Не раз на таких привалах атаман подходил к Семену Ивановичу, приказывал подать бухгалтерскую книгу и дивился хитрости буржуев, придумавших тройную бухгалтерию.

— Ты по городам болтался,— чепуху, наверно, про нас пишут? — спрашивал его атаман. (Семен Иванович сейчас же соглашался, что читал про него и именно чепуху.) — То-то. Где им понять? Истребить эти самые города, вот что надо. Дай срок — я истреблю. Вот книгу мне надо одну достать, есть такая книжка: «Анархизм». Читал?

— Читал, Ангел Иванович, как-то забылось.

— Дурак ты, Семен... Кабы не твоя бухгалтерия... Ну, не дрожи, не трону... А вот возьму Елизаветград,— ты мне эту книжку достань.

Однажды в такую же ночь на привале, в степи, между телег появился на захрапевшем коне молодой казак с накрест опоясанными пулеметными лентами. «Атаман!» — крикнул он. Спешился и тихо что-то сказал Ангелу.

— За-а-а-пря-гать! — спокойно, но так, что у всех телег было слышно, скомандовал атаман. И в несколько минут табор свернулся. В телеги покидали котлы, попоны, бочонки. Впрягли лошадей — без шума. Подвязали колокольцы. Круг развернулся. И тройки с места рванулись вскачь.

Семен Иванович сидел в тачанке, вцепившись в денежный сундук. Впереди, с боков, сзади — летели тройки. Под звездами степь казалась седой, без края. Свистел ветер в ушах. У Семена Ивановича стучали зубы.

Далеко раздались выстрелы. Тройки рассыпались. На полном ходу повернули к северу. Та-та-та-та-та,— казалось, со всех сторон гулкой дробью посыпали пулеметы. Атаманцы стреляли стоя, с телег. А тройки снова повернули к югу. Две тачанки сцепились, опрокинулись. Семен Иванович увидел,— из беловатой мглы появились всадники невероятной величины. Казака, державшего вожжи, сдунуло с телеги. Другой схватил вожжи и повалился ничком. Теперь Семен Иванович слышал, как визжали огромные всадники,— махая шашками, они налетели со всех сторон. Вдруг телега затрещала, накренилась,— и Семен Иванович, закрыв лицо, полетел в мерзлый бурьян. Ударился и потерял сознание.

Семен Иванович очнулся от холода. Рассветало. Звезды побледнели. Низко, белыми озерами лежал туман. Кое-где из него торчала лошадиная нога, виднелись колеса опрокинутой телеги. Семен Иванович сел, ощупал себя,— цел, хотя все тело болело. Около него валялся сундук с казной. Не из корысти — бессознательно —

Семен Иванович вынул из сундука свертки с царскими десятирублевками, пересчитал: семь штук,— рассовал их по карманам и побрел, придерживая поясницу, прочь от места битвы.

Когда солнце поднялось из багровой мглы над озерами тумана, он увидел с удивлением и радостью полотно железной дороги.

Дальнейшее передвижение на юг было сопряжено со всевозможными затруднениями и случайностями. Но Семен Иванович до того уж наловчился, вид его был до того ободранный и жалкий, что, миновав станции и города, он благополучно добрался до Одессы. Стоял конец февраля 1919 года.

КНИГА ВТОРАЯ

Что за чудо — Дерибасовская улица в четыре часа дня, когда с моря дует влажный мартовский ветер! На Дерибасовской в этот час вы встретите всю Россию в уменьшенном, конечно, виде. Сильно потрепанного революцией помещика в пальтеце не по росту,— он тут же попросит у вас взаймы или предложит зайти в ресторан. Вы встретитесь с давно убитым знакомцем,— он был прапорщиком во время Великой войны, а смотришь — и не убит совсем и еще шагает в генеральских погонах. Вы увидите знаменитого писателя,— важно идет в толпе и улыбается желчно и презрительно этому, сведенному до миниатюрнейших размеров, величию империи. Вы наткнетесь на нужного вам до зарезу иссиня-бритого дельца в дорогой шубе, стоящего от нечего делать вот уже час перед витриной ювелирного магазина. Вы поймаете за полу бойкого и неунывающего журналиста, ужом пробирающегося сквозь толпу,— он наспех вывалит вам весь запас последних сенсационных известий, и вы пойдете дальше с сильно бьющимся сердцем и первому же знакомому брякнете достоверное: «Теперь уже, батенька мой, никак не позже полутора месяцев будем в Москве с колокольным звоном».— «Да что вы говорите?» — «Да уж будьте покойны — сведения самые достоверные».

И ваш знакомый идет в гостиницу к жене, и они на последние карбованцы покупают сардин, паштетов, вина и, окруженные родственниками, едят и пьют, и чокаются за Москву, и сердца у всех бьются. И волнующие слухи летят дальше по городу. И уж кто-то, особенно нетерпеливый, бежит в переулок в прачечное заведение и торопит: «Выстирайте мне белье поскорее».

На Дерибасовской гуляют настоящие царские генералы. Какое наслаждение глядеть, как мартовское солнце горит на золотых погонах, как лихие юнкера, подхватив под козырек, столбами врастают в землю. Видя эту сцену, какой-нибудь растерянный отец семейства, у которого от революции переболтались мозги в голове,— снова, хотя бы только на минуту, приобретает уверенность в нерушимости основ иерархии, быта и государства.

Про дам на Дерибасовской и говорить нечего: на все вкусы. Шляпы, меха, манто, караты. Петербурженки — худые, рослые, энглизированные, с них никакими революциями не собьешь высокомерия.. Одесситки — русские парижанки, слегка страдающие полнотой, не женщины, а романс. А худенькие, стрчженые артистки различных кабаре! Любой из них нет и двадцати лет, а уже раз десять эвакуировалась и пешком и на крышах вагонов, и уж горькие морщинки легли в углах губ, и в глазах — пустынька.

Встретите также на Дерибасовской рослых английских моряков с розовыми щеками,— идут, держась за руки, будто в фойе театра, в антракте забавнейшей пьесы. Или с хохотом проталкиваются сквозь толпу французские матросы, в синих фуфайках, в шапочках с помпонами,— ах ты, боже мой, как оглядываются на них дамы с Дерибасовской, а знаменитый писатель остановился даже, окаменел, почернел: вот они римляне, победители,— хохочут, толкаются, поплевывают... А мы-то, мы?..

Если вас одолело сомнение: да верно ли, не мишура ли вся эта разодетая, шумная Дерибасовская? Действительно ли это Измайловский марш вырывается из раскрытых дверей ресторана? Прочно ли здесь укрепилась белая Россия на последнем клочке берега? Если душа

ваша раздвоилась и заскулила, сверните скорей на Екатерининскую, дойдите до набережной, станьте у подножия герцога Ришелье... Какой великолепный и успокаивающий вид! Бронзовый герцог, в римской тоге, приветливым и важным жестом указывает на широкий, покрытый мглою порт. Вдали — подозрительные пески Пересыпи, направо — длинная стрела мола. А за ним на открытом рейде лежат серыми утюгами французские дредноуты. «Милости просим», как бы говорит герцог Ришелье, которому в свое время, лет сто двадцать пять тому назад, точно так же пришлось уходить с небольшим чемоданом из Парижа, от призрака гильотины на площади Революции.

Тридцать тысяч зуавов, в красных штанах и фесках, и греков — в защитных юбочках и колпаках с кистями,— выгружено в одесском порту. В ста верстах от города, на фронте, против босых, голодных, вшивых красных частей,— утверждены тяжелые орудия, ползают танки, кружатся аэропланы. Нет, нет, никакие сомнения неуместны, дни безумной Москвы сочтены. Возвращайтесь смело на Дерибасовскую. А если усилится ветер с моря — сверните в кафе Фанкони.

Прогулявшись в свое удовольствие по Дерибасовской улице, Семен Иванович Невзоров уселся за столиком у Фанкони и, не снимая шляпы и пальто, чтобы их впопыхах не сперли, принялся оглядывать посетителей, прислушиваться к разговорам.

В табачном дыму вертелась стеклянная дверь, впуская и выпуская деловых людей, набивавшихся в этот час в кофейню со всего города. На лицах у дельцов было одно и то же выражение — смесь окончательного недоверия ко всякому жизненному явлению,— будь то французский броненосец или накладная на вагон волоцких орехов,— и, вместе, живая готовность купить и быстро продать таковое явление, получив разницу.

Над столиками, среди котелков и котиковых шапок, взлетали руки с растопыренными пальцами, метались потные лица, надрывающие голоса перекрикивали шум:

...«Сто бидонов масла...» — «Не крутите мне голо-

ву с аспирином».— «Продам доллары, куплю доллары».— «Послушайте, что вы мне лезете в карман?» — «Интересуетесь персидской мерлушкой или вы не интересуетесь?» — «Продам колокольчики».— «Слушайте, колоссальная новость: большевики взорвали Кремль».

Семен Иванович только усмехнулся презрительно: за несколько дней в Одессе, не нуждаясь в деньгах, он спокойно обследовал торговую и валютную биржу и выяснил, что в городе ничего решительно нет, ни товаров, ни денег, если не считать небольшого количества французской и греческой валюты, которую все время перепродавали одни и те же лица до четырех часов на углу Дерибасовской, а с четырех у Фанкони. В городе и у Фанкони торговали одними только накладными и считали это даже более удобным, чем торговать вещами: и весь магазин в кармане, и торговых расходов — только чашка кофе с пирожным.

По приезде Семен Иванович купил несколько тысяч франков «на всякий пожарный случай». Через несколько дней его начали осаждать предложениями — продать эти франки. Он только подмигивал. Тогда у Фанкони началось смятение, на Невзорова с ужасом оглядывались,— вот человек, который прячет товар и подмигивает. Франк взлетел на сто процентов. Но он и тогда отказался получить разницу и бросить франки снова на рынок, где уже с десяток дельцов пришли в ничтожество за неимением работы.

Одетый прилично, с кошельком, набитым разбойничьим золотом, с честным паспортом на имя греческого подданного, Семилапида Навзараки,— Семен Иванович безусловно верил в свою необыкновенную судьбу. Но теперь он уже не гнался за титулами, не швырял без счета денег на удовольствия.

Россия — место гиблое, так указывал ему здравый смысл. Всю ее разграбят и растащат до нитки, недаром же, в самом деле, на рейде дымят на весь рейд, жгут уголь союзнические корабли. Нужно торопиться рвануть и свой кусок. Невзоров поджидал случая, чтобы произвести короткую и удачную операцию с каким-нибудь высоковалютным товаром, и тогда, ни на что больше не льстясь, бежать навсегда в Европу. Там с хорошими

деньгами,— он это знал по кинематографу,— жизнь — сплошное наслаждение.

Таковы были мечты Невзорова, умудренного опытом. Помешивая кофе, он прислушивался к деловым спорам в кафе. Его заинтересовал хриповатый голос, предлагавший кому-то купить персидские мерлушки. Семен Иванович привстал даже, всматриваясь, и вдруг вместо продавца мерлушек увидел, через столик от себя, худощавое лицо в очках,— оно заставило его неприятно съежиться.

Вот уже несколько дней это лицо всюду попадалось ему: то на улице, оглянешься,— оно за спиной; то при выходе из магазина оно с усмешкой сторонилось и пропадало в толпе; то в кофейне поглядывало из-за котелков сквозь клубы табачного дыма.

Несомненно — лицо следило за ним. Он вспомнил: оно появилось именно после покупки французской валюты, когда Невзоров стал сразу знаменит в кафе. Но что этому лицу с острой бородкой, с непонятными глазами, прикрытыми голубыми стеклами, с наголо обритым, шишковатым черепом,— что этому дьяволу было нужно от Семена Ивановича?

Около Невзорова появился продавец мерлушек. Это был беспокойный человек, один из тех, кто через небольшие промежутки времени выскакивает в распахнутом пальто на ветер, добегает до угла, жестикулирует сам с собой и снова бежит в кофейню:

— Мерлушкой интересуетесь?

— Почем? — небрежно спросил Невзоров.

— Сто карбованцев шкурка.

— Товар или только накладная?

— Какая вам разница?

— Тогда идите к черту,— сказал Невзоров, отвернулся и у себя за плечом увидел лицо в очках; усмехаясь тонко, оно придвинулось вплотную к Невзорову: видимо, человек этот подъехал на стуле.

— Скажите,— спросил он необычайно внятно и подчеркивая слова с какой-то сатанинской выразительностью,— скажите, а *сапожным кремом* вы не интересуетесь?

Семен Иванович взглянул ему в зрачки, они были

как точки, вот-вот проскочат сквозь голубые стекла. Семен Иванович проглотил слюну,— почувствовал, что вопрос коварен и страшен, хотя касался всего-навсего сапожного крема.

И он не ответил словами, лишь помотал головой двусмысленно,— можно было понять ответ как угодно. Лицо извинилось и отодвинулось. Продавец мерлушек моргал от нервности, вытаскивая из рваного бумажника телеграфные и железнодорожные бланки. Но Семен Иванович, не слушая его больше, поднял воротник и вышел на улицу.

«Сколько раз, бывало, вот так — привяжется лицо поганое, жуткое, похожее на какую-то давно забытую дрянь, привяжется этакий Ибикус, и — пошло все кувырком». Так думал он, направляясь домой по сумеречным улицам. «Кто бы этот мог быть в очках? Не из шайки ли Ангела? Вернулись тогда на место битвы, пересчитали казну, заметили утечку и — в погоню. Да, но при чем же сапожный крем? Странно. Ох, бежать, бежать, Невзоров...»

Семен Иванович подсчитал в уме, что осталось у него от разбойничьего золота: около четырех тысяч рублей. Не густо. Обернуться можно, конечно, за границей на эти деньги. А в голове засели проклятые мерлушки.

Да как же им и не засесть, подумайте только. Шкурка — сто карбованцев, то есть два рубля золотом. А если купить фальшивых карбованцев даже самой чистой работы, то и того дешевле. В Константинополе цена каракуля три английских фунта. Если вывезти, на плохой конец, две тысячи шкурок...

У Невзорова захватило дух. «Но как их вывезти из этого проклятого города? Разумеется, безопаснее всего на миноносце, под видом дипломатической вализы. Но, чтобы получить вализу и заграничный паспорт, нужны знакомства. Итак, начнем с добрых знакомств».

Постепенно весь план деловой операции возник в воображении Семена Ивановича. Он не заметил даже, как некто, в надвинутой на лицо шляпе, перегнал его и вошел в тень ворот одноэтажной гостиницы, где квартировал Невзоров.

Звонок трещал где-то в пустоте, но швейцар не торо-

пился отворять. На двери, обшитой снаружи и изнутри толстыми досками для защиты от налетчиков (их в те времена в Одессе работало двадцать тысяч душ, подавшихся на юг из северных городов), висел приказ градоначальника о тараканах. Семен Иванович каждый раз прочитывал его внимательно, даже не представляя себе, какое значение в его жизни должны сыграть эти насекомые.

Приказ был таков.

«Гостиницы, меблированные комнаты. Поступает много жалоб на вас, некоторые завели не только клопов, но и крыс, и *даже тараканов*... Иные придумали тушить электричество в полночь, зная, что у населения нет осветительных материалов. И все только и знаете, что прибавляете цены на все. Стыдно перед союзниками. Клопов, крыс, прусаков и русских тараканов и тому подобных никому не нужных обитателей уничтожить. Электричество давать всю ночь. Лично буду осматривать. Сами понимаете. Генерал-майор Талдыкин».

«Завтра пойду к Талдыкину, с ним, видимо, сговориться будет нетрудно»,— подумал Семен Иванович, входя в гостиницу. Опухший от сна швейцар, передавая ключ, внимательно вдруг оглянул Невзорова, но ничего не сказал, сопя ушел под лестницу.

Электрического света, несмотря на угрозы Талдыкина, все же не было в комнате. Семен Иванович зажег фитилек, плавающий в баночке, в масле. По столу побежал таракан. «Ишь ты, рысак»,— подумал Семен Иванович и щелчком сшиб его на пол.

Несомненно, он тут же и навсегда бы забыл таракана и то, как обругал его рысаком. Но необыкновенная судьба, предсказанная ему на Петербургской стороне старой цыганкой, не позволила изгладиться из памяти этому насекомому. С Невзоровым произошло то же, что три века тому назад с великим Бенвенуто Челлини, который, сидя у очага, увидел в огне пляшущую саламандру в виде ящерицы и по детскому легкомыслию не обратил на это внимания, но его отец, старый Челлини, внезапно закатил сыну оглушительную пощечину, чтобы навсегда пригвоздить к его памяти образ духа огня.

Словом, сшибив таракана, Семен Иванович пошел

положить шляпу и трость на комод и увидел, что ящики комода выдвинуты, чемодан раскрыт, вещи и белье переворочены.

Он подумал: кража! — и кинулся к потайному месту, где лежал мешочек с золотом. Но мешочек оказался цел. Из вещей ничего не пропало. И самое удивительное было вот что: на полу валялись вчера только купленные две банки с сапожным кремом — желтым и черным, крем из них был вывален на газетный лист.

Семен Иванович бросил газету и крем в умывальное ведро, задвинул все ящики и некоторое время стоял, пощипывая бородку, пожал плечами раз и другой... «Обыск несомненно... Но в чем дело?» Затем он подсел у стола к фитильку и высыпал из мешочка золото. На белую скатерть падал с улицы водянистый свет фонаря. Пересчитывая золотые, Семен Иванович заметил, что у него из-за спины на скатерть выдвигается тень головы в шляпе. Он быстро обернулся. С улицы в окно глядело лицо в очках. Усмехнулось и бесшумно скрылось.

На следующее утро Невзоров проходил большим двором пассажа, что напротив Фанкони. Он чувствовал себя неуютно после вчерашней ночи. В пассаже шатались зуавы в красных штанах, скаля африканские зубы на одесситок. Престарелые дамы с исплаканными лицами продавали спички. Пробежал в аршин ростом газетчик, обмотанный мамкиными платками: «Генерал д'Ансельм решил исполнить свой долг»,— кричал он отчаянно. «Кровавый бой на станции Раздельной, колоссальные потери большевиков». У мануфактурного магазина два очевидных налетчика в английских шинелях лениво спорили об ограблении. Кучка спекулянтов волновалась над набухшими почками акации. Дальше — кавалерийский офицер кричал на пучеглазого кавказца, продающего кедровые орешки: «Пшел, здесь не разрешено торговать». Но пучеглазый только ухмылялся. Тогда ловко, как кот, офицер набил ухмыляющуюся морду, и она замоталась, зашмыгала слезами.

В общем, все было, как обычно, на дворе пассажа. В окно литературной кофейни «Восточные сладости»

виднелись помятые лица журналистов. Вдруг кто-то шибко застучал в стекло. Семен Иванович обернулся,— ему махали рукой. Он вошел в кофейню и увидел за столом журналистов — Ртищева: красный, расстегнутый и веселый.

— Граф, жив! Иди сюда, арап несчастный, дорогой,— закричал он и прижал губы Невзорова к своему огромному бритому лицу,— садись, знакомься... Это все, брат, журналисты, «Осваг», мозг белой армии... Да как же ты все-таки жив?! А я из Москвы в санитарном поезде, работал за фельдшера. Чудеса! Сдался в плен две недели назад... Решил разбогатеть! Я уж помещение нашел для клуба в мавританском вкусе. Пять генерал-майоров и один полный генерал приглашены почетными старшинами. Одесса дрогнет, французы, греки дрогнут, дредноуты закачаются — какую мы развернем игру. Господа,— он схватил направо и налево от себя журналистов,— да посмотрите вы на графа — конфетка, а не человек. Что пережили вместе — волосы дыбом. Первое знакомство — под октябрьскими пушками,— дом дрожит, а я графа чищу в девятку, выпотрошил, как цыпленка, пятак твою распротак... Значит, делаем дела?

— Нет,— сказал Невзоров суховато,— с клубом я связываться не хочу,— уволь.

— Вот тебе — лук, чеснок. Ты что же — разбогател?

— Может быть. Сейчас я занят одной важной операцией. Кроме того, плохо верю в прочность Одессы.

— Не веришь? Так, так, так,— сказал Ртищев и поглядел на журналистов. Те криво усмехнулись, переглянулись. За столом сидело восемь человек, и девятый, в дальнем конце стола, спал, уткнув лицо в руки и прикрывшись шляпой.

— Так, так, так,— повторил Ртищев,— а четыре дредноута, а тридцать тысяч французов? В это вы тоже не верите, граф?.. Ради кого? — Он размахнул руками, журналисты подались в стороны.— Ради нас, плотвы несчастной, чтобы мы, плотва и шантрапа, спокойно попивали кофеек,— французы, потомки маркизов и философов, благороднейшая нация, сидят в окопах и проливают свою драгоценнейшую кровь... Какое же ты имеешь

право, сукин сын,— тут он нагнул побагровевший череп и заскрипел золотыми зубами,— сомневаться, не верить в прочность Одессы. Ты — большевик!..

Журналисты, все восемь человек «Освага», впились глазами в Невзорова. Девятый, спящий, пошевелился под шляпой.

— Ничего я не большевик,— ответил Невзоров,— если уж на то пошло, я — анархист, в смысле идейном... Я — за свободу личности. Если вам нравится сидеть под охраной французов, пить кофе,— пожалуйста. А я уезжаю за границу. К черту, к черту...

Он рассердился, насупился, ломал коробку от папирос. Его удивило особенное молчание, возникшее за столом. Он поднял глаза. Девятый, спавший под шляпой, не спал, сидел, пощипывая бородку. Это было то лицо в голубых очках.

Невзоров ахнул, стал втягивать голову в плечи. Лицо в очках тонко усмехнулось:

— Все это шутки, *граф*. Вы среди шутников. Кто же заподозрит вас в чем-либо *серьезном?*

Через несколько минут, на углу Дерибасовской, вчерашний продавец каракуля подошел к Семену Ивановичу и предложил пойти в порт, посмотреть товар. Поехали на извозчике. У одного из железных пакгаузов разыскали сторожа, дали ему сто карбованцев, и он разрешил осмотреть пакгауз. Среди огромных кип сукна, холста, кожи, консервов отыскали три, обитые цинком, ящика со шкурками.

— Позвольте, кому же все-таки принадлежит товар? — спросил Невзоров.— По всей видимости, этот каракуль — казенный.

У продавца между бородой и усами обозначилось огромное количество врозь торчащих зубов. Оттеснив Невзорова от сторожа, он зашептал:

— Что значит — товар казенный? На нем написано, что он — казенный? Это персидский каракуль, вырезанный из живых овец,— чем же он казенный? Дайте сторожу еще двести карбованцев и дайте чиновнику тысячу карбованцев,— тогда уже сам бог не скажет, что каракуль казенный.

— Сто карбованцев шкурка?

— Ой, что вы говорите! Я сам плачу сто десять карбованцев,— чтобы мне так жить!

Наконец сторговались за полтораста. Невзоров дал задаток, велел товар принести в гостиницу. Теперь нужно было наивозможно скорее получить заграничный паспорт и — бежать.

Весь остаток дня Семен Иванович провел у Фанкони, нащупывая в беседах с особо тертыми личностями ходы к высшим властям. Выяснилось, что, не в пример прошлым временам, действовать нужно смело, честно и отчетливо: идти прямо в канцелярию управляющего краем, обратиться к начальнику канцелярии, генералу фон-дер-Брудеру, просто и молча положить ему на стол, под промокашку, двадцать пять английских фунтов, затем поздороваться за руку и разговаривать. Если по смыслу разговора сумма под промокашкой окажется мала, то фон-дер-Брудер на прощанье руки не подаст, тогда назавтра опять нужно положить двадцать пять фунтов под промокашку.

Возвращаясь домой, Семен Иванович на свободе предался размышлениям о лице в голубых очках и о таинственной связи его с сапожным кремом,— но тут в голове начался такой беспорядок, что он махнул рукой: чушь, мнительность, воображение... Семен Иванович, как это уже давно выяснил себе читатель, был человек мечтательный и легкомысленный и, как все мечтательные и легкомысленные люди, близоруко шел навстречу опасности.

И на этот раз опасность, страшнее предыдущих, смертельная и неожиданная, ждала его у ворот гостиницы.

Тою же ночью на окраине города, по темному и пустынному Куликову полю, шли двое, разговаривали вполголоса:

— Ты что же — прямо сейчас в Испанию?

— Наш центр в Мадриде. Там — проверка мандата.

— Не понимаю тебя, Саша... Все это — ужасно глупо, романтика какая-то.

— Э, просто тебе завидно. Через две недели, поду-

май: Средиземное море, Архипелаг, роскошные страны, наслаждение.

Разговаривающие остановились спиной к ветру, зажгли спичку. Огонек осветил бритое бабье лицо с трубкой и другое лицо — смуглое, юношеское, улыбающееся. Закурили. Пошли дальше. Человек с трубкой сказал:

— Нет, мне не завидно. Здесь — грязь, голод, кровь. Борьба, страшная работа, может быть, завтра — виселица. А вот — поди же ты — не завидно. Есть вещи и дороже и выше наслаждения.

— Не для наслаждения еду,— сам знаешь.

— Знаю, и все-таки это — голая романтика... Хотя ты и собираешься...

— Тише...

Пересекая им дорогу, в темноте прошел кто-то,— тяжело протопали сапоги. Когда шаги затихли, человек с трубкой сказал:

— Значит, ты совсем покончил с нами? Жалко.

— Я и не начинал с вами. Сочувствовал. Ну, октябрьский переворот — я еще понимаю: драка у Никитских ворот,— тра-та-та. А потом — пайки, коллективы, вши, война. Будни. Не хочу, не принимаю. Не запихнешь меня в коллектив. А у нас — личность, красота борьбы, взрыв.

— Ну да, для хорошего буржуазного пищеварения анархизм — как красный перец во щах. Эх, Саша, Саша!..

— Нас много, брат,— больше, чем думают... Да, кстати... Хотя мы и враги теперь, окажи последнюю услугу: за мной слежка, до моего отъезда я тебе передам четыре жестянки с *сапожным кремом*...

Тяжелые шаги снова и неожиданно затопали совсем близко. Приближалось несколько человек.

Тот, кого называли Саша, схватил приятеля за локоть. Оба остановились. Из темноты выросли трое рослых в солдатских шинелях. Крикнули грубо:

— Что за люди?

— Покажь документы.

Человек с трубкой шепнул: «Спокойно, это — варта»[1]. Но спутник его отскочил, рванул из кармана

[1] Варта — гетманская милиция.

револьвер. Рослые бросились к нему, сбили с ног прикладами и, матерно ругаясь, шумно дыша, связали руки, пинками заставили встать и повели.

Во время этой возни человек с трубкой скрылся.

Почти такая же сцена в тот же час произошла в другой части города.

Невзоров, подходя к своей гостинице, внезапно был схвачен двумя выскочившими из-под ворот молодыми людьми в золотых погонах.

Семен Иванович вылупил глаза, разинул рот, но рот ему тут же заткнули тряпкой. Потащили наискосок к извозчику, повалили поперек пролетки. Молодые люди сели, уперлись каблуками в бока Семена Ивановича, и извозчик на резинках погнал по пустынным улицам.

Все это произошло в несколько секунд. Все же Невзоров успел заметить в тени под воротами третьего человека,— он стоял, подняв на высоту плеча револьвер, поблескивая очками.

Семена Ивановича втолкнули в сводчатую комнату, в затхлый махорочный воздух. Дверь захлопнули. Он подошел к клеенчатому дивану и сел. Напротив у стены, у стола, сидел человек в изжеванной шинели. Над ним, под облупленным сводом, горела лампочка в пять свечей. Человек не спеша копал в носу, глядел на палец, затем вытирал его о подмышку. У него было веснушчатое, широкоскулое лицо, с острым носиком торчком, и закрученные усики.

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь? Я ничего не могу понять,— спросил у него Невзоров.

— А вот в зубы дам — поймешь.

— Все-таки я же должен знать, за что меня арестовали.

Человек в изжеванной шинели уперся обеими руками о стол и начал приподниматься.

Невзоров больше не продолжал беседы. От волнения и скверного воздуха он ослаб. Подобрал ноги, прилег и завел глаза. Но сейчас же со стоном открыл их. Человек у стола продолжал закручивать усики.

Вдруг загрохотала дверь. Трое в солдатских шинелях впихнули в комнату ощеренного от злости юношу. Он стоял некоторое время, вытянувшись, в щегольской

бархатной куртке. Через смуглую щеку у него шла кровавая царапина. Затем решительно сел на клеенчатый диван.

— Сволочи,— сказал он и поморгал пышными ресницами. Невзоров посматривал искоса,— где-то он видел этого человека, удивительно знакомое лицо... Рот, как у девушки... Не в кафе ли у «Бома», на Тверской? Ну, конечно,— вместе с покойной Аллой Григорьевной и косматым человеком, похожим на бабу...

— Простите, вы не граф Шамборен, художник?

Юноша, точно рысь, повернул голову:

— А! Невзоров!

— Виноват,— поспешно заявил Семен Иванович,— настоящая моя фамилия Семилапид Навзараки. Невзоров — это псевдоним. Представьте: схватили на улице, сижу здесь, ничего не понимаю.

— Поймешь,— сказал человек у стола,— у нас втолкуют.

На этом разговор прервался. Послышался звон шпор. Вошел ротмистр, великолепный блондин в пышных галифе. Трогая мизинцем пробор, он спросил нараспев, как глубоко светский человек:

— Кто здесь — именующий себя Семилапидом Навзараки?

Семен Иванович вскочил, всем своим видом изображая величайшую благонамеренность, и пошел к дверям, где с боков к нему примкнулись часовые.

Матерый полковник,— видимо, из бывших жандармских,— задумчиво курил, свет хрустального абажурчика поблескивал на крепких ногтях его. Невзорова втолкнули в кабинет. Он остановился близ двери, поклонился. Полковник не обратил на него решительно никакого внимания, курил толстую пушку, полузакрыв глаза. Только нежно под столом зазвенела шпора.

Затем негромко, будто обращаясь к невидимому собеседнику, полковник сказал:

— В первый раз едете в Испанию? Никогда не изволили там бывать, граф?

У Семена Ивановича задрожала челюсть, ужас

пошел по коже. Он оглянулся,— с кем это разговаривает полковник? Облизнул губы, промолчал. А полковник тем временем повернул львиное лицо, украшенное седеющими подусниками, и, устремив чистый, холодный взгляд поверх головы Семена Ивановича, сказал раздельно:

— Имя, отчество, фамилия?

— Навзараки, Семилапид,— с трудом ответил Невзоров.

— Зачем, ну, зачем, граф, так унижать свое достоинство? Мы же знаем, что вы не Семилапид Невзараки.— И вдруг глаза полковника — яростные, выпрыгивающие — воткнулись в глаза Невзорову, просверлили мозг до затылка... Семен Иванович попятился. Глаза пришили его к стене и перескочили на лист чистой бумаги. Полковник обмакнул перо и записал:

«Навзараки. Года? 37. Место рождения? Херсон. Занятие? Торговля. Превосходно».

Он осторожно поднес к губам папиросу:

— Какого именно рода товар изволите продавать?

— Каракуль.

— Превосходно. Не желаете ли присесть? Нет, сюда, к столу. Так вы говорите, что торгуете сапожным кремом?

— Какой там сапожный крем! — завизжал Невзоров.— Ничего я не знаю про сапожный крем...

Полковник только поднял брови и продолжал писать красивым, длинным почерком. Семен Иванович, почти бессознательно, пошарил в жилете, достал две бумажки, по пяти английских фунтов каждая, привстал и положил их под угол промокашки. Не оборачиваясь, полковник сказал вежливо:

— Мерси.— Положил перо и закурил новую пушку.— Вас еще не подвергали личному обыску? Эта проклятая революция порядком потрепала наш аппарат. В особо деликатных случаях я доверяю одному себе. Разрешите поинтересоваться содержанием карманов.

Он пересчитал деньги Невзорова, вложил в конверт и запечатал: «Будьте совершенно покойны». Затем осторожно развернул паспорт:

— Гм, прекраснейшая работа,— это фальшивомо-

нетчики с Пересыпи. Дорого заплатили? Ну-с,— это все ваши документы?

— За последнее время неоднократно бывал ограблен, жестоко пострадал, ваше превосходительство.

— Странно. Как же вы, граф, едете без мандата на такую ответственную и ужасную работу?

— О чем вы?.. На какую работу?..

— Я спрашиваю,— тут брови полковника слегка сдвинулись,— где мандат? Сокрытие лишь ухудшит ваше положение.

Тогда Невзоров, прижимая к груди трепетную руку, пролепетал:

— Ваше превосходительство, богом клянусь — вы принимаете меня за кого-то другого.

— Э, не будем играть в прятки. Мы оба светские люди, граф, не правда ли? Давайте — по-английски, по чести, начистоту.

— Я же не граф, я бухгалтер... Ваше превосходительство, я — Невзоров...

И тут Семен Иванович, захлебываясь словами, принялся описывать свои приключения, начиная со встречи с цыганкой на Петербургской стороне. Полковник по мере его рассказа все сильнее хмурился. Полированные ногти его забарабанили гимн. Шея наливалась кровью. Внезапно ужасным голосом он проговорил:

— Где четыре жестянки с сапожным кремом?

Невзоров ударился о спинку кресла и глядел, как кролик, в ледяные глаза. Принялся креститься: «Ей-богу, с ума сойду с этим сапожным кремом, ничего не знаю...»

Держа Невзорова на прицеле глаз, полковник позвонил. Вошел ротмистр, звякнул шпорами. Полковник сказал:

— Штучка оказалась хитрая.

— Прикажете отвести его в *операционную,* господин полковник?

Изо всего непонятного фраза эта была самая страшная. Невзоров затрепетал в кресле. Его крепко схватили за локти, повели по грязным коричневым коридорам, где дули сквозняки, по лесенкам, под землю и втолкнули в темное помещение. Он сел на земляной пол и тара-

щил глаза в темноту. Здесь приторно пахло тлением и сыростью.

Постепенно с левой стороны появилось какое-то бледное, овальное пятно. Скосившись направо, он различил второе пятно. Так и есть — темные глазницы и черты страшного оскала. «Вот он, проклятый, символ смерти, говорящий череп Ибикус...» Невзоров зажмурился. Из тела выступал ледяной пот. Под сердцем затошнило, и сердце перестало биться.

Он чувствовал, как его осторожно трогали, ощупывали лицо. Когда он снова стал различать звуки,— Ибикусы в стороне глуховатыми голосами разговаривали:

— И сегодня он ничего не добьется.

— Ты терпи, слышишь...

— А если он по делу Шамборена опять станет пытать,— говорить?

Семен Иванович слабо вскрикнул и сел. Голоса замолчали. Теперь он видел скудный свет сквозь подвальное, заложенное кирпичом окошко под потолком и на полу прислонившиеся к стене две смутные фигуры; они повернули к нему измученные лица,— нет, нет: это были люди, не Ибикусы. Он подполз к ним, всмотрелся, сказал шепотом:

— Меня допрашивали насчет сапожного крема...

— Анархист? — спросил левый из сидевших у стены.

— Боже сохрани. Никакой я не анархист. Я просто — мелкий спекулянт.

— Цыпленок пареный,— сказал правый у стены, с ввалившимися щеками.

— Растолкуйте мне, хоть намек дайте,— что это за крем такой, за что они меня мучат?..

— Пытать будут,— сказал другой, бородатый.

— Ой! Не виноват! Нельзя меня пытать. За что пытать? Я ничего не знаю.

Семен Иванович замотался, забился, заскреб землю. Бородатый, уже мягким голосом, сказал ему:

— Французская контрразведка получила сведения: через Одессу должен проехать в Европу крупный анар-

хист с мандатом на организацию взрыва Версальского совещания, или, черт их знает, что они там вздумали взорвать. Огромные суммы у него, брильянты, спрятаны в жестянках с сапожным кремом. Французская контрразведка потребовала от белой контрразведки арестовать этого артиста. Вот они и сбесились, ищут его по всему городу. Поняли?

— Имя? имя его? как его зовут? — уже не голосом спросил, а зашипел, захрипел Невзоров.

Но оба человека у стены окаменели, замолчали на дальнейшие вопросы. Он отполз от них и прилег на бок. Соображение его бешено работало. Он сопоставлял, вспоминал, он догадывался об имени своего двойника. Ибикус-хранитель и на этот раз, видимо, спасет его.

Мутный свет яснел между кирпичами в окошке. Бородатый и безбородый в тоске уткнулись лицом в колени. На земле наступало утро. И вот за дощатой перегородкой, в том же подвале, послышался скрип двери, голоса, звон шпор. Сквозь длинные щели, слепя глаза, проникли желтые лучи лампы. Боковая, в перегородке, дверка распахнулась, и вошли ротмистр и двое в голубых французских куртках.

С минуту они приглядывались к темноте. Затем все трое подошли к безбородому. Ротмистр ткнул его ножнами шашки. Он не пошевелился. Они молча схватили его и потащили за перегородку. Он растопыривал ноги, упирался. Бородатый крикнул ему:

— Молчи!

Семену Ивановичу достаточно было только повернуть голову, чтобы увидеть, что делается на той половине за перегородкой. И он прижался к щели и увидал.

На кухонном столе сидел полковник, помахивая наганом. Левая рука его, в перчатке, упиралась в тугое бедро. От резкого света лампы-молнии, поставленной на подоконник заложенного кирпичами окна, от теней, бросаемых подусниками,— львиное лицо его казалось растянутым в веселую улыбку.

Безбородого потащили к нему, поставили. Это был костлявый, большой парень в рваном пальто. Полков-

ник что-то тихо сказал ему,— согнутый палец задрожал на бедре. Безбородый переступил босыми ногами. По взъерошенному затылку было видно, что он не отвечает на вопросы.

Тогда рука в перчатке соскользнула с полковничьего бедра, схватила парня спереди за волосы, подтащила голову к столу.

— Скажешь, скажешь,— повторил полковник и рукояткой нагана ударил безбородого в поясницу, твердо, с оттяжкой стал бить его в почки. Парень замычал и осел. Полковник ногой отпихнул его:

— Следующего!

Из-за перегородки вывели бородатого. Он шел, наступая на полы солдатской шинели,— голова закинута, рыжая борода — задрана. Семен Иванович, глядевший в щель, ужаснулся,— что сейчас будет?

— Ну-с, господин коммунист,— полковник поманил его пальцем,— поближе, поближе. Как же мы с вами сегодня будем разговаривать — терапевтически или хирургически?

На эти слова ротмистр гулко хохотнул: «Хо-хо-хо!» Бородатый покосился на то место, где на полу лежал его товарищ,— у того из носа и рта пузырями выходила кровь. Невзоров видел, как у бородатого задрожало лицо. Он торопливо начал говорить...

— Молчать! — закричал полковник, вздернул подусники. Но бородатый только втянул голову и глухо, как из бочки, матерно заругался. К нему сзади подошел ротмистр. Бородатый вдруг замолчал. Ахнул. Упал на бок. Ротмистр, нагнувшись, что-то делал над ним.

— Следующего! — крикнул полковник.

Семен Иванович не помнил, как очутился перед его побелевшими глазами,— взглянул в зрачки.

— Я все вспомнил,— пролепетал он,— не губите невинного... Я могу указать, кого вы ищете... Знаю в лицо: брюнет, смуглый, двадцати пяти — двадцати семи лет... Это граф Шамборен... Нас арестовали одновременно... Сидели на клеенчатом диване... Я же блондин, ваше превосходительство... У вас должны быть приметы...

Внезапно зрачки у полковника дрогнули, ожили и

расплылись во весь глаз... Рука его полезла в карман френча, вытащила вчетверо сложенную бумажку, развернула. Снова зрачки, как точки, вонзились в Семена Ивановича. Полковник грузно соскочил со стола:

— Кто там еще в комендантской? Привести! Что думает контрразведка? Хватает блондинов, когда сказано: брать брюнетов...

Семен Иванович был переведен из операционной наверх, в одиночную камеру, и после всего пережитого забылся каменным сном. Но ненадолго. Из этой каменной темноты измученный дух его был восхищен отвратительными сновидениями... Лезли какие-то рожи, хари, кривлялись, мучили... И он бегал от них на ваточных ногах по дощатым коридорам и бился, царапал ногтями проваливающуюся под ним землю. Пытался кричать, и крик завязал в глотке...

Все же удалось закричать. Он проснулся. Стер холодный пот с лица. Сел на койке. Сквозь пыльное, затянутое паутиной окно и ржавую решетку светил день. Со стен висели клочки обоев. Около койки на табурете сидел господин в голубых очках,— щипал бороду: то самое лицо, преследователь.

— С одной стороны, вы рискуете быть повешенным,— сказал он вежливо,— с другой стороны, вас не только могут выпустить на свободу, но снабдить заграничным паспортом и вализой.

— Согласен,— прошептал Семен Иванович, от слабости снова ложась на койку.— Что я должен сделать для этого?

— Превосходно. Моя фамилия — Ливеровский. В нашей работе бывают ошибки, надеюсь, вы на меня не в претензии. Кстати,— каракуль вам доставили, он у вас в номере. Вот ключ от двери, вот мешочек с золотом. Сегодня ночью нам придется побегать по городу.

— Вы хотите сказать, что Шамборен...

— Вы угадали,— удрал из комендантской. Мы нашли на диване дурака сыщика, полузадушенного, во рту — тряпка. Шамборен скрылся. К счастью, он потерял вот это,— Ливеровский осторожно вынул из кармана бумажник, завернутый в газету,— теперь мы уверены, что это был Шамборен. Вы единственный

человек, кто его знает в лицо. Ну, вставайте, едем в Лондонскую гостиницу обедать.

Так судьба снова вознесла Семена Ивановича. Он сделался нужным и опасным лицом при областном правительстве. Пятьсот шкурок каракуля, туго забинтованные в полотно, лежали у него в чемодане. Полковник обещал заграничный паспорт, как приз за поимку Шамборена. Перспективы снова раздвигались. Тревожил его только один разговор с Ливеровским, когда в сумерках они сидели на пустынной стрелке мола, наблюдая за проходившими лодками. Ознакомившись с подробностями прошлой жизни Семена Ивановича, Ливеровский, видимо, преувеличивал его способности. Он говорил:

— Бросьте мещанские предрассудки, идите работать к нам. Бывают времена, когда ценится честный общественный деятель или—артист, художник и прочее. Теперь потребность в талантливом сыщике. Я не говорю о России,— здесь семнадцатый век. Политический розыск, контрразведка — мелочи. Проследить бандита? Ну, вон возьмите, идут двое знаменитостей: Алешка Пан и Федька Арап. Кто третьего дня вычистил квартиру на Пушкинской, барыне проломал голову? — они, Алешка и Федька... (Бандиты, проходя по молу, степенно поклонились Ливеровскому, он приложил палец к шляпе.) Этих выслеживать, ловить — только портить себе чутье. На Пересыпи у них штаб с телефонной связью. На днях меня приглашали туда на именины к атаману. Обывательщина. Иное дело работать в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке. Там борьба высокого интеллекта — высшая школа. Наша организация разработана гениально, мы покрываем невидимой сетью всю Европу. Мы — государство в государстве. У нас свои законы долга и чести. Мы работаем во враждующих странах, но сыщик сыщика не предаст никогда. Мы выше национализма. У нас имеются досье обо всех выдающихся деятелях, финансовых и политических. Пятьдесят процентов из них — дефективные или прямо уголовные типы. Любопытно необыкновенно. Знаменитый парижский сыщик Лару в своей брошюре «О взломе стальных касс» утверждает: «Человек рождается преступником.

Понятие о священном праве собственности есть продукт длительного воспитания, которое кастрирует природную склонность к преступлению. Война разрушила моральное воспитание. Массы людей не успевают подвергнуться ему, проходят мимо Школы добродетели. Мы наблюдаем ужасную картину: в центрах Парижа бродят элегантно одетые толпы дикарей-преступников. Они сдерживаются мощной рукой полиции. Но с каждым годом толпы увеличиваются. И я предвижу время, когда рука эта станет бессильна, и тогда — штурм на цитадель Права...» Нет, нет, идите к нам, Семен Иванович. Нужно чувствовать эпоху: ударно-современный человек — это сыщик. Вы должны быть *посвящены.* Я это вам устрою. Мы, так сказать, все *кровные* братья. А кроме того, предупреждаю: полковник — человек жуткий,— если попытаетесь от нас теперь отвязаться — не поставлю на вас и десяти карбованцев. (Ливеровский вытянул тонкую шею, всматриваясь в голубоватую мглу над тихой, как масло, водой. Между зелеными и красными огоньками поплавков, направляясь с внешнего рейда в гавань, скользнула лодка.) Я по образованию филолог, был оставлен при Петербургском университете. Но, подхваченный вихрем... Вы хорошо видите лицо того, кто гребет?..

Семен Иванович различил на корме лодки бритого, в широкополой шляпе, человека с трубкой. Другой, курчавый, сильно греб веслами. Вот повернул голову. «Он!» — вскрикнул Невзоров. Лодка прошла за фонарем поплавка и растаяла во мгле, напитанной желтоватыми огоньками набережной.

Ливеровский и Семен Иванович изо всей силы побежали по молу к берегу. Но поиски и расспросы были напрасны в этот вечер.

«А что ж,— раздумывал Семен Иванович,— может быть, Ливеровский и прав, и я сильно поотстал от Европы. За что ни схватись в этой проклятой России,— в руке кусок гнилья: старый мир — труп и призрак. Действительно, надо идти в ногу с эпохой. Контрразведка, шпионаж — гм! Найти крючок под какого-нибудь такого Авраама Ротшильда — гм! А люди — мошенники,

он прав,— бандит на бандите. Надо быть дураком, чтобы стесняться в наше время. Но только про какое *испытание* болтает Ливеровский? А между прочим, плевать,— не удивишь».

Так рассуждал сам с собою Семен Иванович перед бутылкой шампанского в ресторане клуба «Меридионал», поджидая Ливеровского.

Здесь пировал цвет одесского общества. Шумели, чокались, рассказывали кровавые истории о боях и расправах, клялись и спорили, лили вино на смятые скатерти.

В сизых слоях дыма вальсировал с полуобнаженной красавицей французский офицер в черном мундире,— в четком звоне шпор и шелесте шелковой юбки крутились, поворачивались то бледный, полуобморочный профиль красавицы, то брильянтиновый пробор и шикарные усики офицера. Кончили, сели. «Браво, бис!» — закричали ото всех столов. «За Францию!» — и зазвенели разбитые бокалы.

Перед оркестром выскочил жирный грузинский князь с эспаньолкой, выхватил кинжал: «Лезгинку в честь Франции»,— и полетел на цыпочках, раздувая рукава, блестя кинжалом. «Алла верды!» — закричали женские голоса.

Красно-коричневый, в порочных морщинах, румын-дирижер заставил петь «Алла верды» весь ресторан и сам ревел коровьим, осипшим голосом, лоснясь от пота.

Здесь гуляла душа, завивалось горе веревочкой. Даже Семен Иванович ногтем раздвинул бородку надвое: он заметил, как одна шатеночка, растрепанная, очень миленькая, в коричневом платьице, смущенно улыбаясь оттого, что ее плохо держали ноги, присаживалась то к одному, то к другому столу: посмотрит в лицо внимательно и спрашивает: «О чем вы думаете?» И, не получив ответа, слабо махает ручкой.

Так она подошла к Невзорову и детскими, немного косящими глазами долго глядела на Семена Ивановича. Он предложил бокал шампанского и заговорил любезно. Она, будто слыша слова из-под воды, спросила, запинаясь:

— О чем вы думаете, скажите?

Взяла бокал двумя худенькими пальцами, но расплескала, поставила:

— Вы все какие-то странные. Я ничего не понимаю. О чем вы думаете все? Гляжу и не понимаю. А вам разве не страшно? (Она тихонько засмеялась.) Голова кружится... какие бессовестные — напоили. Недобрые, чужие. Вы знаете,— а я здесь одна. Папа пропал без вести, мама осталась в Петербурге, не хотела расставаться с квартирой. А я уехала с нашей студией. (За стол в это время сел Ливеровский. Она, приоткрыв рот, долго глядела ему в голубые стекла очков.) Мы эвакуировались, эвакуировались — так и растеряли друг друга.

— А скажите,— спросил Ливеровский,— вы не знаете, случаем, где сейчас такой актер — Шамборен?

— Он здесь,— лицо молодой женщины стало нежным от улыбки,— но он же не актер,— художник. Ну, он такой чудный.

— Мне поручено во что бы то ни стало разыскать его на юге, передать одно письмо... Так вот как бы...

Улыбка сошла, и две морщинки легли у губ молодой женщины. Снова, приоткрыв рот, она принялась глядеть в лицо то Ливеровскому, то Невзорову, будто спрашивая: «О чем думаете?» Вздохнула, подперла голову худенькой рукой, осыпанной, как просом, родимыми пятнышками.

— И опять все то же,— сказала она,— вы все убийцы. Скучно с вами.

Ливеровский весело засмеялся:

— Вот тебе на. Кого же мы собираемся убивать? Вот чудачка!

— Нет, я не чудачка, вы не смеете меня оскорблять,— она поднялась,— все только и думают про убийство. У всех глаза, как у мертвых... До чего тяжело, неприятно... так грустно... Прощайте...

И она пошла, пошатываясь, между танцующими — к вешалке. Ливеровский подхватил ее под локоть и опять заговорил о письме, о Шамборене. Но она вырвала у него свою руку и сердито что-то шептала про себя, застегивая дешевенькое пальтецо.

Ее пропустили вперед, подождали, когда она

завернет за угол, и пошли вслед. Улица была безлюдна. Сквозь тоскливые облачка лился жиденький лунный свет. Молодая женщина шла по тротуару, помахивая рукой, иногда приостанавливалась: должно быть, сердилась, разговаривала сама с собой. Потом она свернула в переулок. Ливеровский и Невзоров стали за углом, высматривая.

Она вышла на середину переулка, напротив старенького домика, и долго глядела на темные окна второго этажа. Потом вернулась на тротуар и села на тумбу.

Когда Семен Иванович, один, осторожно прошел мимо нее,— она горько плакала. Он пожал плечами, поскреб бородку:

— Позвольте, я провожу вас домой, сударыня.

— Убирайтесь!

Он вернулся за угол к Ливеровскому. Они еще долго слышали, как она плакала в пустынном переулке, сморкалась.

—. Она к Шамборену в окошки смотрела, они в связи,— сказал Ливеровский,— я это понял в ресторане. Но — птичка улетела, она адреса его не знает. Идите и проследите ее до дому. А я поставлю моих агентов наблюдать за этим переулком.

Предположения Ливеровского оказались правильными. На следующий день молодая женщина два раза была в переулке и смотрела на окна. Дворник этого дома удостоверил, что дней пять тому назад действительно из верхней квартиры выбыл молодой человек, курчавый, смуглый,— ушел с чемоданом и паспорта, который отдавал прописывать (на имя какого-то Левина), с собой не взял.

За молодой женщиной установили тщательный надзор. (Личность ее была выяснена: артистка кабаре, Надя Медведева, 21 год.) Но она, видимо, так же как и они, искала Шамборена по городу. Несколько раз ее видели вместе с бритым человеком, курившим трубку. Проследили и его: оказался — московский журналист Топорков. Ливеровский предполагал, что Шамборен скрывается где-нибудь в «малинах» — пор-

товых ночных притонах. Установили слежку за лодками и судами. Третью ночь Ливеровский и Невзоров обшаривали сомнительные закоулки порта. Агенты сторожили вокзал и трамвайные пути на Малом и Большом Фонтанах. Была опасность, как бы Шамборен не пошел сухим путем через Румынию. И неожиданно, противно всем законам вероятия, его увидели в 4 часа дня на Дерибасовской.

Он стоял на углу, на ветру, и, нетерпеливо раздув ноздри, слушал, что говорила ему Надя Медведева, державшая в обеих руках его руку. Она умоляла его о чем-то.

Вот он сильно встряхнул ее руки, намереваясь отойти. Она вцепилась ноготками ему в плечо, в бархатную куртку, стремительно поцеловала его в губы. Прохожие засмеялись, оглядываясь. И в это время Шамборен встретился глазами с Невзоровым, увидел голубые очки Ливеровского и, точно его и не было на углу,— исчез. Только кое-где, по направлению к набережной, заволновалась толпа.

Погоня из милицейских и сыщиков потоком скатилась по каменной герцогской лестнице в порт и рассыпалась по «малинам». В час ночи была допрошена Надя Медведева, арестованная тогда же на углу Дерибасовской. Она отвечала Ливеровскому дерзко:

— Никто не имеет права, а вы тем более, вмешиваться в мою личную жизнь. Сашу Шамборена я люблю и всем это скажу. Зачем он сюда приехал — не знаю, и опять-таки это не ваше дело. Спросите у его друга-приятеля.

— У кого именно?

— Ах, ну у этого — журналиста.

— Бритый, ходит с трубкой?

— Ну да, терпеть его не могу.

— Не можете ли объяснить,— спросил он еще,— почему Шамборен, с которым вы, как сами утверждаете, были в близких отношениях, скрывался от вас в Одессе?

Тогда она стала смотреть на него так же, как тогда в ресторане. Опустила голову, и слезы закапали ей на колени. Больше от нее ничего не добились.

В ту же ночь Ливеровский с отрядом сыщиков напал за Куликовым полем на квартиру журналиста Топоркова. Во время этого дела Семен Иванович, вооруженный револьвером, решил все же не показывать чудес храбрости и держался в тылу нападающих.

Когда выломали дверь, Топорков пытался спуститься из кухонного окна по водосточной трубе. Его взяли без выстрела. При нем были найдены ручная граната, револьвер и четыре жестянки с сапожным кремом.

Находка эта показалась столь неожиданной и удивительной, что Ливеровский сделал крупную ошибку: не приняв мер предосторожности, прямо на улице, под фонарем, раскрыл жестянки и обнаружил в них восемнадцать крупных бриллиантов. Подручные ему сыщики до того увлеклись блеском камней, что сгрудились под фонарь. Там же стоял и Топорков.

Семен Иванович, державшийся в выступе стены, по малоопытности не обратил внимание на то, что из соседних ворот, осторожно и бесшумно, появились трое в каскетах. Один из них перебежал улицу. Это был Шамборен. И вдруг они оглушительно начали стрелять из револьверов в кучу сыщиков под фонарем. Семен Иванович, наученный опытом, сейчас же лег. Под фонарем несколько человек упало. Остальные мгновенно исчезли за углом переулка. Туда же побежали и нападающие. За углом стреляла, казалось, целая армия,— так было громко и страшно.

В то же время из-под фонаря поднялся журналист Топорков и побежал по улице в противоположном выстрелам направлении. Семен Иванович приподнялся на локтях. Револьвер показался ему роскошной игрушкой, и он, шепнув что-то матерное, выстрелил в бегущего. Дернуло руку, пахнуло пороховой вонью. Топорков вильнул в сторону, но продолжал бежать, кажется прихрамывая.

Когда затихла перестрелка, Семен Иванович пошел домой, снял штиблеты и блаженно заснул, успев только подумать: «А хорошо, если бы и Ливеровского тоже ухлопали».

Он подумал об этом и на следующее утро, когда пил кофе. Нет, деятельность сыщика не по его характеру: всегда куда-то бежать, ловить, стрелять. Разве это наслаждение жизнью? Ни покоя, ни благодушия.

Эх, благодушие! Семен Иванович невольно вспомнил невозвратно улетевшее время, когда он в полутемной комнатке, на пятом этаже, на Мещанской улице, сиживал у окна, попивая кофеек, мечтая об аристократическом адюльтере. Тихая была жизнь,— на соседнем дворе, бывало, заиграет шарманка, опять же о невозвратном: развздыхаешься у окошка. Даже Кнопка, любовница, о которой и память выело, вдруг вспомнилась, поманила мещанской прелестью. Ах, боже мой, погибло тихое счастье, погибла Россия!

Семен Иванович размяк, глаза его увлажнились. «Уеду,— подумал он,— уйду на край света, открою табачную лавочку. Буду покуривать потихоньку, поглядывать, как мимо проходят тихие люди».

— Дома! Ну, так и есть — кофе пьет! — над самым ухом у Семена Ивановича крикнул, точно выстрелил, Ливеровский. Закрыл окно и сел на кровать. Голова забинтована, нос морщится от хорошего настроения.— Четыре сбоку, ваших нет, можете поздравить: полковник сейчас третью кожу дерет с Шамборена.

— Поймали?

— Живучий, как сколопендра. Ранили его, по башке оглушили, едва взяли. Сообщники, к сожалению,— один убит, другой скрылся. А наших, вы знаете, четверо — в ящик, четверо сильно поцарапаны. А дело было — красота. Кстати, читали сегодняшние газеты? Сверхъестественно... (Он развернул лист оберточной бумаги, на котором были напечатаны «Одесские новости».) «Оперативная сводка. Все атаки большевиков на... (цензурный пропуск) отбиты благодаря огню тяжелой батареи добровольческой армии, которая расстреливала большевиков на картечь. Наступающие большевики несут потери». Знаете, как нужно читать этот цензурный пропуск? Сейчас узнаете. «Разъяснение штаба командующего. События на фронте не должны волновать население, так как чем более *уплот-*

няется гарнизон Одессы на суживающейся базе, тем активнее, реальнее становится оборона. Судовым орудиям можно весьма и весьма продолжительное время держать противника на почтительном расстоянии от подступов к городу...» Теперь поняли цензурный пропуск? Это — длина боя судовых орудий — восемнадцать верст. Большевики на расстоянии выстрела от города...

У Семена Ивановича отвалилась и вдруг застучала челюсть. Он стал оборачиваться на свой чемодан.

— «Наступают решительные дни борьбы,— продолжал читать Ливеровский.— Французское верховное командование не только *во что бы то ни стало* решило отстоять Одессу, но и непреклонно довести Россию до созыва Учредительного собрания. Союзная зона сужена. Силы собраны в мощный кулак: около пятидесяти тысяч французов, русских, греков, румын, поляков и жерла дредноутов, направленные на подступы к городу. Все готово. Остается нанести решительный удар и победоносной лавиной докатиться до Москвы».

— Так,— Ливеровский швырнул газету под диван,— решительный удар будет в морду нам. Сегодня ночью четыре французских полка ушли с позиций. Вся эта история с Шамбореном провокация,— я вас уверяю. Полковник с ума сошел, когда узнал о бриллиантах. Вся разведка была брошена — ловить Шамборена. А большевики в это время работали. И не кто иной, как журналист Топорков. Зуавы потребовали у себя в частях созыва Советов. Греки кричат из окопов: «Рюсский, рюсский — давай мириться». А вы знаете, что делается в рабочих районах? Зубами скрипят. Этот болван полковник расстрелял на кладбище десять местных большевиков. Рабочие, конечно, разыскали трупы, вырыли. Зуавы бегают в слободку смотреть на расстрелянных. А вам известно, что вчера кабинет Клемансо пал...

— А нельзя ли нам заранее на каком-нибудь пароходе устроиться? — спросил Невзоров.

— Успеем. Я вас не брошу, вы мне очень и очень пригодитесь. Кстати, нынче в ночь будет ваше *посвящение.*

Семен Иванович, понятно, после этого разговора впал в паническое настроение. Но когда вышел на улицу,—там гуляли нарядные дамы как ни в чем не бывало, и если и опасались чего-нибудь, то только веснушек, которые апрельское солнце сеяло на круглые лица одесситок.

Благодушно на внешнем рейде курились трубы дредноутов. Франк стоил всего восемь с половиной карбованцев в кафе у Фанкони, откуда нетрудно было выбежать маловерному или паникеру и увидеть эти дымки над мглистым морем. По набережной погромыхивали на рысях поджарые пушки. Внушительно прополз танк. Шел, тяжко навьюченный амуницией, батальон зуавов: ну, разве же эти приемыши Рима не ударят тараном по григорьевским бандам. Усатые, широкогрудые, запыленные, не задумаются умереть во имя свободы, культуры и священных принципов?..

Много ободряющего видел Семен Иванович в этот день, бегая в хлопотах за паспортом и визами. Он видел также, как из подъезда Лондонской гостиницы вышел рослый, в черном мундире, мрачный человек. Невидящие глаза его были устремлены на рейд. Осунувшееся, с жесткой бородкой лицо точно покрыто свинцовой пылью. Это был начальник обороны генерал Шварц. Он упал на сафьяновые подушки автомобиля и приказал сквозь зубы: «Французский штаб». Семену Ивановичу стало жутко, хотя он и не знал в ту минуту, что генерал Шварц ехал к генералу д'Ансельму для последнего отчаянного и безнадежного разговора.

Во второй раз тоскливое беспокойство царапнуло Семена Ивановича, когда вечером он толкнулся в клуб «Меридионал»,— дверь была заперта, около ресторанной стойки, при свете свечи, воткнутой в бутылку, ресторатор и лакеи связывали какие-то узлы.

Затем, звонясь к себе в гостиницу, Семен Иванович хотел было, как всегда, прочесть приказ генерала Талдыкина о тараканах, но с ужасом увидел: поверх приказа наклеен небольшой листочек: «Всем, всем, всем... Последнее убежище спекулянтов и белогвардейцев должно пасть...»

Семен Иванович заперся у себя в комнате, лег и, кажется, даже заснул и внезапно сел на постели. С отчаянно бьющимся сердцем прислушивался... Так и есть: прошли под окнами. Звонок в швейцарской. Никто не отворяет. Тихо. И вдруг резкий стук в дверь, в мозг.

Семен Иванович с воплем стоял уже посреди комнаты:

— Я не пойду!

За дверью насмешливый голос Ливеровского проговорил медленно, каждую букву:

— Отворите же, нас ждут.

Моторная лодка терлась боком о гнилые сваи. Дождливый туман затянул весь порт, остро пахло гнилым деревом и морем. Наверху, в городе, было еще сонно. Вдалеке, в стороне Фонтанов, похлопывали выстрелы. Ленивая волна подняла и опустила лодку, привязанную к ржавому кольцу.

На мокрых скамейках в лодке сидели — Семен Иванович, рядом с ним востроносый, с низким чубом подросток, державший между колен винтовку, и напротив — апоплексического вида огромный француз в темно-синем военном плаще.

Все трое молчали. Француз выставил против дождевой сырости висячие жесткие усы и сердито посапывал. Подросток, барабаня ногтями по винтовочному прикладу, перебегал юркими, как у мыши, глазами по редким предметам, выступающим из тумана. Семен Иванович мелко дрожал в своем пальтишке,— у него внезапно заболел зуб, вонзался раскаленным гвоздиком. Но вылезти из лодки, уйти было невозможно: пошевелишься, и сейчас же глаза подростка начинают бегать по лицу Семена Ивановича.

Француз уже начал ворчать себе в усы по-французски: «О, грязные русские! Сколько еще ждать в этой гнилой лодке... О, дермо и дермо!..» Пробежала коричневая портовая собачонка, остановилась и внимательно и долго глядела на людей. Подросток замахнулся на нее: «Я тебя, сволочь!» Собачонка отскочила,

ощетинилась, зарычала. Но вот, наконец, послышалось шлепанье ног по лужам. Из тумана появилось пятеро: ротмистр, уже знакомый Невзорову, какой-то штатский в морском картузе (оба они держали наготове револьверы), между ними — Шамборен в разодранной клочьями блузе (правой рукой он придерживал левую), рядом с ним — рябой, рослый матрос в одном тельнике; руки его были закованы в кандалы. Сзади шел Ливеровский. Он протянул апоплексическому французу пакет, который тот вскрыл и, прочтя, спрятал под плащ.

— Эти двое, карашо,— сказал он.

Прибывшие спустились в лодку. Человек в морском картузе сел на руль и включил мотор. Закипела вода. Отделился и стал тонуть в тумане берег с гнилыми сваями.

Ливеровский придвинулся к Семену Ивановичу:

— Этот француз — палач. Союзнички нам не доверили Шамборена, сами хотят ликвидировать. А этот матрос — знаменитый Филька — григорьевец, страшной силы и свирепости. Везем их на внешний рейд, на баржу. Чтобы — шито-крыто.

Невзоров застонал от зубной боли. На лодке молчали. Ливеровский стал предлагать из серебряного портсигара папиросы. Закурили все, кроме Шамборена. Запекшиеся губы его были сжаты, как у мертвого. Судорога-тик время от времени пробегала по его обострившемуся лицу,— видимо, это его мучило. Он внимательно глядел на мотор, который бодро постукивал, точно на веселой морской прогулке.

Внезапно матрос Филька проговорил деликатным голосом:

— Торопится, спешит. Машина, а торопится. А сколько в ней будет сил?

Рулевой сдвинул брови, поседевшие от дождевой пыли:

— Двенадцать.

Филька уставился на мотор, словно сроду его не видал, мельком взглянул на француза.

— А студено,— сказал он,— тельник промочило, недолго и застудиться.— Он открыл великолепные,

белые зубы, но усмешка так и осталась на губах,— застыла.

В тумане возник темный предмет. Шамборен вытянулся, вглядываясь. Это был конический буек с разбитым фонарем,— лодка мягко прошла мимо него. Пологая волна, разрезанная килем, с шелковым плеском развернулась на две пелены, обдала брызгами. Отсюда повернули в восточном направлении и пошли по мертвой зыби, которая далеко позади разбивалась мощно и глухо о мол, скрытый за дождевой завесой.

Теперь все глядели туда, куда стремился поблескивающий медью и лакированным деревом нос лодки. Качало сильно. Невзоров вцепился ледяными пальцами в борт. Из тумана выдвинулось очертание мачт — двух крестов. Шамборен сейчас же низко опустил голову. Ротмистр перешел на нос и размотал причальный конец.

Быстрее, чем ждали, лодка подошла к барже. Это было каботажное судно, предназначенное для перевозки хлеба. Оно скрипело и покачивалось на канатах. С просмоленного борта висела лестница. Ротмистр схватился за нее, легко вскарабкался на палубу.

— Будете работать наверху, мосье? — спросил он по-французски.

— Я не обязан лазить по лестницам, которые пляшут; дермо и дермо,— ответил француз, но все же сбросил намокший плащ, под которым у него оказался короткий карабин, и тяжело полез на баржу. Встал наверху, раздвинув ноги, щелкнул затвором.— Матрос идет первый,— сказал он хрипло, как команду. Только теперь Невзоров увидел его лицо: огромное, багровое, с низким лбом. Он глядел мутно и не мигая из-под косматых бровей. Ротмистр перевел его слова:

— Матрос, наверх!

Филька побелел. Потянул кандальную цепь. Продвинулся к лестнице.

— Часы серебряные отошлите жене,— сказал он Ливеровскому,— не забудьте, пожалуйста.— И он медленно полез на баржу, глядя в глаза французу.

— Живее, сволочь! — крикнул ему ротмистр. Уже наверху Филька вдруг дико закричал:

— Не я, не я, это не я, ошибка! — и начал бороться с палачом. Невзоров зажмурился. Раздался выстрел. Минуту спустя прохрипел голос француза:

— Граф Шамборен!

Шамборен порывисто поднялся и сейчас же снова сел на скамью. Тогда подросток, весь сотрясаясь, беспорядочно дергая затвор винтовки, захлебываясь матерными словами, принялся толкать Шамборена,— «иди, иди!..». Лодка раскачивалась. Невзорова охватил дикий ужас. Больной, раскаленный зуб вонзился в глубь мозга.

— Стыдно, граф,— баском сверху прикрикнул ротмистр,— давайте кончать.— Тогда Шамборен кинулся к лестнице. Едва его кудрявая голова поднялась над палубой,— француз выстрелил. Шамборен покачнулся на лестнице, сорвался, и тело его упало в море. Студеные брызги хлестнули в лицо Семену Ивановичу.

Тем же утром, бредя по улице, как во сне, на ваточных ногах, Семен Иванович остановился у облезлого забора и долго глядел на большой, недавно наклеенный, цветной плакат, где были изображены крепко пожимающие друг другу руки: француз, русский и англичанин. За спиной их Георгий Победоносец поражал красную гидру революции. Кто-то карандашом подрисовал ему длинные, закрученные усы.

Семен Иванович долго стоял перед этой картинкой. Не домой же идти, не спать же ложиться! Он вынул карандаш и подрисовал закрученные усы французу, потом подрисовал такие же усы англичанину.

— Ах, боже мой, боже мой! — громко проговорил он, помусолив карандаш, и тщательно выковырял глаз русскому.

В это время издалека стали набегать мальчишеские, сенсационные голоса газетчиков. Они кричали, видимо, что-то очень страшное. Редкие в этот час прохожие выхватывали у них газеты. На перекрестке собралось десятка два возбужденных читателей.

Семен Иванович лениво взял сунутую ему пробегавшим мальчишкой газету и прочел:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Союзники сообщили, что лишены возможности доставить в ближайшее время продукты в Одессу.

Поэтому, в целях уменьшения числа едоков, решено приступить к разгрузке Одессы.

Запр. 1919 г.

Ген. *д'Ансельм.*

— Эвакуация! Эвакуация!..— донесся до Семена Ивановича дикий ропот голосов с перекрестка.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Выдумали же люди такое отвратительное слово — «эвакуация». Скажи — отъезд, переселение или временная, всеобщая перемена жительства,— никто бы не стал, вылупив луковицами глаза, ухватив узлы и чемоданы, скакать без памяти на подводах и извозчиках в одесский порт, как будто сзади за ним гонятся львы.

«Эвакуация» в переводе на русский язык значит — «спасайся, кто может». Но если вы — я говорю для примера — остановитесь на людном перекрестке и закричите во все горло: спасайся, кто может! — вас же и побьют, в худшем случае.

А вот — не шепните даже, прошевелите одними губами магическое, *ибикусово* слово: «эвакуация»,— ай, ай, ай!.. Почтенный прохожий уже побелел и дико озирается, другой врос столбом, будто нос к носу столкнулся с привидением. Третий ухватил четвертого:

— Что такое? Бежать? Опять?

— Отстаньте. Ничего не знаю.

— Куда же теперь. В море?

И пошло магнитными волнами проклятое слово по городу. Эва-ку-ация — в трех этих слогах больше вложено переживаний, чем в любой из трагедий Шекспира...

...Муж уезжает в одном направлении на пароходе, жена на поезде в другом, а сынишка — вот только что держали его за руку — внезапно потерялся и, наверно, где-нибудь плачет на опустевшем берегу...

...Еще сегодня утром человек был диктатором, приказал повесить на габарите железнодорожного моста — на страх — начальника станции, помощника начальника и третью сомнительную личность с татуированными руками, а вечером тот же человек приткнулся с узелочком у пароходной трубы и рад, что хоть куда-то везут...

...Удачливый делец только что добился поставки на армию, и жена его уже собралась приобрести у фрейлины, баронессы Обермюллер, котиковое манто с соболями,— ой, все полетело к чертям! — и поставка и манто, чемоданы с роскошным бельем угнал негодяй ломовик, и даже при посадке вчерашний преданный друг, один гвардеец, который так заискивал, целовал ручки,— вдруг хватил дельцову мадам ножнами по шляпе и спихнул ее с вагонной площадки...

Нет, не перечислить всех странностей и бед во времена эвакуаций. Человек вывертывается наизнанку, как карман в штанах,— едет, скачет, а то и просто бежит пешком с тремястами карбованцев, не годных даже на скручиванье собачьей ножки, в курточке из материи, предназначенной для других целей. В голове дребезжит, будущее совершенно неопределенно. Говорят — русские тяжелы на подъем. Неправда, старо. Иной, из средних интеллигентов, самой судьбой определен жить и умереть в захолустье, а глядишь — сидит на крыше вагона, на носу — треснувшее пенсне, за сутулыми плечами — мешок, едет заведомо в Северную Африку и — ничего себе, только борода развевается по ветру.

Семен Иванович Невзоров бывал в переделках и похуже той, что случилась в Одессе пятого и шестого апреля. Ничего необыкновенного там не случилось. Население из центра города колесом скатилось в порт, а в центре появилось население из окраин, нимало не огорченное тем, что иностранные войска садятся на транспорты, а у русских войска сухим рейсом уходят в Румынию. Торговцы деньгами и накладными по врожденной привычке собрались было на углу Дерибасовской, но под давлением легкого ружейного огня впали в нервное состояние и рассеялись. Кафе Фанкони закрылось. В го-

родской думе уже сидел совдеп, а по набережной, мимо герцога Ришелье, все еще двигались уходившие повозки, кухни, пушки, равнодушные зуавы. Здесь, на бульваре, бродили те, кто не мог уехать, и остекленевшими глазами глядели на пароходы, на черные дымы из труб.

Ах, эти дымы, заржавленные пароходы! В порту, плечо к плечу, стояли тысячи уезжавших,— узенькие мостки-сходни отделяли постылую Россию от райских стран, где нет ни революций, ни эвакуаций, где пятиэтажные магазины, полные роскошной и дешевой одежды, где спят в кроватях (а не на столах и не в ваннах), где по своей надобности человек, не стоя ни в какой очереди, идет в чистое, снабженное обильной водой, освещенное электричеством место и сидит там, покуда не надоест... Где на каждом перекрестке возвышается строгий и справедливый полисмен и день и ночь охраняет покой горожан и священную собственность. Где автомобили не реквизированы и улицы блестят, как паркет. Где не стреляют из пулеметов и не ходят с проклятыми флагами, где при виде обыкновенного рабочего не нужно косоротиться в сочувственную или предупредительную улыбку, а идти себе мимо пролетария с сознанием собственного достоинства...

От всего этого отделяло только несколько шагов по сходням. Об этой лучезарной жизни кричали пароходы на внешнем рейде,— увоооозим за границииииицу! А со стороны вокзала, Фонтанов и Пересыпи уже постреливали красные. Множество катеров, лодок, паромов,— груженные людьми и чемоданами,— уходило к внешнему рейду. На берегу визжали лошади, трещали телеги, валились чемоданы, работали, на прощанье, жулики по карманам.

— Граждане,— кричал веселый чернобородый матрос, въехавший с возом с адмиральским имуществом в гущу народа,— дорогие мои, зачем бегите?.. Тпру, балуй,— хлестнул он по мерину, начавшему сигать в оглоблях,— оставайтесь, дорогие, всем хорсшо будет... Эх, горе, чужая сторона! — И он так и залился смехом.

— Господин офицер,— шумели у сходней,— да пропустите же меня, у меня ноги больные... Двое суток ждем, это издевательство какое-то над личностью...

У меня ребенок помирает, а вы спекулянтов, корзины по двадцати пудов грузите...

— Осади, не ваша очередь!.. Куда на штык прешь, назад!.. Паспорта, паспорта предъявляйте...

Семена Ивановича вся эта суматоха мало занимала. Он стоял на борту парохода «Кавказ». В мыслях был счастливый переполох. Наконец-то оторвались его подошвы от российской земли. Даже слюна у него набегала непрерывно, и он сплевывал за борт в воду, где плавала багажная корзина, сорвавшаяся с трапа.

Со вчерашнего дня Семен Иванович разговаривал с сильным иностранным акцентом. По паспорту он именовался бывшим русским подданным, Симоном Навзараки. Пять тысяч франков и чемодан с драгоценным каракулем создавали ему душевное равновесие. От прежнего Невзорова, суетливо гонявшегося за блестками счастья, от мечтателя, кутилы и фантазера не осталось и следа. Чувствительную душу его выела русская революция. Теперь это был расчетливый и осторожный спекулянт.

Он бежал за границу с твердым намерением найти там покойное и солидное место под солнцем. Выбор нового отечества не интересовал его: плевать, деньги сами укажут, где нужно сесть. А развлекаться что с туркиней, что с задунайской какой-либо девкой, или с немкой, француженкой — совершенно одно и то же. Главное, вот во что он верил, — в стране должен быть беспощадный порядок.

В желании утвердить себя как благонамеренную во всех отношениях личность Семен Иванович дошел даже до того, что еще здесь, в одесском порту, за сотни миль от ближайшей заграницы, принял строгое скопческое выражение лица и руки держал преимущественно по швам, говорил негромко, но чрезвычайно явственно и хотя, в силу необходимости, по-русски, но так, что выходило и не по-русски. Вот только плевал он за борт, но в этом выражалось его нетерпение поскорее уплыть, а за всем тем, в чью же воду он плевал?

Одна только искра жгла его душу, лишала покоя: это — ненависть к революционерам. Ливеровский, стоявший рядом с Невзоровым у борта, предложил совместно организовать в пути разведку по выяснению полити-

ческой картины среди пароходного населения,— таковые данные весьма пригодились бы впоследствии. Семен Иванович охотно согласился. Свои личные планы и дела он решил отложить до Константинополя. Погрузка кончилась. Офицеры-грузчики, изнемогая, перетащили с парома последние сундуки и кофр-форы. На капитанском мостике появился идол — чернобородый, огромный мужчина в синей куртке с галунами, француз-капитан. «Кавказ» хрипло загудел, завыл из глубины ржавого своего нутра и с тремя тысячами людей и горами багажа медленно вышел на внешний рейд.

Простояв томительные сутки на внешнем рейде, «Кавказ» отошел восьмого апреля под вечер в юго-западном направлении. Утонули в мглистых сумерках невысокие берега Новороссии. Несколько человек вздохнули, стоя у борта. Прощай, Россия!

Пробили склянки. И скоро открытая палуба парохода покрылась спящими телами беженцев. Заснули в каютах, в коридорах, в трюмах под успокоительный шум машины. Две крестообразные мачты медленно поплыли между созвездиями.

При свете палубного фонаря, на корме, Ливеровский показал Семену Ивановичу план парохода.

— Вы возьмете на себя носовую часть,— говорил он, посмеиваясь,— я — кормовую. На пароходе четыре трюма и две палубы. В двух средних трюмах помещаются штабы. В двух крайних — всякая штатская сволочь из общественных организаций. На верхней палубе, в коридорах и в кают-компании — дельцы, финансисты, представители крупной буржуазии. В отдельной носовой каюте сидит Хаврин (одесский губернатор), с ним двенадцать чемоданов денег и железный сундук с валютой. Кроме того, есть еще и третья, самая верхняя палуба, там всего два помещения — курительная комната и салон. Эта палуба особенно интересна,— вы сами увидите почему. Затем, кроме нас с вами, на пароходе начала работать монархическая контрразведка. Держите ухо востро. Все собранные вами данные записывайте в особенную ведомость. По прибытии в Константинополь мы

покажем ее во французском штабе. Можете быть уверены, союзники умеют ценить подобного рода сведения.

Ливеровский спрятал план, подмигнул Невзорову и провалился в кормовой трюм. А Семен Иванович, перешагивая через спящих, пошел на нос, где подувал ночной апрельский ветерок. Семен Иванович лег около своего чемодана, укрылся и вместо сна раздумался в этот час тишины.

Неуютно представилось ему жить на свете, довольно-таки погано. Люди, люди! Если бы вместо людей были какие-нибудь бабочки или приятные какие-нибудь козявки, мушки... Заехать бы в такую безобидную землю. Сидишь за самоварчиком, и ни одна рожа не лезет к тебе смущать покой. Эх, люди, люди!

Оглянул Семен Иванович истекшие года, и закрутились, полезли на него рожи, одна отвратительнее другой. Он даже застонал, когда припомнились две мачты в тумане, смоляной борт каботажной баржи и надутое лицо палача.

«Нет, не иначе — это он, Ибикус проклятый, носится за мной, не отстает, прикидывается разными мордами,— думал Невзоров, и хребет у него холодел от суеверного ужаса,— доконает он меня когда-нибудь. Ведь что ни дальше — то гаже: вот я уже и при казни свидетельствую, я — сыщик, а еще немного — и самому придется полоснуть кого-нибудь ножиком...»

Семен Иванович подобрал ноги и прислонился к чемодану. Рядом, точно так же, сидел сутулый человек в форменном картузе — военный доктор.

— Не спится? — повернул он к Невзорову рябоватое, с клочком бородки, испитое лицо.— Спички у вас есть? Благодарствуйте. Я тоже не сплю. Едем? А? Какая глупость.

Семену Ивановичу было противно разговаривать. Он обхватил коленки и положил на них подбородок. Доктор придвинулся, пожевал папироску.

— Сижу и с удовольствием вспоминаю отечественную историю. Петра Третьего убили бутылкой, заметьте. Екатерину Великую, говорят, копьем ткнули снизу из нужника, убили. Павлу табакеркой проломили голову. Николай счел нужным отравиться. Александра Освобо-

дителя разнесли в клочки. Полковника и обоих наследников расстреляли. Очень хорошо. Ай да славяне! Бога бойтесь — царя чтите. С другой стороны, наша интеллигенция, светоч, совесть, мозг, жертва,— свыше полусотни лет занимается подрыванием основ государства, канонизирует цареубийц... Сазоновы, Каляевы,— доктор хрустнул зубами,— Маруси Спиридоновы и прочие богородицы, бабушки и дедушки. А Лев Толстой? Благостный старик! Граф за сохой! А усадьбы святой мужичоночек по бревнышку разносит, племенному скоту жилки подрезывает. А Учредительное собрание и Виктор Чернов — президент! Так ведь это же восторг неизъяснимый! Вот она — свободушка подвалила. Так я вам вот что скажу: везу с собой один документ. Приеду в Париж — где пуп земли, ясно? — и на главном бульваре поставлю витрину, на ней так и будет написано: «Русская витрина». Портреты Михайловских, Чернышевских, красные флаги, разбитые цепи, гении свободы и прочее тому подобное. А в центре гвоздем приколочу вот эту штуку...

Доктор вытащил из бумажника тоненькую клеенчатую записную книжку и раскрыл ее любовно:

— Эта книжка принадлежала весьма небезызвестному либералу, герою, члену Государственной думы и Учредительного собрания. Так-то-с. Чем же она наполнена? Благороднейшими мыслями? Бессмертными лозунгами? Конспектами знаменитых речей? Нет, к сожалению,— нет. Реестрики — сколько у кого взято взаймы. Так! Адреса врачей и рецепты средств на предмет лечения триппера. Все-с. Это у либерала и борца с самодержавием. Это мы пригвоздим. Мы доморощенных наших освободителей-либералов гвоздем приколотим на большой проезжей дороге.

Доктор вдруг закатился мелким смешком:

— Вчера я весь день веселился. Наверху, на третьей палубе, прогуливался один мужчина: шляпа с широкими полями, лицо мрачное, сам — приземистый, похож несколько на Вия. А снизу смотрят на него Прилуков, Бабич и Щеглов, три члена Высшего монархического совета. Улыбаются недобро — вот что я вам скажу — недобро. А человек этот, знаете, кто? Ну, самый что ни

на есть кровавый и страшенный революционер. Совсем как в Ноевом ковчеге спасаются от мирового потопа и лев и лань. Я и смеюсь,— спать не могу,— ох, не стряслось бы какой беды на нашем корабле. В том-то и беда, что мы уже не в России, где эти штуки сходят.

— Какие штуки сходят? — осторожно спросил Семен Иванович. Доктор молча и странно посмотрел на него. Опять взял спичек, закурил трубочку махорки.

— От кого я в восторге, так это от большевиков,— сказал он и сплюнул,— решительные мальчуганы. Чистят направо и налево: и господ интеллигентов под корешок, и святого мужичка в корень. Вот только насчет рабочих они какую-то кислоту разводят. За всем тем — глядишь — через полгодика и расчистят нам дорожку,— пожалуйте.

— А кому это — вам? — спросил Семен Иванович.

— Нам, четвертому Интернационалу. Да, да, у большевичков есть чему поучиться.

— Ну однако — вы слишком смело.

— Говорю — у них школу проходим, дядя.— И доктор, суя мизинец в сопящую трубочку, залился таким смешком, что Невзоров только дико взглянул на него. Пробили склянки. На верхней палубе в это время стоял мрачный революционер в широкополой шляпе и с горечью думал о том, что русский народ в сущности не любит свободу.

С восходом солнца пароход начал просыпаться. Первыми заворочались палубные обитатели: потягивались, почесывались, спросонок пялились на молочно-голубую пустыню моря. Вышел негр-повар в грязном колпаке, выплеснул за борт ведро с помоями и сел около бочки чистить картошку. Двое поварят разжигали печи во временных дощатых кухнях на палубе. Около кранов уже стояло несколько военных, босиком, в широченных галифе, в рваных подтяжках и, фыркая, мыли шеи соленой водой. Из трюмов стал вылезать взъерошенные, непроспавшиеся штатские. И скоро перед нужником, висевшим над пароходным бортом, стала длинная очередь: дамы, зябко кутающиеся в мех, общест-

венные деятели без воротничков, сердитые генералы, поджарые кавалерийские офицеры.

— Двадцать минут уж сидит,— говорилось в этой очереди.

— Больной какой-нибудь.

— Ничего не больной, рядом с ним спали на нарах, просто глубоко неразвитый человек, грубиян.

— Действительно, безобразие. Да постучите вы ему.

— Господин штабс-капитан,— постучали в дверку,— надо о других подумать, вы не у себя дома...

Понемногу на палубе все больше становилось народу. Из-за брезента, покрывавшего гору чемоданов, вылез багровый, тучный, недовольный член Высшего монархического совета Щеглов, саратовский помещик. Он за руку вытащил оттуда же свою жену, знаменитую опереточную актрису, вытащил корзинку с провизией и плетеную бутыль с красным вином. Они сели около кухни и принялись завтракать.

В кухонных котлах в это время варились бобы с салом. Негритята раскупоривали полупудовые жестянки с австралийской солониной. Около кухни говорилось по этому поводу:

— Опять бобы. Это же возмутительно.

— Я просто отказываюсь их переваривать. Издевательство какое-то.

— А вам известно, ваше превосходительство, что это за солонина? Это мясо австралийской человекоподобной обезьяны. Я сам естественник, я знаю.

— Меня рвало вчера. Вот вам, господа, отношение союзников.

— А в первом классе, извольте видеть, отличный обед в четыре блюда.

— Для спекулянтов. Одни жиды в первом классе. Устроили революцию, а мы жри обезьян.

Семен Иванович толкался около кухни, потягивая носом запах бобов. Вдруг перед ним решительно остановилась пожилая дама, теребя на груди среди множества измятых кружев цепочку от часов.

— Нужно верить — все совершается к благу. Наше трехмерное сознание видит несовершенство и раздробленность бытия. Да, это так, и это не так,— быстро и

проникновенно заговорила она. Передние зубы ее слегка выскакивали и били дробь. От нее пахло приторными духами и потом. Это была известная Дэво, теософка.— Наш физический мир — лишь материальное отражение великой, страшной борьбы, происходящей сию минуту там, в мире надфизическом. Но борьба там предрешена: это победа блага, добра, вечное превращение хаоса в космос. Вот почему пусть солонина будет мясом человекоподобной обезьяны, пусть: Мудрая Рука приведет новых адептов к Истинной Пище. Индусы называют Пищей только плоды и овощи, все остальное трупоедство.

Невзоров попытался было уклониться от беседы, но Дэво прижала его к борту, фарфоровые зубы ее отбивали дробь у самого носа Семена Ивановича.

— Гигантскими шагами,— за час — столетие,— мы приближаемся к просветлению. Я это вижу по глазам братьев по изгнанию. Революция — акт массового посвящения, да. Что такое большевики? Сонмы демонов получили возможность проникнуть в физический мир и материализовались эманациями человеческого зла. Точно так же великим святым в египетских пустынях являлись ангелы, которые суть эманации их добра. Когда в России поймут это, люди станут просветляться, и большевики-демоны — исчезнут. Я сама была свидетельницей такой дематериализации. Меня допрашивал комиссар — наедине. Он держал в руках два револьвера. Я отвечала на его глупые вопросы и в то же время, сосредоточившись, начала медитацию. Из меня вышли голубые флюиды. И этот комиссар стал то так облокачиваться, то так облокачиваться, зевал, и, наконец, через него стали просвечивать предметы. Я помолилась за него Ангелу Земли, и комиссар с тихим воем исчез. Пароход за пароходом увозят нас в лучезарные области, где мы будем пребывать уже просветленные и очищенные. Не ешьте только мяса, друг мой, не курите и каждое утро промывайте нос ключевой водой. Мы вступаем в царство Духа.

В это время от котлов повалил такой густой запах, что Дэво обернулась к поварятам. Они черпали огромными уполовниками бобовую похлебку и разливали ее

по жестянкам из-под консервов, по чашкам, черепкам,— во все, что подставляли проголодавшиеся эмигранты.

На эту давку сверху, со средней палубы, глядели уже откушавшие в столовой первого класса финансисты, сахарные, чайные и угольные короли, оказавшиеся на пароходе в гораздо большем количестве, чем это казалось при посадке. Они держали себя с достоинством и скромно.

Еще выше, с третьей палубы, глядел вниз одинокий террорист в широкополой шляпе. Он жевал корочку.

После завтрака Семен Иванович предпринял более систематическое обследование вверенной ему носовой части парохода. Он спустился в средний трюм (под предлогом поисков своего багажа) и был оглушен треском пишущих машинок.

Здесь, в разных углах, на нарах и ящиках сидели сердитые генералы, окруженные каждый своим штабом, и диктовали приказы по армии, обязательные постановления, жалобы и каверзы. Изящные адъютанты легко взбегали по лесенке на палубу, где и приколачивали исходящие бумаги на видных местах.

Войск, в обычном смысле слова, у генералов не было, но войсковые штаты и суммы имелись, и поэтому генералы действовали так, как будто войска у них были, что указывало на их железную волю, чисто боевую нечувствительность к досадным ударам судьбы и сознание долга.

В этом трюме все обстояло благополучно. Невзоров полез в носовой трюм, темный и сырой, со множеством крыс. Здесь в три яруса были нагорожены нары, и на них отдыхали после завтрака и разговаривали общественные деятели, беглые помещики, журналисты, служащие разных организаций и члены радикальных партий — почти все с женами и детьми.

— Я совершенно покоен, не понимаю вашего пессимизма,— говорил один, свесив с нар длинное бородатое лицо в двойном пенсне,— страна, лишенная мозга, обречена агонии. Пока еще мы держались на юге,— мы тем самым гальванизировали красное движение. Теперь мозг изъят, тело лишено духа, не пройдет и полугода, как большевики захлебнутся в собственных нечистотах.

— Полгода, благодарю вас,— проговорили из темноты, из-под нар,— вы, почтеннейший, довольно щедро распоряжаетесь российской историей. Им, негодяям, и полмесяца нельзя дать поцарствовать.

— Как же это вы им не дадите, хотел бы я знать!

— А я хотел бы знать, как вы запоете, когда к вам заберутся бандиты,— так же, что ли, станете благодушествовать? Это, батенька, все скрытый большевизм. В морду, чтобы из морды — бифштекс,— вот какой с ними разговор. Завопить на весь мир: спасайте, грабят и режут!.. Хотите компенсации? — пожалуйста... Японцам — Сахалин за помощь, англичанам — Кавказ, полякам — Смоленск, французам — Крым. Проживем и без этих окраин да еще сильнее станем.

— Ну, уж извините — вы несете вздор. Во имя высшей культуры, во имя человечности, во имя великого русского искусства должны мы просить помощи, и Антанта даст эту помощь. На Западе — не торгаши, не циники, не подлецы.

— Эге!

— Ничего не — эге. А двухтысячелетняя христианская цивилизация, это тоже — эге? А французская революция — это эге? А Паскаль, Ренан — эге? Да что мне с вами говорить. Не в Азию едем к Чингисхану, а в очаги высшей культуры.

— Значит, одесская эвакуация тоже не «эге» по-вашему?

— Одесса — трагическая ошибка союзников. Наш долг рассказать им всю правду. Европе станет стыдно...

— Батюшки!

Помолчав, господин в двойном пенсне плюнул, борода его уползла за нары. В другом месте, в темноте, говорили:

— Сесть в чистом ресторане, с хорошей услугой, спросить кружку холодного пива — во сне даже вижу.

— А помните Яр, московский? Эх, ничего не умели ценить, батенька! Храм! Шесть холуев несут осетра на серебряном блюде. Водочка в графинчике, и сам графинчик инеем зарос, подлец. Расстегай с вязигой, с севрюжкой при свежей икорке...

— Ах, боже мой, боже мой!..

— Помню, открывался новый «Яр». Получаю приглашение на бристольском картоне с золотым обрезом. Напялил фрак, гоню на лихаче вместе с Сергеем Балавинским,— помните его по Москве? Приезжаем — что такое? В большом зале молебен служит сам митрополит. В первом ряду — командующий войсками Плеве при всех орденах, военные, цвет адвокатуры, лев Плевако, именитое купечество,— все во фраках... Куда мы попали?.. На открытой сцене занавес опущен, бордюр из цветов, образа и свечи... Восемь дьяконов ревут, как на Страшном суде! Молебен кончен, выходит хозяин, Судаков, помните его — мужичонка подслеповатый, и — речушку: «Милости просим, дорогие гости, кушайте, веселитесь, будьте, говорит, как дома. Все, говорит, это,— и развел руками под куполом,— не мое, все это ваше, на ваши денежки построено...» И закатил обед с шампанским, да какой! — на четыреста персон.

— Неужели бесплатно?

— А как же иначе?

— Слушайте, да ведь это ж красота, боже мой, боже мой!.. Не ценили, проглядели жизнь, проворонили какую страну...

— Вот то-то и оно-то, и едем в трюме на бобах.

— Не верю! Россия не может пропасть, слишком много здоровых сил в народе. Большевики — это скверный эпизод, недолгий кошмар.

Еще где-то между нар шуршали женские голоса:

— До того воняет здесь, я просто не понимаю — чем.

— А, говорят, в Константинополе нас и спускать не будут с парохода-то.

— Что же — дальше повезут?

— Ничего неизвестно. Говорят, на остров на какой-то нас выкинут, где одни собаки.

— Собаки-то при чем же?

— Так говорят, хорошо не знаю. Мученье!

— А мы с мужем рассчитываем в Париж пробраться. Надоело в грязи жить.

— А что теперь в Париже носят?

— Короткое и открытое.

Семен Иванович вылез из трюма и записал все эти разговоры. Пароход плыл, как по зеркалу, чуть затуманенному весенними испарениями. Большинство пассажиров дремали на палубе, лениво торчали у бортов. Негр-повар опять чистил у бочки картошку. Около него сидела Дэво, теософка, и, теребя кружева, рассказывала о пришествии святого духа из Азии через Россию. Повар весело скалился. Бегали в грязных платьицах чахлые дети по палубе, играли в эвакуацию. Откуда-то со стороны надпалубных кают доносились стоны: это, не к месту и времени, рожала жена армейского штабс-капитана. Около кухни член Высшего монархического совета Щеглов, отдуваясь, осовело слушал, что рассказывал ему приятель, белобрысый, маленький человек с лихо заломленной фуражкой астраханского драгуна на жиденьких волосах:

— Прости, а ты тоже задница, а еще помещик. Я мужиков знаю: лупи по морде нагайкой, будут уважать.

— Это тебя-то? — спросил Щеглов.

— И меня будут уважать. Помещики сами виноваты. Например — в праздник барин идет на деревню, гуляет с парнями, с девками, на балалайке играет. Этого нельзя: хам, мужепес, у тебя папироску прикуривает. Встретят на деревне попа, и помещик сам же смеется с парнями, а этого нельзя,— нужно снимать шляпу, первому показывать пример уважения перед религией.

— Жалко, тебя раньше не слушали.

— Вернусь — теперь послушают.

— Сегодня что-то ты расхрабрился.

— Я всю ночь думал, представь себе,— сказал драгун, поправляя фуражку,— так, знаешь, расстроился... Я сегодня на заседании говорить буду... Высший монархический совет заражен либеральными идеями, так и выпалю. Лупить шомполами надо повально целые губернии — вот программа. А войдем в Москву — в первую голову — повесить разных там... Шаляпина, Андрея Белого, Александра Блока, Станиславского... Эта сволочь хуже большевиков, от них самая зараза...

Щеглов, слегка раскрыв рот от жары и переполнения желудка, глядел, как астраханский драгун ударяет

себя стеком по голенищу. Затем он спросил все так же сонно, но особенным голосом:

— Ну, а с Прилуковым ты говорил?

Драгун сейчас же дернул головой, глаза его забегали, краска отлила от лица, он опустил голову.

Семен Иванович, разумеется, подслушивал этот разговор. Вопрос Щеглова показался ему несколько подчеркнутым, особенным. «Так, так,— подумал он,— про этого Прилукова мне уже поминали». Он вынул тетрадь и тщательно вписал весь разговор. «Так, так»,— повторил он, щурясь и посасывая кончик карандаша. Чутьем скептика и мизантропа Семен Иванович почувствовал в этом разговоре чертовщинку тревожного свойства.

Семен Иванович поднялся на среднюю палубу. Рубка, коридоры и проходы были завалены багажными корзинами. На них томились дельцы и тузы, мало привычные к подобного рода передвижениям. Здесь искренне, без психологических вывертов ругательски ругали большевиков. Рыхлые дамы, толстые старухи, перезрелые красавицы в пыльных шляпах покорно и брезгливо сидели на сквозняках. Иные угасающими голосами звали детей, того и гляди рискующих выпасть за борт или попасть под рычаги пароходной машины.

Здесь больше не верили в справедливость. Низенький, тучный господин в обсыпанной сигарным пеплом, еще недавно щегольской визитке с безнадежной иронией покачивал седеющей головой.

— Почему они не говорили прямо: мы хотим устроить грабеж? С тысяча девятьсот пятого года я давал на революцию. А? Вы видели такого дурака? Приходили эсеры — и я давал, приходили эсдеки — и я давал. Приходили кадеты и забирали у меня на издание газеты. Какие турусы на колесах писали в этих газетах,— у меня крутилась голова. А когда они устроили революцию, они стали кричать, что я эксплуататор. Хорошенькое дело! А когда они в октябре стали ссориться, я уже вышел — контрреволюционер.

— Кто мог думать, кто мог думать,— горестно проговорил его собеседник, тоже низенький и тоже в визитке,— мы верили в революцию, мы были идеалисты,

мы верили в культуру. Триста тысяч взяли у меня в сейфе,—прямо походя. Нет, Россия—это скотный двор.

— Хуже. Бешеные скоты.

— Разбойники с большой дороги.

— Хуже.

Семен Иванович ныркой походкой обошел здесь все закоулки, выяснил благонадежность второй палубы и поднялся выше, надеясь хотя бы мельком взглянуть на страшного террориста в широкополой шляпе.

Опускался вечер над Черным морем. Пароход плыл по расплавленному золоту, навстречу безоблачному закату, в золотую пыль.

Семен Иванович стоял у перил. Под ним длинная палуба шевелилась коротенькими — в ракурсе — телами эмигрантов. Никто по ним не скучал, никто их не звал никуда,— едут жить из милости.

Семен Иванович, как уже было сказано, наполовину более не считал себя русским, презрительная усмешка кривила его сухонький рот: палуба, уставленная — скажем — вместо этих людей мелким рогатым скотом, внушала бы несравненно больше уважения. «Эх, люди, люди,— дешевка! А ведь суетятся, топорщатся... Кому вы нужны с вашими карбованцами? Ободранные, небритые, ноги немытые. Так вот сейчас за такое сокровище европейцы и кинутся в драку». Семен Иванович перекинулся мыслью на себя,— даже пальцы в сапогах поджал, но вспомнился чемодан с мерлушками, и горячо стало на сердце...

«Извиняюсь, уважаемые иностранцы,— мысленно говорил он, опуская руки вдоль брюк,— войск я у вас не прошу для защиты пропащей страны, где имел несчастие произродиться; денег, гостеприимства, равным образом, не прошу; еду, как торговый человек, для обоюдной выгоды...»

Он смотрел некоторое время в сторону заката, в золотой, багровеющий край, куда влекла его необыкновенная судьба, и померещились соблазнительные перспективы. «А ведь облизнется какая-нибудь бабенка при виде Семена Невзорова,— будет время. Перебежит когда-нибудь улицу такой-этакой, богато одетый, значительный господин, чтобы только пожать ему руку...»

Семен Иванович опять перевесился через перила. Это была секунда ясновидения. Он всматривался в фигуры эмигранток, стоящие в хвостах, бродящие среди корзин и протянутых ног.

Вон сидит великолепная женщина,— сняла шляпу и проводит устало пальцами по растрепанным вискам,— платьишко на ней совсем гнилое, башмаки такие страшные, будто их жевала корова...

А вон высокая девушка в клетчатой юбке, облокотилась о перила, печально смотрит на закат. Красотка,— с ума сойти, если сбросит она с себя эту юбчонку, эту кофточку с продранными локтями... «Котик, чудная мордашка, напрасно глядишь на закат: золотой свет не золото, пустышка, попробуй, схвати рукой,— разожмешь одни чумазые пустые пальчики...»

А вон брюнеточка-живчик... Или эта хохотушка, офицерская жена, вздернутый носик, ресницы, как у куклы... Или та — гордячка с плоскими ступнями, сонными веками... Или та, фарфоровая аристократка, смотрит,— даже осунулась вся,— как негритенок мешает бобы с обезьяньим салом... Вон оно — богатство, золотые россыпи!..

Семен Иванович выпрямился,— хрустнули кости в пояснице: «В дождливые сумерки, у окошка, на Мещанской улице,— помню, помню,— мечтал, даже потные ледяные руки носовым платком вытирал,— вот до чего мечтал о великосветских балах, аристократических файфоклоках... Припадал мысленно к скамеечкам, на которых княгини, графини ножками перебирали... Вообразить не смел, однако — встретились... Но припадать уж не могу,— далеко вниз бегать... И скамеечек тех нет более. Но подождите, подождите, дамочки,— Семен Иванович задохнулся волнением,— подождите, недолго — все будет: и скамеечки, и глубокие декольте, и цветочный одеколон...»

Ночная прохлада едва охладила воспаленную голову Семена Ивановича. План необычайного предприятия был еще далеко впереди, а покуда нужно было продолжать наблюдения.

На палубу в это время поднялись двое — Щеглов и астраханский драгун — и вошли в курительный салон. Сейчас же появились еще трое пожилых, затем, легко отстукивая ступени тяжелыми башмаками, взбежал шестой, стройный, в пиджаке и в мягкой шляпе, сдвинутой на ухо. Они также вошли в салон, и дверь захлопнулась.

Семен Иванович осторожно приблизился к дверной щели. В курительном салоне, за круглым столом, засыпанным окурками, сидело шесть членов Высшего монархического совета. Лампочка без абажура освещала жирное лицо Щеглова. Губы его шевелились, но слов не было слышно,— на заседании говорили шепотом, нагибаясь над столом, чтобы лучше слышать.

Направо от Щеглова сидел молодой человек, в шляпе, сдвинутой на ухо. Нежное продолговатое лицо его было красиво и дивно от особенной синевы глаз. Он, не мигая, смотрел на свет.

«Это и есть Прилуков,— почему-то подумал Семен Иванович,— но до чего же он страшный».

Щеглов кончил. Собеседники уставили лбы в стол. Молодой человек с синими глазами сказал отчетливо:

— Что же долго думать,— позвать этого дурака Невзорова, он как раз сейчас торчит у двери.

Семен Иванович, неслышно поднимая коленки, кинулся к лестнице. Мимолетом все же взглянул: спиной к палубным перилам, вцепившись в перила, стоял мрачный революционер в шляпе,— зеленовато, по-волчьи, блеснули его глаза...

Семен Иванович пролетел по всем лестницам до нижней палубы и скрылся за чемоданами. «Все им известно, ах, елки-палки, ну и влопался, видимо, в историю»,— думал он, отдышавшись, и силился понять, откуда может грозить опасность и почему так ему страшно.

Суета затихала на пароходе. Трюмы закрывались брезентами. Бродили унылые фигуры, присматривая местечко для сна. Одинокий дьякон, сидя под мачтой, с душу раздирающей безнадежностью напевал вполголоса покаянный тропарь.

Семен Иванович, осмелев, вылез из-за чемоданов. Любопытство его привлекли голоса в носовой каюте, где помещался одесский губернатор Хаврин. Там сипло кричали:

— Убирайтесь к черту, я вам говорю. Нет у меня никаких денег.

После некоторого молчания другой, тихий голос говорил:

— Ваше превосходительство, в перспективе — голодная смерть: жена и двое детей, а час тому назад еще третий родился.

— Уберетесь вы, я спрашиваю?

— Хотя бы ничтожнейшую сумму... В некоторое оправдание, ваше превосходительство,— кровь проливал в многочисленных сражениях за родину.

— Это ваше частное дело... Я гражданская власть. Тут у каждого какие-то жены оказываются и прочее... Обращайтесь к казначею вашей части... Вы мне надоели... К чертям!..

После некоторого молчания дверь каюты медленно отворилась, и вышел низенький человек, похожий на плюшевого медведя. Споткнулся и стал, бессмысленно глядя перед собой. Казалось при свете звезд, что седые вихры его торчат дыбом. Куртка со штабс-капитанскими погонами, видимо сшитая из байкового одеяла, была покрыта тигровыми полосами. Несмотря на такую воинственную наружность, он беспомощно развел коротенькие руки.

— Вот, убирайся к черту, а куда? — обратился он к Семену Ивановичу.— За борт? Так ведь не один, четверо висят на шее. Ох! — простонал он из глубины медвежьего нутра и побрел к трапу.

Дверь в каюту осталась полуотворенной. Семен Иванович завел туда нос и увидел около стола, где горела свечка, стоявшего губернатора — огромного мужчину в черном и длинном сюртуке. Ладонями он тер себе изо всей силы багровое лицо.

— Пяти минут не дадут заснуть,— проговорил он сипло в сторону кого-то, кто, невидимый Невзоровым, сидел у стены за свечкой,— разнюхали, мерзавцы, нищая сволочь, про казенные деньги!.. Коротко и ясно:

во вверенных мне суммах отдам отчет одному законному царю.

— И Высшему монархическому совету,— проговорил спокойный голос за свечкой. (Губернатор сразу бросил тереть щеки.) — Никакого возражения у вас быть не может, надеюсь? (Губернатор отмахнул полы сюртука и сунул руки в карманы, забренчав ключами.) Нас нисколько не интересуют расходы, произведенные вами до эвакуации. (Губернатор стал раскачиваться на каблуках.) Питая к вам искреннее расположение, ваше превосходительство, хочу поставить вас в известность, что Высший монархический совет на последних заседаниях решил расширить методы борьбы и действовать тем же оружием, что и наши противники...

— Террором? — прохрипел губернатор, и щеки у него стали цвета бургундского вина.

— Да,— коротко, как удар по стеклу, ответили за свечкой.

Разговор этот до того заинтересовал Семена Ивановича, что он неосторожно просунул нос дальше, чем следовало, в дверную щель. Сейчас же губернатор обернулся и с проклятием схватил его за воротник. Невзоров пискнул. Собеседник губернатора быстро поднялся, свет от свечки упал ему на лицо,— это был тот самый красивый молодой человек с синими глазами, нагнавший на Невзорова страх.

— Очень хорошо,— сказал он,— мы должны с вами поговорить.

И он под руку повел Семена Ивановича на нос парохода, туда, где лежали якорные цепи, мокрые от росы, и черное бревно бушприта неизменно стремилось на запад.

— Моя фамилия Прилуков,— сказал молодой человек,— если не ошибаюсь, имею удовольствие говорить с Семеном Ивановичем Невзоровым, по паспорту Симоном Навзараки. (Невзоров, не возражая, проглотил слюну.) Вы оказали добровольческой контрразведке важные услуги. Кроме того, вы подписали протокол казни графа Шамборена. На вас обратили внимание как на человека способного и надежного.

— Виноват, господин Прилуков, я, собственно, больше по коммерческой части...

— Придет время, почтеннейший Семен Иванович, когда вы получите возможность заняться личными делами. Сейчас ваша жизнь принадлежит богу, царю и отечеству. Э, батенька, не спорьте, бесполезно... Одним словом — обеспечена ваша готовность подчиниться моим директивам и ваше гробовое молчание... Вы поняли: мол-чание.— Прилуков приблизил к Семену Ивановичу ледяные, ужасные глаза.— Вы, дорогой мой, служили до тысяча девятьсот семнадцатого года в транспортной конторе. Вы убили и ограбили антиквара, английского подданного... Молчать, я вам говорю!.. Много раз вы меняли фамилию... Вы служили казначеем в бандитской шайке атамана Ангела... Всего этого достаточно, чтобы повесить вас в первом же порту, где есть английский комендант... Кроме того, вы состоите в списках контрразведки и непосредственно мне подчинены... С вас этого всего достаточно?..

— Достаточно,— проговорил несчастный Семен Иванович. Он видел только в вершке от своего носа беспощадные глаза. «Неужели — Ибикус?» — подумалось ему, и ослабли ноги, безвольно задребезжало в голове. Он слушал медленный, отчетливый голос:

— Вы видели пассажира верхней палубы? Вы его хорошо рассмотрели? Это Бурштейн, опасный революционер. Вы слезете на берег вместе с ним. Вы будете следить за ним. Когда у него ослабнет инстинкт осторожности, вы ликвидируете его. Оружие вы получите на берегу. Даю вам сроку две недели. Если вы влопаетесь на этом деле, мы сделаем все возможное, чтобы вас спасти. Если вздумаете болтать лишнее, вас безусловно повесят. Все ясно? Никаких более вопросов...

Прилуков внезапно обернулся и, нагнувшись, скользнул без шума за якорную лебедку. К Семену Ивановичу подходила Дэво, теософка, кутаясь в одеяло.

— Еще один брат по духу не спит,— заговорила она сонным голосом,— я вас почувствовала издали... Нельзя без волнения созерцать звездное небо. Ведь это наши будущие родины. Миллион веков мы кочуем со звезды на звезду. Брат, я чувствую к вам доверие.

Я хочу приподнять край завесы над тайной. Смотрите сюда, на Северный Венец...

Теософка выпрямилась, одеяло соскользнуло с нее, она подняла руку. Семен Иванович, из-за ужасной растерянности и робости, стал глядеть на звезды и долго слушал таинственный рассказ Дэво о метампсихозе и о том, как первоначально люди,— то есть и она в том числе и Семен Иванович,— жили на солнце в виде растений — головой вниз, ногами кверху. У Невзорова действительно начало мутиться в голове от количества впечатлений этой ночи.

На верхней палубе, неподвижно и угрюмо, стояла сутулая фигура революционера со светящимися глазами. Черт его знает, что он наблюдал сверху: звезды ли, слабое ли свечение морских струй, расходящихся от пароходного носа, или ночные разговоры на палубе.

Рано поутру из трюмов вылезли все обитатели. Машины не работали. Пароход стоял на якоре. Брезенты, палуба, чемоданы, перила — все было мокро от тумана. Мачты до половины тонули в нем.

Но вот направо, далеко и, казалось, высоко, стали проступать оранжевые плоскости, прямоугольники, будто большие экраны. В них загорались пучки стеклянного света. Плоскости громоздились одни над другими. Это были многоэтажные дома Пéра.

Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула — минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:

— Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.

— Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.

— Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.

— А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да — крест... Эх, проворонили...

— Ничего. Подождем. От нас не уйдет.

— А говорят — турки все-таки страшная сволочь.

— Совершенно наоборот — благороднейшая нация.

— И напьемся же мы, господа, сегодня...

Так, в ожидании высадки, эмигранты простояли у бортов до завтрака. И опять — негритята мешали бобы, повар чистил картошку. Настроение стало портиться. В виду Константинополя принудительно есть свиное месиво, торчать на вонючей палубе, что это — издевательство?

Начался ропот. Послали делегацию к капитану. Тот ответил туманно. Никто ничего не понимал. Возмущались ужасно. «Как они смеют полдня держать нас на борту? — довольно нас мучили на проклятом пароходе. Кто мы, собственно говоря, пленные? или дикари какие-нибудь?»

К «Кавказу» несколько раз подходил военный катер. Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал что-то в рупор капитану, и катер опять уходил, стуча и поблескивая медью.

Подъезжали лакированные лодочки, внутри устланные коврами. Какие-то европейские изящные люди, в чистых воротничках, в шелковых носках, в блестящих туфлях, покачиваясь на быстром течении, глядели, покуривая папироски, о чем-то весело, независимо перекликались, указывали тростями на голодные, грязные, взлохмаченные лица русских эмигрантов, наглядевшись — уплывали.

Город был залит теперь апрельским солнцем. Через длинный мост Золотого Рога двигались потоки экипажей и пешеходов, сверкающие стеклами трамваи. Люди ехали и шли, куда хотели, ни у кого ни о чем не спрашивая разрешения. И никому, видимо, в этом городе не было дела до трех тысяч русских, спасшихся от революции.

А раньше — придет пароход Добровольного флота,— облепят проклятые турки: «Рус, рус, купи феску, купи туфли!..» И туфли-то дрянь, фески гнилые. А идешь до Пéра — хватают за полы, тащат сапоги чистить, из шашлычных высовываются: «Сюда, рус, рус, шашлык хорош!..» А теперь носы воротите... Подождите, свергнем большевиков, пропишем вам «рус» туфлей по носу...

В третьем часу дня произошла короткая паника. Команда военных моряков с винтовками, угрожающе щелкая затворами, вскочила на возвышение на корме. Взяли наизготовку. Другая команда заняла носовую часть.

В трюмах послышались повышенные голоса. Бледные, растерянные офицеры, щурясь от солнца, вылезали из трюмов. Их выгоняли оттуда прикладами. К пароходу подходила шаланда. Тогда все объяснилось: добровольческие части перегружались на транспорт и возвращались обратно в Новороссийск, в действующую армию Деникина.

Часть военных перегрузили. На палубе успокоились, и снова эмигранты повисли у бортов. Многомиллионный город шумел — рукой подать... Дымили трубы, проходили паруса у древних стен и выходящих из воды квадратных башен. День был теплый, лучезарный.

С пяти часов негр опять начал чистить картошку, негритята — откупоривать жестянки с мясом человекоподобной обезьяны. Тогда население парохода стало сбиваться в кучки, поднялся ропот, нашлись демагоги, и было решено коллективно отказаться от принятия пищи. Капитан ответил делегатам, что на сегодня бобы уже сварены, а завтра он прикажет выдать рис, если же подобное брожение умов повторится, то прикажет отвести пароход на шесть миль назад к Черному морю.

В сумерки пошел слух, что в кормовом трюме начался сыпняк и что союзники, боясь заразы, решили угнать пароход прямо в Африку, в горючие пески. Напряжение всех последних дней сменилось острым отчаянием. Почти никто не спал в эту ночь.

Город всю ночь переливался брильянтовыми огнями. Доносились слабые звонки трамваев и даже как будто звуки музыки из ресторанов. Не то играли танго, не то старинные вальсы...

Наутро с грохотом подняли якорные цепи. Пароход заревел и медленно двинулся вдоль панорамы Константинополя, к Мраморному морю.

Близ выхода в море опять стали на якорь. Приунывшие пассажиры глядели на пустынный берег, на глини-

стые овраги, на какие-то подозрительные облупленные постройки на косогоре за колючей решеткой. Никто теперь ни на что хорошее не надеялся.

Семен Иванович, как и все, растерялся и упал духом за эти сутки. Бессмысленно толкался, толкался до изнеможения по палубе. Жевал бобы. Курил, курил. Спохватываясь, лез наверх и проходил мимо опасного революционера. Он даже заглянул ему в тяжелые глаза, но не ощутил ни волнения, ни страха при этом.

Сейчас он обалдело глядел на унылую равнину, где близ построек лениво полоскался на мачте карантинный флаг, желтый, как зараза. Сюда сгоняли всех чумных, холерных, прокаженных, сыпнотифозных. Сейчас, видимо, загонят за эту проволоку и русских,— сиди, проветривайся. Вот тебе и Европа!

Скверно было на душе у Семена Ивановича: так на этот раз зажали его плотно, что не вывернешься. Удрать, а куда? Ну, удерешь с парохода, не ступишь и шагу — схватят, приведут к английскому коменданту и сейчас же повесят по доносу проклятого Прилукова. Без языка, без знания местности, все равно что темною ночью.

Припомнил Семен Иванович все, что слыхивал про турок гололобых, как ходят они, с усами, в фесках, в канаусовых шароварах, режут армян кривыми саблями, православных на кол сажают; нет, от своих отбиваться нельзя, к пароходу надо жаться — надежнее...

...«Ну, как я этого черта убивать стану,— думал Семен Иванович, оглядываясь с тоскливым вздохом на революционера в шляпе,— стоит, расставил ноги, дьявол чугунный. Разве его убьешь? Сам всякого угробит в два счета. А кроме того, кому это нужно? Так уж — от самодурства, от злости, от бобов с салом — распучило животы монархистам, вот и придумали, на ком сорвать досаду...»

Пока Невзоров предавался невеселым размышлениям, к пароходу подошла шаланда. Было приказано высаживаться всем с мелким ручным багажом. Тогда неожиданно среди пассажиров, в особенности в крайних — носовом и кормовом — трюмах, произошел

сложный излом психологии: высаживаться на берег решительно отказались.

Начались переговоры с капитаном, водовороты на палубе. Выскочили демагоги и закричали о единодушии, требовали объявить голодовку, грозились первого, кто спустится в шаланду, вышвырнуть за борт.

Все несчастья эвакуации, спанье в трюмах, бобы и обезьянье мясо, распученные животы, очереди у отхожих мест, грязь и последнее унижение вчерашнего дня, когда все только облизнулись в виду Константинополя; еще глубже — вся бездольная, кочевая жизнь за два года революции, разбитые вокзалы, вшивые гостиницы, налеты, перевороты, разбойники, бегство на крышах вагонов в мороз, в дождь, вымирающие в тифу города, бегство все дальше на юг — все это взорвалось, наконец, чудовищной истерикой в истерзанных душах. Начался такой крик, что капитан счел за лучшее уйти с мостика в каюту.

А затем, незаметно и совсем просто, матросы перекинули трап с «Кавказа» на шаланду. Несколько человек, в том числе Щеглов с женой и драгуном, спокойно перешли туда и закурили папироски. К трапу кинулась толпа. Началась давка. Через голову в шаланду полетели узлы и чемоданы. Капитан опять появился на мостике и крикнул по-французски, что прикажет стрелять, если сейчас же не установится порядок. Его никто не понял, но порядок установился. Шаланда три раза ходила от парохода к берегу, и к середине дня все пассажиры были выгружены. «Кавказ» загрохотал цепями и отошел с большим багажом в неизвестном направлении.

Семен Иванович стоял обеими ногами на берегу, на нерусской земле, но это его не радовало. Он чувствовал, что готовится какая-то новая каверза со стороны союзников.

Действительно, среди эмигрантов, толпившихся близ воды, появились турецкие чиновники в фесках и длинных, пыльного цвета сюртуках с зелеными — жгутом — погонами. Кривых сабель при них не было. Они что-то лопотали, указывая на унылые постройки за колючей проволокой. По кучкам эмигрантов пошел вете-

рок возмущения, но душевные силы были уже истощены. Многие только шептали: «Ведь это же издевательство... Так не обращаются даже с папуасами. Боже, какое унижение!..» Иные женщины садились на весеннюю травку и плакали.

Оказалось, что турецкие чиновники велят всем эмигрантам идти в баню и насильственно мыться. А одежду они, турки, будут парить в особых печах — вошебойнях, или антисепторах.

Семен Иванович стал в очередь и, шаг за шагом, как бывало в России у продовольственной лавки, поплелся к облупленному зданию. Очередь тянулась через ворота, через дворик, в большую залу с асфальтовым полом, исхоженным миллионами отверженных. Здесь очередь заворачивала направо, в банные двери. Близ них из окошечек высовывались руки и выкидывали связанную бечевками эмигрантскую одежду. Чиновники сваливали ее в сетчатые мешки и тащили к другой стене, к большому окошку. Сквозь него были видны жерла печей, куда бородатые турки толкали кочергами эти мешки с одеждой.

Семен Иванович вошел в предбанник и стал раздеваться, как и все, догола. «Вот она, Европа,— думал он, несколько стыдясь своих ног,— ну, не знали... Ай ай, ай!..» Около него пожилой господин, голый и поэтому неопределенного звания, говорил дрожащим голосом:

— Крест хотя бы они разрешат оставить на шее?

— Эх, батенька, уж коли начали над нами надругиваться,— систематически доведут до конца... Это вам — Европа...

— Я решительно протестую... Не желаю идти в баню!.. Я и без того чистый...

— Фу ты, какой здесь сквозняк эти турки напустили!

— Господа, всех без исключения, оказывается, крутым кипятком ошпаривают...

— Этого еще не хватало!..

Семен Иванович только вздохнул болезненно и стал в очередь к банному отделению. Перед ним двигался коротконогий, приземистый человек с широкой

спиной, покрытой волосами. От него изрядно попахивало. «Этого вымыть — много надо мыла»,— подумал Семен Иванович. Дверь распахнулась. Обдало теплой сыростью. Шумела вода. Волосатый, приземистый и Невзоров вошли по мокрому асфальту в длинное помещение, где под сотней душей прыгали, отфыркивались, отряхивались голые эмигранты.

— Вот свободный душ, вы первый или я? — спросил волосатый, оборачиваясь к Семену Ивановичу. Это был опасный революционер. Семен Иванович даже поскользнулся на пятках. Революционер стал под душ и начал скрести живот. Он фыркал, как буйвол, видимо, очень довольный, и косолапо поворачивался. Сквозь его повисшие волосы был виден разинутый рот, отплевывающий воду. «Великолепно,— проговорил он насколько мог весело,— давно я не мылся, великолепная баня».

Семен Иванович глядел на него. «Видишь ты — моется, здоровенный какой, плотный, выпить, чай, не дурак... Ну, как его убивать? — даже как-то неудобно».

В это время мимо прошел белый, как девушка, Прилуков и с усмешкой твердо посмотрел Невзорову в глаза.

Турки приготовили еще одну неприятность. Прогнав эмигрантов через душ, они выдавали каждому его одежду, горячую, прямо из печи. Голые люди начинали одеваться, но не могли влезть ни в штаны, ни в рукава,— одежда сселась, сморщилась, башмаки испеклись,— хоть плачь. Так, ковыляя, вымытые, с выбитыми микробами, эмигранты потянулись к сходням, где их погрузили в мелкие суда и повезли по вечереющему, как оранжевое зеркало, Мраморному морю на последний этап — остров Халки.

Семен Иванович оказался на одном катере с Ливеровским. Тот все шутил, называл Невзорова Оглы Невзарак, обещался подарить ему феску. А Семен Иванович вздыхал и помаргивал. Приближался уединенный островок Халки, весь уже погруженный в тень. За его скалистым очертанием разливался закат. А у

самой воды на островке уже горели огоньки поселка. Теперь можно было различить сильно накренившиеся мачты и трубу «Кавказа», разгружавшегося у пристани.

«Неужели на этом острове найду себе могилу?» — подумал Невзоров, который, как русский человек, размяк душевно после бани. Воздух был легкий. Уютно отражались огоньки в воде. И у Семена Ивановича под жалостью к самому себе начала дрожать лукавая жилка: вывернешься, братец, раскроешь еще крылья, главное — тихонько, тихо, не противореча, никого не тревожа — бочком пробирайся к счастью.

Катер подошел к длинным мосткам. На них лежали горы багажа, суетились люди в фесках, оживленно разговаривали повеселевшие эмигранты. Приехали! Неподалеку на берегу ярко светились окна шашлычной.

— Господа! — взволнованно крикнул какой-то длинный человек, шагая через чемоданы,— а какая у них здесь водка, какие шашлыки! Багаж завтра разберем — айда закусывать!

Семен Иванович сошел на берег, потянул носом и вдруг вытянулся на жилистых ножках. Неожиданно, совсем бы и не к месту, охватила его сумасшедшая радость,— и он крепко сжал кулачки, как прежде бывало.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Шумно и беспокойно стало в Мраморном море, на скалистом острове Халки.

Вслед за «Кавказом» выгрузился второй пароход с эмигрантами из Ялты. Пять тысяч русских, привыкших к необъятным пространствам и к разнообразным впечатлениям гражданской войны, очутились на небольшом клочке земли среди сияющего безбурного моря, в греческом поселке, мирно дремавшем третью тысячу лет у самой воды.

Русские воинские части разместились наверху, в древнем монастыре. Прибили в длиннейших коридо-

рах к дверям записки: «Штаб армии», «Отдел снабжения», «Служба связи», «Конная дивизия» и прочее. За каждой такой дверью в пустых и пыльных комнатах валялось на каменном полу по десятку простреленных со всех сторон, прожженных девяносташестиградусным спиртом белых офицеров.

Хаврин со своей канцелярией и двенадцатью чемоданами денег, суровые генералы, адмиралы обоих флотов, бесхозные губернаторы, дюжины две промышленных королей заняли дачи на полугоре.

Рядовой эмигрант разместился внизу у моря, в деревянных домишках и гостиницах, над шашлычными заведениями, среди неизъяснимого количества клопов.

Клопы здесь были не то что какие-нибудь русские — вялые и сонные. Клоп на острове Халки был анатолийский, крупное, бодрое животное. Он не смотрел — ночь ли, день, была бы подходящая пища. Едва только эмигрант ложился на постель,— клоп дождем кидался на него с потолка, лез из щелей, изо всех стен. Эмигрант стискивал зубы, терпел. Нет. По ночам можно было видеть, как на улицу или на лужок выскакивает встрепанный человек в нижнем белье и чешется под огромными звездами, видавшими в этих местах и аргонавтов и Одиссея.

А наутро — за что ни схватись: вытащит эмигрант платок, чтобы вытереть пот с лица,— в платке клопы, гладкие, веселые. Или в кабаке положит руки на стол,— из рукавов лезут клопы.

На узенькой, жаркой улице,— единственном месте встреч и гулянья,— с утра толкались русские. Делать было решительно нечего. В открытых лавках шипели шашлыки, в больших плоских кастрюлях дымились напоказ залитые салом пловы. За окнами дощатых кофеен любознательные эмигранты учились поджимать под себя ноги по-турецки и курить кальян, от которого мутилось в голове хуже, чем от белены. На перекрестках, перед горячими медными ящиками, чистильщики сапог вращали вылупленными глазами в кровяных жилах. Известковая пыль клубилась под ногами у гуляющих. Вот встретились, раскланиваются:

— Графиня, как спали?

— Ужасно, Семен Иванович, съели заживо.

— Виноват, у вас на ухе клопчик, графиня.

И Семен Иванович Невзоров деликатно снимал насекомое, бросал его на дорогу. Графиня, в изжеванном платье и в наскоро купленных турецких туфлях, грустно благодарила за эту мелкую услугу, спрашивала,— нет ли новостей?

— Окромя пьяного скандала нынче ночью, ничего нового, графиня.

— А когда в Константинополь?

— Говорят, что дня через три начнут выдавать пропуска, но с трудом. Желаете, может быть, чашку турецкого кофе или простокваши,— зайдемте в кофейню.

— Благодарю вас, в другой раз.

Семен Иванович бойко откланивался и протискивался сквозь толпу до небольшой площадки. Здесь, на куче щебня, поросшего пыльной травкой,— остатка от греческого погрома четырнадцатого года,— играла шарманка.

Пестрая, в зеркалах, с колокольчиками и лентами, шарманка эта дудела, и свистела, и позванивала над суетливым поселком, над тихим морем, всегда одно и то же: «Вите, вите, Венизелос» — утверждая, назло всему Исламу, греческое влияние на Мраморном море и в обоих проливах.

Семен Иванович с удовольствием послушал шарманочное хвастовство про великого Венизелоса, снова нырял в толпу и раскланивался с хорошенькой хохотушкой, офицерской вдовой.

— Лидия Ивановна, как спали?

— Ну, оставьте, пожалуста, мы еще не ложились.

— Все кутите?

— Да еще как. В четыре часа утра установили связь с моряками. Они покрыли нас таким коньяком, что у нас выбыло пятьдесят процентов состава. Сейчас едем на ослах на гору — смотреть вид. Потом — купаться. Нет, право, здесь чудно.

— Виноват, Лидия Ивановна, у вас на груди — клопчик.

— Спасибо.

Семен Иванович шнырял в бестолковой толпе гуляющих и пьяных, болтал с самым непринужденным видом, оказывал дамам мелкие услуги и делал все это неспроста.

Он до тошноты в желудке страшился уединенных мест, где к нему непременно должен подойти Прилуков и сказать: «Вы что же дурака валяете? Сегодня Бурштейн должен быть ликвидирован, иначе...»

Скрываясь от ледяных глаз Прилукова, Семен Иванович преследовал, между прочим, и другие цели: заветный план, открывшийся ему в час заката на пароходе в Черном море.

План был хорош со всех сторон, откуда ни посмотри — золотое дело. Надо отдать справедливость Семену Ивановичу: в борьбе с судьбой, глянувшей некогда ему в лицо глазами старой цыганки на Петербургской стороне, трепавшей его, как щенка, возносившей высоко, чтобы снова втоптать в грязь, в борьбе с судьбой, которая лезла к нему отовсюду разными гнусными рожами — ибикусами,— он не упал духом, нет. Ум его развился, приобрел легкость, осторожность в разведке, хватку в решении. Верткий телом, готовый ко всякой случайности, ничему более не удивляющийся, жадный и легко отпадчивый, Семен Иванович считал себя новым человеком в этой жизни, полной унылых дураков с невентилированными мозгами, набитыми трухой предрассудков о дозволенном и недозволенном.

— Дозволено все, господа, откройте форточки,— говаривал он в кофейной за стаканом греческого вина, которым угощал нищее офицерское сословие. Здесь, на острове, Невзоров в первый раз за свою жизнь заговорил,— и не глупо. Взялись острые мысли, едкие слова. Его слушали, и он получил вкус к разговорам.

— Хотя бы о политике, не будем вола вертеть, господа,— толковал он тому же офицерству.— Революция, пролетариат, власть Советов — одна пошлость. Я при своем таланте могу нажить капитал, а он, комиссар, в Москве сидит, не может, живости нет, или с детства над книгами задохся. Вот они и клеют афиши на заборах, стараются переманить народ, чтобы их было

больше,— на меня одного кинуться вдесятером. И мне приставляют ко лбу наган, выдергивают из кармана валюту, кольцо — с мизинца. И я же оказываюсь эксплуататор, индивидуалист-одиночка. Блевать хочется, так это скучно.

— Верно, правильно, браво, главное — умно,— шумело офицерство, дымя папиросами.

— Пошлость эта завелась в России от зловредного старика, Льва Толстого, это мне один доктор рассказывал: граф, помещик, трюфели ест, фазанов, мадеру лопает, неврастеник, конечно, ну и потянуло на капусту. Объявил себя другом физического труда, врагом капитала: «Я, говорит, не могу молчать». Нет, елки-палки. Напишу я брошюру против большевиков. Пусть в Европе прочтут горькую правду... Покуда они там охают-ахают, большевики всю Российскую империю разворуют, потом ищи с них — дудки! Драгоценности, обстановки, тысячные шубы растащили, порвали, пожгли. Я сам — у себя в именье — из огня выскочил в одних подштанниках. Музеи не пощадили, Рубенса, Рембрандта беспощадно выдирают — Красной Армии на подвертки. Брильянты ведрами увозят в Архангельск на китобойное судно «Интернационал»,— оно у них второй год под парами стоит на случай бегства. А народу, господа, осталась одна четверть в России, да и те в леса разбежались... Поезда, вместо паровозов, на конной тяге передвигаются. К Новому году, поверьте мне, вместо нашей родины останется пустое пространство земли.

У офицеров белели лица, безумели глаза. Жутко бывало в кабачке в эти минуты. Семен Иванович наслаждался. Семен Иванович становился популярным на острове. Член конституционной партии, Масленников, даже предложил издать его брошюру за счет партии. Но Семен Иванович туманно уклонился, хотя общественное внимание крайне льстило ему.

Прилукова он видел ежедневно издали и сейчас же нырял в толпу. Все же он понимал: рано или поздно придется встретиться лоб в лоб. Убить Бурштейна было бы делом плевым, конечно, но страшили последствия. Не убить — опять страшили последствия.

Страшный революционер поселился в единственной на острове гостинице и от трех до пяти гулял по шоссе. Он, по слухам, крайне обиженный тем, что его в России отвергли, подготовлял массовое переселение в Аргентину и уже вел осторожную агитацию среди военных.

Так прошла неделя со времени высадки. На острове не затихла толчея. Развернулись общественные комитеты Земского и Городского союзов,— они выдавали битых кроликов, рис и туфли, а также вели идейную борьбу с пьянством. Политические партии (кроме монархистов) на бурном заседании блока, после взаимных упреков и оскорблений, выпустили воззвание, оно начиналось решительными словами: «Проклятие вам, большевики...» Население острова приглашалось к единодушной борьбе за единую, неделимую Россию. Население приняло это к сведению и продолжало развлекаться, как могло: купались, нюхали кокаин, ели шашлыки, пили «дузик», шумные компании верхом на осликах скакали по лесистым горам, завивали горе веревочкой.

А по весеннему зеркальному морю мимо острова проплывали плоскодонные пароходики — шеркеты, битком набитые веселыми европейцами и константинопольскими дельцами. Эти вольные люди не ели кроликов, похожих на ободранных кошек, не ходили регистрироваться к французскому коменданту, не толкались в известковой пыли между парикмахерской «Идеал» и шашлычным заведением Каракаргопуло, не били керосином клопов. Там, куда в голубые, как мираж, очертания мирового города уплывали шеркеты, безболезненно перепархивали между пальцами турецкие и английские фунты, там у каждого был свой дом в своем собственном отечестве. Там мужчины прохаживались с гордо поднятой головой, а женщины, в мехах и брильянтах, выходили из автомобилей у зеркальных витрин, полных роскоши. Ах, черт! ах, скрип зубовный! проклятие вам, большевики!

Хуже всего приходилось женщинам на этом нищем островке, в прошлом — развалины жизни, дни, кото-

рых не хочется вспоминать, сегодня — стирка в рукомойной чашке истлевшего бельеца, на ужин — остатки кроликовой кошки, в минуту тишины — взгляд в зеркало на преждевременные, совсем не нужные морщинки, да оскорбительное знакомство с провонявшим потом полковником Сеноваловым, багровым и громогласным чудилой. А будущее — как страшный сон, когда видишь себя в какой-то пепельной мгле идущего на цыпочках, раскинув руки, по узенькому карнизу незнакомого дома на высоте многих этажей. В будущее лучше было не заглядывать.

Среди этих-то женщин Семен Иванович главным образом и вертелся, угощая их кофейком и простоквашей, острил, говорил о жизни, встряхивал волосами.

— Верх цивилизации — роскошная спальня красивой женщины, храм наслаждения. Все остальное — предрассудки, срок жизни очень мал, а прогресс не знает морали. Так-то, мадам.

Радостный слух облетел остров: завтра начнут выдавать пропуска в Константинополь.

Семен Иванович узнал об этом, лежа в постели. Он квартировал у трактирщика Каракаргопуло, во втором этаже, в комнатешке, предназначенной для кутежей местных греческих сладострастников: красная ситцевая занавеска на окошке, красный пыльный полог над перинами, набитыми клопами, вместо стула — прочное бидэ с расписной крышкой, ход через трактир. Помещение это Семен Иванович облюбовал, опасаясь неожиданного посещения Прилукова,— здесь он был в безопасности.

Семен Иванович выскользнул из-под перины, живо почесал рыжеволосые жилистые ноги, и в голове молнией пронеслись противоречия. Завтра, разумеется, он постарается улизнуть с острова, но Прилуков это лучше его знает и сегодня же будет говорить с ним лоб в лоб. Как поступить, на что решиться? Запрятаться ли на берегу, между камнями, на целые сутки? Или как-нибудь перехитрить Прилукова?..

Семен Иванович задумчиво оделся, долго расчесывал бородку и волосы, посматривая на себя в стенное зеркало,— из мутновато-ртутной глубины его глядело на Невзорова лицо... Странное глядело лицо... Перекошенное, с мертвенным глазом... Что за дрянь зеркало повесил на стенку глупый грек Каракаргопуло. Никакого же сходства между Семеном Ивановичем по эту сторону и Семеном Ивановичем по ту... Вдруг холодок пошел по спине Невзорова, он отступил вбок от зеркала, будто оттуда глянуло что-то ужасно знакомое, надел картузик, еще раз покосился и вышел. Решение было принято.

— Аллах верды, бахчи, бачка,— сказал он толстому, мягкому, женоглазому Каракаргопуло, думая, что говорит по-турецки, и на особенно увертливых ногах зашагал к парикмахеру.

Народу на уличке было мало в этот час,— эмигранты стояли в очередях у французской комендатуры за пропусками. По пути Семен Иванович купил феску без кисточки и спрятал ее в карман. Парикмахеру он объяснил знаками, что хочет снять свою растительность. «Идеал» щелкнул языком, как скворец, и машинкой окатал Семену Ивановичу и голову и бороду с усами, затем чисто выбрил его.

Невзоров любопытно поглядывал на свой маленький и острый череп, на заголенный рот, кривенько усмехающийся от сраму, на лисий подбородок. «Лисица»,— подумал он с едкой к себе симпатией.

Он надел феску,— сам черт не узнал бы теперь Семена Ивановича,— и вышмыгнул из парикмахерской, не заметив, что из другого отделения, где делали маникюр, внимательно следили за его превращением синие глаза.

Двое знакомых прошли мимо Невзорова, не признав его. Он вернулся домой, и Каракаргопуло, также не узнав его, долго колыхался и цыкал языком. Семен Иванович предложил ему купить мерлушки. Каракаргопуло разволновался, ушел и вернулся с двумя дошлыми греками. Они так плотно обступили Невзорова, так кричали и торговались, что он уступил мерлушки за 750 турецких фунтов. Все же это было богатство.

Во французской комендатуре он протолкался к чиновнику, решительно сунул под пресс-папье сто франков и сейчас же получил пропуск в Константинополь. Шеркет уходил завтра в девять. Это время до утра решало судьбу Семена Ивановича. Он юркнул в темную кофейню, спросил чашечку кофею, поджал ноги под себя и закрыл глаза, точь-в-точь как задремавший турок.

Но воображение его не дремало. Он представлял себе шумные улицы Константинополя, полные дураков. Он со своей находчивостью и умом объегоривал и ощипывал слишком волнующихся при денежных сделках левантинцев, слишком доверчивых европейцев. Он продавал пароходы Добровольного флота, нефтяные участки, русских красавиц в гаремы. Он оборачивал капитал до пяти раз в сутки. Он гонял по городу в закрытом автомобиле, держа под груди двух красавиц брюнеток, кокоточек.

Мечтательность,— остаток варварства,— опасное качество для делового человека. Она убивает осторожность, искривляет перспективу, придает ложную форму вещам, отбивает чутье. Семену Ивановичу надо было чутко и недремно сидеть в темном углу, наблюдая за посетителями. Он же распустил крылья и нарвался. Сухой палец надавил ему на плечо, и ледяной голос проговорил:

— Ну, а теперь пожалуйте со мной, поговорим

Перед ним стоял красавец Прилуков. Семен Иванович слабо застонал, вытащил из-под себя затекшие ноги. Прилуков сказал:

— На полдороге к монастырю свернете по шоссе, голубая дача — вторая направо, там ждите.

На голубой даче, в опрятном зальце, куда вошел Невзоров, на стене висел портрет Николая Второго, убранный крепом. Семену Ивановичу стало робко. Он почтительно присел на один из венских стульев, отражавшихся в навощенном паркете. Ни одной соринки на полу, ни одной мухи на стене. Успокоительно попахивало сдобными хлебцами. «Сразу видно — аристо-

краты живут,— подумал Семен Иванович,— быть все-таки не может, чтобы они меня на мокрое дело послали».

В это время из боковой двери вошел астраханский драгун, уже знакомый Невзорову по пароходу. Надутое лицо его было воспаленное, вздернутый нос посапывал, глаза без ресниц были мутные. Видимо, у него вдребезги болела голова с похмелья.

— Здравия желаю,— достойно и не без поспешности сказал Семен Иванович, поднявшись со стула. Драгун ответил хриповатым шепотом:

— Здравствуй, сволочь.

И уставился тухлыми глазами на Невзорова.

Семен Иванович, конечно, пренебрег таким обращением и доложил, что пришел по приказанию Прилукова. Драгун опять сказал:

— Морду разобью.

— За что-с?

— Разобью морду — тогда узнаешь за что.

— Я всегда готов всемерно пострадать на пользу отечества, но не заслужил, извиняюсь, вашего крайнего обращения.

— У, сукин сын, дерьмо,— говорил драгун, обходя кругом Невзорова и глядя ему то на ноги, то на голову.

Положение Семена Ивановича становилось настолько щекотливым, что он подался к выходной двери, но драгун сейчас же запер ее и готовился, видимо, въехать в ухо.

— Обрился, мерзавец, скрываешься, феску надел...

— В первый раз вижу такое обращение,— Семен Иванович прищурился для выразительности и загородился стулом. Драгун молча развернулся, но Семен Иванович успел присесть. Вошел Прилуков и раздельно, как на морозе, проговорил:

— Теплов, потрудись без рукоприкладства. (Драгун неохотно отвернулся от Невзорова и потащил из заднего кармана галифе серебряный портсигар с кистью.) Ну-с, господин Невзоров, у нас остается один сегодняшний день. Завтра известное вам лицо переезжает на жительство в Константинополь, так как, не в

пример прочим, через своих сионских мудрецов получило разрешение и даже визы.

— Господин Прилуков, да как же, да где же? Ведь известное нам лицо сидит цельный день в номере, на прогулку выходит — где людно. Я бы с радостью с ним покончил...

— Одним словом, Невзоров, вы помните наш разговор? Даю честное слово, завтра пойду к французскому коменданту и выдам вас на предмет повешенья...

— Ну, для чего же, господин Прилуков...

— Потрудитесь молчать. Вот револьвер.— Прилуков вынул из кармана маленький браунинг и положил его перед Семеном Ивановичем на стол.— Он принадлежит известному вам лицу, украден у него сегодня ночью. Меня совершенно не касается — где и как вы ликвидируете это лицо. Предоставляю это вашей находчивости. Постарайтесь, чтобы выстрел был в голову, по возможности не в затылок. Вы разожмете ему правую руку и вложите револьвер. Это будет самоубийство.

Семен Иванович, как загипнотизированный петух, глядел на револьвер. Драгун проговорил плачущим голосом:

— Миша, позволь — ему в морду въеду, смотри, он раздумывает.

Тогда Семен Иванович сунул револьвер в карман пиджака, пошел к двери и спросил, не оборачиваясь:

— После этого буду свободен?

— После этого можете убираться ко всем чертям.

Семен Иванович сел на лавочку против гостиницы и ждал, когда Бурштейн выйдет гулять. Это были сквернейшие часы в его жизни,— а вдруг проклятый жидюга так нажрется за обедом, что без прогулки завалится спать?.. Что делать тогда,— в окошко лезть к нему ночью? Семен Иванович вспомнил, как мылся с ним в бане на карантине. «Надо было тогда его из шайки кипятком окатить крутым,— непременно бы умер, а вот теперь из-за него карьера вся ребром поставлена...»

Невзоров нетерпеливо вертелся на скамейке перед гостиницей. Дул восточный ветер. Жгло солнце. Проносились облака известковой горячей пыли. На зубах скрипело, лицо было воспалено после бритья, по всему телу чесалось. Было уже без четверти четыре. Обед в гостинице окончился. Несколько человек вышли за решетку в садик, где ветер трепал сухие листья пальм,— сели в полотняные шезлонги и, ковыряя в зубах, глядели на измятое потемневшее море.

Вдруг Семену Ивановичу представилось, что это — день его гибели... Именно такой, пыльный, окаянный, известковый, когда все зудит и чешется в смертной тоске... Он заметался на скамейке, не уберегся, и облако известковой пыли кинулось ему в глаза, запорошило, ослепило. Семен Иванович тихо завыл и принялся тереть глаза.

Когда он смог их открыть,— низконогая, коренастая спина Бурштейна не спеша удалялась по шоссе к лесу, тоскливо шумевшему на горке.

Невзоров сорвался со скамейки вдогонку, но скоро овладел собой и свернул наверх, в сторону корявых сосенок, чтобы выйти на шоссе впереди Бурштейна. Лес, обычно полный гуляющими, сегодня был пустынен. Карабкаясь по хвойному склону, по осыпающимся бурым камням, задыхаясь от нетерпения, весь в поту, с пересохшей глоткой, Семен Иванович добрался до места, где в глубокой выемке снова появилось шоссе. Здесь он, вместе с камнями и пылью, съехал на заду и пошел по белой дороге в обратном направлении. Револьвер он переложил в правый карман брюк.

Через несколько минут он увидел Бурштейна. Он весь сотряссся от волнения,— корни обритых волос стали торчком. Бурштейн, расставив ноги, что-то писал в книжечке, затем глубокомысленно почесал в ноздре карандашом, не поднимая головы, повернулся, как буйвол, и побрел назад к дому.

Тут уже Семена Ивановича подхватило ветром, так он вдруг стал легок: на цыпочках, неслышно (суровый шум леса заглушал шаги) он догнал Бурштейна и уже судорожно сжал в кармане револьвер...

Бурштейн, присев слегка, живо, дико обернулся и уставился в глаза Семену Ивановичу. Прошла значительная пауза...

— Вы что это — обрились? — мрачно сказал Бурштейн.— Я сразу и не узнал, странно, странно...

— Пыль, знаете, жара, взял, знаете, и побрился,— пробормотал Семен Иванович и в ту же секунду пропал, погиб,— со слезным грохотом рухнули все его ослепительные перспективы... Съежилась душа, стала просто душонкой, обмякли жилистые мускулы, кулак с револьвером завяз в кармане... Ах, не надо было глядеть в эту секунду в человеческие глаза, которые должны умереть, не надо было бормотать про парикмахера!!!

Бурштейн спросил:

— Гуляете?

— Знаете, погулять вышел.

— Странно, странно. Я вас только что видел,— вы против гостиницы сидели, терли глаза.

— Не может быть... Никогда глаза не тру, вы обмишурились...

Тогда резко, повелительно Бурштейн крикнул:

— Выньте руку из кармана! — И, когда Невзоров потащил руку, он схватил его за вялую кисть, нагнулся низко.— Так и есть, это мой браунинг.

— Господин Бурштейн, я сам бывший революционер... Товарищ, подождите обвинять... Я сам, быть может, у вас защиты хочу просить... Я в коробку попал, господин министр! Войдите в мое положение...

И Невзоров, хватая ледяными пальчиками воздух у самых пуговиц бурштейновского пиджака, торопясь до пены на губах, рассказал все плачевные обстоятельства, которые на пароходе «Кавказ» привели его к необходимости покуситься на убийство, «совершенно мне не нужное, даже невыгодное, при моем уважении к вам, господин социалист».

По мере рассказа Бурштейн хмурился, поднимал плечи, врастал в землю. Каждый раз при имени Прилукова он принимался свирепо сопеть. Он выспросил подробности и записал их в книжку. Затем, не обращая более внимания на Невзорова, пошел домой.

Семен Иванович, в полном расстройстве чувств, проводил глазами его приземистую спину. Затем свернул в лес и лег носом вниз на колючую, горячую хвою.

Не имеет смысла описывать душевное состояние Невзорова,— оно было скверное. Не шевелясь, он пролежал в лесу до темноты.

Закатилось солнце в Мраморное море, быстро настала эгейская ночь. От горячей земли пошел сухой запах. Зажглись особенной величины и ясности звезды. На горизонте разлилось зарево огней Константинополя. Внятен стал мирный шум волн внизу.

Семен Иванович сел тогда, обхватив колени, и среди горьких размышлений почувствовал себя покинутым малюткой, заброшенным злой революцией на пустынный остров среди чужих морей. Третья ошибка за сегодняшний день,— третий случай слабости. Нет,— в герои для повести Семен Иванович никуда не годился.

Покуда он сидел жалким комочком на сухой земле, которая еще хранила следы аттического бродяги Одиссея, тоже не раз попадавшего в дрянное положение, в это время в лесу появились три мужские фигуры. Темноту прорезал луч электрического фонарика, и голос астраханского драгуна прохрипел в десяти шагах:

— Вот он!

Семен Иванович пискнул, как заяц, и пустился наутек. Напрасно. Драгун, налетев, въехал ему в ухо,— Семен Иванович покатился в какие-то колючки. Трое военных навалились на него и кулаками и топтунками били его по чему ни попало. Мало того. Драгун сказал: «Все равно жаловаться не будет, снимай ему штаны». Он сел Семену Ивановичу на голову, другой — на ноги, третий заголил штаны и ремнем стал полосовать ягодицы Невзорова, вопиющие к чужим равнодушным звездам.

От боли, от страха Семен Иванович впал в обморочное состояние. Последнее, что он чувствовал,— это проворную руку, из-под низу рванувшую у него, из

кармана пиджака, бумажник с пятью тысячами франков и семьюстами пятьюдесятью турецкими фунтами.

Очнулся Семен Иванович,— все еще была ночь. Пошевелился, застонал. Оставалось одно для такого слабого создания — залиться горючими слезами. И он неумело заплакал.

На Пéру блестят сотни витрин, развеваются над посольствами иноземные флаги, двенадцатиязычная толпа шумит, суетится, шатается из лавок в лавки, едят сладости, бросают апельсинные корки, чистят себе башмаки, забираясь на перекрестках на высокие кресла под балдахин.

На Перу, толкая локтями людишек в фесках, презрительно шагает посреди замусоренного тротуара английский офицер. Гуляет в малиновой с золотом кепи усатый француз, похлопывая стеком себя по коричневым крагам и с готовностью поворачивая великолепный профиль к мелькнувшему личику за полупрозрачной чадрой, к напудренному носику под соломенной шляпкой, к сизоволосой головке бледной гречанки.

На Перу кучками бродят русские офицеры с черепом и костями на погонах, в измятых лихо картузиках, с облезлыми маузерами, торчащими из кармана. Странно и нище одетые русские женщины с тоской отворачиваются от витрин.

Русские интеллигенты, в пыльниках, испачканных дегтем и вагонным салом, поправляют разбитое пенсне перед вертящимся торчком на угольях многопудовым вертелом, с которого лоснящийся, щетинистый восточный человек срезает длинным ножом лакомые кусочки. В мистической тоске бродит меж запахами жареного и сладкого прокуренный журналист, мечтая о разрешении на русскую антибольшевистскую газету в Константинополе.

На Перу, на лотках и тележках у торговцев остатками немецкого товара и местной дряни, трещат, сводят прохожих с ума звонки, будильники, звоночки и колокольчики. Не переставая звонят трамваи, хрипят, взвывают автомобили, щелкают бичи парных извозчиков, из ресторанных дверей вырываются, вслед за пья-

ными, растленные звуки оркестриков. Вся эта суета — высоко над морем, на Перу.

У подножия Перу — этой международной части города между мостом через Золотой Рог и пароходными пристанями — начинается Галата — узкие, грязные портовые кварталы. Это — подол Перу, куда стекает вся грязь его, куда стремительно сбегает всякий, кому там, наверху, не повезло.

Здесь, близ моста, у меняльных лавок, прислонившись плечом к фонарному столбу, стоял Семен Иванович в феске. На осунувшемся, плохо бритом лице его были видны лилово-оранжевые остатки побоев.

Прошло две недели после несчастного приключения в лесу. Русские на острове Халки не только получили разрешение бывать в Константинополе, но если кто пожелает отказаться от пайка, то и переехать туда на жительство. Семен Иванович вторую неделю жил в центре Галаты. Бумажник с деньгами у него был похищен, но истязатели тогда, в лесу, не догадались залезть ему в брюки, где в мешочке хранился остаток разбойничьего золота — пятнадцать золотых десятирублевиков.

На эти-то жалкие остатки Семен Иванович и жил теперь в гостинице «Сладость Востока», в гнилом трехэтажном здании, полном проституток, воров, сутенеров, пьяных матросов и совершенно неопределенных черномазых личностей.

Из пятнадцати золотых — двенадцать Семен Иванович привязал себе на шею в мешочке, хранил их жадно: они были последней ставкой на жизнь. Питался он чем попадется и весь день толкался у меняльных лавок, у палаток и лотков, где трещали звонки, прислушивался, присматривался, заучивал левантинский жаргон, учился щелкать языком, вскидывать глаза.

Наверх, в Перу, он не поднимался из боязни нежелательных встреч. К тому же — зачем было растравлять себя видом роскоши и сытого счастья? Душа Семена Ивановича после приключения в лесу оробела, и весь он сделался осторожный и внимательный, как собака, побывавшая под колесами.

Присматриваясь к лотковой торговле, к менялам

и биржевым жучкам, он отстранил от себя эту деятельность, как мало надежную. Служба в ресторане, поденная работа в порту, чистка сапог казались ему скучными, утомительными, малодоходными. Оставалась деятельность комиссионная, наиболее подходившая сейчас к его вкусам и возможностям.

Семен Иванович начал с малого: он предложил привести кавалера своей соседке по «Сладости Востока», сбившейся с пути девке, Ишак Мамэ, которую накануне в пьяном виде раздели в порту до белья. Выйти на улицу ей было не в чем. Невзоров побежал к пристани и, ломая язык, обратился по-левантински к безусому русскому с юнкерскими нашивками, только что спустившемуся с шеркета в портовую суету:

— Русский, хочешь девочку из султанского гарема? — вай! (Щелканье языком, и глаза летят кверху.) Симпатичный, ароматичный, совсем рахат-лукум, пышный, белый, сладкий,— ай, ай... Иди за мной.

Юноша залился краской, потом усмехнулся, пробормотал: «Что ты мне врешь, турецкая морда?» — и пошел за Семеном Ивановичем в «Сладость Востока». За эту первую комиссию Невзоров получил с юнкера лиру, а благодарная девка взяла его с собой на ночь в постель.

Пытая комиссионную деятельность в других направлениях, Семен Иванович натолкнулся на сильную конкуренцию,— один скутариец пригрозил ему даже выпустить кишки. Приходилось ограничиться мелким сводничеством.

Кроме Ишак Мамэ, он познакомился с двумя сестрами-мулатками, Хаэ и Замба, необыкновенно ленивыми и неумеренными в страстях молодыми девушками. Они дня по три валялись не евши в номере на истертых диванах. Семен Иванович и этих клиенток принял близко к сердцу и водил к ним изголодавшихся по женщинам русских. Его доход иногда доходил до пяти лир в день.

Другой на его месте почувствовал бы себя в раю, приоделся бы, отъелся, завел бы лаковые башмаки. Но Семен Иванович, как уже известно, был натура беспокойная и мечтательная. Он не мог забыть пред-

сказания цыганки и прикапливал в мешочек на груди скудные доходы, веря, что судьба хоть раз еще вознесет его. Не с этими же последними лахудрами, Ишак Мамэ, Хаэ и Замбой, завоевывать ему Константинополь. Эх, будь деньги, он бы знал, каких женщин пустить в оборот. «Сераль принцесс московит, или салон аристократки»,— вот был смелый план, открывшийся ему в час золотого заката на пароходе.

Но судьба пока была безжалостна. Семен Иванович минутами чувствовал утомление. Так и сейчас,— стоя у фонарного столба, он с отвращением поглядывал из-за полуопущенных век на человеческий сброд, идущий из Перу в Стамбул через мост и из Стамбула в Перу, толпящийся у меняльных лавок и лотков, у остановок трамвая. Солнце жгло, ветер нес мусор по корявой мостовой, скрипели пристани, барки и лодки на набережной. Постыло.

«Паразиты,— думал Семен Иванович,— жулье, ни одной порядочной личности... Керосином облить, сжечь вас всех вместе с городом, а еще — цивилизация...»

Сегодня клевало плохо. Вот прошли двое англичан-моряков. Семен Иванович выразительно сказал им по-европейски:

— Хау ду юду, кароший ханум, ичк чик,— вуле ву?

Моряки даже не обернулись. Остановился прикурить около фонарного столба приземистый русский, строгий, с проседью, со щекой, исковерканной белым шрамом. Семен Иванович сказал ему:

— Айда, русский, одалиска есть, симпатичный, ароматичный...

Строгий русский ругнулся неожиданно матерно, прошел. Сорвался также француз-капрал, заговоривший с Невзоровым по-своему, даже потрепал его по плечу, трещал, выкатывал налитые красным винищем глаза, но Семен Иванович растерялся, и клиент был упущен. Греки, армяне, итальянцы, левантинцы шныряли мимо, жмурясь и отплевываясь от пыли. Турки не попадались потому, что турок вообще было мало в те времена в Константинополе.

Семен Иванович собрался уже переменить место,— в это время на него налетел огромный бритый человек

в грязном парусиновом пальто,— возбужденный и потный. Остановился, всмотрелся, раскрыл рот, полный золотых зубов, и раскатился лошадиным смехом. Это был Ртищев...

— Граф!— крикнул он,— это ты!— обрился, ну и сукин же сын, пятак твою распротак! Что ты тут делаешь?

— Торгую женщинами,— солидно ответил Семен Иванович.

— Брось, прогоришь. У меня есть великолепный план. Идем, я расскажу.

Улица, куда вошли Ртищев и Семен Иванович, находилась в центре Галаты и была узка, без тротуаров, мощенная древними плитами. Место насиженное.

Не было моряка в пяти частях света, который бы в свое время, под руку с товарищами, горланя и спотыкаясь, не шатался здесь мимо соблазнительных окон и заманчивых дверей. Круглые сутки валил шумный и беспечный народ по этой улице, топотали копытами ослики, кричали продавцы сладостей, женские руки стучали изнутри в стекла, хлопали вытряхиваемые ковры, сбегался народ на скандалы, визжали проститутки, чад стоял от шашлыков, табака и сладостей.

Семен Иванович был здесь своим человеком. Он указывал Ртищеву на достопримечательности. Вот — слепые окошечки с выставленными кальянами,— здесь вчера американские матросы убили сутенера чилийским приемом, то есть один из них, негр, заложил себе в волосы бритву и с разбегу ударил головой. Вот размалеванная розами дверь,— здесь пляшут танец живота. Вот картежный притон, недавно закрытый оккупационными властями.

Далее Семен Иванович указал на расположенные низко над тротуаром, по обе стороны улицы, большие окна с переплетами,— это были знаменитые на весь свет веселые дома. За этими витринами лежали на коврах и на кретоновых кушеточках жирные девки в зеленых, алых, канареечных шароварах, с голыми животами, с мелко заплетенными крашеными косами, в тюрбанах, в шапочках с монетами,— накрашенные и напудренные. Они лежали напоказ, как ветчина, лениво и сонно. Восточные люди, пробегая мимо, только

цыкали, закатывали глаза, с ума сходили от этих сладостей.

Здесь же происходили главные бои между моряками разных флотов. В довоенное время обычно верх брали русские матросы,— они ходили стенкой, дружно, крушили чугунными кулаками турецкие, французские, итальянские скулы, и даже англичане, хорошие драться в одиночку, рыча и выплевывая зубы, очищали веселые дома, уступали русским красоток за окнами.

Сейчас же за веселыми домами помещалась гостиница «Сладость Востока». Семен Иванович завел Ртищева к себе, и здесь произошел разговор:

— Невзоров, пятак твою распротак, деньги есть?

— Нет.

— Меня на Принкипо (остров рядом с Халки) обчистили русские. Маленький притончик организовал, совсем невинный, без девочек; знаешь, думаю, аристократов полон остров, надо — благородно. Никогда со мной такой глупости не случалось. Дело пошло. У стола в «железку» — цвет Петербурга. Меха, брильянты. Как они эти штуки через большевиков провезли — до сих пор не понимаю. Говорят, некоторые в задницу себе заколачивали каратов по сто. Подаю беленькое винцо, крюшончик. Мило, тонно. Представь — двадцать пять процентов шулеров оказалось. Я весь идеализм потерял. Почему же у тебя нет денег, скотина?

— Обокраден, избит, видишь — синяки.

— Жаль,— сказал Ртищев раздумчиво,— у меня план — снять лавчонку на этой улице, открыть «железку».

— Запрещено, я уже думал.

— Что ты говоришь? Ну, а в «тридцать — сорок»?

— Запрещено.

— Рулетка?.. Я, брат, с таким крупье познакомился — по желанию, когда угодно, повернет, и — «зеро». Он говорит, рулетка — золотое дно.

— Запрещена.

Тут Ртищев страшно ударил по столу и стал изрыгать проклятия оккупационным властям, Антанте, Европе, человечеству. Он подошел к гнилому рукомойнику и облил голый череп из графина.

— Ну, хорошо,— все еще кричал он,— хорошо, мне запрешают жить, запрещают дышать. Хорошо! Я открываю тайный притон. Для воров. Для пьяных матросов. Для самой распропоследней сволочи. Согласен работать пополам? Будешь приводить клиентов. Идем искать помещение.

Ураганная деятельность Ртищева преодолела все препятствия. Напротив гостиницы «Сладость Востока» была арендована у больного грека Синопли запущенная кофейня, где мухи давно засидели окна, пыль покрыла медную посуду и самого грека, целые дни дремавшего за прилавком.

Ртищев, вместе с Семеном Ивановичем, выколотил просиженные до дыр ковры на жестких диванах, вычистил кирпичом кофейники и медные части очага, вымел из углов густую паутину, гвоздями сколотил расшатанные столы,— больной грек Синопли только слабо икал и ахал, удивляясь.

Затем маляр, дошлый мальчишка-итальянец, выкрасил входную дверь в ярко-зеленый цвет и на одной половинке изобразил Семена Ивановича в феске, с трубкой, на другой — Ртищева в виде персидского шаха с табакерки, в чалме с султаном, в руках — колода карт. Ртищев был в восторге:

— Знаменитые художники меня писали, Репин, Серов и Кустодиев, большие деньги брали, мазилы несчастные,— самой сущности, пятак их распротак, не могли понять. А вот это — портрет!

Вывеска старого грека оставалась, но в окне был приклеен рукописный плакат:

ЗАЙДИ И ПРИЯТНО УДИВИШЬСЯ

Ишак Мамэ и сестры-мулатки, Хаэ и Замба, были приглашены сидеть в кофейне. Получали они за это по стакану «дузику» и — халвы, рахат-лукума, шербету, засахаренных орехов сколько влезет: Ртищев был широкий человек. «Я не эксплуататор,— кричал он Невзорову,— девка должна быть сытая, счастливая; лизни ее в щеку — сахаром должна отдавать...»

Карточный стол поместили в глубине кофейной, за ковровой занавеской.

— Здесь — святая святых,— сказал Ртищев,— после двух часов ночи, когда останется солидная публика, я появлюсь из-за занавески и щелкну колодой.

Кроме того, были наняты два музыканта, инвалиды-турки с вытекшими на войне глазами.

— Если бы деньги, если бы деньги,— повторял Ртищев,— весь бы Константинополь кверху ногами перевернул. Граф, для открытия нужна программа. Девки умеют юбками вертеть, этого мало. Ты должен выступить в куплетах.

— Не могу, сроду не пел, стану я срамиться!

— В таком случае я приказываю. Я тебя из дела вышвырну. Я сам припомню,— спою какую-нибудь шансонетку на французском языке. Ты, невежа, можешь петь по-русски.

Семен Иванович пожал плечами: «Ладно, буду петь». Он работал и суетился, но в глубине оробевшей души не верил в успех. Чувствовал,— не хватает какого-то гвоздя в их предприятии, но чего именно не хватало — не мог понять.

Настал вечер открытия. Ртищев был в визитке и в белой чалме со стеклянным пером. Он поминутно выбегал за дверь на улицу и становился рядом со своим портретом, пронзительно поглядывая на прохожих и подмигивая. Честолюбия этот человек был непомерного.

Семен Иванович почистился и побрился, повязал на гуттаперчевый воротник пестрый галстук. Хаэ и Замба густо напудрились, надели множество амулетов и страусовых, бывших под дождем перьев. Ишак Мамэ явилась пьяная, в разодранном платьишке, но завитая и нарумяненная, как кукла. Все было в порядке. В кофейной зажгли керосиновую лампу. Инвалиды, подкрепившись кофеем, заиграли: один на струнах, другой на рожке — что-то жалобное и тягучее, как тоска по вытекшим глазам.

Наконец появились и посетители. Бочком проскользнули в дверь двое черномазых, с птичьими лицами, с наморщенными лобиками,— сутенеры. Они спросили по рюмке «дузику» и, бегая глазами, перешептывались.

Вошел высокий, страшно бледный человек в матросских штанах, в одном тельнике. Голова выбрита, кроме спутанного чуба на макушке, ухо разбито в кровь. Он положил кулаки на стол и шептал что-то в ярости про себя, скрипя зубами. Вошел шикарный молодой человек, ростом и годами не старше пятнадцати лет,— счастливый биржевой игрок, будущий финансовый гений: носик пипочкой, одутловатый рот, котелок, брильянтовая булавка, тросточка, как у Чарли Чаплина. Мальчишка развлекался в грязных притонах на Галате. Ишак Мамэ и мулатки сейчас же сели к нему за столик. Вошел горячечно пьяный, но твердо державшийся деникинский офицер, спросил кофе с лимоном и бенедиктину и, глядя безумными глазами перед собой, бормотал со странной улыбкой:

— Магометане, янычары, клопоеды, всех вырежем.

Понемногу кофейня наполнялась. Напитки спрашивались скуповато, гости, видимо, ожидали,— чем будут здесь удивлять. Слепые турки все тянули, тянули тоскливую волынку. Настроение падало. Тогда Ртищев, заманчиво сверкнув золотыми зубами, объявил по-французски:

— Шансон националь а ля рюс, национальная русская песня, исполнит любимец Петрограда, Семен Невзоров...

У Семена Ивановича сразу одеревенели руки и ноги, голос ушел в живот, в глазах поплыли лица посетителей. Но девушки начали хлопать в ладоши и визжать. Он вышел на середину, поклонился, феска съехала на лоб, так и осталась. Он отвел руку с окоченевшими пальцами и, как из бочки, проговорил:

— Национальная русская песня.

Откашлялся. Слова, которым его с утра учил Ртищев, заметались в мозгу. Диким голосом он запел:

Я пошла к дантисту
И к специалисту,
Чтобы он мне вставил зуб.
Трам па, трам па, трам па...
Дантист был очень смелай,
Он вставил зуб мне целай,
И взял за это руп...
Трам па, трам па...

Семен Иванович мельком увидел, как Ртищев поднял руки к тюрбану, словно хватаясь за голову. Все же он докончил куплет. Сел. Пьяный офицер проговорил спокойно:

— Расстрелять.

Семен Иванович и сам понимал, что провалился с куплетами. Надо было спасать положение. Ртищев, выглянув на улицу, сообщил с тревогой, что на той стороне, против кафе, «стоит фараон». Как стал проклятый турецкий городовой, так хоть бы пошевелился. Приходилось рисковать.

Неожиданно Ртищев отогнул занавеску, скрывавшую карточный стол, и появился перед почтеннейшей публикой с колодой карт в поднятой руке,— точь-в-точь как портрет его на двери.

— Фет во же, месьедам. Начинаем! Заметано!

Поднялись сутенеры, пьяный офицер, финансовый гений вместе с девчонками. Человек десять сели за стол. Занавеску опустили. Слепые турки продолжали надрывать душу. Семен Иванович, не предчувствуя добра, прибирал грязные рюмки. Слышались короткие восклицания игроков, щелканье карт и кабалистические приговаривания Ртищева:

— Делайте вашу игру. Заметано, ребятишки! Четыре сбоку — ваших нет! Есть такое дело!

В это время в кофейню спокойно вошел турецкий полицейский, отогнул занавеску и сказал сразу отпрянувшим от стола игрокам что-то гортанное. Первым мимо него ужом проскочил на улицу финансовый гений. В минуту кофейня опустела. Ртищев был накрыт с поличным.

Переговоры с полицейским оказались коротки и несложны. Он свирепо выкатил глаза, пальцем чиркнул себя по шее и высунул язык,— Ртищев и Семен Иванович оробели. Тогда полицейский ухмыльнулся, показав желтые зубы, прищурил глаз и тем же пальцем показал себе на ладонь. Семену Ивановичу пришлось снять с груди заветный мешочек и отдать проклятому турку все сбережения.

Затем Семен Иванович и Ртищев сели к столу под лампой, подперлись и мрачно замолчали. Больной грек Синопли слабо икал за прилавком. Дело сорвано было в самом зародыше.

Ртищев предложил пойти утопиться в заливе Золотой Рог. Семен Иванович, глядя ему на стеклянное перо тюрбана, промолчал: отчего бы действительно и не утопиться. Мыслей в голове у Невзорова не было никаких. Не осталось даже робкой надежды, питавшей его все эти дни.

И вот, в эту минуту,— уничтоженный, брошенный судьбою на дно,— он ощутил странное состояние: показалось, что все это он уже видел однажды,— и стол, и смятую скатерть, и тень от своей головы на ней. Это безусловно было. Но где, когда?

В эту самую минуту через стол *бежал таракан.* Словно свет брызнул в памяти Семена Ивановича. Вспомнил! Это было в Одессе. По столу так же бежал таракан, и он еще подумал тогда: «Ишь ты, рысак»,— и сшиб его щелчком.

Но почему, почему в эту минуту вспомнилась такая пошлая мелочь, как пробежавший в Одессе таракан? Семен Иванович изо всей силы наморщился, пытаясь проникнуть в сущность появления тараканов в его жизни. (В тяжелые минуты он всегда прибегал к мистике.) Тогда второй таракан вылез из-под блюдечка и пустился вдогонку за первым. Ртищев проговорил мрачно:

— Второй перегонит, ставлю десять пиастров в ординаре.

Мгновенно и ослепительно открылась перед Семеном Ивановичем перспектива. Тяжело дыша, он встал, вонзил ногти Ртищеву в плечи:

— Нашел. Это будет — гвоздь. Завтра к нам повалит вся Галата.

— Ты с ума сошел?

— *Тараканьи бега.*— Семен Иванович схватил стакан и накрыл им обоих тараканов.— Этого оккупационные власти не предвидели. Это законно. Это ново. Это азартно.

Ртищев смотрел на него ошеломленный. Затем засо-

пел, припал к Семену Ивановичу и стал целовать его в пылающий череп.

— Граф, ты гений. Граф, мы спасены. Сто тысяч турецких фунтов предложи отступного,— плюну в лицо! Ведь это же миллионное предприятие!..

Три дня и три ночи Семен Иванович и Ртищев в гостинице «Сладость Востока» ловили тараканов, осматривали, испытывали, сортировали.

Отборные, жирные, голенастые, с большими усами — были помечены белой краской, номерами на спинках. Их тренировали, то есть, проморив таракана голодом, брали деревянными щипчиками, ставили на стол. На другом конце стола рассыпались крошки сладкой булки. Голодный таракан бежал. Если он бежал не по прямой — его опять ставили на прежнее место. Затем натренированных тараканов пускали по десяти штук сразу от меловой черты.

Эти состязания оказались настолько азартными, что на третью ночь Ртищев проиграл Невзорову на таракане номер третий, названном Абдулка, новую визитку и котелок.

Визитку, впрочем, пришлось сейчас же продать для приобретения *беговой дорожки,* то есть особой доски, вроде настольного бильярда с бортами, номерами, с колокольчиками и ямками для крошек.

И вот в кофейной грека Синопли появилась над дверью, над портретами Невзорова и Ртищева, вывеска поперек тротуара:

БЕГА ДРЕССИРОВАННЫХ ТАРАКАНОВ

НАРОДНОЕ РУССКОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Весть об этом к вечеру облетела всю Галату. К дверям Синопли нельзя было протолкаться. Вход в кофейную стоил десять пиастров. Посмотреть на тараканьи бега явились даже ленивые красотки из окошек. Компания английских моряков занимала место у беговой дорожки. Ртищев, держа щипцы в одной руке и банку с тараканами в другой, прочел вступительное краткое слово о необычайном уме этих полезных насекомых и

о том, как на масленице ни одна русская изба не обходится без древнего русского развлечения — тараканьих бегов.

Все кафе аплодировало его речи. Ртищев шикарно взмахнул щипцами и выпустил первый заезд. Моряки покрыли его десятью фунтами. Ртищев не ошибся: тощий таракан, на которого вследствие его заморенного вида никто не ставил, пришел первым к старту — трехцветному русскому флагу. Невзоров, державший тотализатор, выдал пустяки. Англичане разгорячились и второй заезд покрыли двадцатью фунтами, кроме того фунтов пять покрыли сутенеры и хозяева публичных домов. Грек Синопли перестал икать.

В разгаре игры появился знакомый уже полицейский, но, увидев тараканов, растерялся. Ртищев коротким жестом предложил ему место у стола и стакан водки.

— Еще один заезд,— восклицал Ртищев,— самцы, двухлетки, не кормлены с прошлой недели, злы, как черти. Фаворит — номер третий, Абдулка.

С этого вечера кривая счастья Семена Ивановича круто повернула кверху.

Слух о тараканьих бегах поднялся из трущоб Галаты и облетел блестящую Перу, и сонный Стамбул, и азиатские переулки Скутари. Работать приходилось почти круглые сутки. В гостинице «Сладость Востока» были выловлены все тараканы. Появились подражатели. Ртищев вывесил на дверях предупреждение, что «только здесь единственные, *патентованные* бега с уравнительным весом насекомых, или *гандикап»*.

Семен Иванович относил ежедневно изрядные суммы в банк. И вот настал день, когда растревоженное воображение его устремилось к шумным холмам Перу. Им снова овладела мечта об аристократическом салоне, о графинях и княгинях, сладострастно перебирающих ножками на скамеечках, о самом себе — малокровно-бледном, томном, играющем золотой цепочкой от часов на шелковом жилете фрака. Это видение будило его по ночам, сушило глаза, рвало сердце.

Он давно уже забросил феску и теперь приходил в кофейню в смокинге, галстучке-фокстрот, лимонных перчатках и фетровой шляпе с машинкой внутри, придерживающей складку. Напудренный и молчаливый, он стоял, облокотясь о прилавок, и пустыми глазами смотрел на гостей, шумно и хамски теснившихся у тараканьей площадки. Однажды, перед отходом ко сну, рассматривая свои ноги в трикотажных шелковых кальсонах апельсинового цвета, он сказал Ртищеву:

— Дело в том, что моя мать была в незаконной связи с графом Гендриковым, акурат за год до моего рождения. Отец меня всегда ненавидел — не знаю почему. Игра судьбы.

Он вздохнул, лег в несоответствующую его вкусам постель и больше не прибавил ни слова. Наутро, в смокинге, с тросточкой, он пошел в Перу, прогулялся мимо шикарных магазинов, купил две гаванских сигары, посидел под балдахином в большом кресле у чистильщика сапог, который только обмахнул его лакированные туфли, кое-кому поклонился, приложив палец к шапочке, и зашел позавтракать в самый шикарный ресторан, к Токатлиану.

— Салат, устрицы, бутылку шабли и сыр,— сквозь зубы сказал он метрдотелю.

Он вынул патентованный предмет — одновременно мундштук, зажигалка, зубочистка, карандашик, пилочка и прочее,— и стал чистить ногти. Он улыбался своим мыслям.

Давно ли это было: в Москве, в кафе у Бома, он показывал девочкам визитную карточку с графской короной? Или харьковские и киевские похождения под видом конта де Незор? Сколько глупостей наделано, сколько зря растрачено денег. Через эти ошибки и падения, мечту и бред — странная судьба, предсказанная цыганкой, вела его к действительной, единственной, подлинной жизни. Десять кож он переменил, объездился, обтерпелся, насобачился. И теперь, продолжая чистить ногти, хотя перед ним уже поставили и устрицы и вино, он чувствовал себя уверенно, как прирожденный европеец, представитель старой, прочной культуры.

«Предположим, я вышел из Мещанской улицы. Предположим, отец мой даже и не Гендриков, а просто Невзоров, державший некогда на Мещанской же улице мелочную лавку. Предположим, что в лесу со мной неприлично обошлись господа офицеры. А кто одет по последней моде? Кто проглотил сейчас эту вот устрицу? Кто вскарабкался наверх по горе трупов? Кто бесполезное и пошлое насекомое, таракана, превратил в валюту? Я, один я. Позвольте представиться: Семен Невзоров, яркая личность, король жизни».

Семен Иванович проглотил, наконец, с легкой спазмой устрицу. В этот час у Токатлиана он испытывал прилив сатанинского тщеславия. Он был вознагражден за все труды и унижения. Жилистыми шагами он устремлялся вдоль чудесной перспективы, вперед к славе.

Он ясно видел последовательные этапы этого пути. Первое: он открывает в Перу шикарный интимный ресторан с тараканьими бегами и отдельными кабинетами. Для особо избранных будет аристократический салон,— вход только во фраках. В салоне — изысканное кабаре из нестерпимо пикантных номеров. Второе: женитьба на миллионерше, скорее всего — вдове. Вилла на берегу моря, автомобиль, яхта. Третье: он везде и всюду. Он законодатель мод, он рычаг политики. Он председатель банковского объединения, он — злой гений биржи... Четвертое: он встает во главе священного движения. Первым делом он выгоняет из Европы всех русских, без разбору,— вон, крапивное семя! Искореняет революционеров безо всякого стеснения. Напускает террор на низшие классы. Вводит обязательное постановление: нравственные принципы жизни,— немного, правил десять. Но — сурово. Кто скажет слово «революция» — на телеграфный столб. Наконец Семен Иванович объявляет себя *императором*.

— Фу ты, черт! — даже пот выступил у Семена Ивановича на черепе.— Неужели и *это* возможно?.. А почему мне и не сделаться императором в конце концов?.. Наполеон тоже, говорят, был из мещан.— В голове у него звенело, в глазах прыгали золотые иглы. И будто внутри него проговорил оглушительный голос: *император Ибикус Первый!*

С гаванской сигарой в углу рта Семен Иванович вышел на Перу, все еще самодовольно усмехаясь своим мыслям. В конце улицы он свернул на двор бывшего русского посольства, где теперь помещался какой-то не вручивший грамот присяжный поверенный.

На дворе перед посольством, вот уже третий месяц, сидели на ступеньках, лежали в пыльной траве на высохших клумбах русские, в большинстве — женщины, те, кто уже проел последнее колечко, последнюю юбчонку. Здесь они дожидались субсидий или виз. Но субсидии не выдавались, по поводу виз шла сложная переписка. У неврučившего грамот не было сумм, чтобы кормить всю эту ораву — душ двести пятьдесят, и души на дворе посольства худели, обнашивались, таяли, иные так и оставались ночевать на сухих клумбах у мраморного подъезда.

Семен Иванович прошелся по двору, чуть-чуть даже прихрамывая и опираясь на тросточку. Нужно было, конечно, много вкуса и воображения, чтобы среди этих унылых женских фигур найти жемчужины его будущего «аристократического салона». Он с трудом узнал несколько знакомых по пароходу,— так эти женщины изменились. Вот девушка, та, которую он тогда прозвал: «котик, чудная мордашка», сидит, опершись локтями о худые колени, личико — детское, очаровательное, но даже какие-то пыльные тени на лице. А ножка,— если ее вымыть да обуть как следует,— *бижутери...*

Семен Иванович трепетнул ноздрями. «Эта будет первая, назовем ее княжна Тараканова». Он присел рядом с девушкой на ступеньку и разговор начал издалека, отечески добродушно. . . . .
. . . .

Много ли улетело времени с тех пор, когда Семен Иванович Невзоров сидел за кофейником у окна своей комнаты на Мещанской улице? Дзынь — пулька пробила стекло, и засвистал непогодливый ветер: «Надую, надую тебе пустоту, выдую тебя из жилища». Семен Иванович, гонимый тем ветром, закрутился, как сухой лист. И вот он уже перелетел за море, он — в Европе. Богат и знаменит. Перед ним развертывается роскошная перспектива. Предсказания старой цыганки с

Петербургской стороны сбылись. Повесть как будто окончена...

Разумеется, было бы лучше для повести уморить Семена Ивановича, например, гнилой устрицей или толкнуть его под автомобиль. Но ведь Семен Иванович — бессмертный. Автор и так и этак старался,— нет, Семена Ивановича не так-то просто стереть с листов повести. Он сам — Ибикус. Жилистый, двужильный, с мертвой косточкой, он непременно выцарапается из беды, и — садись, пиши его новые похождения.

В ресторане у Токатлиана Семен Иванович сам, на этот раз без помощи цыганки, рассказал свою дальнейшую судьбу. Заявил, что он — король жизни. Так-то оно так, но посмотрим. Я нисколько не сомневаюсь в словах Семена Ивановича. Я даже знаю, что аристократический салон — со скамеечками и ножками, с ужасно пикантными номерами — он открыл. На вывеске в темные ночи горела поперек тротуара заманчивая надпись: «Салон-ресторан с аттракционами — *Ибикус»*. Семен Иванович нажил большие деньги и женился...

Честность, стоящая за моим писательским креслом, останавливает разбежавшуюся руку: «Товарищ, здесь ты начинаешь врать, остановись,— поживем, увидим. Поставь точку...»

АЭЛИТА

Роман

СТРАННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

На улице Красных Зорь появилось странное объявление: небольшой, серой бумаги листок, прибитый к облупленной стене пустынного дома. Корреспондент американской газеты Арчибальд Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую перед объявлением босую молодую женщину в ситцевом опрятном платье; она читала, шевеля губами. Усталое и милое лицо ее не выражало удивления,— глаза были равнодушные, синие, с сумасшедшинкой. Она завела прядь волнистых волос за ухо, подняла с тротуара корзинку с зеленью и пошла через улицу.

Объявление заслуживало большего внимания. Скайльс, любопытствуя, прочел его, придвинулся ближе, провел рукой по глазам, перечел еще раз.

— Twenty three,— наконец проговорил он, что должно было означать: «Черт возьми меня с моими потрохами».

В объявлении стояло:

«Инженер М. С. Лось приглашает желающих лететь с ним 18 августа на планету Марс явиться для личных переговоров от 6 до 8 вечера. Ждановская набережная, дом 11, во дворе».

Это было написано обыкновенно и просто, обыкновенным чернильным карандашом.

Невольно Скайльс взялся за пульс: обычный. Взглянул на хронометр: было десять минут пятого, 17 августа 192... года.

Со спокойным мужеством Скайльс ожидал всего в этом безумном городе. Но объявление, приколоченное

гвоздиками к облупленной стене, подействовало на него в высшей степени болезненно.

Дул ветер по пустынной улице Красных Зорь. Окна многоэтажных домов, иные разбитые, иные заколоченные досками, казались нежилыми — ни одна голова не выглядывала на улицу. Молодая женщина, поставив корзинку на тротуар, стояла на той стороне улицы и глядела на Скайльса. Милое лицо ее было спокойное и усталое.

У Скайльса задвигались на скулах желваки. Он достал старый конверт и записал адрес Лося. В это время перед объявлением остановился рослый, широкоплечий человек, без шапки, по одежде — солдат, в суконной рубахе без пояса, в обмотках. Руки у него от нечего делать были засунуты в карманы. Крепкий затылок напрягся, когда он стал читать объявление.

— Вот этот — вот так замахнулся,— на Марс! — проговорил он с удовольствием и обернул к Скайльсу загорелое беззаботное лицо. На виске у него наискосок белел шрам. Глаза — сизо-карие и так же, как у той женщины,— с искоркой. (Скайльс давно уже подметил эту искорку в русских глазах и даже поминал о ней в статье: «...Отсутствие в их глазах определенности, то насмешливость, то безумная решительность, и, наконец, непонятное выражение превосходства — крайне болезненно действуют на европейского человека».)

— А вот взять и полететь с ним, очень просто,— опять сказал солдат, и усмехнулся простодушно, и в то же время быстро, с головы до ног, оглядел Скайльса.

Вдруг он прищурился, улыбка сошла с лица. Он внимательно глядел через улицу на босую женщину, все так же неподвижно стоявшую около корзинки.

Кивнув подбородком, он сказал ей:

— Маша, ты что стоишь? (Она быстро мигнула.) Ну, и шла бы домой. (Она переступила небольшими пыльными ногами, вздохнула, нагнула голову.) Иди, иди, я скоро приду.

Женщина подняла корзину и пошла. Солдат сказал:

— В запас я уволился вследствие контузии и ранения. Хожу — объявления читаю,— скука страшная.

— Вы думаете пойти по этому объявлению? — спросил Скайльс.

— Обязательно пойду.

— Но ведь это вздор — лететь в безвоздушном пространстве пятьдесят миллионов километров.

— Что говорить — далеко.

— Это шарлатанство или — бред.

— Все может быть.

Скайльс, тоже теперь прищурясь, оглянул солдата, смотревшего на него именно так: с насмешкой, с непонятным выражением превосходства, вспыхнул гневно и пошел по направлению к Неве. Шагал уверенно и широко. В сквере он сел на скамью, засунул руку в карман, где, прямо в кармане, как у старого курильщика и делового человека, лежал табак, одним движением большого пальца набил трубку, закурил и вытянул ноги.

Шумели старые липы в сквере. Воздух был влажен и тепел. На куче песку, один во всем сквере, видимо уже давно, сидел маленький мальчик в грязной рубашке горошком и без штанов. Ветер поднимал время от времени его светлые и мягкие волосы. В руке он держал конец веревочки, к другому концу веревочки была привязана за ногу старая взлохмаченная ворона. Она сидела недовольная и сердитая и так же, как и мальчик, глядела на Скайльса.

Вдруг — это было на мгновение — будто облачко скользнуло по его сознанию, закружилась голова: не во сне ли он все это видит?.. Мальчик, ворона, пустые дома, пустынные улицы, странные взгляды прохожих и приколоченное гвоздиками объявленьице — приглашение лететь в мировые пространства...

Скайльс глубоко затянулся крепким табаком. Развернул план Петрограда и, водя по нему концом трубки, отыскал Ждановскую набережную.

В МАСТЕРСКОЙ ЛОСЯ

Скайльс вошел во двор, заваленный ржавым железом и бочонками от цемента. Чахлая трава росла на грудах мусора, между спутанными клубками проволок,

поломанными частями станков. В глубине двора отсвечивали закатом пыльные окна высокого сарая. Небольшая дверца в нем была приотворена, на пороге сидел на корточках рабочий и размешивал в ведерке сурик. На вопрос Скайльса, можно ли видеть инженера Лося, рабочий кивнул вовнутрь сарая. Скайльс вошел.

Сарай едва был освещен — над столом, заваленным чертежами и книгами, горела в жестяном конусе электрическая лампочка. В глубине сарая возвышались до потолка леса. Здесь же пылал горн, раздуваемый рабочим. Сквозь нагромождения лесов поблескивала металлическая, с частой клепкой, поверхность сферического тела. В раскрытые половинки ворот были видны багровые полосы заката и клубы туч, поднявшихся с моря.

Рабочий, раздувавший горн, проговорил вполголоса:

— К вам, Мстислав Сергеевич.

Из-за лесов появился среднего роста крепко сложенный человек. Густые, шапкой, волосы его были белые. Лицо — молодое, бритое, с красивым большим ртом, с пристальными, светлыми, казалось летящими впереди лица, немигающими глазами. Он был в холщовой грязной, раскрытой на груди рубахе, в заплатанных штанах, перепоясанных веревкой. В руке он держал запачканный чертеж. Подходя, он попытался застегнуть на груди рубашку на несуществующую пуговицу.

— Вы по объявлению? Хотите лететь? — спросил он глуховатым голосом и, указав Скайльсу на стул под конусом лампочки, сел напротив у стола, положил чертеж и начал набивать трубку. Это и был инженер Мстислав Сергеевич Лось.

Опустив глаза, он зажег спичку; огонек осветил снизу его крепкое лицо, две морщины у рта — горькие складки, широкий вырез ноздрей, длинные темные ресницы. Скайльс остался доволен осмотром. Он объяснил, что лететь не собирается, но что прочел объявление на улице Красных Зорь и считает долгом познакомить своих читателей со столь чрезвычайным и сенсационным проектом междупланетного сообщения.

Лось слушал, не отрывая от него немигающих светлых глаз.

— Жалко, что вы не хотите со мной лететь, жалко,— он качнул головой,— люди шарахаются от меня, как от бешеного. Через четыре дня я покидаю землю и до сих пор не могу найти спутника.— Он опять зажег спичку, пустил клуб дыма.— Какие вам нужны данные?

— Наиболее выпуклые черты вашей биографии.

— Это никому не нужно,— сказал Лось,— ничего замечательного. Учился на медные гроши, с двенадцати лет на своих ногах. Молодость, годы учения, работа, служба,— ни одной черты, любопытной для ваших читателей, ничего замечательного, кроме...— Лось вдруг насупился, резко обозначились морщины у рта.— Ну, так вот... Над этой машиной,— он ткнул трубкой в сторону лесов,— работаю давно. Постройку начал два года тому назад. Все!

— Во сколько приблизительно месяцев вы думаете покрыть расстояние между Землей и Марсом? — спросил Скайльс, глядя на кончик карандаша.

— В девять или десять часов, я думаю, не больше.

— Ага! — сказал Скайльс на это, затем покраснел, зашевелил скулами.— Я бы очень был вам признателен,— проговорил он с вкрадчивой вежливостью,— если бы у вас было доверие ко мне и серьезное отношение к нашему интервью.

Лось положил локти на стол, закутался дымом, сквозь табачный дым блеснули его глаза.

— Восемнадцатого августа Марс приблизится к Земле на сорок миллионов километров,— это расстояние я должен пролететь. Из чего оно складывается? Первое — высота земной атмосферы — семьдесят пять километров. Второе — расстояние между планетами в безвоздушном пространстве — сорок миллионов километров. Третье — высота атмосферы Марса — шестьдесят пять километров. Для моего полета важны только эти сто сорок километров атмосферы.

Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму,— освещены были только раскрытая грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами.

— Обычно называют полетом — полет птицы, падающего листа, аэроплана. Но это не полет, а плавание

в воздухе. Чистый полет — это падение, когда тело движется под действием толкающей его силы. Пример — ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью: очевидно, там я могу приблизиться к скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса сто сорок километров. С подъемом и спуском это займет полтора часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее, в безвоздушном пространстве я могу лететь с любою скоростью. Но есть две опасности: от чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды, и второе — если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем, превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух — почти непроницаемая броня. Хотя на Земле она, по-видимому, однажды была пробита.

Лось вынул руку из кармана, положил ее на стол, под лампочкой, и сжал пальцы в кулак.

— В Сибири, среди вечных льдов, я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава, они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться,— они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньший, чем луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил земную ось. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве шесть-семь часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк.

Лось отошел от стола и включил рубильник. Под по-

толком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скайльс увидел на дощатых стенах чертежи, диаграммы, карты; полки с оптическими и измерительными инструментами; скафандры, горки консервов, меховую одежду; телескоп на лесенке в углу сарая.

Лось и Скайльс подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скайльс определил, что яйцеобразный аппарат был не менее восьми с половиной метров высоты и шести метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся книзу, к поверхности аппарата, как зонт,— это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в атмосфере. Под парашютом расположены три круглые дверцы — входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная, массивной стали, круглая спираль, свернутая в противоположные стороны,— это был буфер, смягчающий удар при падении на землю...

Постукивая карандашом по клепаной обшивке яйца, Лось стал объяснять подробности междупланетного корабля. Аппарат построен из упругой и тугоплавкой стали, внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это внешний чехол. В нем помещался второй чехол из шести слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго кожаного стеганого яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии. Для наблюдения поставлены выходящие за внешнюю оболочку аппарата особые «глазки» в виде короткой металлической трубки, снабженной призматическими стеклами.

Механизм движения помещался в горле, обвитом спиралью. Горло было отлито из металла, твердостью превосходящего астрономическую бронзу. В толще горла высверлены вертикальные каналы. Каждый из них расширялся наверху в так называемую взрывную камеру. В каждую камеру проведена искровая свеча от общего магнето и питательная трубка. Как в цилиндры мотора поступает бензин, точно так же взрывные камеры питались ультралиддитом — тончайшим порошком, необычайной силы взрывчатым веществом, най-

денным в лаборатории ...ского завода в Петрограде. Сила ультралиддита превосходила все до сих пор известное в этой области. Конус взрыва чрезвычайно узок. Чтобы ось конуса взрыва совпадала с осями вертикальных каналов горла, поступающий во взрывные камеры ультралиддит пропускался сквозь магнитное поле.

Таков в общих чертах был принцип движущего механизма: это была ракета. Запас ультралиддита — на сто часов. Уменьшая или увеличивая число взрывов в секунду, можно регулировать скорость подъема и падения аппарата. Нижняя его часть значительно тяжелее верхней, поэтому, попадая в сферу притяжения планеты, аппарат всегда поворачивается к ней горлом.

— На какие средства построен аппарат? — спросил Скайльс.

Лось с некоторым изумлением взглянул на него:

— На средства республики...

Лось и Скайльс вернулись к столу. После некоторого молчания Скайльс спросил неуверенно:

— Вы рассчитываете найти на Марсе живых существ?

— Это я увижу утром, в пятницу, девятнадцатого августа.

— Я предлагаю вам десять долларов за строчку путевых впечатлений. Аванс — шесть фельетонов по двести строк, чек можете учесть в Стокгольме. Согласны?

Лось засмеялся, кивнул головой: согласен. Скайльс присел на углу стола писать чек.

— Жаль, жаль, что вы не хотите лететь со мной: ведь это в сущности так близко, ближе, чем пешком, например, до Стокгольма,— сказал Лось, дымя трубкой.

СПУТНИК

Лось стоял, прислонившись плечом к верее раскрытых ворот. Трубка его погасла.

За воротами до набережной Ждановки лежал пустырь. За рекой неясными очертаниями стояли деревья Петровского острова. За ними догорал и не мог дого-

реть печальный закат. Длинные тучи, тронутые по краям его светом, будто острова, лежали в зеленых водах неба. Над ними зеленело небо. Несколько звезд зажглось на нем. Было тихо на старой Земле.

Рабочий Кузьмин, давеча мешавший в ведерке сурик, тоже подошел и остановился в воротах, бросил огонек папироски в темноту.

— Трудно с Землей расставаться,— сказал он негромко.— С домом и то трудно расставаться. Из деревни идешь на железную дорогу — раз десять оглянешься. Изба соломой крыта, а — свое, прижилое место. Землю покидать — ай, ай, ай...

— Вскипел чайник,— сказал Хохлов, другой рабочий,— иди, Кузьмин, чай пить.

Кузьмин вздохнул: «Да, так-то», и пошел к горну. Хохлов — суровый человек — и Кузьмин сели у горна на ящики и пили чай, осторожно ломали хлеб, отдирали от костей вяленую рыбу, жевали не спеша. Кузьмин, мотнув бородкой, сказал вполголоса:

— Жалко мне его. Таких людей сейчас почти что и нет.

— А ты погоди его отпевать.

— Мне один летчик рассказывал: поднялся он на восемь верст,— летом, заметь,— и масло все-таки замерзло у него в аппарате. А выше лететь? Там — холод. Тьма.

— А я говорю — погоди отпевать,— повторил Хохлов мрачно.

— Лететь с ним никто не хочет, не верят. Объявление вторую неделю висит напрасно.

— А я верю.

— Долетит?

— Вот то-то, что долетит. Вот и в Европе они тогда взовьются.

— Кто взовьется?

— Кто, кто взовьется? На теперь, выкуси,— Марс-то чей? — советский.

— Да, это бы здорово.

Кузьмин пододвинулся на ящике. Подошел Лось, сел, взял кружку с дымящимся чаем.

— Хохлов, не согласитесь лететь со мной?

— Нет, Мстислав Сергеевич,— ответил Хохлов,— не соглашусь, боюсь.

Лось усмехнулся, хлебнул из кружки, покосился на Кузьмина.

— А вы, милый друг?

— Мстислав Сергеевич, да я бы с радостью полетел,— жена у меня больная, опять — детишки, как их оставишь?

— Да, видимо, придется лететь одному,— сказал Лось, поставив пустую кружку, вытер губы ладонью,— охотников покинуть Землю маловато.— Он опять усмехнулся, качнул головой.— Вчера барышня приходила по объявлению. «Хорошо, говорит, я с вами лечу, мне девятнадцать лет, пою, танцую, играю на гитаре, на Земле жить больше не хочу — революции мне надоели. Визы на выезд не нужно?» Кончился наш разговор,— села барышня и заплакала. «Вы меня обманули, я рассчитывала, что лететь нужно гораздо ближе». Потом молодой человек явился, говорит басом, руки потные. «Вы, говорит, считаете меня за идиота — лететь на Марс невозможно; на каком основании вывешиваете подобные объявления?» Насилу его успокоил.

Лось оперся локтями о колени и глядел на угли. Лицо его в эту минуту казалось утомленным, лоб сморщился. Видимо, он весь отдыхал от длительного напряжения воли. Кузьмин ушел за табачком. Хохлов, кашлянув, сказал:

— Мстислав Сергеевич, самому-то вам разве не страшно?

Лось перевел на него глаза, согретые жаром углей.

— Нет, мне не страшно. Я уверен, что опущусь удачно. А если неудача,— удар будет мгновенный и безболезненный. Страшно другое. Представьте так: мои расчеты окажутся неверны, я не попаду в притяжение Марса — проскочу мимо. Запаса топлива, кислорода, еды мне хватит надолго. И вот — лечу во тьме. Впереди горит звезда. Через тысячу лет мой окоченелый труп влетит в ее огненные океаны. Но эти тысячу лет — мой летящий во тьме труп! Но эти долгие дни, покуда я еще жив,— а я буду жить долго в этой коробке,— долгие дни безнадежного отчаяния — один во всей вселенной!

Не смерть страшна, но одиночество, безнадежное одиночество в вечной тьме. Это действительно страшно. Очень не хочется лететь одному.

Лось прищурился на угли. Рот его упрямо сжался.

В воротах показался Кузьмин, позвал его вполголоса:

— Мстислав Сергеевич, к вам.

— Кто? — Лось быстро поднялся.

— Красноармеец какой-то спрашивает.

В сарай, вслед за Кузьминым, вошел человек в рубашке без пояса, читавший объявление на улице Красных Зорь. Коротко кивнул Лосю, оглянулся на леса, подошел к столу.

— Попутчик вам требуется?

Лось пододвинул ему стул, сел напротив.

— Да, ищу попутчика. Я лечу на Марс.

— Знаю, в объявлении сказано. Мне эту звезду показали давеча. Далеко, конечно. Условия какие, хотел я знать: жалованье, харчи?

— Вы семейный?

— Женатый, детей нет.

Он ногтями деловито постукивал по столу, поглядывал кругом с любопытством. Лось вкратце рассказал ему об условиях перелета, предупредил о возможном риске. Предложил обеспечить семью и выдать жалованье вперед деньгами и продуктами. Красноармеец кивал, поддакивал, но слушал рассеянно.

— Как, вам известно,— спросил он,— люди там или чудовища обитают?

Лось крепко почесал в затылке, засмеялся.

— По-моему, там должны быть люди, что-нибудь вроде нас. Приедем, увидим. Дело вот в чем: уже несколько лет на больших радиостанциях в Европе и в Америке начали принимать непонятные сигналы. Сначала думали, что это следы бурь в магнитных полях Земли. Но таинственные звуки были слишком похожи на азбучные сигналы. Кто-то настойчиво хочет с нами говорить. Откуда? На планетах, кроме Марса, не установлено пока жизни. Сигналы могут идти только с Марса. Взгляните на его карту,— он, как сеткой, покрыт каналами. (Он указал на чертеж Марса, прибитый к

дощатой стене.) Видимо, там есть возможность установить огромной мощности радиостанции. Марс хочет говорить с Землей. Пока мы не можем отвечать на эти сигналы. Но мы летим на зов. Трудно предположить, что радиостанции на Марсе построены чудовищами, существами, не похожими на нас. Марс и Земля — два крошечные шарика, кружащиеся рядом. Одни законы для нас и для них. Во вселенной носится пыль жизни. Одни и те же споры оседают на Марс и на Землю, на все мириады остывающих звезд. Повсюду возникает жизнь, и над жизнью всюду царствует человекоподобный: нельзя создать животное, более совершенное, чем человек.

— Еду с вами,— сказал красноармеец решительно.— Когда с вещами приходить?

— Завтра. Я должен вас ознакомить с аппаратом. Ваше имя, отчество, фамилия?

— Гусев, Алексей Иванович.

— Занятие?

Гусев рассеянно взглянул на Лося, опустил глаза на свои постукивающие по столу пальцы.

— Я грамотный,— сказал он,— автомобиль ничего себе знаю. Летал на аэроплане наблюдателем. С восемнадцати лет войной занимаюсь — вот все мое и занятие. Имею ранения. Теперь нахожусь в запасе.— Он вдруг ладонью шибко потер темя, коротко засмеялся.— Ну, и дела были за эти семь лет! По совести говоря, я бы сейчас полком должен командовать,— характер неуживчивый! Прекратятся военные действия,— не могу сидеть на месте: сосет. Отравлено во мне все. Отпрошусь в командировку или так убегу. (Он потер макушку, усмехнулся.). Четыре республики учредил,— и городов-то сейчас этих не запомню. Один раз собрал сотни три ребят,— отправились Индию освобождать. Хотелось нам туда добраться. Но сбились в горах, попали в метель, под обвалы, побили лошадей. Вернулось нас оттуда немного. У Махно был два месяца, погулять захотелось... ну, с бандитами не ужился... Ушел в Красную Армию. Поляков гнал от Киева,— тут уж я был в коннице Буденного: «Даешь Варшаву!» В последний раз ранен, когда брали Перекоп. Провалялся после этого без ма-

лого год по лазаретам. Выписался — куда деваться? Тут эта девушка моя подвернулась,— женился. Жена у меня хорошая, жалко ее, но дома жить не могу. В деревню ехать,— отец с матерью померли, братья убиты, земля заброшена. В городе делать нечего. Войны сейчас никакой нет,— не предвидится. Вы уж, пожалуйста, Мстислав Сергеевич, возьмите меня с собой. Я вам на Марсе пригожусь.

— Ну, очень рад,— сказал Лось, подавая ему руку,— до завтра.

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Все было готово к отлету с Земли. Но два последующих дня пришлось, почти без сна, провозиться над укладкой внутри аппарата — в полых подушках — множества мелочей. Проверяли приборы и инструменты. Сняли леса, окружавшие аппарат, разобрали часть крыши.

Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы,— Гусев оказался ловким и сметливым человеком.

Назавтра, в шесть вечера, назначили отлет.

Поздно вечером Лось отпустил рабочих и Гусева, погасив электричество, кроме лампочки над столом, прилег, не раздеваясь, на железную койку — в углу сарая, за треногой телескопа.

Ночь была тихая и звездная. Лось не спал. Закинув за голову руки, глядел в сумрак. Много дней он не давал себе воли. Сейчас, в последнюю ночь на Земле, он отпустил сердце: мучайся, плачь.

Он вспомнил... Комната в полутьме... Свеча заставлена книгой. Запах лекарств, душно. На полу, на ковре — таз. Когда встаешь и проходишь мимо таза, по стене, по тоскливым обоям колышутся тени. Как томительно! В постели то, что дороже света,— Катя, жена — часто-часто, тихо дышит. На подушке — густые, спутанные волосы. Подняты колени под одеялом. Катя уходит от него. Изменилось недавно такое хорошее кроткое лицо. Оно — розовое, неспокойное. Выпростала руку и

щиплет пальцами край одеяла. Лось снова, снова берет ее руку, кладет под одеяло.

«Ну, раскрой глаза, ну, взгляни, простись со мной». Она говорит жалобным, чуть-чуть слышным голосом: «Ской окро, ской окро». Детский, едва слышный, жалобный ее голос хочет сказать: «Открой окно». Страшнее страха — жалость к ней, к этому голосу. «Катя, Катя, взгляни». Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. Горло у нее дрожит, грудь подымается толчками, пальцы вцепились в край одеяла. «Катя, Катя, что с тобой?» Не отвечает, уходит... Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкали, мучили. Милая головка закинулась... Она опустилась, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от отчаяния, обхватил ее, прижался.

...Нет, нет, нет,— со смертью нет примиренья...

Лось поднялся с койки, взял со стола коробку с папиросами, закурил и ходил некоторое время по темному сараю. Потом взошел на лесенку телескопа, нашел искателем Марс, поднявшийся уже над Петроградом, и долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарик. Он слегка дрожал в перекрещивающихся волосках окуляра.

...Он опять прилег... Память открыла видение. Катюша сидит в траве на пригорке. Вдали, за волнистыми полями,— золотые точки Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное над хлебами, над гречихами. Катюше лениво и жарко. Лось, сидя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую голову Катюши, на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и платьем. Катюшины серые глаза — равнодушные и прекрасные,— в них тоже плавают коршуны. Кате восемнадцать лет. Сидит и молчит. Лось думает: «Нет, милая моя, есть у меня дело поважнее, чем вот, на этом пригорке, влюбиться в вас. На этот крючок не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану».

Ах, боже мой! Как неразумно были упущены эти летние, горячие дни. Остановить бы время тогда! Не вернуть! Не вернуть!..

Лось опять встал с койки, чиркал спичками, курил, ходил. Но и хождение вдоль дощатой стены было тягостно: как зверь в яме.

Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс.

«И там не уйти от себя,— за гранью Земли, за гранью смерти. Зачем нужно было хлебнуть этого яду,— любить! Жить бы неразбуженным. Летят же в эфире окоченевшие семена жизни, ледяные кристаллы, летят дремлющие. Нет, нужно упасть и расцвесть — пробудиться к жажде — любить, слиться, забыться, перестать быть одиноким семенем. И весь этот короткий сон затем, чтобы снова — смерть, разлука, и снова — полет ледяных кристаллов».

Лось долго стоял в воротах. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался Марс — высоко над спящим Петроградом. «Новый, дивный мир,— думал Лось,— быть может, давно уже погасший или фантастический, цветущий и совершенный... Так же оттуда, когда-нибудь ночью, буду глядеть на мою родную звезду среди звезд... Вспомню — пригорок, и коршунов, и могилу, где лежит Катя... И печаль моя будет легка...»

Под утро Лось положил на голову подушку и забылся. Его разбудил грохот обоза, ехавшего по набережной. Лось провел ладонью по лицу. Еще бессмысленные от ночных видений глаза его разглядывали карты на стенах, очертания аппарата. Лось вздохнул, совсем пробуждаясь, подошел к крану и облил голову студеной водой. Накинул пальто и зашагал через пустырь к себе на квартиру, где полгода тому назад умерла Катя.

Здесь он вымылся, побрился, надел чистое белье и платье, осмотрел, заперты ли все окна. Квартира была нежилая — повсюду пыль. Он открыл дверь в спальню, где после смерти Кати он никогда не ночевал. В спальне было почти темно от спущенных штор, лишь отсвечивало зеркало шкафа с Катиными платьями,— зеркальная дверца была приоткрыта. Лось нахмурился, подошел на цыпочках и плотно прикрыл ее. Замкнул дверь спальни. Вышел из квартиры, запер парадное и плоский ключик положил себе в жилетный карман.

Теперь все было закончено перед отъездом.

ТОЮ ЖЕ НОЧЬЮ

Этой ночью Маша долго дожидалась мужа — несколько раз подогревала чайник на примусе. За высокой дубовой дверью было тихо и жутковато.

Гусев и Маша жили в одной комнате, в когда-то роскошном, огромном, теперь заброшенном доме. Во время революции обитатели покинули его. За четыре года дожди и зимние вьюги сильно попортили его внутренность.

Комната была просторная. На потолке, среди золотой резьбы и облаков, летела пышная женщина с улыбкой во все лицо, кругом — крылатые младенцы.

«Видишь, Маша,— постоянно говаривал Гусев, показывая на потолок,— женщина какая веселая, в теле, и детей шесть душ, вот это — баба».

Над золоченой, с львиными лапами, кроватью висел портрет старика, в пудреном парике, с поджатым ртом, со звездой на кафтане. Гусев прозвал его «Генерал Топтыгин». «Этот спуска не давал, чуть что не по нем — сейчас топтать». Маша боялась глядеть на портрет. Через комнату была протянута железная труба железной печечки, закоптившей стену. На полках, на столе, где Маша готовила скудную еду,— порядок и чистота.

Резная дубовая дверь отворялась в двусветную залу. Разбитые окна в ней были заколочены досками, потолок местами обваливался. В ветреные ночи здесь гулял, завывая, ветер, бегали крысы.

Маша сидела у стола. Шипел огонек примуса. Издалека ветер донес печальный перезвон часов,— пробило два. Гусев не шел. Маша думала:

«Что ищет, чего ему мало? Все чего-то хочет найти, душа непокойная, Алеша, Алеша... Хоть бы раз закрыл глаза, лег бы ко мне на плечо, сынок: не ищи, не найдешь дороже моей жалости».

На ресницах у Маши выступали слезы, она их не спеша вытирала и подпирала щеку. Над головой летела, не могла улететь веселая женщина с веселыми младенцами. О ней Маша думала: «Вот была бы такая — никуда бы от меня не ушел».

Гусев сказал ей, что уезжает далеко, но куда — она не знала, спросить боялась. Она и сама видела, что жить ему с ней в этой чудной комнате, в тишине, без прежней воли,— трудно, не вынести. Ночью приснится ему что-нибудь — заскрежещет, вскрикнет глухо, сядет на постели и дышит,— зубы стиснуты, в поту лицо и грудь. Повалится, заснет, а наутро — весь темный, места себе не находит.

Маша до того была тихой с ним, так прилащивалась,— умнее матери. За это он ее любил и жалел, но как утро,— глядел, куда бы уйти.

Маша служила, приносила домой пайки. Денег у них часто совсем не было. Гусев хватался за разные дела, но скоро бросал. «Старики сказывали — в Китае есть золотой клин,— говаривал он,— клина, чай, такого там нет, но земля действительно нам еще неизвестная,— уйду я, Маша, в Китай, поглядеть, как и что».

С тоской, как смерти, ждала Маша того часа, когда Гусев уйдет. Никого на свете, кроме него, у нее не было. С пятнадцати лет служила продавщицей по магазинам, кассиршей на невских пароходиках. Жила одиноко, невесело.

Год назад, в праздник, познакомилась с Гусевым в парке на скамейке. Он спросил: «Вижу, одиноко сидите, дозвольте с вами провести время,— одному скучно». Она взглянула,— лицо славное, глаза веселые, добрые и — трезвый. «Ничего не имею против»,— ответила коротко. Так они и гуляли в парке до вечера. Гусев рассказывал о войнах, набегах, переворотах,— такое, что ни в одной книге не прочтешь. Проводил Машу до квартиры и с того дня стал к ней ходить. Маша просто и спокойно отдалась ему. И тогда полюбила,— вдруг, кровью всей почувствовала, что он — ей родной. С этого началась ее мука...

Чайник закипел, Маша сняла его и опять затихла. Уже давно ей чудился какой-то шорох за дверью, в пустой зале. Было так грустно,— не вслушивалась. Но сейчас — явственно слышно — шаркали чьи-то шаги.

Маша быстро открыла дверь и высунулась. В одно из окон в залу пробирался свет уличного фонаря и слабо освещал пузырчатыми пятнами несколько низких

колонн. Между ними Маша увидела седого, нагнувшего лоб старичка, без шапки, в длинном пальто,— он стоял, вытянув шею, и глядел на Машу. У нее ослабели колени.

— Вам что здесь нужно? — спросила она шепотом.

Старичок вытянул шею и так смотрел на нее. Поднял, грозя, указательный палец. Маша с силой захлопнула дверь,— сердце отчаянно билось. Она вслушивалась,— шаги теперь отдалялись: старичок, видимо, уходил по парадной лестнице вниз.

Вскоре с другой стороны залы раздались быстрые, сильные шаги мужа. Гусев вошел веселый, перепачканный копотью.

— Слей-ка помыться,— сказал он, расстегивая ворот,— завтра едем, прощайте. Чайник у тебя горячий? Это славно.— Он вымыл лицо, крепкую шею, руки по локоть, вытираясь — покосился на жену.— Будет тебе, не пропаду, вернусь. Семь лет меня ни пуля, ни штык не могли истребить. Мой час еще далек,— отметка не сделана. А умирать — все равно не отвертишься: муха на лету заденет лапой,— брык и помер.

Он сел к столу, начал лупить вареную картошку, разломил, окунул в соль.

— Назавтра приготовь чистое, две смены,— рубашки, подштанники, подвертки. Мыльца не забудь, шильца да мыльца. Ты что — опять плакала?

— Испугалась,— ответила Маша, отворачиваясь,— старик какой-то все ходит, пальцем погрозил. Алеша, не уезжай.

— Это не ехать — что старик-то пальцем погрозил?

— На несчастье он погрозил.

— Жалко, я уезжаю, я бы с этим старикашкой сурьезно поговорил. Это непременно кто-нибудь из бывших, здешних, бродит по ночам, нашептывает, выживает.

— Алеша, ты вернешься ко мне?

— Сказал — вернусь, значит вернусь. Фу ты, беспокойная.

— Далеко едешь?

Гусев засвистал, кивнул на потолок и, посмеиваясь глазами, налил горячего чаю на блюдце.

— За облака, Маша, лечу, вроде этой бабы.

Маша только опустила голову. Гусев зевнул, начал раздеваться. Маша неслышно прибрала посуду, села штопать носки,— не поднимала глаз. А когда скинула платье и подошла к постели,— Гусев уже спал, положив руку на грудь, покойно закрыв ресницы. Маша прилегла рядом и глядела на мужа. По щекам ее текли слезы, так он был ей дорог, так тосковала она по его мятежному сердцу: «Куда летит, чего ищет?»

На рассвете Маша поднялась, вычистила платье мужа, собрала чистое белье. Гусев проснулся. Напился чаю,— шутил, гладил Машу по щеке. Оставил денег — большую пачку. Вскинул на спину мешок, задержался в дверях и поцеловал Машу.

Так она и не узнала, куда он уезжает.

ОТЛЕТ

На пустыре перед мастерской Лося стал собираться народ. Шли с набережной, бежали со стороны Петровского острова, сбивались в кучки, поглядывали на невысокое солнце, пустившее сквозь облака широкие лучи. Начинались разговоры:

— Что это народ собрался — убили кого?

— На Марс сейчас полетят.

— Вот тебе дожили, этого еще не хватало!

— Что вы рассказываете? Кто полетит?

— Двоих бандитов из тюрьмы взяли, запечатают их в стальной шар и — на Марс, для опыта.

— Бросьте вы врать, в самом деле.

— Ах, сволочи, людей им не жалко!..

— То есть — кому это — «им»?

— А вы, гражданин, не цепляйтесь.

— Конечно, издевательство.

— Ну и народ дурак, боже мой!

— Почему народ дурак? Откуда вы решили?

— Вас бы самого отправить за эти слова.

— Бросьте, товарищи. Тут в самом деле историческое событие, а вы, леший знает, что несете.

— А для каких целей на Марс отправляют?

— Извините, сейчас один тут говорил: двадцать пять пудов погрузили они одной агитационной литературы.

— Это экспедиция.

— За чем?

— За золотом.

— Совершенно верно,— для пополнения золотого фонда.

— Много думают привезти?

— Неограниченное количество.

— Гражданин, долго нам еще ждать?

— Как солнце сядет, так они и взовьются...

До сумерек переливался говор, шли разные разговоры в толпе, ожидающей необыкновенного события. Спорили, ссорились, но не уходили.

Тусклый закат багровым светом разлился на полнеба. И вот, медленно раздвигая толпу, появился большой автомобиль Губисполкома. В сарае изнутри осветились окна. Толпа затихла, придвинулась.

Открытый со всех сторон, поблескивающий рядами заклепок, яйцевидный аппарат стоял на цементной, слегка наклоненной площадке, посреди сарая. Его ярко освещенная внутренность из стеганой ромбами желтой кожи была видна сквозь круглое отверстие люка.

Лось и Гусев были уже одеты в валеные сапоги, в бараньи полушубки, в кожаные пилотские шлемы. Члены исполкома, академики, инженеры, журналисты окружали аппарат. Напутственные речи были уже сказаны, фотографические снимки сделаны. Лось благодарил провожающих за внимание. Его лицо было бледно, глаза как стеклянные. Он обнял Хохлова и Кузьмина. Взглянул на часы.

— Пора!

Провожающие затихли. Гусев нахмурился и полез в люк. Внутри аппарата он сел на кожаную подушку, поправил шлем, одернул полушубок.

— К жене зайди, не забудь,— крикнул он Хохлову и сильно нахмурился.

Лось все еще медлил, глядел себе под ноги. Вдруг он поднял голову и сказал глуховатым, взволнованным голосом:

— Я думаю, что удачно опущусь на Марсе. Я уверен — пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания. Но не мне первому нужно было лететь. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — Забвение самого себя... Вот это меня смущает больше всего при расставании с вами... Нет, товарищи, я — не гениальный строитель, не смельчак, не мечтатель, я — трус, я — беглец...

Лось вдруг оборвал, странным взором оглянул провожающих,— все слушали его с недоумением. Он надвинул на глаза шлем.

— А впрочем, это не нужно никому — ни вам и ни мне,— личные пережитки... Оставляю их на этой одинокой койке, в сарае... До свиданья, товарищи, прошу как можно дальше отойти от аппарата...

.Сейчас же Гусев крикнул из люка:

— Товарищи, я передам энтим на Марсе пламенный привет от Советской республики. Уполномачиваете?

Толпа загудела. Раздались аплодисменты.

Лось повернулся, полез в люк и сейчас же с силой захлопнул его за собой. Провожающие, теснясь, взволнованно перекидываясь словами, побежали из сарая к толпе на пустырь. Чей-то голос протяжно начал кричать:

— Осторожнее, отходите, ложитесь!

В молчании теперь тысячи людей глядели на квадратные освещенные окна сарая. Там было тихо. Тишина и на пустыре. Так прошло несколько минут. Много людей легло на землю. Вдруг звонко вдалеке заржала лошадь. Кто-то крикнул страшным голосом:

— Тише!

В сарае оглушающе грохнуло, затрещало. Сейчас же раздались более сильные, частые удары. Задрожала земля. Над крышей сарая поднялся тупой металлический нос и заволокся облаком дыма и пыли. Треск усилился. Черный аппарат появился весь над крышей и повис в воздухе, будто примериваясь. Взрывы слились в сплошной вой, и четырехсаженное яйцо, наискось, как ракета, взвилось над толпой, устремилось к западу,

ширкнуло огненной полосой и исчезло в багровом, тусклом зареве туч.

Только тогда в толпе начался крик, полетели шапки, побежали люди, обступили сарай.

В ЧЕРНОМ НЕБЕ

Завинтив входной люк, Лось сел напротив Гусева и стал глядеть ему в глаза,— в колючие, как у пойманной птицы, точки зрачков.

— Летим, Алексей Иванович?

— Пускайте.

Тогда Лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул его. Раздался глухой удар,— тот первый треск, от которого вздрогнула на пустыре тысячная толпа. Повернул второй реостат. Глухой треск под ногами, и сотрясения аппарата стали так сильны, что Гусев схватился за сидение, выкатил глаза. Лось включил оба реостата. Аппарат рванулся. Удары стали мягче, сотрясение уменьшилось. Лось прокричал:

— Поднялись.

Гусев отер пот с лица. Становилось жарко. Счетчик скорости показывал пятьдесят метров в секунду, стрелка продолжала подвигаться вперед.

Аппарат мчался по касательной, против вращения Земли. Центробежная сила относила его к востоку. По расчетам, на высоте ста километров он должен был выпрямиться и лететь по диагонали, вертикальной к поверхности Земли.

Двигатель работал ровно, без сбоев. Лось и Гусев расстегнули полушубки, сдвинули на затылок шлемы. Электричество было потушено, и бледный свет проникал сквозь стекла глазков.

Преодолевая слабость и начавшееся головокружение, Лось опустился на колени и сквозь глазок глядел на уходящую Землю. Она расстилалась огромной, без краев, вогнутой чашей,— голубовато-серая. Кое-где, точно острова, лежали на ней гряды облаков, это был Атлантический океан.

Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну.

Гусев, прильнувший к другому глазку, сказал:

— Прощай, матушка, пожито на тебе, пролито кровушки.

Он поднялся с колен, но вдруг зашатался, повалился на подушку. Рванул ворот:

— Помираю, Мстислав Сергеевич, мо́чи нет.

Лось чувствовал: сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется,— трепещет мучительно. Бьет кровь в виски. Темнеет свет.

Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончался слой воздуха. Уменьшалось притяжение. Компас показывал, что Земля была вертикально внизу. Аппарат, с каждой секундой набирая скорость, с сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство.

Лось, ломая ногти, едва расстегнул ворот полушубка — сердце стало.

. . . .

Предвидя, что скорость аппарата и находящихся в нем тел достигнет такого предела, когда наступит заметное изменение скорости биения сердца, обмена крови и соков, всего жизненного ритма тела,— предвидя это, Лось соединил счетчик скорости одного из жироскопов (их было два в аппарате) электрическими проводами с кранами баков, которые в нужную минуту должны выпустить большое количество кислорода и аммиачных солей.

Лось очнулся первым. Грудь резало, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появились и исчезли — необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны.

Лось закрыл лишние краны в баках, взглянул на счетчик. Аппарат покрывал около пятисот верст в секунду. Было светло. В один из глазков входил прямой, ослепительный луч солнца. Под лучом, навзничь, лежал Гусев,— зубы оскалены, стеклянные глаза вышли из орбит.

Лось поднес ему к носу едкую соль. Гусев глубоко вздохнул, затрепетали веки. Лось обхватил его под мышками и сделал усилие приподнять, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Он разжал руки,— Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти,— сидел, как в воде, озирался:

— Мстислав Сергеевич, а я не пьяный?

Лось приказал ему лезть наблюдать в верхние глазки. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха,— хватался за стеганую обивку. Прильнул к глазку.

— Темень, Мстислав Сергеевич, как есть ничего не видно.

Лось надел дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Четким очертанием, огромным, косматым клубком солнце висело в пустой темноте. С боков его, как крылья, были раскинуты две световые туманности. От плотного ядра отделился фонтан и расплылся грибом,— это было время, когда проходили большие солнечные пятна. В отдалении от светлого ядра располагались еще более бледные, чем зодиакальные крылья, световые океаны огня, отброшенные от солнца и вращающиеся вокруг него.

Лось с трудом оторвался от этого зрелища,— живоносного огня вселенной. Прикрыл окуляр колпачком. Стало темно. Он придвинулся к глазку, противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся в зеленоватый луч звезды. Но вот в глазок вошел голубой, ясный, сильный луч,— это был Сириус, небесный алмаз, первая звезда северного неба.

Лось подполз к третьему глазку. Повернул окуляр, взглянул, протер его носовым платком. Всмотрелся. Сжалось сердце, стали чувствительны волосы на голове.

Невдалеке, во тьме, плыли, совсем близко, неясные, туманные пятна. Гусев проговорил с тревогой:

— Какая-то штука летит рядом с нами.

Туманные пятна медленно уходили вниз, становились отчетливее, светлее. Побежали изломанные, серебристые линии, нити. И вот стало проступать яркое очер-

тание рваного края скалистого гребня. Аппарат, видимо, сближался с каким-то небесным телом, вошел в его притяжение и, как спутник, начал поворачиваться вокруг него.

Дрожащей рукой Лось пошарил рычажки реостатов и повернул их до отказа, рискуя взорвать аппарат. Внутри, под ногами, все заревело, затрепетало. Пятна и сияющие рваные края быстрее стали уходить вниз. Освещенная поверхность увеличивалась, приближалась. Теперь уже ясно можно было видеть резкие, длинные тени от скал,— они тянулись через оголенную, мертвую равнину.

Аппарат летел к скалам,— они были совсем близко, залитые сбоку солнцем. Лось подумал (сознание было спокойное и ясное): через секунду,— аппарат не успеет повернуть к притягивающей его массе горлом,— через секунду — смерть.

В эту долю секунды Лось заметил на мертвой равнине, меж скал, развалины уступчатых башен... Затем аппарат скользнул над голыми остриями гор... Но там, по ту их сторону, был обрыв, бездна, тьма. Сверкнули на рваном отвесном обрыве жилы металлов. И осколок разбитой, неведомой планеты остался далеко позади,— продолжал свой мертвый путь к вечности. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба.

Вдруг Гусев крикнул:

— Вроде как Луна перед нами!

Он обернулся, отделился от стены и повис в воздухе, раскорячился лягушкой и, ругаясь шепотом, силился приплыть к стене. Лось отделился от пола и тоже повиснул, держась за трубку глазка,— глядел на серебристый, ослепительный диск Марса.

СПУСК

Серебристый, кое-где словно подернутый облачками диск Марса заметно увеличивался. Ослепительно сверкало пятно льдов Южного полюса. Ниже его расстилалась изогнутая туманность. На востоке она доходила

до экватора, близ среднего меридиана поднималась, огибая полого более светлую поверхность, и раздваивалась, образуя у западного края диска второй мыс.

По экватору были расположены — ясно видны — пять темных точек, круглых пятен. Они соединялись прямыми линиями, которые начертывали два равносторонних треугольника и третий — удлиненный. Подножие восточного треугольника было охвачено правильной дугой. От середины ее до крайней, западной точки шло второе полукружие. Несколько линий, точек и полукружий разбросано к западу и востоку от этой экваториальной группы. Северный полюс тонул во мгле.

Лось жадно вглядывался в эту сеть линий: вот они, сводящие с ума астрономов, постоянно меняющиеся, геометрически правильные, непостигаемые каналы Марса. Лось различал теперь под этим четким рисунком вторую, едва проступающую, словно стертую, сеть линий.

Он начал набрасывать примерный рисунок ее в записной книжке. Вдруг диск Марса дрогнул и поплыл в окуляре глазка. Лось кинулся к реостатам:

— Попали, Алексей Иванович, притягиваемся, падаем!

Аппарат поворачивал горлом к планете. Лось уменьшил и совсем выключил двигатель. Перемена скорости была теперь менее болезненна. Но наступила тишина настолько мучительная, что Гусев уткнулся лицом в руки, зажал уши.

Лось лежал на полу, наблюдая, как увеличивается, растет, становится все более выпуклым серебряный диск. Казалось, из черной бездны он сам теперь летел на них.

Лось снова включил реостаты. Аппарат затрепетал, преодолевая притяжение Марса. Скорость падения замедлилась. Марс закрывал теперь все небо, тускнел, края его выгибались чашей.

Последние секунды были страшными: головокружительное падение. Марс закрыл все небо. Внезапно стекла глазков запотели. Аппарат прорезывал облака над тусклой равниной и, ревя и сотрясаясь, медленно теперь опускался.

— Садимся! — успел только крикнуть Лось и выключил двигатель. Сильным толчком его кинуло на стену, перевернуло. Аппарат грузно сел и повалился набок.

. . . .

Колени тряслись, руки дрожали, сердце замирало. Молча, торопливо Лось и Гусев приводили в порядок внутренность аппарата. Сквозь отверстие одного из глазков высунули наружу полуживую мышь, привезенную с Земли. Мышь понемногу ожила, подняла нос, стала шевелить усами, умылась. Воздух был годен для жизни.

Тогда отвинтили входной люк. Лось облизнул губы, сказал еще глуховатым голосом:

— Ну, Алексей Иванович, с благополучным прибытием. Вылезаем.

Скинули валенки и полушубки. Гусев прицепил маузер к поясу (на всякий случай), усмехнулся и распахнул люк.

МАРС

Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата.

Пылающее, косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны — от резкой черты горизонта до зенита...

— Веселое у них солнце,— сказал Гусев и чихнул, до того ослепителен был свет в густо-синей высоте. Покалывало грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко,— воздух был тонок и сух.

Аппарат лежал на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, точно семисвечники,— бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок.

Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли

по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, Лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его, мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под корень,— ах, погань! — кактус повалился, вонзая в песок колючки.

Шли около получаса. Перед глазами расстилалась все та же оранжевая равнина,— кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Когда повернули к югу и солнце осталось сбоку, Лось стал присматриваться, словно что-то соображая, вдруг остановился, присел, хлопнул себя по колену.

— Алексей Иванович, почва-то ведь вспаханная.

— Что вы?

Действительно, теперь ясно были видны широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашни и правильные ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о каменную плиту, в нее было ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Лось поскреб подбородок, глаза его блестели.

— Алексей Иванович, вы ничего не понимаете?

— Да вижу, что мы — в поле.

— А кольцо зачем?

— Черт их душу знает, зачем они кольцо ввинтили.

— А затем, чтобы привязывать бакен. Видите ракушки? Мы — на дне высохшего канала.

Гусев сказал:

— Да, действительно... Насчет воды тут плоховато.

Они повернули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Гусев приостановился, положив руку на револьвер. Но птица взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом.

Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой, колючей чаще. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Здесь шли осторожно.

Кактусы кончились у белого, как мел, покатого берега. Он был обложен, видимо, древними тесаными плитами. В трещинах и между щелями кладки висели высохшие волокна мха. В одну из таких плит ввернуто такое же, как на поле, кольцо. Хребтатые ящеры мирно дремали на припеке.

Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Кое-где разбросаны на ней кущи низкорослых, подобных горным соснам, деревьев. Кое-где белели груды камней, очертания развалин. Вдали, на северо-западе, поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.

— Вернуться нам надо, поесть, передохнуть,— сказал Гусев,— умаемся, тут ни одной живой души нет.

Они стояли еще некоторое время. Равнина была пустынна и печальна,— сжималось сердце.

— Да, заехали,— сказал Гусев.

Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов.

Вдруг Гусев — шепотом:

— Вот он!

Привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры.

— Эй,— закричал он,— кто там у аппарата, так вашу эдак. Стрелять буду!

— Кому кричите?

— Видите, аппарат поблескивает?

— Вижу теперь, да.

— А вон, правее его,— сидит.

Лось, наконец, увидел, и они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в сторону, запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя. Но Лось вышиб у него оружие, крикнул:

— С ума сошел! Это марсианин!..

Закинув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительное существо, описывающее круги в кубово-си-

нем небе. Лось вынул носовой платок и начал махать странной птице.

— Мстислав Сергеевич, поосторожнее, как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда.

— Спрячьте, говорю, револьвер.

Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По пояс тело сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали два изогнутых подвижных крыла. Под ними, впереди, крутился теневой диск, видимо — воздушный винт. Позади седла — хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат подвижен и гибок, как живое существо.

Вот он нырнул и пошел у самой пашни,— одно крыло вниз, другое вверх. Показалась голова марсианина в шапке — яйцом, с длинным козырьком. На глазах — очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, снизился, пробежал по пашне и соскочил с седла шагах в тридцати от людей.

Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы. Но когда Лось и Гусев двинулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел, почти без разбега, и сейчас же опять сел и продолжал кричать пискливым, тонким голосом, указывая на поломанные растения.

— Чудак, обижается,— сказал Гусев и крикнул марсианину: — Да будет тебе орать, сукин кот. Катись к нам, не обидим...

— Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет.

Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем. Затем отвязал от

седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом.

В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки — в одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат-лукум. Гусев понюхал.

— Тьфу, скажите, что едят!

Он вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Поднялся легкий дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод.

Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам подполз многоногий зверек... Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел.

Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку,— курил, усмехался.

— Алексей Иванович, знаете, сколько времени мы не ели?

— Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся.

— Не ели мы с вами, друг милый, двадцать три или двадцать четыре дня.

— Сколько?

— Вчера в Петрограде было восемнадцатое августа, а сегодня в Петрограде одиннадцатое сентября,— вот чудеса какие.

— Этого, вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич.

— Да этого и я хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в семь. Сейчас, видите, два часа дня. Девятнадцать часов тому назад мы покинули Землю, по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечали,— едете вы в поезде, спите, поезд останавливается, вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что, когда вагон останав-

ливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело — наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебание частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг друга, покуда мы летели в безвоздушном пространстве,— составляли одно целое с аппаратом, все двигалось в одном с ним ритме. Но если скорость аппарата превышала в пятьсот тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца,— один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате,— увеличилась в пятьсот тысяч раз, то есть мое сердце отбивало во время полета пятьсот тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела мы прожили в пути девятнадцать часов. И это на самом деле были девятнадцать часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора прошло со дня нашего отлета три с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралиддита и предлагать каким-нибудь чудакам: вам не нравится жить в наше время,— хотите жить через сто лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода, посидеть в этой коробке, но зато — какая жизнь! Вы перескочите через столетие. И отправлять их со скоростью света на полгода в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на Земле — золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь.

Гусев охал, щелкая языком, много удивлялся:

— Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья,— мы не отравимся?

Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул: пить можно! Хлебнул, крякнул.

— Вроде нашей мадеры.

Лось попробовал; жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошли тепло и особенная легкая сила, голова же оставалась ясной.

Лось поднялся, потянулся, расправился,— хорошо, легко, странно было ему под этим иным небом, несбыточно, дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана, заново рожден в неизведанную, новую жизнь.

Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок.

— Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали.

Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине.

Весело переговариваясь, они пошли между кактусами, иногда перепрыгивали через них длинными, легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль.

Вдруг Лось стал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах, у самой земли, из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой.

— Вы что? — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя сейчас же выстрелил в них,— взлетела пыль. Глаза исчезли.— Вон еще — гадина! — Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое, жирное тело. Это был огромный паук, какие на Земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросль.

ЗАБРОШЕННЫЙ ДОМ

От берега до ближайшей кущи деревьев Лось и Гусев шли по горелому, бурому праху, перепрыгивали через обсыпавшиеся неширокие каналы, огибали высохшие прудки. Кое-где, в полузасыпанных руслах, из песка торчали ржавые остовы барок. Кое-где на мертвой,

унылой равнине поблескивали выпуклые диски — около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор — по холмам — к древесным кущам, к развалинам.

Среди двух холмов стояла куща низкорослых, с раскидистыми, плоскими вершинами, бурых деревьев. Их ветви были корявы и крепки, листва напоминала мелкий мох, стволы — жилистые и шишковатые. На опушке, между деревьями, висели обрывки колючей сети.

Вошли в лесок, Гусев нагнулся и пихнул ногой,— из-под праха покатился проломанный человеческий череп, в зубах его блеснул металл. Здесь было душно. Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. Через несколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск,— он был привинчен к основанию круглого металлического колодца. В конце леска виднелись развалины,— толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом, горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок.

— Дома взорваны, Мстислав Сергеевич,— сказал Гусев.— Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем.

На куче мусора появился большой паук и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев выстрелил. Паук высоко подскочил и упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги.

Из рощицы Гусев и Лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издалека виднелись кирпичные постройки и одно, выше других, каменное здание — с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, Лось сказал:

— По всей вероятности, это колодцы водопровода, пневматических труб, электрических проводов. Все это, видимо, брошено.

Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощенному плитами двору. В глубине его стоял дом необыкновенной и мрачной

архитектуры. Гладкие стены его суживались кверху и заканчивались массивным карнизом из черно-кровяного камня. В стенах — длинные и узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две чешуйчатые, суживающиеся кверху колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф — покоящуюся фигуру с закрытыми глазами. Плоские, во всю ширину здания, ступени вели к низким массивным дверям. Высохшие волокна ползучих растений висели между темными плитами стен. Дом напоминал огромную гробницу.

Гусев стал пробовать плечом металлическую дверь. Налег,— она со скрипом подалась. Они миновали темный вестибюль и вошли в высокую залу. Свет проникал в нее сквозь стекла купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью, на каменном полу — разбитые сосуды, какая-то странной формы машина, не то орудие — из дисков, шаров и металлической сети, стоящая близ дверей,— все было покрыто слоем пыли.

Пыльный свет падал на желтоватые, с золотистыми искрами стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Видимо, она изображала события истории — борьбу желтокожих существ с краснокожими: морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд,— картины битв, нападение хищных зверей, стада странных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения. Мрачный пояс этой мозаики смыкался над дверьми изображением постройки гигантского цирка.

— Странно, странно,— повторял Лось, влезая на диваны, чтобы лучше разобрать мозаику,— повсюду повторяется любопытный рисунок человеческой головы, понимаете, очень странно...

Гусев тем временем отыскал в стене едва приметную дверь,— она открывалась на внутреннюю лестницу, ведущую в широкий сводчатый коридор, залитый пыльным светом.

Вдоль стен и в нишах коридора стояли каменные и бронзовые фигуры, торсы, головы, маски, черепки

ваз. Украшенные мрамором и бронзой порталы дверей вели отсюда во внутренние покои.

Гусев пошел заглядывать в боковые — низкие, затхлые, слабо освещенные комнаты. В одной был высохший бассейн, в нем валялся дохлый паук. В другой — вдребезги разбитое зеркало, составляющее одну из стен, на полу — куча истлевшего тряпья, опрокинутая мебель, в шкафах — лохмотья одежд.

В третьей комнате, на возвышении, под высоким колодцем, откуда падал свет, стояло широкое ложе. С него до половины свешивался скелет марсианина. Повсюду — следы жестокой борьбы. В углу, тычком, лежал второй скелет.

Здесь среди мусора Гусев отыскал несколько вещиц чеканного, тяжелого металла,— видимо, украшения, предметы женского обихода,— маленькие сосуды из цветного камня. Он снял с истлевшей одежды скелета два, соединенных цепочкой больших темно-золотистых камня, словно светящихся изнутри.

— Пригодится,— сказал Гусев,— Машке подарю...

Лось осматривал скульптуру в коридоре. Среди востроносых марсианских голов, изображений морских чудовищ, раскрашенных масок, склеенных ваз, странно напоминающих очертанием и рисунком этрусские амфоры,— внимание его остановила большая поясная статуя. Она изображала обнаженную женщину с всклокоченными волосами и свирепым асимметричным лицом. Острые груди ее торчали в стороны. Голову обхватывал золотой обруч из звезд, над лбом он переходил в тонкую параболу, внутри ее заключались два шарика: рубиновый и красновато-кирпичный. В чертах чувственного и властного лица было что-то волнующе-знакомое, выплывающее из непостижимой памяти.

Сбоку статуи, в стене, темнела небольшая ниша, забранная решеткой. Лось запустил пальцы сквозь прутья, но решетка не подалась. Он зажег спичку и увидел в нише на истлевшей подушечке золотую маску. Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос — острый, клювом. На лбу между бровей — припухлость в виде увеличенного стрекози-

ного глаза. Это была голова, изображенная на мозаике в первой зале.

Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета с Земли он видел снимки подобных масок, отрытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера, в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей таинственной расы.

Одна из боковых дверей в коридоре была приоткрыта, Лось вошел в длинную, очень высокую комнату с хорами и решетчатой балюстрадой. Внизу и наверху — на хорах стояли плоские шкафы и тянулись полки, уставленные маленькими толстыми книжечками. Украшенные тиснением и золотой чеканкой, корешки их тянулись однообразными линиями вдоль серых стен. В шкафах стояли металлические цилиндрики, в иных — огромные, переплетенные в кожу или в дерево книги. Со шкафов, с полок, из темных углов библиотеки глядели каменными глазами морщинистые, лысые головы ученых марсиан. По комнате расставлено несколько глубоких сидений, несколько ящичков на тонких ножках с приставленным сбоку круглым экраном.

Затаив дыхание, Лось оглядывал эту, с запахом тления и плесени, сокровищницу, где молчала, закованная в книги, мудрость тысячелетий, пролетевших над Марсом.

Осторожно он подошел к полке и стал раскрывать книги. Бумага их была зеленоватая, шрифт геометрического очертания, мягкой коричневой окраски. Одну из книг, с чертежами машин, Лось сунул в карман, чтобы просмотреть на досуге. В металлических цилиндрах оказались вложенными желтоватые, звучащие под ногтем, как кость, валики, подобные валикам фонографа, но поверхность их была гладкая, как стекло. Один из таких валиков лежал на ящике с экраном, видимо приготовленный для заряжения и брошенный во время гибели дома.

Затем Лось открыл черный шкаф, взял наугад одну из переплетенных в кожу, изъеденную червями, легкую пухлую книгу и рукавом осторожно отер с нее пыль.

Желтоватые ветхие листы ее шли сверху вниз непрерывной, сложенной зигзагами, полосою. Эти, переходящие одна в другую, страницы были покрыты цветными треугольниками величиною с ноготь. Они бежали слева направо и в обратном порядке неправильными линиями, то падая, то сплетаясь. Они менялись в очертании и цвете. Спустя несколько страниц между треугольниками появились цветные круги, меняющие форму и окраску. Треугольники стали складываться в фигуры. Сплетения и переливы цветов и форм этих треугольников, кругов, квадратов, сложных фигур бежали со страницы на страницу. Понемногу в ушах Лося начала наигрывать едва уловимая, тончайшая, изумительная музыка.

Он закрыл книгу и долго стоял, прислонившись к книжным полкам, взволнованный и одурманенный никогда еще не испытанным очарованием: это была поющая книга.

— Мстислав Сергеевич,— раскатисто по дому пронесся голос Гусева,— идите-ка сюда, скорее.

Лось вышел в коридор. В конце его, в дверях, стоял Гусев, испуганно улыбаясь.

— Посмотрите-ка, что у них творится.

Он ввел Лося в узкую полутемную комнату; в дальней стене было вделано большое квадратное матовое зеркало, перед ним стояло несколько табуретов и кресел.

— Видите, шарик висит на шнурке; думаю,— золотой, дай сорву,— глядите, что получилось.

Гусев дернул за шарик. Зеркало озарилось, появились уступчатые очертания огромных домов, окна, сверкающие закатным солнцем, развевающиеся полотнища. Глухой гул толпы наполнил темную комнату. По зеркалу, сверху вниз, закрывая очертания города, скользнула крылатая тень. Вдруг огненная вспышка озарила экран, резкий треск раздался под полом комнаты, туманное зеркало погасло.

— Короткое замыкание, провода перегорели,— сказал Гусев.— Нам надо идти, Мстислав Сергеевич, ночь скоро.

ЗАКАТ

Раскинув узкие туманные крылья, пылающее солнце клонилось к закату.

Лось и Гусев торопливо шли по тускнеющей, теперь еще более пустынной и дикой равнине к берегу канала. Солнце быстро уходило за близкий край поля — и кануло. Ослепительное алое сияние разлилось на месте заката. Резкие лучи его озарили полнеба и быстро-быстро покрывались серым пеплом,— гасли. Небо казалось непроглядным.

В пепельном закате, низко над Марсом, встала большая красная звезда. Она всходила, как гневный глаз. Несколько мгновений темнота была насыщена лишь ее мрачными лучами.

Но уже по всему непомерно высокому небесному куполу начали высыпать звезды, сияющие, зеленоватые созвездия,— ледяные лучи их кололи глаза. Мрачная звезда, восходя, разгоралась.

Дойдя до берега, Лось остановился и, указывая рукой на звезду, сказал:

— Земля.

Гусев снял картуз, вытер пот со лба. Закинув голову, глядел на плывущую между созвездиями далекую родину. Его лицо казалось осунувшимся, печальным.

— Земля,— повторил он.

Так они долго стояли на берегу древнего канала, над равниной с неясными в свете звезд очертаниями кактусов.

Но вот из-за резкой черты горизонта появился светлый серп, меньше лунного, и стал подниматься над кактусовым полем. Длинные тени легли от лапчатых растений.

Гусев локтем толкнул Лося.

— Позади-то нас, поглядите.

Позади них над холмистой равниной, над рощами и развалинами, сиял второй спутник Марса. Круглый желтоватый диск его, также меньше луны, клонился за

зубчатые горы. Отблескивали на холмах металлические диски.

— Ну и ночь,— прошептал Гусев,— как во сне.

Они осторожно спустились с берега в заросли кактусов. Из-под ног шарахнулась чья-то тень. Мохнатый клубок побежал по отсветам двух лун. Заскрежетало. Пискнуло — пронзительно, нестерпимо, тонко. Шевелились поблескивающие листья кактусов. Липла к лицу паутина, упругая, как сеть.

Вдруг вкрадчивым, раздирающим воем огласилась ночь. Оборвало. Все стихло. Гусев и Лось большими прыжками, содрогаясь от отвращения и ужаса, бежали по полю, высоко перескакивая через ожившие растения.

Наконец в свету восходящего серпа блеснула стальная обшивка аппарата. Добежали. Присели, отпыхиваясь.

— Ну нет, по ночам в эти паучьи места я не ходок,— сказал Гусев. Отвинтил люк и полез в аппарат.

Лось еще медлил. Прислушивался, поглядывал. И вот он увидел — между звезд фантастическим силуэтом плыла крылатая тень корабля.

ЛОСЬ ГЛЯДИТ НА ЗЕМЛЮ

Тень воздушного корабля исчезла. Лось влез на мокрую обшивку аппарата, закурил трубочку и поглядывал на звезды. Тонкий холодок знобил тело. Внутри аппарата возился, бормотал Гусев, рассматривал, прятал найденные вещицы. Потом голова его высунулась из люка лодки.

— Что вы ни говорите, Мстислав Сергеевич, а это все золото, а камешкам — цены им нет. Вот дуреха-то моя обрадуется.

Голова его скрылась, вскоре он совсем затих. Счастливый был человек Гусев.

Но Лось спать не мог,— сидел, помаргивал на звезды, посасывал трубочку. Черт знает что такое! Откуда на Марс могли попасть золотые маски с этим отличи-

тельным третьим стрекозиным глазом? А мозаика? Погибающие в море, летящие между звезд великаны. А знак параболы: рубиновый шарик — Земля и кирпичный — Марс? Знак власти над двумя мирами? Непостижимо. А поющая книга? А странный город, появившийся в туманном зеркале? И почему, почему весь этот край покинут, заброшен?

Лось выколотил трубку о каблук. Скорее бы настал день! Очевидно, что марсианин-летчик даст знать куда-нибудь в населенный центр. Быть может, их уже и сейчас разыскивают, и проплывший перед звездами корабль именно послан за ними.

Лось оглянул небо. Свет красноватой звезды — Земли — бледнел, она приближалась к зениту, лучик от нее шел в самое сердце.

Бессонной ночью, стоя в воротах сарая, Лось точно так же, с холодной печалью, глядел на восходивший Марс. Это было позапрошлой ночью. Лишь одни сутки отделяли его от того часа, от Земли.

Земля, Земля, зеленая, то в облаках, то в прорывах света, пышная, многоводная, так расточительно-жестокая к своим детям, все же любимая,— родина...

Ледяным холодом сжало мозг. Этот красноватый шарик Земли — точно горячее сердце... Человек, эфемерида, пробуждающийся на мгновение к жизни, он — Лось, один, своей безумной волей оторвался от родины, и вот, как унылый бес, один сидит на пустыре. Вот оно, вот оно одиночество. Этого ты хотел? Ушел ты от самого себя?..

Лось передернул плечами от холодка. Сунул трубку в карман. Влез в аппарат и лег рядом с похрапывающим Гусевым. Этот простой человек не предал родины, прилетел за тридевять земель, на девятое небо, и здесь, как и там,— у себя дома... Спит спокойно, совесть чиста.

От тепла, от усталости Лось задремал. Во сне сошло на него утешение. Он увидел берег земной реки, березы, шумящие от ветра, облака, искры солнца на воде, и на той стороне кто-то в светлом, сияющем — машет ему, зовет, манит. Лося и Гусева разбудил сильный шум воздушных винтов.

МАРСИАНЕ

Ослепительно-розовые гряды облаков, как жгуты пряжи, покрывали утреннее небо. То появляясь в густо-синих просветах, то исчезая за розовыми грядами, опускался, залитый солнцем, летучий корабль. Очертание его трехмачтового остова напоминало гигантского жука. Три пары острых крыльев простирались с боков его.

Корабль прорезал облака и, весь влажный, серебристый, сверкающий, повис над кактусами. На крайних его коротких мачтах мощно ревели вертикальные винты, не давая ему опуститься. С бортов откинулись лесенки, и корабль сел на них. Винты остановились.

По лесенкам вниз побежали щуплые фигуры марсиан. Они были в одинаковых яйцевидных шлемах, в серебристых широких куртках с толстыми воротниками, закрывающими шею и низ лица. В руках у каждого было оружие в виде короткого, с диском посредине, автоматического ружья.

Гусев, насупившись, стоял около аппарата. Держа руку на маузере, поглядывал, как марсине выстроились в два ряда. Их ружья лежали дулом на согнутой руке.

— Оружие, сволочи, как бабы держат,— проворчал он.

Лось стоял, сложив на груди руки, улыбаясь. Последним с корабля спустился марсианин, одетый в черный, падающий большими складками халат. Открытая голова его была лысая, в шишках. Безбородое узкое лицо голубоватого цвета.

Увязая в рыхлой почве, он прошел мимо двойного ряда солдат. Выпуклые светлые, ледяные глаза его остановились на Гусеве. Затем он глядел только на Лося. Приблизился к людям, поднял маленькую руку в широком рукаве и сказал тонким, стеклянным, медленным голосом птичье слово:

— Талцетл.

Еще более расширились его глаза, осветились холодным возбуждением. Он повторил птичье слово и повелительно указал на небо. Лось сказал:

— Земля.

— Земля,— с трудом повторил марсианин, поднял

кожу на лбу. Шишки его потемнели. Гусев выставил ногу, кашлянул и сказал сердито:

— Из Советской России, мы — русские. Мы, значит, к вам, здрасте,— он дотронулся до козырька,— мы вас не обижаем, вы нас не обижайте... Он, Мстислав Сергеевич, ни черта по-нашему не понимает.

Голубоватое, умное лицо марсианина было неподвижно, лишь на покатом лбу его, между бровей, стало вздуваться от напряжения красноватое пятно. Легким движением руки он указал на солнце и проговорил знакомый звук, прозвучавший странно:

— Соацр.

Он указал на почву, развел руками, как бы обхватывая шар:

— Тума.

Указав на одного из солдат, стоявших полукругом позади него, указал на Гусева, на себя, на Лося:

— Шохо.

Так он назвал словами несколько предметов и выслушал их значение на языке Земли. Приблизился к Лосю и важно коснулся безымянным пальцем его лба, впадины между бровей. Лось нагнул голову в знак приветствия. Гусев, после того как его коснулись, дернул на лоб козырек:

— Как с дикарями обращаются.

Марсианин подошел к аппарату и долго, со сдержанным удивлением, затем,— поняв, видимо, его принцип,— с восхищением рассматривал огромное стальное яйцо, покрытое коркой нагара. Вдруг всплеснул руками, обернулся к солдатам и быстро-быстро стал говорить им, подняв к небу стиснутые руки.

— Аиу,— ответили солдаты завывающими голосами.

Он же положил ладонь на лоб, вздохнул глубоко,— овладел волнением и, повернувшись к Лосю, уже без холода, потемневшими, увлажненными глазами взглянул ему в глаза.

— Аиу,— сказал он,— аиу утара шо̀хо, да̀циа Тума ра гео Талцетл.

Вслед за этим он рукою закрыл глаза и поклонился низко. Выпрямился, подозвал солдата, взял у него

узкий нож и стал царапать по обшивке аппарата: начертил яйцо, над ним крышку, сбоку — фигуру солдата. Гусев, смотревший ему через плечо, сказал:

— Предлагает кругом аппарата палатку поставить и охрану, только, Мстислав Сергеевич, как бы у нас вещи не растаскали, люки-то без замков.

— Бросьте, в самом деле, дурака валять, Алексей Иванович.

— Так ведь там инструменты, одёжа... А я с одним, вот с энтим солдатежком, переглянулся,— рожа у него самая ненадежная.

Марсианин слушал этот разговор со вниманием и почтением. Лось знаками показал ему, что согласен оставить аппарат под охраной. Марсианин поднес к большому тонкому рту свисток. С корабля ответили таким же пронзительным свистом. Тогда марсианин стал высвистывать какие-то сигналы. На верхушке средней, более высокой мачты поднялись, как волосы, отрезки тонких проволок, раздалось потрескивание искр.

Марсианин указал Лосю и Гусеву на корабль. Солдаты придвинулись, стали кругом. Гусев оглянулся на них, усмехнулся криво, пошел к аппарату, вынул из него два мешка с бельишком и мелочами, крепко задвинул люк и, указывая на него солдатам, хлопнул по маузеру, погрозил пальцем, скосоротился угрожающе. Марсиане с изумлением наблюдали за этими движениями.

— Ну, Алексей Иванович, пленники мы или гости— податься нам некуда,— сказал Лось, засмеялся, вскинул мешок на плечо, и они пошли к кораблю.

На мачтах его с сильным шумом закрутились вертикальные винты. Крылья опустились. Завыли пропеллеры. Гости, быть может пленники, вошли по хрупкой лесенке на борт.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗУБЧАТЫХ ГОР

Корабль летел невысоко над Марсом в северо-западном направлении. Лось и лысый марсианин остались на палубе. Гусев сошел внутрь корабля к солдатам.

В светлой, соломенного цвета рубке он сел в плетеное кресло и некоторое время глядел на востроносых, щуплых солдатиков, помаргивающих, как птицы, рыжими глазами. Затем вынул жестяной заветный портсигар,— с ним он семь лет не расставался на фронтах,— хлопнул по крышке,— «покурим, товарищи»,— и предложил папирос.

Марсиане с испугом затрясли головами. Один всетаки взял папироску, рассмотрел, понюхал и спрятал в карман белых штанов. Когда же Гусев закурил, солдаты в величайшем страхе попятились от него, зашептали птичьими голосами:

— Шóхо тáо тáвра шóхо-ом.

Красноватые, востренькие лица их с ужасом следили, как «шохо» глотает дым. Но понемногу они принюхались и успокоились и снова подсели к человеку.

Гусев, не особенно затрудняясь незнанием марсианского языка, стал рассказывать новым приятелям про Россию, про войну, революцию, про свои подвиги:

— Гусев — это моя фамилия. Гусев — от гусей: здоровенные такие птицы на Земле, вы таких сроду и не видали. Зовут меня — Алексей Иванович. Я не только полком, конной дивизией командовал. Страшный герой, ужасный. У меня тактика: пулеметы не пулеметы,— шашки наголо — «даешь, сукин сын, позицию!»— и рубать. И я весь сам изрубленный, мне наплевать. У нас в военной академии даже особый курс читают: «Рубка Алексея Гусева»,— не верите? Корпус мне предлагали.— Гусев ногтем сдвинул картуз, почесал за ухом.— Надоело, нет, извините. Семь лет воевал, хоть кому очертеет. А тут Мстислав Сергеевич меня зовет, умоляет: «Алексей Иванович, без вас хоть на Марс не лети». Вот, значит, здрасте.

Марсиане слушали, дивились. Один принес фляжку с коричневой, мускатного запаха жидкостью. Гусев вынул из мешка полбутылки спирту, захваченной с Земли. Марсиане выпили и залопотали. Гусев хлопал их по спинам, шумел. Потом начал вытаскивать из карманов разную дребедень,— предлагал меняться. Марсиане с радостью отдавали ему золотые вещицы за перочинный

ножик, за огрызок карандаша, за удивительную, сделанную из ружейного патрона зажигалку.

Тем временем Лось, облокотившись о решетчатый борт корабля, глядел на уплывающую внизу унылую, холмистую равнину. Он узнал дом, где побывали вчера. Повсюду лежали такие же развалины, островки деревьев, тянулись высохшие каналы.

Указывая на эту пустыню, Лось изобразил недоумение: почему целый край покинут и мертв. Выпуклые глаза лысого марсианина вдруг стали злыми. Он подал знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам зубчатых гор.

Солнце взошло высоко, облака исчезли. Ревели пропеллеры, при поворотах и подъемах поскрипывали, двигались гибкие крылья, гудели вертикальные винты. Лось заметил, что, кроме гула винтов и посвистыванья ветра в крыльях и прорезных мачтах, не было слышно иных звуков: машины работали бесшумно. Не было видно и самих машин. Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо, да на верхушках передней и задней мачт потрескивали две эллиптические корзины из серебристой проволоки.

Лось спрашивал у марсианина названия предметов и записывал их. Затем вынул из кармана давешнюю книжку с чертежами, прося произнести звуки геометрических букв. Марсианин с изумлением смотрел на эту книгу. Снова глаза его похолодели, тонкие губы скривились брезгливо. Он осторожно взял книгу из рук Лося и швырнул за борт.

От высоты, разреженного воздуха у Лося начало ломить грудь, слезами застилало глаза. Заметив это, марсианин дал знак снизиться. Корабль летел теперь над кроваво-красными пустынными скалами. Извилистый и широкий горный хребет тянулся с юго-востока на северо-запад. Тень от корабля летела внизу по рваным обрывам, искрящимся жилами руд и металлов, по крутым склонам, поросшим лишаями, срывалась в туманные пропасти, покрывала тучкой сверкающие ледяные пики, зеркальные глетчеры. Край был дик и безлюден.

— Лизиазира,— кивнув на горы, сказал марсианин и оскалил мелкие, блеснувшие металлом зубы.

Глядя вниз на эти скалы, так печально напомнившие ему мертвый пейзаж разбитой планеты, Лось увидел в пропасти на камнях опрокинутый корабельный остов,— обломки серебристого металла были раскиданы кругом него. Далее, из-за гребня скалы, поднималось сломанное крыло второго корабля. Направо, пронзенный гранитным пиком, висел третий, весь изуродованный корабль. Повсюду в этих местах виднелись остатки огромных крыльев, разбитых остовов, торчащих ребер. Это было место битвы; казалось, демоны были повержены на эти бесплодные скалы.

Лось покосился на соседа. Марсианин сидел, придерживая халат у шеи, и спокойно глядел на небо. Навстречу кораблю летели длиннокрылые птицы, вытянувшись в линию. Вот они взмыли, сверкнули желтыми крыльями в темной синеве и повернули. Следя за их снижающимся полетом, Лось увидел черную воду круглого озера, глубоко лежащего между скал. Кудрявые кусты лепились по его берегам. Желтые птицы сели у воды.

Озеро начало ходить зыбью, закипело, из середины его поднялась сильная струя воды, раскинулась и опала.

— Соа́м,— проговорил марсианин торжественно.

Горный хребет кончался. На северо-западе сквозь прозрачные, зыбкие волны зноя виднелась канареечно-желтая равнина, блестели большие воды. Марсианин протянул руку в направлении туманной, чудесной дали и с длинной улыбкой сказал:

— Азо́ра.

Корабль слегка поднялся. Влажный, сладкий воздух шел в лицо, шумел в ушах. Азора расстилалась широкой, сияющей равниной. Прорезанная полноводными каналами, покрытая оранжевыми кущами растительности, веселыми канареечными лугами, Азора, что означало — радость, походила на те цыплячьи, весенние луга, которые вспоминаются во сне, в далеком детстве.

По каналам плыли широкие металлические барки. По берегам разбросаны белые домики, узорные дорож-

ки садов. Повсюду ползали фигурки марсиан. Иные снимались с плоской крыши и летучей мышью летели через воду или за рощу. Повсюду в лугах блестели лужи, сверкали ручьи. Чудесный был край Азора.

В конце равнины играла солнечная зыбь огромного водного пространства, куда уходили извилистые линии всех каналов. Корабль летел в ту сторону, и Лось увидел, наконец, большой прямой канал. Дальний берег его тонул во влажной мгле. Желтоватые мутные воды его медленно текли вдоль каменного откоса.

Летели долго. И вот в конце канала начал подниматься из воды ровный край стены, уходящий концами за горизонт. Стена вырастала. Теперь были видны огромные глыбы кладки, поросшей кустами и деревьями между щелями. Они подлетали к гигантскому цирку. Он был полон воды. Над поверхностью во многих местах поднимались пенными шапками фонтаны...

— Ро,— сказал марсианин, важно подняв палец.

Лось вытащил из кармана записную книжку, отыскал в ней наспех вчера набросанный чертеж линий и точек на диске Марса. Рисунок он протянул соседу и указал вниз, на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись,— понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на чертеже.

Перегнувшись через борт, Лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линию наполненных водою каналов. Так вот она — тайна: круглые пятна на диске Марса были цирками — водными хранилищами, линии треугольников и полукружий — каналами. Но какие существа могли построить эти циклопические стены? Лось оглянулся на своего спутника. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу:

— Тао хацха ро хамагацитл.

Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежало розово-красной, весьма широкой, цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое, словно посевом, правильными рядами растительности. Видимо, это была одна из линий второй сети каналов — бледного рисунка на диске Марса.

Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелкали искрами отрезки проволок. За холмами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы.

Марсианин сказал:

— Соацéра.

СОАЦЕРА

Голубоватые очертания Соацеры, уступы плоских крыш, решетчатые стены, покрытые зеленью, овальные зеркала прудов, прозрачные башни, поднимаясь из-за холмов, занимали все большее пространство, тонули за мглистым горизонтом. Множество черных точек летело над городом навстречу кораблю.

Цветущий канал отошел к северу. На восток от города расстилалось пустынное, покрытое кучами щебня, изрытое поле. У края этой пустыни, бросая резкую, длинную тень, возвышалась гигантская статуя, потрескавшаяся, покрытая лишаями.

Каменный, обнаженный человек стоял во весь рост, ноги его были сдвинуты, руки прижаты к узким бедрам, рубчатый пояс подпирал выпуклую грудь, на солнце тускло мерцал его ушастый шлем, увенчанный острым гребнем, точно рыбий хребет. Скуластое лицо с закрытыми глазами улыбалось лунообразным ртом.

— Магацитл,— сказал марсианин и указал на небо.

Вдали за статуей виднелись огромные развалины цирка, очертания рухнувших арок акведука. Всматриваясь, Лось понял, что кучи щебня на равнине — ямы, холмы — были остатками древнейшего города. Новый город, Соацера, начинался за сверкающим озером, на запад от этих развалин.

Черные точки в небе приближались, увеличивались. Это были сотни марсиан, летевших навстречу в крылатых лодках и седлах, на парусиновых птицах, в корзинах с парашютами.

Первой домчалась, описала крутой заворот и повисла над кораблем сияющая, золотая, четырехкрылая, как стрекоза, узкая сигара. С нее посыпались цветы, разноцветные бумажки на палубу корабля, свешивались взволнованные лица.

Лось встал, держась за трос, снял шлем,— ветер поднял его белые волосы. Из рубки вылез Гусев и стал рядом. Охапки цветов полетели на них из лодок. На голубоватых, то смуглых, то кирпичных лицах подлетающих марсиан было возбуждение, восторг, ужас.

Теперь над головой, спереди, с боков, вдогонку за медленно плывущим кораблем, летели сотни воздушных экипажей. Вот скользнул сверху вниз в корзине под парашютом размахивающий руками толстяк в полосатом колпаке. Вот мелькнуло шишковатое лицо, глядящее в трубку. Вот озабоченный, с развевающимися волосами, востроносый марсианин, вертясь перед кораблем на крылатом седле, наводил какой-то крутящийся ящичек на Лося. Вот пронеслась, вся в цветах, плетеная лодка,— три женских, большеглазых, бледных лица, голубые чепцы, голубые летящие рукава, златотканные шарфы.

Пение винтов, шум ветра в крыльях, тонкие свистки, сверкание золота, пестрота одежд в воздушной синеве, внизу — пурпуровая, то серебристая, то канареечная листва парков, сверкающие отблесками солнца окна уступчатых домов,— все было как сон. Кружилась голова. Гусев озирался, повторял шепотом:

— Гляди, гляди, эх ты, мать честная!..

Корабль проплыл над висячими садами и плавно опустился на большую круглую площадь. Тотчас посыпались горохом с неба сотни лодок, корзин, крылатых седел,— садились, шлепались на белые плиты площади. В улицах, расходившихся от нее звездою, шумели толпы народа,— бежали, кидали цветы, бумажки, махали платочками.

Корабль сел у высокого и тяжелого, как пирамида, мрачного здания из черно-красного камня. На широкой лестнице его, между квадратных, суженных кверху ко-

лонн, доходивших только до трети высоты дома, стояла кучка марсиан. Они были все в черных халатах, в круглых шапочках. Это был, как Лось узнал впоследствии, Высший совет инженеров — высший орган управления всеми странами Марса.

Марсианин-спутник указал Лосю — ждать. Солдаты сбежали по лесенкам на площадь и окружили корабль, сдерживая напиравшие толпы. Гусев с восхищением глядел на пеструю от одежд, волнующуюся площадь, на вздымающееся над головами множество крыльев, на громады сероватых или черно-красных зданий, на прозрачные, за крышами, очертания башен.

— Ну, город, вот это — город!— повторял он, притопывая.

На лестнице марсиане в черных халатах раздвинулись. Появился высокий, сутулый марсианин, также одетый в черное, с длинным мрачным лицом, с длинной узкой черной бородой. На круглой шапочке его дрожал золотой гребень, как рыбий хребет.

Сойдя до середины лестницы, опираясь на трость, он долго смотрел запавшими, темными глазами на пришельцев с Земли. Глядел на него и Лось — внимательно, настороженно.

— Дьявол, уставился! — шепнул Гусев. Обернулся к толпе и уже беспечно крикнул:— Здравствуйте, товарищи марсиане, мы к вам с приветом от Советских республик... Для установления добрососедских отношений...

Толпа изумленно вздохнула, зароптала, зашумела, надвинулась. Мрачный марсианин захватил горстью бороду и перевел глаза на толпу, окинул тусклым взором площадь. И под его взглядом стало утихать взволнованное море голов. Он обернулся к стоявшим на лестнице, сказал несколько слов и, подняв трость, указал ею на корабль.

Тотчас к кораблю сбежал один из марсиан и тихо и быстро проговорил что-то нагнувшемуся к нему через борт лысому марсианину. Раздались сигнальные свистки, двое солдат взбежали на борт, завыли винты, и корабль, грузно отделившись от площади, поплыл над городом в северном направлении.

В ЛАЗОРЕВОЙ РОЩЕ

Соацера утонула далеко за холмами. Корабль летел над равниной. Кое-где виднелись однообразные линии построек, столбы и проволоки подвесных дорог, отверстия шахт, груженые шаланды, двигающиеся по узким каналам.

Но вот из лесных кущ все чаще стали подниматься скалистые пики. Корабль снизился, пролетел над ущельем и сел на луг, покато спускавшийся к темным и пышным зарослям.

Лось и Гусев взяли мешки и вместе с лысым их спутником пошли по лугу, вниз к роще.

Водяная пыль, бьющая из-под дерева, играла радугами над сверкающей влагою кудрявой травой. Стадо низкорослых длинношерстых животных, черных и белых, паслось по склону. Было мирно. Тихо шумела вода. Подувал ветерок.

Длинношерстые животные лениво поднимались, давая дорогу людям, и отходили, переваливаясь медвежьими лапами, оборачивали плоские, кроткие морды. Опустились на луг желтые птицы и распушились, отряхиваясь под радужным фонтаном воды.

Подошли к роще. Пышные, плакучие деревья были лазурно-голубые. Смолистая листва шелестела сухо повисшими ветвями. Сквозь пятнистые стволы играла вдали сияющая вода озера. Пряный, сладкий зной в этой голубой чаще кружил голову.

Рощу пересекало много тропинок, посыпанных оранжевым песком. На скрещении их, на круглых полянах, стояли старые, иные поломанные, в лишаях, большие статуи из песчаника. Над зарослями поднимались обломки колонн, остатки циклопической стены.

Дорожка загибала к озеру. Открылось его темносинее зеркало с опрокинутой вершиной далекой скалистой горы. Чуть шевелились в воде отражения плакучих деревьев. Сияло пышное солнце. В излучине берега, с боков мшистой лестницы, спускавшейся в озеро, возвышались две огромные сидящие статуи, потрескавшиеся, поросшие ползучей растительностью.

На ступенях лестницы появилась молодая женщина. Голову ее покрывал желтый острый колпачок. Она казалась юношески-тонкой, бело-голубоватая, рядом с грузным очертанием покрытого мхом, вечно улыбающегося сквозь сон, сидящего Магацитла. Она поскользнулась, схватилась за каменный выступ, подняла голову.

— Аэлита,— прошептал марсианин, прикрыл глаза рукавом и потащил Лося и Гусева с дорожки в чащу.

Скоро они вышли на большую поляну. В глубине ее, в густой траве, стоял угрюмый, с покатыми стенами, серый дом. От звездообразной песчаной площадки перед его фасадом прямые дорожки бежали через луг вниз к роще, где между деревьями виднелись низкие каменные постройки.

Лысый марсианин свистнул. Из-за угла дома появился низенький, толстенький марсианин в полосатом халате. Багровое лицо его было точно натерто свеклой. Морщась от солнца, он подошел, но, услышав — кто такие приезжие, сейчас же приноровился удирать за угол. Лысый марсианин заговорил с ним повелительно, и толстяк, приседая от страха, оборачиваясь, показывая желтый зуб из беззубого рта, повел гостей в дом.

ОТДЫХ

Гостей отвели в светлые, маленькие, почти пустые комнаты, выходившие узкими окнами в парк. Стены столовой и спален были обтянуты белыми циновками. В углах стояли кадки с цветущими деревцами. Гусев нашел помещение подходящим: «Вроде багажной корзины, очень славно».

Толстяк в полосатом халате, управляющий домом, суетился, лопотал, катался из двери в дверь, вытирал коричневым платком череп и время от времени каменел, выкатывая на гостей склерозные глаза,— шептал торопливо, беззвучно какие-то, должно быть, заклинания.

Он напустил воду в бассейн и провел Лося и Гусева каждого в свою ванну,— со дна ее поднимались густые клубы пара. Прикосновение к безмерно уставшему телу горячей, пузырящейся, легкой воды было так сладко, что Лось едва не заснул в бассейне. Управляющий вытащил его за руку.

Лось едва доплелся до столовой, где был накрыт стол множеством тарелочек с овощами, паштетами, крошечными яйцами, фруктами. Хрустящие, величиной с орех, шарики хлеба таяли во рту. Не было ни ножей, ни вилок, только — в каждое блюдо — воткнута крошечная лопаточка. Управляющий каменел, глядя, как люди с Земли пожирают блюда деликатнейшей пищи. Гусев вошел во вкус. Особенно хорошо было вино с запахом сырости цветов. Оно испарялось во рту и горячей бодростью текло по жилам.

Приведя гостей в спальни, управляющий долго еще хлопотал, подтыкая одеяла, подсовывая подушечки. Но уже крепкий и долгий сон овладел «белыми гигантами». Они дышали и сопели так громко, что дрожали стекла, трепетали растения в углах и кровати трещали под их не по-марсиански могучими телами.

Лось открыл глаза. Синеватый искусственный свет лился из потолочного колодца. Было тепло и приятно лежать. «Что случилось? Где я лежу?» Но так и не сообразил,— с наслаждением снова закрыл глаза.

Проплыли какие-то лучезарные пятна,— словно вода играла сквозь лазурную листву. Предчувствие изумительной радости, ожидание, что вот-вот из этих сияющих пятен что-то должно войти в его сон, наполняло его чудесной тревогой.

Сквозь дремоту, улыбаясь, он хмурил брови,— силился проникнуть за эту тонкую пелену скользящих солнечных пятен. Но еще более глубокий сон прикрыл его облаком.

. . . .

Лось сел на постель. Так сидел некоторое время, опустив голову. Поднялся, дернул вбок штору. За узким окном горели ледяным светом огромные звезды, незнакомый их чертеж был странен и дик.

— Да, да, да,— проговорил Лось,— я не на Земле. Ледяная пустыня, бесконечное пространство. Я — в новом мире. Ну, да: я же мертв. Жизнь осталась там...

Он вонзил ногти в грудь там, где сердце.

— Это не жизнь, не смерть. Живой мозг, живое тело. Но жизнь осталась там...

Он сам не мог понять, почему вторую ночь его так невыносимо мучает тоска по Земле, по самому себе, жившему там, за звездами. Словно оторвалась живая нить, и душа его задыхается в ледяной, черной пустоте. Он опять повалился на подушки.

. . . .

— Кто здесь?

Лось вскочил. В окно бил луч утреннего света. Соломенная маленькая комната была ослепительно чиста. Шумели листья, свистели птицы за окном. Лось провел рукой по глазам, глубоко вздохнул.

В дверь опять легонько постучали. Лось распахнул дверь,— за нею стоял полосатый толстяк, придерживая обеими руками на животе охапку лазоревых, осыпанных росою цветов.

— Аиу утара Аэлита,— прошептал он, протягивая цветы.

ТУМАННЫЙ ШАРИК

За утренней едой Гусев сказал:

— Мстислав Сергеевич, ведь это выходит не дело. Летели черт знает в какую даль, и пожалуйте,— сиди в захолустье. В ваннах прохлаждаться,— за этим ведь лететь не стоило. В город они небось нас не пустили,— бородатый-то, помните, как насупился. Ох, Мстислав Сергеевич, опасайтесь его. Пока нас поят, кормят, а потом?

— А вы не торопитесь, Алексей Иванович,— сказал Лось, поглядывая на лазоревые цветы, пахнущие горьковато и сладко,— поживем, осмотримся, увидят, что мы не опасны, пустят и в город.

— Не знаю, как вы, Мстислав Сергеевич, а я сюда не прохлаждаться приехал.

— Что же, по-вашему, мы должны предпринять?

— Странно от вас это слышать, Мстислав Сергеевич, уж не нанюхались ли вы чего-нибудь сладкого?

— Ссориться хотите?

— Нет, не ссориться. А сидеть — цветы нюхать,— этого и у нас на Земле сколько в душу влезет. А я думаю,— если мы первые люди сюда заявились, то Марс теперь наш, советский. Это дело надо закрепить.

— Чудак вы, Алексей Иванович.

— А вот посмотрим, кто из нас чудак.— Гусев одернул ременный пояс, повел плечами, глаза его хитро прищурились.— Это дело трудное, я сам понимаю: нас только двое. А вот надо, чтобы они бумагу нам выдали о желании вступить в состав Российской Федеративной Республики. Спокойно эту бумагу нам не дадут, конечно, но вы сами видели: на Марсе у них не все в порядке. Глаз у меня на это наметанный.

— Революцию, что ли, хотите устроить?

— Как сказать, Мстислав Сергеевич, там посмотрим. С чем мы в Петроград-то вернемся? Паука, что ли, сушеного привезем? Нет, вернуться и предъявить: пожалуйте — присоединение к Ресефесер планеты Марса. Вот в Европе тогда взовьются. Одного золота здесь, сами видите, кораблями вози. Так-то, Мстислав Сергеевич.

Лось задумчиво поглядывал на него: нельзя было понять — шутит Гусев или говорит серьезно,— хитрые, простоватые глазки его посмеивались, но где-то пряталась в них сумасшединка.

Лось покачивал головой и, трогая прозрачные восковые лазоревые лепестки больших цветов, сказал задумчиво:

— Мне не приходило в голову, для чего я лечу на Марс. Лечу, чтобы прилететь. Были времена, когда конквистадоры снаряжали корабль и плыли искать новые земли. Из-за моря показывался неведомый берег, корабль входил в устье реки, капитан снимал широкополую шляпу и называл землю своим именем. Затем он грабил берега. Да, вы, пожалуй, правы: приплыть к бе-

регу еще мало,— нужно нагрузить корабль сокровищами. Нам предстоит заглянуть в новый мир,— какие сокровища! Мудрость, мудрость — вот что, Алексей Иванович, нужно вывезти на нашем корабле.

— Трудно нам будет с вами сговориться, Мстислав Сергеевич. Не легкий вы человек.

Лось засмеялся:

— Нет, я тяжелый только для самого себя, сговоримся, милый друг.

В дверь поскреблись. Слегка садясь на ноги от страха и почтения, появился управляющий и знаками попросил за собою следовать. Лось поспешно поднялся, провел ладонью по белым волосам. Гусев решительно закрутил усы — торчком. Гости прошли по коридорам и лесенкам в дальнюю часть дома.

Управляющий постучал в низенькую дверь. За ней раздался торопливый, точно детский голос. Лось и Гусев вошли в длинную белую комнату. Лучи света с танцующими в них пылинками падали сквозь потолочные окна на мозаичный пол, в котором отражались ровные ряды книг, бронзовые статуи, стоящие между плоскими шкафами, столики на острых ножках, облачные зеркала экранов.

Недалеко от двери стояла пепельноволосая молодая женщина в черном платье, закрытом до шеи, до кистей рук. Над высоко поднятыми ее волосами танцевали пылинки в луче, падающем на золоченые переплеты книг. Это была та, кого вчера на озере марсианин назвал — Аэлита.

Лось низко поклонился ей. Аэлита, не шевелясь, глядела на него огромными зрачками пепельных глаз. Ее бело-голубоватое удлиненное лицо чуть-чуть дрожало. Немного приподнятый нос, слегка удлиненный рот были по-детски нежны. Точно от подъема на крутизну дышала ее грудь под черными и мягкими складками.

— Эллио утара гео,— легким, как музыка, нежным голосом, почти шепотом, проговорила она и наклонила голову так низко, что стал виден ее затылок.

В ответ Лось только хрустнул пальцами. Сделав усилие, сказал, непонятно почему, напыщенно:

— Пришельцы с Зёмли приветствуют тебя, Аэлита.

Сказал и покраснел. Гусев проговорил с достоинством:

— Рады познакомиться — командир полка Гусев, инженер — Мстислав Сергеевич Лось. Пришли поблагодарить вас за хлеб-соль.

Выслушав человеческую речь, Аэлита подняла голову, ее лицо стало спокойнее, зрачки — меньше. Она молча вытянула руку, обернула узенькую часть руки ладонью кверху и так держала ее некоторое время. Лосю и Гусеву стало казаться, что на ладони ее появился бледно-зеленый шар. Затем Аэлита быстро перевернула ладонь и пошла вдоль книжных полок в глубину библиотеки. Гости последовали за ней.

Теперь Лось рассмотрел, что Аэлита была ему по плечо, нежная и легкая, как те с горьковатым запахом цветы, что прислала она утром. Подол ее широкого платья летел по зеркальной мозаике. Оборачиваясь, она улыбалась, но глаза оставались взволнованными, встревоженными.

Она указала на широкую скамью, стоявшую в полукруглом расширении комнаты. Лось и Гусев сели. Сейчас же Аэлита присела напротив них у читального столика, положила на него локти и стала мягко и пристально глядеть на гостей.

Так они молчали небольшое время. Понемногу Лось начал чувствовать покой и сладость,— сидеть вот так и созерцать эту чудесную, странную девушку. Гусев вздохнул, сказал вполголоса:

— Хорошая девушка, очень приятная девушка.

Тогда Аэлита заговорила, точно дотронулась до музыкального инструмента,— так чудесен был ее голос. Строка за строкою повторяла она какие-то слова, чуть шевеля губами. Ее пепельные ресницы то смыкались, то раскрывались медленно.

Она снова протянула перед собою руку, ладонью верх. Почти тотчас же Лось и Гусев увидели в углублении ее ладони бледно-зеленый туманный шарик, с не-

большое яблоко величиной. Внутри своей сферы он весь двигался и переливался.

Теперь оба гостя и Аэлита внимательно глядели на это облачное, опаловое яблоко. Вдруг струи в нем остановились, пропустили темные пятна. Вглядевшись, Лось вскрикнул: на ладони Аэлиты лежал земной шар.

— Талцетл,— сказала она, указывая на него пальцем.

Шар медленно начал крутиться. Проплыли очертания Америки, тихоокеанский берег Азии. Гусев заволновался.

— Это — мы, мы — русские,— сказал он, тыча ногтем в Сибирь.

Извилистой тенью проплыла гряда Урала, ниточка нижнего течения Волги. Очертились берега Белого моря.

— Здесь,— сказал Лось и указал на Финский залив.

Аэлита удивленно подняла на него глаза. Вращение шара остановилось. Лось сосредоточился, в памяти возник кусок географической карты,— и сейчас же, словно отпечаток его воображения, появились на поверхности туманного шара черная клякса, расходящаяся от нее ниточка железных дорог и — надпись на зеленоватом поле: «Петроград».

Аэлита всмотрелась и заслонила шар,— он теперь просвечивал сквозь ее пальцы. Взглянув на Лося, она покачала головой.

— Оцео, хо суа,— сказала она, и он понял: «Сосредоточьтесь и вспоминайте».

Тогда он стал вспоминать очертания Петербурга — гранитную набережную, студеные синие волны Невы, ныряющую в них лодочку, повиснувшие в тумане длинные арки Николаевского моста, густые дымы заводов, дымы и тучи тусклого заката, мокрую улицу, вывеску мелочной лавочки, старенького извозчика на углу.

Аэлита, подперев подбородок, тихо глядела на шар. В нем проплывали воспоминания Лося, то отчетливые, то словно стертые. Выдвинулся тусклый купол Исаакиевского собора, и уже на месте его проступала гранитная лестница у воды, полукруг скамьи, печально сидя-

щая русая девушка,— лицо ее задрожало, исчезло, а над нею — два сфинкса в тиарах. Поплыли колонки цифр, рисунок чертежа, появился пылающий горн, угрюмый Хохлов, раздувающий угли.

Долго глядела Аэлита на странную жизнь, проходящую перед ней в туманных струях шара. Но вот изображения начали путаться: в них настойчиво вторгались какие-то совсем иного очертания картины — полосы дыма, зарево, скачущие лошади, какие-то бегущие, падающие люди. Вот, заслоняя все, выплыло бородатое, залитое кровью лицо. Гусев шумно вздохнул. Аэлита с тревогой обернулась к нему и сейчас же перевернула ладонь. Шар исчез.

Аэлита сидела несколько минут, облокотившись, закрыв рукою глаза. Встала, взяла с полки один из цилиндров, вынула костяной валик и вложила в читальный — с экраном — столик. Затем она потянула за шнур,— верхние окна в библиотеке задернулись синими шторами. Она придвинула столик к скамье и повернула включатель.

Зеркало экрана осветилось, сверху вниз поплыли по нему фигурки марсиан, животных, дома, деревья, утварь.

Аэлита называла каждую фигурку именем. Когда фигурки двигались и совмещались, она называла глагол. Иногда изображения перемежались цветными, как в поющей книге, знаками, и раздавалась едва уловимая музыкальная фраза,— Аэлита называла понятие.

Она говорила тихим голосом. Не спеша плыли изображения предметов этой странной азбуки. В тишине, в голубоватом сумраке библиотеки глядели на Лося пепельные глаза, голос Аэлиты сильными и мягкими чарами проникал в сознание. Кружилась голова.

Лось чувствовал,— мозг его яснеет, будто поднимается туманная пелена, и новые слова и понятия отпечатлеваются в памяти. Так продолжалось долго. Аэлита провела рукой по лбу, вздохнула и погасила экран. Лось и Гусев сидели как в тумане.

— Идите и лягте спать,— сказала Аэлита гостям на том языке, звуки которого были еще странными, но смысл уже сквозил во мгле сознания.

НА ЛЕСТНИЦЕ

Прошло семь дней.

Когда впоследствии Лось вспоминал это время,— оно представлялось ему синим сумраком, удивительным покоем, где наяву проходили вереницы дивных сновидений.

Лось и Гусев просыпались рано поутру. После ванны и легкой еды шли в библиотеку. Внимательные, ласковые глаза Аэлиты встречали их на пороге. Она говорила почти уже понятные слова. Было чувство невыразимого покоя в тишине и полумраке этой комнаты, в тихих словах Аэлиты,— влага ее глаз переливалась, глаза раздвигались в сферу, и там шли сновидения. Бежали тени по экрану. Слова вне воли проникали в сознание.

Слова — сначала только звуки, затем сквозящие, как из тумана, понятия — понемногу наливались соком жизни. Теперь, когда Лось произносил имя — Аэлита, оно волновало его двойным чувством: печалью первого слова АЭ, что означало — «видимый в последний раз», и ощущением серебристого света — ЛИТА, что означало «свет звезды». Так язык нового мира тончайшей материей вливался в сознание.

Семь дней продолжалось это обогащение. Уроки были — утром и после заката — до полуночи. Наконец Аэлита, видимо, утомилась. На восьмой день гостей не пришли будить, и они спали до вечера.

Когда Лось поднялся с постели, в окно были видны длинные тени от деревьев. Хрустальным, однообразным голосом посвистывала какая-то птичка. Лось быстро оделся и, не будя Гусева, пошел в библиотеку, но на стук никто не ответил. Тогда Лось вышел во двор, первый раз за эти семь дней.

Поляна полого спускалась к роще, к низким постройкам. Туда, с унылым поревыванием, шло стадо неуклюжих, длинношерстых животных — хаши,— полумедведей, полукоров. Косое солнце золотило кудрявую траву,— весь луг пылал влажным золотом. Пролетели на озеро изумрудные журавли. Вдали выступил, залитый закатом, снежный конус горной вершины. Здесь тоже был покой, печаль уходящего в мире и золоте дня.

Лось пошел к озеру по знакомой дорожке. Те же стояли с обеих сторон плакучие лазурные деревья, те же увидел он развалины за пятнистыми стволами, тот же был воздух — тонкий, холодеющий. Но Лосю казалось, что только сейчас он увидел эту чудесную природу,— раскрылись глаза и уши,— он узнал имена вещей.

Пылающими пятнами сквозило озеро сквозь ветви. Но когда Лось подошел к воде, солнце уже закатилось, огненные перья заката, языки легкого пламени побежали, охватили полнеба золотым пламенем. Быстро-быстро огонь покрывался пеплом, небо очищалось, темнело, и вот уже зажглись звезды. Странный рисунок созвездий отразился в воде. В излучине озера, у лестницы, возвышались черными очертаниями два каменных гиганта,— сторожа тысячелетий сидели, обращенные лицами к созвездиям.

Лось подошел к лестнице. Глаза еще не привыкли к быстро наступившей темноте. Он облокотился о подножие статуи и вдыхал сыроватую влагу озера,— горьковатый запах болотных цветов. Отражения звезд расплывались,— над водою закурился тончайший туман. А созвездия горели все ярче, и теперь ясно были видны заснувшие ветки, поблескивающие камешки и улыбающееся лицо сидящего Магацитла.

Лось глядел и стоял так долго, покуда не затекла рука, лежащая на камне. Тогда он отошел от статуи и сейчас же увидел внизу на лестнице Аэлиту. Она сидела неподвижно, глядя на отражение звезд в черной воде.

— Аиу ту ира хасхе, Аэлита,— проговорил Лось, с изумлением прислушиваясь к странным звукам своих слов. Он выговорил их, как на морозе, с трудом. Его желание,— могу ли я быть с вами, Аэлита? — само претворилось в эти чужие звуки.

Аэлита медленно обернула голову, сказала:

— Да.

Лось сел рядом на ступень. Волосы Аэлиты были покрыты черным колпачком — капюшоном плаща. Лицо различимо в свете звезд, но глаз не видно,— лишь большие тени в глазных впадинах.

Холодноватым голосом, спокойно, она спросила:

— Вы были счастливы там, на Земле?

Лось ответил не сразу,— всматривался: ее лицо было неподвижно, рот печально сложен.

— Да,— ответил он,— да, я был счастлив.

— В чем счастье у вас на Земле?

Лось опять всмотрелся.

— Должно быть, в том счастье у нас на Земле, чтобы забыть самого себя. Тот счастлив, в ком полнота, согласие и жажда жить для тех, кто дает эту полноту, согласие, радость.

Теперь Аэлита обернулась к нему. Стали видны ее огромные глаза, с изумлением глядящие на этого беловолосого великана, человека.

— Такое счастье приходит в любви к женщине,— сказал Лось.

Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. Не то она смеялась? — нет. Не то заплакала? — нет. Лось тревожно заворочался на мшистой ступени. Аэлита сказала чуть дрогнувшим голосом:

— Зачем вы покинули Землю?

— Та, кого я любил, умерла,— сказал Лось.— Не было силы побороть отчаяние, жизнь для меня стала ужасна. Я — беглец и трус.

Аэлита выпростала руку из-под плаща и положила ее на большую руку Лося,— коснулась и снова убрала руку под плащ.

— Я знала, что в моей жизни произойдет это,— проговорила она, словно в раздумье.— Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы. Светлые, не наши, реки. Облака, облака, огромные, белые, и дожди,— потоки воды. И люди-великаны. Я думала, что схожу с ума. Впоследствии мой учитель говорил, что это — ашхе, второе зрение. В нас, потомках Магацитлов, живет память об иной жизни, дремлет ашхе, как непроросшее зерно. Ашхе — страшная сила, великая мудрость. Но я не знаю, что — счастье?

Аэлита выпростала из-под плаща обе руки, всплеснула ими, как ребенок. Колпачок ее опять задрожал.

— Уж много лет, по ночам, я прихожу на эту лестницу, гляжу на звезды. Я много знаю. Уверяю вас,

я знаю такое, что вам никогда нельзя и не нужно знать. Но счастлива я была, когда в детстве снились облака, облака, потоки дождя, зеленые горы, великаны. Учитель предостерегал меня: он сказал, что я погибну.— Она обернула к Лосю лицо и вдруг усмехнулась.

Лосю стало жутко: так чудесно красива была Аэлита, такой опасный, горьковато-сладкий запах шел от ее плаща с капюшоном, от рук, от лица, от дыхания.

— Учитель сказал: «Хао погубит тебя». Это слово означает нисхождение.

Аэлита отвернулась и надвинула колпачок плаща ниже, на глаза.

После молчания Лось сказал:

— Аэлита, расскажите мне о вашем знании.

— Это тайна,— ответила она важно,— но вы человек, я должна буду вам рассказать многое.

Она подняла лицо. Большие созвездия, по обе стороны Млечного Пути, сияли и мерцали так, как будто ветерок вечности проходил по их огням. Аэлита вздохнула.

— Слушайте,— сказала она,— слушайте меня внимательно и спокойно.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ АЭЛИТЫ

— Тума, то есть Марс, двадцать тысячелетий тому назад был населен Аолами — оранжевой расой. Дикие племена Аолов — охотники и пожиратели гигантских пауков — жили в экваториальных лесах и болотах. Только несколько слов в нашем языке осталось от этих племен. Другая часть Аолов населяла южные заливы большого материка. Там есть вулканические пещеры с солеными и пресными озерами. Население ловило рыбу и уносило ее под землю, сваливало в соленые озера. В глубине пещер они спасались от зимних стуж. До сих пор там еще видны холмы из рыбьих костей.

Третья часть Аолов селилась близ экватора у подножья гор, всюду, где из-под земли били гейзеры питьевой воды. Эти племена умели строить жилища, разво-

дили длинношерстых хаши, воевали с пожирателями пауков и поклонялись кровавой звезде Талцетл.

Среди одного из племен, населявшего блаженную страну Азора, появился необыкновенный шохо. Он был сыном пастуха, вырос в горах Лизиазиры и, когда ему минуло семнадцать лет, спустился в селения Азоры, ходил из города в город и говорил так:

«Я видел сон, раскрылось небо и упала звезда. Я погнал моих хаши к тому месту, куда упала звезда. Там я увидел лежащего в траве Сына Неба. Он был велик ростом, его лицо было бело, как снег на вершинах. Он поднял голову, и я увидел, что из глаз его выходят свет и безумие. Я испугался и упал ниц и лежал долго, как мертвый. Я слышал, как Сын Неба взял мой посох и погнал моих хаши, и земля дрожала под его ногами. И еще я услышал его громкий голос, он говорил: «Ты умрешь, ибо я хочу этого». Но я пошел за ним, потому что мне было жалко моих хаши. Я боялся приблизиться к нему: из его глаз исходил злой огонь, и каждый раз я падал ниц, чтобы остаться живым. Так мы шли несколько дней, удаляясь от гор в пустыню.

Сын Неба ударял посохом в камень, и выступала вода. Хаши и я пили эту воду. И Сын Неба сказал мне: «Будь моим рабом». Тогда я стал пасти его хаши, и он кидал мне остатки пищи».

Так говорил пастух жителям городов. И он говорил еще:

«Кроткие птицы и мирные звери живут, не ведая — когда придет гибель. Но уже хищный ихи распростер острые крылья над журавлем, и паук сплел сеть, и глаза страшного ча горят сквозь голубую заросль. Бойтесь. У вас нет столь острых мечей, чтобы поразить злого, у вас нет столь крепких стен, чтобы от него отгородиться, у вас нет столь длинных ног, чтобы убежать от злого. Я вижу в небе огненную черту, и злой Сын Неба падает в ваши селенья. Глаз его как красный огонь Талцетл».

Жители мирной Азоры в ужасе поднимали руки, слушая эти слова. Пастух говорил еще:

«Когда кровожадный ча ищет тебя глазами сквозь заросль — стань тенью, и нос ча не услышит запаха

твоей крови. Когда ихи падает из розового облака — стань тенью, и глаза ихи напрасно будут искать тебя в траве. Когда при свете двух лун — олло и литха — ночью злой паук, цитли, оплетает паутиной твою хижину,— стань тенью, и цитли не поймает тебя. Стань тенью, бедный сын Тумы. Только зло притягивает зло. Удали от себя все сродное злу. Закопай свое несовершенство под порогом хижины. Иди к великому гейзеру Соам и омойся. И ты станешь невидимым злому Сыну Неба,— напрасно его кровавый глаз будет пронзать твою тень».

Жители Азоры слушали пастуха. Многие пошли за ним, на круглое озеро, к великому гейзеру Соам.

Там иные спрашивали: «Как можно закопать зло под порогом хижины?» Иные сердились и кричали пастуху: «Ты обманываешь,— обиженные нищие подговорили тебя усыпить нашу бдительность и завладеть нашими жилищами». Иные сговаривались: «Отведем безумного пастуха на скалу и бросим его в горячее озеро, пусть сам станет тенью».

Слыша это, пастух брал уллу, деревянную дудку, внизу которой на треугольнике были натянуты струны, садился среди сердитых, раздраженных и недоумевающих и начинал играть и петь. Играл он и пел так прекрасно, что замолкали птицы, затихал ветер, ложились стада и солнце останавливалось в небе. Каждому из слушающих казалось в тот час, что он уже зарыл свое несовершенство под порогом хижины.

Три года учил пастух. На четвертое лето из болот вышли пожиратели пауков и напали на жителей Азоры. Пастух ходил по селеньям и говорил: «Не перешагивайте через порог, бойтесь зла в себе, бойтесь потерять чистоту». Его слушали, и были такие, которые не хотели противиться пожирателям пауков, и дикари побили их на порогах хижин. Тогда старшины городов, сговорившись, взяли пастуха, повели на скалу и бросили его в озеро.

Учение пастуха шло далеко за пределы Азоры. Даже обитатели поморских пещер высекали в скалах изображение его, играющего на улле. Но было также, что вожди иных племен казнили смертью поклоняющихся

пастуху, потому что учение его считали безумным и опасным. И вот настал час исполнения пророчества. В летописях того времени сказано:

«Сорок дней и сорок ночей падали на Туму Сыны Неба. Звезда Талцетл всходила после вечерней зари и горела необыкновенным светом, как злой глаз. Многие из Сынов Неба падали мертвыми, многие убивались о скалы, тонули в южном океане, но многие достигли поверхности Тумы и были живы».

Так рассказывает летопись о великом переселении Магацитлов, то есть одного из племен земной расы, погибшей от потопа двадцать тысячелетий тому назад.

Магацитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца аппаратах, пользуясь для движения силой распадения материи. В продолжение сорока дней они покидали Землю.

Множество гигантских яиц затерялось в звездном пространстве, множество разбилось о поверхность Марса. Небольшое число без вреда опустилось на равнины экваториального материка.

Летопись говорит:

«Они вышли из яиц, велики ростом и черноволосы. У Сынов Неба были желтые и плоские лица. Туловища их и колени покрывал бронзовый панцирь. На шлеме был острый гребень, и шлем выдавался впереди лица. В левой руке Сын Неба держал короткий меч, в правой — свиток с формулами, которые погубили бедные и невежественные народы Тумы».

Таковы были Магацитлы, свирепое и могущественное племя. На Земле, на материке, опустившемся на дно океана, они владели городом Ста Золотых Ворот.

Здесь, выйдя из бронзовых яиц, они пошли в селения Аолов и брали то, что хотели, и сопротивляющихся им убивали. Они угнали стада хаши на равнины и стали рыть колодцы. Они вспахали поля и засеяли их ячменем. Но воды в колодцах было мало, погибли зерна ячменя в сухой и бесплодной почве. Тогда они сказали Аолам — идти на равнину, рыть оросительные каналы и строить большие водохранилища.

Иные из племен послушались и пошли рыть. Иные сказали: «Не послушаемся и убьем пришельцев». Войска Аолов вышли на равнину и покрыли ее как туча.

Пришельцев было мало. Но они были крепки, как скалы, могучи, как волны океана, свирепы, как буря. Они разметали и уничтожили войска Аолов. Пылали селения. Разбегались стада. Из болот вышли свирепые ча и разрывали детей и женщин. Пауки оплетали опустевшие хижины. Пожиратели трупов — ихи — разжирели и не могли летать. Наступал конец мира.

Тогда вспомнили пророчество: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». Много Аолов пошло к великому гейзеру Соам. Многие уходили в горы и надеялись услышать в туманных ущельях очищающую от зла песню уллы. Многие делились друг с другом имуществом. Искали в себе и друг в друге доброе и с песнями, со слезами радости приветствовали доброе. В горах Лизиазиры верующие в пастуха построили Священный Порог, под которым лежало зло. Три кольца неугасимых костров охраняли Порог.

Войска Аолов погибли. В лесах были уничтожены пожиратели пауков. Стали рабами остатки рыбарей-поморов. Но Магацитлы не трогали верующих в пастуха, не касались Священного Порога, не приближались к гейзеру Соам, не входили в глубину горных ущелий, где в полдневный час пролетающий ветер издавал таинственные звуки — песню уллы.

Так минуло много кровавых и печальных лет.

У пришельцев не было женщин,— завоеватели должны были умереть, не оставив потомства. И вот, в горах, где скрывались Аолы, появился вестник — прекрасный лицом Магацитл. Он был без шлема и меча. В руке он держал трость с привязанной к ней пряжей. Он приблизился к огням Священного Порога и стал говорить Аолам, собравшимся ото всех ущелий:

«Моя голова открыта, моя грудь обнажена,— поразите меня мечом, если я скажу ложь. Мы — могущественны. Мы владели звездой Талцетл. Мы перелетели

звездную дорогу, называемую Млечным Путем. Мы покорили Туму и уничтожили враждебные нам племена. Мы начали строить водные хранилища и большие каналы, дабы собирать воды и орошать доныне бесплодные равнины Тумы. Мы построим большой город Соацеру, что значит Солнечное Селенье, мы дадим жизнь всем, кто хочет жизни. Но у нас нет женщин, и мы должны умереть, не исполнив предначертания. Дайте нам ваших девственниц, и мы родим от них могучее племя, и оно населит материки Тумы. Идите к нам и помогите нам строить».

Вестник положил трость с пряжей у огня и сел лицом к Порогу. Глаза его были закрыты. И все видели на лбу его третий глаз, прикрытый плевой, как бы воспаленный.

Аолы совещались и говорили между собой: «В горах не хватает корма для скота и мало воды. Зимою мы замерзаем в пещерах. Сильные ветры сносят наши хижины в бездонные ущелья. Послушаемся вестника и вернемся к старым пепелищам».

Аолы вышли из горных ущелий на равнину Азоры, гоня перед собой стада хаши. Магацитлы взяли девственниц Аолов и родили от них голубое племя Гор. Тогда же начаты были постройкою шестнадцать гигантских цирков Ро, куда собиралась вода во время таянья снегов на полюсах. Бесплодные равнины были прорезаны каналами и орошены.

Из пепла возникли новые селения Аолов. Поля давали пышный урожай.

Были возведены стены Соацеры. Во время постройки цирков и стен Магацитлы употребляли гигантские подъемные машины, приводившиеся в движение удивительными механизмами. Силою знания Магацитлы могли передвигать большие камни и вызывали рост растений. Они записали свое знание в книги — цветными пятнами и звездными знаками.

Когда умер последний пришелец с Земли — с ним ушло и Знание. Лишь через двадцать тысячелетий мы, потомки племени Гор, снова прочли тайные книги Атлантов.

СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ

В сумерки Гусев от нечего делать пошел бродить по комнатам. Дом был велик, построен прочно — для зимнего жилья. Множество в нем было переходов, лестниц, пустынных зал, галерей с нежилой тишиной. Гусев бродил, приглядывался, позевывал: «Богато живут, черти, но скучно».

В дальней части дома были слышны голоса, стук кухонных ножей, звон посуды. Писклявый голос управляющего сыпал птичьими словами, бранил кого-то. Гусев дошел до кухни, низкой сводчатой комнаты. В глубине ее вспыхивало масляное пламя над сковородами. Гусев остановился в дверях, повел носом. Управляющий и кухарка, бранившиеся между собою, замолчали и подались с некоторым страхом в глубину сводов.

— Чад у вас, чад, чад,— сказал им Гусев по-русски,— колпак над плитой устройте. Эх, варвары, а еще марсиане!

Махнув рукой на их перепуганные лица, он вышел на черное крыльцо. Сел на каменные ступеньки, вынул заветный портсигар, закурил.

Внизу поляны, на опушке, мальчик-пастух, бегая и вскрикивая, загонял в кирпичный сарай глухо поревывающих хаши. Оттуда в высокой траве по тропинке шла к нему женщина с двумя ведерышками молока. Ветер отдувал ее желтую рубашку, мотал кисточку на смешном колпачке на ярко-рыжих волосах. Вот она остановилась, поставила ведерышки и стала отмахиваться от какого-то насекомого, локтем прикрывая лицо. Ветер подхватил ее подол. Она присела, смеясь, взяла ведерышки и опять побежала. Завидев Гусева, оскалила белые веселые зубы.

Гусев звал ее Ихошка, хотя имя ей было — Иха,— племянница управляющего, смешливая, смугло-синеватая, полненькая девушка.

Она живо пробежала мимо Гусева,— только сморщила нос в его сторону. Гусев приноровился было дать ей сзади «леща», но воздержался. Сидел, курил, поджидал.

Действительно, Ихошка скоро опять явилась с корзиночкой и ножиком. Села невдалеке от Сына Неба и принялась чистить овощи. Густые ресницы ее помаргивали. По всему было видно, что — веселая девушка.

— Почему у вас на Марсии бабы какие-то синие? — сказал ей Гусев по-русски.— Дура ты, Ихошка, жизни настоящей не понимаешь.

Иха ответила ему, и Гусев, будто сквозь сон, понял ее слова:

— В школе я учила священную историю; там говорилось, что Сыны Неба — злы. В книжках одно говорится, а на деле получается другое. Совсем Сыны Неба не злые.

— Да, добрые,— сказал Гусев, прищурив один глаз.

Иха подавилась смехом, кожура шибко летела у нее из-под ножика.

— Мой дядя говорит, будто вы, Сыны Неба, можете убивать взглядом. Что-то я этого не замечаю.

— Неужели? А чего же вы замечаете?

— Слушайте, вы мне отвечайте по-нашему,— сказала Ихошка,— а по-вашему я не понимаю.

— А по-вашему у меня говорить нескладно выходит.

— Чего вы сказали? — Иха положила ножик, до того ее распирало от смеха.— По-моему, у вас на Красной Звезде все то же самое.

Тогда Гусев кашлянул, придвинулся ближе. Иха взяла корзинку и отодвинулась. Гусев кашлянул и еще придвинулся. Она сказала:

— Одежду протрете — по ступенькам елозить.

Может быть, Иха сказала это как-нибудь по-другому, но Гусев именно так и понял.

Он сидел совсем близко. Ихошка коротко вздохнула. Нагнула голову и сильнее вздохнула. Тогда Гусев быстро оглянулся и взял Ихошку за плечи. Она сразу откинулась, вытаращилась. Но он очень крепко поцеловал ее в рот. Иха изо всей мочи прижала к себе корзинку и ножик.

— Так-то, Ихошка! — Она вскочила и убежала.

Гусев остался сидеть, пощипывая усики. Усмехался. Солнце закатилось. Высыпали звезды. К самым сту-

пенькам подкрался какой-то длинный мохнатый зверек и глядел на Гусева фосфорическими глазами. Гусев пошевелился,— зверек зашипел, исчез, как тень.

— Да, пустяки эти надо все-таки оставить,— сказал Гусев. Одернул пояс и пошел в дом. В коридоре сейчас же мотнулась перед ним Ихошка. Он пальцем поманил ее, и они пошли по коридору. Гусев, морщась от напряжения, заговорил по-марсиански:

— Ты Ихошка, так и знай: если что — я на тебе женюсь. Ты меня слушайся. (Иха повернулась к стене лицом,— уткнулась. Он оттащил ее от стены, крепко взял под руку.) Погоди носом в стену соваться,— я еще не женился. Слушай, я, Сын Неба, приехал сюда не для пустяков. У меня предполагаются большие дела с вашей планетой. Но человек я здесь новый, порядков не знаю. Ты мне должна помогать. Только, смотри, не ври. Вот что ты мне скажи,— кто такой наш хозяин?

— Наш хозяин,— ответила Иха, с усилием вслушиваясь в странную речь Гусева,— наш хозяин — властелин надо всеми странами Тумы.

— Вот тебе — здравствуй! — Гусев остановился.— Врешь? (Поскреб за ухом.) Как же он официально называется? Король, что ли? Должность его какая?

— Зовут его Тускуб. Он — отец Аэлиты. Он — глава Высшего совета.

— Так. Понятно.

Гусев шел некоторое время молча.

— Вот что, Ихошка, в той комнате, я видел, у вас стоит матовое зеркало. Интересно в него посмотреть. Покажи мне, как оно соединяется.

Они вошли в узкую полутемную комнату, уставленную низкими креслами. В стене белелось туманное зеркало. Гусев повалился в кресло, поближе к экрану. Иха спросила:

— Что хотел бы видеть Сын Неба?

— Покажи мне город.

— Сейчас ночь, работа повсюду окончена, фабрики и магазины закрыты, площади пустые. Быть может — зрелища?

— Показывай зрелища.

Иха воткнула включатели в цифровую доску и, держа конец длинного шнура, отошла к креслу, где Сын Неба сидел, вытянув ноги.

— Народное гулянье,— сказала Иха и дернула за шнур.

Раздался сильный шум — угрюмый тысячеголосый говор толпы. Зеркало озарилось. Раскрылась непомерная перспектива сводчатых стеклянных крыш. Широкие снопы света упирались в огромные плакаты, в надписи, в клубы курящегося, многоцветного дыма. Внизу кишели головы, головы, головы. Кое-где, как летучие мыши, вверх, вниз, пролетали крылатые фигуры. Стеклянные своды, перекрещивающиеся лучи света, водовороты толпы уходили в глубину, терялись в пыльной, дымной мгле.

— Что они делают? — закричал Гусев, надрывая голос,— так велик был шум.

— Они дышат драгоценным дымом. Вы видите клубы дыма? — это курятся листья хавры. Это драгоценный дым. Он называется дымом бессмертия. Кто вдыхает его, видит необыкновенные вещи: кажется, будто никогда не умрешь,— такие чудеса можно видеть и понимать. Многие слышат звук уллы. Никто не имеет права курить хавру у себя на дому,— за это наказывают смертью. Только Высший совет разрешает курение, только двенадцать раз в году в этом доме зажигают листья хавры.

— А те вон что делают?

— Они вертят цифровые колеса. Они угадывают цифры. Сегодня каждый может загадать число,— тот, кто отгадает, навсегда освобождается от работы. Высший совет дарит ему прекрасный дом, поле, десять хашей и крылатую лодку. Это огромное счастье — угадать.

Объясняя, Иха присела на подлокотник кресла, Гусев сейчас же обхватил ее поперек спины. Она попыталась выпростаться, но затихла, сидела смирно. Гусев много дивился на чудеса в туманном зеркале. «Ах, черти, ах, безобразники!»— Затем попросил показать еще что-нибудь.

Иха слезла с кресла и, погасив зеркало, долго возилась у цифровой доски,— не попадала включателями

в дырки. Когда же вернулась к креслу и опять села на подлокотник, вертя в руке шарик от шнура, личико у нее было слегка одурелое. Гусев снизу вверх поглядел на нее и усмехнулся. Тогда в глазах ее появился ужас.

— Тебе, девка, совсем замуж пора.

Ихошка отвела глаза и передохнула. Гусев стал гладить ее по спине, чувствительной, как у кошки.

— Ах ты, моя славная, красивая, синяя.

— Глядите, вот еще интересное,— проговорила она совсем слабо и дернула за шнур.

Половину озарившегося зеркала заслоняла чья-то спина. Был слышен ледяной голос, медленно произносивший слова. Спина качнулась, отодвинулась с поля зеркала. Гусев увидел часть большого свода, в глубине упирающегося на квадратный столб, часть стены, покрытой золотыми надписями и геометрическими фигурами. Внизу, вокруг стола, сидели, опустив головы, те самые марсиане, которые на лестнице мрачного здания встречали корабль с людьми.

Перед столом, покрытым парчой, стоял отец Аэлиты, Тускуб. Тонкие губы его двигались, шевелилась черная борода по золотому шитью халата. Весь он был как каменный. Тусклые, мрачные глаза глядели неподвижно перед собой,— прямо в зеркало. Тускуб говорил, и колючие слова его были непонятны, но страшны. Вот он повторил несколько раз — Талцетл — и опустил, как бы поражая, руку со стиснутым в кулаке свитком. Сидевший напротив него марсианин, с широким бледным лицом, поднялся и бешено, белесыми глазами глядя на Тускуба, крикнул:

— Не они, а ты!

Ихошка вздрогнула. Она сидела лицом к зеркалу, но ничего не видела и не слышала,— большая рука Сына Неба поглаживала ее спину. Когда в зеркале раздался крик и Гусев несколько раз переспросил: «О чем, о чем они говорят?» — Ихошка точно проснулась — разинула рот, уставилась на зеркало. Вдруг вскрикнула жалобно и дернула за шнур.

Зеркало погасло.

— Я ошиблась... Я нечаянно соединила... Ни один шохо не смеет слушать тайны Высшего совета.—

У Ихошки стучали зубы. Она запустила пальцы в рыжие волосы и шептала в отчаянии: — Я ошиблась. Я не виновата. Меня сошлют в пещеры, в вечные снега.

— Ничего, ничего, Ихошка, я никому не скажу.— Гусев привалил ее к себе и гладил ее мягкие, как у ангорской кошки, теплые волосы. Ихошка затихла, закрыла глаза.

— Ах, дура, ах, девчонка! Не то ты зверь, не то человек. Синяя, глупая.

Он почесывал у ней пальцами за ухом, уверенный, что это ей приятно. Ихошка подобрала ноги, свертывалась клубочком. Глаза у нее светились, как у давешнего зверька. Гусеву стало жутковато.

В это время послышались шаги и голоса Лося и Аэлиты. Ихошка слезла с кресла и нетвердо пошла к двери.

Этой же ночью, зайдя к Лосю в спальню, Гусев сказал:

— Дела наши не совсем хорошо обстоят, Мстислав Сергеевич. Девчонку я тут одну приспособил — зеркало соединять, и наткнулись мы как раз на заседание Высшего совета. Кое-что я понял. Надо меры принимать,— убьют они нас, Мстислав Сергеевич, поверьте мне,— этим кончится.

Лось слушал и не слышал,— мечтательным взглядом глядел на Гусева. Закинул руки за голову:

— Колдовство, Алексей Иванович, колдовство. Потушите-ка свет.

Гусев постоял, проговорил мрачно:

— Так.

И ушел спать.

УТРО АЭЛИТЫ

Аэлита проснулась рано и лежала, облокотившись. Ее широкая, открытая со всех сторон постель стояла, по обычаю, посреди спальни на возвышении. Шатер потолка переходил в высокий мраморный колодезь,— оттуда падал рассеянный утренний свет. Стены спальни, покрытые бледной мозаикой, оставались в полумраке,—

столб света спускался лишь на снежные простыни, на подушечки, на склонившуюся на руку пепельную голову Аэлиты.

Ночь она провела дурно. Обрывки странных и тревожных сновидений в беспорядке проходили перед ее закрытыми глазами. Сон был тонок, как водяная пленка. Всю ночь она чувствовала себя спящей и рассматривающей утомительные картины и в полузабытьи думала: какие напрасные сновидения!

Когда утренним солнцем озарился колодезь и свет лег на ее постель, Аэлита вздохнула, пробудилась совсем и сейчас лежала неподвижно. Мысли ее были ясны, но в крови все еще текла смутная тревога. Это было очень, очень нехорошо.

«Тревога крови, помрачение разума, ненужный возврат в давно-давно пережитое. Тревога крови — возврат в ущелья, к стадам, к кострам. Весенний ветер, тревога и зарождение. Рожать, растить существа для смерти, хоронить, и снова — тревога, муки матери. Ненужное, слепое продление жизни».

Так раздумывала Аэлита, и мысли были мудрыми, но тревога не проходила. Тогда она вылезла из постели, надела плетеные туфли, накинула на голые плечи халатик и пошла в ванную, разделась, закрутила волосы узлом и стала спускаться по мраморной лесенке в бассейн.

На нижней ступени она остановилась,— было приятно стоять в луче солнечного света, бьющего сквозь окно. Зыбкие отражения играли на стене. Аэлита посмотрела в синеватую воду и там увидела свое отражение, луч света падал ей на живот. У нее дрогнула брезгливо верхняя губа. Аэлита бросилась в прохладу бассейна.

Купанье освежило ее, мысли вернулись к заботам дня. Каждое утро она говорила с отцом,— так было заведено. Маленький экран стоял в ее уборной комнате.

Аэлита присела у туалетного зеркала, привела в порядок волосы, вытерла ароматным жиром, затем цветочной эссенцией лицо, шею и руки, исподлобья поглядела на себя, нахмурилась, придвинула столик с экраном и включила цифровую доску.

В туманном зеркале появился знакомый отцовский кабинет: книжные шкафы, картограммы и чертежи на вращающихся призмах. Вошел Тускуб, сел к столу, отодвинул локтем рукописи и глазами нашел глаза Аэлиты. Улыбнулся углом длинных, тонких губ:

— Как спала, Аэлита?

— Хорошо. В доме все хорошо.

— Что делают Сыны Неба?

— Они покойны и довольны. Они еще спят.

— Продолжаешь с ними уроки языка?

— Нет. Инженер говорит свободно. Его спутнику достаточно знания.

— У них нет еще желания покинуть мой дом?

— Нет, нет, о нет.

Аэлита ответила слишком поспешно. Тусклые глаза Тускуба изумленно расширились. Под взглядом его Аэлита стала отодвигаться, покуда ее спина не коснулась спинки кресла. Отец сказал:

— Я не понимаю тебя.

— Чего ты не понимаешь? Отец, почему ты мне не говоришь всего? Что ты задумал сделать с ними? Я прошу тебя...

Аэлита не договорила,— лицо Тускуба исказилось, словно огонь бешенства прошел по нему. Зеркало погасло. Но Аэлита все еще всматривалась в туманную его поверхность, все еще видела страшное ей, страшное всем живущим лицо отца.

— Это ужасно,— проговорила она,— это будет ужасно.— Она поднялась стремительно, но уронила руки и снова села.

Смутная тревога сильнее овладела ею. Аэлита огромными зрачками глядела на себя в зеркало. Тревога шумела в крови, бежала ознобом. «Как это плохо, напрасно».

Помимо воли встало перед ней, как сон этой ночи, лицо Сына Неба,— крупное, со снежными волосами,— взволнованное, с рядом непостижимых изменений, с глазами то печальными, то нежными, насыщенными солнцем Земли, влагой Земли,— жуткие, как туманные пропасти, грозовые, сокрушающие разум.

Аэлита медленно встряхнула головой. Сердце страшно, глухо билось. Нагнувшись над цифровой дощечкой, она воткнула стерженьки. В туманном зеркале появилась дремлющая в кресле, среди множества подушек, сморщенная фигурка старичка. Свет из окошечка падал на его иссохшие руки, лежавшие поверх мохнатого одеяла. Старичок вздрогнул, поправил сползшие очки, взглянул поверх стекол на экран и улыбнулся беззубо.

— Что скажешь, дитя мое?

— Учитель, у меня тревога,— сказала Аэлита,— ясность покидает меня. Я не хочу этого, я боюсь, но я не могу.

— Тебя смущает Сын Неба?

— Да. Меня смущает в нем то, что я не могу понять. Учитель, я только что говорила с отцом. Он был неспокоен. Я чувствую — у них борьба в Высшем совете. Я боюсь, как бы Совет не принял ужасного решения. Помоги.

— Ты только что сказала, что Сын Неба смущает тебя. Будет лучше, если он исчезнет совсем.

— Нет! — Аэлита сказала это быстро, резко, взволнованно.

Старичок под взглядом ее насупился. Пожевал сморщенным ртом.

— Я плохо понимаю ход твоих мыслей, Аэлита, в твоих мыслях двойственность и противоречие.

— Да, я чувствую это.

— Вот лучшее доказательство неправоты. Высшая мысль — ясна, бесстрастна и непротиворечива. Я сделаю, как ты хочешь, и поговорю с твоим отцом. Он тоже страстный человек, и это может привести его к поступкам, не соответствующим мудрости и справедливости.

— Я буду надеяться.

— Успокойся, Аэлита, и будь внимательна... Взгляни в глубину себя. В чем твоя тревога? Со дна твоей крови поднимается древний осадок — красная тьма,— это жажда продления жизни. Твоя кровь в смятении...

— Учитель, он меня смущает иным.

— Каким бы возвышенным чувством он ни сму-

тил,— в тебе пробудится женщина, и ты погибнешь. Только холод мудрости, Аэлита, только спокойное созерцание неизбежной гибели всего живущего,— этого пропитанного салом и похотью тела, только ожидание, когда твой дух, уже совершенный, не нуждающийся более в жалком опыте жизни, уйдет за пределы сознания, перестанет быть,— вот счастье. А ты хочешь возврата. Бойся этого искушения, дитя мое. Легко упасть, быстро — катиться с горы, но подъем медленен и труден. Будь мудра.

Аэлита слушала, голова ее склонялась...

— Учитель,— вдруг сказала она, и губы ее задрожали, глаза налились тоской.— Сын Неба говорил, что на Земле они знают что-то, что выше разума, выше знания, выше мудрости. Но что это — я не поняла. От этого моя тревога. Вчера мы были на озере, взошла Красная Звезда, он указал на нее рукой и сказал: «Она окружена туманом любви. Люди, познающие любовь, не умирают». Тоска разорвала мою грудь, учитель.

Старичок нахмурился, долго молчал,— только не переставая шевелились пальцы его высохшей руки.

— Хорошо,— сказал он,— пусть Сын Неба даст тебе это знание. Покуда ты не узнаешь всего, не тревожь меня. Будь осторожна.

Зеркало погасло. Стало тихо в комнате. Аэлита взяла с колен платочек и отерла им лицо. Потом взглянула на себя — внимательно, строго. Брови ее поднялись. Она раскрыла небольшой ларчик и низко нагнулась к нему, перебирая вещицы. Нашла и надела на шею крошечную, оправленную в драгоценный металл сухую лапку чудесного зверька индри, весьма помогающую, по древним поверьям, женщинам в трудные минуты.

Аэлита вздохнула и пошла в библиотеку. Лось поднялся ей навстречу от окна, где сидел с книгой. Аэлита взглянула на него,— большой, добрый, встревоженный. Ей стало горячо сердцу. Она положила руку на грудь, на лапку чудесного зверька, и сказала:

— Вчера я обещала вам рассказать о гибели Атлантиды. Садитесь и слушайте.

— Вот что мы прочли в цветных книгах,— сказала Аэлита.

В те далекие времена на Земле центром мира был город Ста Золотых Ворот, ныне лежащий на дне океана. Из города шло знание и соблазны роскоши. Он привлекал к себе населявшие Землю племена и разжигал в них первобытную жадность. Наступал срок, и молодой народ обрушивался на властителей и овладевал городом. Свет цивилизации на время замирал. Но проходило время, и он вспыхивал с новой яркостью, обогащенный свежей кровью победителей. Проходили столетия, и снова орды кочевников нависали тучей над вечным городом.

Первыми основателями города Ста Золотых Ворот были африканские негры племени Земзе. Они считали себя младшей ветвью черной расы, которая в величайшей древности населяла погибший в волнах Тихого океана гигантский материк Гвандана. Уцелевшие части черной расы раздробились на множество племен. Многие из них одичали и выродились. Но все же в крови негров текло воспоминание великого прошлого.

Люди Земзе были огромной силы и большого роста. Они отличались одним необыкновенным свойством: на расстоянии они могли чувствовать природу и форму вещей, подобно тому как магнит ощущает присутствие другого магнита. Это свойство они развили во время жизни в темных пещерах тропических лесов.

Спасаясь от ядовитой мухи гох, племя Земзе вышло из лесов и двигалось на запад, покуда не встретило местность, удобную для жизни. Это было холмистое плоскогорье, омываемое двумя огромными реками.

Здесь было много плодов и дичи, в горах — золото, олово и медь. Леса, холмы и тихие реки — красивы и лишены губительных лихорадок.

Люди Земзе построили стену в защиту от диких зверей и навалили из камней высокую пирамиду в знак того, что это место — прочно.

На верху пирамиды они поставили столб с пучком

перьев птицы клитли, покровительницы племени, спасавшей их во время пути от мухи гох. Вожди Земзе украшали головы перьями и давали себе имена птиц.

На запад от плоскогорья бродили краснокожие племена. Люди Земзе нападали на них, брали пленных и заставляли пахать землю, строить жилища, добывать руду и золото. Слава о городе шла далеко на запад, и он внушал страх краснокожим, потому что люди Земзе были сильны, умели угадывать мысли врага и убивали на далеком расстоянии, бросая согнутый кусок дерева. В лодках из древесной коры они плавали по широким рекам и собирали с краснокожих дань.

Потомки Земзе украсили город круглыми каменными зданиями, крытыми тростником. Они ткали превосходные одежды из шерсти и умели записывать мысли посредством изображения предметов,— это знание они вынесли в глубинах памяти, как древнее воспоминание исчезнувшей цивилизации.

Прошли столетия. И вот на западе появился великий вождь красных. Его звали Уру. Он родился в городе, но в юности ушел в степи, к охотникам и кочевникам. Он собрал бесчисленные толпы воинов и пошел воевать город.

Потомки Земзе употребили для защиты все знания: поражали врагов огнем, насылали на них стада взбесившихся буйволов, рассекали их летящими, как молния, бумерангами. Но краснокожие были сильны жадностью и численностью. Они овладели городом и разграбили его. Уру объявил себя вождем мира. Он велел красным воинам взять себе девушек Земзе. Скрывавшиеся в лесах остатки побежденных вернулись в город и стали служить победителям.

Красные усвоили знания, обычаи и искусства Земзе. Смешанная кровь дала длинный ряд администраторов и завоевателей. Таинственная способность чувствовать природу вещей передавалась поколениям.

Военачальники династии Уру расширили владения, на западе они истребили кочевников и на рубежах Тихого океана навалили пирамиды из земли и камней. На востоке они теснили негров. По берегам Нигера и

Конго, по скалистому побережью Средиземного моря, плескавшегося там, где ныне пустыня Сахара, они заложили сильные крепости. Это было время войн и строительства. Земля Земзе называлась тогда — Хамаган.

Город был обнесен новой стеной, и в ней сделаны сто ворот, обложенных золотыми листами. Народы всего мира стекались туда, привлекаемые жадностью и любопытством. Среди множества племен, бродивших по его базарам, разбивавших палатки под его стенами, появились еще невиданные люди. Они были оливково-смуглые, с длинными горящими глазами и носами, как клюв. Они были умны и хитры. Никто не помнил, как они вошли в город. Но вот прошло не более поколения, и наука и торговля города Ста Золотых Ворот оказались в руках этого немногочисленного племени. Они называли себя «сыны Аама».

Мудрейшие из сынов Аама прочли древние надписи Земзе и стали развивать в себе способность видеть сущность вещей. Они построили подземный храм Спящей Головы Негра и стали привлекать к себе людей,— исцеляли больных, гадали о судьбе и верующим показывали тени умерших.

Богатством и силою знания сыны Аама проникли к управлению страной. Они привлекли на свою сторону многие племена и подняли одновременно на окраинах Земли и в самом городе восстание за новую веру. В кровавой борьбе погибла династия Уру. Сыны Аама овладели властью.

С этим древним временем совпал первый толчок Земли. Во многих местах, среди гор, вырвалось пламя, и пеплом заволокло небо. Большие пространства на юге атлантического материка опустились в океан. На севере поднялись с морского дна скалистые острова и соединились с сушей: так образовались очертания европейской равнины.

Всю силу власти сыны Аама направляли на создание культуры среди множества племен, когда-то покоренных династией Уру и отпавших. Но сыны Аама не любили войны. Они снаряжали корабли, украшенные Головой Спящего Негра, нагружали их пряностями,

тканями, золотом и слоновой костью. Посвященные в культ, под видом купцов и знахарей, проникали на кораблях в дальние страны. Они торговали и лечили заговорами и заклинаниями больных и увечных. Для охраны товаров они строили в каждой стране большой, по форме пирамиды, дом, куда переносили Голову Спящего. Так утверждался культ. Если народ возмущался против пришельцев, с корабля сходил отряд краснокожих, закованных в бронзу, со щитами, украшенными перьями, в высоких шлемах, наводящих ужас.

Так снова расширялись и укреплялись владения древней земли Земзе. Теперь она называлась Атлантида. На крайнем западе, в стране красных, был заложен второй великий город — Птитлигуа. Торговые корабли Атлантов плавали на восток, до Индии, где еще властвовала черная раса. На восточном побережье Азии они впервые увидели гигантов с желтыми и плоскими лицами. Эти люди бросали камни в их корабли.

Культ Спящей Головы был открыт для всех,— это было главным орудием силы и власти, но смысл, внутреннее содержание культа хранились в величайшей тайне. Атланты выращивали зерно мудрости Земзе и были еще в самом начале того пути, который привел к гибели всю расу.

Они говорили так:

«Истинный мир — невидим, неосязаем, неслышим, не имеет вкуса и запаха. Истинный мир есть движение разума. Начальная и конечная цель этого движения непостигаема. Разум есть материя, более твердая, чем камень, и более быстрая, чем свет. Ища покоя, как всякая материя, разум впадает в некоторый сон, то есть становится более замедленным, что называется — воплощением разума в вещество. На степени глубины сна разум воплощается в огонь, в воздух, в воду, в землю. Из этих четырех стихий образуется видимый мир. Вещь есть временное сгущение разума. Вещь есть ядро сферы сгущающегося разума, подобно круглой молнии, в которую уплотняется грозовой воздух.

В кристалле разум находится в совершенном покое. В междузвездном пространстве разум — в совершен-

ном движении. Человек есть мост между этими двумя состояниями разума. Через человека течет поток разума в видимый мир. Ноги человека вырастают из кристалла, живот его — солнце, его глаза — звезды, его голова — чаша с краями, простирающимися во вселенную.

Человек есть владыка мира. Ему подчинены стихии и движение. Он управляет ими силой, исходящей из его разума, подобно тому как луч света исходит из отверстия глиняного сосуда».

Так говорили Атланты. Простой народ не понимал их учения. Иные поклонялись животным, иные — теням умерших, иные — идолам, иные — ночным шорохам, грому и молнии или яме в земле. Было невозможно и опасно бороться со множеством этих суеверий.

Тогда жрецы — высшая каста Атлантов — поняли, что нужно внести ясный и понятный, единый для всех культ. Они стали строить огромные, украшенные золотом храмы и посвящать их солнцу — отцу и владыке жизни, гневному и животворному, умирающему и вновь рождающемуся.

Культ солнца вскоре охватил всю Землю. Верующими было пролито много человеческой крови. На крайнем западе, среди красных, солнце приняло образ змея, покрытого перьями. На крайнем востоке солнце — владыка теней умерших — приняло образ человека с птичьей головой.

В центре мира, в городе Ста Золотых Ворот, была построена уступчатая пирамида столь высокая, что облака дымились на вершине ее,— туда перенесли Голову Спящего. У подножья пирамиды, на площади, был поставлен золотой крылатый бык с человеческим лицом, со львиными лапами. Под ним неугасимо горел огонь.

В дни равноденствий, в присутствии народа, под удары в яйцеобразные барабаны, под пляски обнаженных женщин, верховный жрец, Сын Солнца, великий правитель, умерщвлял красивейшего из юношей города и сжигал его во чреве быка.

Сын Солнца был неограниченный владыка города и страны. Он строил плотины и проводил орошения,

Раздавал из магазинов одежду и питание, назначал, кому сколько нужно земли и скота. Многочисленные чиновники были исполнителями его повелений. Никто не мог говорить: «Это мое», потому что все принадлежало солнцу. Труд был священен. Леность наказывалась смертью. Весною Сын Солнца первый выходил в поле и на быках пропахивал борозду, сеял зерна маиса.

Храмы были полны зерна, тканей, пряностей. Корабли Атлантов, с пурпуровыми парусами, украшенными изображениями змеи, держащей во рту солнце, бороздили все моря и реки. Наступал долгий мир. Люди забывали, как держать в руке меч.

И вот над Атлантидой нависла туча с востока.

На восточных плоскогорьях Азии жило желтолицее, с раскосыми глазами, сильное племя Учкуров. Они подчинялись женщине, которая обладала способностью бесноваться. Она называлась Су Хутам Лу, что значило «говорящая с луной».

Су Хутам Лу сказала Учкурам:

«Я поведу вас в страну, где в ущелье между гор опускается солнце. Там пасется столько баранов, сколько звезд на небе, там текут реки из кумыса, там есть такие высокие юрты, что в каждую можно загнать стадо верблюдов. Там еще не ступали ваши кони, и вы еще не зачерпывали шлемом воды из тех рек».

Учкуры спустились с плоскогорья и напали на многочисленные кочевые племена желтолицых, покорили их и стали среди них военачальниками. Они говорили побежденным: «Идите за нами в страну солнца, которую указала Су Хутам Лу».

Поклонявшиеся звездам кочевники были мечтательны и бесстрашны. Они сняли юрты и погнали стада на запад. Шли медленно, год за годом. Впереди двигалась конница Учкуров, нападая, сражаясь и разрушая города. За конницей брели стада и повозки с женщинами и детьми. Кочевники прошли мимо Индии и разлились по восточной европейской равнине.

Там многие остались на берегах озер. Сильнейшие продолжали двигаться на запад. На побережье Средиземного моря они разрушили первую колонию Атлан-

тов и от побежденных узнали, где лежит страна солнца. Здесь Су Хутам Лу умерла. С головы ее сняли волосы вместе с кожей и прибили к высокому шесту. С этим знаменем двинулись далее, вдоль моря. Так они дошли до края Европы и вот, с высоты гор, увидели очертания обетованной земли. Со дня, когда Учкуры впервые спустились с плоскогорья, минуло сто лет.

Кочевники стали рубить леса и вязать плоты. На плотах они переправлялись через соленую теплую реку. Ступив на заповедную землю Атлантиды, кочевники напали на священный город Туле. Когда они полезли на высокие стены, в городе начали звонить в колокола: звон был так приятен, что желтолицые не стали разрушать города, не истребили жителей, не разграбили храмов. Они взяли запасы пищи и одежды и пошли далее на юго-запад. Пыль от повозок и стад застилала солнце.

Наконец кочевникам преградило путь войско краснокожих. Атланты были все в золоте, в разноцветных перьях, изнеженные и прекрасные видом. Конница Учкуров истребила их. С этого дня желтолицые услышали запах крови Атлантов и не были более милостивы.

Из города Ста Золотых Ворот послали гонцов на запад к красным, на юг к неграм, на восток к племенам Аама, на север к циклопам. Приносились человеческие жертвоприношения. Неугасимо пылали костры на вершинах храмов. Жители города стекались на кровавые жертвы, предавались исступленным пляскам, чувственным забавам, опьянялись вином, расточали сокровища.

Жрецы и философы готовились к великому испытанию, уносили в глубь гор, в пещеры, зарывали в землю книги Великого Знания.

Началась война. Участь ее была предрешена: Атланты могли только защищать пресытившее их богатство, у кочевников была первобытная жадность и вера в обетование. Все же борьба была длительной и кровопролитной. Страна опустошалась. Наступил голод и мор. Войска разбегались и грабили все, что могли. Город Ста Золотых Ворот был взят приступом и стены

его разрушены. Сын Солнца бросился с вершины уступчатой пирамиды. Погасли огни на вершинах храмов. Немногие из мудрых и посвященных бежали в горы, в пещеры. Цивилизация погибла.

Среди разрушенных дворцов великого города на площадях, поросших травой, бродили овцы, и желтолицый пастух пел печальную песню о блаженной, как степной мираж, заповедной стране, где земля голубая и небо — золотое.

Кочевники спрашивали своих вождей: «Куда нам еще идти?» Вожди говорили им: «Мы привели вас в обетованную страну, селитесь и живите мирно». Но многие из кочевых племен не послушались и пошли дальше на запад, в страну Перистого Змея, но там их истребил повелитель Птитлигуа. Иные из кочевников проникли к экватору, и там их уничтожили негры, стада слонов и болотные лихорадки.

Учкуры, вожди желтолицых, избрали мудрейшего из военачальников и поставили его правителем покоренной страны. Имя его было Тубал. Он велел чинить стены, очищать сады, вспахивать поля и отстраивать жилища. Он издал много мудрых и простых законов. Он призвал к себе бежавших в пещеры мудрецов и посвященных и сказал им: «Мои глаза и уши открыты для мудрости». Он сделал их советниками, разрешил открыть храмы и повсюду послал гонцов с вестью, что желает мира.

Таково было начало третьей, самой высокой волны цивилизации Атлантов. В кровь многочисленных племен — черных, красных, оливковых и белых — влилась мечтательная, бродящая, как хмель, кровь азиатских номадов, звездопоклонников, потомков бесноватой Су Хутам Лу.

Кочевники быстро растворялись среди иных племен. От юрт, стад, дикой воли оставались лишь песни и предания. Появилось новое племя сильных сложением, черноволосых, желто-смуглых людей. Учкуры, потомки всадников и военачальников, были аристократией города. Они любили науки, искусства и роскошь. Они украсили город новыми стенами и семиугольными башнями, выложили золотом двадцать один уступ

гигантской пирамиды, провели акведуки, впервые в архитектуре стали употреблять колонну.

В долгих войнах снова были покорены отпавшие страны и города. На севере воевали с циклопами — уцелевшими от смешения, одичавшими потомками племени Земзе. Великий завоеватель Рама дошел до Индии. Он соединил младенческие племена арийцев в царство Ра. Так еще раз раздвинулись до небывалых размеров и окрепли пределы Атлантиды — от страны Перистого Змея до азиатских берегов Тихого океана, откуда некогда желтолицые великаны бросали камни в корабли.

Мечтательная душа завоевателей стремилась к знанию. Снова были прочитаны древние книги Земзе и мудрые книги сынов Аама. Замкнулся круг и начался новый. В пещерах были найдены полуистлевшие «семь папирусов Спящего». С этого открытия начинает быстро развиваться знание. То, чего не было у сынов Аама,— бессознательной творческой силы,— то, чего не было у сынов племени Земзе,— ясного и острого разума,— в изобилии текло в тревожной и страстной крови Учкуров.

Основа нового знания была такова:

«В человеке дремлет самая могучая из мировых сил — материя чистого разума. Подобно тому как стрела, натянутая тетивой, направленная верной рукой, поражает цель,— так и материя дремлющего разума может быть напряжена тетивой воли, направлена рукой знаний. Сила устремленного знания безгранична».

Наука знания разделялась на две части: подготовительную — развитие тела, воли и ума, и основную — познавание природы, мира и формул, через которые материя устремленного знания овладевает природой.

Полное овладение знанием, расцвет небывалой еще на Земле и до сих пор не повторенной культуры продолжались столетие, между четыреста пятидесятым и триста пятидесятым годами до Потопа, то есть до гибели Атлантиды.

На Земле был всеобщий мир. Силы Земли, вызванные к жизни знанием, обильно и роскошно служили

людям. Сады и поля давали огромные урожаи, плодились стада, труд был легок. Народ вспоминал старые обычаи и праздники, и никто не мешал ему жить, любить, рожать, веселиться. В преданиях этот век назван *золотым*.

В то время на восточном рубеже Земли был поставлен сфинкс, изображавший в одном теле четыре стихии,— символ тайны спящего разума. Были построены семь чудес света: лабиринт, колосс в Средиземном море, столбы на запад от Гибралтара, башня звездочетов на Посейдонесе, сидящая статуя Тубала и город Лемутов на острове Тихого океана.

В черные племена, до этого времени теснимые в тропические болота, проник свет знания. Негры быстро усваивали цивилизацию и начали постройку гигантских городов в Центральной Африке.

Зерно мудрости Земзе дало полное и пышное цветение. Но вот мудрейшие из посвященных в знание стали понимать, что во всем росте цивилизации лежит первоначальный грех. Дальнейшее развитие знания должно привести к гибели: человечество поразит само себя, как змея, жалящая себя в хвост.

Первородное зло было в том, что бытие — жизнь Земли и существ — постигалось как нечто, выходящее из разума человека. Познавая мир, человек познавал только самого себя. Разум был единственной реальностью, мир — его представлением, его сновидением. Такое понимание бытия должно было привести к тому, что каждый человек стал бы утверждать, что он один есть единственное, сущее, все остальное — весь мир — лишь плод его воображения. Дальнейшее было неизбежно: борьба за единственную личность, борьба всех против всех, истребление человечества, как восставшего на человека его же сна,— презрение и отвращение к бытию, как к злому сновидению.

Таково было начальное зло мудрости Земзе.

Знание раскололось. Одни не видели возможности вынуть семя зла и говорили, что зло есть единственная сила, создающая бытие. Они назвали себя черными, так как знание шло от черных.

Другие, признававшие, что зло лежит не в самой

природе, но в отклонении разума от природности, стали искать противодействия злу.

Они говорили: «Солнечный луч падает на землю, погибает и воскресает в плод земли: вот основной закон жизни». Таково же движение мирового разума: нисхождение, жертвенная гибель и воскресение в плоть. Первоосновной грех — одиночество разума — может быть уничтожен грехопадением. Разум должен пасть в плоть и пройти через живые врата смерти. Эти врата — пол. Падение разума совершается силою полового влечения, или Эроса.

Утверждавшие так называли себя белыми, потому что носили полотняную тиару — знак Эроса. Они создали весенний праздник и мистерию грехопадения, которая разыгрывалась в роскошных садах древнего храма солнца. Девственный юноша представлял разум, женщина — врата смертной плоти, змей — Эроса. Из отдаленных стран приходили смотреть на эти зрелища.

Раскол между двумя путями знания был велик. Началась борьба. В то время было сделано изумительное открытие,— найдена возможность мгновенно освобождать жизненную силу, дремлющую в семенах растений. Эта сила,— гремучая, огненно-холодная материя,— освобождаясь, устремлялась в пространство. Черные воспользовались ею для борьбы, для орудий войны. Они построили огромные летающие корабли, наводящие ужас. Дикие племена стали поклоняться этим крылатым драконам.

Белые поняли, что гибель мира близка, и стали готовиться к ней. Они отбирали среди простых людей наиболее чистых, сильных и стали выводить их на север и на восток. Они отводили им высокие горные пастбища, где переселенцы могли жить, как первобытные существа.

Опасения белых подтверждались. Золотой век вырождался, в городах Атлантиды наступало пресыщение. Ничто не сдерживало более разнузданную фантазию, жажду извращений, безумие опустошенного разума. Сила, которою овладел человек, обратилась против него. Неизбежность смерти делала людей мрачными, свирепыми, беспощадными.

И вот настали последние дни. Начались они с большого бедствия: центральная область города Ста Золотых Ворот была потрясена подземным толчком, много земли опустилось на дно океана, морские волны Атлантики отделили навсегда страну Перистого Змея.

Черные обвиняли белых, что силою заклинаний они расковали духов земли и огня. Народ возмутился, черные устроили ночное избиение в городе,— более половины жителей, носивших полотняную тиару, погибло смертью, остальные бежали за пределы Атлантиды.

Властью в городе Ста Золотых Ворот овладели богатейшие из граждан Черного ордена, называвшиеся Магацитлами, что значит «беспощадные». Они говорили: «Уничтожим человечество, потому что оно есть дурной сон разума».

Чтобы во всей полноте насладиться зрелищем смерти, они объявили по всей Земле праздники и игрища, раскрыли государственные сокровищницы и магазины, привезли с севера белых девушек и отдали их народу, распахнули двери храмов для всех жаждущих противоестественных наслаждений, наполнили фонтаны вином и на площадях жарили мясо. Безумие овладело народом. Это было в осенние дни сбора винограда.

Ночью, на озаренных кострами площадях, среди народа, исступленного вином, плясками, едой, женщинами,— появились Магацитлы. Они были в высоких шлемах с колючим гребнем, в панцирных поясах, без щитов. Правою рукою они бросали бронзовые шары, разрывавшиеся холодным, разрушающим пламенем, левою рукою погружали меч в пьяных и безумных.

Кровавая оргия была прервана страшным подземным толчком. Рухнула статуя Тубала, треснули стены, повалились колонны акведука, из глубоких трещин вырвалось пламя, пеплом заволокло небо.

Наутро кровавый, тусклый диск солнца осветил развалины, горящие сады, толпы измученных излишествами, сумасшедших людей, кучи трупов. Магацитлы бросились к летательным аппаратам, имеющим форму яиц, и стали покидать Землю. Они улетели в звездное пространство, в родину абстрактного разума.

Улетело уже много тысяч аппаратов. Тогда раздался

четвертый, еще более сильный толчок земли. С севера поднялась из пепельной мглы океанская волна и пошла по земле, уничтожая все живое.

Началась буря, молнии падали на землю, в жилища. Хлынул ливень, летели осколки вулканических камней.

За оплотом стен великого города с вершинами уступчатой, обложенной золотом пирамиды Магацитлы продолжали улетать сквозь океан падающей воды, из дыма и пепла в звездное пространство. Три подряд толчка раскололи землю Антлантиды. Город Золотых Ворот погрузился в кипящие волны.

ГУСЕВ НАБЛЮДАЕТ ГОРОД

Иха совсем одурела. О чем бы ни просил ее Гусев, тотчас исполняла, глядела на него матовыми глазами. И смешно и жалко. Гусев обращался с нею строго, но справедливо. Когда Ихошка совсем изнемогала от переполнения чувствами, он сажал ее на колени, гладил по голове, почесывал за ухом, рассказывал всякие смешные истории. Она одурело слушала.

У Гусева гвоздем засел план удрать в город. Здесь было как в мышеловке: ни оборониться в случае чего, ни убежать. Опасность грозила им серьезная,— в этом Гусев не сомневался. Разговоры с Лосем ни к чему не вели. Лось только морщился, весь свет ему заслонил подол Тускубовой дочки.

«Суетливый вы человек, Алексей Иванович. Ну, нас убьют,— не нам с вами бояться смерти. А то сидели бы в Петрограде — чего безопаснее?»

Гусев велел Ихошке унести ключи от ангара, где стояли крылатые лодки. Он забрался туда с фонарем и всю ночь провозился над небольшой, видимо быстролетной, двукрылой лодкой. Механизм ее был прост. Крошечный моторчик питался крупинками белого металла, распадающегося с чудовищной силой в присутствии электрической искры. Электрическую энергию аппарат получал во время полета из воздуха, так как Марс был покрыт электричеством высокого напряже-

ния,— его посылали станции на полюсах. (Об этом рассказывала Аэлита.)

Гусев подтащил лодку к самым воротам ангара. Ключ вернул Ихе. В случае надобности замок не трудно было сорвать рукой.

Затем он решил взять под контроль город Соацеру. Иха научила его соединять туманное зеркало. Этот говорящий экран в доме Тускуба можно было соединять односторонне, то есть самому оставаться невидимым и неслышимым.

Гусев обследовал весь город: площади, торговые улицы, фабрики, рабочие поселки. Странная жизнь раскрывалась и проходила перед ним в туманном зеркале.

Кирпичные низкие залы фабрик, тусклый свет сквозь пыльные окна. Унылые, с пустыми, запавшими глазами, морщинистые лица рабочих. Вечно, вечно двигающиеся станки, машины, сутулые фигуры, точные движения работы,— унылая, беспросветная муравьиная жизнь.

Появлялись прямые, однообразные улицы рабочих кварталов, те же унылые фигуры брели по ним, опустив головы. Тысячелетней скукой веяло от этих кирпичных, чисто подметенных, один как один, коридоров. Здесь, видимо, уже ни на что не надеялись.

Появлялись центральные площади: уступчатые дома, ползучая пестрая зелень, отсвечивающие солнцем стекла, нарядные женщины; посреди улицы — столики, узкие вазы, полные цветов; двигающаяся водоворотами нарядная толпа, черные халаты мужчин, фасады домов — все это отражалось в паркетной зеленоватой мостовой. Низко проносились золотые лодки, скользили тени от их крыльев, смеялись запрокинутые лица, вились пестрые легкие шарфы...

В городе шла двойная жизнь. Гусев все это принял во внимание. Как человек с большим опытом — почувствовал носом, что, кроме этих двух сторон, здесь есть еще и третья — подпольная. Действительно, по богатым улицам города, в парках — повсюду шаталось большое количество неряшливо одетых, испитых молодых марсиан. Шатались без дела,

заложив руки в карманы,— поглядывали. Гусев думал: «Эге, эти штуки мы тоже видали».

Ихошка все ему подробно объясняла. На одно только не соглашалась — соединить экран с Домом Высшего совета инженеров.

В ужасе трясла рыжими волосами, складывала руки:

— Не просите меня, Сын Неба, лучше убейте меня, дорогой Сын Неба.

Однажды, на четырнадцатый день, утром, Гусев, как обычно, сел в кресло, положил на колени цифровую доску, дернул за шнур.

В зеркальной стене появилась странная картина: на центральной площади — озабоченные, шепчущиеся кучки марсиан. Исчезли столики с мостовой, цветы, пестрые зонтики. Появился отряд солдат,— шли треугольником, как страшные куклы, с каменными лицами. Далее — на торговой улице — бегущая толпа, свалка и какой-то марсианин, вылетевший из драки винтом на машинах-крыльях. В парке — те же встревоженные кучки шептунов. На одной из фабрик — гудящие толпы рабочих, возбужденные, мрачные, свирепые лица.

В городе, видимо, произошло какое-то событие чрезвычайной важности. Гусев тряс Ихошку за плечи: «В чем дело?» Она молчала, глядела матовыми влюбленными глазами.

ТУСКУБ

Город был охвачен тревогой. Бормотали, мигали зеркальные телефоны. На улицах, на площадях, в парках шептались кучки марсиан. Ждали событий, поглядывали на небо. Говорили, что где-то горят склады сушеного кактуса. В полдень в городе открыли водопроводные краны, и вода иссякла в них, но ненадолго... Многие слышали на юго-западе отдаленный взрыв. В домах заклеивали стекла бумажками — крест-накрест.

Тревога шла из центра по городу, из Дома Высшего совета инженеров.

Говорили о пошатнувшейся власти Тускуба, о предстоящих переменах.

Тревожное возбуждение прорезывалось, как искрой, слухами:

«Ночью погаснет свет».

«Остановят полярные станции».

«Исчезнет магнитное поле».

«В подвалах Дома Высшего совета арестованы какие-то личности».

На окраинах города, на фабриках, в рабочих поселках, в общественных магазинах слухи эти воспринимались по-иному. О причине их возникновения здесь, видимо, знали больше. С тревожным злорадством говорили, что будто гигантский цирк, номер одиннадцатый, взорван подземными рабочими, что агенты правительства ищут повсюду склады оружия, что Тускуб стягивает войска в Соацеру.

К полудню почти повсюду прекратилась работа. Собирались большие толпы, ожидали событий, поглядывали на неизвестно откуда появившихся многозначительных молодых, неряшливо одетых марсиан с заложенными в карманы руками.

В середине дня над городом пролетели правительственные лодки, и дождь белых афишек посыпался с неба на улицы.

Правительство предостерегало население от злостных слухов,— их распускали враги народа. Говорилось, что власть никогда еще не была так сильна и преисполнена решимости.

Город затих ненадолго, и снова поползли слухи — один страшнее другого. Достоверно знали только одно: сегодня вечером в Доме Высшего совета инженеров предстоит решительная борьба Тускуба с вождем рабочего населения Соацеры — инженером Гором.

К вечеру толпы народа заполнили огромную площадь перед Домом Высшего совета. Солдаты охраняли лестницу, входы и крышу. Холодный ветер нагнал туман, в мокрых облаках раскачивались фонари красноватыми расплывающимися сияниями. Неясной пирамидой уходили во мглу мрачные стены дома. Все окна его были освещены.

Под тяжелыми сводами, в круглой зале, на скамьях амфитеатра сидели члены Высшего совета. Лица всех были внимательны и настороженны. В стене, высоко над полом, проходили быстро одна за другой в туманном зеркале картины города — внутренность фабрик, перекрестки с перебегающими в тумане фигурами, очертания водяных цирков, электромагнитных башен, однообразные пустынные здания складов, охраняемые солдатами. Экран непрерывно соединялся со всеми контрольными зеркалами в городе. Вот появилась площадь перед Домом Высшего совета инженеров,— океан голов, застилаемый клочьями тумана, широкие сияния фонарей. Своды залы наполнились зловещим ропотом толпы.

Тонкий свист отвлек внимание присутствующих. Экран погас. Перед амфитеатром, на возвышение, покрытое черно-золотой парчой, взошел Тускуб. Он был бледен, спокоен и мрачен.

— В городе волнение,— сказал Тускуб,— город возбужден слухом о том, что сегодня *мне* здесь намерены противоречить. Одного этого слуха было достаточно, чтобы государственное равновесие пошатнулось. Такое положение вещей я считаю болезненным и зловещим. Необходимо раз навсегда уничтожить причину подобной возбуждаемости. Я знаю,— среди нас есть присутствующие, которые нынче же ночью разнесут по городу мои слова. Я говорю открыто: город охвачен анархией. По сведениям моих агентов, в городе и стране нет достаточных мускулов для сопротивления. Мы накануне гибели мира.

Ропот пролетел по амфитеатру. Тускуб брезгливо усмехнулся.

— Сила, разрушающая мировой порядок,— анархия,— идет из города. Спокойствие души, природная воля к жизни, силы чувств растрачиваются здесь на сомнительные развлечения и бесполезные удовольствия. Дым хавры — вот душа города: дым и бред. Уличная пестрота, шум, роскошь золотых лодок и зависть тех, кто снизу глядит на эти лодки. Женщины, обнажающие спину и живот и надушенные возбуждающими ароматами; пестрые огоньки, перебегающие по

фасадам публичных домов; летающие над улицами лодки-рестораны — вот город! Покой души сгорает в пепел. Желание таких опустошенных душ одно — жажда... Жажда опьянения... Пресыщенные души опьяняет только кровь.

Тускуб сказал это, пронзив перед собою пальцем пространство... Зал сдержанно загудел. Он продолжал:

— Город готовит анархическую личность. Ее воля, ее пафос — разрушение. Думают, что анархия — свобода, нет,— анархия жаждет только анархии. Долг государства — бороться с этими разрушителями,— таков закон! Анархии мы должны противопоставить волю к порядку. Мы должны вызвать в стране здоровые силы и с наименьшими потерями бросить их на войну с анархией. Мы объявляем анархии беспощадную войну. Меры охраны — лишь временное средство: неизбежно должен настать час, когда полиция откроет свое уязвимое место. В то время как мы вдвое увеличиваем число агентов полиции,— анархисты увеличиваются в квадрате. Мы должны первые перейти в наступление, решиться на суровое и неизбежное действие, мы должны разрушить и уничтожить город.

Половина амфитеатра завыла и повскакала на скамьях. Лица марсиан были бледны, глаза горели. Тускуб взглядом восстановил тишину.

— Город неизбежно, так или иначе, будет разрушен, мы сами должны организовать это разрушение. В дальнейшем я предложу план расселения здоровой части городских жителей по сельским поселкам. Мы должны использовать для этого богатейшую страну,— по ту сторону гор Лизиазиры,— покинутую населением после междоусобной войны. Предстоит огромная работа. Но цель ее велика. Разумеется, мерой разрушения города мы не спасем цивилизации, мы даже не отсрочим ее гибели, но мы дадим возможность марсианскому миру умереть спокойно и торжественно.

— Что он говорит?..— испуганными, высокими голосами закричали слушатели.

— Почему нам нужно умирать?

— Он сошел с ума!

— Долой Тускуба!

Движением бровей Тускуб снова заставил утихнуть амфитеатр.

— История Марса окончена. Жизнь вымирает на нашей планете. Вы знаете статистику рождаемости и смерти. Пройдет несколько столетий — и последний марсианин застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Мы бессильны остановить вымирание. Мы должны суровыми и мудрыми мерами обставить пышностью и счастьем последние дни мира. Первое и основное — мы должны уничтожить город. Цивилизация взяла от него все; теперь он разлагает цивилизацию, он должен погибнуть.

В середине амфитеатра поднялся Гор — тот широколицый молодой марсианин, которого Гусев видел в зеркале.

Голос его был глухой, лающий. Он выкинул руку по направлению Тускуба.

— Он лжет! Он хочет уничтожить город, чтобы сохранить власть. Он приговаривает нас к смерти, чтобы сохранить власть. Он понимает, что только уничтожением миллионов он еще может сохранить власть. Он знает, как ненавидят его те, кто не летает в золотых лодках, кто родится и умирает в подземных фабричных городах, кто в праздник шатается по пыльным коридорам, зевая от безнадежности, кто с остервенением, ища забвения, дышит дымом проклятой хавры. Тускуб приготовил нам смертное ложе, пусть сам в него ляжет. Мы не хотим умирать. Мы родились, чтобы жить. Мы знаем опасность — вырождение Марса. Но у нас есть спасение. Нас спасет Земля, люди с Земли, здоровая, свежая раса с горячей кровью. Вот кого он боится больше всего на свете. Тускуб, ты спрятал у себя в дому двух людей, прилетевших с Земли. Ты боишься Сынов Неба. Ты силен только среди слабых и одурманенных хаврой. Когда придут сильные, с горячей кровью, ты сам станешь тенью, ночным кошмаром, ты исчезнешь, как призрак. Вот чего ты боишься больше всего на свете! Ты нарочно выдумал анархию, ты сейчас придумал это потрясающее умы разрушение города. Тебе самому нужна кровь — напиться. Тебе нужно отвлечь внимание всех, чтобы незаметно убрать

этих двух смельчаков, наших спасителей. Я знаю, что ты уже отдал приказ...

Гор вдруг оборвал. Лицо его начало темнеть от напряжения. Тускуб тяжело, из-под бровей, глядел ему в глаза.

— ... Не заставишь... Не замолчу!..— Гор захрипел.— Я знаю — ты посвящен в древнюю чертовщину... Я не боюсь твоих глаз...

Гор с трудом широкой ладонью отер пот со лба. Вдохнул глубоко и зашатался. В молчании недышащего амфитеатра он опустился на скамью, уронил голову на руки. Было слышно, как скрипнули его зубы.

Тускуб поднял брови и продолжал спокойно:

— Надеяться на переселенцев с Земли? Поздно. Вливать свежую кровь в наши жилы? Поздно. Поздно и жестоко. Мы лишь продлим агонию нашей планеты. Мы лишь увеличим страдания, потому что неизбежно станем рабами завоевателей. Вместо покойного и величественного заката цивилизации мы снова вовлечем себя в томительные круги столетий. Зачем? Зачем нам, ветхой и мудрой расе, работать на завоевателей? Чтобы жадные до жизни дикари выгнали нас из дворцов и садов, заставили строить новые цирки, копать руду, чтобы снова равнина Марса огласилась криками войны? Чтобы снова наполнять наши города развратниками и сумасшедшими? Нет. Мы должны умереть спокойно на порогах своих жилищ. Пусть красные лучи Талцетла светят нам издалека. Мы не пустим к себе чужеземцев. Мы построим новые станции на полюсах и окружим планету непроницаемой броней. Мы разрушим Соацеру — гнездо анархии и безумных надежд,— здесь, здесь родился этот преступный план сношения с Землей. Мы пройдем плугом по площадям. Мы оставим лишь необходимые для жизни учреждения и предприятия. В них мы заставим работать преступников, алкоголиков, сумасшедших, всех мечтателей несбыточного. Мы закуем их в цепи. Даруем им жизнь, которой они так жаждут. Всем, кто согласен с нами, кто подчиняется нашей воле, мы отведем сельскую усадьбу и обеспечим жизнь и комфорт. Двадцать тысячелетий каторжного труда дают нам

право жить, наконец, праздно, тихо и созерцательно. Конец цивилизации будет покрыт венцом золотого века. Мы организуем общественные праздники и прекрасные развлечения. Быть может, даже срок жизни, указанный мною, продлится еще на несколько столетий, потому что мы будем жить в покое.

Амфитеатр слушал молча, завороженный. Лицо Тускуба покрылось пятнами. Он закрыл глаза, будто вглядываясь в грядущее. Замолк на полуслове...

...Глухой, многоголосый гул толпы проник снаружи под своды зала. Гор поднялся. Лицо его было перекошено. Он сорвал с себя шапочку и швырнул далеко. Протянул руки и ринулся вниз по скамьям к Тускубу. Он схватил Тускуба за горло и сбросил с парчового возвышения. Так же, протянув руки, растопырив пальцы, повернулся к амфитеатру. Будто отдирая присохший язык, закричал:

— Хорошо. Смерть! Пусть смерть! Для вас!.. Для нас — борьба...

На скамьях вскочили, зашумели, несколько фигур побежало вниз, к лежащему ничком Тускубу.

Гор прыгнул к двери. Локтем отшвырнул солдата. Полы его черного халата мелькнули у выхода на площадь. Раздался его отдаленный голос. По толпе пошел будто рев ветра.

ЛОСЬ ОСТАЕТСЯ ОДИН

— Революция, Мстислав Сергеевич. Весь город вверх ногами. Потеха!

Гусев стоял в библиотеке. В обычно сонных глазах его прыгали веселые искорки, нос вздернулся, топорщились усы. Руки он глубоко засунул за ременный пояс.

— В лодку я уже все уложил: провизию, гранаты. Ружьишко ихнее достал. Собирайтесь скорее, бросайте книгу, летим.

Лось сидел, подобрав ноги, в углу дивана, невидяще глядел на Гусева. Вот уже более двух часов он

ожидал обычного прихода Аэлиты, подходил к двери, прислушивался,— в комнатах Аэлиты было тихо. Он садился в угол дивана и ждал, когда зазвучат ее шаги. Он знал: легкие шаги раздадутся в нем громом небесным. Она войдет, как всегда, прекраснее, изумительнее, чем он ждал, пройдет под озаренными верхними окнами; по зеркальному полу пролетит ее черное платье. И в нем все дрогнет. Вселенная его души дрогнет и замрет, как перед грозой.

— Лихорадка, что ли, у вас, Мстислав Сергеевич? Чего уставились? Говорю, летим, все готово, я вас хочу марскомом объявить. Дело чистое.

Лось опустил голову,— так впился глазами Гусев. Спросил тихо:

— Что происходит в городе?

— Черт их разберет. На улицах народу — тучи, рев. Окна бьют.

— Слетайте, Алексей Иванович, но только нынче же ночью вернитесь. Я обещаю поддержать вас во всем, в чем хотите. Устраивайте революцию, назначайте меня комиссаром, если будет нужно — расстреляйте меня. Но сегодня, умоляю вас, оставьте меня в покое. Согласны?

— Ладно,— сказал Гусев,— эх, от них весь беспорядок, мухи их залягай,— на седьмое небо улети, и там баба. Тьфу! В полночь вернусь. Ихошка посмотрит, чтобы доносу на меня не было.

Гусев ушел. Лось опять взял книгу и думал:

«Чем кончится? Пройдет мимо гроза любви? Нет, не минует. Рад он этому чувству напряженного, смертельного ожидания, что вот-вот раскроется какой-то немыслимый свет? Не радость, не печаль, не сон, не жажда, не утоление... То, что он испытывает, когда Аэлита рядом с ним,— именно принятие жизни в ледяное одиночество своего тела. Жизнь входит в него по зеркальному полу, под сияющими окнами. Но это тоже ведь сон. Пусть случится то, чего он жаждет. И жизнь возникнет в ней, в Аэлите. Она будет полна осуществлением, трепетной плотью. А ему снова — томление, одиночество».

Никогда еще Лось с такой ясностью не чувствовал

безнадежной жажды любви, никогда еще так не понимал этого обмана любви, страшной подмены самого себя — женщиной: проклятие мужского существа. Раскрыть объятия, распахнуть руки от звезды до звезды,— ждать, принять женщину. И она возьмет все и будет жить. А ты, любовник, отец,— как пустая тень, раскинувшая руки от звезды до звезды.

Аэлита была права: он напрасно многое узнал за это время, слишком широко раскрылось его сознание. В его теле еще текла горячая кровь, он был весь еще полон тревожными семенами жизни,— сын Земли. Но разум опередил его на тысячу лет: здесь, на иной земле, он узнал то, что еще не нужно было знать. Разум раскрылся и зазиял ледяной пустыней. Что раскрыл его разум? Пустыню, и там, за пределом, новые тайны.

Заставь птицу, поющую в нежном восторге, закрыв глаза, в горячем луче солнца, понять хоть краешек мудрости человеческой,— и птица упадет мертвая.

За окном послышался протяжный свист улетающей лодки. Затем в библиотеку просунулась голова Ихи.

— Сын Неба, идите обедать...

Лось поспешно пошел в столовую — белую, круглую комнату, где эти дни обедал с Аэлитой. Здесь было жарко. В высоких вазах у колонн тяжелой духотой пахли цветы. Иха, отворачивая покрасневшие от слез глаза, сказала:

— Вы будете обедать один, Сын Неба,— и прикрыла прибор Аэлиты белыми цветами.

Лось потемнел. Мрачно сел к столу. К еде не притронулся,— только крошил хлеб и выпил несколько бокалов вина. С зеркального купола — над столом — раздалась, как обычно во время обеда, слабая музыка. Лось стиснул челюсти.

Из глубины купола лились два голоса — струнный и духовой: сходились, сплетались, пели о несбыточном. На высоких, замирающих звуках они расходились,— и уже низкие звуки взывали из могилы тоскующими голосами — звали, перекликались взволнованно, и снова пели о встрече, сближались, кружились, похожие на старый, старый вальс.

Лось сидел, стиснув в кулаке узкий бокал. Иха, зай-

дя за колонну, приподняла платье и уткнула в него лицо,— у нее тряслись плечи. Лось бросил салфетку и встал. Томительная музыка, духота цветов, пряное вино — все это было совсем напрасно.

Он подошел к Ихе.

— Могу я видеть Аэлиту?

Не открывая лица, Иха замотала рыжими волосами. Лось взял ее за плечо.

— Что случилось? Она больна? Мне нужно ее видеть.

Иха проскользнула под локтем у Лося и убежала. На полу у колонны осталась оброненная Ихошкой фотографическая карточка. Мокрая от слез карточка изображала Гусева в полной боевой форме — суконный шлем, ремни на груди, одна рука на рукояти шашки, в другой — револьвер, сзади разрывающиеся гранаты,— подписано: «Прелестной Ихошке на незабываемую память».

Лось швырнул открытку, вышел из дому и зашагал по лугу, к роще. Он делал огромные прыжки, не замечал этого, бормотал:

— Не хочет видеть — не нужно. Попасть в иной мир,— беспримерное усилие,— чтобы сидеть в углу дивана, ждать: когда же, когда, наконец, войдет женщина... Сумасшествие! Одержимость! Гусев прав,— лихорадка. «Нанюхался сладкого». Ждать, как светопреставления, нежного взгляда... К черту!..

Мысли жестоко укалывали. Лось вскрикивал, как от зубной боли. Не соразмеряя силы, подскакивал на сажень в воздух и, падая, едва удерживался на ногах. Белые волосы его развевались. Он люто ненавидел себя.

Он добежал до озера. Вода была, как зеркало, на черно-синей ее поверхности пылали снопы солнца. Было душно. Лось обхватил голову, сел на камень.

Из прозрачной глубины озера медленно поднимались круглые пурпуровые рыбы, шевелили волокнами длинных игл, водяными глазами равнодушно глядели на Лося.

— Вы слышите, рыбы, пучеглазые, глупые рыбы,— вполголоса сказал Лось,— я спокоен, говорю в полной

памяти. Меня мучит любопытство, жжет,— взять в руки ее, когда она войдет в черном платье. Услышать, как станет биться ее сердце... Она сама, странным движением, придвинется ко мне... Я буду глядеть, как станут дикими ее глаза... Видите, рыбы,— я остановился, оборвал, не думаю, не хочу. Довольно. Ниточка разорвана,— конец. Завтра в город. Борьба — прекрасно. Смерть — прекрасно. Только — ни музыки, ни цветов, ни лукавого обольщения. Больше не хочу духоты. Волшебный шарик на ее ладони — к черту, к черту, все это обман, призрак!..

Лось поднялся, взял большой камень и швырнул его в стаю рыб. Голову ломило. Свет резал глаза. Вдали сверкала льдами, поднималась из-за рощи острым пиком горная вершина. «Необходимо хлебнуть ледяного воздуха». Лось прищурился на алмазную гору и пошел в том направлении через голубые заросли.

Деревья окончились, перед ним лежало пустынное холмистое плоскогорье,— ледяная вершина была далеко за краем. По пути под ногами валялись шлак и щебень, повсюду — отверстия брошенных шахт. Лось упрямо решил хватить зубами кусок этого вдали сияющего снега.

В стороне, в лощине, поднималось коричневое облако пыли. Горячий ветер донес шум множества голосов. С высоты холма Лось увидел бредущую по сухому руслу канала большую толпу марсиан. Они несли длинные палки с привязанными на концах ножами, кирки, молоты для дробления руды. Брели, спотыкаясь, потрясали оружием и ревели свирепо. За ними, над коричневыми облаками, плыли хищные птицы.

Лось вспомнил давешние слова Гусева о событиях. Подумал: «Вот — живи, борись, побеждай, гибни... А сердце держи на цепи, неистовое, несчастное».

Толпа скрылась за горами. Лось быстро шел, взволнованный движением, борьбой, и вдруг остановился, запрокинул голову. В синей вышине плыла, снижаясь, крылатая лодка. Вот сверкнула, описала круг, все ниже, ниже, скользнула над головой и села.

В лодке поднялся кто-то закутанный в белый мех, белый, как снег. Из-за меха, из-под кожаного шлема

глядели на Лося взволнованные глаза Аэлиты. Горячо забилось сердце. Он подошел к лодке. Аэлита отогнула на лице влажный от дыхания мех. Потемневшим взором Лось глядел в ее лицо. Она сказала:

— Я за тобой. Я была в городе. Нам нужно бежать. Я умираю от тоски по тебе.

Лось только стиснул пальцами борт лодки, с трудом передохнул.

ЧАРЫ

Лось сел позади Аэлиты. Механик — краснокожий мальчик — плавным толчком поднял крылатую лодку в небо.

Холодный ветер кинулся навстречу. Белая, как снег, шубка Аэлиты была пропитана грозовой свежестью, горным холодом. Аэлита обернулась к Лосю, щеки ее горели.

— Я видела отца. Он мне велел убить тебя и твоего товарища.— Зубы ее блеснули. Она разжала кулачок. На кольце, на цепочке, висел у нее каменный флакончик.— Отец сказал: пусть они уснут спокойно, они заслужили счастливую смерть.

Серые глаза Аэлиты подернулись влагой. Но сейчас же она рассмеялась, сдернула с пальца кольцо. Лось схватил ее за руку.

— Не бросай,— он взял у нее флакончик и сунул в карман,— это твой дар, Аэлита,— темная капелька — сон, покой. Теперь и жизнь и смерть — ты.— Он наклонился к ее дыханию.— Когда настанет страшный час одиночества, я снова почувствую тебя в этой капельке.

Силясь понять, Аэлита закрыла глаза, прислонилась спиной к Лосю. Нет, все равно не понять. Шумящий ветер, горячая грудь Лося за спиной, его рука, ушедшая в белый мех на плече,— казалось, кровь их бежит одним круговоротом, в одном восторге, одним телом летят они в какое-то сияющее древнее воспоминание. Нет, все равно не понять!

Прошла минута, немного больше. Лодка поравнялась с высотой Тускубовой усадьбы. Механик обернулся: у Аэлиты и Сына Неба были странные лица. В пустых зрачках их светились солнечные точки. Ветер мял снежную шерсть на шубке Аэлиты. Восторженные глаза ее глядели в океан небесного света.

Мальчик-механик уткнул в воротник острый нос и принялся беззвучно смеяться. Положил лодку на крыло и, разрезая воздух крутым падением, спустился у дома.

Аэлита очнулась, стала расстегивать шубку, но пальцы ее скользили по птичьим головкам на больших пуговицах. Лось поднял ее из лодки, поставил на траву и стоял перед ней согнувшись. Аэлита сказала мальчику:

— Приготовь закрытую лодку.

Она не заметила ни Ихошкиных красных глаз, ни желтого, как тыква, перекошенного страхом лица управляющего,— улыбаясь, рассеянно оборачиваясь к Лосю, она пошла впереди него в глубь дома, к себе.

В первый раз Лось увидел комнаты Аэлиты,— низкие золотые своды, стены, покрытые теневыми изображениями, будто фигурками на китайском зонтике, почувствовал кружащий голову горьковатый теплый запах.

Аэлита сказала тихо:

— Сядь.

Лось сел. Она опустилась около его ног, положила голову ему на колени, руки на грудь и более не двигалась.

Он с нежностью глядел на ее пепельные, высоко поднятые на затылке волосы, держал руки. У нее задрожало горло. Лось нагнулся. Она сказала:

— Тебе, быть может, скучно со мной? Прости. Я еще не умею любить. Мне смутно. Я сказала Ихе: поставь побольше цветов в столовой, когда он останется один, пусть ему играет улла.

Аэлита оперлась локтями о колени Лося. Лицо ее было мечтательное.

— Ты слушал? Ты понял? Ты думал обо мне?

— Ты видишь и знаешь,— сказал Лось,— когда я

не вижу тебя — схожу с ума от тревоги. Когда вижу тебя — тревога страшнее. Теперь мне кажется — тоска по тебе гнала меня через звезды.

Аэлита глубоко вздохнула. Лицо ее казалось счастливым.

— Отец дал мне яд, но я видела — он не верит мне. Он сказал: «Я убью и тебя и его». Нам недолго жить. Но ты чувствуешь — минуты раскрываются бесконечно, блаженно.

Она запнулась и глядела, как вспыхнули холодной решимостью глаза Лося,— рот его сжался упрямо.

— Хорошо,— сказал он,— я буду бороться.

Аэлита придвинулась и зашептала:

— Ты — великан из моих детских снов. У тебя прекрасное лицо. Ты сильный, Сын Неба. Ты мужественный, добрый. Твои руки — из железа, колени — из камня. Твой взгляд смертелен. От твоего взгляда женщины чувствуют тяжесть под сердцем.

Голова Аэлиты без силы легла ему на плечо. Ее бормотание стало неясным, чуть слышным. Лось отвел с лица ее волосы.

— Что с тобой?

Тогда она стремительно обвила его шею, как ребенок. Выступили большие слезы, потекли по ее худенькому лицу.

— Я не умею любить,— сказала она,— я никогда не знала этого... Пожалей меня, не гнушайся мною. Я буду рассказывать тебе интересные истории. Расскажу о страшных кометах, о битве воздушных кораблей, о гибели прекрасной страны по ту сторону гор. Тебе не будет скучно любить меня. Меня никто никогда не ласкал. Когда ты в первый раз пришел, я подумала: «Я его видела в детстве, это родной великан». Мне хотелось, чтобы ты взял меня на руки, унес отсюда. Здесь — мрачно, безнадежно, смерть, смерть. Солнце скудно греет. Льды больше не тают на полюсах. Высыхают моря. Бесконечные пустыни, медные пески покрывают Туму... Земля, Земля... милый великан, унеси меня на Землю. Я хочу видеть зеленые горы, потоки воды, облака, тучных зверей, великанов... Я не хочу умирать...

Аэлита заливалась слезами. Теперь совсем девочкой казалась она Лосю. Было смешно и нежно, когда она всплеснула руками, говоря о великанах.

Лось поцеловал ее в заплаканные глаза. Она затихла. Ротик ее припух. Снизу вверх, влюбленно, как на великана из сказки, она глядела на Сына Неба.

Вдруг в полумраке комнаты раздался тихий свист, и сейчас же вспыхнул облачным светом овал на туалетном столике. Появилась всматривающаяся внимательно голова Тускуба.

— Ты здесь? — спросил он.

Аэлита, как кошка, соскочила на ковер, подбежала к экрану.

— Я здесь, отец.

— Сыны Неба еще живы?

— Нет, отец,— я дала им яд, они убиты.

Аэлита говорила холодно, резко. Стояла спиной к Лосю, заслоняя экран.

— Что тебе еще нужно от меня, отец?

Тускуб молчал. Плечи Аэлиты стали подниматься, голова закидывалась. Свирепый голос Тускуба проревел:

— Ты лжешь! Сын Неба в городе. Он во главе восстания!

Аэлита покачнулась. Голова отца исчезла.

ДРЕВНЯЯ ПЕСНЯ

Аэлита, Ихошка и Лось летели в четырехкрылой лодке к горам Лизиазиры.

Не переставая работал приемник электромагнитных волн — мачта с отрезками проволок. Аэлита склонилась над крошечным экраном, слушала, всматривалась.

Было трудно разобраться в отчаянных телефонограммах, призывах, криках, тревожных запросах, летящих, кружащихся в магнитных полях Марса. Все же, почти не переставая, бормотал стальной голос Тускуба, прорезывал весь этот хаос, владел им. В зеркальце скользили тени потревоженного мира.

Несколько раз в каше звуков слух Аэлиты улавливал странный голос, вопивший протяжно:

«...Товарищи, не слушайте шептунов... не надо нам никаких уступок... к оружию, товарищи, настал последний час... вся власть сов... сов... сов...»

Аэлита обернулась к Ихошке.

— Твой друг отважен и дерзок, он истинный Сын Неба, не бойся за него.

Ихошка, как коза, топнула ногами, замотала рыжей головой. Аэлите удалось проследить, что бегство их осталось незамеченным. Она сняла с ушей трубки. Пальцами протерла запотевшее стекло иллюминатора.

— Взгляни,— сказала она Лосю,— за нами летят ихи.

Лодка плыла на огромной высоте над Марсом. С боков лодки, в ослепительном свету, летели на перепончатых крыльях два извивающихся, покрытых бурой шерстью, облезлых животных. Круглые головы их с плоским зубастым клювом были повернуты к окошкам. Вот одно, увидев Лося, нырнуло и ляскнуло пастью по стеклу. Лось откинул голову. Аэлита рассмеялась.

Миновали Азору. Внизу теперь лежали острые скалы Лизиазиры. Лодка пошла вниз, пролетела над озером Соам и опустилась на просторную площадку, висящую над пропастью.

Лось и механик завели лодку в пещеру, подняли на плечи корзины и вслед за женщинами стали спускаться по едва приметной в скалах, истершейся от древности лестнице вниз в ущелье. Аэлита легко и быстро шла вперед. Придерживаясь за выступы скал, внимательно взглядывала на Лося. Из-под его огромных ног летели камни, отдавались в пропасти эхом.

— Здесь спускался Магацитл, неся трость с привязанной пряжей,— сказала Аэлита.— Сейчас ты увидишь места, где горели круги священных огней.

На середине пропасти лестница ушла в глубь скалы, в узкий туннель. Из темноты его тянуло влажной сыростью. Ширкая по камням плечами, нагибаясь, Лось с трудом двигался между отполированными стенами. Ощупью он нашел плечо Аэлиты и сейчас же

почувствовал на губах ее дыхание. Он прошептал по-русски: «Милая».

Туннель окончился полуосвещенной пещерой. Повсюду поблескивали базальтовые колонны. В глубине взлетали легкие клубы пара. Журчала вода, однообразно падали капли с неразличимых в глубине сводов.

Аэлита шла впереди. Ее черный плащ и острый колпачок скользили над озером, скрывались иногда за облаками пара. Она сказала из темноты: «Осторожнее» — и появилась на узкой, крутой арке древнего моста. Лось почувствовал, как под ногами дрожит мостовой свод, но он глядел только на легкий плащ, скользящий в полумраке.

Становилось светлее. Заблестели над головой кристаллы. Пещера окончилась колоннадой из низких каменных столбов. За ними видна была залитая вечерним солнцем перспектива скалистых вершин и горных цирков Лизиазиры.

По ту сторону колоннады лежала широкая терраса, покрытая ржавым мхом. Ее края обрывались отвесно. Едва заметные лесенки и тропинки вели наверх, в пещерный город. Посреди террасы лежал до половины ушедший в почву, покрытый мхами Священный Порог. Это был большой, из массивного золота, саркофаг. Грубые изображения зверей и птиц покрывали его с четырех сторон. Наверху покоилось изображение спящего марсианина,— одна рука его подложена под голову, другая прижимала к груди уллу. Остатки рухнувшей колоннады окружали эту удивительную скульптуру.

Аэлита опустилась на колени перед Порогом и поцеловала в сердце изображение спящего. Когда она поднялась, ее лицо было задумчивое и кроткое. Иха тоже присела у ног спящего, обхватила их, прижалась лицом.

С левой стороны, в скале, среди полустертых надписей виднелась треугольная золотая дверца. Лось разгреб мхи и с трудом отворил ее. Это было древнее жилище хранителя Порога — темная пещерка с каменными скамьями, очагом и ложем, высеченным в грани-

те. Сюда внесли корзины. Иха покрыла циновкой пол, постлала постель для Аэлиты, налила масла в висевшую под потолком светильню и зажгла ее. Мальчик-механик ушел сторожить крылатую лодку.

Аэлита и Лось сидели на краю бездны. Солнце уходило за острые вершины. Резкие длинные тени потянулись от гор, ломались в прорывах ущелий. Мрачно, бесплодно, дико было в этом краю, где некогда спасались от людей древние Аолы.

— Когда-то горы были покрыты растительностью,— сказала Аэлита,— здесь паслись стада хашей и в ущельях шумели водопады. Тума умирает. Смыкается круг долгих, долгих тысячелетий. Быть может, мы — последние: уйдем, и Тума опустеет.

Аэлита помолчала. Солнце закатилось невдалеке за драконий хребет скал. Яростная кровь заката полилась в высоту, в лиловую тьму.

— Но сердце мое говорит иное.— Аэлита поднялась и пошла вдоль обрыва, поднимая клочки сухого мха, сухие веточки. Собрав их в край плаща, она вернулась к Лосю, сложила костер, принесла из пещеры светильню и, опустившись на колени, подожгла травы. Костер затрещал, разгораясь.

Тогда Аэлита вынула из-под плаща маленькую уллу и, сидя, опираясь локтями о поднятое колено, тронула струны. Они нежно, как пчелы, зазвенели. Аэлита подняла голову к проступающим во тьме ночи звездам и запела негромким, низким, печальным голосом:

Собери сухие травы, помет животных и обломки ветвей,
Сложи их прилежно,
Ударь камнем о камень,— женщина, водительница двух душ.
Высеки искру,— и запылает костер.
Сядь у огня, протяни руки к пламени.
Муж твой сидит по другую сторону пляшущих языков.
Сквозь струи уходящего к звездам дыма
Глаза мужчины глядят в темноту твоего чрева, в дно души.
Его глаза ярче звезд, горячей огня, смелее фосфорических глаз ча.
Знай,— потухшим углем станет солнце, укатятся
Звезды с неба, погаснет злой Талцетл над миром,—
Но ты, женщина, сидишь у огня бессмертия, протянув к нему руки,
И слушаешь голоса ждущих пробуждения к жизни,
Голоса во тьме твоего чрева.

Костер догорал. Опустив уллу на колени, Аэлита глядела на угли,— они озаряли красноватым жаром ее лицо.

— По древнему обычаю,— сказала она сурово,— женщина, спевшая мужчине песню уллы, становится его женой.

ЛОСЬ ЛЕТИТ НА ПОМОЩЬ ГУСЕВУ

В полночь Лось выскочил из лодки на дворе Тускубовой усадьбы. Окна дома были темны,— значит, Гусев еще не вернулся. Покатая стена освещена звездами, голубоватые искры их поблескивали в черноте стекол. Из-за зубцов крыши торчала острым углом странная тень. Лось вглядывался,— что бы это могло быть?

Мальчик-механик наклонился к нему и шепнул опасливо:

— Не ходите туда.

Лось вытащил из кобуры маузер. Втянул ноздрями холодноватый воздух. В памяти встал огонь костра над пропастью, запах горящих трав. Потемневшие, горячие глаза Аэлиты... «Вернешься? — спросила она, стоя над огнем.— Исполни долг, борись, победи, но не забывай,— все это лишь сон, все тени... Здесь, у огня, — ты жив, ты не умрешь. Не забывай, вернись...» Она подошла близко. Ее глаза у самых его глаз раскрывались в бездонную ночь, полную звездной пыли: «Вернись, вернись ко мне, Сын Неба...»

Воспоминание обожгло и погасло,— длилось всего секунду, покуда Лось расстегивал кобуру револьвера. Вглядываясь в странную тень по ту сторону дома, над крышей, Лось чувствовал, как мышцы его напрягаются, горячая кровь сотрясает сердце,— борьба, борьба.

Легко, прыжками, он побежал к дому. Прислушался, скользнул вдоль боковой стены и заглянул за угол. Близ входа в дом лежал, завалившись набок, разбитый корабль. Одно его крыло поднималось над крышей к звездам... Лось различил несколько валявшихся на траве точно мешков,— это были трупы. В доме — темнота, тишина.

«Неужели — Гусев?» Лось подбежал к убитым. «Нет, марсиане». Один лежал вниз головой на ступенях. Еще один висел среди обломков корабля. Видимо, были убиты выстрелами из дома.

Лось взбежал на лестницу. Дверь была приоткрыта. Он вошел в дом.

— Алексей Иванович,— позвал Лось.

Было тихо. Он включил освещение,— вспыхнул огнями весь дом. Подумал: «Неосторожно»,— и сейчас же забыл об этом. Проходя под арками, поскользнулся в липкую лужицу.

— Алексей Иванович! — закричал Лось.

Прислушался,— тишина. Тогда он прошел в узкое зальце с туманным зеркалом, сел в кресло, захватил ногтями подбородок. «Ждать его здесь? Лететь на помощь? Но куда? Чей это разбитый корабль? Мертвые не похожи на солдат,— скорее всего — рабочие. Кто здесь дрался? Гусев? Люди Тускуба? Да, медлить нельзя».

Он взял цифровую доску и включил зеркало: «Площадь Дома Высшего совета инженеров». Дернул шнур, и сейчас же грохотом отшвырнуло его от зеркала: там, в красноватом сиянии фонарей, летели клубы дыма, чиркали огненные вспышки, искры. Вот влетела, раскинув руки, в зеркало чья-то фигура с залитыми кровью глазами.

Лось дернул за шнур. Отвернулся от экрана.

«Неужели он не даст знать, где искать его в этой каше?»

Лось заложил руки за спину и ходил, ходил по низкому зальцу. Вздрогнул, остановился, живо обернулся, щелкнул предохранителем маузера. Из-за двери, у самого пола, высовывалась голова — красные вихры, красное морщинистое лицо.

Лось подскочил к двери. По ту ее сторону лежал у стены в луже крови марсианин. Лось взял его на руки, понес и положил в кресло. У него был разодран живот.

Облизнув губы, марсианин проговорил едва слышно:

— Спеши, мы погибаем, Сын Неба, спаси нас... Разожми мне руку...

Лось разжал коченеющий кулачок умирающего, отодрал от ладони записочку. С трудом разобрал:

«Посылаю за вами военный корабль и семь человек рабочих,— ребята надежные. Я осаждаю Дом Высшего совета инженеров. Спускайтесь рядом на площади, где башня. Гусев».

Лось нагнулся к раненому — спросить, что здесь произошло. Но марсианин только хрипел, дергаясь в кресле.

Тогда Лось взял его голову в ладони. Марсианин перестал хрипеть. Глаза его выкатились. Ужас, блаженство осветило их: «Спаси...» Глаза подернулись пылью, оскалился рот.

Лось застегнул куртку, обмотал шею шарфом. Пошел к выходу. Но едва отворил дверь, впереди, из-за остова корабля, метнулись синеватые искорки; раздался слабый, режущий треск. Пулей сорвало шлем с головы Лося.

Стиснув зубы, Лось кинулся вниз по лестнице, подскочил к кораблю, навалился плечом,— мускулы хрустнули, и он опрокинул остов корабля на тех, кто таился позади него в засаде.

Раздался треск ломающегося металла, птичьи крики марсиан; огромное крыло мотнулось по воздуху и пришлепнуло уползавших из-под обломков. Пригибающиеся фигуры побежали зигзагами по туманной лужайке. Лось одним прыжком догнал их, выстрелил. Грохот маузера был ужасен. Ближайший марсианин ткнулся в траву. Другой бросил ружье, присел, закрыл лицо руками.

Лось взял его за воротник серебристой куртки и поднял, как щенка. Это был солдат. Лось спросил:

— Ты послан Тускубом?

— Да, Сын Неба.

— Я тебя убью.

— Хорошо, Сын Неба.

— На чем вы прилетели? Где корабль?

Вися перед страшным лицом Сына Неба, марсиа-

нин расширенными от ужаса глазами указал на деревья: в тени их стояла небольшая военная лодка.

— Ты видел в городе Сына Неба? Ты можешь его найти?

— Да.

— Вези.

Лось вскочил в военную лодку. Марсианин сел к рулям. Взвыли винты. Ночной ветер кинулся навстречу. Закачались в черной высоте огромные, дикие звезды.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУСЕВА ЗА ИСТЕКШИЙ ДЕНЬ

В десять часов утра Гусев вылетел из Тускубовой усадьбы в Соацеру, имея на борту лодки авиационную карту, оружие, довольствие и шесть штук ручных гранат,— их он, тайно от Лося, захватил еще в Петрограде.

В полдень Гусев увидал внизу Соацеру. Центральные улицы были пустынны. У Дома Совета инженеров, на огромной звездообразной площади, стояли военные корабли и войска — тремя концентрическими полукругами.

Гусев стал снижаться. И вот — его, очевидно, заметили. С площади снялся шестикрылый сверкающий корабль,— трепеща в лучах солнца, взвился отвесно. Вдоль бортов его стояли серебристые фигурки. Гусев описал над кораблем круг. Осторожно вытащил из мешка гранату.

На корабле завертелись цветные колеса, зашевелились проволочные волосы на мачте.

Гусев перегнулся из лодки и погрозил кулаком. На корабле раздался слабый крик. Серебристые фигурки подняли коротенькие ружья. Вылетели желтенькие дымки. Запели пули. Отлетел кусок борта у лодки.

Гусев выругался веселым матом. Поднял рули. Кинулся вниз на корабль. Пролетая вихрем над ним, бросил гранату. Он услышал, как позади громыхнул оглушительный взрыв. Выправил рули и обернулся. Корабль неряшливо перевертывался в воздухе, дымя и разваливаясь, и рухнул на крыши.

С этого тогда все началось.

Пролетая над городом, Гусев узнавал виденные им в зеркале площади, правительственные здания, арсенал, рабочие кварталы. У длинной фабричной стены волновалась, точно потревоженный муравейник, многотысячная толпа марсиан. Гусев снизился. Толпа шарахнулась в стороны. Он сел на очищенное место, скаля зубы.

Его узнали. Поднялись тысячи рук, заревели глотки: «Магацитл, Магацитл!» Толпа робко стала придвигаться. Он видел дрожащие лица, умоляющие глаза, красные, как редиска, облезлые черепа. Это все были рабочие, чернь, беднота.

Гусев вылез из лодки, вскинул на плечо мешок, широко провел рукой по воздуху.

— С приветом, товарищи! — Стало тихо, как во сне. Гусев казался великаном среди щуплого народца.— Разговаривать здесь собрались, товарищи, или воевать? Если разговаривать, мне некогда, прощайте.

По толпе пролетел тяжкий вздох. Отчаянными голосами крикнули несколько марсиан, и толпа подхватила их крики:

— Спаси, спаси, спаси нас, Сын Неба!

— Значит, воевать хотите? — сказал Гусев и рявкнул хриплой глоткой: — Бой начался. Сейчас на меня напал военный корабль. Я сбил его к чертям. К оружию, за мной! — Он схватил воздух, точно уздечку.

Сквозь толпу протискался Гор (Гусев его сразу узнал). Гор был серый от волнения, губы прыгали. Вцепился пальцами в грудь Гусеву.

— Что вы говорите? Куда вы нас зовете? Нас уничтожат. У нас нет оружия. Нужны иные средства борьбы...

Гусев отодрал от себя его руки.

— Главное оружие — решиться. Кто решился, у того и власть. Не для того я с Земли летел, чтобы здесь разговаривать... Для того я с Земли летел, чтобы научить вас решиться. Мхом обросли, товарищи марсиане. Кому умирать не страшно,— за мной. Где у вас арсенал? За оружием! Все за мной, в арсенал!..

— Ай-яй! — завизжали марсиане.

Началась давка. Гор отчаянно протянул руки к толпе.

Так началось восстание. Вождь нашелся. Головы пошли кругом. Невозможное показалось возможным. Гор, медленно и научно подготовлявший восстание и даже после вчерашнего медливший и не решавшийся, вдруг точно проснулся. Он произнес двенадцать бешеных речей, переданных в рабочие кварталы туманными зеркалами. Сорок тысяч марсиан стали подтягиваться к арсеналу. Гусев разбил наступавших на небольшие кучки, и они перебегали под прикрытием домов, памятников, деревьев. Он распорядился поставить у всех контрольных экранов, по которым правительство следило за движением в городе, женщин и детей и велел им вяло ругать Тускуба. Эта азиатская хитрость усыпила на некоторое время бдительность правительства.

Гусев боялся воздушной атаки военных кораблей. Чтобы хоть ненадолго отвлечь внимание, он послал пять тысяч безоружных марсиан в центр города — кричать, просить теплой одежды, хлеба, хавры. Он сказал им:

— Никто из вас живым оттуда не вернется. Это вы помните. Идите.

Пять тысяч марсиан одной глоткой закричали: «Ай-яй!» — развернули огромные зонтики с надписями и пошли умирать, запели унылым воем старую запретную песню:

Под стеклянными крышами,
Под железными арками,
В каменном горшке
Дымится хавра.
Нам весело, весело.
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!
Ай-яй! Мы не вернемся
В шахты, в каменоломни,
Мы не вернемся
В страшные, мертвые коридоры,
К машинам, к машинам.
Жить мы хотим. Ай-яй! Жить!
Дайте-ка нам в руки каменный горшок!

Крутя огромные зонтики, завывая, они скрылись в узких улицах.

Арсенал, низкое квадратное здание, в старой части города, охранялся небольшой воинской частью. Солдаты стояли полукругом на площади перед окованными бронзой воротами, прикрывая две странные машины из проволочных спиралей, дисков и шаров (такую штуку Гусев видел в заброшенном доме). По множеству кривых переулочков наступающие подошли и обложили арсенал: стены его были отвесны и прочны.

Выглядывая из-за углов, перебегая за деревьями, Гусев осмотрел позицию,— ясно: арсенал надо было брать в лоб, в ворота. Гусев велел выворотить в одном из подъездов бронзовую дверь и обмотать ее веревками. Наступающим приказал кидаться лавой, визжать — ай-яй! — как можно страшнее.

Солдаты, охранявшие ворота, спокойно поглядывали на суету в переулочках, лишь машины были выдвинуты вперед, и по спиралям их трещал лиловый свет. Указывая на них, марсиане жмурились и тихо свистали: «Бойся их, Сын Неба».

Времени терять нельзя было.

Гусев расставил ноги, взялся за веревки и поднял бронзовую дверь,— была тяжела, но ничего, нести можно. Так он прошел под прикрытием домовой стены до края площади, оттуда — рукой подать до ворот. Шепотом приказал своим: «Готовься». Вытер рукавом лоб, подумал: «Эх, рассердиться бы сейчас». Поднял дверь, прикрылся ею.

— Даешь арсенал!.. Даешь, тудыть твою в душу, арсенал! — заорал он не своим голосом и тяжело побежал по площади к солдатам.

Булькнуло несколько выстрелов, режущими разрывами ударило в дверь. Гусев зашатался. Рассердился всерьез и побежал шибче, ругаясь скверными словами. А вокруг уже завыли, завизжали марсиане, посыпались изо всех углов, подъездов, из-за деревьев. В воздухе разорвался громовой шар. Но хлынувшие потоки наступающих смяли солдат и страшные машины.

Гусев, ругаясь, добежал до ворот и ударил в замок углом бронзовой двери. Ворота затрещали и распались. Гусев вбежал на квадратный двор, где рядами стояли крылатые корабли.

Арсенал был взят. Сорок тысяч марсиан получили оружие. Гусев соединился по зеркальному телефону с Домом Совета инженеров и потребовал выдачи Тускуба.

В ответ на это правительство послало воздушную эскадрилью атаковать арсенал... Гусев вылетел ей навстречу со всем флотом. Корабли правительства бежали. Их догнали, окружили и уничтожили над развалинами древней Соацеры. Корабли падали с неба к ногам гигантской статуи Магацитла, улыбающегося с закрытыми глазами. Свет заката мерцал на его чешуйчатом шлеме.

Небо было во власти восставших. Правительство стягивало полицейские войска к Дому Совета. На крыше его были поставлены машины, посылающие огненные ядра — круглые молнии. Часть повстанческого флота была ими сбита с неба. К ночи Гусев осадил площадь Дома Высшего совета и стал строить баррикады в улицах, разбегающихся звездою от площади. «Научу я вас революции устраивать, черти кирпичные»,— говорил Гусев, показывая, как нужно выворачивать плиты из мостовой, валить деревья, срывать двери, набивать рубашки песком.

Насупротив Дома Высшего совета поставили две захваченные в арсенале машины и стали бить из них огненными ядрами по войскам. Но правительство закутало площадь электромагнитным полем.

Тогда Гусев произнес последнюю за этот день речь, очень короткую, но выразительную, влез на баррикаду и швырнул одну за другой три ручных гранаты. Сила их взрыва была ужасна: метнулись три снопа пламени, полетели в воздух камни, солдаты, куски машин, площадь закуталась пылью и едким дымом. Марсиане завыли и пошли на приступ. (Это была именно та минута, когда Лось взглянул в туманное зеркало в Тускубовой усадьбе.)

Правительство сняло магнитное поле, и с обеих сторон запрыгали над площадью, над дерущимися, затанцевали огненные мячики, лопаясь ручьями синеватого пламени. От грохота дрожали мрачные пирамидальные дома.

Бой продолжался недолго. По площади, покрытой трупами, Гусев ворвался, во главе отборного отряда, в Дом Высшего совета. Дом был пуст. Тускуб и все инженеры бежали.

ПОВОРОТ СОБЫТИЙ

Войска повстанцев заняли все важнейшие пункты города, указанные Гором. Ночь была прохладная. Марсиане мерзли на постах. Гусев распорядился зажечь костры. Это показалось неслыханным — вот уже тысячу лет в городе не зажигали огня,— о пляшущем пламени пелось лишь в древней песне.

Перед Домом Высшего совета Гусев сам зажег первый костер из обломков мебели. «Улла, улла»,— тихими голосами завыли марсиане, окружив огонь. И вот костры запылали на всех площадях. Красноватый свет оживил колеблющимися тенями покатые стены домов, мерцал в стеклах.

За окнами появились голубоватые лица,— тревожно, в тоске, всматривались они в невиданные огни, в мрачные, оборванные фигуры повстанцев. Многие из домов опустели этой ночью.

Было тихо в городе. Только потрескивали костры, звенело оружие, словно возвратились на пути свои тысячелетия, снова начался томительный их полет. Даже мохнатые звезды над улицами, над кострами казались иными,— невольно сидящий у костра поднимал голову и всматривался в забытый, словно оживший, рисунок. Гусев облетал на крылатом седле расположение войск. Он падал из звездной темноты на площадь и ходил по ней, бросая гигантскую тень. Он казался истинным Сыном Неба, истуканом, сошедшим с каменного цоколя. «Магацитл, Магацитл»,— в суеверном ужасе шептали марсиане. Многие впервые видели его и подползали, чтобы коснуться. Иные плакали детскими голосами: «Теперь мы не умрем... Мы станем счастливыми... Сын Неба принес нам жизнь».

Худые тела, прикрытые пыльной, однообразной для всех одеждой, морщинистые, востроносенькие, дряб-

лые лица, печальные глаза, веками приученные к мельканию колес, к сумраку шахт, тощие руки, неумелые в движениях радости и смелости,— руки, лица, глаза с искрами костров — тянулись к Сыну Неба.

— Не робей, не робей, ребята. Гляди веселей,— говорил им Гусев,— нет такого закону, чтобы страдать безвинно до скончания века,— не робей. Одолеем — заживем неплохо.

Поздно ночью Гусев вернулся в Дом Совета,— продрог и был голоден. В сводчатом зальце, под низкими, золотыми арками, спали на полу десятка два марсиан, увешанных оружием. Зеркальный пол был заплеван жеваной хаврой. Посреди зальца на патронных жестянках сидел Гор и писал при свете электрического фонарика. На столе валялись открытые консервы, фляжки, корки хлеба.

Гусев присел на угол стола и стал жадно есть. Вытер руки о штаны, хлебнул из фляжки, крякнул, сказал хрипло:

— Где противник? Вот что мне надо...

Гор поднял на него покрасневшие глаза, оглядел окровавленную тряпку, обмотанную вокруг головы Гусева, его крепко жующее, скуластое лицо,— усы торчком, раздутые ноздри.

— Не могу добиться, куда, к дьяволу, девались правительственные войска,— продолжал Гусев,— валяется на площади ихних сотни три, а войск было не меньше пятнадцати тысяч. Провалились. Попрятаться не могли,— не иголка. Если бы провалились, я бы знал. Скверное положение. Каждую минуту неприятель может в тылу оказаться.

— Тускуб, правительство, остатки войск и часть населения ушли в лабиринты царицы Магр под город,— сказал Гор.

Гусев соскочил со стула.

— Почему же вы молчите?

— Преследовать Тускуба бесполезно. Сядьте и ешьте, Сын Неба.— Гор, морщась, достал из-под

одежды красноватую, как перец, пачку сухой хавры, засунул ее за щеку и медленно жевал. Глаза его покрылись влагой, потемнели, морщины разошлись.— Несколько тысячелетий тому назад мы не строили больших домов, мы не могли их отапливать,— электричество было нам неизвестно. В зимние стужи население уходило под поверхность Марса, на большую глубину. Огромные залы, приспособленные из прорытых водою пещер, колоннады, туннели, коридоры согревались внутренним жаром планеты. В жерлах вулканов жар был настолько велик, что мы воспользовались им для добывания пара. До сих пор на некоторых островах еще работают неуклюжие паровые машины тех времен. Туннели, соединяющие подпочвенные города, тянутся почти под всей планетой. Искать Тускуба в этом лабиринте бессмысленно. Он один знает планы и тайники лабиринта царицы Магр — повелительницы двух миров, владевшей некогда всем Марсом. Из-под Соацеры сеть туннелей ведет к пятистам живым городам и к более тысячи мертвым, вымершим. Там повсюду склады оружия, гавани воздушных кораблей. Наши силы разбросаны, мы плохо вооружены. У Тускуба — армия, на его стороне — владельцы сельских поместий, плантаторы хавры и все те, кто тридцать лет тому назад, после опустошительной войны, стали собственниками городских домов. Тускуб умен и вероломен. Он нарочно вызвал все эти события, чтобы навсегда раздавить остатки сопротивления... Ах, золотой век... Золотой век!..

Гор замотал одурманенной головой. На щеках его выступили лиловые пятна. Хавра начинала действовать на него.

— Тускуб мечтает о золотом веке: открыть последнюю эпоху Марса — золотой век. Только избранные войдут в него, только достойные блаженства. Равенство недостижимо, равенства нет. Всеобщее счастье — бред сумасшедших, опьяненных хаврой. Тускуб сказал: жажда равенства и всеобщая справедливость разрушают высшие достижения цивилизации.— На губах у Гора показалась красноватая пена.— Идти назад, к неравенству, к несправедливости! Пусть на нас ки-

нутся, как ихи, минувшие века. Заковать рабов, приковать к машинам, к станкам, спустить в шахты... Пусть — полнота скорби. И у блаженных — полнота счастья... Вот золотой век. Скрежет зубов и мрак. Будь прокляты отец мой и мать! Родиться на свет! Будь я проклят!

Гусев глядел на него, шибко жевал папироску:

— Ну, я вам скажу,— вы дожили здесь!..

Гор долго молчал, согнувшись на патронных жестянках, как древний-древний старик.

— Да, Сын Неба. Мы, населяющие древнюю Туму, не разрешили загадки. Сегодня я видел вас в бою. В вас огнем пляшет веселье. Вы мечтательны, страстны и беспечны. Вам, сынам Земли, когда-нибудь разгадать загадку. Но не нам, мы — стары. В нас пепел. Мы упустили свой час.

Гусев подтянул кушак.

— Ну, хорошо. Пепел! Завтра предполагаете — что делать?

— Наутро нужно отыскать по зеркальному телефону Тускуба и войти с ним в переговоры о взаимных уступках...

— Вы, товарищ, целый час чепуху несете,— перебил Гусев,— вот вам диспозиция на завтра: вы объявите Марсу, что власть перешла к рабочим. Требуйте безусловного подчинения. А я подберу молодцов и со всем флотом двину прямо на полюсы, захвачу электромагнитные станции. Немедленно начну телеграфировать Земле, в Москву, чтобы слали нам подкрепление как можно скорее. В полгода они аппараты построят, а лететь всего...

Гусев пошатнулся и тяжело сел на стол, весь дом дрожал. Из темноты сводов посыпались лепные украшения. Спавшие на полу марсиане вскочили, озирались. Новая, еще более сильная дрожь потрясла дом. Зазвенели разбитые стекла. Распахнулись двери. Низкий, усиливающийся раскатами грохот наполнил залу. Раздались крики на площади, выстрелы.

Марсиане, кинувшиеся к дверям, попятились, раздались. Вошел Сын Неба — Лось. Трудно было узнать его лицо: огромные глаза ввалились и были темны,

странный свет шел из его глаз. Марсиане пятились от него, садились на корточки. Белые волосы его стояли дыбом.

— Город окружен,— сказал Лось громко и твердо,— небо полно огнями кораблей. Тускуб взрывает рабочие кварталы.

КОНТРАТАКА

Лось и Гор выходили в эту минуту на лестницу дома, под колоннаду, когда раздался второй взрыв. Синеватым веером взлетело пламя в северной стороне города. Отчетливо стали видны вздымающиеся клубы дыма и пепла. Вслед грохоту пронесся вихрь. Багровое зарево ползло на полнеба.

Теперь ни одного крика не раздавалось на звездообразной площади, полной войск. Марсиане молча глядели на зарево. Рассыпались в прах их жилища, их семьи. Улетали надежды клубами черного дыма.

Гусев после короткого совещания с Лосем и Гором распорядился приготовить воздушный флот к бою. Все корабли были в арсенале. Лишь пять этих огромных стрекоз лежали на площади. Гусев послал их в разведку. Корабли взвились — блеснули огнем их крылья.

Из арсенала ответили, что приказание получено и посадка войск на корабли началась. Прошло неопределенно много времени. Дымовое зарево разгоралось. Было зловеще и тихо в городе. Гусев поминутно посылал марсиан к зеркальному телефону торопить посадку. Сам он огромной тенью метался по площади, хрипло кричал, строя беспорядочные скопления войск в колонны. Подходя к лестнице, ощеривался,— усы вставали дыбом.

— Да скажите вы им в арсенале (следовало непонятное Гору выражение),— живее, живее...

Гор ушел к телефону. Наконец была получена телефонограмма, что посадка окончена, корабли снимаются. Действительно, невысоко над городом, в густом зареве появились парящие стрекозы. Гусев, расставив

ноги, задрав голову, с удовольствием глядел на эти журавлиные линии. В это время раздался третий, наиболее сильный взрыв.

Мечи синеватого пламени пронизали путь кораблям,— они взлетели, закружились и исчезли. На месте их поднялись снопы праха, клубы дыма.

Между колонн появился Гор. Голова его ушла в плечи. Лицо дрожало, рот растянулся. Когда утих грохот взрыва, Гор сказал:

— Взорван арсенал. Флот погиб.

Гусев сухо крякнул,— стал грызть усы. Лось стоял, прижавшись затылком к колонне, глядел на зарево. Гор поднялся на цыпочках к его остекленевшим глазам.

— Нехорошо будет тем, кто останется сегодня в живых.

Лось не ответил. Гусев упрямо мотнул головой и пошел на площадь. Раздалась его команда. И вот, колонна за колонной, пошли марсиане в глубину улиц, на баррикады.

Крылатая тень Гусева пролетела в седле над площадью, крича сверху:

— Живей, живей, поворачивайся, черти дохлые!

Площадь опустела. Огромный сектор пожарища освещал теперь приближающиеся с противоположной стороны линии стрекоз: они взлетали, волна за волной, из-за горизонта и плыли над городом. Это были корабли Тускуба.

Гор сказал:

— Бегите, Сын Неба, вы еще можете спастись.

Лось только пожал плечом. Корабли приближались, снижались. Навстречу им из темноты улиц взвился огненный шар, второй, третий. Это стреляли круглыми молниями машины повстанцев. Вереницы крылатых галер описывали круг над площадью и, разделяясь, плыли над улицами, над крышами. Непереставаемые вспышки выстрелов озаряли их борта. Одна галера перевернулась и, падая, застряла изломанными крыльями между крыш. Иные садились на углах площади, высаживали солдат в серебристых куртках. Солдаты бежали в улицы. Началась стрельба

из окон, из-за углов. Летели камни. Кораблей налетало все больше, не переставая скользили багровые тени по площади.

Лось увидел,— невдалеке, на уступчатой террасе дома, поднялась плечистая фигура Гусева. Пять-шесть кораблей сейчас же повернули в его сторону. Он поднял над головой огромный камень и швырнул его в ближайшую из галер. Сейчас же сверкающие крылья закрыли его со всех сторон.

Тогда Лось побежал туда через площадь,— почти летел, как во сне. Над ним, сердито ревя винтами, треща, озаряясь вспышками, закружились корабли. Он стиснул зубы, глаза зорко отмечали каждую мелочь.

Несколькими прыжками Лось миновал площадь и снова увидел на террасе углового дома Гусева. Он был облеплен лезущими на него со всех сторон марсианами,— ворочался, как медведь, под этой живой кучей, расшвыривал ее, молотил кулаками. Оторвал одного от горла, швырнул в воздух и пошел по террасе, волоча их за собою. Упал.

Лось вскрикнул громким голосом. Цепляясь за выступы домов, взобрался на террасу. Снова из кучи визжавших тел появилась, с выпученными глазами, с разбитым ртом, голова Гусева. Несколько солдат вцепились в Лося. С омерзением он отшвырнул их, кинулся к ворочающейся куче и стал раскидывать солдат,— они летели через балюстраду, как щепки. Терраса опустела. Гусев силился подняться, голова его моталась. Лось взял его на руки, вскочил в раскрытую дверь и положил Гусева на ковер в низенькой комнате, освещенной заревом.

Гусев хрипел. Лось вернулся к двери. Мимо террасы проплывали корабли, проплывали всматривающиеся востроносые лица. Надо было ожидать нападения.

— Мстислав Сергеевич,— позвал Гусев. Он теперь сидел, трогая голову, и плюнул кровью.— Всех наших побили... Мстислав Сергеевич, что же это такое? Как налетели, налетели, начали косить... Кто убитый, кто попрятался. Один я остался... Ах, жалость! — Он поднялся, ткнулся по комнате, шатаясь, остановился пе-

ред бронзовой статуей, видимо, какого-то знаменитого марсианина.— Ну погоди! — Схватил статую и кинулся к двери.

— Алексей Иванович, зачем?

— Не могу. Пусти.

Он появился на террасе. Из-за крыльев мимо проплывающего корабля блеснули выстрелы. Затем раздался удар, треск.

— Ага! — закричал Гусев.

Лось втащил его в комнату и захлопнул дверь.

— Алексей Иванович, поймите — мы разбиты, все кончено... Нужно спасать Аэлиту.

— Да что вы ко мне с бабой вашей лезете...

Он быстро присел, схватился за лицо, засопел, топнул ногой и — точно доску внутри него стали разрывать:

— Ну, и пусть кожу с меня дерут. Неправильно все на свете. Неправильная эта планета, будь она проклята! «Спаси, говорят, спаси нас...» Цепляются... «Нам, говорят, хоть бы как-нибудь да пожить...» Пожить!.. Что я могу?.. Вот кровь свою пролил. Задавили. Мстислав Сергеевич, ну, ведь сукин же я сын,— не могу я этого видеть... Зубами мучителей разорву...

Он опять засопел и пошел к двери. Лось взял его за плечи, встряхнул, твердо взглянул в глаза.

— То, что произошло,— кошмар и бред. Идем. Может быть, мы пробьемся. Домой, на Землю.

Гусев мазнул кровь и грязь по лицу.

— Идем.

Они вышли из комнаты на кольцеобразную площадку, висящую над широким колодцем. Винтовая лесенка спиралью уходила вниз по внутреннему его краю. Тусклый свет зарева проникал сквозь стеклянную крышу в эту головокружительную глубину.

Лось и Гусев стали спускаться по узкой лесенке,— там внизу было тихо. Но наверху все сильнее трещали выстрелы, скрипели, задевая о крышу, днища кораблей. Видимо, началась атака на последнее прибежище Сынов Неба.

Лось и Гусев бежали по бесконечным спиралям. Свет тускнел. И вот они различили внизу маленькую

фигурку. Она едва ползла навстречу. Остановилась, слабо крикнула:

— Они сейчас ворвутся. Спешите. Внизу — ход в лабиринт.

Это был Гор, раненный в голову. Облизывая губы, он сказал:

— Идите большими туннелями. Следите за знаками на стенах. Прощайте. Если вернетесь на Землю, расскажите о нас. Быть может, вы на Земле будете счастливы. А нам — ледяные пустыни, смерть, тоска... Ах, мы упустили час... Нужно было свирепо и властно, властно любить жизнь...

Внизу послышался шум. Гусев побежал вниз. Лось хотел было увлечь за собой Гора, но марсианин стиснул зубы, вцепился в перила.

— Идите. Я хочу умереть.

Лось догнал Гусева. Они миновали последнюю кольцеобразную площадку. От нее лесенка круто спускалась на дно колодца. Здесь они увидели большую каменную плиту с ввернутым кольцом,— с трудом приподняли ее: из темного отверстия подул сухой ветер.

Гусев соскользнул вниз первым. Лось, задвигая за собою плиту, увидел, как на кольцеобразной площадке появились едва различимые в красном сумраке фигуры солдат.

Они побежали по винтовой лестнице. Гор протянул им руки навстречу и упал под ударами.

ЛАБИРИНТ ЦАРИЦЫ МАГР

Лось и Гусев осторожно двигались в затхлой и душной темноте.

— Заворачиваем, Мстислав Сергеевич...

— Узко?

— Широко, руки не достают.

— Опять какие-то колонны. Стой! Где же мы...

...Не менее трех часов прошло с тех пор, как они спустились в лабиринт. Спички были израсходованы.

Фонарик Гусев обронил еще во время драки. Они двигались в непроницаемой тьме.

Туннели бесконечно разветвлялись, скрещивались, уходили в глубину. Слышался иногда четкий, однообразный шум падающих капель. Расширенные глаза различали неясные, сероватые очертания, но эти зыбкие пятна были лишь галлюцинациями темноты.

— Стой.

— Что?

— Дна нет.

Они стали прислушиваться. В лицо им тянул сладкий, сухой ветерок. Издалека, словно из глубины, доносились какие-то вздохи — вдыхание и выдыхание. С неясной тревогой они чувствовали, что перед ними пустая глубина. Гусев пошарил под ногами камень и бросил его в темноту. Спустя немного секунд донесся слабый звук падения.

— Провал.

— А что это дышит?

— Не знаю.

Они повернули и встретили стену. Шарили направо, налево, — ладони скользили по обсыпающимся трещинам, по выступам сводов. Край невидимой пропасти был совсем близко от стены, — то справа, то слева, то опять справа. Они поняли, что закружились и не найти прохода, по которому вошли на этот узкий карниз.

Они прислонились рядом, плечо к плечу, к шершавой стене. Стояли, слушая усыпительные вздохи из глубины.

— Конец, Алексей Иванович?

— Да, Мстислав Сергеевич, видимо — конец.

После молчания Лось спросил странным голосом, негромко:

— Сейчас — ничего не видите?

— Нет.

— Налево, далеко.

— Нет, нет.

Лось прошептал что-то про себя, переступил с ноги на ногу.

— Свирепо и властно любить жизнь... Только так...

— Вы про кого?

— Про них. Да и про нас.

Гусев тоже переступил, вздохнул.

— Вот она, слышите, дышит.

— Кто,— смерть?

— Черт ее знает кто? — Гусев заговорил, словно в раздумье.— Я об ней долго думал, Мстислав Сергеевич. Лежишь в поле с винтовкой, дождик, темно. О чем не думай — все к смерти вернешься. И видишь себя,— валяешься ты оскаленный, окоченелый, как обозная лошадь, сбоку дороги. Не знаю я, что будет после смерти,— этого не знаю. Но мне здесь, покуда я живой, нужно знать: падаль лошадиная или я человек? Или это все равно? Когда буду умирать, глаза закачу, зубы стисну, судорогой сломает,— кончился... в эту минуту — весь свет, все, что я моими глазами видел,— перевернется или не перевернется? Вот что страшно, валяюсь я мертвый, оскаленный,— это я-то, ведь я себя с трех лет помню... а все на свете продолжает идти своим порядком? Это непонятно. С девятьсот четырнадцатого людей убиваем, и мы привыкли — что такое человек? — приложился в него из винтовки, вот тебе и человек. Нет, Мстислав Сергеевич, это не так просто. Я ночью, раз, на возу лежал, раненый, кверху носом,— поглядываю на звезды. Тоска, тошно. Вошь, думаю, да я,— не все ли равно. Вше пить, есть хочется, и мне. Вше умирать трудно, и мне. Один конец. В это время гляжу — звезды высыпали, как просо,— осень была, август. Как задрожит у меня селезенка. Показалось мне, Мстислав Сергеевич, будто все звезды — внутри меня. Нет, я — не вошь. Нет. Как зальюсь я слезами. Что это такое? Человек — не вошь. Расколоть мой череп — ужасное дело, великое покушение. А то — ядовитые газы выдумали. Жить я хочу, Мстислав Сергеевич. Не могу я в этой темноте проклятой... Что мы стоим, в самом деле...

— Она здесь,— сказал Лось тем же странным голосом.

В это время издалека, по бесчисленным туннелям,

пошел грохот. Задрожал карниз под ногами, дрогнула стена. Посыпались в тьму камни. Волны грохота прокатились и, уходя, затихли. Это был седьмой взрыв. Тускуб сдержал свое слово. По отдаленности взрыва можно было определить, что Соацера осталась далеко на западе.

Некоторое время шуршали падающие камешки. Стало тихо, еще тише. Гусев первый заметил, что прекратились вздохи в глубине. Теперь оттуда шли странные звуки — шорох, шипение, казалось — там закипала какая-то мягкая жидкость. Гусев теперь точно обезумел — раскинул руки по стене и побежал, вскрикивая, ругаясь, отшвыривая камни.

— Карниз кругом идет. Слышите? Должен быть выход. Черт, голову расшиб! — Некоторое время он двигался молча, затем проговорил взволнованно откуда-то впереди Лося, продолжавшего неподвижно стоять у стены: — Мстислав Сергеевич... Ручка... Рубильник... Ей-ей, рубильник...

Раздался визжащий, ржавый скрип. Пыльный свет вспыхнул под низким кирпичным куполом. Ребра плоских его сводов опирались на узкое кольцо карниза, висящего над круглой, метров десять в поперечнике шахтой.

Гусев все еще держался за рукоятку рубильника. По ту сторону шахты, под аркой купола, привалился к стене Лось. Он ладонью закрыл глаза от режущего света. Затем Гусев увидел, как Лось отнял руку и взглянул вниз, в шахту. Он низко нагнулся, вглядываясь. Рука его затрепетала, точно пальцы что-то стали встряхивать. Он поднял голову, белые его волосы стояли сиянием, глаза расширились, как от смертельного ужаса.

Гусев крикнул ему:

— Чего вы смотрите? — и только тогда взглянул в глубь кирпичной шахты. Там колебалась, перекатывалась коричнево-бурая шкура. От нее шло это шипенье, усиливающийся зловещий шорох. Шкура поднималась, вспучивалась. Вся она была покрыта большими, будто лошадиными, обращенными к свету глазами, мохнатыми лапами...

— Смерть! — закричал Лось.

Это было огромное скопление пауков. Они, видимо, плодились в теплой глубине шахты, взрыв потревожил их, и они начали подниматься, вспучиваясь всей массой. Они издавали шипенье и шерстяной шорох... Вот один из пауков на задранных углами лапах побежал по карнизу.

Вход на карниз был неподалеку от Лося. Гусев закричал:

— Беги! — и сильным прыжком перелетел через шахту, царапнув черепом по купольному своду, — упал на корточки около Лося, схватил его за руку и потащил в проход, в туннель. Побежали что было силы.

Редко один от другого горели под сводами туннеля пыльные фонари. Густая пыль лежала на полу, на обломках колонн и статуй, на порогах узких дверей, ведущих в иные переходы. Гусев и Лось долго шли по этому коридору. Он окончился залой с плоскими сводами, с низкими колоннами. Посреди стояла разрушенная статуя женщины с жирным свирепым лицом. В глубине чернели отверстия жилищ. Здесь тоже лежала пыль, — на статуе царицы Магр, на обломках утвари.

Лось остановился, глаза его были остекленевшие, расширенные.

— Их там миллионы, — сказал он, оглянувшись, — они ждут, их час придет, они овладеют жизнью, населят Марс...

Гусев увлек его в наиболее широкий, выходящий из залы туннель. Фонари горели редко и тускло. Шли долго. Миновали круглый мост, переброшенный через широкую щель, на дне ее лежали суставы гигантских машин. Далее — опять потянулись пыльные, серые стены. Уныние легло на душу. Подкашивались ноги от усталости. Лось несколько раз повторил тихим голосом:

— Пустите меня, я лягу.

Сердце его переставало биться. Ужасная тоска овладевала им, — он брел, спотыкаясь, по следам Гусева, по пыли. Капли холодного пота текли по лицу.

Лось заглянул туда, откуда не может быть возврата. И все же более мощная сила отвела его от той черты, и он тащился полуживой в пустынных бесконечных коридорах.

Туннель круто завернул. Гусев вскрикнул. В полукруглой раме входа открывалось их глазам кубово-синее, ослепительное небо и сияющая льдами и снегами вершина горы,— столь памятная Лосю. Они вышли из лабиринта близ Тускубовой усадьбы.

ХАО

— Сын Неба, Сын Неба,— позвал тоненький голос.

Гусев и Лось подходили к усадьбе со стороны рощи. Из лазурных зарослей высунулось востроносое личико. Это был механик Аэлиты, мальчик в серой шубке. Он всплеснул руками и стал приплясывать, личико у него морщилось, как у тапира. Раздвинув ветви, он показал спрятанную среди развалин цирка крылатую лодку.

Он рассказал: ночь прошла спокойно, перед рассветом раздался отдаленный грохот, и появилось зарево. Он подумал, что Сыны Неба погибли, вскочил в лодку и полетел в убежище Аэлиты. Она также слышала взрыв и с высоты скалы глядела на пожарище. Она сказала мальчику: «Вернись в усадьбу и жди Сына Неба, если тебя схватят слуги Тускуба, умри молча; если Сын Неба убит, проберись к его трупу, найди на нем каменный флакончик, привези мне».

Лось, стиснув зубы, выслушал рассказ мальчика. Затем Лось и Гусев пошли к озеру, смыли с себя кровь и пыль. Гусев вырезал из крепкого дерева дубину, без малого с лошадиную ногу. Сели в лодку, взвились в сияющую синеву.

Гусев и механик завели лодку в пещеру, легли у входа и развернули карту. В это время сверху, со скал, скатилась Иха. Глядя на Гусева, взялась за

шеки. Слезы ручьями лились у нее из влюбленных глаз. Гусев радостно засмеялся.

Лось один спустился в пропасть к Священному Порогу. Будто крыло ветра несло его по крутым лесенкам через узкие переходы и мостики. Что будет с Аэлитой, с ним, спасутся ли они, погибнут? — он не соображал: начинал думать и бросал. Главное, потрясающее будет то, что сейчас он снова увидит «рожденную из света звезд». Лишь заглядеться на худенькое голубоватое лицо,— забыть себя в волнах радости.

Стремительно перебежав в облаках пара горбатый мост над пещерным озером, Лось, как и в прошлый раз, увидел по ту сторону низких колонн лунную перспективу гор. Он осторожно вышел на площадку, висящую над пропастью. Поблескивал тусклым золотом Священный Порог.

Было знойно и тихо. Лосю хотелось с умилением, с нежностью поцеловать рыжий мох, следы ног на этом последнем прибежище любви.

Глубоко внизу поднимались бесплодные острия гор. В густой синеве блестели льды. Пронзительная тоска сжала сердце. Вот пепел костра, вот примятый мох, где Аэлита пела песню уллы. Хребтатая ящерица, зашипев, побежала по камням и застыла, обернув голову.

Лось подошел к скале, к треугольной дверце, приоткрыл ее и, нагнувшись, вошел в пещеру.

Освещенная с потолка светильней, спала среди белых подушек Аэлита. Она лежала навзничь, закинув голый локоть за голову. Худенькое лицо ее было печальное и кроткое. Сжатые ресницы вздрагивали,— должно быть, она видела сон.

Лось опустился у ее изголовья и глядел, умиленный и взволнованный, на подругу счастья и скорби. Какие бы муки он вынес сейчас, чтобы никогда не омрачилось это дивное лицо, чтобы остановить гибель прелести, юности, невинного дыхания,— она дышала, и прядь пепельных волос, лежавшая на щеке, поднималась и опускалась.

Лось подумал о тех, кто в темноте лабиринта дышит, шуршит и шипит в глубоком колодце, ожидая

своего часа. Он застонал от страха и тоски. Аэлита вздохнула, просыпаясь. Ее глаза с минуту бессмысленно глядели на Лося. Брови изумленно поднимались. Обеими руками она оперлась о подушки и села.

— Сын Неба,— сказала она нежно и тихо,— сын мой, любовь моя...

Она не прикрыла наготы, лишь краска смущения взошла ей на щеки. Ее голубоватые плечи, едва развитая грудь, узкие бедра казались Лосю рожденными из света звезд. Лось продолжал стоять на коленях у постели,— молчал, потому что слишком велика была радость — глядеть на возлюбленную. Горьковато-сладкий запах шел на него грозовой темнотой.

— Я видела тебя во сне,— сказала Аэлита,— ты нес меня на руках по стеклянным лестницам, уносил все выше. Я слышала стук твоего сердца. Кровь била в него и сотрясала. Томление охватило меня. Я ждала,— когда же ты остановишься, когда кончится томление? Я хочу узнать любовь. Я знаю только тяжесть и ужас томления... Ты разбудил меня.— Она замолчала, брови поднялись выше.— Ты глядишь так странно. О мой великан!

Она стремительно отодвинулась в дальний край постели. Губы ее приоткрылись, будто она хотела защищаться, как зверек. Лось тяжело проговорил:

— Иди ко мне.

Она затрясла головой.

— Ты похож на страшного Ча.

Он сейчас же закрыл лицо рукой, пронизанный усилием воли, и будто пламя охватило его,— в нем все теперь стало огнем. Он отнял руки, Аэлита тихо спросила:

— Что?

— Не бойся.

Она придвинулась и опять прошептала:

— Я боюсь Хао. Я умру.

— Не бойся. Хао — это огонь, это жизнь. Не бойся Хао. Сойди, любовь моя!

Он протянул к ней руки. Аэлита неслышно вздохнула, ресницы ее опустились, внимательное личико

осунулось. Вдруг так же стремительно она поднялась на постели и дунула на светильник.

Ее пальцы запутались в снежных волосах Лося...

За дверью пещеры раздался шум, будто жужжание множества пчел. Ни Лось, ни Аэлита не слышали его. Воющий шум усиливался. И вот — из пропасти медленно, как чудовищная оса, поднялся военный корабль, царапая носом о скалы.

Корабль повис в уровень с площадкой. На край ее с борта упала лесенка. По ней сошли Тускуб и отряд солдат в панцирях, в металлических ребристых шапках.

Солдаты стали полукругом перед пещерой. Тускуб подошел к треугольной двери и ударил в нее концом трости.

Лось и Аэлита спали глубоким сном. Тускуб обернулся к солдатам и приказал, указывая тростью на пещеру:

— Возьмите их.

БЕГСТВО

Военный корабль кружился некоторое время над скалами Священного Порога, затем уплыл в сторону Азоры и где-то сел. Только тогда Иха и Гусев могли спуститься вниз. На истоптанной площадке они увидели Лося,— он лежал близ входа в пещеру, лицом во мху, в луже крови.

Гусев поднял его на руки,— Лось был без дыхания, глаза плотно сжаты, на груди, на голове — запекшаяся кровь. Аэлиты нигде не было. Иха выла, подбирая в пещерке ее вещи. Она не нашла лишь плаща с капюшоном,— должно быть, Аэлиту, мертвую или живую, завернули в плащ, увезли на корабле.

Иха завязала в узелочек то, что осталось от «рожденной из света звезд», Гусев перекинул Лося через плечо, и они пошли обратно через мосты над кипящим во тьме озером, по лесенкам, повисшим над туманной пропастью,— этим путем возвращался некогда Мага-

цитл, неся привязанный к прялке полосатый передник девушки Аолов — весть мира и жизни.

Наверху Гусев вывел из пещеры лодку и посадил в нее Лося, завернутого в простыню, подтянул кушак, надвинул глубже шлем и сказал сурово:

— Живым в руки не дамся. Ну уж, если доберусь до Земли... Мы сюда вернемся... (Следовали три непонятных слова.) — Он влез в лодку, разобрал рули.— А вы, ребята, идите домой или еще куда. Лихом не поминайте.— Он перегнулся через борт и за руку попрощался с механиком и Ихой.— Тебя с собой не зову, Ихошка: лечу на верную смерть. Спасибо, милая, за любовь, этого мы, Сыны Неба, не забываем, так-то. Прощай.

Он прищурился на солнце, кивнул подбородком и взвился в синеву. Долго глядели Иха и мальчик в серой шубе на улетавшего Сына Неба. Они не заметили, что с юга, из-за лунных скал, поднялась, перерезая ему путь, крылатая точка. Когда Гусев утонул в потоках солнца, Иха ударилась о мшистые камни в таком отчаянии, что мальчик испугался,— уж не покинула ли и она печальную Туму.

— Иха, Иха,— жалобно повторял он,— хо туа мирра туа мурра...

Гусев не сразу заметил пересекавший ему путь военный корабль. Сверяясь с картой, поглядывая на уплывающие вниз скалы Лизиазиры, держал он курс на восток, к кактусовым полям, где был оставлен аппарат.

Позади него, в лодке, откинувшись, сидело тело Лося, покрытое бьющейся по ветру, липнущей простыней. Оно было неподвижно и казалось спящим,— в нем не было уродливой бессмысленности трупа. Гусев только сейчас почувствовал, как дорог ему товарищ.

Несчастье случилось так: Гусев, Ихошка и механик сидели тогда в пещере, около лодки,— смеялись. Вдруг внизу раздались выстрелы. Затем — вопль. И через минуту из пропасти поднялся, как коршун,

военный корабль, бросив на площадке бесчувственное тело Лося,— и пошел кружить, высматривать.

Гусев плюнул через борт,— до того опаршивел ему Марс. «Только бы добраться до аппарата, влить Лосю глоток спирту». Он потрогал тело,— было оно чуть теплое: с тех пор как Гусев поднял его на площадке, в нем не было заметно окоченения. «Бог даст — отдышится» — Гусев по себе знал слабое действие марсианских пуль. «Но слишком уж долго длится обморок». В тревоге он обернулся к солнцу, клонящемуся на закат, и в это время увидел падающий с высоты корабль.

Гусев сейчас же повернул к северу, уклоняясь от встречи. Повернул и корабль. Время от времени на нем появлялись желтоватые дымки выстрелов. Тогда Гусев стал набирать высоту, рассчитывая при спуске удвоить скорость и уйти от преследователя.

Свистел в ушах ледяной ветер, слезы застилали глаза, замерзали на ресницах. Стая неряшливо махающих крыльями, омерзительных ихи кинулась было на лодку, но промахнулась и отстала. Гусев давно уже потерял направление. Кровь била в виски, разряженный воздух хлестал ледяными бичами. Тогда полным ходом Гусев пошел вниз. Корабль отстал и скрылся за горизонтом.

Теперь внизу расстилалась, куда только хватит глаз, медно-красная пустыня. Ни деревца, ни жизни кругом. Одна только тень от лодки летела по плоским холмам, по волнам песка, по трещинам поблескивающей, как стекло, каменистой почвы. Кое-где на холмах бросали унылую тень развалины жилищ. Повсюду бороздили эту пустыню высохшие русла каналов.

Солнце клонилось ниже к ровному краю песков, разливалось медное, тоскливое сияние заката, а Гусев все видел внизу волны песка, холмы, развалины засыпаемой прахом, умирающей Тумы.

Быстро настала ночь. Гусев опустился и сел на песчаной равнине. Вылез из лодки, отогнул на лице Лося простыню, приподнял его веки, прижался ухом к сердцу,— Лось сидел ни живой, ни мертвый. У него на мизинце Гусев заметил колечко и висящий на цепочке открытый флакончик.

— Эх, пустыня,— сказал Гусев, отходя от лодки. Ледяные звезды загорелись в необъятно-высоком черном небе. Пески казались серыми от их света. Было так тихо, что слышался шорох песка, осыпающегося в глубоком следу ноги... Мучила жажда. Находила тоска.— Эх, пустыня! — Гусев вернулся к лодке, сел к рулям. Куда лететь? Рисунок звезд был дикий и незнакомый.

Гусев включил мотор, но винт, лениво покрутившись, остановился. Мотор не работал,— коробка со взрывчатым порошком была пуста.

— Ну, ладно,— негромко проговорил Гусев. Опять вылез из лодки, засунул дубину сзади, за пояс, вытащил Лося,— идем, Мстислав Сергеевич,— положил его на плечо и пошел, увязая по щиколотку в песке. Шел долго. Дошел до холма, положил Лося на занесенные ступени какой-то лестницы, оглянулся на одинокую, в звездном свету, колонну наверху холма — и лег ничком. Смертельная усталость, как отлив, зашумела в крови.

Он не знал, долго ли так пролежал без движения. Песок холодил, стыла кровь. Тогда Гусев сел,— в тоске поднял голову. Невысоко над пустыней стояла красноватая мрачная звезда. Она была как глаз большой птицы. Гусев глядел на нее, разинув рот.

— Земля.— Схватил в охапку Лося и побежал в сторону звезды. Он знал теперь, в какой стороне лежит аппарат.

Со свистом дыша, обливаясь потом, Гусев переносился огромными прыжками через канавы, вскрикивал от ярости, спотыкаясь о камни, бежал, бежал,— и плыл впереди него близкий темный горизонт пустыни. Несколько раз Гусев ложился лицом в холодный песок, чтобы освежить хоть парами влаги запекшийся рот. Подхватывал товарища и снова шел, поглядывая на красноватые лучи Земли. Огромная его тень одиноко двигалась среди мирового кладбища.

Взошла острым серпом ущербная Олла. В середине ночи взошла круглая Лихта,— свет ее был кроток и серебрист, двойные тени легли от волн песка. Две эти

странные луны поплыли — одна ввысь, другая на ущерб. В свету их померк Талцетл. Вдали поднялись ледяные вершины Лизиазиры.

Пустыня кончилась. Было близко к рассвету. Гусев вышел в кактусовые поля. Повалил ударом ноги одно из растений и жадно насытился шевелящимся водянистым его мясом. Звезды гасли. В лиловом небе проступали розоватые края облаков. И вот Гусев стал слышать, будто удары железных вальков, однообразный металлический стук, отчетливый в тишине утра.

Гусев скоро понял его значение: над зарослями кактуса торчали три решетчатые мачты военного корабля-преследователя. Удары неслись оттуда,— это марсиане разрушали аппарат.

Гусев побежал под прикрытием кактусов и одновременно увидел и корабль и рядом с ним заржавелый огромный горб аппарата. Десятка два марсиан колотили по клепаной его обшивке большими молотками. Видимо, работа только что началась. Гусев положил Лося на песок, вытащил из-за пояса дубину.

— Я вас, сукины дети! — не своим голосом завизжал Гусев, выскакивая из-за кактусов. Подбежал к кораблю и ударом дубины раздробил металлическое крыло, сбил мачту, ударил в борт, как в бочку. Из внутренности корабля выскочили солдаты. Бросая оружие, горохом посыпались с палубы, побежали врассыпную. Солдаты, разбивавшие аппарат, с тихим воем поползли по бороздам, скрылись в зарослях. Все поле в минуту опустело,— так велик был ужас перед вездесущим, неуязвимым для смерти Сыном Неба.

Гусев отвинтил люк, подтащил Лося, и оба Сына Неба скрылись внутри яйца. Крышка захлопнулась. Тогда притаившиеся за кактусами марсиане увидели необыкновенное и потрясающее зрелище.

Огромное ржавое яйцо, величиною с дом, загрохотало, поднялись из-под него коричневые облака пыли и дыма. Под страшными ударами задрожала Тума. С ревом и громовым грохотом гигантское яйцо запрыгало по кактусовому полю. Повисло в облаках пыли и, как метеор, метнулось в небо, унося свирепых Магацитлов на их родину.

НЕБЫТИЕ

— Ну что, Мстислав Сергеевич,— живы?

Обожгло рот. Жидкий огонь пошел по телу, по жилам, по костям. Лось раскрыл глаза. Пыльная звездочка горела над ним совсем низко. Небо было странное,— желтое, стеганое, как сундук. Что-то стучало, стучало мерными ударами, дрожала пыльная звездочка.

— Который час?

— Часы-то остановились, вот горе,— ответил голос.

— Мы давно летим?

— Давно, Мстислав Сергеевич.

— А куда?

— А черт его знает,— ничего не могу разобрать, тьма да звезды... Прем в мировое пространство.

Лось опять закрыл глаза, силясь проникнуть в пустоту памяти, но в памяти ничего не раскрылось, и он снова погрузился в непроглядный сон.

Гусев укрыл его потеплее и вернулся к наблюдательным трубкам. Марс казался теперь меньше чайного блюдечка. Лунными пятнами выделялись на нем днища высохших морей, мертвые пустыни. Диск Тумы, засыпаемой песками, все уменьшался, все дальше улетал от него аппарат куда-то в кромешную тьму. Изредка кололо глаз лучиком звезды. Но сколько Гусев ни всматривался,— нигде не было видно красной звезды.

Гусев зевнул, щелкнул зубами,— такая одолевала его скука от пустого пространства вселенной. Осмотрел запасы воды, пищи, кислорода, завернулся в одеяло и лег на дрожащий пол рядом с Лосем.

Прошло неопределенно много времени. Гусев проснулся от голода. Лось лежал с открытыми глазами,— лицо у него было в морщинах, старое, щеки ввалились. Он спросил тихо:

— Где мы сейчас?

— Все там же, Мстислав Сергеевич,— в пространстве.

— Алексей Иванович, мы были на Марсе?

— Вам, Мстислав Сергеевич, должно быть, совсем память отшибло.

— Да, у меня что-то случилось... вспоминаю, и воспоминания обрываются как-то неопределенно. Не могу понять, что было на самом деле,— все как будто сон. Дайте пить...

Лось закрыл глаза и немного погодя спросил дрогнувшим голосом:

— Она — тоже сон?

— Кто?

Лось не ответил, опустил голову, закрыл глаза.

Гусев поглядел через все глазки в небо,— тьма, тьма. Натянул на плечи одеяло и сел, скорчившись. Не было охоты ни думать, ни вспоминать, ни ожидать. К чему? Усыпительно постукивало, подрагивало железное яйцо, несущееся с головокружительной скоростью в бездонной пустоте.

Проходило какое-то непомерно долгое, неземное время. Гусев сидел, скорчившись, в оцепенелой дремоте. Лось спал. Холодок вечности осаждался невидимой пылью на сердце, на сознание.

Страшный вопль разодрал уши. Гусев вскочил, тараща глаза. Кричал Лось,— стоял среди раскиданных одеял, марлевый бинт сполз ему на лицо.

— Она жива!

Он поднял костлявые руки и кинулся на кожаную стену, колотя в нее, царапая ногтями.

— Она жива! Выпустите меня... Задыхаюсь... Она была, была!..

Он долго бился и кричал,— и повис, обессиленный, на руках у Гусева. И снова затих, задремал.

Гусев опять скорчился под одеялом. Угасли, как пепел, желания, коченели чувства. Слух привык к железному пульсу яйца и не улавливал более звуков. Лось бормотал во сне, стонал, иногда лицо его озарялось счастьем.

Гусев глядел на спящего и думал: «Хорошо тебе во сне, милый человек. И не надо, не просыпайся, спи, спи... Проснешься — сядешь вот так-то, на корточки,

под одеялом,— дрожи, как ворон на мерзлом пне. Ах, ночь, ночь, конец последний...»

Ему не хотелось даже закрывать глаза,— так он и сидел, глядя на какой-то поблескивающий гвоздик... Наступило великое безразличие, надвигалось небытие...

Так пронеслось непомерное пространство времени.

Послышались странные шорохи, постукивания, прикосновения каких-то тел снаружи о железную обшивку яйца.

Гусев открыл глаза. Сознание возвращалось, он стал слушать — казалось, аппарат продвигается среди скоплений камней и щебня. Что-то навалилось и поползло по стене. Шумело, шуршало. Вот ударило в другой бок,— аппарат затрясся. Гусев разбудил Лося. Они поползли к наблюдательным трубкам, и сейчас же оба вскрикнули.

Кругом, во тьме, расстилались поля сверкающих, как алмазы, осколков. Камни, глыбы, кристаллические грани сияли острыми лучами. За огромной далью этих алмазных полей в черной ночи висело косматое солнце.

— Должно быть, мы проходим голову кометы,— шепотом сказал Лось.— Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу.

Гусев полез к верхнему глазку, Лось стал к реостатам. Удары в обшивку яйца участились, усилились. Гусев покрикивал сверху:

— Легче — глыба справа... Давайте полный... Гора, гора летит... Проехали... Ходу, ходу, Мстислав Сергеевич.

ЗЕМЛЯ

Алмазные поля были следами прохождения блуждавшей в пространствах кометы. Долгое время аппарат, втянутый в ее тяготение, пробирался среди небесных камней. Скорость его непрестанно увеличивалась, действовали абсолютные законы математики — поне-

многу направление полета яйца и метеоритов изменилось: образовался все расширяющийся угол. Золотистая туманность — голова неведомой кометы и ее след — потоки метеоритов — уносились по гиперболе — безнадежной кривой, чтобы, обогнув солнце, навсегда исчезнуть в пространствах. Кривая полета аппарата все более приближалась к эллипсису.

Почти неосуществимая надежда возврата на Землю пробудила к жизни Лося и Гусева. Теперь, не отрываясь от глазков, они наблюдали за небом. Аппарат сильно нагревался с одной стороны солнцем,— пришлось снять одежду.

Алмазные поля остались далеко внизу: казались искорками,— стали беловатой туманностью и исчезли. И вот — в огромной дали был обнаружен Сатурн, переливающийся радужными кольцами, окруженный спутниками.

Яйцо, притянутое кометой, возвращалось в солнечную систему, откуда было вышвырнуто центробежной силой Марса.

Одно время тьму прорезывала светящаяся линия. Скоро и она побледнела, погасла. Это были астероиды — маленькие планеты, бесчисленным роем вьющиеся вокруг солнца. Сила их тяготения еще сильнее изогнула кривую полета яйца. Наконец в один из верхних глазков Лось увидел странный, ослепительный узкий серп,— это была Венера. Почти в то же время Гусев, наблюдавший в другой глазок, страшно засопел и обернулся,— потный, красный.

— Она, ей-богу, она!..

В черной тьме тепло сиял серебристо-синеватый шар. В стороне от него и ярче его светился шарик величиной с ягоду смородины. Аппарат мчался немного в сторону от них. Тогда Лось решился применить опасное приспособление — поворот горла аппарата, чтобы отклонить ось взрывов от траектории полета. Поворот удался. Направление стало изменяться. Теплый шарик понемногу перешел в зенит.

Летело, летело пространство времени. Лось и Гу-

сев то прилипали к наблюдательным трубкам, то валились среди раскиданных шкур и одеял. Уходили последние силы. Мучила жажда, вода вся была выпита.

И вот, в полузабытьи, Лось увидел, как шкуры, одеяла и мешки поползли по стенам. Повисло в воздухе голое по пояс тело Гусева. Все это было похоже на бред. Гусев оказался лежащим ничком у глазка. Вот он приподнялся, бормоча, схватился за грудь, замотал вихрастой головой, лицо его залилось слезами, усы обвисли.

— Родная, родная, родная!..

Сквозь муть сознания Лось все же понял, что аппарат повернулся и летит горлом вперед, увлекаемый тягой Земли. Он пополз к реостатам и повернул их,— яйцо задрожало, загрохотало. Он нагнулся к глазку.

Во тьме висел огромный водяной шар, залитый солнцем. Голубыми казались океаны, зеленоватыми — очертания островов, облачные поля застилали какой-то материк. Влажный шар медленно поворачивался. Слезы мешали глядеть. Душа, плача от любви, летела навстречу голубовато-влажному столбу света. Родина человечества! Плоть жизни! Сердце мира!

Шар Земли закрывал полнеба. Лось до отказа повернул реостаты. Все же полет был стремителен,— оболочка накалилась, закипел резиновый кожух, дымилась кожаная обивка. Последним усилием Гусев повернул крышку люка. В щель с воем ворвался ледяной ветер. Земля раскрывала объятия, принимала блудных сынов.

Удар был силен. Обшивка лопнула. Яйцо глубоко вошло горлом в травянистый пригорок.

Был полдень, воскресенье, третьего июня. На большом расстоянии от места падения,— на берегу озера Мичиган, катающиеся на лодках, сидящие на открытых террасах ресторанов и кофеен, играющие в теннис, гольф, футбол, запускающие бумажные змеи в безоблачное небо,— все это множество людей,

выехавших в день воскресного отдыха насладиться прелестью зеленых берегов, шумом июньской листвы, слышало в продолжение пяти минут странный воющий звук.

Люди, помнившие времена мировой войны, говорили, оглядывая небо, что так обычно ревели снаряды тяжелых орудий. Затем многим удалось увидеть быстро скользнувшую на землю яйцевидную тень.

Не прошло и часа, как большая толпа собралась у места падения аппарата. Любопытствующие бежали со всех сторон, перелезали через изгороди, мчались на автомобилях, на лодках по синему озеру. Яйцо, покрытое коркой нагара, помятое и лопнувшее, стояло, накренившись, на пригорке. Было высказано множество предположений, одно другого нелепее. В особенности же в толпе началось волнение, когда была прочитана вырубленная зубилом на полуоткрытой крышке люка надпись: «РСФСР. Вылетели из Петрограда 18 августа 192... года». Это было тем более удивительно, что сегодня было третье июня тысяча девятьсот... Словом, пометка на аппарате была сделана три с половиной года тому назад.

Когда затем из внутренности таинственного аппарата послышались слабые стоны, толпа в ужасе отодвинулась и затихла. Появился отряд полиции, врач и двенадцать корреспондентов с фотографическими аппаратами. Открыли люк и с величайшими предосторожностями вытащили из внутренности яйца двух полуголых людей: один худой, как скелет, старый, с белыми волосами, был без сознания, другой, с разбитым лицом и сломанными руками, жалобно стонал. В толпе раздались крики сострадания, женский плач. Небесных путешественников положили в автомобиль и повезли в больницу.

Хрустальным от счастья голосом пела птица за открытым окном. Пела о солнечном луче, о синем небе. Лось неподвижно лежал на подушках — слушал. Сле-

зы текли по морщинистому лицу. Он где-то уже слышал этот хрустальный голос. Но где, когда?

За окном с полуоткинутой, слегка надутой утренним ветром шторой сверкала сизая роса на траве. Влажные листья двигались тенями на шторе. Пела птица. Вдали из-за леса поднималось белое плотное облако.

Чье-то сердце тосковало по этой земле, по облакам, по шумным ливням и сверкающим росам, по великанам, бродящим среди зеленых холмов... Он вспомнил — так в солнечное утро не на Земле пела птица о снах Аэлиты. ...Аэлита... Но была ли она? Или только пригрезилась? Нет. Птица бормочет стеклянным язычком о том, что некогда женщина, голубоватая, как сумерки, с печальным худеньким лицом, сидя ночью у костра, пела древнюю песню любви.

Вот отчего текли слезы по морщинистым щекам Лося. Птица пела о той, что осталась за звездами, и о седом, морщинистом, старом мечтателе, облетевшем небеса.

Ветер сильнее надул штору, нижний край ее мягко плеснул,— в комнату вошел запах меда, земли, влаги.

В одно такое утро в больнице появился Скайльс. Он крепко пожал руку Лося,— «поздравляю, дорогой друг»,— сел на табурет около постели, сдвинув шляпу на затылок.

— Вас сильно подвело за это путешествие, старина,— сказал он,— только что был у Гусева, вот тот молодцом: руки в гипсе, сломана челюсть, но все время смеется,— очень доволен, что вернулся. Я послал в Петроград его жене телеграмму и пять тысяч долларов. По поводу вас телеграфировал в мою газету,— получите огромную сумму за «Путевые наброски». Но вам придется усовершенствовать аппарат,— вы плохо опустились. Черт возьми,— подумать,— прошло почти четыре года с этого сумасшедшего вечера в Петрограде. Советую вам, старина, выпить рюмку хорошего коньяку, это вернет вас к жизни.

Скайльс болтал, весело и заботливо поглядывая на собеседника,— лицо у него было загорелое, беспечное, глаза полны жадного любопытства. Лось протянул ему руку.

— Я рад, что вы пришли, Скайльс.

ГОЛОС ЛЮБВИ

Облака снега летели вдоль Ждановской набережной, ползли поземкой по тротуарам, сумасшедшие хлопья крутились у качающихся фонарей. Засыпало подъезды и окна, за рекой метель бушевала в воющем парке.

По набережной шел Лось, подняв воротник и согнувшись навстречу ветру. Теплый шарф вился за его спиной, ноги скользили, лицо секло снегом. В обычный час он возвращался с завода домой, в одинокую квартиру. Жители набережной привыкли к его широкополой шляпе, к шарфу, закрывающему низ лица, к сутулым плечам, и даже, когда он кланялся и ветер взвевал его белые волосы,— никого уже более не удивлял странный взгляд его глаз, видевших однажды то, чего еще никто не видел.

В иные времена какой-нибудь юный поэт непременно бы вдохновился его нелепой фигурой с развевающимся шарфом, бредущей среди снежных облаков. Но времена теперь были иные: поэтов восхищали не вьюжные бури, не звезды, не заоблачные страны,— но стук молотов по всей стране, шипение пил, шорох серпов, свист кос,— веселые земные песни.

Прошло полгода со дня возвращения Лося на Землю. Улеглось любопытство, охватившее весь мир, когда появилась первая телеграмма о прибытии с Марса двух людей. Лось и Гусев съели положенное число блюд на ста пятидесяти банкетах, ужинах и ученых собраниях. Гусев выписал из Петрограда Машу, нарядил ее, как куклу, дал несколько сот интервью, завел мотоциклет, стал носить круглые очки, полгода разъезжал по Америке и Европе, рассказывая про драки с марсианами, про пауков и про кометы, про то, как

они с Лосем едва не улетели на Большую Медведицу,— и, вернувшись в Советскую Россию, основал «Общество для переброски боевого отряда на планету Марс в целях спасения остатков его трудящегося населения».

Лось в Петрограде на одном из механических заводов строил универсальный двигатель марсианского типа.

К шести часам вечера он обычно возвращался домой. Ужинал в одиночестве. Перед сном раскрывал книгу,— детским лепетом казались ему строки поэта, детской болтовней измышления романиста. Погасив свет, он долго лежал, глядел в темноту,— текли, текли одинокие мысли.

В обычный час Лось проходил сегодня по набережной. Облака снега взвивались в высоту, в бушующую вьюгу. Курились карнизы, крыши. Качались фонари. Спирало дыхание.

Лось остановился и поднял голову. Ветер разорвал вьюжные облака. В бездонно-черном небе переливалась звезда. Лось глядел на нее безумным взором,— луч ее вошел в сердце... «Тума, Тума, звезда печали...» Летящие края облаков снова задернули бездну, скрыли звезду. В это короткое мгновение в памяти Лося с ужасающей ясностью пронеслось видение, всегда до этого ускользавшее от него... . . . .

Сквозь сон послышался шум — будто сердитое жужжание пчел. Раздались резкие удары — стук. Спящая Аэлита вздрогнула, вздохнула, пробуждаясь, и затрепетала, он не видел ее в темноте пещерки, лишь чувствовал, как бьется ее сердце. Стук в дверь повторился. Раздался снаружи голос Тускуба: «Возьмите их». Лось схватил Аэлиту за плечи. Она едва слышно сказала:

— Муж мой, Сын Неба, прощай.

Ее пальцы быстро скользнули по его лицу. Тогда Лось ощупью стал искать ее руку и отнял у нее флакончик с ядом. Она быстро, быстро — одним дыханием — забормотала ему в ухо:

— На мне запрещение, я посвящена царице Магр... По древнему обычаю, страшному закону Магр,— девст-

венницу, преступившую запрет посвящения, бросают в лабиринт, в колодец. Ты видел его... Но я не могла противиться любви Сына Неба. Я счастлива. Благодарю тебя за жизнь. Ты вернул меня в тысячелетия Хао. Благодарю тебя, муж мой...

Аэлита поцеловала его, и он почувствовал горький запах яда на ее губах. Тогда он выпил остатки темной влаги,— ее было еще много во флакончике. Аэлита едва успела коснуться его. Удары в дверь заставили Лося подняться, но сознание уплывало, руки и ноги не повиновались. Он вернулся к постели, упал на тело Аэлиты, обхватил ее. Он не пошевелился, когда в пещерку вошли марсиане. Они оторвали его от жены, прикрыли ее и понесли. Последним усилием он рванулся за краем ее черного плаща, но вспышки выстрелов, тупые удары в грудь отшвырнули его назад, к золотой дверце пещеры...

. . . .

Преодолевая ветер, Лось побежал по набережной. И снова остановился, закрутился в снежных облаках и, так же как тогда — в тьме вселенной,— крикнул:

— Жива, жива... Аэлита, Аэлита...

Ветер бешеным порывом подхватил это впервые произнесенное на Земле имя, развеял его среди летящих снегов. Лось сунул подбородок в шарф, сунул руку глубоко в карман, побрел, шатаясь, к дому.

У подъезда стоял автомобиль. Белые мухи крутились в дымных столбах его фонарей. Человек в косматой шубе приплясывал морозными подошвами по тротуару.

— Я за вами, Мстислав Сергеевич,— крикнул он весело,— садитесь в машину, едем.

Это был Гусев. Он наскоро объяснил: сегодня, в семь часов вечера, радиотелефонная станция ожидает — как и всю эту неделю — подачу неизвестных сигналов чрезвычайной силы. Шифр их непонятен. Целую неделю газеты всех частей света заняты догадками по поводу этих сигналов,— есть предположение, что они идут с Марса. Заведующий радиостанцией приглашает Лося сегодня вечером принять таинственные волны.

Лось молча прыгнул в автомобиль. Бешено заплясали белые хлопья в конусах света. Рванулся вьюжный ветер в лицо. Над снежной пустыней Невы пылало лиловое зарево города, сияние фонарей вдоль набережных,— огни, огни... Вдали выла сирена ледокола, где-то ломающего льды.

В конце улицы Красных Зорь, на снежной поляне, под свистящими деревьями, у домика с круглой крышей, автомобиль остановился. Пустынно выли решетчатые башни и проволочные сети, утонувшие в снежных облаках. Лось распахнул заметенную сугробом дверцу, вошел в теплый домик, сбросил шарф и шляпу. Румяный толстенький человек стал что-то объяснять ему, держа его покрасневшую от холода руку в теплых пухлых ладонях. Стрелка часов подходила к семи.

Лось сел у приемного аппарата, надел наушники. Стрелка часов ползла. О время, торопливые удары сердца, ледяное пространство вселенной!..

Медленный шепот раздался в его ушах. Лось сейчас же закрыл глаза. Снова повторился отдаленный, тревожный, медленный шепот. Повторялось какое-то странное слово. Лось напряг слух. Словно тихая молния, пронзил его сердце далекий голос, повторявший печально на неземном языке:

— Где ты, где ты, где ты, Сын Неба?

Голос замолк. Лось глядел перед собой побелевшими, расширенными глазами... Голос Аэлиты, любви, вечности, голос тоски, летит по всей вселенной, зовя, призывая, клича,— где ты, где ты, любовь...

КОММЕНТАРИИ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

РАССКАЗ ПРОЕЗЖЕГО ЧЕЛОВЕКА

Впервые напечатан в журнале «Народоправство», 1917, № 11. Перепечатан в сборнике «Пережитое» («В годы революции»), кн. 1, изд-ва «Верфь», 1918. Вошел в Полное собрание сочинений А. Толстого в 15-ти томах, Гослитиздат, М. 1946—1953.

Печатается по тексту сборника «Пережитое» («В годы революции»), кн. 1, «Верфь», 1918.

МИЛОСЕРДИЯ!

Впервые напечатана в сборнике «Слово», «Книгоиздательство писателей в Москве», М. 1918, кн. 8. Неоднократно включалась в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Повесть написана в начале 1918 года. Косвенное доказательство этому находим в московской газете «Вечерняя жизнь», 1918, № 22, 16 апреля. В одном из ее разделов («Литературный блокнот») помещена заметка о первом чтении А. Н. Толстым этого произведения. Указывалось, что писатель недавно на одном из литературных вторников «прочел свой новый большой рассказ, примечательный и по теме своей, выхваченной, так сказать, из самой гущи повседневной, сегодняшней, нашей жизни, и по мастерству исполнения, отмеченного всеми прекрасными особенностями яркого дарования Толстого, сильного и нежного, такого по-русски самобытного и крепкого. Насколько вещь эта характерна именно для наших дней, сказалось даже в не лишенном меткости замечании одного из слушателей:

— Это,— сказал он,— рассказ о председателе домового комитета... Чувствования и переживания толстовского героя — некоего оставшегося без дела присяжного поверенного Василия Петровича, о коих говорится в рассказе,— они действительно глубоко симптоматичны для российского интеллигента, выброшенного в силу обстоятельств из числа активных участников новой жизни».

По словам автора, повесть «Милосердия!» явилась в его творчестве «первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете Октябрьского зарева» (А. Толстой, Краткая автобиография. См. 1 т. наст. собр. соч., стр. 58).

При переизданиях повести автором проводилась правка стилистического характера.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Избранные повести и рассказы», Гос. изд-во «Художественная литература», Л. 1937.

ЧЕЛОВЕК В ПЕНСНЕ

Впервые под заглавием «Пасынок» напечатан в альманахе «Творчество», 1918, кн. 2. Под заглавием «Человек в пенсне» перепечатывался в собраниях сочинений писателя. Авторская дата: «1916 год».

Рассказ тематически связан с целой группой произведений А. Толстого предреволюционных лет («Без крыльев», «Любовь», «Егор Абозов» и др.), в которых он изображал представителей буржуазной интеллигенции, оторванных от жизни. Самая фамилия героя рассказа «Человек в пенсне» встречается в более ранней повести А. Толстого «Большие неприятности», где ее носит близкий к нему по своему социальному облику персонаж — архитектор Н. Н. Стабесов. В критике высказывалось мнение, что «Человек в пенсне» навеян был рассказом М. Горького «Варенька Олесова».

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

НАВАЖДЕНИЕ

Впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Наваждение. Рассказы 1917—1918 гг.» изд-ва Южно-русского общества «Печатное дело», Одесса, 1919. Перепечатывался в сборниках и собраниях сочинений автора.

Рассказ предположительно датируется 1918 годом. «Наваждение» (как и незадолго перед тем законченный очерк «Первые террористы») представляет собой как бы первый, начальный этап работы писателя над темой петровской эпохи, работы длительной, протекавшей на протяжении большого периода творческого пути, приведшей его к созданию романа «Петр Первый». Пробуждение интереса к прошлому России, в частности к эпохе Петра I, было обусловлено стремлением писателя исторически осмыслить бурную революционную современность 1917—1918 годов.

Обращение к исторической тематике сопровождалось у А. Толстого поисками новой повествовательной формы, языка прозы. Писатель вспоминал позднее о пережитом им в 1914—1917 годах творческом кризисе и о том, как неудовлетворен он был бесцветным, невыразительным стилем многих литературных произведений той поры.

В своих исканиях яркого, выразительного, «пластического» языка А. Толстой обратился к изучению старинных документов, хранивших в себе отпечаток живой образной народной речи: «Покойный историк В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные профессором Новомбергским пыточные записи XVII века, так называемые дела «Слова и дела»... И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь... Я увидел, почувствовал,— осязал: русский язык.

Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ... В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства. Увлеченный открытыми сокровищами, я решился произвести опыт и написал рассказ «Наваждение». Я был потрясен легкостью, с какою язык укладывался в кристаллические формы. Рассказ этот я читал во время путешествия с вечерами художественного чтения по городам (осенью 18-го года) и рукопись потерял. Спустя два месяца, издавая в Одессе книжку рассказов, я от слова до слова, до запятой (пропустив только одно место в несколько слов) *вспомнил его наизусть...*» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 567—568).

Фабула рассказа заимствована из «Дела об иеромонахе Севского монастыря Никаноре, присланном из Монастырского в Пре-

ображенский приказ, вследствие объявления им за собою государева дела». Документ этот, опубликованный в упомянутой выше книге Новомбергского, имеет такое начало:

«По вышеписанному великого государя указу иеромонах Никанор в Преображенский приказ принят и перед стольником князем Ф. Ю. Ромодановским с товарыщи росспрашиван. А в росспросе сказал: в нынешнем, 707 году, в июле месяце, был он в Киеве, ходил из Севска из Спасского монастыря в Печерский монастырь... с крылошеником с старцем Трифилием, да того ж монастыря с крестьянином..., а имени и прозвища его не упомнит. И в Киев шли чрез Батурин в августе месяце, в мимошедший успенский пост, и, пришед в Батурин, сели на базаре, на площади, за городом, возле Земляного валу, на скамьях, которые были в торговое время в шинках; и увидя их, черкашенин батуринский казак... спросил: кто они таковы и откуда? ...И тотде казак позвал их к наказному гетману к Василию Кучубею, а говорил им, что он, гетман Василий Кучубей, к странным и к прохожим людям милостив и подает подаяние, милостыню. И они... пришед к Васильеву дому Кучубея, вошли в церковь... к вечерне, а у вечерни была жена его Васильева Любовь. И по отпуске вечерни, как она пошла к себе в сад, ей они кланялись, и она их спросила, что они за люди и которого города? И они ей сказались... И она их позвала к себе в дом ужинать и ночевать и приказала челяднику своему Ивану Иванову взять их и отвесть к себе на двор...» (Н. Новомбергский, Слово и дело государевы (Материалы), т. II, Томск, 1909, стр. 18. «Известия Томского университета», книга XXXVI).

Последующие эпизоды рассказа А. Толстого — посещение странниками дома Кочубея; поручение, которое дает последний Никанору; уход обоих монахов в Москву; взятие их там под стражу — тоже заимствованы писателем из обстоятельных показаний Никанора по данному делу.

А. Толстой, однако, свободно отступает в ряде случаев от исторического документа. Старец Трифилий, упоминаемый в деле как спутник Никанора, превращен в повести в молодого послушника. Встречи его с дочерью Кочубея Матреной и образ этой красавицы казачки являются тоже плодом творческой фантазии писателя.

В «Наваждении» А. Толстой не показывает нам наиболее крупных исторических событий эпохи. Строя сюжет рассказа в основном на передаче интимных, любовных переживаний героя,

свое внимание писатель сосредоточивал на разработке общего историко-бытового фона и колорита старого языка. «Наваждение» перекликается некоторыми звеньями своего сюжета с отдельными мотивами «Полтавы» Пушкина, давая, однако, иную трактовку фигуры Матрены (у Пушкина Марии).

Как видно из рукописи, хранящейся в архиве писателя, первоначально рассказ назывался «Лунный свет», затем это заглавие было заменено другим — «Наваждение», которое сохранилось во всех переизданиях.

Рукописный текст «Наваждения» мало отличается от текста ряда печатных изданий рассказа. Имеются лишь небольшие разночтения. Так, например, после слов Трифилия: «Многое передумал, лежа в подвалах на гнилой соломе. Так и положил — быть греху с одной Матреной, а не быть — замучаю сам себя...» (см. стр. 75), в рукописи стоит следующая фраза: «Теперь-то я знаю, что была она волшебница, и многих испортила, и сам Мазепа был ею порченный». Эти слова, подчеркивавшие особенно резко волшебную, колдовскую силу любовных чар Матрены, писатель в печатном тексте опустил.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ДЕНЬ ПЕТРА

Впервые напечатан в альманахе «Скрижаль», П. 1918, сб. № 1. Выходил отдельным изданием и неоднократно включался в сборники и собрания сочинений автора.

«День Петра», над которым А. Толстой работал в 1918 году, представляет собой следующую после «Наваждения» ступень в разработке темы петровской эпохи. Здесь на первый план выдвинута фигура самого царя.

В работе над рассказом «День Петра», помимо переписки Петра I и некоторых известных мемуарных источников (Иоганн Корб, Ф. Берхгольц, Юст Юль), А. Толстым были также использованы следственные материалы из книг Г. Есипова («Раскольничьи дела XVIII столетия») и Н. Новомбергского («Слово и дело государевы»). В частности, из опубликованного Новомбергским дела о крестьянине князя Голицына Антоне Аристове, объявившем за собой государево «слово и дело», заимствованы писателем строки, которые характеризуют протест людей того времени против разорительных последствий крутой, преобразовательной

ломки Петра, тяжким бременем ложившихся на плечи народа («...от поборов и податей разорились..., а ныне де еще сухарей спрашивают. Государь де свою землю разорил и выпустошил»). Вероятно, под влиянием этих материалов автор акцентировал в деятельности Петра отрицательные стороны.

В последующих редакциях рассказа эта отрицательная оценка постепенно смягчалась. К теме Петра I, но уже во всеоружии объективного исторического понимания эпохи и личности Петра I, А. Н. Толстой вернулся в своем романе «Петр Первый» и одноименной пьесе. Этой же теме посвящены его рассказ «Марта Рабе» и пьеса «На дыбе».

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ПРОСТАЯ ДУША

Впервые под заглавием «Катя» напечатан в сборнике А. Толстого «Наваждение. Рассказы 1917—1918 гг.» изд-ва Южно-русского общества «Печатное дело», Одесса, 1919. Под заглавием «Простая душа» впервые вошел в альманах «Литературная мысль», Л. 1925, № 3. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «1919 г.».

По сравнению с первопечатным текстом рассказа последующие издания его отличаются не только внесенной автором стилистической правкой, но и некоторыми изменениями в содержании. В первопечатном тексте в характеристике Сергея Сергеевича резче выступали черты человека, враждебного революции. В рассказе был иной конец — сообщалось о дальнейшей жизни Кати в Москве после смерти Сергея Сергеевича и о том, как застрелен был на месте преступления Петька, ставший бандитом.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

ГРАФ КАЛИОСТРО

Впервые под заглавием «Лунная сырость» напечатана в сборнике А. Толстого «Лунная сырость. Повести 1921 года», изд-во «Русское творчество», Берлин, 1922. В том же году вышла отдельным изданием под заглавием «Счастье любви» (изд-во «Свободная Россия», Владивосток). Под заглавием

«Лунная сырость» перепечатана в сборнике А. Толстого «Лунная сырость», ГИЗ, М.— Петрогр., 1923. Включалась в ряд собраний сочинений писателя под заглавием «Граф Калиостро».

Первоначально А. Толстой задумал на эту тему драматическое произведение (см. монографию И. И. Векслера «А. Н. Толстой», «Советский писатель», М. 1948, стр. 127), но затем написал повесть. Работать над ней он начал в 1919 году в Одессе и закончил в Париже в 1921 году.

Повесть «Граф Калиостро», хотя и включает в себя некоторые элементы чудесного, фантастического, построена на фабуле, которая опирается на исторические и мемуарные источники. Герой ее — граф Калиостро, итальянец, настоящее имя которого было Джузеппе Бальзамо,— известный в XVIII веке авантюрист, гипнотизер, выдававший себя за волшебника и мага. Связанный с немецким масонством, он много путешествовал и побывал в ряде европейских столиц. В 1780 году Калиостро явился под именем графа Феникса в Петербург. Могущественный в то время князь Потемкин, вследствие распространенной молвы о чудодейственной силе Калиостро, оказал ему особое внимание. Калиостро был принят в петербургском свете. Используя подлинные сообщения о пребывании Калиостро в России, А. Н. Толстой развертывает в повести вымышленную историю о том, как Калиостро случайно попал в усадьбу некоего дворянина Федяшова, где показал свое волшебство. Некоторый опорный материал для характеристики жизни и личности Калиостро писатель мог почерпнуть в следующих исторических очерках: В. Р. Зотов, Калиостро, его жизнь и пребывание в России («Русская старина», № 12, 1875) и Е. Карнович, Калиостро в Петербурге («Древняя и новая Россия», ежемесячный исторический сборник, 1875, № 2).

При переизданиях повести автором проводилась правка стилистического характера.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

ДЕТСТВО НИКИТЫ

Начальные главы повести впервые печатались в двухнедельном детском журнале «Зеленая палочка», Париж, 1920, № 2, 3, 4, 5—6. Начиная с главы «Разлука» и кончая главой «Как я тонул» — в журнале «Сполохи», Берлин, 1922, № 5.

Заглавие в этих публикациях было: «Повесть о многих превосходных вещах». Последние главы, начиная с главы «Страстная неделя», впервые опубликованы были в отдельном издании повести (заглавие «Повесть о многих превосходных вещах», подзаголовок «Детство Никиты», издательство «Геликон», Москва — Берлин, 1922). Впоследствии уже под установившимся твердо заглавием «Детство Никиты» многократно переиздавалась в виде отдельных книг или входя в сборники и собрания сочинений писателя.

Повесть написана в 1919—1920 годах. По свидетельству самого писателя, мысль написать «Детство Никиты» явилась и оформилась у него в связи с одним внешним обстоятельством — он обещал издателю выходившего в Париже детского журнальчика («Зеленая палочка») дать небольшой детский рассказик: «Начал — и будто раскрылось окно в далекое прошлое со всем очарованием, нежной грустью и острыми восприятиями природы, какие бывают в детстве» (Полн. собр. соч., т. 13. стр. 563).

«Детство Никиты» — автобиографическая повесть. Место действия довольно точно воспроизводит обстановку небольшой усадьбы отчима писателя А. А. Бострома, где Толстой вырос. Сохранено в повести даже название усадьбы — Сосновка. Впечатления детства, воспоминания А. Толстого о ранней поре жизни в Самарской губернии вошли в содержание его произведения. В одной из своих автобиографических заметок А. Толстой писал о себе так: «Я рос один, в созерцании, в растворении, среди великих явлений земли и неба. Июльские молнии над темным садом; осенние туманы, как молоко; сухая веточка, скользящая под ветром на первом ледку пруда; зимние вьюги, засыпающие сугробами избы до самых труб; весенний шум вод; крик грачей, прилетавших на прошлогодние гнезда; люди в круговороте времен года; рождение и смерть, как восход и закат солнца, как судьба зерна; животные, птицы; козявки с красными рожицами, живущие в щелях земли; запах спелого яблока, запах костра в сумеречной лощине; мой друг Мишка Коряшонок и его рассказы; зимние вечера под лампой, книги, мечтательность...» (Полн. собр. соч., т. 13, стр. 557—558). Как раз в такой атмосфере растет и формируется и маленький герой повести А. Толстого Никита.

Родители Никиты во многом повторяют реальные черты отчима и матери писателя. Мать Никиты зовут так же, как и мать писателя,— Александрой Леонтьевной. Для образа учи-

теля прототипом послужил семинарист-репетитор, Аркадий Иванович Словоохотов, готовивший будущего писателя к поступлению в среднее учебное заведение. Взаимоотношения Никиты с деревенскими ребятишками — с Мишкой Коряшонком и Степкой Карнаушкиным, их дружба и товарищеские игры тоже автобиографичны, так же как еще ряд подробностей и деталей. Правда, нельзя забывать при этом, что сырой материал воспоминаний, реальные факты ранней биографии А. Толстого в повести подверглись значительной обработке, представая нам уже художественно претворенными.

Работа А. Толстого над «Детством Никиты» опиралась на некоторый предшествующий опыт писателя в этом плане. В 1912 году Толстым написан был небольшой рассказ «Логутка», рисующий обстановку усадьбы и деревни в голодный неурожайный год, рассказ, который можно считать маленьким эскизом, подготовительным этюдом к повести «Детство Никиты».

Еще много раньше, в 1902 году, в одном из писем к матери Алексей Толстой, тогда еще начинающий писатель, сообщал о своем намерении работать над темой детских воспоминаний: «...кажется, буду участвовать в журнале «Юный читатель», если Николай (Н. А. Шишков, дядя А. Толстого.— *А. А.*) одобрит мои произведения, это было бы тоже недурно. Я уже начал — Детские воспоминания; кажется, что удачно» (Полн. собр. соч., т. 15, стр. 355).

Этот замысел не был осуществлен. А. Толстой создал лишь небольшой автобиографический фрагмент, который при жизни писателя не печатался. Опубликован он был в 15-м томе Полного собрания сочинений под условным названием «Я лежу в траве». Эти воспоминания о детских годах представляют собой одно из самых ранних литературных произведений А. Толстого.

Отдельными своими эпизодами (обед в людской, обучение мальчика верховой езде, зимний вечер у лампы под завывание вьюги, наступление весны и первые полевые работы) этот фрагмент явно предвосхищает некоторые из страниц позднее написанного «Детства Никиты».

Повесть «Детство Никиты» связана с традицией автобиографического жанра в нашей классической литературе, но идя в ряду таких произведений, как «Детство. Отрочество» Льва Толстого, «Детские годы Багрова внука» С. Аксакова, «Детство», «В людях» М. Горького,— повесть Алексея Толстого «Детство Никиты» в своем общем содержании и построении обнаруживает много

нового и своеобразного. В частности, рассказ в ней в отличие от упомянутых выше произведений идет от третьего лица.

Первопечатный текст «Детства Никиты» имеет некоторые отличия от текста книги в ее переизданиях. Прежде всего в повесть постепенно вносился ряд стилистических исправлений. Но и со стороны своего содержания, планировки глав, их заглавий первопечатный текст подвергся некоторым изменениям.

Так, например, главы «Последний вечер» первоначально не было. Существовала лишь ее концовка — учитель Аркадий Иванович после окончания рождественских каникул будит утром Никиту на занятия. Введение автором главы «Последний вечер» создало более мягкий, плавный переход от изображения праздничных развлечений и приезда гостей к будничной поре в Сосновке.

Не существовала самостоятельно и глава с наименованием «То, что было привезено на подводе». Текст первой ее половины (кончая словами Мишки Коряшонка: «гостинцы, чай, привезли») входил в предыдущую главу «Елочная коробочка». Остальная часть текста главы «То, что было привезено на подводе» составляла отдельную маленькую главу с заглавием «Лодка». После следовавшей за тем главы «Елка» стоял заголовок «Что было в вазочке на стенных часах», и глава эта начиналась текстом теперешней главы «Неудача Виктора» (кончая упоминанием момента ухода Никиты через пруд к дому). Далее вплотную к этому шел кусок текста, рисующий Никиту дома (он слышит слова Лили о кукле Валентине, он испытывает ощущение счастья и пишет свои стихи о лесе). Затем шел текст второй половины главы «Неудача Виктора», и после давалась вся вторая часть главы «Что было в вазочке на стенных часах» — от слов «В сумерки вернулся Виктор» и включая эпизод обнаружения детьми колечка.

Эта часть главы «Что было в вазочке на стенных часах» в первоначальном виде отличалась более развернутым текстом. Атмосфера таинственности, загадочности (непонятные совпадения сна Никиты с явью, сходство Лили и дамы со старинного портрета и т. п.) выступала в ней особенно резко.

Ниже приводится текст второй половины главы «Что было в вазочке на стенных часах» таким, каким он был в журнале «Зеленая палочка», № 5—6 за 1920 год:

«Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату оказались приоткрытыми.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Вы не бойтесь, Никита.

— Какая чепуха? Я в какую угодно темную комнату пойду.

Никита потянул половинку дверей, она неожиданно заскрипела, и жалобный скрип глухо раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные отсветы его полетели по белым стенам.

Дети все-таки решились и вошли в дверь. Здесь сквозь два полукруглых окна лился лунный свет и голубоватыми квадратами лежал на паркете. У стены стояли рядом на кривых ножках полосатые кресла, в углу — раскорякой, низкий, глубокий диван. У Никиты закружилась голова,— точно такою он уже видел однажды эту комнату.

— Смотрите, вот они,— прошептал он, указывая на висящие рядышком на стене два портрета старичка и старушки. Но странно, что портреты казались совсем небольшими, потрескавшимися и темными. Только видны были хорошо у них глаза.

Дети на цыпочках перебежали по лунным отсветам комнату и у резной низкой дверцы обернулись. Так и есть, портреты, два темных пятна, пристально глядели на них. Никита поскорее толкнул резную дверь, и она раскрылась без шума. Кабинет (был залит ярким лунным светом). Поблескивала медь на шкафах, отсвечивали стекла, кое-где мерцало золото на книжных переплетах, и в большом футляре часов блестел круг маятника.

Дети вошли. На них с изразцов камина глядела, улыбаясь, дама в черной амазонке, на лицо ее падал лунный свет. Никита вгляделся, обернулся к Лиле и только сейчас понял, что у дамы в амазонке и у Лили одно и то же лицо. И немудрено — дама приходилась двоюродной прабабкой девочке.

Вдруг Лиля громко вскрикнула, выпростав из-под платка руку, протянула ее кверху:

— Вазочка, вазочка!

Действительно, на верху часового футляра, отделанного бронзой, стояла бронзовая вазочка с львиной головой и виноградными листьями на ручках.

Никита никогда почему-то не замечал ее, но сейчас узнал — это была именно та самая вазочка, которую он видел во сне. Никита подставил к часам стул, вскочил на него и в ту же минуту увидел на книжном шкафу два горящих лиловым огнем глаза. У Никиты пополз мороз по спине. Глаза мигнули, двину-

лись, и со шкафа свесилась голова. Она разинула рот и слабо мяукнула. Это был кот Василий Васильевич, ловивший каждую ночь мышей в библиотеке.

— Вась, Вась,— заискивающим голосом позвал Никита. Кот мягко спрыгнул на пол и начал тереться головой о спинку стула и мурлыкать.

— Никита, да что же вы, умереть можно с вами! — крикнула, даже ногой топнула Лиля. Никита приподнялся на цыпочки, запустил пальцы в вазочку и на дне ее ощупал что-то твердое. Никита зажал это в кулак и спрыгнул со стула. Кот отскочил, фыркнул, поднял шерсть.

— Бежим, нашел, скорее,— крикнул Никита. И дети пустились что было силы бежать через комнаты. За ними, беззвучно по лунным квадратам, скакал Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети выбежали в прихожую, сели на сундук, на волчий мех и, запыхавшись и дыша, глядели друг на друга. У Лили горели щеки.

— Ну,— сказала она.

Никита разжал пыльные пальцы. На ладони его засветилось синим камушком золотое, тоненькое колечко. Лиля молча всплеснула руками.

— Какое колечко! Слушайте, это наверное волшебное колечко. Что же мы с ним будем делать?

Никита взял ее руку и надел колечко на палец. Лиля слабым голоском сказала было: «Нет, почему же мне, оно так же и ваше». Но когда колечко было надето, она обхватила Никиту руками за шею и поцеловала.

— Никита, вы лучше всех на свете.

— Лиля, вот что,— проговорил Никита, собрав все присутствие духа,— я вам посвятил одни стихи, про лес. Он вытащил из кармана бумажку со стихами и подал Лиле. Стихи были прочитаны ею, потом им, вслух. Лиля с глубоким уважением и восторгом глядела на Никиту. Он сказал, что завтра же начнет писать целую книгу стихов и посвятит ее Лиле.

Матушка, увидав за ужином колечко и выслушав, как оно было найдено, изумилась:

— Да, колечко очень старинное, оно пролежало там в часах много десятков лет. А вы знаете, Анна Аполлосовна, кому, я думаю, оно могло принадлежать? Уверена, что это колечко той женщины, из-за которой сошел с ума прадедушка Африкан Африканович. Ну, конечно, вот и год нацарапан.

Лиля и Никита переглянулись.

Святочные дни пролетели как птицы. Дети катались с гор, гадали, ездили ряжеными на деревню, и рождество кончилось. Лиля и Виктор уехали. И Аркадий Иванович, разбудив однажды Никиту, сказал строговато: «Вставай, разбойник, через полчаса я тебя жду в классной комнате».

Последняя глава повести — «Отъезд» подверглась при переизданиях «Детства Никиты» значительной правке, главным образом стилистической.

После слов «Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс» стояла еще такая заключительная фраза, завершавшая всю повесть: «Этим событием кончается его детство».

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ НИКИТЫ РОЩИНА

Впервые вышла отдельной книгой в изд-ве «Север», Парнж, 1921 (библиотека журнала «Зеленая палочка»). Журнальных публикаций повести не обнаружено. Перепечатывалась в собраниях сочинений автора: в изд-ве Гржебина, 1923; изд-ве Ладыжникова, Берлин, 1924; изд-ве «Недра», М. 1929; изд-ве «Художественная литература», Л. 1935.

«Необыкновенное приключение Никиты Рощина» — по выражению автора, «самый маленький из романов, какой только был написан»,— связан с ранее вышедшим «Детством Никиты» и воспринимается как продолжение этой книги. В повести те же главные герои, мальчик Никита и его отец, только названный здесь Алексеем Алексеевичем Рощиным. Самое начало произведения развертывается все в той же Сосновке. Но из помещичьей усадьбы глухого дореволюционного времени действие переносится в обстановку бурных революционных лет.

Отец с сыном попадают в Москву; оттуда в один из кавказских городков, в полосу, охваченную гражданской войной; замешанный в делах контрреволюции, отец Никиты вынужден эмигрировать — они едут на пароходе в Африку. Все эти эпизоды и в особенности поездка в поезде, до отказа переполненном вооруженными солдатами, с бывшим махновцем Васькой Тыркиным — первые, еще самые ранние зарисовки А. Н. Толстым обстановки гражданской войны. По характеру поставленных вопросов повесть имеет некоторую связь с рядом произведений писателя тех же лет,

в которых изображены судьбы русской интеллигенции в эпоху революции.

Повесть сохраняет некоторые черты стилевой манеры «Детства Никиты», в частности приемы обрисовки событий через восприятие ребенка, наивно и непосредственно оценивающего происходящее.

Правка, внесенная А. Толстым в текст «Необыкновенного приключения Никиты Рощина», местами отражает новые идейные позиции писателя тех лет, когда он возвратился из эмиграции на родину. В частности, подверглась некоторым изменениям характеристика Васьки Тыркина. В первоначальном тексте он — бывший солдат ударного батальона. Но правка не была доведена автором последовательно до конца, чем и объясняется наличие в тексте повести, в словах Тыркина, упоминания об ударном батальоне.

Печатается по тексту I тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

Впервые под заглавием «Краткое жизнеописание блаженного Нифонта» (Из рукописной книги князя Туренева) напечатана в сборнике «Эпопея», Москва — Берлин, изд-во «Геликон», 1922, кн. 2. Под заглавием «Повесть смутного времени», с тем же подзаголовком, перепечатывалась в отдельных изданиях, а также в собраниях сочинений писателя.

Повесть обнаруживает широкое знакомство автора с историческими и фольклорными источниками. Основные факты истории смутного времени заимствованы у С. М. Соловьева («История России с древнейших времен», т. VIII, гл. II, т. IX, гл. I). Материалом для «прелестных» писем послужили народные песни и сказания о Гришке Отрепьеве. Шутовские смехотворные речи, которыми забавляет Наум царя и бояр в предпоследнем эпизоде повести, представляют собой авторскую обработку подлинных скоморошьих виршей XVII века, так называемой «Росписи о приданом», опубликованной И. Забелиным в его «Домашнем быте русских царей» (т. II, гл. 5).

Так же как и в предыдущих исторических рассказах А. Толстого, в «Повести смутного времени» отчетливо ощущается связь некоторых образов с документальным материалом сборника Н. Новомбергского «Слово и дело государевы». Образ лихого

Наума, впоследствии превратившегося в инока Нифонта, несомненно навеян чтением одного из розыскных дел — «Дела о старце Нифонте». Начальные строки этого дела почти совпадают с биографией толстовского героя (ср. у Новомбергского: «В росспросе оный монах сказал: Наумом-де его зовут, Иванов сын Попов, уроженец Михайловского уезду, села Поливанова, служил в церковных дьячках у церкви Николы чудотворца лет с 15, и из села Поливанова сошел и живал по разным городам и по местечкам в попах, и был пострижен в монахи в Вознесенской пустыни... и по пострижении дано ему имя Нифонт...»).

М. Горький ставил «Повесть смутного времени» много выше исторических романов Алданова, Мережковского, Минцлова: «...маленькая вещь Ал. Толстого,— писал М. Горький А. Чапыгину 20 мая 1927 года,— содержит в себе больше искусства и исторической правды, чем все три романиста, названные выше» (М. Горький, Собр. соч., Гослитиздат, М. 1955, т. 30, стр. 25).

Первопечатный текст «Повести смутного времени» при переизданиях этого произведения подвергся лишь очень незначительной стилистической правке.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

НА ОСТРОВЕ ХАЛКИ

Впервые под заглавием «Последний день поэта Санди» напечатан в литературном приложении к газете «Накануне», 7 мая 1922 г., № 34, Берлин. Под заглавием «Санди» перепечатан в сборнике «Одиссея» изд-ва писателей, Берлин, 1922. Под заглавием «Последний день поэта Санди» вошел во II том собрания сочинений («Лихие годы») изд-ва Гржебина, Берлин, 1923. Под заглавием «На острове Халки» впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л. 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «2 мая 1922 г.».

Рассказ является одним из первых произведений А. Толстого, обличающих белую эмиграцию. По содержанию своему он близок к главе 3-й повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» и может рассматриваться как подготовительный эскиз к ней.

При переизданиях автором проводилась правка стилистического характера.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ ПОД КРОВАТЬЮ

Отрывки рассказа под заглавием «Рукопись, найденная среди мусора под кроватью» опубликованы в сборнике «Петроград», 1923, № 2. Полностью, под тем же заголовком, впервые напечатан в сборнике «Недра» изд-ва «Новая Москва», 1923, кн. 2. В том же году вышел отдельной книжкой в изд-ве Благово, Берлин.

Под заглавием «Рукопись, найденная под кроватью» впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л. 1924. Неоднократно включался в сборники автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «март 1923 г.».

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

Среди произведений А. Толстого берлинского периода о белой эмиграции рассказ, по словам самого автора, вещь «наиболее из всех... значительная по тематике» (А. Толстой, Краткая автобиография. См. 1 т. наст. собр. соч., стр. 59). Его отличие от других рассказов этого цикла — необычайно сжатое повествование о всех последовательных фазах падения белой эмиграции.

Печатается по тексту III тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

УБИЙСТВО АНТУАНА РИВÓ

Отрывок рассказа под заглавием «Нинет и Шарль» опубликован в журнале «Огонек», 1923, № 2. Впервые полностью под заглавием «Парижские олеографии» напечатан в журнале «Звезда», 1924, № 1.

Под заглавием «Убийство Антуана Риво» впервые вышел отдельным изданием в изд-ве «Север», Л. 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Авторская дата: «29 сентября 1923 г. Москва».

В последующих изданиях автором проводилась незначительная правка стилистического характера.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Избранные повести и рассказы», Гос. изд-во «Художественная литература», Л. 1937.

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

Впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л. 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

Рассказ «Черная пятница» относится к циклу произведений А. Н. Толстого об эмиграции и зарубежном мире. Выступая в начале 1924 года с чтением своего нового рассказа в Ленинградском институте истории искусств, писатель указал, что богатый материал для ряда этих произведений ему удалось собрать в недавние годы жизни своей за границей (см. отчет о выступлении А. Толстого в журнале «Русский современник», 1924, № 2, стр. 276).

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Повести и рассказы (1910—1943)», «Советский писатель», М. 1944.

МИРАЖ

Первая публикация не установлена. Под заглавием «Золотой мираж» напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л. 1924. Под заглавием «Мираж» впервые включен в Собрание сочинений А. Толстого, ГИЗ, М.— Л. 1928.

Авторская дата: «1924 г.».

При переизданиях рассказа автором проводилась незначительная правка стилистического характера.

Рассказ «Мираж» некоторыми своими мотивами и образами перекликается с публицистикой А. Толстого этих же лет: так образ короля нью-йоркской биржи Джипи Моргана, который одним движением сигары во рту в состоянии привести в трепет и ужас толпу биржевиков, встречается у Толстого в статье, написанной в 1923 году, «Несколько слов перед отъездом».

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

В СНЕГАХ

Впервые напечатан в сборнике А. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923—1924 гг.» изд-ва «Атеней», Л. 1924. Неоднократно включался в сборники произведений автора и собрания сочинений.

При переизданиях рассказа автором проводилась правка стилистического характера.

Печатается по тексту II тома Собрания сочинений Гос. изд-ва «Художественная литература», Л. 1935.

ПОХОЖДЕНИЯ НЕВЗОРОВА, ИЛИ ИБИКУС

Впервые три первые главы под заглавием «Ибикус (повесть)» напечатаны в журнале «Русский современник», 1924, № 2, 3, 4. Полностью впервые под заглавием «Похождения Невзорова, или Ибикус» повесть вышла отдельным изданием, ГИЗ, Л.—М. 1925. Неоднократно включалась в собрания сочинений автора.

По свидетельству самого писателя (см. Краткую автобиографию в 1 т. наст. собр. соч., стр. 59) повесть была началом его литературной работы после возвращения на родину. Она составляет как бы центральную часть в целом цикле произведений о белой эмиграции, в который входят и более ранние произведения писателя («В Париже», «На острове Халки», «Рукопись, найденная под кроватью», «Черная пятница») и более поздняя повесть «Эмигранты (Черное золото)».

В архиве А. Толстого сохранился набросок плана большого произведения о белой эмиграции — запись, составленная, видимо, задолго до работы над «Похождениями Невзорова». В этом плане имеется ряд пунктов, которые явились как бы наметкой содержания позднее законченной повести о Невзорове. Приводим ниже запись этих пунктов:

«Вот вам история небольшой, но чрезвычайно сложной человеческой ячейки, распылившейся по Европе.

Начало распыления Одесса.

7 апреля 19 г. генерал д'Ансельм, команд. войсками интервенции, объявил эвакуацию Одессы в следующих выражениях:

«Вследствие недостаточного подвоза питания Одессы производится частичная разгрузка города».

А вчера еще в газетах было: «Наши войска неуклонно продвигаются... Ни в каком случае мы не намерены» — и т. д.

Население прочло.

И покатилось в порт колесом. Стрельба. Возы с багажом. Бандиты.

Все кверх ногами в гавань.

Плавающие сундуки.

Пар. Кавказ (т. е. пароход «Кавказ».— *А. А.*). Население. Слои. Классы. Контрразведка. Спекулянты на сундуках.

Монархический заговор.

12 дней.

Константинопольская баня.

Острова. Монастырь. Первые кабаре. Хождение за визами. 3 месяца на панели.

Дельцы. Улицы Галаты. Тараканьи бега.

Разбредаются по Европе...» (Архив А. Н. Толстого, № 391).

Приведенные пункты плана несомненно близки к показанному в повести, но в этих предварительных записях обращает на себя внимание отсутствие какой-либо наметки главной фигуры произведения — образа темного авантюриста С. И. Невзорова. Видимо, этот центральный образ, давший возможность А. Толстому так широко живописать нравы и быт эмигрантского мира, стал вырисовываться в сознании писателя лишь позднее. Естественно поэтому, что в плане нет и каких-либо пунктов о Петрограде и Москве в первые месяцы после революционного переворота (все это впоследствии составило содержание первой главы повести).

«Похождения Невзорова, или Ибикус» — одно из таких произведений А. Толстого, при написании которых он использовал особенно много непосредственно виденного и пережитого им в период 1918—1920 годов. Н. В. Толстая-Крандиевская в своих воспоминаниях об А. Н. Толстом (Архив А. Н. Толстого, № 6235) подчеркивает, что обстоятельства переезда писателя со всей семьей из Москвы на Украину, переход через пограничную линию, проходившую тогда близ Курска, были воспроизведены им «с фотографической точностью в повести «Ибикус», в конце главы 1-й». Описания морского пути из Одессы в Константинополь на пароходе «Кавказ», пребывание эмигрантов в карантине на острове Халки также включают в себя обширный материал личных впечатлений и встреч А. Толстого этого же периода.

Работа А. Н. Толстого над текстом позднейших изданий повести «Похождения Невзорова, или Ибикус» выразилась преимущественно в ряде стилистических исправлений.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Избранные повести и рассказы», Гос. изд-во «Художественная литература», Л. 1937.

АЭЛИТА

Впервые с подзаголовком «Закат Марса» напечатан в журнале «Красная новь», 1922, № 6, 1923, № 2. Первое отдельное издание: «Аэлита (Закат Марса)», роман, ГИЗ, М.—Петрог., 1923. Роман неоднократно выходил отдельными книгами и включался в собрания сочинений.

«Аэлита» — научно-фантастический роман, в котором тема межпланетного полета дается в сочетании с проблемами социально-политическими. Рисуя жизнь на Марсе и марсианское общество, показывая бурное восстание угнетенных жителей планеты, колебания народного предводителя Гора, писатель замаскированно полемизировал с социальными теориями Герберта Уэллса, с пессимистической проповедью «заката Европы» Освальда Шпенглера и некоторыми другими буржуазными философскими теориями. Показывая марсианского диктатора Тускуба, отстаивающего «цивилизацию лишь для избранных», А. Толстой вскрывает антинародный характер его взглядов, в которых имеются общие черты с идеологией фашизма.

При характеристике далекой исторической эры, легендарных событий борьбы первобытных племен Земли и Марса (см. главу «Первый рассказ Аэлиты») писателем были использованы предания, дошедшие до нас от античной эпохи о якобы существовавшем в глубокой древности гигантском острове в океане — Атлантиде, населенной культурными и могучими народами. Атлантида, вследствие страшного землетрясения, будто бы исчезла, погрузившись в воды океана.

Научно-техническая сторона фабулы в романе основана на теории межпланетных ракетных сообщений, разработанной знаменитым русским ученым К. Э. Циолковским в его труде «Исследованне мировых пространств реактивными приборами» (1903).

Первоначальный текст «Аэлиты» (1922—1923) подвергся существенной переработке. Автор внес в последующие издания не только много исправлений и сокращений стилистического характера; в тексте сделаны были изменения, сокращения, затрагивающие и самое содержание произведения.

Так из рассказа Аэлиты Лосю о далеком прошлом Марса сняты были те места, в которых проступала тенденция истолковывать отдельные исторические события в плане борьбы неких отвлеченных сил добра и зла. В последующих изданиях эти таинственные силы оказались прояснены автором: в одном случае как силы

разумного знания, а в другом — как косность невежества и предрассудков.

В главе «Первый рассказ Аэлиты» в характеристике магацитлов, свирепого и могущественного племени, переселившегося с Земли на Марс, первоначально были такие места: «Они знали Высшую Мудрость, но употребляли ее во зло, потому что были злы», «Они призвали на помощь стихии природы. Началась буря, задрожали горы и равнины, выступил из берегов южный океан. Молнии падали с неба. Деревья и камни носились по воздуху, и громче грома раздавались голоса Магацитлов, читавших заклинания. Аолы гибли, как трава от снежной бури. Пришельцы поражали их мечами и наводили помрачения: войска Аолов сражались между собой, принимая друг друга за врагов» («Аэлита (Закат Марса)», ГИЗ, 1923, стр. 126); «Многие тогда видели призрак: на закате солнца поднималась из-за края тумы тень человека,— ноги его были расставлены, руки раскинуты, волосы на голове, как пламя» (стр. 127). «У Аолов не было страха, потому что души их стали кроткими, взоры сильными и сердца мужественными. В горах они познали блаженство столь высокое, что не было теперь зла, которое могло бы помрачить его» (стр. 129).

При переработке первопечатного текста романа А. Толстой устранил некоторые черты в характеристике Лося. В итоге значительно ослаблены оказались в Лосе настроения пессимизма, мрачного одиночества, проявления неврастенической изломанности.

В главе «На лестнице» после слов Лося «...жизнь для меня стала ужасна» первоначально стояло: «Я остался один, сам с собой. Не было силы побороть отчаяние, не было охоты жить. Нужно много мужества, чтобы жить, так на земле все отравлено ненавистью» (стр. 118).

В главе «Бессонная ночь» между словами «Лось долго стоял в воротах» и «Под утро Лось положил...» стояло: «...прислонясь к верее плечом и головой. Кровяным, то синим, то алмазным светом переливался Марс — высоко над спящим Петербургом, над простреленными крышами, над холодными трубами, над закопченными потолками комнат и комнаток, покинутых зал, пустых дворцов, над тревожными изголовьями усталых людей.

«Нет, там будет легче,— думал Лось,— уйти от теней, отгородиться миллионами верст. Вот так же, ночью, глядеть на звезду и знать: это плывет между звезд покинутая мною земля. Покинуты пригорок и коршуны. Покинута ее могила, крест над

могилой, покинуты темные ночи, ветер, поющий о смерти, только о смерти. Осенний ветер над Катей, лежащей в земле, под крестом. Нет, жить нельзя среди теней. Пусть там будет лютое одиночество,— уйти из этого мира, быть одному...» Но тени не отступали от него всю ночь» (стр. 31).

Подобные же сокращения были сделаны в главе «Отлет»: в словах Лося Скайльсу (снятые места выделены курсивом).

«Я думаю, что удачно опущусь на Марс,— *оттуда я постараюсь телеграфировать*. Я уверен — пройдет немного лет, и сотни воздушных кораблей будут бороздить звездное пространство. Вечно, вечно нас толкает дух искания и *тревоги. И меня гонит тревога, быть может, отчаяние. Но, уверяю вас,— в эту минуту победы я лишь с новой силой чувствую свою нищету*. Не мне первому нужно лететь, *это — преступно*. Не я первый должен проникнуть в небесную тайну. Что я найду там? — *ужас* самого себя. *Мой разум горит чадным огоньком над самой темной из бездн, где распростерт труп любви. Земля отравлена ненавистью, залита кровью. Недолго ждать, когда пошатнется даже разум,— единственные цепи на этом чудовище. Так вы и запишите в вашей книжечке, Арчибальд Скайльс,—* я не гениальный строитель, *не новый конквистадор*, не смельчак, не мечтатель: я — трус, беглец. *Гонит меня безнадежное отчаяние»* (стр. 42—43).

Иногда правка такого рода сопровождалась устранением, вычеркиванием некоторых выражений, терминов, идущих от идеалистической философии (вроде «сердце великого Духа, раскинутого в тысячелетиях» — стр. 78 и т. п.).

Наконец еще следующие изменения к характеристике Лося заслуживают быть отмеченными. Если в первом издании романа в Лосе как основная цель действий, как главный жизненный стимул подчеркивалась устремленность к счастью любви (как некоему всепоглощающему чувству), то в переработанном тексте эта особенность его оказывалась менее выдвинутой вперед, затушеванной. В первопечатном тексте «Аэлиты», рисуя Лося в самый острый момент восстания, когда он оказывается вынужден вмешаться в события, писатель не забывал все-таки отметить, что героем его движет мечта о любви: «В ушах пело: к тебе, к тебе, через огонь и борьбу, мимо звезд, мимо смерти, к тебе, любовь!» (стр. 209). Характерно, что в последующей редакции эта фраза была уже снята А. Толстым.

В процессе работы над текстом некоторым изменениям подвергся и образ красноармейца Гусева, в характеристике которого

первоначально, наряду с известными положительными качествами, присутствовали и такие отрицательные черты, как склонность к голому делячеству, «коммерческой» оборотливости, скопидомству и т. п. Эти черты, которые явно нарушали целостность образа, его жизненную убедительность и полноту, писатель, естественно, не мог не устранить в ходе отделки и отработки своего романа, протекавшей уже на ином, более позднем этапе его творческого развития.

Редактирование А. Толстым текста «Аэлиты» выразилось и в значительной переработке ряда бытовых сцен и картин, из которых устранены были автором элементы натуралистичности. Так, например, в сцене, изображающей отлет аппарата Лося из Петрограда, А. Толстой отбросил ряд грубо снижающих, натуралистических штрихов в обрисовке толпы зевак, собравшейся на пустыре.

По роману А. Толстого «Аэлита» был написан сценарий одноименного кинофильма, который был поставлен в 1924 году режиссером Я. А. Протазановым.

Печатается по тексту сборника А. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина.— Аэлита», «Советский писатель», Л. 1939.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

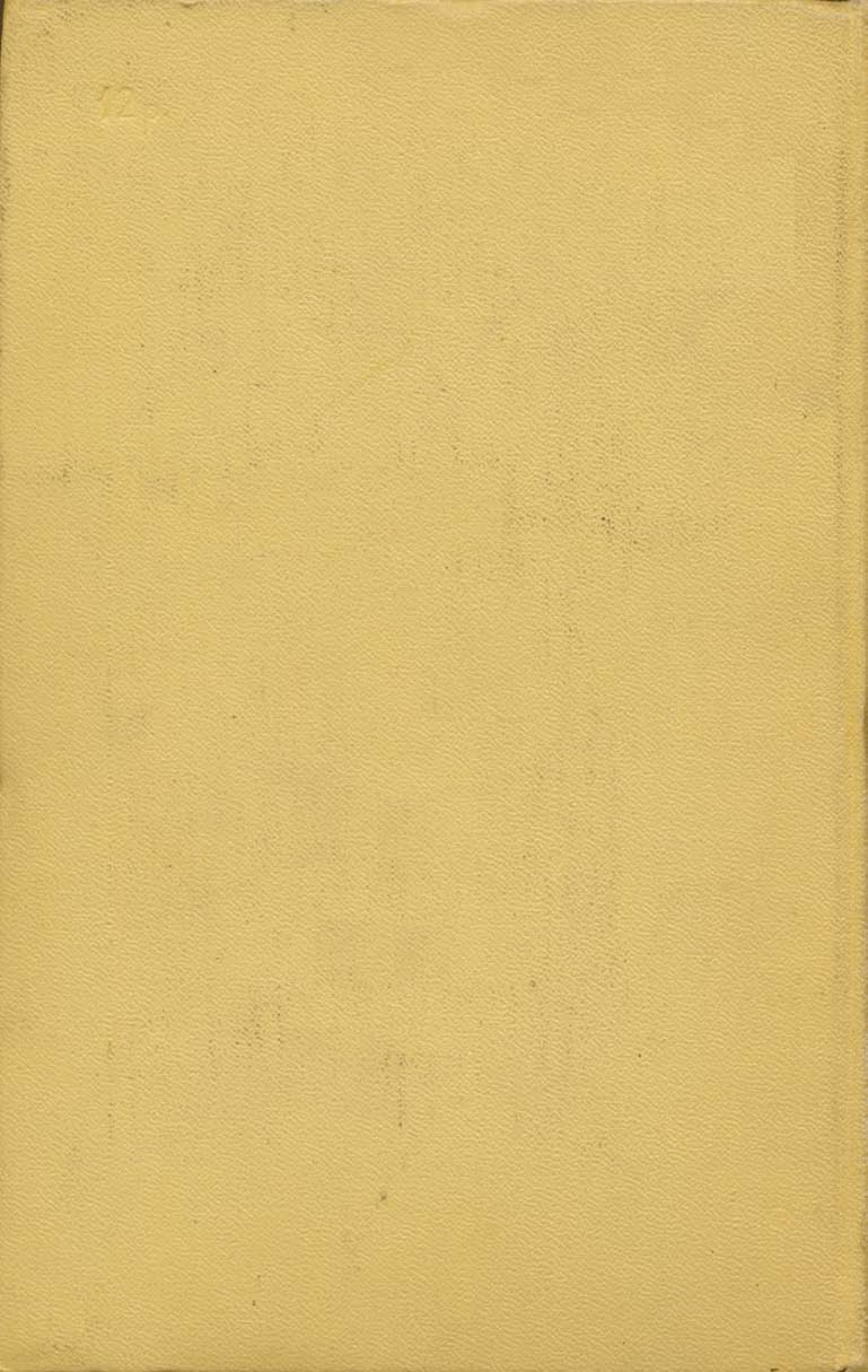
Алексей Николаевич
ТОЛСТОЙ

Собрание сочинений, т. 3

Редактор *Т. Аверьянова* Художественный редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *Ф. Артемьева.*
Корректоры *В. Брагина и Л. Коншина*

Подписано к печати 27/III 1958 г. А02972 Бумага 84×108[1]/32 —22,25 печ. л. 36,49 усл. печ. л. 33,81 уч.-изд. л.+1 вкл.=33,86 л. Тираж 675 000.
Заказ № 1219. Цена 12 р.
Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза. Москва, Ж-54, Валовая, 28.



АЛЕКСЕЙ
ТОЛСТОЙ

3